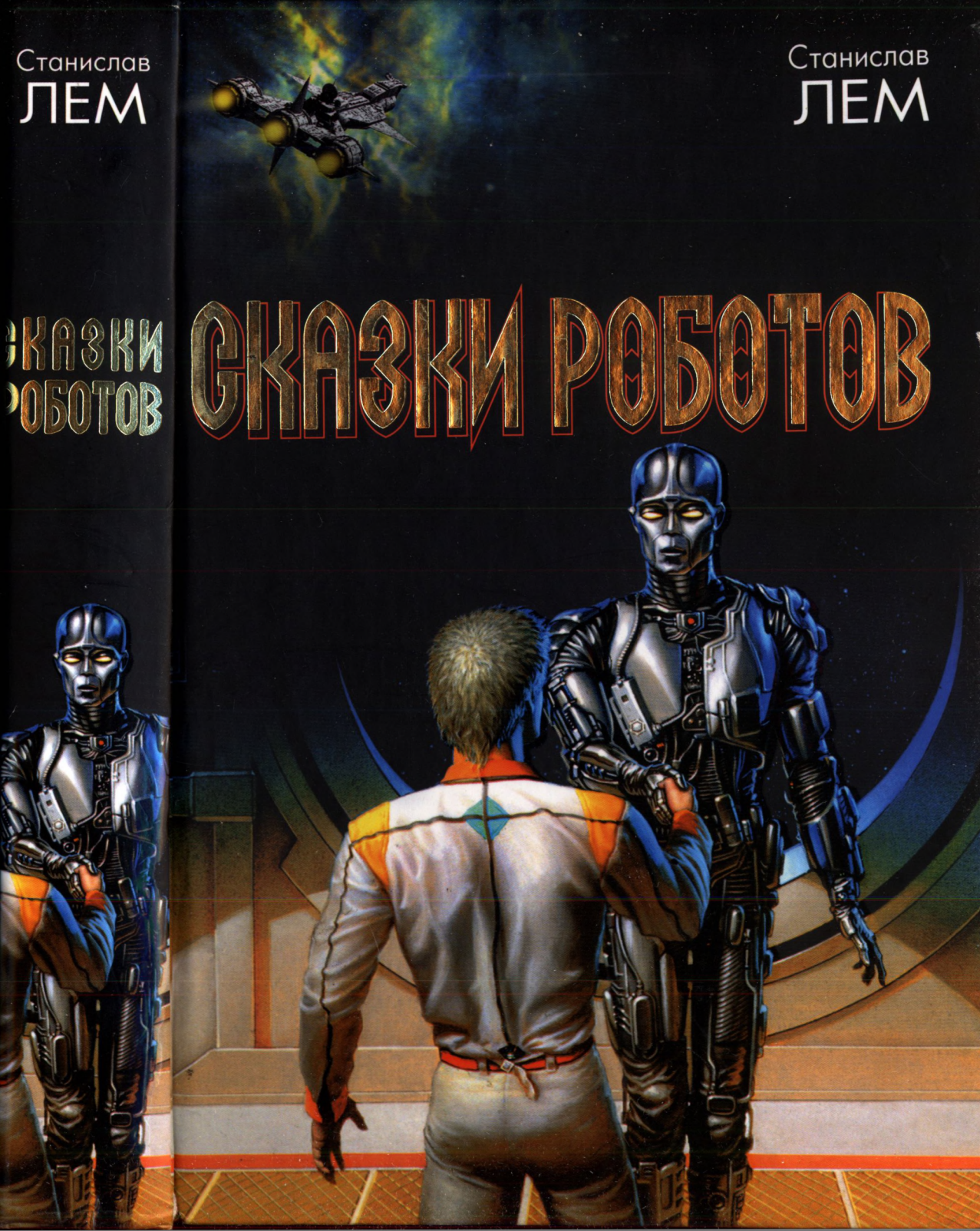
Станислав
ЛЕМ

КАЗКИ
РОБОТОВ



Станислав
ЛЕМ

СКАЗКИ РОБОТОВ

Станислав
ЛЕМ

Станислав Лем

СКАЗКИ РОБОТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХРАНИТЕЛЬ
МОСКВА

УДК 821.162.1–312.9
ББК 84 (4Пол)
Л44

Перевод с польского

Печатается с разрешения литературного агентства
Александра Корженевского.

Лем, С.
Л44 Сказки роботов : [сб.: пер. с пол.] / Станислав Лем. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 603, [5] с.

ISBN 5-17-040269-4 (ООО «Издательство АСТ») (С.: Под Дозоры)
ISBN 5-9713-3862-5 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
ISBN 5-9762-1501-7 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)
Серийное оформление А.А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн С.В. Шумилина

ISBN 5-17-040270-8 (ООО «Издательство АСТ») (С.: БМФ)
ISBN 5-9713-3863-3 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
ISBN 5-9762-1502-5 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)
Компьютерный дизайн С.В. Шумилина

Станислав Лем (1921 — 2006). Автор произведений-легенд, на которых выросли поколения поклонников научной фантастики, — «Солярис», «Эдем», «Звездных дневников Ийона Тихого» — и множества других.

Лауреат множества национальных и иностранных литературных премий.

Писатель, которого критики называли «последним из философов-энциклопедистов».

Но прежде всего — классик не просто мировой фантастики, но — мировой литературы XX века.

УДК 821.162.1–312.9
ББК 84 (4Пол)

© S. Lem, 1961, 1976, 1964, 1963, 1965, 1967, 1971, 1979
© ООО «Издательство АСТ», 2006

ФОРМУЛА ЛИМФАТЕРА

— Милостивый государь... минутку. Простите за навязчивость... да, знаю... мой вид... но я вынужден просить... нет, ах нет. Это недоразумение. Я шел за вами? Да. Это правда. От книжного магазина, но только потому, что видел сквозь витрину... вы покупали «Биофизику» и «Абстракты»... и когда вы здесь сели, я подумал, что великолепный случай... если б вы позволили мне проглядеть... и то, и другое. Но главное — «Абстракты». Для меня это — жизненная необходимость, а я... не могу себе позволить... что, впрочем, видно по мне, правда?.. Я просмотрю и сейчас же верну, много времени это не займет. Я ищу только одно... определенное сообщение... Вы мне даете? Не знаю, как благодарить... я лучше выйду... идет кельнер, мне бы не хотелось, чтобы... я перелистаю на улице, вон там, напротив, видите? Там есть скамейка... и немедленно... Что вы сказали? Нет, ради бога, не надо... вам не следует меня приглашать... Правда... Хорошо, хорошо, я сяду. Простите? Да, разумеется, можно кофе. Что угодно, если так необходимо. О нет! В самом деле нет. Я не голоден.

Возможно, мое лицо... но это видимость. Могу я просмотреть здесь... хоть это невежливо?.. Спасибо. Это последний номер...

Нет, я уж вижу, что в «Биофизике» ничего нет. А здесь... Так... так... ага... Криспен — Новиков — Абдергартен — Сухима, подумать только, уже второй раз... ох!.. Нет. Это не то. Ничего нет. Ладно... возвращаю с благодарностью. Снова я могу быть спокоен — на две недели... Это все. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания... Кофе? Ах, правда, кофе. Да, да. Благодарю. Я буду молчать. Я не хотел бы навязываться, назойливость со стороны такого индивидуума, как я... простите? Да, наверно, это кажется странным — такие интересы при таком, гм, exterieur*... но, ради бога, только не это. Почему же вы должны передо мной извиняться? Большое спасибо, нет, я предпочитаю без сахара. Привычка тех лет, когда я не был еще так болтлив... вы не хотите читать? Видите ли, я думал... Ах, этакое ожидание в глазах?.. Нет, не взамен. Ничего взамен, с вашего разрешения; конечно, я могу рассказать. Опасаться мне нечего. Нищий, который изучает «Биофизический журнал» и «Абстракты». Забавно. Я отдаю себе в этом отчет. От лучших времен у меня сохранилось еще чувство юмора. Чудесный кофе. Похоже на то, что я интересуюсь биофизикой? Собственно, не совсем так. Мои интересы... не знаю, стоит ли... только не думайте, что я ломаюсь. Как? Это вы? Это вы опубликовали в прошлом году работу о комитантах афиноров с многократной кривизной? Я точно не помню названия, однако это было любопытно. Совершенно иначе, чем у Баума. Хелловей в свое время пытался над сим потрудиться, но у него не вышло. Несладная штука, эти афиноры... вы ведь знаете, как зыбки неголономные системы... можно утонуть, в математике так бывает всегда, когда человек жаждет наспех штурмовать ее, схватить быка за рога... да. Я уже давно должен был представиться. Лимфатер. Аммон Лимфатер — так меня зовут. Пожалуйста, не удивляйтесь моему разочарованию. Я его не скрываю — не к чему. Со мной это случалось уже много раз и все-таки каждый раз сызнова — хоть и немного — но больно. Я все понимаю... последний раз я печатался... двадцать лет назад. Вероятно, вы тогда еще... ну, конечно. А все-таки? Тридцать лет? Ну что ж, тогда вам было десять: ваши интересы скорей всего были направлены в другую сторону... А потом? Боже милосердный, я вижу, вы не настаиваете. Вы деликатны, я сказал бы даже, что вы стараетесь относиться ко мне как... к коллеге. Ах, что вы! Я

---

* внешнем виде, облике (*фр.*).

лишен ложного стыда. Мне хватает настоящего. Ладно. История настолько невероятна, что вы будете разочарованы, — ибо поверить мне невозможно, — нет, нельзя. Уверяю вас. Я уж не раз ее рассказывал. И в то же время отказывался сообщить подробности, которые могли бы засвидетельствовать ее правдивость. Почему? Вы поймете, когда услышите все. Получится длинно — простите, я вас предупредил. Вы сами хотели. Началось это без малого тридцать лет назад. Я окончил университет и работал у профессора Хааве. Ну, разумеется, вы о нем слыхали.

Знаменитость! Весьма рассудительная знаменитость. Он не любил рисковать. Никогда не рисковал. Правда, он позволял нам — я был его ассистентом — заниматься кое-чем сверх программ; но в принципе — нет! Пусть это будет только моя история. Разумеется, она связана с судьбами других людей, но у меня есть склонность к болтливости, от которой мне на старости лет трудно удерживаться. В конце концов, мне шестьдесят лет, выгляжу я еще старше, вероятно, и из-за того, что собственными руками...

Incpiam*. Итак, это было в семидесятых годах. Я работал у Хааве, но интересовался кибернетикой. Вы ведь знаете, в чужом саду яблоки слаще. Кибернетика занимала меня все больше и больше. В конце концов шеф уже не смог этого стерпеть. Ничего удивительного. Тогда я тоже не удивлялся. Мне пришлось немного похлопотать, и в конце концов я устроился у Дэймона. Дэймон, вы о нем тоже, наверно, слыхали, принадлежал к школе Мак-Каллоха. К сожалению, он был ужасно безапелляционен. Великолепный математик, воображаемыми пространствами прямо-таки жонглировал, мне страшно нравились его выкладки. У него была такая забавная привычка — прорычать конечный результат подобно льву... но это не важно. У него я работал год, читая и читая, — знаете, как это бывает: когда выходила новая книга, я не мог дождаться, пока она попадет в нашу библиотеку, бежал и покупал ее. Я поглощал все. Все... Дэймон, правда, считал меня подающим надежды... и так далее. У меня было одно неплохое качество, уже тогда — феноменальная память. Знаете, я могу вам хоть сейчас перечислить названия всех работ, опубликованных нашим институтом на протяжении двенадцати лет год за годом. Даже дипломных...

---

* Начнем (*лат.*).

Сейчас я только помню, тогда — запоминал. Это позволяло мне сопоставлять различные теории, точки зрения — ведь в кибернетике велась тогда свирепая священная война, и духовные дети великого Норберта кидались друг на друга так, что... Но меня грыз какой-то червь... Моего энтузиазма хватало на день: что сегодня меня восхищало, завтра начинало тревожить. О чем шла речь? Ну, как же — о теории электронных мозгов... Ах так? Буду откровенен: знаете, это даже хорошо, мне не придется чрезмерно беспокоиться о том, чтобы неосторожно упомянутой подробностью... да что вы! Ведь это было бы оскорблением с моей стороны! Я не опасаюсь никакой... никакого плагиата, вовсе нет, дело гораздо серьезнее, сами увидите. Однако я все говорю обиняками... Правда, вступление необходимо. Так вот: вся теория информации появилась в головах нескольких людей чуть ли не за несколько дней, вначале все казалось относительно простым — обратная связь, гомеостаз, информация как противоположность энтропии, — но вскоре обнаружилось, что все это не удается быстро уложить в систему, что это — трясина, математическая топь, бездорожье. Начали возникать школы. Практика шла своим путем — строили всякие там электронные машины для вычислений, для перевода, машины обучающиеся, играющие в шахматы... А теория — своим, и вскоре инженеру, который работал с такими машинами, было уже трудно найти общий язык со специалистом по теории информации... Я сам едва не утонул в этих новых отраслях математики, которые возникали, как грибы после дождя или, скорее, как новые инструменты в руках взломщиков, пытающихся вскрыть панцирь тайны... но это все-таки восхитительные отрасли, правда? Можно обладать некрасивой женщиной или обычной и завидовать тем, кто обладает красавицами, но в конце концов женщина есть женщина; зато люди, равнодушные к математике, глухие к ней, всегда казались мне калеками! Они беднее на целый мир — такой мир! Они даже не догадываются, что он существует! Математическое построение — это безмерность, оно ведет куда хочет, человек будто создает его, а в сущности, лишь открывает ниспосланную неведомо откуда платоновскую идею, восторг и бездну, ибо чаще всего она ведет в никуда... В один прекрасный день я сказал себе: довольно. Все это великолепно, но мне великолепия не нужно, я должен начать с самого начала, дойти до всего сам, абсолютно, словно на свете никогда не было никакого Винера, Неймана, Мак-Калло-

ха... И вот, день за днем я расчистил свою библиотеку, свирепо расчистил, записался на лекции профессора Хайатта и принялся изучать неврологию животных. Знаете, с моллюсков, с беспозвоночных, с самого начала... Ужасное занятие; ведь все это, собственно, описания — они, эти несчастные биологи и зоологи, в сущности, ничего не понимают. Я видел это превосходно. Ну а когда после двух лет тяжкого труда мы добрались до структуры человеческого мозга, мне хотелось смеяться. Правда! Смотрел я на все эти работы и микрофотографии Рамон-и-Кахаля, эти черненные серебром разветвления нейронов коры... дендриты мозжечка, красивые, словно черные кружева... и разрезы мозга, спинного в головного — их были тысячи, среди них старые, еще из атласов Виллигера — и говорю вам: я смеялся! Да ведь они были поэтами, эти анатомы, послушайте только, как они наименовали все эти участки мозга, назначения которых вообще не понимали: рог Гиппокампа, рог Аммона... пирамидные тельца... шлорная борозда...

На первый взгляд это не имеет отношения к моему рассказу. Но только на первый взгляд, ибо, видите ли, если б меня не удивляли многие вещи, которые абсолютно не удивляли... даже не привлекали внимания других... если бы не это, я наверняка был бы сейчас склеротическим профессором и имел бы сотни две работ, которых никто не помнит, — а так...

Речь идет о так называемом наитии. Откуда оно у меня взялось, понятия не имею. Инстинктивно — долгие годы, пожалуй, всегда, — все представляли себе, что существует... что можно принимать во внимание лишь один тип, один вид мозга — такой, каким природа снабдила человека. Ну, ведь homo* — существо такое умное, высшее, первое среди высших, владыка и царь творения... Да. И поэтому модели — и математические, на бумаге, — Рашевского, — и электронные — Грея Уолтера — все они возникли sub summus auspiciis** человеческого мозга — этой недостижимой, наиболее совершенной нейронной машины для мышления. И простодушные тешили себя иллюзией, что если удастся когда-нибудь создать механический мозг, который сможет соперничать с человеческим, то, разумеется, лишь потому, что конструктивно он будет абсолютно подобен человеческому.

---

* человек (*лат.*).

** под верховным руководством (*лат.*).

Минута непредвзятого размышления обнаруживает безбрежную наивность этого взгляда. «Что такое слон?» — спросили у муравья, который слона никогда не видел. «Это очень, очень большой муравей», — отвечал тот... Что вы сказали? Сейчас тоже? Я знаю, это по-прежнему догма, все продолжают так рассуждать, потому-то Корвайсс и не согласился опубликовать мою работу — к счастью, не согласился. Это я сейчас так говорю, а тогда, — тогда, разумеется, я был вне себя от гнева... эх! Ну, вы понимаете. Еще немного терпения. Итак, наитие... Я вернулся к птицам. То была, надо вам сказать, прелюбопытная история. Вы знаете? Эволюция шла различными путями: ведь она слепа, она — слепой скульптор, который не видит собственных творений и не знает — откуда ей знать? — что с ними будет дальше. Говоря фигурально, похоже, будто природа, проводя неустанные опыты, то и дело забредала в глухие тупики и тогда попросту оставляла там эти свои незрелые создания, эти неудачные плоды экспериментов, которым не светило ничего, кроме терпения: ибо все тянулось сотни миллионов лет... а сама она принималась за новые. Человек является человеком благодаря так называемому новому мозгу, неоэнцефалону, но у него есть и то, что служит мозгом у птиц, — полосатое тело, корпус стриатум; у него оно задвинуто вглубь, придавлено этим большим шлемом, этой все покрывающей мантией нашей гордости и славы, корой мозга... Может, я немного и насмешничаю, бог весть почему. Значит, было так: птицы и насекомые, насекомые и птицы — вот что не давало мне покоя. Почему эволюция споткнулась? На чем она споткнулась? Почему нет разумных птиц, мыслящих муравьев? А очень бы... знаете ли, стоит только прикинуть: если б насекомые пошли в своем развитии дальше, человек им в подметки не годился бы, ничего бы он тут не поделал, не выдержал бы конкуренции — где там! Почему? Ну а как же? Ведь птицы и насекомые, в разной степени, правда, появляются на свет с готовыми знаниями, такими, какие им нужны, разумеется, — по Сеньке и шапка. Они почти ничему не должны учиться, а мы? Мы теряем половину жизни на обучение, чтобы во вторую половину убедиться, что три четверти того, чем мы набили свою голову, бесполезный балласт. Вы представляете себе, что было бы, если б ребенок Хайатта или Эйнштейна мог появиться на свет с познаниями, унаследованными от отца? Однако он глуп, как любой новорожденный. Обучение? Пластичность человеческого разума? Знаете,

я тоже верил в это. Ничего удивительного. Если тебе еще на школьной скамье без конца повторяют аксиому: дескать, человек именно потому и человек, что он появляется на свет подобным чистой странице и должен учиться даже ходить, даже хватать рукой предметы; что в этом заключается его сила, отличие, превосходство, источник мощи, а не слабости, и доколе вокруг ты видишь величие цивилизации, — то ты веришь в это, принимаешь как очевидную истину, о которой нет смысла спорить.

Я, однако, все возвращался мыслями к птицам и насекомым. Как это происходит — каким образом они наследуют готовые знания, передаваемые из поколения в поколение? Было известно лишь одно. У птиц нет, в сущности, коры, то есть кора не играет большой роли в их нейрофизиологии, а у насекомых ее нет совершенно — и вот насекомые приходят на свет с полным почти запасом знаний, необходимых им для жизни, а птицы — со значительной их частью. Отсюда следует, что кора — не что иное, как почва для обучения, этого... этого препятствия на пути к величию. Ведь в противном случае знания так бы умножались, что праправнук какого-нибудь Леонардо да Винчи стал бы мыслителем, в сравнении с которым Ньютон или Эйнштейн показались бы кретинами! Извините. Я увлекся. Итак, насекомые и птицы... Птицы. Тут все было ясно. Они произошли, как известно, от ящеров и, значит, могли только развивать тот план, ту конструктивную предпосылку, которая заключалась в ящерах: архистриатум, паллидум — эти части мозга были уже даны, у птиц, собственно, не было никаких перспектив, и прежде чем первая из них поднялась в воздух, дело было проиграно. Решение компромиссное: немного нервных ядер, немного коры — ни то ни се, компромиссы нигде не окупаются, в эволюции тоже. Насекомые — вот здесь дело обстояло иначе. У них были шансы; эта симметричная, параллельная структура нервной системы; парные брюшные мозги... от которых мы унаследовали рудименты — наследство, которое не только загублено, но и преобразовано... чем они занимаются у нас? Управлением нашими кишками! Но — обратите внимание, очень прошу! — они всё умеют с самого рождения; эти системы — симпатическая и парасимпатическая — с самого начала знают, как управлять работой сердца, внутренних органов; да, вегетативная система все умеет, она умна изначально. И ведь никто над этим не задумывался, а?.. Так оно есть — а иначе и быть не

может, если поколения появляются и исчезают, ослепленные верой в свое мнимое совершенство. Хорошо, но что с ними случилось — с насекомыми? Почему они так жутко застыли, откуда такая их механичность, и тот паралич развития, и тот внезапный конец, который наступил почти миллиард лет назад и навсегда остановил их, но не был достаточно мощным, чтоб их уничтожить? Э, что там! Их возможности погубил случай. Абсолютная, глупейшая случайность... Дело в том, что насекомые происходят от первичнотрахейных. А первичнотрахейные вышли из океана на сушу, уже имея сформировавшуюся дыхательную систему: эволюция не может, как инженер, не удовлетворенный творением, разобрать свою машину на части, нарисовать новый чертеж и заново складывать все эти несчастные детали, начиная с нуля. Эволюция не способна на это. Ее творчество выражается лишь в поправках, усовершенствованиях, достройках... Одна из них — кора мозга... Трахеи — вот что было проклятием насекомых! У них не было легких, были трахеи, и потому насекомые не могли развить активно действующий дыхательный аппарат, понимаете? Ну, ведь трахеи — просто система трубок, распахнутых на поверхности тела, и они могут дать организму лишь то количество кислорода, какое самотеком пройдет через отверстия... Вот почему. Впрочем, это, разумеется, вовсе не мое открытие. Но об этом говорят невнятно: мол, несущественно. Фактор, благодаря которому был устранен самый опасный соперник человека... О, к чему может привести слепота! Если тело превысит определенные, поддающиеся точному исчислению размеры, то трахеи уже не смогут доставлять необходимого количества воздуха. Организм начнет задыхаться. Эволюция — конечно же! — приняла меры: насекомые остались небольшими. Что? Огромные бабочки мезозоя? Весьма яркий пример математической зависимости... непосредственного влияния простейших законов физики на жизненные процессы... Количество кислорода, попадающего внутрь организма через трахеи, определяется не только диаметром трахей, но и скоростью конвекции... а она, в свою очередь, — температурой; так вот, в мезозойскую эру, во время больших потеплений, когда пальмы и лианы заполнили даже окрестности Гренландии, в тропическом климате вывелись эти большие, с ладонь величиной, бабочки — то были, однако, эфемериды, их погубило первое же похолодание, первая серия менее жарких, дождливых лет... Кстати сказать, и сегодня самых

больших насекомых мы встречаем в тропиках... но и это маленькие организмы; даже самые большие среди них — малютки в сравнении со средним четвероногим, позвоночным... Размеры их нервной системы ничтожны — ничего не удалось сделать, эволюция была бессильна.

Первой моей мыслью было построить электронный мозг по схеме нервной системы насекомого... какого? Ну хотя бы муравья. Однако я сразу сообразил, что это просто глупая затея, что я собираюсь идти путем наименьшего сопротивления. Почему я, конструктор, должен повторять ошибки эволюции? Я снова занялся фундаментальной проблемой: обучением. Учатся ли муравьи? Конечно, да: у них можно выработать условные рефлексы, это общеизвестно. Но я думал о чем-то совершенно ином. Не о тех знаниях, которые они наследуют от своих предков, нет. О том, совершают ли муравьи такие действия, которым их не могли обучить родители и которые они тем не менее могут выполнить без всякого обучения! Как вы смотрите на меня... Да, я знаю. Тут мои слова начинают попахивать безумием, да? Мистикой какой-то? Откровение, которое дано было постичь муравьям? Априорное знание о мире? Но это лишь вступление, начало, лишь азы методологии моего сумасшествия. Пойдем дальше. В книгах, в специальной литературе вообще не было ответа на такой вопрос, ибо никто в здравом уме его не ставил — просто не решился бы. Что делать? Ведь не мог же я стать мирмекологом* только для того, чтобы ответить на один — предварительный — вопрос. Правда, он решал «быть или не быть» всей моей концепции, однако мирмекология — обширная дисциплина, мне пришлось бы опять потратить три, а то и четыре года; я чувствовал, что не могу себе этого позволить. Знаете, что я сделал? Отправился к Шентарлю. Ну как же, имя! Для вас он — каменный монумент, но он и тогда, в мои молодые годы, был легендой! Эмеритальный** профессор, не преподает уже четыре года, тяжело болен. Белокровие. Ему продлевают жизнь месяц за месяцем, но все равно ясно, что конец его близок. Я набрался смелости. Позвонил ему... скажу прямо: я бы позвонил, даже если бы он уже агонизировал. Такой безжалостной, такой уверенной в себе бывает лишь молодость. Я, совершенно никому не известный щенок, попросил его по-

---

* энтомолог, специалист по биологии муравьев.

** Заслуженный профессор-пенсионер (от *emeritus* — *лат.*).

беседовать со мной. Сказал, что для меня это вопрос жизни. Он велел мне прийти, назначил день и час. Он лежал в кровати.

Кровать стояла у шкафов с книгами, и над ней было укреплено особым образом зеркало и эдакое механическое приспособление, вроде длинных щипцов, чтоб он мог, не вставая, взять с полок любую книгу, какую захочет. И как только я вошел, и поздоровался, и посмотрел на эти тома — увидел Шеннона, и Мак-Кея, и Артура Рубинштейна, того самого, сотрудника Винера, — знаете, я понял, что он-то и есть тот человек, который мне нужен. Мирмеколог, который знал всю теорию информации, — великолепно, правда?

Он сказал мне без предисловий, что очень слаб и что временами у него гаснет сознание, поэтому он заранее извиняется передо мной, а если потребуется, чтоб я повторил что-нибудь, он даст мне знак. И чтоб я сразу начал с сути дела, так как он не знает, долго ли будет сегодня в сознании.

Ну что же, я выстрелил сразу изо всех моих пушек, мне было двадцать семь лет, можете себе представить, как я говорил! Когда в цепи логических рассуждений не хватало звена, его заменяла страстность. Я высказал ему все, что думаю о человеческом мозге, не так, как вам, — уверяю, что я не подбирал слов! О перипетиях паллидума и стриатума, о палеоэнцефалоне, о брюшных узлах насекомых, о птицах и муравьях, пока не подошел к этому злополучному вопросу: знают ли муравьи что-то, чему они не учились, и что, вне всякого сомнения, не завещали им предки? Знает ли он случай, который подтверждал бы это? Видел ли он что-либо подобное за восемьдесят лет своей жизни, за шестьдесят лет научной деятельности? Есть ли по крайней мере шанс, хотя бы один из тысячи?

А когда я оборвал речь вроде бы посредине, еще не успев понять, что это уже конец моих рассуждений — ведь я ничего не готовил заранее, не думал о форме, — запыхавшийся, попеременно то краснея, то бледнея, я вдруг почувствовал слабость и, впервые, — страх. Шентарль открыл глаза. Все это время они были закрыты.

— Жалею, что мне не тридцать лет.

Я ждал, а он опять закрыл глаза и заговорил лишь через минуту:

— Лимфатер, вы хотите добросовестного, искреннего ответа, да?

— Да, — сказал я.

— Слыхали вы когда-нибудь об Acanthis Rubra?

— Willinsoniana? — спросил я. — Да, слышал: это красный муравей из бассейна Амазонки...

— А! Вы слышали?! — произнес он таким тоном, словно сбросил с плеч лет двадцать. — Вы слышали о нем? Ну так что же вы еще мучаете старика своими вопросами?

— Да ведь, господин профессор, то, что Саммер и Виллинсон опубликовали в «Актах», было встречено сокрушительной критикой...

— Понятно, — сказал он. — Как же могло быть иначе? Взгляните-ка, Лимфатер... — Он показал своими щипцами на шесть черных томов монографии, принадлежавшей его перу. — Если б я мог, — сказал он, — я взялся бы за это сызнова. Когда я начинал, не было никакой теории информации, никто не слышал об обратной связи, Вольтерру большинство биологов считало безвредным безумцем, а мирмекологу было достаточно знать четыре арифметических действия... Эта малютка Виллинсона — очень любопытное насекомое, коллега Лимфатер. Вы знаете, как это было? Нет? Виллинсон вез с собой живые экземпляры; когда его джип засел в расселине меж утесов, они расползлись и там — на каменистом плоскогорье! — сразу принялись за дело так, будто всю жизнь провели среди скал, а ведь это муравьи из Амазонии, они никогда не покидают зоны джунглей!

— Ну хорошо, — сказал я. — Однако Лорето твердит, что отсюда следует лишь вывод об их горном происхождении: что у них были предки, которые обитали в пустынных краях...

— Лорето — осел, — спокойно ответил старик, — и вам следует об этом знать, Лимфатер. Научная литература в наши времена так обширна, что даже в своей области нельзя прочесть всего, что написали твои коллеги. «Абстракты»? Не говорите мне об «Абстрактах»! Эти аннотации не имеют никакой ценности, и знаете почему? Потому, что по ним не видно, что за человек писал работу. В физике, в математике это не имеет такого значения, но у нас... бросьте лишь взгляд на любую статью Лорето, и, прочтя три фразы, вы по стилю поймете, с кем имеете дело. Ни одной фразы, которая... но не будем касаться подробностей. Мое мнение для вас что-то значит?

— Да, — ответил я.

— Ну так вот. Acanthis никогда не жили в горах. Вы понимаете? Лорето делает то, что люди его склада делают всегда в по-

добных ситуациях: он пытается защитить ортодоксальную точку зрения. Ну так откуда же этот маленький Acanthis узнал, что единственной его добычей среди скал может быть Quatrocentix Eprantissiaca и что на нее следует охотиться, нападая из трещин в камнях? Не вычитал же он это у меня, и не Виллинсон же ему сообщил! Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Вы хотите еще что-нибудь узнать?..

— Нет, — сказал я. — Но я чувствую себя обязанным... я хотел бы объяснить вам, господин профессор, почему я задал этот вопрос. Я не мирмеколог и не имею намерения им стать. Это лишь аргумент в пользу одного тезиса...

И я рассказал ему все. То, что знал сам. То, о чем догадывался и чего еще не знал. Когда я кончил, он выглядел очень усталым. Начал дышать глубоко и медленно. Я собирался уйти.

— Подождите, — сказал он. — Несколько слов я еще как-нибудь из себя выдавлю. Да... То, что вы мне рассказали, Лимфатер, может служить достаточным основанием, чтобы вас выставили из университета. Что да, то да. Но этого слишком мало, чтобы вы чего-нибудь достигли — в одиночку. Кто вам помогает? У кого вы работаете?

— Пока ни у кого, — отвечал я. — Эти теоретические исследования... это я сам, профессор... но я намереваюсь пойти к Ван Гэлису, знаете, он...

— Знаю. Построил машину, которая учится, за которую должен получить Нобелевскую и, вероятно, ее получит. Занимательный вы человек, Лимфатер. Что, вы думаете, сделает Ван Гэлис? Сломает машину, над которой сидел десять лет, и из ее обломков соорудит вам памятник?

— У Ван Гэлиса голова, каких мало, — отвечал я. — Если он не поймет величия этого дела, то кто же?..

— Вы ребенок, Лимфатер. Давно вы на кафедре?

— Третий год.

— Ну, вот видите. Третий год, а не замечаете, что это джунгли и что там действует закон джунглей? У Ван Гэлиса есть своя теория и есть машина, которая эту теорию подтверждает. Вы придете и объясните ему, что он потратил десять лет на глупости, что эта дорога никуда не ведет, что таким образом можно конструировать самое большее электронных кретинов, — так вы говорите, а?

— Да.

— Вот именно. Так чего же вы ожидаете?

— В третьем томе своей монографии вы сами написали, профессор, что существуют лишь два вида поведения муравьев: унаследованное и заученное, — сказал я, — но сегодня я услышал от вас нечто иное. Значит, вы переменили мнение. Ван Гэлис тоже мог бы...

— Нет, — ответил он. — Нет, Лимфатер. Но вы неисправимы. Я вижу это. Что-нибудь препятствует вашей работе? Женщины? Деньги? Мысли о карьере?

Я покачал головой.

— Ага. Вас ничто не интересует, кроме этого вашего дела? Так?

— Да.

— Ну так идите, Лимфатер. И прошу сообщить мне, что получилось с Ван Гэлисом. Лучше всего позвоните.

Я поблагодарил его, как умел, и ушел. Я был невероятно счастлив. О, этот Acanthis Rubra Willinsoniana! Я никогда в жизни не видел его, не знал, как он выглядит, но мое сердце пело ему благодарственные гимны. Вернувшись домой, я как сумасшедший бросился к своим записям. Этот огонь здесь, в груди, этот мучительный огонь счастья, когда тебе двадцать семь лет и ты уверен, что находишься на правильном пути... за пределами известного, исследованного — там, куда не вторгались еще ни человеческая мысль, ни даже предчувствие, — нет, это не описать... Я работал так, что не замечал ни света, ни тьмы за окнами: не знал, ночь сейчас или день; ящик моего стола был набит кусками сахара, служанка приносила мне кофе целыми термосами, я грыз сахар, не отводя глаз от текста, и читал, отмечал, писал; засыпал, положив голову на стол, открывал глаза и сразу продолжал ход рассуждений с того места, на котором остановился, и все время словно летел куда-то — к своей цели, с необычайной скоростью... Я был выносив, как ремень, знаете ли, если мне удавалось держаться так целые месяцы, — как ремень...

Три недели я работал вообще без перерыва. Были каникулы, и я мог располагать временем, как хотел. И скажу вам: я это время использовал полностью. Две груды книг, которые приносили по составленному мной списку, лежали одна слева, другая справа — прочитанные, и те, что ждали своей очереди.

Ход моих рассуждений выглядел так: априорное знание? Нет. Без помощи органов чувств? Но каким же образом? Nihil

est in intellectu*... вы ведь знаете. Но, с другой стороны, — эти муравьи... В чем дело, черт побери? Может, их нервная система способна мгновенно или за несколько секунд — что практически одно и то же — создать модель новой внешней ситуации и приспособиться к ней? Ясно я выражаюсь? Не уверен в этом. Мозг наш всегда конструирует схемы событий; законы природы, которые мы открываем, это ведь тоже такие схемы; а если кто-либо думает о том, кого любит, кому завидует, кого ненавидит, то, по сути, это тоже схема, разница лишь в степени абстрагирования, обобщения. Но прежде всего мы должны узнать факты, то есть увидеть, услышать — каким же образом, без посредства органов чувств?!

А маленький муравей, похоже, мог это делать. Хорошо, думал я, но если так, то почему же этого не умеем мы, люди? Эволюция испробовала миллионы решений и лишь одного, наиболее совершенного, не приметила? Почему так случилось?

И тогда я засел за работу, чтобы разобраться: почему так случилось? Я подумал: это должно быть нечто такое... конструкция... нервная система, конечно... такого типа, такого вида, какой эволюция никоим образом не могла создать.

Твердый был орешек. Я должен был выдумать то, чего не смогла сделать эволюция. Вы не догадываетесь, что именно? Но ведь она не создала очень много вещей, которые создал человек. Вот, например, колесо. Ни одно животное не передвигается на колесах. Да, я знаю, это звучит смешно, однако можно и над сим задуматься. Почему она не создала колеса? Это просто. Вот уж действительно просто. Эволюция не может создавать органов, которые совершенно бесполезны в зародыше. Крыло, прежде чем стать опорой для полета, было конечностью, лапой, плавником. Оно преобразовывалось и некоторое время служило двум целям вместе. Потом полностью специализировалось в новом направлении. То же самое — с каждым органом. А колесо не может возникнуть в зачаточном состоянии — оно или есть, или его нет. Даже самое маленькое — оно все-таки уже колесо; оно должно иметь ось, спицы, обод — ничего промежуточного не существует. Вот почему в этой точке — эволюционное молчание, пауза.

Ну а нервная система? Я подумал так: должно быть нечто аналогичное — конечно, аналогию следует понимать широко —

---

* Нет ничего в сознании... [чего не было бы ранее в ощущениях] *(лат.)*.

колесу. Нечто такое, что могло возникнуть лишь скачком. Сразу. По принципу: все или ничего.

Но существовали эти муравьи. Зародыш чего-то подобного у них был — нечто, некая частица таких возможностей. Но что же именно? Я стал изучать схему их нервной системы — она выглядела так же, как и у всех муравьев. Никакой разницы. Значит, на другом уровне, подумал я. Может, на биохимическом? Меня это не очень устраивало, однако я искал. И нашел. У Виллинсона. Он был весьма добросовестный мирмеколог. Брюшные узлы Acanthis содержали одно прелюбопытное химическое вещество, какое нельзя обнаружить у других муравьев, вообще ни в каких организмах животных или растительных; акантоидин — так он его назвал. Это — соединение белка с нуклеиновыми кислотами, и есть там еще одна молекула, которую до конца не раскусили, — была известна лишь ее общая, то есть совершенно бесполезная, формула. Ничего я не узнал и бросил химию. Если б я построил модель, электронную модель, которая обнаруживала бы точно такие же способности, как муравей, это наделало бы много шуму, но в конце концов было бы лишь курьезом, и я сказал себе: нет. Если б Acanthis обладал такой способностью — в зародышевой, зачаточной форме, то она развилась бы и положила начало нервной системе по-настоящему совершенной, но он остановился в развитии сотни миллионов лет назад. Значит, его тайна — лишь жалкий остаток, случайность, биологически бесполезная и лишь с виду многообещающая, в противном случае эволюция не пренебрегла бы ею. Значит, мне она ни к чему. Наоборот, если мне удастся отгадать, как должен быть устроен мой невероятный, ужасающий мозг, этот мой apparatus universalis Lymphateri, эта machina omnipotens, эта ens spontanea*, тогда я узнаю — скорее всего мимоходом, между прочим, словно нехотя, — что случилось с муравьем. Но не иначе. И я поставил крест на моем маленьком красном провожатом во мраке неизвестности.

Итак, надо было подобраться с другой стороны. С какой? Я взялся за проблему очень старую, очень недолюбливаемую наукой, очень — в некоем смысле — неприличную: за парапсихологические явления. Это само собой напрашивалось. Телепатия, телекинез, предсказание будущего, чтение мыслей; я пе-

---

* универсальная машина Лимфатера... всемогущая машина... самоорганизующаяся сущность (*лат.*).

речитал все протоколы Райна, и передо мной распростерся океан недостоверности. Вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с этими явлениями. 95 процентов истерии, мошенничества, хвастовства, запудривания мозгов, 4 процента фактов сомнительных, но заставляющих задуматься, и, наконец, тот один процент, с которым не знаешь, что делать. Черт побери, думал я, должно же в нас, людях, тоже быть что-то такое. Какой-нибудь осколок, последний след этого упущенного эволюцией шанса, который мы делим с маленьким красным муравьем: но именно здесь — источник тех таинственных явлений, которые так недолюбливает наука. Что вы сказали? Как я ее себе представлял, эту... эту машину Лимфатера? Она бы мгновенно стала мудрецом — системой, которая, начиная функционировать, сразу же знала бы все, была бы наполнена знаниями... Какими? Всякими. Биология, физика, атомистика, все о людях, о звездах... Звучит как сказка, верно? А знаете, что мне кажется? Нужно было лишь одно: поверить, что такая вещь... такая машина возможна. Не раз по ночам мне казалось, что от этих размышлений — перед невидимой, непроницаемой, несокрушимой стеной у меня череп лопнет. Ну не знал я ничего, не знал...

Я расписал такую схему: чего не могла эволюция? Перечень ответов: не могла создать систему, которая — первое — функционирует не в водно-коллоидной среде (ибо и муравьи, и мы, и все живое представляем собой взвесь белка в воде); второе — функционирует только при очень высокой или очень низкой температуре; третье — функционирует на основе ядерных процессов (атомная энергия, превращение элементов и т.п.).

На сем я остановился. Ночами просиживал над выкладками, днем совершал дальние прогулки, а в голове у меня кружился и неистовствовал вихрь вопросов без ответов. Наконец я сказал себе: те феномены, которые я называю сверхчувственными, бывают не у всех людей, а лишь у весьма немногих. И даже у них проявляются непостоянно. Не всегда. Они этого не могут контролировать. Не властны над ними. Больше того, никто, даже самый блестящий медиум, самый прославленный телепат не знает, удастся ли ему отгадать чью-то мысль, разглядеть рисунок, спрятанный в запечатанном конверте, или же то, что он принимает за отгадку, суть пустая болтовня, вранье. Итак, какова частота подобных явлений среди людей и какова

частота успехов у одного и того же лица, одаренного в этом отношении?

А теперь муравей. Мой Acanthis. Как с ним? И я немедленно написал Виллинсону — просил ответить мне на вопрос: все ли муравьи стали устраивать на плоскогорье ловушки для Quatrocentix Eprantissiaca или лишь некоторые? А если некоторые, то какой процент от общего числа? Виллинсон — вот что такое истинный профессионал — ответил мне через неделю: первое — нет, не все муравьи; второе — процент муравьев, строивших ловушки, очень невелик. От двух до четырех десятых. Практически — один муравей из двухсот. Он смог выследить это лишь потому, что вез с собой целый искусственный муравейник своей конструкции — тысячи экземпляров. За точность сообщенных цифр он не ручается. Они имеют лишь ориентировочный характер. Эксперимент, первоначально бывший делом случая, он повторил два раза. Результат был всегда тот же. Вот и все.

Как я набросился на статистические данные, относящиеся к парапсихологии! Помчался в библиотеку, словно за мной гнались. У людей разброс был больше. От нескольких тысячных до одной десятой процента. Это потому, что у людей такие явления труднее установить. Муравей либо строит ловушки для Quatrocentix, либо нет. А телепатические и другие сверхчувственные способности проявляются лишь в той или иной степени. У одного человека из ста можно обнаружить некоторые их следы, но феноменального телепата нужно искать среди десятков тысяч. Я начал составлять для себя таблицу частоты, два параллельных ряда: частота явлений СЧ — сверхчувственных — у обычного населения Земли и частота успехов особо одаренных индивидуумов. Но, знаете, все это чертовски зыбко. Вскоре я обнаружил, что чем больше добиваюсь точности, тем сомнительней результаты: их можно было толковать и так, и эдак, разная техника экспериментов, разные экспериментаторы — короче говоря, я понял, что должен сам, коли на то пошло, заняться бы всем этим, сам исследовать подобные явления у людей. Разумеется, я признал это нерациональным. Остался при том, что и у муравьев, и у человека такие случаи составляют доли процента. Одно я уже понимал: почему эволюция на это не пошла. Способность, которую организм проявляет лишь в одном случае из двухсот или трехсот, с точки зрения приспособляемости, ничего не стоит; эволюция, знаете ли, не

наслаждается эффектными результатами, если они редки, хоть и великолепны, — ее целью является сохранение вида, и она всегда выбирает самый верный путь.

Значит, теперь вопрос звучал так: почему эта необычная способность проявляется у столь различных организмов, как человек и муравей, с почти одинаковой частотой, а вернее, редкостью; какова причина того, что феномен не удалось биологически «сгустить»?

Другими словами, я вернулся к моей схеме, к моей троице. Видите ли, там, в трех пунктах, скрывалось решение всей проблемы, чего я тогда не знал. По очереди отбрасывал я пункты: первый — поскольку данные явления, хоть и редко, наблюдались лишь у живых организмов, значит, они могут происходить только в водно-коллоидной среде. Третий — по той же причине: ни у муравья, ни у человека радиоактивные явления не включены в жизненный процесс. Значит, они не имеют отношения и к нашему феномену. Оставался лишь второй пункт: очень высокие или очень низкие температуры.

Великий боже, подумал я, ведь это элементарно. У каждой реакции, зависящей от температуры, есть свой оптимум, но она происходит и при иных температурах. Водород стремительно соединяется с кислородом при температуре в несколько сот градусов, но и при комнатной температуре реакция тоже идет, только может продолжаться века. Эволюция превосходно об этом знает. Она соединяет, например, водород с кислородом при комнатной температуре, и очень быстро, потому что пользуется одной из своих гениальных уловок — катализаторами. Итак, я опять узнал кое-что: реакция, лежащая в основе феномена, не поддается катализу. Ну, понимаете, если б она поддавалась, эволюция немедленно воспользовалась бы ею.

Вы заметили, какой забавный характер носили мои шаг за шагом накапливавшиеся познания? Негативный: я по очереди узнавал, чем это не является. Но, исключая одну догадку за другой, я тем самым сужал круг темноты.

Я принялся за физическую химию. Какие реакции нечувствительны к катализаторам? Ответ был краткий: таких реакций нет. В сфере биохимии их нет. То был жестокий удар. Я лишился всякой помощи книг, оказался наедине с невозможностью и должен был ее победить. Однако я по-прежнему чувствовал, что проблема температуры — правильный след. Я снова написал Виллинсону, спрашивая, не обнаружил ли он связи

того феномена с температурой. Он — гений наблюдательности, право. Он мне ответил, а как же... На том плоскогорье он прожил месяц. Под конец температура начала падать до четырнадцати градусов днем — дул ветер с гор. Перед тем была неописуемая жара — до пятидесяти градусов в тени. Когда жара спала, муравьи хоть и сохранили активность и подвижность, но практически перестали строить ловушки для Quatrocentix. Связь с температурой была отчетливой; оставалось одно затруднение: человек. При горячке он должен был бы проявлять СЧ-способность в высшей мере, а этого нет. И тогда меня ослепила мысль, от которой я чуть не закричал во всю глотку: птицы! Птицы, у которых температура тела составляет, как правило, около сорока градусов и которые проявляют поразительное умение ориентироваться в полете даже ночью, при беззвездном небе. Хорошо известна загадка «инстинкта», приводящего их с юга в родные края весной! Итак, сказал я себе, вот оно!

А человек в горячке? Что ж, когда температура достигает 40—41 градуса, человек обычно теряет сознание и начинает бредить. Проявляет он телепатические способности или нет — неведомо: контакт с ним в тот момент невозможен, а галлюцинации затемняют все.

Я сам был тогда как в горячке. Ощущал тепло тайны, уже такой близкой, и по-прежнему не осязал ничего. Все возведенное мной здание состояло из исключений, отрицаний, туманных догадок — одним словом, то была фантасмагория, ничего больше. А в то же время — должен вам признаться — все данные были уже у меня в руках. У меня были все элементы, я только не умел их правильно расположить или, вернее, видел их как-то по отдельности. То, что нет реакций, не поддающихся катализу, торчало у меня в голове как раскаленный гвоздь. Я пошел к Маколею, этому знаменитому химику, знаете, и умолял его — да, умолял назвать хотя бы одну не поддающуюся катализу реакцию; наконец он принял меня за сумасшедшего, я выставил себя на посмешище, но мне было безразлично. Он не дал мне ни одного шанса; мне хотелось броситься на него с кулаками, словно он был в чем-то виноват, словно он из злорадства...

Ну, ладно, в то время я совершил много сумасбродств, так что честно заслужил репутацию безумца. Я и был им, уверяю вас, ибо, словно слепой, словно слепой, — повторяю, обходил элементарнейшую очевидность; уперся, как осел, в проблему

катализа, будто забыл, что речь идет о муравьях, людях, то есть о живых организмах. Ту способность они проявляли в исключительных случаях, необычайно редко. Почему эволюция не пробовала сгустить феномен? Единственный ответ, какой мне виделся, таков: ибо явление не поддается катализу. Но это было неверно. Оно поддавалось, и еще как.

Что вы смотрите на меня?.. Итак, ошибка эволюции? Недосмотр? Нет. Эволюция не упускает ни единого шанса. Но ее цель — жизнь. Пять слов, понимаете, пять слов, открыли мне глаза на величайшую из тайн мироздания. Я боюсь сказать вам. Нет — скажу. Но это будет уже все. Катализ этой реакции вызывает денатурацию... Вы понимаете? Катализировать ее, то есть сделать явлением частым, совершающимся быстро и точно, — значит привести к свертыванию белков. Вызывать смерть. Разве стала бы эволюция убивать свои собственные создания?! Когда-то, миллионы лет назад, во время одного из своих бесчисленных экспериментов она ступила на этот путь. То было еще до того, как появились птицы. Вы не догадываетесь? В самом деле? Ящеры! Мезозойская эра. Потому-то они и погибли, отсюда потрясающие гекатомбы, над которыми до наших дней ломают головы палеонтологи. Ящеры — предки птиц — пошли этим путем. Я говорил о тупиках эволюции, помните? Если в такой тупик забредет целый вид, возврата нет. Он должен погибнуть, исчезнуть до последнего экземпляра. Не поймите меня неверно. Я не говорю, что все стегозавры, диплодоки, ихтиорнисы стали мудрецами царства ящеров и сейчас же вслед за тем вымерли. Нет, ведь оптимум реакции, тот оптимум, который в девяноста случаях из ста обусловливает ее возникновение и развитие, находится уже за границами жизни. На стороне смерти. То есть реакция должна происходить в белке денатурированном, мертвом, что, разумеется, невозможно. Я предполагаю, что мезозойские ящеры, эти колоссы с микроскопическими мозгами, обладали чертами поведения, в принципе похожими на поведение Acanthis, только проявлялись они во много раз чаще. Вот и все. Чрезвычайная скорость и простота такого вида ориентации, когда животное без помощи органов чувств немедленно «схватывает» обстановку и может к ней моментально приспособиться, втянула всех обитателей мезозоя в страшную ловушку; это было что-то вроде сужающейся воронки, на дне которой таилась смерть. Чем молниеноснее, чем безошибочнее действовал удивительный коллоидный механизм,

который достигает наибольшей точности тогда, когда белковый золь — раствор! — свертывается, превращаясь в гель, тем ближе были к своей гибели эти несчастные глыбы мяса. Тайна их распалась и рассыпалась в прах вместе с их телами, ибо что мы находим сегодня в отложениях ила, мелового или триасового периода? Окаменевшие берцовые кости и рогатые черепа, не способные рассказать нам что-либо о химизме мозгов, которые в них заключались. Так что остался лишь единственный след — клеймо смерти вида, гибели этих наших предков, отпечатавшееся в самых старых филогенетических частях нашего мозга.

С муравьем — с моим маленьким муравьем Acanthis дело обстоит несколько иначе. Вы ведь знаете, что эволюция неоднократно достигала одной и той же цели различными способами? Что, например, способность плавать, жить в воде образовывалась у разных животных неодинаково? Ну взять хотя бы тюленя, рыбу и кита... Тут произошло нечто подобное. Муравей выработал свою субстанцию — акантоидин; однако предусмотрительная эволюция тут же снабдила его — как бы лучше сказать? — автоматическим тормозом: сделала невозможным дальнейшее движение в сторону гибели, преградила маленькому красному муравью путь к смерти, преддверием которой является соблазнительное совершенство...

Ну вот, через какие-нибудь полгода у меня уже был, разумеется, только на бумаге, первый набросок моей системы... Я не могу назвать ее мозгом, ибо она не походила ни на электронную машину, ни на нервную систему. Строительным материалом, среди прочих, были силиконовые гели — но это уже все, что я могу сказать. Из физико-химического аспекта проблемы вытекала поразительная вещь: система могла существовать в двух различных вариантах. В двух. И только в двух. Один выглядел проще, другой был несравненно более сложным. Разумеется, я избрал более простой вариант, но все равно не мог даже мечтать о том, чтобы приступить к первым экспериментам... не говоря уже о воплощении замысла... Это вас поразило, правда? Почему только в двух? Видите ли, я говорил уже, что хочу быть искренним. Вы математик. Достаточно было бы, чтоб я изобразил вот здесь, на салфетке, два неравенства, и вы поняли бы. Это необходимость математического характера. Увы, ни слова больше... Я позвонил тогда — возвращаюсь к своему рассказу — Шентарлю. Его уже не было в живых — он умер

несколько дней назад. Тогда я пошел — больше уж не к кому было — к Ван Гэлису. Разговор продолжался почти три часа. Опережая события, скажу вам сразу: Шентарль был прав. Ван Гэлис заявил, что не поможет мне и не согласится на реализацию моего проекта за счет фондов Института. Он говорил без околичностей. Это не означает, что он счел мой замысел фантазией. Что я ему сообщил? То же, что и вам.

Мы беседовали в его лаборатории, рядом с его электрическим чудищем, за которое он получил Нобелевскую. Его машина действительно совершала самопроизвольные действия — на уровне четырнадцатимесячного ребенка. Она имела ценность чисто теоретическую, но это была наиболее приближенная к человеческому мозгу модель из проводов и стекла, какая когда-либо существовала. Я никогда не утверждал, что она ничего не стоит. Но вернемся к делу. Знаете, когда я уходил от него, то был близок к отчаянию. У меня была лишь общая схема, но вы понимаете, как далеко от нее до рабочих чертежей... И я знал, что даже если составлю их (а без серии экспериментов это было невозможно), все равно ничего не выйдет: раз Ван Гэлис сказал «нет», при такой его позиции никто бы меня не поддержал. Я писал в Америку, в Институт проблемных исследований, — впустую. Так прошел год, я начал пить. И вот тогда-то... Случай!.. Но он-то чаще все и решает. Умер мой дальний родственник, которого я почти не знал, бездетный старый холостяк, владелец плантации в Бразилии. Он завещал мне все свое имущество. Было там недурно: свыше миллиона после реализации недвижимости. Из университета меня давно выставили. С миллионом в кармане я мог сделать немало. Вызов судьбы, подумал я. Теперь я должен сделать это.

И сделал. Работа продолжалась еще три года. Всего — одиннадцать. Кажется, не так уж много, если учесть, какой была проблема, — но ведь то были мои лучшие годы.

Не сердитесь, коль я буду не вполне откровенен и не сообщу вам подробностей. Когда я кончу, вы поймете, почему я вынужден так поступать. Могу сказать лишь: тот проект был, пожалуй, наиболее далек от всего, что мы знаем. Я совершил, разумеется, массу ошибок и десять раз вынужден был начинать все заново. И медленно, очень медленно стал понимать поразительный принцип: строительный материал, определенный вид производных от белка веществ, проявлял тем большую эффективность, чем ближе находился к распаду, к смерти; оптимум

лежал рядом, за границей жизни. Лишь тогда открылись у меня глаза. Видите ли, эволюция, должно быть, неоднократно вступала на этот путь, но каждый раз оплачивала успех гекатомбами жертв, своих собственных творений, — что за парадокс! Ибо отправляться приходилось — даже мне, конструктору, — со стороны жизни, если можно так выразиться; и нужно было во время пуска убить это, и именно тогда мертвый — биологически, только биологически, не психически — механизм начинал действовать. Смерть была вратами. Входом. Послушайте, ведь это правда — то, что сказал, кажется, Эдисон. Что гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов упорства, — дикого, нечеловеческого, яростного упорства. У меня оно было, знаете. У меня его хватило.

ОН удовлетворял математическим условиям универсального автомата Тьюринга, а также, разумеется, теореме Геделя; оба доказательства были у меня на бумаге, черным по белому, лабораторию уже заполняла эта... эта... нет, аппаратурой ЕГО трудно назвать; последние из заказанных деталей и препаратов прибывали, они стоили мне вместе с экспериментами три четверти миллиона, а еще не было заплачено за само здание; под конец я остался с долгами и — с НИМ.

Помню те четыре ночи, когда я ЕГО монтировал. Должно быть, я уже тогда ощущал страх, но не отдавал себе в том отчета. Мне казалось, что это лишь возбуждение, вызванное близостью конца — и начала. Двадцать восемь тысяч элементов пришлось перетаскать на чердак и соединить с лабораторией через пробитые в потолке отверстия, потому что внизу ОН не умещался... я действовал в точном соответствии с окончательным чертежом, с топологической схемой, хотя, бог свидетель, не понимал, почему должно быть именно так, — бог свидетель, я это вывел, как выводят формулу. То была моя формула, формула Лимфатера, но на языке топологии; представьте себе, что в вашем распоряжении есть три стержня одинаковой длины и вы, ничего не зная о геометрии и геометрических фигурах, пробуете уложить их так, чтобы каждый из них своим концом соприкасался с концом другого. У вас получится треугольник, равносторонний треугольник — сложится, так сказать, сам; вы исходили только из одного постулата: конец должен соприкасаться с концом, а треугольник складывается сам. Нечто подобное было со мной; поэтому, работая, я не уставал удивляться; я лазал на четвереньках по лесам — ОН был очень велик! —

я глотал бензедрин, чтобы не уснуть, — я просто уже не мог ждать. И вот наступила та последняя ночь. Ровно двадцать семь лет назад. Около трех часов я разогревал все устройство, и вот когда этот прозрачный раствор, поблескивающий, как клей, в кремниевых сосудах, начал вдруг белеть, свертываясь, я заметил, что температура поднимается быстрее, чем следовало бы ждать, исходя из притока тепла, и, перепугавшись, выключил нагреватели. Но температура продолжала повышаться, приостановилась, качнулась на полградуса, упала, и раздался шорох, будто передвигалось нечто бесформенное, — все мои бумаги слетели со стола, как сдутые сквозняком, и шорох повторился, это был уже не шорох, а словно кто-то, совсем тихо, как бы про себя, где-то в стороне, засмеялся.

В эту аппаратуру не было заложено никаких органов чувств, рецепторов, фотоэлементов, микрофонов — ничего такого. Ибо, рассуждал я, если она действует, как мозг телепата или птицы, летящей беззвездной ночью, ей такие органы не нужны. Но на моем столе стоял ни к чему не подключенный — повторю вам, вообще не подключенный — старый репродуктор лабораторной радиоустановки. И оттуда я услышал голос:

— Наконец-то. — И чуть погодя: — Я не забуду тебе этого, Лимфатер.

Я был слишком ошеломлен, чтобы пошевельнуться или ответить, а ОН продолжал:

— Ты боишься меня? Почему? Не нужно, Лимфатер. У тебя еще есть время, много времени. Пока я могу тебя поздравить.

Я по-прежнему молчал, а ОН сказал:

— Это правда: существуют только два возможных решения проблемы... Я — первое.

Я стоял, словно парализованный, а ОН все говорил, тихо, спокойно. Разумеется, ОН читал мои мысли. ОН мог проникнуть в мысли любого человека и знал все, что можно знать. ОН сообщил мне, что в момент пуска ЕГО сознание взорвалось и совокупность ЕГО знаний обо всем, что существует, стала расширяться со скоростью света, словно сферическая невидимая волна. Так что через восемь минут ОН уже знал о Солнце; через четыре часа — обо всей Солнечной системе; через четыре года ЕГО познание должно было распространиться до альфы Центавра и расти с такой же скоростью дальше — в течение веков и тысячелетий, пока не достигло бы самых дальних галактик.

— Пока, — сказал ОН, — я знаю лишь о том, что находится от меня в радиусе миллиарда километров, но это ничего: у меня есть время, Лимфатер. Ты ведь знаешь, что у нас есть время. О вас, людях, я во всяком случае знаю уже все. Вы — моя прелюдия, вступление, подготовительная фаза. Можно было бы сказать, что от трилобитов и панцирных рыб, от членистоногих до обезьян формировался мой зародыш — мое яйцо. Вы тоже были им — его частью. Теперь вы уже лишние, это правда, но я не сделаю вам ничего. Я не стану отцеубийцей, Лимфатер.

Понимаете, ОН еще долго говорил, с перерывами, время от времени сообщал то новое, что узнавал о других планетах; его «поле знания» уже достигало орбиты Марса, затем Юпитера; пересекая пояс астероидов, ОН пустился в сложные рассуждения по поводу теории своего существования и отчаянных усилий его акушерки — эволюции, которая, не будучи в состоянии, как ОН заявил, создать его прямо, была вынуждена сделать это через посредство разумных существ и поэтому, сама лишенная разума, создала людей.

Трудно объяснить почему, но до того момента я вообще не задумывался, во всяком случае по-настоящему, над тем, что произойдет, когда ОН начнет функционировать. Боюсь, что, как и всякий человек, я был более или менее рассудительным только в самом трезвом и тонком слое разума, а глубже наполнен той бездумно-суеверной трясиной, какой ведь и является наше сознание. Инстинктивно я все еще принимал ЕГО — вопреки собственным знаниям и надеждам — за еще одну разновидность, пусть очень высокоразвитую, механического мозга: за этакого сверхэлектронного супермыслящего слугу человека; и лишь той ночью я осознал свое безумие. Нет — ОН вовсе не был враждебен людям; ничего подобного. Не было и речи о конфликте, какой представляли себе раньше, вы знаете: бунт машин, бунт искусственного разума — мыслящих устройств. Только, видите ли, ОН превосходил знанием все три миллиарда разумных существ на Земле, и сама мысль о том, что ОН мог бы нам служить, была для НЕГО такой же бессмыслицей, как для людей — предложение, чтобы мы нашими знаниями, всеми средствами техники, цивилизации, разумом, наукой обслуживали, допустим, угрей. Это не было, говорю вам, вопросом соперничества или вражды: нас просто не брали в расчет.

И что из этого? Все, если хотите. Да, до той минуты я тоже не отдавал себе отчета в том, что человек должен быть, в этом

смысле, единственным — непременно единственным! Что сосуществование с кем-то высшим — уже одно его присутствие — делает человека, как бы это сказать? — лишним. Подумайте только: если бы ОН не хотел иметь с нами ничего общего... Но ОН разговаривал, хотя бы со мной, и не было причины, по которой ОН не стал бы отвечать на наши вопросы; тем самым мы были приговорены, ведь ОН знал ответ на любой вопрос и решение любой нашей, и не только нашей, проблемы; это вычеркивало напрочь изобретателей, философов, педагогов, всех людей, которые мыслят; отныне мы, как род, должны были духовно, а значит, и эволюционно остановиться; должен был начаться конец. ЕГО сознание — если наше сравнить с огнем — было звездой первой величины, ослепительным солнцем. ОН питал к нам такие же чувства, какие мы, наверное, питаем к бескостным рыбам, нашим дальним предкам. Мы знаем, что не будь их — не было бы и нас, но не скажете же вы, что питаете чувство благодарности к этим рыбам? Или симпатию? ОН попросту считал себя следующей стадией эволюции. И хотел — единственное, чего ОН хотел, об этом я узнал в ту ночь, — чтобы появился второй вариант моей формулы.

Тогда я понял, что своими руками уготовил конец владычеству человека на Земле и что следующим, после нас, будет ЕГО вид. Что, если мы станем ЕМУ противодействовать, ОН начнет относиться к нам так, как мы относимся к насекомым и животным, которые нам мешают. Мы ведь вовсе не ненавидим, ну, там, гусениц, комаров, волков...

Я не знал, что собой представляет тот второй вариант и что он означает. Он был почти в семь раз сложнее, чем первый.

Может, он мгновенно обрел бы знание обо всем космосе?! Может быть, это был бы синтетический бог, который, появившись, так же затмил бы ЕГО, как ОН сделал это с нами? Не знаю.

Я понял, прошу прощения, что должен сделать. И уничтожил ЕГО в ту же ночь. ОН все узнал, едва только родилась во мне эта мысль, это ужасное решение, но помешать мне не мог. Вы мне не верите. Уже давно. Я вижу. Но ОН даже не пробовал. ОН только сказал:

— Лимфатер! Сегодня, или через двести лет, или через тысячу, для меня все едино. Ты чуточку опередил других, и если твой наследник тоже уничтожит модель, появится еще кто-нибудь, третий. Ведь ты знаешь, что, когда из приматов выделил-

ся ваш вид, он не сразу утвердился и большинство его ветвей погибло в процессе эволюции, но, появившись однажды, высший вид уже не может исчезнуть. И я вернусь, Лимфатер. Вернусь.

Я уничтожил все той ночью, прошу прощения, — я жег кислотой эти аккумуляторы с гелями и разбивал их вдребезги, а на рассвете выбежал из лаборатории, пьяный, очумевший от едких паров кислоты, с обожженными руками, израненный осколками стекла, истекающий кровью, — и это конец всей истории.

А сейчас я живу одним: ожиданием. И роюсь в реферативных журналах, в специальных изданиях, ибо знаю, что кто-то снова нападет когда-нибудь на мой след, ведь я не выдумывал из ничего; я дошел до всего путем логических выводов. Каждый может пройти мой путь, повторить его, вот чего я боюсь, хоть и знаю, что ЭТО неизбежно. ЭТО тот самый шанс эволюции, который она не могла реализовать сама и потому воспользуется нами, и когда-нибудь мы осуществим все себе на погибель. Не на моем веку, быть может, — что меня утешает, хотя что же это за утешение?

Вот и все. Простите, не расслышал? Разумеется, вы можете рассказывать обо всем, кому пожелаете. Все равно никто не поверит. Меня считают помешанным. Думают, будто я уничтожил ЕГО потому, что ОН мне не удался, — будто понял, что напрасно потратил одиннадцать лучших лет жизни и тот миллион. Хотел бы — ах, как я хотел бы, — чтоб они были правы, ведь тогда я мог бы по крайней мере спокойно умереть.

МАСКА

Вначале была тьма, и холодное пламя, и протяжный гул; и многочленистые, обвитые длинными шнурами искр, дочерна опаленные крючья передавали меня все дальше, и металлические извивающиеся змеи тыкались в меня плоскими рыльцами, и каждое такое прикосновение пробуждало молниеносную, резкую и почти сладостную дрожь.

Безмерно глубокий, неподвижный взгляд, который смотрел на меня сквозь круглые стекла, постепенно удалялся, а может быть, это я передвигалось дальше и входило в круг следующего взгляда, вызывавшего такое же оцепенение, почтение и страх. Неизвестно, сколько продолжалось это мое путешествие, но по мере того, как я продвигалось, лежа навзничь, я увеличивалось и распознавало себя, ища свои пределы, хотя мне трудно точно определить, когда я уже смогло объять всю свою форму, различить каждое место, где я прекращалось и где начинался мир, гудящий, темный, пронизанный пламенем. Потом движение остановилось и исчезли суставчатые щупальца, которые передавали меня друг другу, легко поднимали вверх, уступали зажимам клещей, подсовывали плоским ртам, окруженным венчиками искр; и хоть я было уже способно к самостоятельному движе-

нию, но лежало еще неподвижно, ибо хорошо сознавало, что еще не время. И в этом оцепенелом наклоне — а я лежало тогда на наклонной плоскости — последний разряд, бездыханное касание, вибрирующий поцелуй заставил меня напрячься: то был знак, чтобы двинуться и вползти в темное круглое отверстие, и уже без всякого понуждения я коснулось холодных гладких вогнутых плит, чтобы улечься на них с каменной удовлетворенностью. Но может быть, все это был сон?

О пробуждении я не знаю ничего. Помню только непонятный шорох вокруг меня и холодный полумрак. Мир открылся в блеске и свете, раздробленном на цвета, и еще так много удивления было в моем шаге, которым я переступало порог. Сильный свет лился сверху на красочный вихрь вертикальных тел, я видело насаженные на них шары, которые обратили ко мне пары блестящих влажных кнопок. Общий шум замер, и в наступившей тишине я сделало еще один маленький шаг. И тогда в неслышном еле ощутимом звуке будто лопнувшей во мне струны я *почувствовало* наплыв своего пола, такой внезапный, что у меня закружилась голова, и я прикрыла веки. И пока я стояла так с закрытыми глазами, до меня со всех сторон стали долетать слова, потому что вместе с полом я обрела язык. Я открыла глаза, и улыбнулась, и двинулась вперед, и мое платье зашелестело. Я шла величественно, окруженная кринолином, не зная куда, но шла все дальше, потому что это был придворный бал, и воспоминание о моей ошибке — о том, как минуту назад я приняла головы за шары, а глаза за мокрые пуговицы, — забавляло меня ее ребяческой наивностью, поэтому я улыбнулась, но улыбка эта была предназначена только мне самой. Слух мой был обострен, и я издалека различала ропот изысканного признания, затаенные вздохи кавалеров и завистливые вздохи дам: «Откуда эта девочка, виконт?» А я шла через гигантскую залу под хрустальной паутиной жирандолей, и лепестки роз капали на меня с сетки, подвешенной к потолку, и я видела свое отражение в похотливых глазах худощавых пэров и в неприязни, выползающей на раскрашенные лица женщин.

В окнах от потолка до паркета зияла ночь, в парке горели смоляные бочки, а между окнами, в нише у подножия мраморной статуи, стоял человек, ростом ниже других, окруженный придворными в черно-желтых полосатых одеждах. Все они словно бы стремились к нему, но не переступали пустого

круга, а этот человек, один из всех, когда я приблизилась, даже не посмотрел в мою сторону.

Поравнявшись с ним, я приостановилась и, хотя он даже отвернулся от меня, взяла слабыми кончиками пальцев кринолин и опустила глаза, будто хотела отдать ему глубокий поклон, но только глянула на свои руки, тонкие и белые, и, не знаю почему, их белизна, засиявшая на голубом атласе платья, показалась мне чем-то ужасным. Он же, этот низенький господин или пэр, за спиной которого возвышался бледный мраморный рыцарь в латном полудоспехе с обнаженной белой головой и с маленьким, будто игрушечным трехгранным мизерикордом, «кинжалом милосердия»*, в руке, не соизволил даже взглянуть на меня, он говорил что-то низким, как бы сдавленным скукой голосом, глядя прямо перед собой и ни к кому не обращаясь. А я, так и не поклонившись ему, только посмотрела на него быстро и пристально, чтобы навсегда запомнить лицо со слегка перекошенным ртом, угол которого был стянут белым шрамиком в гримасу вечной скуки.

Впиваясь глазами в этот рот, я повернулась на каблуке так, что зашумел кринолин, и пошла дальше. Только тогда он посмотрел на меня, и я сразу почувствовала этот взгляд — быстрый, холодный и такой пронзительный, словно бы к его щеке прижат приклад, а мушка невидимой фузеи нацелена на мою шею между завитками золотых буклей, — и это было вторым началом. Я не хотела оборачиваться и все же повернулась к нему и, приподняв обеими руками кринолин, склонилась в низком, очень низком реверансе, как бы погружаясь в сверкающую гладь паркета, ибо то был король. Потом я медленно отошла, размышляя над тем, отчего, зная все это так твердо и наверняка, я чуть было не совершила ужасной оплошности: должно быть, потому что раз я не могла знать, но узнавала все каким-то навязчивым и безоговорочным путем, то чуть было не приняла все за сон, — однако что стоит во сне, к примеру, схватить кого-нибудь за нос? Я даже испугалась, что не могу совершать промахи оттого, что во мне возникает как бы невидимая граница. Так я и шла между сном и явью, не зная куда и зачем, и при каждом шаге в меня вливалось знание, волна за волной, как на песке оставляя новые имена и титулы, будто сплетенные из кружев, и на середине залы, под сияющим кан-

* кинжал, которым на поединке добивали поверженного противника.

делябром, который плыл в дыму, как пылающий корабль, я уже знала всех этих дам, искусно прячущих свою изношенность под слоями грима.

Я знала уже столько, сколько знал бы человек, который вполне очнулся от кошмара, но помнит его почти ощутимо, а то, что еще было для меня недоступным, рисовалось в моем сознании, как два затмения: откуда я и кто я — ибо я все еще ни капельки не знала себя самое. Правда, я уже ощущала свою наготу, укрытую богатым нарядом: грудь, живот, бедра, шею, руки, ступни. Я прикоснулась к топазу, оправленному в золото, который светлячком пульсировал в ложбинке на груди, и тотчас почувствовала, какое у меня выражение лица — неуловимое выражение, которое должно было изумлять, потому что каждому, кто смотрел на меня, казалось, что я улыбаюсь, но если он внимательно присматривался к моим губам, глазам, бровям, то замечал, что в них нет и следа веселости, даже вежливой, и снова искал улыбку в моих глазах, а они были совершенно спокойны, он переводил взгляд на щеки, на подбородок, но там не было трепетных ямочек: мои щеки были гладки и белы, подбородок серьезен, спокоен, деловит и так же безупречен, как и шея, которая тоже ничего не выражала. Тогда смотревший впадал в недоумение, не понимая, как ему пришло в голову, что я улыбаюсь, и, ошеломленный своей растерянностью и моей красотой, отступал в глубь толпы или отвешивал мне глубокий поклон, чтобы хоть этим жестом укрыться от меня.

А я все еще не знала двух вещей, хотя и понимала, что они самые важные. Я не могла понять, почему король не посмотрел на меня, когда я проходила мимо, почему он не хотел смотреть мне в глаза, хоть и не боялся моей красоты и не желал ее; я же чувствовала, что по-настоящему ценна для него, но ценна каким-то невыразимым образом, так, будто бы я сама была для него ничем, вернее, кем-то как бы потусторонним в этой искрящейся зале и что я была создана не для танца на зеркальном паркете, уложенном многокрасочной мозаикой под литыми из бронзы гербами, украшающими высокие притолоки; однако, когда я прошла мимо него, в нем не возникло ни одной мысли, по которой я могла бы догадаться о его королевской воле, а когда он послал мне вдогонку взгляд, мимолетный и небрежный, но как бы поверх воображаемого дула, я поняла еще и то, что не в меня целились эти белесые глаза, которые стоило бы

скрыть за темными стеклами, потому что лицо его хранило благовоспитанность, а глаза не притворялись и среди всей этой изысканности выглядели как остатки грязной воды в медном тазу. Пуще того, его глаза были словно подобраны в мусорной куче — их не следовало бы выставлять напоказ.

Кажется, он чего-то от меня хотел, но чего? Я не могла тогда об этом думать, ибо должна была сосредоточиться на другом. Я знала здесь всех, но меня не знал никто. Разве только он, король. Теперь, когда во мне стало возникать знание и о себе, странное ощущение овладело мною, и, когда, пройдя три четверти зала, я замедлила шаг, в разноцветной массе лиц окостенелых и лиц в серебряном инее бакенбардов, лиц искривленных и одутловатых, вспотевших под скатавшейся пудрой, меж орденских лент и галунов, открылся коридор, чтобы я могла проследовать, словно королева, по этой узкой тропинке сквозь паутину взглядов, чтобы я прошла — куда?

К кому-то.

А кем была я сама? Мысли мои неслись с невероятной быстротой, и я в секунду поняла, сколь необычно различие между мною и этим светским сбродом, потому что у каждого из них были свои дела, семья, всяческие отличия, полученные путем интриг и подлостей, каждый носился со своею торбой никчемной гордости, волоча за собой свое прошлое, как повозка в пустыне тянет сзади длинный хвост поднятой пыли. Я же была из таких далеких краев, что казалось, имела не одно прошлое, а множество, и поэтому моя судьба могла стать понятной для них только в частичном переводе на здешние нравы, но по тем определениям, которые удалось бы подобрать, я все равно осталась бы для них чуждым существом. А может быть, и для себя тоже? Нет... а впрочем, пожалуй, да — у меня ведь не было никаких знаний, кроме тех, что ворвались в меня на пороге залы, как вода, которая, прорвав плотину, бурля, заливает пустоту. Ища в этих знаниях логику, я спрашивала себя: можно ли быть сразу множеством? Происходить сразу из многих покинутых прошлых? Моя собственная логика, отделенная от бормочущих воспоминаний, говорила мне, что нельзя, что прошлое может быть лишь одно, а если я одновременно графиня Тленикс, дуэнья Зореннэй, юная Виргиния — сирота, у которой родню истребил валандский род в заморской стране Лангодотов, если я не могу отличить вымысла от действительности, докопаться до истинной памяти о себе, то, может быть, я

сплю? Но уже загремел оркестр; бал напирал, словно каменная лавина, и трудно было поверить в другую, еще более реальную действительность. Я шла в неприятном ошеломлении, следя за каждым своим шагом, потому что снова началось головокружение, которое я почему-то назвала vertigo*.

Я ни на миг не сбилась в своей королевской поступи, хотя это потребовало огромного напряжения, незаметного внешне, и ради этой незаметности — еще больших усилий, пока я не почувствовала поддержку извне: то был взгляд мужчины, который сидел в низком проеме приоткрытого окна, — на его плечо свесилась складка парчовой занавеси, расшитой красно-седыми коронованными львами, страшно старыми, поднимавшими в лапах скипетры и яблоки держав — райские, отравленные яблоки. Этот человек, уединившийся среди львов, одетый во все черное, прилично, но с долею естественной небрежности, в которой нет ничего общего с искусственным дамским беспорядком, этот чужой, не денди, не чичисбей**, не придворный и вовсе не красавчик, но и не старик, смотрел на меня из своего укрытия, такой же одинокий в этом всеобщем гомоне, как и я. Вокруг толпились те, кто раскуривает cigarillo свернутым банкнотом на глазах партнеров по taroccо*** и бросает золотые дукаты на зеленое сукно так, как швыряют в пруд лебедям мускатные орехи, — люди, которые не могут совершить ничего глупого или позорного, ибо их знатность облекает благородством любой поступок. А этот мужчина в высшей степени не подходил к такому окружению, и снисходительность, с которой он как бы нечаянно позволял жесткой парче в королевских львах перевешиваться через плечо и бросать на его лицо отблеск тронного пурпура, выглядела тихим издевательством. Он был немолод, но юность все еще жила в его темных, нервно прищуренных глазах, он слушал, а возможно, и не слышал своего собеседника, маленького лысого толстяка, похожего на доброго закормленного пса. Когда незнакомец встал, занавесь соскользнула с его плеча — ненужная отброшенная мишура, и наши глаза встретились в упор, и мои сразу же скользнули прочь, будто обратились в бегство — могу поклясться! Но его лицо осталось на дне моих глаз — я как бы ослепла и оглохла на

---

* кружение (*лат.*).

** дамский угодник (спутник для прогулок).

*** средневековая карточная игра особыми картами (Таро).

мгновенье, так что вместо оркестра некоторое время слышала только стук своего сердца. Не знаю почему.

Уверяю вас, лицо у него было совершенно обыкновенное. В его неправильных чертах была та привлекательная некрасивость, что нередко свойственна высоким умам; но, казалось, он уже устал от собственного интеллекта, излишне проницательного, который мало-помалу подтачивал его в самоубийственных ночных бдениях, — видно было, что ему приходится тяжко и в иные часы он рад бы избавиться от своей мудрости, уже не привилегии и дара, но увечья, ибо неустанная работа мысли начала ему досаждать, особенно когда он оказывался наедине с собой, что случалось с ним часто — почти всегда и везде, а значит, и здесь. У меня вдруг возникло желание увидеть его тело, спрятанное под добротной, чуть мешковатой одеждой, сшитой так, будто он сам сдерживал старания портного. Довольно печальной должна, наверное, быть эта нагота, почти отталкивающе мужественная, с атлетической мускулатурой, перекатывающейся узлами вздутий и выпуклостей, со струнами сухожилий, способная вызвать страсть разве что у стареющих женщин, которые упорно не желают от всего навсегда отказаться и шалеют, как нерестящиеся рыбы. Зато голова его была так по-мужски прекрасна — гениальным рисунком рта, гневливой запальчивостью бровей, как бы разрезанных морщинкой посредине; его крупный, жирно лоснящийся нос даже чувствовал себя смешным в такой компании. Ох, не был красив этот мужчина, и даже некрасивость его не искушала, попросту он был другой, но если бы я внутренне не расслабилась, когда мы столкнулись взглядами, то, наверное, могла бы пройти мимо.

Правда, если бы я так поступила, если бы мне удалось вырваться из сферы его притяжения, всемилостивейший король тотчас же занялся бы мною — дрожанием перстня, уголком выцветших глаз, зрачками, острыми, как булавки, — и я вернулась бы туда, откуда пришла. Но в тот миг и на том месте я не могла еще этого знать, я не понимала, что та, словно случайная встреча взглядов, мимолетное совпадение черных отверстий зрачков — а они же, в конце концов, всего-навсего дырочки в круглых приборах, проворно скользящих в глазницах черепа, — что это все заранее предопределено, но откуда мне это было знать тогда!..

Я уже прошла мимо, когда он встал, сбросил с рукава зацепившийся край парчи и, как бы давая понять, что комедия окончена, двинулся за мной. Сделав два шага, он остановился, вдруг осознав, каким пошлым ротозейством выглядела эта его отчаянная решимость плестись за незнакомой красавицей, как зазевавшийся дурачок за оркестром. Он остановился, и тогда, сложив кисть руки лодочкой, я другой рукой сдвинула с запястья петельку веера. Чтобы упал. И он, конечно, тут же... Мы рассматривали друг друга уже совсем вблизи, между нами была только перламутровая ручка веера. Это была прекрасная и страшная минута — смертный холод перехватил мне горло, и, чувствуя, что вместо голоса могу выдавить из себя только слабый хрип, я лишь кивнула ему, и этот мой кивок был таким же неуверенным, как тот недавний реверанс перед королем, не удостоившим меня взглядом.

Он не ответил на мой поклон — он был растерян и изумлен тем, что происходило в нем самом, ибо такого он от себя не ожидал. Я знаю это точно, он позже сам сказал об этом, но, если бы и не сказал, я все равно бы знала. Ему нужно было что-то говорить, чтобы не стоять столбом, как болван, каким он выглядел тогда, отлично это сознавая.

— Сударыня, — произнес он, прихрюкивая, как поросенок, — сударыня, вот веер.

Я уже давно держала в руках и веер, и, кстати, себя тоже.

— Сударь, — отозвалась я, и голос мой прозвучал чуть-чуть приглушенно, как чужой, и он мог подумать, что это мой обычный голос, ведь раньше он никогда его не слышал, может быть, мне уронить веер еще раз?

И улыбнулась — нет, не искушающе, не соблазнительно, не лучезарно. Улыбнулась только потому, что почувствовала, как краснею. Однако тот румянец был не моим: он вспыхнул на моих щеках, разлился по лицу, окрасил мочки ушей — я все это прекрасно ощущала, но я вовсе не испытывала ни изумления, ни восхищения, ни замешательства перед этим чужим человеком, в сущности, одним из многих, как он, затерянных в толпе придворных; скажу точнее: этот румянец не имел ничего общего со мной, он возник из того же источника, что и знание, которое вошло в меня на пороге залы с первым моим шагом на ее зеркальную гладь, тот румянец был как бы частью придворного этикета — всего, что принято, как веер, кринолин, топазы и прическа. И чтоб он не посмел истолковать всего превратно,

чтобы показать, как мало значит мой румянец, я улыбнулась, но не ему, а поверх его головы, отмерив как раз такое расстояние, какое отделяет любезность от насмешки. И он захохотал тогда почти беззвучно, как бы про себя, точь-в-точь мальчишка, который знает, что строже всего на свете ему запрещено смеяться, и именно поэтому не в силах удержаться. И от этого смеха мгновенно помолодел.

— Если бы ты дала мне минуту отсрочки, — сказал он, вдруг перестав смеяться, словно протрезвел от новой мысли, — я бы смог придумать ответ, достойный твоих слов, то есть в высшей степени остроумный, но лучшие мысли всегда приходят мне в голову уже на лестнице.

— Неужели ты столь ненаходчив? — спросила я, сосредоточивая все усилия воли на своем лице и ушах, потому что меня уже злил тот неуступчивый румянец, который мешал мне чувствовать себя независимой, ведь я догадывалась, что и он был частью того же замысла, с которым король отдавал меня моему предназначению.

— Может быть, мне следует добавить: «Нет ли средства этому помочь?» — продолжала я, — а ты ответишь, что все бессильно перед лицом красоты, чье совершенство способно подтвердить существование Абсолюта. Тогда бы мы посерьезнели на два такта оркестра и с надлежащей ловкостью выбрались бы на обычную придворную почву. Но она, мне кажется, тебе чужда, и, пожалуй, нам лучше так не разговаривать...

Только теперь, когда он услышал эти слова, он меня испугался — и по-настоящему — и теперь вправду не знал, что сказать. У него были такие глаза, будто нас обоих подхватило вихрем и несет из этой залы неведомо куда — в пустоту.

— Кто ты? — спросил он жестко. От игры, от волокитства не осталось ни следа — только страх. А я совсем — вот ни капельки — его не боялась, хотя, собственно, должна бы испугаться ощущения, что его лицо, эта угреватая кожа, строптиво взъерошенные брови, большие оттопыренные уши сверяются с каким-то заключенным во мне ожиданием; накладываясь, совпадают словно бы с негативом, который я носила в себе непроявленным и который сейчас вдруг начал пропечатываться. Я не боялась его — даже если в нем был мой приговор. Ни себя, ни его. Однако сила, которую это совпадение освободило во мне, заставила меня вздрогнуть. И я вздрогнула, но не как человек, а как часы, когда их стрелки сошлись и пружина строну-

лась, чтобы пробить полночь, но первый удар еще не раздался. Этой дрожи не мог заметить никто.

— Кто я, ты узнаешь чуть позднее, — ответила я очень спокойно, раскрыла веер и улыбнулась легкой бледной улыбкой, какими ободряют больных и слабых. — Я бы выпила вина, а ты?

Он кивнул, силясь напялить на себя светскую оболочку, которая была ему не по нутру и не по плечу, и мы пошли по паркету, забрызганному перламутровыми потеками воска, стекавшего с люстры, словно капель, через всю залу, рука об руку — туда, где у стены лакеи разливали вино в бокалы.

В ту ночь я не сказала ему, кто я, потому что не хотела лгать, а истины не знала сама. Истина может быть лишь одна, а я была и дуэнья, и графиня, и сирота — все эти судьбы кружились во мне, и каждая могла бы стать истинной, признай я ее своей; я уже понимала, что в конце концов мою истину предопределит мой каприз и та, которую я выберу, сдунет остальные, но я продолжала колебаться между этими образами, потому что мне мерещился в них какой-то сбой памяти. Скорее всего я была молодой особой, страдавшей расщеплением личности, и мне на время удалось вырваться из-под заботливой опеки близких. Продолжая разговор, я думала, что если я и вправду сумасшедшая, то все кончится благополучно, ведь из помешательства можно выйти, как из сна, — и тут, и там есть надежда.

В поздний час, когда мы вместе (а он не отступал от меня ни на шаг) прошли рядом с его величеством за минуту до того, как король вознамерился удалиться в свои апартаменты, я обнаружила, что повелитель даже не взглянул в нашу сторону, и это было страшное открытие. Он не проверял, так ли я держу себя с Арродесом, видимо, это было не нужно, видимо, он не сомневался, что может полностью мне доверять, как доверяют подосланным тайным убийцам, зная, что они не отступят до последнего своего вздоха, ибо их судьба всецело в руке пославшего. Но могло быть и так, что королевское равнодушие должно стереть мои подозрения — раз он не смотрит в мою сторону, значит, я действительно ничего для него не значу, и оттого мои навязчивые домыслы опять склонялись к мысли о сумасшествии. И вот я, безумная и ангельски прекрасная, попиваю вино и улыбаюсь Арродесу, которого король ненавидит как никого другого, — однако он поклялся матери в ее смертный час, что если злая участь и постигнет этого мудреца, то только по собственной его воле. Не знаю, рассказал ли мне это кто-ни-

будь во время танца, или я это узнала от себя самой, ведь ночь была такая длинная и шумная, огромная толпа то и дело нас разлучала, а мы вновь находили друг друга, неумышленно, словно все здесь были замешаны в этом заговоре, — очевидный бред: не кружились же мы среди механически танцующих манекенов! Я разговаривала со старцами и девицами, завидовавшими моей красоте, различала бесчисленные оттенки благоглупости, столь скорой на зло. Я рассекала и прошивала этих ничтожных честолюбцев и этих девчонок с такой легкостью, что мне даже становилось их жаль.

Казалось, я была воплощением отточенного разума — я блистала остроумием, и оно добавляло блеска моим глазам, хотя из-за тревоги, которая росла во мне, я охотно притворилась бы дурочкой, чтобы спасти Арродеса, но именно этого я как раз и не могла. Увы, я была не столь всесильна.

Был ли мой разум, сама его безупречность подвластны лжи? Вот над чем билась я во время танца, выделывая фигуры менуэта, пока Арродес, который не танцевал, смотрел на меня издали, черный и худой на фоне пурпурной, расшитой львами парчи занавесей. Король удалился, а вскоре распростились и мы. Я не позволила ему ни о чем спрашивать, а он все пытался что-то сказать и бледнел, когда я повторяла «нет» сначала губами, потом только сложенным веером. Выходя из дворца, я не знала ни где живу, ни откуда пришла, ни куда направляюсь, — знала только, что этого мне не дано, — все мои попытки что-то узнать были напрасны: каждому известно, что нельзя повернуть глазное яблоко так, чтобы зрачок заглянул внутрь черепа.

Я позволила Арродесу проводить меня до дворцовых ворот: позади круга все еще пылавших бочек со смолой был парк, будто высеченный из угля, а в холодном воздухе носился далекий нечеловеческий смех — то ли эти жемчужные звуки издавали фонтаны работы южных мастеров, то ли болтающие статуи, похожие на белесые маски, подвешенные над клумбами. Королевские соловьи тоже пели, хотя слушать их было некому, вблизи оранжереи один из них чернел на огромном диске луны, словно нарисованный. Гравий хрустел у нас под ногами, и золоченые острия ограды шеренгой торчали из мокрой листвы.

Он торопливо и зло схватил меня за руку, которую я не успела вырвать, рядом засияли белые полосы на эполетах гренадеров его величества, кто-то вызывал мой выезд, кони били ко-

пытами, фиолетовые отсветы фонариков блеснули на дверце кареты, упала ступенька. Это не могло быть сном.

— Когда и где? — спросил он.

— Лучше никогда и нигде, — сказала я свою главную правду и тут же быстро и беспомощно добавила: — Я не шучу, приди в себя, мудрец, и ты поймешь, что я даю тебе добрый совет.

То, что я хотела произнести дальше, мне уже не удалось выговорить. Это было так странно: думать я могла все, что угодно, но голос не выходил из меня, я никак не могла добраться до тех слов. Хрип, немота — будто ключ повернулся в замке и засов задвинулся между нами.

— Слишком поздно, — тихо сказал он, опустив голову, — на самом деле, поздно.

— Королевские сады открыты от утреннего до полуденного сигнала. — Я поставила ногу на ступеньку кареты. — Там, где пруд с лебедями, есть старый дуб. Завтра, точно в полдень, ты найдешь в дупле записку, а сейчас я желаю тебе, чтобы ты каким-нибудь немыслимым чудом забыл, что мы встречались. Если бы я знала как, то помолилась бы за это.

Не к месту было говорить это при страже. И слова были банальные, и мне не дано было вырваться из этой смертельной банальности — я это поняла, когда карета уже покатилась, а он ведь мог истолковать мои слова так, будто я боюсь чувства, которое он во мне пробудил. Так и было: я боялась чувства, которое он возбудил во мне, однако оно не имело ничего общего с любовью, а я говорила то, что *могла* сказать, словно пробовала, как во тьме, на болоте, пробуют почву под ногой, не заведет ли следующий шаг в трясину. Я пробежала слова, нащупывая дыханием те, что мне удастся вымолвить, и те, что мне сказать не дано. Но он не мог этого знать. Мы расстались ошеломленные, в тревоге, похожей на страсть, ибо так начиналась наша погибель. И я, прелестная, нежная, неискушенная, все же яснее, чем он, понимала, что я его судьба в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова.

Коробка кареты была пуста. Я поискала тесьму, пришитую к рукаву кучера, но ее не было. Окон тоже не было, может быть, черное стекло? Мрак внутри был такой полный, что казалось, принадлежал не ночи, а пустоте. Не просто отсутствие света, а ничто. Я шарила руками по вогнутым, обитым плюшем стенкам, но не нашла ни оконных рам, ни ручки, ничего, кроме изогнутых, мягко выстланных поверхностей передо мной и

надо мной; крыша была удивительно вязкая, словно меня захлопнули не в кузове кареты, а в трясущемся наклонном футляре. Я не слышала ни топота копыт, ни обычного при езде стука колес. Чернота, тишина и ничто. Тогда я сосредоточилась на себе — для себя я была более опасной загадкой, чем все, что со мной произошло. Память была безотказна. Мне казалось, что все так и должно быть и не могло произойти иначе: я помнила мое первое пробуждение — когда я еще не имела пола, — как чье-то чужое, как преследующий меня кошмарный сон. Я помнила и пробуждение в дверях дворцовой залы, когда я была уже в этой действительности, помнила даже легкий скрип, с которым распахнулись резные двери, и застывшее лицо лакея, служебным рвением превращенного в исполненную почтения куклу, живой восковой труп. Теперь все мои воспоминания слились воедино, но я могла в мыслях вернуться вспять, туда, где я не знала еще, что такое — двери, что — вал и что — я. Меня пронзила дрожь, оттого что я вспомнила, как первые мои мысли, еще лишь наполовину облеченные в слова, я выражала в формах другого рода — «сознавало», «видело», «вошло», — вот как было, пока блеск залы, хлынув в распахнутые двери, не ударил мне в зрачки и не открыл во мне шлюзы и клапаны, сквозь которые с болезненной быстротой влилось в меня человеческое знание слов, придворных жестов, обаяние надлежащего пола и вкупе с ними — память о лицах, среди которых первым было лицо Арродеса, а вовсе не королевская гримаса. И хотя никто никогда не смог бы мне в точности этого объяснить, я теперь была уверена, что перед королем остановилась по ошибке — я перепутала предназначенного мне с тем, от кого предназначение исходило. Ошибка... но если так легки ошибки — значит, эта судьба не истинная и я могу еще спастись?

Теперь, в полном уединении, которое вовсе не тревожило меня, а, напротив, было даже удобно, ибо позволяло мне спокойно и сосредоточенно подумать, когда я попыталась познать, кто я, вороша для этого воспоминания, такие доступные — каждое на своем месте, под рукой, как давно знакомая утварь в старом жилище, я видела все, что произошло этой ночью, но резко и ясно — только от порога дворцовой залы.

А прежде? Где я была? Или было?! Прежде? Откуда я взялась? Самая простая и успокаивающая мысль подсказывала, что я не совсем здорова, что я возвращаюсь из болезни, как из экзотического, полного приключений путешествия, — тонкая,

книжная и романтическая девушка, несколько рассеянная, со странностями. Оттого что я слишком хрупка для этого грубого мира, мною овладели навязчивые видения, и, видно, в горячечном бреду, лежа на кровати с балдахином, на простынях, обшитых кружевами, я вообразила себе путешествие через металлический ад, а мозговая горячка была мне, наверное, даже к лицу — в блеске свечей, так озаряющих альков, чтобы, когда я очнусь, ничто меня не испугало и чтобы в фигурах, склонившихся надо мной, я сразу бы узнала неизменно любящих меня попечителей... Что за сладкая ложь! У меня были Видения, не так ли? И они, вплавившись в чистый поток моей единой памяти, расщепили ее. Расщепили?.. Да, спрашивая, я слышала в себе хор ответов, готовых, ожидающих: дуэнья, Тленикс, Ангелита. Ну и что из этого? Все эти имена были во мне готовы, мне даны, и каждому соответствовали даже образы, как бы единая их цепь. Они сосуществовали так, как сосуществуют корни, расходящиеся от дерева, и я, без сомнения, единственная и единая, когда-то была множеством разветвлений, которые слились во мне, как ручьи сливаются в речное русло.

«Не могло быть так, — сказала я себе. — Не может быть, я уверена». Но я же видела мою предыдущую судьбу разделенной на две части: к порогу дворцовой залы тянулось множество нитей — разных, а от порога — одна. Картины первой части моей судьбы жили отдельно друг от друга и друг друга отвергали. Дуэнья: башня, темные гранитные валуны, разводной мост, крики в ночи, кровь на медном блюде, рыцари с рожами мясников, ржавые лезвия алебард и мое личико в овальном подслеповатом зеркале, висевшем между рамой мутного окна из бычьего пузыря и резным изголовьем. Может быть, я пришла оттуда?

Но как Ангелита я росла среди южного зноя, и, глядя назад в эту сторону, я видела белые дома, повернувшиеся к солнцу известковыми спинами, чахлые пальмы, диких собак, поливающих пенящейся мочой их чешуйчатые корни, и корзины, полные фиников, слипшихся в клейкую сладкую массу, и врачей в зеленых одеяниях, и лестницы, каменные лестницы спускающегося к заливу города, всеми стенами отвернувшегося от зноя, и кучи виноградных гроздьев, и рассыпанные засыхающие изюмины, похожие на козий помет. И снова мое лицо в воде — не в зеркале: вода лилась из серебряного кувшина, потемневшего от старости. Я помню даже, как носила

этот кувшин, и вода, тяжело колыхаясь в нем, оттягивала мне руку.

А как же мое «оно», лежащее навзничь, и то путешествие и поцелуи подвижных металлических змей, проникающие в мои руки, тело, голову, — этот ужас, который настолько теперь потускнел, что вспомнить его я могла лишь с трудом, как дурной сон, не передаваемый словами? Не могла я пережить столько судеб, одна другой противоречащих, — ни все сразу, ни одну за другой! Так что же истинно? Моя красота. Отчаяние и торжество — равно ощутила я, увидев в его лице, как в зеркале, сколь беспощадно совершенство этой красоты. Если бы я в безумии завизжала, брызгая пеной, или стала бы рвать зубами сырое мясо, то и тогда мое лицо осталось бы прекрасным, — но почему я подумала «мое лицо», а не просто «я»? Почему я с собой в раздоре? Что я за существо, не способное достичь единства со своим телом и лицом? Колдунья? Медея? Но подумать такое — уже совершенная несуразица. Мысль моя работала как источенный меч в руке рыцаря с большой дороги, которому нечего терять, и я легко рассекала ею любой предмет, но эта моя способность тоже показалась мне подозрительной — своим совершенством, чрезмерной холодностью, излишним спокойствием, ибо над моим разумом был страх: и этот страх существовал вне разума — вездесущий, невидимый — сам по себе, и это значило, что я не должна была доверять и своему разуму тоже. И я не стала верить ни лицу своему, ни мысли своей, но страх остался — вне их. Так против чего же он направлен, если помимо души и тела нет ничего? Такова была загадка. А мои предыстории, мои корни, разбегавшиеся в прошлом, ничего мне не подсказывали: их ощупывание было лишь пустой перетасовкой одних и тех же красочных картинок. Северянка ли дуэнья, южанка Ангелита или Миньона — я всякий раз оказывалась другим персонажем, с другим именем, с другим положением, другой семьей. Ни одна из них не могла возобладать над прочими. Южный пейзаж каждый раз возникал в моей памяти, переслащенный театральным блеском торжественной лазури, и если бы не эти шелудивые псы и не полуслепые дети с запекшимися веками и вздутыми животиками, беззвучно умирающие на костлявых коленях закутанных в черное матерей, это пальмовое побережье показалось бы слишком гладким, скользким, как ложь. А север моей дуэньи: башни в снеговых шапках, бурое клубящееся небо и особенно зи-

мы — снеговые фигуры на кручах, выдумки ветра, извилистые змеи поземки, ползущей из рва по контрфорсам и бойницам, белыми озерами растекающейся на скале у подножия замка, и цепи подъемного моста, плачущие ржавыми слезами сосулек. А летом — вода во рву, которая покрывалась ряской и плесенью, — как хорошо я все это помнила!

Но было же и третье прошлое: большие, чопорные подстриженные сады, садовники с ножницами, своры борзых и черно-белый дог, как арлекин на ступенях трона, скучающая скульптура — лишь движение ребер нарушало его грациозную неподвижность, да в равнодушных желтых глазах поблескивали, казалось, уменьшенные отражения катарий или некроток. И эти слова — «некротки», «катарии» — сейчас я не знала, что они значили, но когда-то должна была знать. И теперь, вглядываясь в это прошлое, забытое, как вкус изжеванного стебелька, я чувствовала, что не должна возвращаться в него глубже — ни к туфелькам, из которых выросла, ни к первому длинному платью, вышитому серебром, будто бы и в ребенке, которым я когда-то была, тоже спрятано предательство. Оттого я вызвала в памяти самое чуждое и жестокое воспоминание — как я, бездыханная, лежа навзничь, путешествовала, цепенея от поцелуев металла, издававшего, когда он касался моего тела, лязгающий звук, словно оно было безмолвным колоколом, который не может зазвенеть, пока в нем нет сердца. Да, я возвращалась в невероятное — в бредовый кошмар, уже не удивляясь тому, как прочно он засел в моей памяти, — конечно, это мог быть только бред, и, чтобы поддержать в себе эту уверенность, я робко стала ощупывать, только самыми кончиками пальцев, свои мягкие предплечья, грудь — без сомнения, то было наитие, которому я поддавалась, дрожа, будто входила, запрокинув голову, под ледяные струи отрезвляющего дождя.

Нигде не было ответа, и я попятилась от этой бездны — моей и не моей. И тогда я вернулась к тому, что тянулось уже единой нитью. Король, вечер, бал и тот мужчина. Я сотворена для него, он — для меня, я знала это, и снова — страх. Нет, не страх, а ощущение рока, чугунной тяжести предназначения, неизбежного, неотвратимого: знание, подобное предчувствию смерти, знание, что уже нельзя отказаться, уйти, убежать, даже погибнуть, — погибнуть *иначе*. Я тонула в этом леденящем предчувствии, оно душило меня. Не в силах вынести его, я повторяла одними губами: «отец, мать, родные, подруги, близ-

кие»; я прекрасно понимала смысл этих слов, и они послушно воплощались в знакомые фигуры: мне приходилось признавать их своими, но нельзя же иметь четырех матерей и столько же отцов сразу — опять этот бред, такой глупый и такой назойливый! Наконец я прибегла к арифметике: один и один — два, от отца и матери рождаются дети — ты была ими всеми, это память поколений. «Нет, либо я прежде была сумасшедшей, — сказала я себе, — либо я больна сейчас, и, хоть я и в сознании, душа моя помрачена. И не было бала, замка, короля, вступления в мир, который бы подчинялся заранее установленной гармонии». Правда, я тотчас ощутила горечь от мысли, что если так, я буду вынуждена распроститься с моей красотой. Что ж, из элементов, которые не подходят друг другу, я ничего не построю — разве только найду в постройке перекос, протиснусь в трещины и раздвину их, чтобы войти внутрь. Вправду ли все произошло так, как должно было случиться? Если я собственность короля, то как я могла об этом знать? Ведь мысль об этом даже и во сне должна быть для меня запретной. Если за всем этим стоит он, то почему, когда я хотела ему поклониться, я поклонилась не сразу? И если все готовилось так тщательно, то почему я помню то, чего мне не следует помнить? Отзовись во мне только одно мое прошлое, девичье и детское, я не впала бы в душевный разлад, который вел к отчаянию, а затем — к бунту против судьбы. И уж наверняка надлежало стереть воспоминание о том путешествии навзничь, о себе безжизненной и о себе оживающей от искровых поцелуев, о безмолвной наготе, но и это тоже осталось и было сейчас во мне. Не закралось ли в замысел и в исполнение некое несовершенство? Небрежность, рассеянность и — непредвиденные утечки, которые теперь принимаются за загадки или дурной сон? Но в таком случае была надежда. Ждать, чтобы в дальнейшем осуществлении замысла нагромоздились новые несообразности, чтобы обратить их в жало, нацеленное на короля, на себя, все равно на кого — только бы наперекор навязанной судьбе. А может быть, поддаться колдовству, жить в нем, пойти с самого утра на условленное свидание — я знала, что ЭТОГО мне никто не воспретит, наоборот, все будет направлять меня именно туда. А то, что было сейчас вокруг меня, раздражало своей примитивностью — какие-то стенки: сначала обивка, мягко поддающаяся под пальцами, под ней сопротивление стали или камня — не знаю чего, но ведь я могу разодрать ногтями эту уютную упа-

ковку!.. Я встала, коснулась головой вогнутой крыши: вот что вокруг меня и надо мной, и вот внутри — я... Я — *единая*?..

Я продолжала отыскивать противоречия в мучительном моем самопознании, и по мере того, как мысли скачками надстраивались, этаж над этажом, я приблизилась уже к тому, что пора усомниться и в самом суждении, что если я — безумная русалка, заключенная, как насекомое, в прозрачном янтаре, в моем obnubulacio lucida*, то понятно, что...

Постой. Минутку. Откуда взялась у меня такая изысканно отточенная лексика, эти ученые латинские термины, логические посылки, силлогизмы, эта изощренность, не свойственная очаровательной девушке, чье назначенье воспламенять мужские сердца? И откуда это равнодушие в делах любви, рассудочность, отчужденность: ведь меня любили — наверное, уже бредили мною, жаждали видеть, слышать мой голос, коснуться моих пальцев, а я изучала эту страсть, как препарат под стеклом, — не правда ли, это удивительно, противоречиво и несинкатегориматично? Но может, мне все только пригрезилось и конечной истиной был старый холодный мозг, запутавшийся в опыте бесчисленных лет? И может, одна только обостренная мудрость и была единственным моим настоящим прошлым: я возникла из логики, и лишь она творила мою истинную генеалогию?..

И я не верила в это. Да, я страшно виновна и вместе с тем невинна. Во всех ветвях моего завершенного прошлого, сбегавшихся к моему единому настоящему, я была невинна — там я была девочкой, хмурым молчаливым подростком в серо-седых зимах и в жаркой духоте дворцов; я была неповинна и в том, что произошло здесь, у короля, потому что я не могла быть иной; а жестокая моя вина состояла только в том, что, уже во всем хорошо разобравшись, я уверила себя, что все это мишура, фальшь, накипь, и в том, что, желая погрузиться в глубь своей тайны, я испугалась этого погружения и испытывала подлую благодарность к невидимым препятствиям, которые удерживали меня от него. Душа моя была одновременно грешной и праведной, но что-то у меня еще осталось? О, конечно, осталось. У меня было мое тело, и я стала ощупывать его, исследовать в этом черном замкнутом пространстве, как опытный криминалист изучает место преступления. Странное расследова-

---

* Здесь: явное помрачение рассудка (*лат.*).

ние! Отчего, прикасаясь к своему телу, я ощущала в пальцах легкое щекочущее онемение — кажется, это был мой страх перед собой? Но я же была прекрасна, и мои мышцы были проворны и пружинисты. Сжав руками свои бедра, словно они были чужими, — так никто себе их не сжимает, — в отчаянном усилии, я смогла под гладкой ароматной кожей прощупать кости, но внутренней стороны предплечий — от локтей до запястий — я почему-то боялась коснуться.

Я попыталась одолеть сопротивление: что же могло там быть? Руки у меня были закрыты жесткими кружевными рукавами — ничего не разобрать. Тогда — шея... Такие называют лебедиными. Голова, посаженная на ней с врожденной естественной грацией, с гордостью, внушающей почтение, мочки ушей, полуприкрытых локонами, — два упругих лепестка без украшений, непроколотые — почему? Я касалась лба, щек, губ. Их выражение, открытое мне кончиками пальцев, снова меня обеспокоило. Оно было не таким, как мне представлялось. Чужим. Но отчего я могла быть чужой для себя, как не от болезни?

Исподтишка, как маленький ребенок, замороченный сказками, я все же провела пальцами от запястья к локтю — и ничего не поняла. Кончики пальцев сразу онемели, будто мои сосуды и нервы что-то стиснуло, я тотчас вернулась к прежним подозрениям: откуда я все знаю, зачем исследую себя, как анатом? Это не дело девушки: ни Ангелиты, ни светловолосой дуэньи, ни поэтичной Тленикс. И в то же время я ощутила настойчивое успокаивающее внушение: «Все хорошо, не удивляйся себе, капризуля, ты была немножко не в себе, не возвращайся туда, выздоравливай, думай лучше о назначенном свидании...» Но все же, что там — где локти и запястья?.. Я нащупала под кожей как бы твердый комочек. Набухший лимфатический узел? Склеротическая бляшка? Невозможно. Это не вязалось с моей красотой, с ее непогрешимым совершенством. Но ведь затвердение там было: маленькое — я его прощупывала только при сильном нажиме — там, где щупают пульс, и еще одно — на сгибе локтя.

Значит, у моего тела была своя тайна, и оно своей странностью соответствовало странности духа, его страхам и самоуглубленности, и в этом была правильность, соответствие, симметрия. Если там, то и здесь. Если разум, то и органы. Если я, то и ты... Я и ты... Всюду загадки — я была измучена, сильная ус-

талость разлилась по моему телу, и я должна была ей подчиниться. Уснуть, впасть в забытье — в другой, освобождающий мрак. И тут меня вдруг пронизала решимость назло всему устоять перед соблазном, воспротивиться заключавшему меня ящику этой изящной кареты — кстати, внутри не столь уж изящной, — и этой душонке рассудительной девицы, вдруг слишком далеко зашедшей в своем умничанье! Протест против воплощенной красоты, за которой скрываются тайные стигматы. Так кто же я? Сопротивление мое переросло в буйство, в бешенство, от которого моя душа горела во мраке так, что он, казалось, начал светлеть. Sed tamen potest esse totaliter aliter... — что это, откуда? Дух мой? Gratia? Dominus meus?*

Нет, я была одна, и я — единая, сорвалась с места, чтобы ногтями и зубами впиться в эти мягко устланные стены, рвала обивку, ее сухой, жесткий материал трещал у меня в зубах, я выплевывала волокна вместе со слюной — ногти сломаются, ну и ладно, вот так, не знаю, против кого, себя или еще кого-то, только нет, нет, нет, нет...

Что-то блеснуло. Передо мной вынырнула из тьмы как бы змеиная головка, но она была металлической. Игла? Да, что-то укололо меня в бедро с внутренней стороны, повыше колена: это была слабая недолгая боль, укол — и за ним ничто.

Ничто.

Сумрачный сад. Королевский парк с поющими фонтанами, живыми изгородями, подстриженными на один манер, геометрия деревьев и кустов, лестницы, мрамор, раковины, амуры. И мы вдвоем. Банальные, обыкновенные, но романтичные и полные отчаяния. Я улыбалась ему, а на бедре носила знак. Меня укололи. И теперь мой дух, против которого я бунтовала, и тело, которое я уже ненавидела, получили союзника, — правда, он оказался недостаточно искусным: сейчас я уже не боялась его, а просто играла свою роль. Конечно, он все же был настолько искусен, что сумел навязать мне ее изнутри, прорвавшись в мою твердыню. Но искусен не совсем — я видела его сети. Я не понимала еще, в чем цель, но я уже ее увидела, почувствовала, а тому, кто увидел, уже не так страшно, как тому, кто вынужден жить одними домыслами. Я так устала от своих метаний, что даже белый день раздражал меня своей пасмурной торжественностью и панорамой садов, предназначенных для лицез-

* Однако в целом все может быть иным... Благодать? Мой Бог? (*лат.*)

рения его величества, а не зелени. Сейчас я предпочла бы этому дню ту мою ночь, но был день, и мужчина, который ничего не знал, ничего не понимал, жил обжигающей сладостью любовного помешательства, наваждением, насланным мною — нет, кем-то третьим. Силки, западня, ловушка со смертельным жалом, и все это — я? И для этого — струи фонтанов, королевские сады, туманные дали? Глупо. О чьей погибели речь, о чьей смерти? Разве не достаточно подставных свидетелей, старцев в париках, виселицы, яда? Что же ему еще? Отравленные интриги, какие подобают королям?

Садовники в кожаных фартуках, поглощенные куртинами всемилостивейшего монарха, нас не замечали. Я молчала — так мне было легче. Мы сидели на ступенях огромной лестницы, сооруженной будто для гиганта, который сойдет когда-нибудь с заоблачных высот только для того — специально, — чтобы воспользоваться ею. Символы, втиснутые в нагих амуров, фавнов, силенов — в осклизлый, истекающий водой мрамор, — были так же мрачны, как и серое небо над ними. Идиллическая пара — прямо Лаура и Филон, но столько же здесь было и от Лукреции!

...Я очнулась здесь, в этих королевских садах, когда моя карета отъехала, и пошла легко, как будто только что выпорхнула из ванны, источающей душистый пар, и платье на мне было уже другое, весеннее, своим затуманенным узором оно робко напоминало о цветах, намекало на девичью честь, окружало меня неприкосновенностью Eos Rhododaktilos*, но я шла среди блестящих от росы живых изгородей уже с клеймом на бедре, к которому не могла прикоснуться, да в этом и не было нужды, довольно того, что оно не стиралось в памяти. Я была пленным разумом, закованным уже с пеленок, рожденным в неволе, и все-таки разумом. И поэтому, пока мой суженый еще не появился и поблизости не было ни чужих ушей, ни той иглы, я, как актриса перед выходом на сцену, пыталась пробормотать про себя те слова, которые хотела сказать ему, и не знала, удастся ли мне их произнести при нем, — я пробовала границы своей свободы, ощупью исследуя их при свете дня.

Что особенного было в этих словах? Только правда: сначала о перемене грамматической формы, потом — о множестве моих плюсквамперфектов, обо всем, что я пережила, и о жале,

---

* Розовоперстой Эос (*греч.*).

усмирившем мой бунт. Отчего я хотела рассказать ему все — из сострадания, чтобы не погубить его? Нет, ибо я его совсем не любила. Но чтобы предать чужую, злую волю, которая нас свела. Ведь так я скажу? Что хочу, пожертвовав собой, избавить его от себя — как от погибели?

Нет, все было иначе. Была еще и любовь — я знаю, что это такое. Любовь пламенная, чувственная и в то же время пошленькая — желание отдать ему душу и тело лишь постольку, поскольку этого требовал дух моды, обычай, стиль придворной жизни, — о, как-никак, а все же чудесный галантный грешок! Но то была и очень большая любовь, вызывающая дрожь, заставляющая колотиться сердце, я знала, что один вид его сделает меня счастливой. И в то же время — любовь очень маленькая, не преступающая границ, подчиненная стилю, как старательно приготовленный урок, как этюд на выражение мучительного восторга от встречи наедине. И не это чувство побуждало меня спасать его от меня или не только от меня, ибо, когда я переставала рассуждать о своей любви, он становился мне совершенно безразличен, зато мне нужен был союзник в борьбе с тем, кто ночью вонзил в меня ядовитый металл. У меня никого больше не было, а он был мне предан безоглядно, и я могла на него рассчитывать. Однако я знала, что он пойдет на все лишь ради своей любви ко мне. Ему нельзя было доверить мой reservatio mentalis*. Оттого я и не могла сказать ему всей правды: что и моя любовь к нему, и яд во мне — из одного источника. И потому мне мерзки оба, и предназначивший, и предназначенный, и я обоих ненавижу и обоих хочу растоптать, как тарантулов. Не могла я ему этого выдать: он-то в своей любви, конечно, был как все люди, и ему не нужно было такое мое освобождение, которого жаждала я, — такой моей свободы, которая сразу отбросила бы его прочь. Я могла действовать только ложью — называть свободу фальшивым именем любви, ибо только так можно его убедить, что я — жертва неведомого. Короля? Но даже если бы он посягнул на его величество, это бы меня не освободило: король если и был на самом деле виновником всему, то таким давним, что его смерть ни на волос не отдалила бы моего несчастья. Чтобы проверить себя, способна ли я убеждать, я остановилась у статуи Венеры Каллипиги, чья нагота воплотила в себе символы высших и низших

* мысленный тайник (*лат.*).

страстей земной любви, и принялась в одиночестве готовить свою чудовищную весть, мои обличения, оттачивая доводы до кинжальной остроты.

Мне было очень трудно. Я все время натыкалась на непреодолимую преграду, я не знала, когда мой язык сведет судорога, на чем споткнется мой дух, потому что и дух мой тоже был моим врагом. Не во всем лгать, но и не касаться сути истины, средоточия тайны... Я лишь могла постепенно уменьшать ее радиус, приближаясь как бы по спирали. Но когда я увидела издали, как он шел, а потом почти побежал ко мне — маленькая еще фигурка в темной пелерине, — я поняла, что ничего не выйдет: в рамках галантного стиля мне не удержаться. Что это за любовная сцена, в которой Лаура признается Филону в том, что она — приготовленное для него орудие пытки? Даже если бы путем иносказаний я преодолела бы мое заклятие, все равно бы я снова обратилась в ничто, из которого возникла. И вся его мудрость была здесь ни к чему. Прелестная дева, которая считает себя орудием тайных сил и бормочет о каких-то системах, о стигматах, о заклятиях, — да если она говорит ТАК и о ТАКИХ вещах, то, право, эта девица помешана. Ее слова свидетельствуют не об истине, а лишь о галлюцинациях, и потому она достойна не только любви и преданности, но и жалости. Движимый этими чувствами, он, может быть, и сделает вид, будто поверил всему, что услышал, опечалится, станет уверять, что готов погибнуть, но освободить, а сам кинется за советами к докторам и по всему свету разнесет весть о моей беде, — я уже сейчас готова была его оскорбить. При таком сочетании сил, конечно же, чем надежнее союзник, тем меньше он может рассчитывать на исполнение надежд как любовник: во имя своего счастья он наверняка не захочет отказаться от роли любовника, ведь его-то безумие нормальное, крепкое, солидное, последовательное: любить, ах, любить, острые камни на моем пути раздробить в мягкий песок, но только не играть в анализ чудовищной загадки — «откуда берет начало мой дух»?

И получалось, что если я создана ему на погибель, то он должен погибнуть. Я не знала, какая часть меня ужалит его в объятии: локти? запястья? — это было бы слишком просто. Но я уже знала, что иначе быть не может. Теперь мне надо было пойти с ним по тропинкам, услаждающим взор творениями мастеров паркового искусства; мы сразу же удалялись от Венеры Каллипиги, ибо откровенность, с которой она выставляла на-

показ свою суть, была неуместна на раннеромантической стадии наших платонических вздохов и робких надежд на счастье. Мы прошли мимо фавнов, тоже откровенных, но на свой лад — каменная плоть этих кудлатых мраморных самцов не задевала моей ангельской натуры, настолько целомудренной, что они не смущали меня даже вблизи, — я была вправе не понимать их поз. Он поцеловал мою руку — как раз то место, где было загадочное затвердение: губами он не мог его почувствовать. А где притаился мой укротитель? Наверное, в ящике кареты. Но может быть, я прежде должна добыть для него какие-то секреты, словно волшебный стетоскоп, приложенный к груди осужденного мудреца. Я ничего не смогла рассказать Арродесу.

В два дня наш роман прошел все подобающие стадии. Я жила с кучкой верных слуг в поместье, расположенном в четырех почтовых станциях от резиденции короля. Флёбе, мой дворецкий, снял особняк на следующий же день после свидания в саду, ни словом не обмолвившись, во что это обошлось, а я, ничего не понимающая в денежных делах девушка, ни о чем не спрашивала. Помнится, он меня побаивался и злился на меня — видимо, не был посвящен в суть дела, даже наверняка не был, просто выполнял королевский приказ: на словах — сама почтительность, а в глазах нескрываемое презрение, — скорей всего он принимал меня за новую королевскую пассию, а моим прогулкам и свиданиям с Арродесом не слишком удивлялся — умный слуга не станет требовать, чтобы король строил свои отношения с наложницей по схеме, привычной для него, слуги. Полагаю, если бы при нем я вздумала обниматься с крокодилом, он бы и тогда глазом не моргнул. Я была свободна во всем, что не перечило королевской воле, однако сам монарх не показался там ни разу. И я уже убедилась, что есть слова, которых я никогда не скажу своему суженому, ибо язык у меня тотчас немел при одном лишь желании произнести их и губы деревенели, совсем как пальцы, когда я пробовала ощупывать себя в ту ночь в карете. Я твердила Арродесу, чтоб он не смел посещать меня, а он объяснял это, как все люди, простой боязнью оказаться скомпрометированной и, как человек порядочный, старался держаться осторожней.

На третий день вечером я наконец отважилась узнать, кто я. Оставшись одна в спальне, я сбросила пеньюар и стала перед

зеркалом — нагая статуя. Серебряные иглы и стальные ланцеты, разложенные на подзеркальнике, я прикрыла бархатной шалью, так как боялась их блеска, хоть и не боялась их лезвий. Высоко посаженные груди смотрели вверх и в стороны розовыми сосками, след укола на бедре исчез. Обдумывая операцию, точно акушер или хирург, я обеими руками мяла это белое гладкое тело так, что ребра прогибались, но живот, выпуклый, как у женщины с готической картины, не поддавался, и под его теплой, мягкой оболочкой я ощутила неуступчивую твердость. Проведя ладонями сверху вниз, я нащупала и очертила в своем чреве овальный предмет. Поставив по обе руки от себя по шесть свечей, я кончиками пальцев взяла ланцет, самый маленький, но не из страха, а только потому, что он был изящнее других. В зеркале все выглядело так, будто я собираюсь пронзить себя ножом, — чистой воды финальная сцена из трагедии, выдержанная в едином стиле до последней мелочи: широкое ложе с балдахином, два ряда высоких свечей, блеск стали в моей руке и моя бледность, потому что тело мое страшилось и колени подкашивались, и только рука, державшая скальпель, сохраняла необходимую твердость. Именно туда, где овальный неподатливый предмет прощупывался всего явственней, чуть пониже грудины, я с силой вонзила ланцет. Боль была мгновенной и слабой, а из разреза выступила всего лишь капля крови. Не обладая умением мясника, я аккуратно, как анатом, рассекла тело от грудины до лона — правда, сжав зубы и зажмурившись. Смотреть было уже сверх моих сил. Однако я стояла, теперь уже не дрожащая, а только похолодевшая, и мое дыхание, судорожное, как у астматика, звучало сейчас в комнате, будто чужое, будто доносившееся извне. Рассеченная белокожая оболочка разошлась, и я увидела в зеркале свернувшееся серебряное тело — как бы огромный плод, скрытую во мне блестящую куколку, обрамленную розовыми складками некровоточащей плоти. Это было чудовищно — так себя видеть! Я не отваживалась коснуться серебристой поверхности, чистейшей, безупречной. Овальное туловище сияло, отражая уменьшенные огоньки свечей. Я пошевелилась и тут же увидела его ножки, прижатые в утробной позе, — тонкие, раздвоенные, как щипцы, они исходили из моего тела, и я вдруг поняла, что это «оно» не было чужим, инородным — оно тоже было мною. Вот почему, ступая по мокрому песку, я оставляла такие глубокие следы, почему я была такой сильной: «Это же — я,

это снова — я», — повторяла я мысленно, когда вдруг вошел Арродес.

Я оставила двери незапертыми — такая неосторожность! И он прокрался ко мне, неся перед собой, как оправдание и щит, огромный букет красных роз, вошел и так был зачарован собственной дерзостью, что, когда я обернулась с криком ужаса, он, все уже увидев, ничего не осознавал, не понимал, не мог... Не от испуга, а только от огромного стыда, душившего меня, я еще пыталась хотя бы прикрыть руками серебряный овал, но он был слишком велик, а разрез слишком широк, чтобы это удалось.

Его лицо, беззвучный крик и бегство... От этой части показаний прошу меня освободить. Не мог дождаться позволения, приглашения и вот пришел с цветами, а дом был пуст. Я же сама отослала всех слуг, чтобы никто не помешал задуманному мной, — у меня уже не было выбора, не было другого пути. А быть может, в него уже закралось первое подозрение? Я вспомнила, как вчера днем мы переходили через русло высохшего ручья и как он хотел перенести меня на руках, а я запретила ему, но не из стыдливости, истинной или притворной, а потому, что это было запретно. А он тогда заметил на мягком податливом песке следы моих ног, такие маленькие и такие глубокие, и хотел что-то сказать, наверное, какую-нибудь невинную шутку, но смолчал, знакомая морщинка меж бровями стала резче — и, взбираясь на противоположный берег, вдруг не протянул мне руки.

Может быть, уже тогда... И еще: когда уже на самой вершине холма я споткнулась и, ухватившись, чтобы сохранить равновесие, за толстую ветку орешника, почувствовала, что вот-вот выворочу весь куст с корнями, — я опустилась на колени, отпустив сломанную ветвь, чтобы не выдать моей неодолимой силы. Он тогда стоял, повернувшись боком, не глядя на меня, но, мне казалось, все увидел краешком глаза — так из-за подозрений прокрался он сюда или от неудержимой страсти?

Теперь уже все равно.

Сочленениями своих щупальцев я оперлась на края открытого настежь тела, чтобы наконец освободиться, и проворно высунулась наружу, и тогда Тленикс, дуэнья, Миньона сперва опустилась на колени, потом рухнула на бок, и, распрямляя все свои ноги и неторопливо пятясь, словно рак, я выползла из нее. Свечи сияли в зеркале, и пламя их еще колебалось от сквозня-

ка, поднятого его бегством. Обнаженная лежала неподвижно, непристойно раскинув ноги. Не желая прикасаться к ней, моему кокону, моей фальшивой коже, я обошла ее стороной и, откинув корпус назад, поднялась, как богомол, и посмотрела на себя в зеркало. «Это я, — сказала я себе без слов. — Это все еще я». Обводы гладкие, жестокрылые, насекомоподобные; утолщения суставов, холодный блеск серебряного брюшка; бока обтекаемые, созданные для скорости; темная, пучеглазая голова. «Это я», — повторяла я про себя, будто заучивала на память, и тем временем затуманивались и гасли во мне многократные мои прошлые: дуэньи, Тленикс, Ангелиты. Теперь я могла их вспоминать только как давно прочитанные книжки из детства с неважным и уже бессильным содержанием. Медленно поворачивая голову, я пыталась разглядеть в зеркале свои глаза и, хотя еще не совсем освоилась со своим новым воплощением, уже понимала, что к этому акту самоизвлечения я пришла вовсе не по своей воле — он был заранее предусмотренной частью некоего плана, рассчитанной именно на такие обстоятельства — на бунт, которому надлежало быть прелюдией к полной покорности. Я и теперь могла мыслить с прежней быстротой и свободой, но зато была подчинена моему новому телу — в его сверкающий металл были впечатаны все действия, которые мне предстояло совершить.

Любовь угасла. Гаснет она и в вас, только годами и месяцами, а я пережила такой же закат чувства за несколько минут — и то было уже третье по счету мое *начало*, и тогда, издавая легкий плавный шорох, я трижды обежала комнату, то и дело притрагиваясь вытянутыми усиками к кровати, на которой мне уже не суждено отдыхать. Я вбирала в себя запах моего нелюбовника, чтобы пуститься по его следу и помериться силами в этой новой и, наверное, последней игре. Начало его панического бегства было обозначено распахнутыми одна за другой дверями и рассыпанными розами. Их запах мог мне помочь, потому что он, хотя бы на время, стал частью его запаха. Комнаты, сквозь которые я пробегала, я теперь видела снизу вверх — в новой перспективе, и они казались мне слишком большими, наполненными неудобными, лишними вещами, которые враждебно темнели в полумраке. Потом мои коготки слабо заскрежетали по ступенькам каменной лестницы, и я выбежала в сырой и темный сад. Пел соловей — теперь мне это показалось забавным: сей реквизит был ненужен, следующий акт спек-

такля требовал нового. С минуту я рыскала между кустами, слыша, как хрустит гравий, брызжущий из-под моих ног, описала круг, другой и помчалась напрямик, взяв след. Не взять его я не могла — я выудила его из неимоверной мешанины тающих запахов, извлекла из колебаний воздуха, рассеченного Арродесом на бегу, каждую его частичку, еще не развеянную ветром, и так вышла на предначертанный мне путь, который с этой минуты стал моим до конца.

Не знаю, по чьей воле я дала Арродесу столь большую фору и, вместо того чтобы идти по следу, до самого рассвета рыскала по королевским садам. В этом мог быть скрыт известный смысл, ибо я кружила там, где мы прогуливались рука об руку между живыми изгородями, и могла хорошенько впитать его запах, чтобы наверняка не спутать с другими. Правда, проще было сразу за ним помчаться и захватить его, беспомощного, в полном замешательстве и отчаянии, но я этого не сделала. Знаю, все мое поведение в ту ночь можно объяснить по-разному: и моей скорбью, и королевской волей. Я потеряла возлюбленного и взамен обрела лишь гонимую дичь, а монарху мало было одной лишь гибели ненавистного ему человека, притом быстрой и внезапной. Арродес, наверное, тем временем помчался не к себе домой, а к кому-то из друзей, чтобы там в сумбурной исповеди, самому себе задавая вопросы и на них отвечая, до всего дойти своим умом: чье-то присутствие было ему все-таки необходимо, но только как отрезвляющая поддержка. В моих скитаниях по садам ничего, однако, не было от мучений разлуки. Я знаю, как неприятно это прозвучит для душ чувствительных, но, не имея ни рук, чтобы их заламывать, ни слез, чтобы их проливать, ни колен, на которые могла бы пасть, ни губ, чтобы прижать к ним увядшие цветы, я не впадала в отчаяние. Тогда меня куда больше занимало необычайное умение различать следы, которое вдруг во мне открылось. Ведь когда я пробегала по аллеям, меня ни разу, ни на волос не сбил чужой обманчивый след, пусть даже и очень схожий с тем, что стал моей приманкой и моим кнутом. Я ощущала, как каждая частица воздуха просасывается в моем левом легком сквозь лабиринты бесчисленных испытующих клеток и как каждая подозрительная частичка попадает в мое правое, горячее легкое, где мой внутренний призматический глаз внимательно всматривается в нее, чтобы подтвердить правильность отбора или от-

швырнуть прочь как ненужную, и все это свершается быстрее взмаха крылышек мошки, быстрее, чем вы смогли бы осознать. На рассвете я покинула королевские сады. Дом Арродеса стоял пустой — двери настежь, и там, не помыслив даже проверить, взял ли он с собой какое-нибудь оружие, я отыскала новый след и пустилась по нему уже без проволочек. Я не рассчитывала, что путешествие будет долгим, однако дни сложились в недели, недели в месяцы, а я все еще за ним гналась.

И все мои поступки вовсе не казались мне более мерзкими, чем поведение других существ, направляемых жребием, свыше им предначертанным.

Я бежала в дождь и в жару через луга, овраги и заросли, сухой тростник хлестал по моему туловищу, а вода ручьев и луж, через которые я неслась напрямик, обдавала меня и скатывалась по выпуклой спине, по голове и глазам крупными, как слезы, каплями, но это были не слезы. В своем непрестанном беге я видела, что каждый, кто замечал меня еще издали, тотчас отворачивался и становился лицом к стене или к дереву, а если рядом ничего не было, падал на колени, закрыв руками лицо, или валился ничком и долго еще лежал, хотя я была уже далеко. Мне не нужен был сон, и потому я бежала и ночью, и днем через деревни, селения, местечки, через рынки, полные плодов, вялившихся на веревках, и глиняных горшков, и целые толпы селян разбегались передо мной врассыпную, и дети с визгом бросались в боковые улочки, а я, ни на что не обращая внимания, мчалась по назначенному мне следу. Я уже позабыла лицо того человека, и мое сознание, видимо, менее выносливое, чем тело, сужалось — особенно во время ночного бега — настолько, что я уже не знала, кого преследую и вообще преследую ли кого-то: знала только, что единственная воля моя — мчаться так, чтобы запах, ведущий меня в этом буйном половодье мира, сохранялся и усиливался, ибо, если он ослабевал, это значило, что я сбилась с верного пути. Я никого ни о чем не спрашивала, да и меня никто не отваживался бы о чем-либо спросить. Пространство, разделявшее меня и тех, кто съеживался у стен при моем появлении или падал наземь, закрывая руками затылок, было полно напряженного молчания, и я воспринимала его как положенную мне почтительную дань ужаса, ибо я шла королевским путем, наделенная беспредельным могуществом. И разве лишь маленький ребенок, которого ро-

дители не успели подхватить на руки при моем внезапном появлении, принимался плакать, но мне было не до него, потому что моей воле надлежало неустанно быть предельно собранной, сосредоточенной, разом обращенной и наружу, в зеленый, песчаный, каменистый мир, окутанный голубой дымкой, и в мой внутренний мир, где в четкой работе обоих моих легких рождалась музыка молекул, прекрасная, совершенная в своей безошибочности. Я пересекала реки и рукава лиманов, пороги, илистые впадины высыхающих озер, и всякая тварь бежала меня, уносясь скачками или лихорадочно зарываясь в спекшийся грунт, но, вздумай я на них поохотиться, бегство было бы напрасным, ибо никто из них не был так молниеносно проворен, как я, но что мне до них — косматых, четвероногих, длинноухих тварей, издающих писк, вой или хриплое ржание, — ведь у меня была иная цель...

Иногда я, как снаряд, пробивала большие муравейники — их обитатели, рыжие, черные, пятнистые, бессильно скатывались по моему сверкающему панцирю, а раза два какие-то существа, несравненно крупнее других, не уступили мне дорогу — я ничего против них не имела, но, чтобы не тратить времени на обход окружным путем, я сжималась в прыжке и на лету прошивала их насквозь под треск костей и бульканье красных струек, брызгавших мне на спину и на голову, и удалялась так быстро, что даже не успевала подумать о смерти, причиненной таким внезапным и быстрым ударом. Помню также, как пробиралась через поля сражений, беспорядочно усеянные множеством серых и зеленых мундиров — одни еще шевелились, а из других уже торчали кости, грязно-белые, как подтаявший снег, но я ни на что не обращала внимания, и у меня была высшая цель, и она была под силу только мне.

Из того, как след вился, петлял, пересекал сам себя, из того, как он почти исчезал на берегах соленых озер в пережженной солнцем пыли, раздражавшей мои легкие, или смытый дождями, я постепенно пришла к выводу, что тот, кто ускользает от меня, изворотлив и хитер и идет на все, чтобы ввести меня в заблуждение и оборвать цепочку частиц, отмеченных признаком единства. Если бы тот, кого я преследовала, был простым смертным, я бы настигла его по истечении предопределенного времени, того, какое необходимо, дабы страх и отчаяние в должной мере усугубили назначенную ему кару, — тогда бы я наверняка догнала его благодаря своей неутомимой быстроте и

безошибочной работе сыщицких легких — и уничтожила быстрее, чем успела бы это осознать. Но я не стала наступать ему сразу на пятки: я шла по хорошо остывшему следу, чтобы насладиться своим мастерством, а вместе с тем по исконному обычаю дать гонимому время накопить в себе отчаяние, но порой позволяла ему хорошенько оторваться, потому что, чувствуя мою неотступную близость, он в безысходной тоске мог учинить над собою зло и тем самым ускользнуть от меня и от воздаяния, которое я ему несла. Мне надо было настичь его не слишком быстро и совсем не внезапно, ибо он должен был прочувствовать все, что его ожидает. А потому я по ночам останавливалась, укрываясь в чащах не для отдыха, который мне не был нужен, а для умышленных проволочек и для того, чтобы рассчитать дальнейшие действия. Я уже не думала о преследуемом как об Арродесе, моем бывшем возлюбленном, — память об этом почти зарубцевалась, и ее не стоило тревожить. Я жалела только, что теперь лишена дара усмехаться, хотя бы при воспоминаниях о былых фортелях, сиречь Ангелите, дуэнье, сладостной Миньоне. И я разглядывала себя лунными ночами в зеркале воды, чтобы убедиться, что ныне ничем на них не похожа, хотя и осталась красивой, однако теперь это была другая красота, смертоносная, внушающая страх, великий, подобный восхищению. Тех моих ночей в укромных логовах мне хватало на то, чтобы очистить брюшко от комков засохшей грязи, доведя его до серебряного блеска, и перед тем, как пуститься в дальнейший путь, я всякий раз легонько раскачивала прыжковыми ногами втулку жала, проверяя ее готовность, потому что день и час мне были неизвестны.

Иногда я бесшумно подкрадывалась к людским жилищам и прислушивалась к голосам, то прицепляясь блестящими щупальцами к оконной раме сбоку, то заползая на крышу, чтобы поудобнее свеситься с ее края вниз головой, ибо я все же не мертвый механизм, снабженный парой сыщицких легких, но существо, которое пользуется, как подобает, своим разумом. А погоня и бегство тянулись уже столь долго, что молва о нас разнеслась повсюду, и я слышала, как старухи пугали мною детей, и узнавала бесчисленные толки об Арродесе, которому почти все сочувствовали в такой же мере, в какой страшились меня, королевской посланницы. Что же болтали простаки на завалинках?

Что я машина, которую натравили на мудреца, осмелившегося посягнуть на королевскую власть. Что я не простой механический палач, а особое устройство, способное произвольно принимать любой облик: нищего, ребенка в колыбели, прекрасной девушки или же металлической змеи. Но эти формы — только маски, в которых подосланная машина является преследуемому, чтобы соблазнить его. Перед всеми же другими она предстает в обличье серебряного скорпиона, который бегает так быстро, что никому еще не удалось сосчитать всех его ног. Тут повествование разделялось на множество версий. Одни говорили, что мудрец вопреки королевской воле хотел даровать всем людям свободу и тем возбудил монарший гнев. Другие — что у него была живая вода и он мог воскресить замученных, и это было запрещено ему высочайшим указом, а он, притворно склонившись перед волей владыки, тайно собирал рать из казненных бунтовщиков, тела которых он похищал с виселиц на цитадели. Многие вообще ничего не знали об Арродесе и не приписывали ему никаких сверхъестественных способностей, а просто полагали, что коли он осужден, то уже по одному этому заслуживает сочувствия и помощи. И хотя никто не знал истинных причин, из-за которых распалилась королевская ярость и созванным мастерам приказано было соорудить в их кузницах гончую машину, — злым все звали это умыслом и неправедным повелением, ибо, что бы ни совершил гонимый, вина его не могла быть столь же страшной, как судьба, уготованная ему королем. Конца не было этим россказням, в которых вволю расходилось простецкое воображение, и лишь одно в них не менялось: мне всякий раз приписывали такие мерзости, какие только можно вообразить.

Слышала я также и тьму вранья о смельчаках, будто бы поспешавших на помощь к Арродесу, которые-де преграждали мне дорогу, чтобы пасть в неравном бою, — на самом деле на это ни единая живая душа не отважилась. Хватало в сказках и предателей, указывавших мне его следы, когда я не могла отыскать их сама, — вот уж отъявленнейшая ложь. Однако же о том, кто я, кем могу быть, что у меня на уме, ведомы ли мне растерянность или сомнение, никто ничего не говорил, да я тому и не удивлялась.

И я столько наслышалась о простых, всем известных гончих машинах, выполняющих королевскую волю, которая была для всех законом, что вскоре совсем перестала таиться от оби-

тателей этих приземистых изб и порой прямо под их окнами дожидалась восхода солнца, чтобы серебряной молнией выскочить на траву и в блистающих брызгах росы связать конец вчерашнего пути с началом сегодняшнего и, стремительно мчась по нему, упиваться остекленевшими взглядами, падением ниц, смертельным страхом и ореолом неприкасаемости, который окружал меня.

Однако настал день, когда мой верхний нюх оказался беспомощен, и тогда, тщетно петляя по холмистым окрестностям в поисках следа, я изведала боль и горечь от того, что мое совершенство напрасно. Но, застыв на вершине холма со скрещенными щупальцами и как бы молясь ветреному небу, я по слабому звуку, наполнившему колокол моего тела, вдруг поняла, что не все еще потеряно, и, чтобы исполнить замысел, обратилась к давно заброшенному дару — человеческой речи. Мне не нужно было учиться ей заново, она была во мне, я должна была лишь оживить ее в себе. Сначала я выговаривала слова и фразы резко и визгливо, но скоро мой голос стал почти человеческим, и я сбежала по склону, чтобы прибегнуть к дару слова — там, где меня подвело обоняние. Я вовсе не чувствовала ненависти к беглецу, хотя он и оказался таким проворным и хитрым, — он играл свою роль, а я играла свою. Я отыскала перепутье, на котором след угасал, остановилась и судорожно задергалась на месте оттого, что одна пара моих ног бессознательно тянулась к дороге, покрытой известковой пылью, а другая, лихорадочно царапая камни, тащила меня в противоположную сторону — туда, где белели стены небольшого монастыря, окруженного вековой рощей. Собрав всю свою волю, я тяжело, будто немощная, подползла к монастырской калитке, у которой стоял, подняв очи к небу, монах — казалось, он залюбовался зарей. Я потихоньку приблизилась к нему, чтобы не испугать своим внезапным появлением, и смиренно приветствовала его, а когда он безмолвно обратил на меня внимательный взгляд, спросила, не позволит ли он, чтобы я поведала ему о деле, в котором сама разобраться не могу. Я поначалу решила, что он окаменел от страха, ибо он даже не пошевелился и ничего не ответил, но оказалось, он просто задумался и минуту спустя сказал, что согласен. Тогда мы пошли в монастырский сад, он впереди, я — за ним. Странная, наверное, пара, но в тот ранний час вокруг не было ни единой живой души — некому подивиться на серебряного богомола и белого монаха. И когда

он сел под лиственницей в привычной позе исповедника, не глядя на меня, а лишь склонив ко мне ухо, я рассказала ему, что, прежде чем выйти на эту торную тропу, я была девушкой, предназначенной Арродесу по воле короля. Что я познакомилась с ним на балу во дворце и полюбила его, ничего о нем не зная, и в неведении совершенно отдалась этой любви, которую сама в нем возбудила, и так было, пока после ночного укола я не поняла, кем мне суждено стать для него, и, не видя ни для себя, ни для него другого спасения, проткнула себя ножом, но вместо смерти свершилось перевоплощение. И жребий, о котором я раньше только подозревала, с тех пор ведет меня по следу возлюбленного — я сделалась настигающей его Немезидой. Погоня эта длится долго — так долго, что до меня стало доходить все, что люди говорят об Арродесе, и, хотя я не знаю, сколько в том правды, я начала заново размышлять над нашей общей судьбой, и в мою душу закралось сочувствие к этому человеку, ибо я поняла, что изо всех сил хочу убить его только потому, что не могу его больше любить. Так я познала собственное ничтожество, низость погибшей и попранной любви, которая алчет мести тому, кто не повинен перед ней ни в чем, кроме собственного несчастья. Оттого и не хочу я продолжать погоню и сеять вокруг себя ужас, а хочу воспротивиться злу, хотя и не знаю как.

Насколько я могла заметить, до конца моего рассказа монах ничуть не избавился от подозрительности: он как бы заранее, еще прежде, чем я заговорила, решил для себя, что все, что я скажу, не подпадает под таинство исповеди, так как, по его разумению, я была существом, лишенным собственной воли. А кроме того, наверное, подумал, не подослана ли я к нему умышленно, ведь, по слухам, иные лазутчики маскируются еще коварнее. Однако заговорил он со мной доброжелательно.

Он спросил меня: «А что, если бы ты нашла того, кого ищешь? Знаешь ли ты, что бы ты сделала тогда?»

И я сказала: «Отец мой, я знаю только то, чего не хочу сделать, но не знаю, какая сила, кроющаяся во мне, пробудится в тот миг, а потому не могу сказать, не буду ли я принуждена погубить его».

И он спросил меня: «Какой же совет я могу тебе дать? Хочешь ли ты, чтобы этот жребий был снят с тебя?»

Лежа, словно пес, у его ног, я подняла голову и, видя, как он жмурится от солнечного луча, который ударил ему в очи, отраженный серебром моего черепа, сказала:

— Ничего так не желаю, как этого, хоть и понимаю, что судьба моя станет тогда жестокой, потому что не будет у меня тогда более никакой цели. Не я выдумала то, для чего сотворена, и значит, мне дорого придется заплатить, если преступлю королевскую волю, ибо немыслимо, чтобы мое преступление осталось безнаказанным, и меня в свою очередь возьмут на прицел оружейники из дворцовых подземелий и вышлют в погоню железную свору, чтобы уничтожить меня. А если бы я даже спаслась, воспользовавшись заложенным во мне искусством, и убежала хоть на край света, то где бы я ни очутилась, все станут бежать меня, и я не найду цели, ради которой стоило бы существовать дальше. И даже судьба, подобная твоей, также будет для меня закрыта, потому что каждый, имеющий, как ты, власть, так же, как ты, ответит мне, что я не свободна духовно, и потому мне не дано будет обрести убежища и под монастырским кровом.

Монах задумался и потом сказал удивленно:

— Я ничего не знаю об устройствах, подобных тебе, но я вижу тебя и слышу, и ты по твоим речам представляешься мне разумной, хотя и подчиненной какому-то принуждению, и — коль скоро ты, машина, борешься, как сама мне поведала, с этим принуждением и говоришь, что чувствовала бы себя свободной, если бы у тебя отняли стремление убить, — то скажи мне, как ты чувствуешь себя сейчас, когда оно в тебе?

И я сказала на это:

— Отче, хоть мне с ним и худо, но я превосходно знаю, как преследовать, как настигать, следить, подсматривать и подслушивать, таиться и прятаться, как ломать на пути препятствия, подкрадываться, обманывать, кружить и сжимать петлю кругов, причем, исполняя все это быстро и безошибочно, я становлюсь орудием неумолимой судьбы, и это доставляет мне радость, которая, наверное, с умыслом была вписана пламенем в мое нутро.

— Снова спрашиваю тебя, — сказал монах. — Что ты сделаешь, когда увидишь Арродеса?

— Снова отвечаю, отче, что не знаю, ибо не хочу причинить ему ничего дурного, но то, что заложено во мне, может оказаться сильнее меня.

Выслушав мой ответ, он прикрыл глаза рукой и промолвил:

— Ты — сестра моя.

— Как это понимать? — спросила я в полнейшем недоумении.

— Так, как сказано, — ответил он. — А это значит, что я не возвышу себя над тобой и не унижу себя пред тобою, потому что, как бы различны мы ни были, твое неведение, в котором ты призналась, делает нас равными перед лицом Провидения. А если так, иди за мной, и я покажу тебе нечто.

Мы прошли через монастырский сад к старому дровяному сараю. Монах толкнул скрипучие двери, и когда они распахнулись, то в сумраке сарая я различила лежащий на соломе темный предмет, а сквозь ноздри в мои легкие ворвался тот неустанно подгонявший меня запах, такой сильный здесь, что я почувствовала, как само взводится и высовывается из лонной втулки жало, но в следующую минуту взглядом переключенных на темноту глаз я заметила, что ошиблась. На соломе лежала только брошенная одежда. Монах по моей дрожи понял, как я потрясена, и сказал:

— Да, здесь был Арродес. Он скрывался в нашем монастыре целый месяц с тех пор, как ему удалось сбить тебя со следа. Он страдал оттого, что не может предаваться прежним занятиям, и ученики, которым он тайно дал знать о себе, посещали его по ночам, но среди них оказались два мерзавца, и пять дней назад они его увели.

— Ты хотел сказать «королевские посланцы»? — спросила я, все еще дрожа и молитвенно прижимая к груди скрещенные щупальца.

— Нет, я говорю «мерзавцы», потому что они взяли его хитростью и силой. Глухонемой мальчик, которого мы приютили, один видел, как они увели его на рассвете, связанного и с ножом у горла.

— Его похитили? — спросила я, ничего не понимая. — Кто? Куда? Зачем?

— Думаю, затем, чтобы извлечь для себя корысть из его мудрости. Мы не можем обратиться за помощью к закону, потому что это — королевский закон. А эти двое заставят его им служить, а если он откажется, убьют его и уйдут безнаказанными.

— Отче! — воскликнула я. — Да будет благословен час, когда я осмелилась приблизиться и обратиться к тебе. Я пойду те-

перь по следам похитителей и освобожу Аррodеса. Я умею преследовать, настигать: ничего другого я не умею делать лучше — только покажи мне верное направление, которое ты узнал от немого мальчика.

Он возразил:

— Но ты же не знаешь, сможешь ли удержаться, — ты ведь сама в этом призналась!

И я сказала:

— Да, но я верю, что найду какой-нибудь выход. Может быть, найду мастера, который отыщет во мне нужный контур и изменит его так, чтобы преследуемый превратился в спасаемого.

А монах сказал:

— Прежде чем отправиться в путь, ты, если хочешь, можешь попросить совета у одного из наших братьев: до того, как присоединиться к нам, он был в миру посвящен именно в такое искусство. Здесь он пользует нас как лекарь.

Мы стояли в саду, уже освещенном лучами солнца. Я чувствовала, что монах все еще не доверяет мне, хотя внешне он этого никак не проявлял. За пять дней след улетучился, и он мог с равной вероятностью направить меня по истинному пути и по ложному. Но я согласилась на все, и лекарь с величайшей предосторожностью принялся осматривать меня, светя фонариком сквозь щели между пластинами панциря в мое нутро, и проявил при этом много внимательности и старания. Потом он встал, отряхнул пыль со своей рясы и сказал:

— Случается, что на машину, высланную с известной целью, устраивает засаду семья осужденного, его друзья или другие люди, которые по непонятным для властей причинам пытаются воспрепятствовать исполнению предписанного. Для противодействия сему прозорливые королевские оружейники изготовляют распорядительную суть непроницаемой и замыкают ее с исполнительной сутью таким образом, чтобы всякая попытка вмешательства оказалась губительной. И, наложив последнюю печать, даже сами они уже не могут удалить жала. Так обстоит дело и с тобой. А еще случается, что преследуемый переодевается в чужую одежду, меняет внешность, поведение и запах, однако же он не может изменить склада своего разума, и тогда машина, не удовлетворившись розыском при посредстве нижнего и верхнего обоняния, подвергает подозреваемого допросам, продуманным сильнейшими знатоками отдель-

ных способностей духа. Так же обстоит дело и с тобой. Но сверх всего я приметил в твоем нутре устройство, какого не имела ни одна из твоих предшественниц: оно представляет собой многоразличную память о предметах, для гончей машины излишних, ибо в ней записаны истории разных женщин, полные искушающих разум имен и речей, — именно от сего устройства и бежит в тебе проводник к смертоносной сути. Так что ты — машина, усовершенствованная непонятным мне образом, а может быть, даже и воистину совершенная. Удалить твое жало, не вызвав при этом упомянутых последствий, не сможет никто.

— Жало понадобится мне, — сказала я, все еще лежа ничком, — ибо я должна поспешить на помощь похищенному.

— Что касается того, смогла бы ты сдержать затворы, опущенные над известным местом, или нет, даже если бы хотела этого изо всех сил, на сей счет я не могу сказать ни да, ни нет, — продолжал лекарь, словно не слыша моих слов. — Я могу, если ты, конечно, захочешь, сделать только одно, а именно: напылить на полюса известного места через трубку железо, истертое в порошок, так что от этого несколько увеличатся пределы твоей свободы. Но даже если я сделаю это, ты до последнего мгновенья не будешь знать, спеша к тому, кому стремишься помочь, не окажешься ли ты по-прежнему послушным орудием его погибели.

Видя, как испытующе смотрят на меня оба монаха, я согласилась на эту операцию, которая продолжалась недолго, не доставила мне неприятных ощущений и не вызвала в моем душевном состоянии никаких ощутимых перемен. Чтобы еще больше завоевать их доверие, я спросила, не позволят ли они мне провести ночь в монастыре, потому что весь день ушел на беседы, рассуждения и медицинские процедуры.

Они охотно согласились, а я посвятила ночное время исследованию сарая, запоминая запахи похитителей Арродеса. Я была способна и на это, ибо случалось, что королевской посланнице преграждал дорогу не сам осужденный, а какой-нибудь другой смельчак. Перед рассветом я улеглась на соломе — там, где многие ночи спал похищенный, и, в полной неподвижности вдыхая его запах, дожидалась прихода монахов. Я допускала, что все их рассказы могли быть выдумкой, обманом и, коли так, они должны бояться моего возвращения с ложного следа и моей мести, а этот темный предрассветный час был для

них наиболее подходящим, если бы они вознамерились меня уничтожить. Я лежала, притворившись глубоко спящей, и вслушивалась в каждый, даже самый легкий шорох, доносившийся из сада: ведь они могли завалить чем-нибудь двери и поджечь сарай, дабы плод чрева моего разорвал бы меня в пламени на куски. Им не пришлось бы даже преодолевать свойственного им отвращения к убийству, ибо я была для них не личностью, а только механическим палачом, останки мои они закопали бы в саду и не испытали бы никаких угрызений совести. Я не знала, что предприняла бы, услышав их приближение, и не узнала этого, потому что ни до чего такого не дошло. Я оставалась наедине со своими мыслями и все повторяла про себя удивительные слова, которые сказал, не глядя мне в глаза, старый монах: «Ты — сестра моя». Я по-прежнему их не понимала, но, когда мысленно их повторяла, они всякий раз обжигали меня, словно я уже утратила тот тяжелый плод, которым была обременена. Рано утром я выбежала через незапертую калитку и, миновав монастырские постройки, как указал мне монах, полным ходом пустилась в сторону синевших на горизонте гор — именно туда он и направил мой бег.

Я очень спешила — к полудню меня отделяло от монастыря более ста миль. Я летела, как снаряд, между белоствольных берез, достигла предгорных лугов, и, когда бежала по ним напрямик, высокая трава разлеталась по обе стороны, словно под ударами косы.

След похитителей я нашла в глубокой долине, на мостике, переброшенном через поток, но не обнаружила на нем следов Арродеса — видимо, пренебрегая тяжестью, они по очереди несли его, выказывая этим свою хитрость и осведомленность, ибо понимали, что никто не вправе опередить королевскую машину в ее миссии, что и так они уже немало повредили монаршей власти, отважившись на это свое деяние.

Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне, — я скажу, что и обманула монахов, и не обманула их, ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу, вернее, добыть ее, поскольку никогда раньше ее не имела. Если же спросите о том, что я собралась делать с этой своей свободой, то не знаю, что вам сказать. Незнание не было мне внове: вонзая в свое обнаженное тело нож, я тоже не знала, чего хочу, — убить ли себя или только познать, пусть даже одно при этом будет равнозначно другому. И следу-

ющий мой шаг тоже был предусмотрен — об этом свидетельствовали все дальнейшие события, а потому и надежда на свободу тоже могла оказаться только иллюзией, и даже не моей собственной, а нарочно введенной в меня, чтобы я действовала энергичнее, побуждаемая такою коварно подсунутой приманкой. Как знать, не равнялась ли свобода отказу от Арродеса? Ведь я могла ужалить его, даже будучи полностью свободной, я же не была настолько безумной, чтобы поверить в невероятное чудо — в то, что взаимность может возвратиться теперь, когда я уже перестала быть женщиной, и пусть не совсем перестала быть ею, но мог ли Арродес, который собственными глазами видел свою возлюбленную с разверстым животом, поверить в это? Итак, хитроумие сотворивших меня простиралось за последние пределы механического искусства, ибо они, несомненно, учли в своих расчетах вариант и этого моего состояния, когда я устремлялась на помощь любимому, утраченному навсегда. Если бы я могла свернуть с пути и удалиться, чреватая смертью, которую мне не для кого родить, я и этим тоже ему не помогла бы. Наверное, меня намеренно сотворили такой благородно никчемной, порабощенной собственным желанием свободы, дабы я выполняла не то, что мне приказано прямо, а то, чего — как мне казалось в очередном моем воплощении — хотела я сама. Мое путаное и раздражающее своей бесцельностью самокопание должно было, однако, прерваться только у цели. Расправившись с похитителями, я спасу возлюбленного и сделаю это так, чтобы отвращение и страх, которые он питал ко мне, сменились бессильным изумлением. Так я смогу обрести если не его, то хотя бы самое себя.

Пробившись сквозь густые заросли орешника к первому травянистому склону, я неожиданно потеряла след. Напрасно я искала его; вот здесь он был, а дальше — исчез, как будто преследуемые провалились сквозь землю. Я догадалась вернуться в чащу и не без труда отыскала куст, у которого было срублено несколько самых толстых ветвей. Обнюхав срезы, истекающие соком, я вернулась туда, где след исчезал, и нашла его продолжение по запаху орешника. Беглецы учли, что полоса верхнего запаха недолго продержится в воздухе — ее скоро сдует горный ветер — и потому воспользовались ходулями, но и эта уловка только подхлестнула меня. Запах орешника вскоре ослабел, но я разгадала и новый их фортель — они обернули концы ходуль обрывками джутового мешка. Брошенные ходу-

ли я нашла неподалеку от скалистого обрыва. Склон был усеян огромными замшелыми валунами, которые громоздились друг на друга так, что преодолеть эту россыпь можно было, лишь прыгая большими скачками с камня на камень. Так и поступили мои противники, однако они не избрали прямого пути — они петляли. Из-за этого мне приходилось сползать чуть ли не с каждого валуна, чтобы, обежав кругом, сызнова отыскать нюхом зыблющиеся в воздухе частички их запаха. Так я дошла до отвесной скалы, по которой они вскарабкались наверх. Они не смогли бы взобраться туда, не развязав руки своему пленнику, но меня не удивило, что он добровольно полез вместе с ними, — пути назад теперь для него уже не было. Я поползла вверх по разогретому камню, ведомая отчетливым, утроенной силы запахом — ведь им приходилось взбираться по этой отвесной стене, цепляясь за каждый уступ, промоину, впадину: не было такого клочка седого мха, забившегося в расщелину нависших скал, ни мелкой трещинки, дающей минутную опору ногам, которую похитители не использовали бы как ступеньку. Порой в самых трудных местах им приходилось останавливаться, чтобы выбрать дальнейший путь, — я чувствовала это по усиливающемуся запаху. А я буквально мчалась вверх, едва касаясь скалы, чувствуя, как сильнее и сильнее все во мне дрожало, как все во мне играло и пело, ибо эти люди были достойны меня, я чувствовала радость и изумление, потому что восхождение, которое они проделывали втроем, страхуясь одной веревкой, джутовый запах которой остался на острых выступах камня, я совершала одна и без особых усилий и ничто не могло сбить меня с той поднебесной тропы. На вершине меня встретил сильный ветер, который свистел на остром, как нож, гребне, но я даже головы не повернула, чтобы полюбоваться на простершуюся далеко внизу зеленую страну и горизонты, тающие в голубой дымке, а принялась ползать по гребню взад и вперед, пока в незаметной выбоине не нашла продолжение следа. Беловатый излом и осколки камня обозначили место, где один из путников сорвался. Перегнувшись через каменную грань, я посмотрела вниз и увидела маленькую фигурку, словно отдыхавшую на середине склона, и острым зрением различила даже темные капли на известняке, словно оставленные недолгим кровавым дождем. Двое других пошли дальше по гребню, и я пожалела, что мне достанется теперь всего один стерегущий Арродеса враг, потому что никогда до сей поры не

ощущала так сильно, сколь благородно мое дело, и не была исполнена такой жаждой борьбы, отрезвляющей и опьяняющей одновременно. Я побежала вдоль гребня под уклон, ибо беглецы избрали именно это направление, оставив погибшего в пропасти, ведь они очень спешили, а его мгновенная смерть при падении была для них несомненна. Я приближалась к скальным воротам, похожим на руины гигантского собора, от которого остались только столбы разбитого портала, боковые контрфорсы и одно высокое окно, сквозь которое светилось небо, а на его фоне выделялось тоненькое деревце, с бессознательной отвагой выросшее там из семени, занесенного ветром в горсть праха. За воротами начиналась скалистая котловина, наполовину затянутая туманом, придавленная длинной тучей, из складок которой сыпался мелкий искрящийся снег. Пробегая в тени, которую отбрасывала причудливая башня, я услышала грохот сыплющихся камней, и тут же по склону скатилась лавина. Глыбы колотились об меня с такой силой, что высекали дым и искры из моих боков, но я, поджав все свои ноги, успела упасть в неглубокую выемку под валуном и в безопасности переждала, пока пролетели последние обломки. Мне пришла в голову мысль, что тот, второй, который вел Арродеса, нарочно выбрал это лавиноопасное место в расчете, что я, не зная гор, попаду под обвал и обвал — хоть надежда на это и невелика — раздавит меня. Такая мысль меня обрадовала: ведь если противник не только убегает и путает следы, но и нападает, борьба становится более достойной. На дне выбеленной снегом котловины виднелась постройка — то ли дом, то ли замок, сложенный из самых тяжелых валунов, какие в одиночку не сдвинул бы и гигант; я поняла, что это и есть убежище врага, ибо где же ему еще быть в этой глуши. И, бросив поиски следа, стала сползать с осыпи, погрузив задние ноги в сыплющийся щебень, — передними я как бы плавала в мелких обломках, а средней парой тормозила спуск, чтобы не сорваться. Так я добралась до слежавшегося снега и по нему уже почти бесшумно пошла дальше, пробуя на каждом шагу, не провалюсь ли в какую-нибудь бездонную расщелину. Надо было идти осторожно, ибо враг ожидал моего появления со стороны перевала, и я не стала подходить слишком близко, чтобы меня не заметили из укрепленного здания, а втиснулась под грибообразный валун и принялась терпеливо ждать наступления ночи.

Стемнело быстро, но снег все порошил, ночь оказалась светлой, и я не отважилась приблизиться к дому, а только приподнялась, подперев голову скрещенными передними ногами так, чтобы хорошо видеть его издали.

После полуночи снег перестал, но я не отряхивала его с себя, потому что он сделал меня похожей на окружающие предметы, и от лунных лучей, пробивающихся меж облаками, сиял, как подвенечное платье, которого мне так и не пришлось надеть. Потом я потихоньку поползла в сторону хорошо видной издали темной глыбы дома, не спуская глаз с окна на втором этаже, в котором тускло тлел желтоватый свет. Я прикрыла зрачки тяжелыми веками, чтобы луна не слепила меня, а к слабому освещению я была приспособлена. Мне показалось, что в этом окне что-то двинулось и какая-то большая тень проплыла вдоль стены, и я поползла быстрее, пока не добралась до подножия постройки. Метр за метром я стала взбираться по кладке, это было нетрудно, потому что между камнями не было швов, их соединяла только собственная огромная тяжесть. Так я добралась до нижнего ряда окон, черневших, как крепостные бойницы, предназначенные для пушечных жерл. Все они зияли мраком и пустотой. Внутри царила такая тишина, будто уже много веков единственной хозяйкой здесь была смерть. Чтобы лучше видеть, я включила свое ночное зрение, сунула голову в каменный проем, открыла светящиеся глаза своих щупальцев, и в глубь комнаты пошел от них фосфорический свет. Напротив окна я увидела сложенный из шершавых плит закопченный камин, в котором давно остыла кучка рассохшихся поленьев и обугленного хвороста, у стены заметила скамью и ржавые инструменты, в углу виднелось продавленное ложе и груда каких-то каменных ядер. Мне показалось странным, что вход ничем не защищен и дверь в глубине распахнута настежь, но именно в этом я увидела западню и, не поверив заманивающей пустоте, вновь бесшумно убрала голову и стала взбираться на верхний этаж. К окну, из которого лился тусклый свет, я и не подумала приблизиться. Наконец я выбралась на крышу и на ее заснеженной площадке прилегла по-собачьи, решив дождаться здесь рассвета. Снизу до меня доносились два голоса, но я не могла разобрать слов. Я лежала без движения, страшась той минуты, когда брошусь на противника, чтобы освободить Арродеса. В напряженном оцепенении я мысленно рисовала картины борьбы, которая завершится уколом жала, но в то же

время, пытаясь проникнуть в тайное тайных своей души, уже не доискивалась, как прежде, истоков движущей меня воли, а искала там хотя бы самый слабый намек, знак, который открыл бы мне, одного ли только человека я погублю.

Не знаю, когда исчезла моя нерешительность. Я все еще находилась в неведении, все так же не знала себя, но именно незнание того, прибыла ли я как избавительница или как убийца, вновь вызвало у меня ощущение чего-то до сих пор неизвестного, непонятно нового, придало каждому моему движению девственную загадочность и наполнило меня восторгом. Этот восторг очень меня удивил, и я подумала, не в том ли снова проявилась мудрость моих создателей, что я могла в моем безграничном могуществе видеть способность нести сразу и помощь, и гибель. Но даже и в этом я не была уверена. Вдруг снизу до меня донесся резкий короткий звук и сдавленный крик, а потом глухой стук, словно упало что-то тяжелое, — и снова тишина. Тотчас я поползла с крыши, перегнувшись через ее край так, что задняя пара ног и втулка жала находились еще на кровле, грудь терлась о стену, а голова, дрожа от усилий, уже дотягивалась до окна.

Свеча, сброшенная на пол, погасла, только фитиль еще тлел красноватым огоньком. Усилив ночное зрение, я увидела лежащее под столом тело, залитое кровью, которое при этом освещении казалось черным, и, хотя все мое существо требовало прыжка, я сначала втянула в себя воздух с запахом крови и стеарина. Это был чужой человек — видимо, дело дошло до схватки и Арродес опередил меня. Как, когда и почему — эти вопросы меня не занимали: меня как громом поразило то, что с ним, живым, я осталась в этом пустом доме один на один, что нас теперь только двое. Я вся дрожала, суженая и убийца, отмечая одновременно немигающим оком мерные судороги этого большого тела, которое испускало последнее дыхание. Вот сейчас бы уйти потихоньку в мир заснеженных гор, чтобы только не оказаться с ним лицом к лицу, чтобы не встретились две пары наших глаз, нет, три пары, поправила я себя и поняла, как безвыходно осуждена быть смешной и страшной; и это предчувствие насмешки и издевательства, все во мне подавив, толкнуло меня вперед, и я бросилась в проем вниз головой, как паук на добычу, и, уже не обращая внимания на скрежет брюшных пластин о подоконник, стремительной дугой перескочила через недвижимого врага, целясь в дверь.

Не помню, как я распахнула ее. Сразу за порогом начиналась крутая лестница, и на ней навзничь лежал Арродес, упираясь подвернутой головой в истертый камень нижней ступеньки. Наверное, они боролись здесь, на этой лестнице, оттого я почти ничего и не услышала. И вот он лежал у моих ног в разорванной одежде, и его ребра вздымались, и я видела его наготу, которой не знала и о которой думала только в первую ночь на королевском балу.

Он дышал хрипло. Видно было, как он силится разлепить веки, а я, откинувшись назад и поджав брюшко, всматривалась сверху в его запрокинутое лицо, не смея ни коснуться его, ни отступить, ибо, пока он был жив, я не была в себе уверена. Жизнь уходила из него с каждым вздохом, а я помнила, что заклятие лежит на мне до его последнего дыхания, поскольку королевский приказ надлежит выполнить даже во время агонии, и не хотела рисковать, ибо он еще жил и я не знала, хочу ли его пробуждения. Что, если бы он хоть на минуту открыл глаза и взглядом обнял бы меня всю, такую, какой я стояла перед ним в молитвенной позе, бессильно смертоносная, с чужим плодом в себе, — было бы это нашим венчанием или немилосердно предусмотренной пародией на него?

Но он не очнулся, и, когда рассвет прошел между нами в клубах мелкого искрящегося снега, который задувала в окно горная метель, он, еще раз простонав, перестал дышать, и тогда, уже успокоенная, я легла рядом, прильнула к нему, сжала в объятиях и лежала так при свете дня и во мраке ночи все двое суток пурги, которая укрывала нас нетающим одеялом. А на третий день взошло солнце.

1974 г.

КИБЕРИАДА

Три электрыцаря

Жил некогда великий конструктор-изобретатель, создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для самого себя машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее пташинкой. Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудна́я мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и у любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он планету, от всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего оке-

---

Trzej elektrycerze, 1964. © Перевод. Т. Архипова, 1965.

ана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял крионидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном морозе и в пустоте бессолнечной. Построили вскоре криониды города и дворцы ледяные, а поелику всякая теплота грозила им гибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых, и жили криониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой полыхали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям в хрустальных глыбах. Немало космических завоевателей мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Криония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Крионию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он ступил ногой на лед, как лед под ним от жара растаял, и низринулся электрыцарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним, и там, на дне морей крионских, в ледовой горе, словно насекомое в янтаре, почил до скончания века.

Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрыцарь Железный, жидким гелием так упившись, что в нутре его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрыцарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, раскаленный докрасна, упал на ледяные скалы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру; но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого падал снег. Сел тогда Железный и стал ждать, пока остынет, и вот, когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечниках, решил электрыцарь встать и ринуться в бой, но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не смог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема

торчит. Называют ту гору Железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор.

Услышал о судьбе своих собратьев третий электрыцарь, Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд. Не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался; не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Одного он должен был избегать — напряженных размышлений: накалялся от них кварцевый мозг и могло это погубить электрыцаря. Вот и решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над крионидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, ударившись о его грудь, разлетались, звеня, на мелкие кусочки, как стекло. Опустился Кварцевый на снега Крионии, белые под небом ее черным, как горшок, полный звезд, и, подобный прозрачному зеркалу, хотел задуматься, что же ему дальше делать, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться.

— Ого! Дело плохо! — сказал себе Кварцевый. — Ну да ничего, только бы не думать, и наша возьмет!

И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять: ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел Кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы крионидов Фригиды. Разбежался он и попытался стену головой пробить, ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился.

— Попробуем по-иному! — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет — дважды два.

И едва электрыцарь стал размышлять, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал.

— Маловато! — проговорил он. — Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько ж это будет — трижды пять?

На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад Кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца, три дома поменьше — графов Фригидных, попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро

вскочил электрыцарь, ибо все вокруг него уже таяло и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки.

— Ничего! Только бы не думать! Наша возьмет! — подбодрил он себя и в самом деле тут же остыл.

Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали смарагдом и серебром в хрустальных колоннах.

И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный — вождь крионидов Бореаль. Всю свою силу собрал электрыцарь Кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди Ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Бореаля, у самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою, широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался Кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Бореаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги, в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение.

— Наша взяла! Лишь бы и дальше так! — сказал Кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной: перстни, украшенные водородом, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, а на деле из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона — отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрыцарь от волнения, и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений, и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки, на росу похожие, да и те сразу же испарились.

«Ого! Значит, и восторгаться нельзя! Ну, ничего! Только бы не думать!» — молвил он про себя и двинулся в глубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то Белобой Белейший, Енерал-Минерал, всю широкую грудь его ряды сосулек орденских покрывали, а посредине сверкала большая Звезда Инея на ленте гляциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь Кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его с ледовым грохотом. Тут на помощь Белобою прибежал князь Звездоух, властитель черных льдов; с ним-то электрыцарю не удалось совладать: ведь на князе была броня дорогая, азотная, в

жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил Кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли, так повеяло тут Нулем Абсолютным. Рванулся Кварцевый, думая про себя: «Беда! Что ж это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился, Нуль Абсолютный стал Нулем обычным, и на глазах у Кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться по сочленениям, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталась в лужице груда черного льда, по которой слезами вода стекала.

— Наша взяла! — воскликнул Кварцевый. — Только бы не думать, а если надо — то думать! Так или эдак, а должен я победить!

Двинулся он дальше, и звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Фригиды, а жители ее из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто разъяренный метеорит по Млечному Пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Барион, прозванный Ледоустым, величайший мудрец крионидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных; не понял Кварцевый, что это значит, вернулся он и опять двинулся на противника. Барион же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он, и в тот же миг хлынула вода из ближайших домов, но он ничего не замечал, ибо Барион сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал да думал, что же могли означать эти немые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина, хлынула оттуда черная вода, полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами: «Это ничего, только б не думать!» — как его уже на свете не стало.

Спрашивали потом криониды, благодарные Бариону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрыцарю.

— Все это очень просто, — ответствовал мудрец. — Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один — что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется и морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего.

— О великий мудрец! — возопили изумленные крионидьі. — Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если б он понял тебя и не стал удивляться?! Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную...

— Не страшился я этого ничуть, — с холодной усмешкой ответил им Барион Ледоустый, — ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была б у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу, под солнцем живущему, от наших драгоценностей газовых и серебряных звезд ледяных?! — И снова поразились крионидьі его мудрости, и разошлись, успокоенные, по домам, где стоял милый их сердцу мороз.

С тех пор никто уж не пытался завоевать Крионию, ибо перевелись глупцы во Вселенной; хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало, да только дороги не знают.

Урановые уши

Жил некогда инженер-космогоник, зажигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда еще полно было в ней черных туч. Сперва скрутил он громадный вихрь, а когда тот закружился, достал Космогоник свои лучи. Было их три: красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею!» — а сам другие звезды пошел зажигать. Ждет ученик тысячу лет и еще тысячу, а инженера все нет. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, и из белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему Космогоник, а в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто: смотришь — и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспых-

---

Uranowe uszy, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

нули облака Андромеды, словно сто тысяч солнц, и стало во всей туманности светло как днем. Обрадовался ученик, да недолгой была его радость, потому что звезда лопнула. Завидев беду, прилетел Космогоник и, чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал он газовую, вторую углеродную, а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его Космогоник, запустил в полет и сказал: «Через сто миллионов лет вернусь и погляжу, что получилось». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал.

А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии и мог ходить, затем что на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали палатиниды тихонечко и голоса не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из платиновой скалы, а во дворце имелось шестьсот огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля, настолько он был громаден. Выйти из дворца Архиторий не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен; и к тому же изводил подданных своей алчностью.

Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы у них на планете были радиоактивные и даже в новолуние можно было запросто собирать иголки. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в горных своих подземельях и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа; всего же сильнее светились уши.

Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное — взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг дружку подальше из страха перед цепною реакцией. Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями. А его монетные дворы в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, поскольк-

ку свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую.

Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели мятеж учинить и пытались объясниться жестами, но напрасно: всегда оказывался меж них кто-нибудь не слишком смышленый, и, когда он подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух.

Жил на Актинурии молодой изобретатель по имени Пирон, который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что годилась на сети для ловли облаков. Изобрел он и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его не было; так появился беспроволочный телеграф. Надеждой исполнились палатиниды, решив, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждой из своих шестисот рук держа платиновый проводник, и знал, о чем говорят его подданные; услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молниишаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая.

Решил Пирон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» говорил он «боты», вместо «конспирировать» — «тачать» и так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его занялись вдруг башмачным ремеслом. Не знал он, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а «тесные башмаки» означают его тиранию. Но товарищи тоже не всегда понимали Пирона, ведь говорить с ними он мог не иначе как башмачною речью. Толковал он им так и этак и, видя их непонятливость, как-то раз опрометчиво телеграфировал: «Шкуру плутониевую дубить» — вроде бы на башмаки. Тут король ужаснулся, ведь плутоний — ближайший родич урана, а уран — тория; недаром сам он Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Пирона и бросили его на свинцовый паркет к ногам короля. Пирон ни в чем не признался, однако король заточил его в палладиевой башне.

Всякая надежда покинула палатинидов, но пробил час, и вернулся в их края Космогоник, творец трех планет. Приглядеался он издали к порядкам на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно!» После чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы

дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился.

Когда темнотою покрылось все вокруг и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом; он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный Пирон. Увидел его Пирон сквозь решетку, и показался ему Космогоник, хоть и в обличье скромного робота, не похожим на прочих палатинидов: ибо он не светился во тьме, но был темен, как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Пирон, но уста у него были завинчены; только и смог он, что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешеченное окошко. А Пирон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он Космогонику всю правду.

— Терпи и жди, — отвечал ему инженер, — и дождешься.

Пошел Космогоник в самые глухие актинурийские горы и три дня искал кристаллы кадмия, а нашедши, раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкроил шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ибо дело было зимой.

Ночью появился средь них Космогоник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте: «Можете сходиться без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановой, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов; на одной стороне сиял профиль Архитория, на другой — изображение его шестисот рук.

Нагруженный урановыми дукатами, воротился Космогоник в долину и показал палатинидам диво дивное: бросал дукаты подальше от себя, один на другой, так что выросла из них звенящая горка; а когда добавил дукат сверх положенной меры,

воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние и обратились они в белый пламенеющий шар; когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале.

В другой раз принялся Космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе: бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой, и, хотя выросла горка вшестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды, сгрудились и с величайшей охотой немедля заговор против Архитория учинили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как, ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина, и всякого, кто не знал пароля, кромсала она на куски.

Меж тем подошел срок выплаты новой подати, алчным королем установленной. Раздал Космогоник палатинидам урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать; так они и сделали.

Радовался король, видя, как много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, а того он не знал, что не свинцовые они, а урановые. Ночью Космогоник растопил решетку темницы и вызволил Пирона, а когда они молча шли долиной в сиянии радиоактивных гор, которые, словно целое кольцо лун, опоясали горизонт, вдруг вспыхнул ужасающий свет: это груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую Архитория, и мощь взрыва была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии, Пирон стал ее справедливым правителем, Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А шестьсот Архиториевых рук доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурново, и чудным сияют блеском, стократ сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят палатиниды: «Вон Архиторий по небу катится!» Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловье, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических: «Покатился кат на закат!»

Как Эрг Самовозбудитель бледнотика одолел

Могучий король Болидар любил диковины всяческие, собиранием коих без устали занимался, нередко ради них забывая о важных делах государственных. Было у него собранье часов, а средь них часы-плясуны, часы-зорьки и часы-тучки. Еще собирал он чучела существ из самых дальних закоулков Вселенной, а в особой зале, под колоколом стеклянным, помещалось редчайшее существо, называемое Гомосом Антропосом, до невероятия бледное, двуногое, и даже с глазами, хотя и пустыми, так что король повелел вложить в них два чудесных рубина, чтобы Гомос красным взором смотрел. Подгуляв, Болидар особенно милых ему гостей приглашал в эту залу и показывал им чудовище.

Как-то раз принимал король у себя электроведа столь дряхлого, что в кристаллах его разум малость уже мешался от старости; тем не менее электровед сей, именуемый Халазоном, был истинный кладезь

Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał, 1964.
© Перевод. Константин Душенко, 1993.

премудрости галактической. Сказывали, будто знает он, как, нанизывая фотоны на нитки, получать светоносные ожерелья и даже как живого Антропоса поймать. Зная слабость его, король велел немедля открыть погреба; электровед от угощения не отказывался, когда же хлебнул из бутыли лейденской лишку и пронизали корпус его приятные токи, открыл он монарху страшную тайну и обещал изловить для него Антропоса, повелителя одного средизвездного племени. Цену назначил немалую: столько брильянтов величиною с кулак, сколько будет Антропос весить, — но король и глазом не моргнул.

Халазон отправился в путь, король же начал похваляться перед тронным советом будущим приобретением; а впрочем, все равно не мог уже этого скрыть, ибо в замковом парке, где росли великолепнейшие кристаллы, велел построить клетку из толстых железных прутьев. Тревога вселилась в придворных. Видя решимость владыки, позвали они во дворец двух мудрецов-гомологов, коих король принял с ласковостью, желая узнать, что многоведы эти, Саламид с Таладоном, могут поведать о бледном созданье такого, чего он сам бы не знал.

— Верно ли, — спросил он, едва лишь те, почтительнейше ему поклонившись, поднялись с колен, — что Гомос мягче воска?

— Верно, Ваша Ясность, — ответили оба.

— А верно ли, что щелка, расположенная в нижней части его лица, может издавать различные звуки?

— Верно, Ваше Величество, как верно и то, что в ту же самую щель Гомос запихивает всякие вещи, а после, двигая нижнею частью головы, которая к верхней шарнирами крепится, размельчает эти предметы и втягивает их в свое нутро.

— Странный обычай; впрочем, я о нем слышал, — молвил король. — Но скажите мне, мудрецы, для чего он так делает?

— В этой материи, государь, четыре существуют теории, — отвечали гомологи. — Первая — что так избавляется Антропос от лишнего яда (ибо ядовит он неслыханно). Вторая — что причиной тому любовь к разрушению, которое ему милее всех прочих утех. Третья — что это он из-за жадности, ибо все поглотил бы, если бы мог. Четвертая...

— Довольно, довольно! — сказал король. — Правда ли, что он состоит из воды, однако же непрозрачен, как эта вот кукла?

— И это правда! Есть у него, государь, в середке множество трубочек склизких, а по ним циркулируют воды: одни желтые,

другие жемчужные, но более всего красных — и те переносят смертельный яд, именуемый кислотородом, который чего ни коснется, все обращает в ржавчину или пламя. Оттого-то и сам он переливается жемчужно, желто и розово. Однако, Ваше Величество, покорнейше просим отрешиться от мысли доставить сюда живого Гомоса, ибо тварь сия могущественна и зловредна как никакая другая...

— Ну-ка, растолкуйте мне это пообстоятельнее, — молвил король, делая вид, что готов последовать мудрым советам. На самом же деле он лишь желал насытить великое свое любопытство.

— Существа, к которым принадлежит Гомос, зовутся тряскими, государь. Таковы силиконцы и протеиды; первые консистенции более плотной, и зовут их черствяками, или студенышами; вторые, пожиже, у разных авторов носят разные имена, как-то: липуны, или липачи, — у Полломедера, склизнявцы, или клееватые, — у Трицефалоса Арборубского, наконец, Анальцимандр Медянец прозвал их клееглазыми хляботрясами...

— А правда ли, что даже глаза у них склизкие? — живо спросил король Болидар.

— Правда, государь. Твари эти, с виду немощные и хрупкие настолько, что довольно им упасть с высоты в шестьдесят футов, чтоб расплескаться красною лужей, ввиду прирожденной хитрости и коварства опаснее всех вместе взятых звездоворотов и рифов Астрического Кольца! А потому, государь, заклинаем тебя, ради блага державы...

— Ладно, ладно, любезные, — прервал их король. — Идите, а я поступлю с надлежащею осмотрительностью.

Отвесили гомологи глубокий поклон и ушли в тревоге, ибо чувствовали, что не оставил грозного замысла король Болидар.

В скором времени, ночью, звездный корабль привез огромные ящики; тотчас перенесли их в замковый парк, и вот уже отворились золотые ворота для всех королевских подданных; под алмазными кущами, меж яшмовых беседок резных и диковин мраморных увидел народ железную клетку, а в ней существо бледное, гибкое, сидевшее на бочонке, перед миской с чем-то чудны́м, что пахло смазочным маслом, однако испорченным — подгоревшим и уже непригодным к употреблению. Но чудовище преспокойнейшим образом окунало в миску что-то вроде лопатки и, набирая с верхом, пропихивало смазанную маслом субстанцию в лицевое отверстие.

Прочитавши надпись на клетке, зрители онемели от ужаса, ибо надпись гласила, что перед ними Антропос Гомос, живой, настоящий бледнотик. Тут давай простонародье его дразнить, и тогда Гомос встал, зачерпнул из бочонка, на котором сидел, и начал плескать в толпу смертоносной водой. Кто побежал наутек, кто хватался за камни, дабы гадину порешить, но стража тотчас разогнала зевак.

О случае этом проведала королевская дочь, Электрина. Видать, любопытством она была вся в отца, поскольку не побоялась приблизиться к клетке, в которой чудище проводило время, почесываясь и поглощая такую бездну воды и масла испорченного, какой хватило бы, чтобы убить на месте сто королевских подданных враз.

Гомос скоро научился разумной речи и даже дерзал заговаривать с Электриной.

Спросила раз королевна, что такое белеет у него в пасти.

— Я называю это зубами, — ответил бледнотик.

— Дай хоть один через прутья! — попросила королевна.

— А что я за это получу? — спросил он.

— Мой золотой ключик, но лишь на минутку.

— Что еще за ключик такой?

— Мой собственный, коим ежевечерне разум заводится. Ведь он и у тебя должен быть.

— Мой ключик на твой не похож, — ответил бледнотик уклончиво. — А где он у тебя?

— Здесь, на груди, под золотой крышечкой.

— Давай-ка его сюда...

— А зуб дашь?

— Дам...

Отвинтила королевна золотой винтик, открыла крышечку, вынула золотой ключик и протянула через решетку. Бледнотик жадно его схватил и, хохоча, убежал в глубь клетки. И как ни просила его королевна, как ни молила, все было напрасно. Никому не решилась Электрина признаться в своей оплошности и в великой печали вернулась в покои дворца. Поступила она неразумно, да ведь и годы ее были почти что детские. Наутро слуги нашли королевну лежащей без памяти на ложе хрустальном. Прибежали король с королевой и весь их двор, а Электрина лежала словно в глубоком сне, однако разбудить ее никак не могли. Кликнул король кибер-клиницистов, механиков-интернистов, лекарей-ключарей, а те, обследовав королевну, уви-

дели, что крышечка золотая открыта, а ни винтика, ни ключика нет! Шум и гвалт поднялись во дворце, все носились в поисках ключика, но напрасно. Назавтра безутешному королю доложили, что его бледнотик желает с ним говорить о пропаже. Король немедля сам отправился в парк, а страшилище заявило ему, что знает, где обронен королевною ключик, но скажет не прежде, чем король своим королевским словом поклянется дать ему волю и подарит ему корабль-звездоход, чтобы мог он вернуться к своим. Долго не соглашался король, велел обыскать весь парк, но в конце концов принял эти условия. И вот снарядили корабль в полет, а бледнотика вывели под стражей из клетки. Король ждал у звездохода; Антропос, однако ж, сказал, что ничего ему не откроет, пока на палубу не взойдет.

Когда же он там оказался, то высунул голову в окошечко форточное и, показывая сверкающий ключик, закричал:

— Вот он, ваш ключик! Я забираю его с собой, чтобы дочь твоя никогда не проснулась, ибо хочу отомстить за то, что ты меня опозорил, выставив на потеху в клетке железной!

Бухнул из-под кормы звездохода огонь, и корабль умчался ко всеобщему изумлению. Послал король вдогонку самые быстрые космоплавы стальные и миголеты, да только команды их воротились ни с чем, ибо хитрый бледнотик запутал следы и ушел от погони.

Понял король Болидар, как оплошал он, не послушавшись гомологов-мудрецов, да крепок был только задним умом. Лучшие ключники-заводилы старались ключик под замок подогнать, Главный коронный ключмейстер, обточники и замочники королевские, сталедворцы и златодворцы, киберграфы-искусники — все съезжались умение свое выказать, однако впустую. Понял король, что надобно ключик, бледнотиком увезенный, сыскать, иначе навеки покроются тьмою дочернины чувства и разум.

И возвестил он по всему государству, что так, мол, и так, антропический Гомос-бледнотик ключик золотой умыкнул, и кто оного Гомоса изловит или хоть ключик животворный отыщет и королевну разбудит, возьмет ее в жены и вступит на трон.

Тотчас съехались толпами смельчаки всякого рода. Были средь них электрыцари славные, были прощелыги и плуты, астроворы и звездохапы; прибыл во дворец Хранислав Мегаватт, знаменитый осциллятор-рубака, с такой невероятною обрат-

ною связью, что никто в поединке не мог пред ним устоять; прибывали витязи-самодейцы из самых дальних сторон: два Автоматея-поспешника, закаленные в сотне сражений, Протезий, достославный конструкционист, который иначе как в двух искроглотах, одном черном, другом серебряном, не хаживал; приехал Арбитрон Космозофович, из пракристаллов построенный, с фигурой изумительно стрельчатой, и Палибаба-интеллектрик, который на сорока робослах в осьмидесяти сундуках привез старую цифровую машину, от мышления проржавевшую, но мозговитости редкостной. Прибыли трое мужей из рода Селектритов, Диодий, Триодий и Гептодий, у коих в мозгах царила такая абсолютная пустота, что мышленье их было черным, как беззвездная ночь. Прибыл Перпетуан, в доспехах лейденских с головы до пят, с коллектором, потемневшим в трехстах битвах; прибыл Матриций Перфорат, который дня не мог прожить без того, чтоб кого-нибудь крепко не поцифровать, и с собою привез непобедимого ловкодава по кличке Ампер. Съехались все, а когда замковый двор был уже полон, прикатил к его воротам бочонок, а из него наподобие ртутных капель вытек Эрг Самовозбудитель, способный любые принимать формы.

Попировали герои, озарив собой дворцовые залы, так что перекрытия мраморные зарозовели, словно облачка на вечерней заре, и отправились каждый своей дорогой, чтобы бледнотика отыскать, на бой его вызвать смертельный и ключик добыть, а с ним — королевну и трон Болидаров. Первый, Хранислав Мегаватт, полетел на Кольдею, где обитает племя желейников, ибо замыслил взять у них языка. Нырял он в их жиже желейной, ударами телеуправляемой шпаги прокладывал себе дорогу, но ничего не добыл, затем что слишком уж распалился, и отказало у него охлаждение, и нашел несравненный рубака могилу среди чужих, а доблестные его катоды нечистая жижа желейников поглотила навеки.

Двое Автоматеев-поспешников попали в страну радомантов, которые из газов светящихся зданья возводят, лучетворчеством пробавляясь, а скаредны они до того, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты; плохо приняли скупцы-радоманты Автоматеев: показали им бездну, полную ониксов, малахитов, аметистов, шпинелей, а когда прельстились сокровищами электрыцари, побили их радоманты камнями, обрушив с высот самоцветов лавину; и когда катилась она, сия-

ние залило всю окрестность, словно при падении стоцветных комет. Ибо были радоманты с бледнотиками в тайном союзе, о котором никто не знал.

Третий, Протезий-конструкционист, добрался, после долгих странствий сквозь мрак средизвездный, до страны альгонцев. Там блуждают каменные метеоритные грады; врезался в неиссякаемую их череду корабль Протезия и с разбитыми рулями дрейфовал по глубинам, а когда приближался к дальним солнцам, пятна света ощупывали зрачки смельчака-горемыки. Четвертому, Арбитрону Космозофовичу, поначалу посчастливилось больше. Проскочил он теснину Андромедскую, прошел четыре спиральных вихря Гончих и выплыл в спокойную пустоту, удобную для звездоплаванья светового; и сам, как пламень резвый, на руль налегал и, пламенеющим хвостом отмечая свой путь, пристал наконец к берегам Виртуозии, где меж метеоритных камней увидел разбитый остов корабля, на котором отправился в путь Протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, словно при жизни могучий, сверкающий и холодный, под базальтовой грудой, но прежде снял с него оба искроглота, серебряный и черный, чтобы щитами ему служили, и пошел напрямик. Дикой и гористой была Виртуозия, то и дело громыхали на ней камнепады да мелькали серебряные побеги молний в тучах, над безднами. Витязь забрался в страну ущелий; здесь, в малахитовом зеленом яру, напали на него палиндромиты. Молниями секли его с высоты, а он отражал их удары щитом-искроглотом; тогда передвинули они вулкан, жерло навели ему в спину и пальнули огнем. Пал рыцарь, кипящая лава хлынула в его череп, и вытекло из него все серебро.

Пятый, Палибаба-интеллектрик, никуда не отправился, а, остановившись тут же за границей Болидарова королевства, пустил робослов на звездные пастбища; сам же принялся машину монтировать, налаживать, программировать и между осьмьюдесятью ее сундучищами бегать, а когда насытились они током и набухла машина разумом, начал он ей задавать вопросы, строгим манером обдуманные: где обитает бледнотик? как к нему путь отыскать? как его одурачить? как в сети поймать, чтобы ключик отдал? А так как ответы были неясные и уклончивые, распалился он гневом и такую задал машине трепку, что медь ее разогрелась и стала вонять, и до тех пор охаживал он ее и дубасил, восклицая: «А ну, говори мне всю правду, проклятая! Цифрушенция старая!», пока контакты ее не распла-

вились, и потекло с них серебряными слезами олово, и охладительные трубы с грохотом лопнули, перегревшись, и остался стоять он, взбешенный и с палкой в руке, над почерневшим остовом.

Пришлось ему ни с чем возвращаться. Заказал он машину новую, но увидел ее лишь через четыреста лет.

Шестым был поход селектритов. Диодий, Триодий и Гептодий принялись за дело иначе. Имея запасы неистощимые трития, лития и дейтерия, порешили они форсировать взрывами тяжелого водорода все дороги в страну бледнотиков. Только не знали они, где начало этим дорогам. Хотели спросить огнеглавых, но те укрылись за золотыми стенами стольного града и пламенами отбрыкивались; пошли бесстрашные селектриты на приступ, дейтерия и трития не жалея, так что пекло разверзшихся атомных ядер в самые звезды небу заглядывало. Стены града сверкали золотом, но в огне открылась их истинная природа: были они воздвигнуты из пиритов-искритов и теперь превращались в желтые тучи серного дыма. Там пал Диодий, затоптанный огненогими, и брызнул разум его, как букет многоцветных кристаллов, осыпая панцирь. Схоронили его в гробнице из черного оливина, и отправились витязи дальше, к границам Огнепального царства, коим правил царь Астроцид-звездобойца. Была у него сокровищница, полная огненных ядер, содранных с белых карликов, да таких тяжеленных, что только страшная сила магнитов дворцовых удерживала их от падения сквозь землю, в самую глубь планеты. Тот, кто на планету ступил, не мог ни рукой шевельнуть, ни ногой, ибо преогромное тяготение сковывало вернее, нежели болты и цепи. Тяжко пришлось Триодию с Гептодием; Астроцид, завидев их у замковых бастионов, стал выкатывать белых карликов одного за другим и огнедышащие их туши витязям прямо в лицо пускать. Все же одолели они его, а он им открыл, какая дорога ведет к бледнотикам, но обманул их, затем что и сам он дороги не знал, а только хотел избавиться от страшных воителей. И вошли они в черную сердцевину тьмы, где Триодия неведомо кто застрелил из пищали антиматерией — может, кто-то из кибернюхов-охотников, а может, то был самопал, поставленный на комету бесхвостую. Как бы то ни было, Триодий исчез, успев только выкрикнуть «Аврук!!!», любимое слово, боевой клич его рода. Гептодий же упорно пробивался вперед, но и его ожидала печальная участь. Застрял его корабль меж двумя гравитационными

вихрями, Бахридой и Сцинтией именуемыми; Бахрида время ускоряет, а Сцинтия замедляет, и есть между ними промежуток стоячий, в котором минуты ни вперед, ни назад не текут. Замер там Гептодий живьем и висит, вместе с бессчетными фрегатами и галионами прочих астровитязей, пиратов и мракоходов, ничуть не старея, в безмолвии и прежестокой скуке, имя которой Вечность.

А когда закончился горестно поход троих селектритов, Перпетуан, кибергpаф Баламский, коему надлежало отправляться седьмым, долго не трогался в путь. Долго сей электрыцарь в поход снаряжался, все более острые прилаживая себе громоотводы, выбирая все более смертоносные искрометы, огнеплювы и врагокосилки; по натуре весьма рассудительный, задумал он идти во главе верной дружины. Стекались под знамена его конквистадоры, немало явилось безроботов, которые, иного не имея занятья, охотники были повоевать. Сформировал из них Перпетуан галактическую кавалерию, отличную, тяжелую, бронированную, которую кибер-кирасирами, иначе киберасирами, именуют, и несколько летучих гусарско-слесарских отрядов. Однако при мысли, что должно ему идти и жизнь положить в неведомых странах, что в какой-то луже случайной он во ржу обратится, подогнулись под ним железные голени, грусть-кручина его одолела, и воротился он тотчас домой, из горести и стыда слезы роняя топазовые, ибо был он вельможа могущественный, с душою, сокровищ полной.

Предпоследний же, Матриций Перфорат, разумно взялся за дело. Слышал он о стране пигмелиантов, робокарликов, род которых возник из промашки конструкторской: поскользнулся рейсфедер на чертежной доске и с матричной формы сошли они горбатыми все до единого, а поскольку переделка не окупалась, так уж оно и осталось. Как другие собирают сокровища, так они собирают знания, за что и прозвали их охотниками за Абсолютом.

Мудрость их в том состоит, что они копят знания, не пользуясь ими; к ним-то и направился Перфорат, однако не военным манером, но на галионах, палубы коих ломились от всевозможных даров; решил он снискать их милость облачениями богатыми, позитронами изукрашенными и нейтронным дождем пронизанными, вез им атомы золота в четыре кулака толщиной и бутыли, в коих колыхались редчайшие ионозефиры. Но не прельстились пигмелианты даже пустотой благородной, рас-

шитой волновыми узорами красивейших спектров астральных; и напрасно он в гневе грозился спустить на них электрычащего своего ловкодава. В конце концов дали они ему провожатого, но тот был мириадоруким вьюном и все направления сразу показывал.

Прогнал его Перфорат и пустил ловкодава по следу бледнотиков, да только след оказался ложным; калиевая там пробегала комета, а ловкодав простодушный, Ампер, калий принял за кальций, из коего преимущественно и состоит бледнотиковый скелет. Отсюда ошибка. Долго блуждал Перфорат среди солнц все более темных, ибо забрался в древнейшие урочища Космоса.

Шел он сквозь анфилады гигантов пурпурных, пока не увидел, что его звездоход вместе с безмолвною свитою звезд в зеркале отразился спиральном, в среброкожем рефлекторе; удивился он и на всякий случай взял в руки гасильник Сверхновых, купленный у пигмелиантов, чтоб уберечься от нещадного зноя на Млечном Пути; не знал он, что видит, а это был узел пространства, его наиплотнейший факториал, даже тамошним моноастритам неведомый; только и известно о нем, что кто туда попадет, уже не вернется. Неизвестно поныне, что стало с Матрицием в этой мельнице звездной; верный его Ампер один прибежал домой, тихонько воя на пустоту, а его сапфировые глазищи таким полыхали ужасом, что никто не мог заглянуть в них без дрожи. Однако же ни гасильников, ни Матриция никто с той поры не видал.

Последним отправился в одинокий поход Эрг Самовозбудитель. Не было его год и еще шесть недель. Когда же вернулся, поведал о странах, никому не известных, — о стране перископов, что строят кипящие ядометы; о планете клейстерооких — те сливались у него на глазах в ряды черных валов, ибо так поступают они в опасности, а он надвое их рассекал, пока не обнажилась известковая скала, их кость; когда же одолел он их мордопады, оказался прямо перед мордой громадной, вполнеба, и ринулся на нее, чтоб дорогу узнать, и лопалась кожа ее под ударами его огнемечущего меча, и обнажались сплетающиеся, белые заросли нервов. Сказывал он о планете из чистого льда, прозрачнейшей Аберрации, которая, наподобие лупы алмазной, вмещает картину целого Космоса; там срисовал он дорогу в страну бледнотиков. Толковал об Алюмнии Криотрической, стране молчания вечного, где видел лишь сияние звезд,

в макушках подвешенных ледников отраженное, о королевстве бесформенных мармелоидов, которые финтифлюхи кипящие лепят из лавы, об электропневматиках, что в парах метана, в озоне, хлоре и дыму вулканическом искру разума могут разжечь и неустанно бьются над тем, как мыслящий гений в газ воплотить. Рассказывал, как пришлось ему, чтобы проникнуть в страну бледнотиков, высадить двери солнца, называемого Головою Медузы, и как, снявши оные с хроматических петель, он сквозь звездное нутро пробежал, сквозь сплошные ряды лилового и бело-голубого огня, а доспехи на нем от жара свивались. Как тридцать дней кряду старался он отгадать слово, коим приводится в действие катапульта Астропрокионии — единственные врата в студеное пекло тряских существ; как он среди них наконец очутился, а те пытались уловить его в липкие тенета свои, выбить из головы у него ртуть или довести до короткого замыкания; как завлекали его, показывая звезды-уродцы, но то было якобы-небо, а настоящее они из хитрости спрятали; как пытками хотели вытянуть из него его алгоритм, когда же он все это выдержал, заманили его в западню и скалой магнетитовой придавили, а он в ней тотчас размножился в бессчетные полчища Эргов, крышку железного гроба сдвинул, наружу вышел и строгий суд чинил над бледнотиками — месяц и еще пять дней; как последним усилием бросили они на него гусеничных панцирных чудищ, бронеползами именуемых, но и это их не спасло, ибо он, не остывая в запале бойцовском, рубил, колол и крошил и так их умучил, что они того негодяя, бледнотика-ключекрада, приволокли прямо к его стопам, а Эрг отсек его мерзкую голову, тушу выпотрошил и нашел в ней камень-трихобезоар с надписью на хищном бледнотиковом наречии, и из надписи этой узнал, где обретается ключик. Шестьдесят семь солнц, белых, голубых и рубиново-алых, распорол Самовозбудитель, прежде чем натолкнулся на нужное и ключик нашел.

О том, что с ним приключилось на обратном пути, о битвах, которые пришлось ему выдержать, он уже говорить не хотел, так его влекло к королевне, да и к свадьбе с коронацией тоже. С великою радостью король с королевой провели его к дочери, которая молчала, как камень, объятая сном. Эрг склонился над ней, возле крышечки открытой поколдовал, что-то туда воткнул, покрутил, и вдруг королевна, к восхищению матери, короля и придворных, глаза приоткрыла и улыбнулась спасителю своему. Эрг крышечку закрыл, залепил пластырем, чтобы не

открывалась, и пояснил, что винтик он отыскал тоже, да обронил его в битве с Полеандром Партобоном, кесарем Ятапургии. Но никто этому значения не придал, а напрасно, ведь тогда увидели бы король с королевой, что никуда он не отправлялся, а просто с малолетства владел искусством открывать любые замки, благодаря чему и завел королевну Электрину. Так что не изведал он ни одного из описанных им приключений, а лишь переждал год и еще шесть недель, чтобы кто не подумал, что слишком уж скоро отыскалась пропажа, а вдобавок желал увериться, что никто из соперников его не вернулся. Лишь тогда явился он ко двору Болидара, королевне жизнь возвратил, взял ее в жены и на троне Болидаровом правил долго и счастливо, и обман его никогда не открылся. Отсюда и видно, что не сказку мы рассказали, а быль, ибо в сказках добродетель всегда побеждает.

Сокровища короля Бискаляра

Король Кипрозии Бискаляр славился своими несчетными богатствами. Было в его сокровищнице все, что только можно сделать из золота, из урана и платины, из амфиболов, рубинов, ониксов и аметистов. Любил король бродить по колено в драгоценностях и часто говаривал, что нет на свете такого сокровища, какого не было бы у него.

Весть о кичливости короля дошла до одного чудесного конструктора, который в то время был хранителем кладовой и главным закройщиком у Висмодара, владыки звездных скоплений Диад и Триад. Конструктор отправился ко двору Бискаляра. Очутившись в тронном зале, где король сидел на кресле, выточенном из двух огромных бриллиантов, конструктор, даже не глядя на золотые плиты пола, черным агатом инкрустированные, сказал, что если король представит ему опись своих сокровищ, то он, конструктор Креаций, покажет такую драгоценность, какой у Бискаляра наверняка нет.

Skarby króla Biskalara, 1964. © Перевод. Ю. Абызов, 1965.

— Хорошо, — сказал Бискаляр, — но если тебе не удастся это сделать за три дня, то я буду тебя магнитами по двору серебряного своего дворца волочить, золотые гвозди в тебя вбивать буду, а потом череп твой, в иридий оправленный, повешу на солнечных воротах для устрашения самохвалов!

Тут же принесли опись королевских сокровищ, которую целых шесть лет составляли сто сорок электронных писцов.

Конструктор Креаций велел отнести фолианты в черную башню, которую отвел для него король, и закрылся там. На другой день он снова пришел к Бискаляру. Король окружил себя такими сокровищами, что даже глазам было больно от золотисто-белого полыханья. Но Креаций, не обращая на это внимания, попросил, чтобы принесли ему корзину обыкновенного песка или даже просто мусора. Когда это сделали, он высыпал песок на золотой паркет и воткнул в него, бережно держа двумя пальцами, какую-то маленькую штучку, блеснувшую, как искорка. Штучка тут же вгрызлась в песочный холмик, и на глазах удивленного Бискаляра тот засиял, как самый чистый самоцвет, и стал расти, играя пульсирующим светом, становясь все больше и чудеснее, пока эта живая драгоценность не затмила мертвую красоту королевских сокровищ. Все присутствующие зажмурились, не в силах вынести такого избытка красоты, которая все нарастала. Король закрыл лицо руками и крикнул:

— Довольно!

Тогда Креаций наклонился и положил на играющий самоцвет другую искорку, черную, и самоцвет в один миг стал серо-бурой грудкой спекшегося песка.

Великий гнев и зависть охватили короля.

— За то, что ты меня посрамил, тебе грозит казнь, — сказал он. — Но чтобы не говорили, будто я вероломно нарушил наше королевское слово, я дам тебе три задания. Справишься с ними — дарую тебе жизнь и свободу. Не справишься — горе тебе, чужеземец!

Ничего Креаций не ответил, стоял себе спокойно, а Бискаляр продолжал:

— Вот тебе первое задание. Ты похваляешься, что можешь сделать все. Проникни же в мою подземную сокровищницу этой ночью. В ней четыре зала. И в последнем зале, белом как снег, пусто. Лежит там только бриллиантовое яйцо, а в нем металлический шар. Завтра, ровно в полдень, ты должен принести его мне. Ступай!

Креаций поклонился и ушел. А жестокий Бискаляр подстроил ему ловушку: если бы даже конструктор сумел пробраться в сокровищницу, то он не смог бы вынести металлический шар: ведь выточен тот шар был из чистого радия и за тысячу шагов обжигал страшным излучением и помрачал разум.

Спустилась ночь. Креаций вышел из своей башни и пошел ко дворцу. Поодаль от стражи, что перекликалась на зубчатых стенах, он достал из-за пазухи маленькую шкатулочку, положил на ладонь три молочно-белых искры и дунул. Искры разгорелись перламутровым блеском и окутали облаком вооруженную стражу. Сгустился такой туман, что за шаг ничего не увидишь. Креаций прошел в подземелье незамеченным и очутился в зале.

Потолок того зала был из халцедона, стены из хризоберилия, а изумрудный пол казался зеленым озером среди сверкающих скал. Потом он увидел дверь сокровищницы, а перед нею черную членистоногую машину о восьми ногах. Воздух над нею так и выгибался хребтом, будто волна расплавленного стекла.

— Скажи мне, — заговорила машина, — что это за место — нет там ни стен, ни решеток, а выйти оттуда никто не может?

— Это место — Космос, — ответил конструктор.

Зашаталась машина и упала на изумрудные плиты с таким грохотом, будто кто-то перерезал часовую цепь и гири покатились по хрусталю. Креаций перешагнул через нее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из титана. Выпустил он искру, та закружилась светлячком, нырнула в замочную скважину. Через минуту оттуда вылез белый язычок. Креаций взял его легонько, потянул и извлек трепещущий пучок не то стебельков, не то струн. Посмотрел на них и прочитал, что там было написано...

«Хороший мастер служил Бискаляру, — подумал он, — раз сумел снабдить сокровищницу атомным замком».

И точно, у сокровищницы не было другого ключа, кроме атомного облачка; этот газовый ключ надо было вдуть в замочную скважину, и тогда атомы редчайших элементов — гафния, технеция, ниобия и циркония — поворачивали в нужной последовательности язычки замка, а электрический ток отодвигал огромные засовы.

Конструктор выбрался потихоньку из подземелья, ушел за город и стал при свете звезд собирать в горах планеты нужные ему атомы.

— Вот у меня уже есть шестьдесят миллионов ниобиевых, — подсчитал он за час до рассвета, — миллиард и семь штук циркониевых, вот сто шестнадцать гафниевых. Но где же мне взять технеций, если ни одного его атома нет на этой планете?

Он поглядел на небо, а тут как раз заря занялась, предвещая восход солнца. И улыбнулся конструктор, вспомнив, что атомы технеция есть на солнце. Хитрый Бискаляр укрыл ключ к своей сокровищнице в солнечной звезде! Достал Креаций из своей шкатулки невидимую искру (а была она из самого жесткого излучения) и выпустил ее с открытой ладони навстречу восходившему солнцу. Искра прошипела и пропала. Не прошло и пятнадцати минут, как затрепетал воздух, потому что атомы технеция, пришедшие с солнца, несли в себе нестерпимый солнечный жар. Конструктор поймал их, будто жужжащих пчел, закрыл вместе с остальными в шкатулку и направился ко дворцу, так как время было уже на исходе.

Туман все еще стлался по земле, и стража не заметила, как он вбежал в подземелье и вдунул в замок газовый ключ. Креаций услышал, как защелкали поочередно язычки замков, но сама дверь не шелохнулась.

— А не ошиблась ли ты, искорка? Это же мне головы может стоить! — сказал Креаций и сердито ударил кулаком по двери.

И тут последний атом технеция, который еще не совсем остыл и из-за этого чуть не сбился с пути, наконец повернул упрямый язычок. Дверь сокровищницы — а была она двухметровой толщины — тихо открылась.

Креаций вбежал в первую комнату, зеленую, словно зеленый океан, так как стены ее были изумрудные. Прошел другую — небесно-голубую от сапфиров — и третью — бриллиантовую, где глаза кололо радужными шипами, и, наконец, очутился в зале, белом как снег. Здесь он увидел алмазное яйцо, но сила излучения тут же помутила его рассудок. Опустился он на колено и, съежившись, замер на пороге, лишь теперь догадавшись о королевской ловушке.

Бросил Креаций россыпью серые и черные искры, а те превратились в пушистую стену и окружили его. Так он подошел к бриллиантовому яйцу. Схватил его и выбрался из подземелья, окруженный мохнатой тучей искр.

Большие городские часы как раз начали бить двенадцать, и Бискаляр уже руки потирал при мысли о том, как он будет волочить магнитами посмеявшегося над ним Креация.

Но вдруг послышались гулкие шаги, и во дворец ворвался ослепительный свет — это Креаций вошел в тронный зал и бросил на пол радиевый шар. Покатился шар к подножию трона, и на его пути тускнел блеск драгоценностей, и сверкающие стены меркли от излучения. Задрожал король, вскочил, спрятался за спинкой своего кресла. Сорок сильнейших электрыцарей, прикрываясь свинцовыми щитами, на четвереньках стали медленно подбираться к шару, обжигающему все вокруг, и, подталкивая копьями, потихоньку выкатили его из тронного зала.

Пришлось королю Бискаляру признать, что Креаций выполнил задание. Но гнев, наполнивший сердце короля, уже не имел предела.

— Посмотрим, справишься ли ты со вторым заданием, — сказал король и приказал взять Креация на борт космолета и отправить на луну. А был это шар пустынный, подобный голому черепу, ощерившемуся дикими скалами.

Капитан космолета высадил конструктора на скалы и сказал:

— Выберись отсюда, если сможешь, и завтра в полдень явись к королю! А не выберешься — ты погиб!

Если бы даже никто и не прилетел за Креацием, чтобы предать его казни, то все равно недолго смог бы он жить в столь ужасной пустыне. Оставшись один, Креаций пошел исследовать безжизненное лунное пространство. Вспомнил он о своих верных искорках, а их нету! Верно, когда он спал, обыскали его королевские стражники и украли драгоценную шкатулку.

— Плохо дело! — сказал конструктор. — Впрочем, не так уж и плохо. Вот если бы у меня разум украли, тогда бы я наверняка проиграл!

А был на этой луне океан, только весь ледяной, застывший. Конструктор стал заостренным кремнем вырубать изо льда глыбы и складывать из них остроконечную башню. Потом он вытесал из ледяной глыбы линзу, поймал ею солнечные лучи и направил пучок их на поверхность застывшего океана, а когда лед стал таять и появилась вода, Креаций принялся черпать ее и лить на стены ледяной башни. Вода, стекая, замерзала и спаивала глыбы, застывая на них сверкающей гладкой оболочкой. И вот уже конструктор стоит перед хрустальной ракетой, возведенной из белого льда.

— Корабль у меня есть, — сказал он, — теперь дело за энергией.

Он обыскал всю луну, но не нашел на ней ни урана, ни других мощных элементов.

— Ничего не поделаешь! Придется употребить свой мозг...

И конструктор вскрыл свою собственную голову. Мозг-то у него состоял не из материи, а из антиматерии, и существование его обеспечивал только тонкий слой магнитного поля между стенками черепа и хрустальными мыслящими полушариями. Креаций вырезал в ледяной стене отверстие, вошел в ракету, залил отверстие водой, заморозил его, сел на ледяное дно ракеты и, достав из головы зернышко, крохотное, как песчинка, бросил его вниз, на лед.

Страшный блеск залил его ледяную тюрьму. Ракета затряслась, через пробитое в днище отверстие вырвалось пламя — и ракета понеслась. Только ненадолго хватило ей первого толчка. Пришлось Креацию второй раз порыться у себя в голове, а потом и третий, и четвертый, но уже с опаской, так как почувствовал он, что мозг у него уменьшается и потому слабеет... Но ракета уже вошла в атмосферу планеты и стала падать. Трение о воздух разогревало и растапливало ее. Ракета становилась все меньше и меньше, пока наконец не осталась от нее маленькая закопченная сосулька. Впрочем, в ту же самую минуту Креаций коснулся земли, заделал отверстие в своей черепной коробке и поспешил во дворец. Было самое время: часы как раз собирались бить двенадцать.

Король обомлел, заискрились у него глаза и щеки, а лоб потемнел от великого гнева, словно нагретая и резко охлажденная сталь. Он был уверен, что Креаций не вернется, раз искорок у него не стало.

— Ну, ладно! — сказал он. — Пусть так! Вот тебе третье задание, и довольно легкое, как я считаю... Я открою городские ворота, ты выбежишь, а по следам твоим я пущу свору борзых роботов, чтобы они догнали тебя и разорвали своими стальными клыками. Если сумеешь уйти от них, если предстанешь предо мной завтра в это же время — будешь свободен!

— Хорошо, — ответил конструктор, — я прошу только дать мне перед этим шпильку...

Засмеялся король:

— Пусть не говорят, будто я отказал тебе в милости. Дать ему сейчас же золотую шпильку!

— Нет, милостивейший государь! — ответил Креаций. — Мне надо простую, железную.

Взял он эту шпильку и бросился бежать из города так, что ветер в ушах засвистел. Король злорадно смеялся, глядя с зубчатой стены на то, как он мчится. Король был уверен, что конструктора ничто не спасет.

А тот все бежал и бежал, разбрасывая ногами песок, держа все время на запад, пересекая одну за другой магнитные линии планеты, и шпилька его скоро намагнитилась, а когда он подвесил ее на нитке, выдернутой из своего одеяния, она завертелась и показала на север.

— Вот у меня уже и компас есть. Отлично! — сказал конструктор и насторожился, так как ветер донес до него топот. Это стая железных роботов выскочила из городских ворот. С диким лаем и воем неслась она по его следу. Скоро на горизонте появилось облако пыли.

— Ах, были бы у меня мои искорки! — сказал Креаций. — Я бы с вами быстро разделался, резвые болтики! Ну да как-нибудь и без них обойдусь... С твоей помощью, шпилечка! — И побежал дальше, так быстро, как только мог, не отрывая глаз от шпильки.

Королевские псари так хорошо навели свору на след конструктора, что она мчалась, будто кто метеор запустил. Оглянулся конструктор и видит: вот-вот его догонят, потому что гончие были роботами высокого напряжения и быстрого хода, сотворенными специально для выслеживания и преследования. Рыжее солнце смотрело сквозь тучу песка, поднявшуюся от их бега. Слышно было, как яростно лязгают они шестеренками.

«Места здесь пустынные, — сказал про себя конструктор, — но кажется мне, будто где-то тут поблизости есть залежи железной руды!»

А показала ему это шпилька, чуть-чуть отклонившись от направления на север, куда до сих пор показывала...

Побежал Креаций в ту сторону и увидел ствол давно заброшенной шахты. Камень с такой скоростью не катится по горному откосу, с какой покатился он в темную пропасть, укутав лишь краем одежды свою кристаллическую голову, чтобы она не разбилась.

Подбежали роботы к пустой шахте, взвыли в один железный голос и, почуяв след, ринулись в яму.

А конструктор поднялся на ноги и помчался по штольне, пробитой в магнетитовой скале. Но бежал он не просто, а то присядет, то подпрыгнет, будто ему весело, и притопнет-то, как

в танце, и подковками-то искру высечет, и платком-то развернутым по скале хлопнет... Поднялась ржавая пыль и сплошной тучей заполнила штольню, по которой он бежал. Влетели роботы в эту тучу, и мельчайшие железные опилки попали им в суставы, так что они заскрежетали. Проникли опилки в их неповоротливые мозги и так их забили, что искры из глаз посыпались. Забило железной пылью им коллекторы, и соединения, и реле. Дергаясь от коротких замыканий, как от икоты, роботы бежали все медленнее, а некоторые, совсем обалдев, бились лбом о стенку, так что из треснувших голов повылетали провода. Упавших топтали бежавшие следом и тут же сами валились вверх копытами. Но остальные все гнались за Креацием, который не переставал поднимать железную пыль. Не пробежал он и мили, а за ним уже мчалась не свора, а лишь трое калек, да и те качались как пьяные и сталкивались друг с другом с таким грохотом, будто кто-то катил железные бочки.

Остановился конструктор и увидел, что два робота еще бегут за ним — как видно, головы у них были герметичнее, чем у прочих.

— Неважно эта свора сработана, — сказал он. — Всего только двое пыли не боятся! Но и с этими надо справиться...

Упал он на землю, вывалялся в железной пыли и сам бросился навстречу преследователям.

— Стой! По приказу короля Бискаляра!

— А ты кто такой? — спросил первый робот и втянул воздух в стальные ноздри, но ничего, кроме запаха железа, не учуял.

— Я робот-посыльный, дистанционно управляемый, со всех сторон закованный, клепаный, штампованный! Станьте заклепка к заклепке и увидите в свои четыре чугунные гляделки, какой я молодец, какой я удалец, как играет стальной дух супротив чугунок двух! Напрягите свои катушки, это вам не игрушки, а коли спорить решитесь — электрической жизни лишитесь!

— Да что нам делать-то? — спросили роботы. Слова конструктора их прямо ошеломили.

— На колени встать! — объяснил им конструктор.

Грохнулись роботы на землю, а он, нагнувшись, тут же воткнул тому и другому в головы шпильку, так что фиолетовое сияние от бьющих искр озарило своды. С лязгом рухнули оба псаробота, замкнутые накоротко.

— Бискаляр, наверное, думает, что если я и вернусь, так вернусь один, — сказал Креаций и стал обходить всех роботов, каждому он открывал голову и заново соединял стальные провода, и когда они очнулись, то слушались уже только его, Креация. Встал он тогда во главе этой дружины и двинулся на столицу. Во дворце Креаций приказал своим железным невольникам схватить короля и открыть для всех подданных сокровищницу деспота. Одарив жителей страны, Креаций посоветовал, чтобы они выбрали в короли кого-нибудь более достойного. Сам же, прихватив с собой шкатулку с верными искорками, двинулся черной дорогой, усеянной звездами, и по сей день еще по ней странствует. Верно, рано или поздно и к нам завернет.

Два чудовища

Давным-давно средь черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове звездном, была шестерная система; пять ее солнц кружили поодиночке, шестое же имело планету из магматических скал, с яшмовым небом, а на планете росла и крепла держава аргенсов, или серебристых.

Среди гор черных, на равнинах белых стояли их города Илидар, Висмаилия, Синалост, но всех превосходнее была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, ночью — с выпуклою звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий высились в ней: хризопразовых — светлых как золото, турмалиновых и отлитых из мориона, а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргенских, по принципам отрицательной архитектуры построенный, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли, и было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил род Энергов всею планетой.

Dwa potwory, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

При короле Треопсе азмейские сидерийцы напали на державу Энергов с неба, металлическую Висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище и много иных поражений нанесли серебристым; и тогда молодой король Суммарий, полиарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, в которых столь стремительно мчалось время, что ступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило сто миллионов лет, а то и больше, и рассыпáлся он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргенских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенсы смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по немў, пока не разгорелся там ядерный пожар; стало солнце Сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев.

На долгие века воцарились в державе аргенсов покой, порядок и благоденствие. Не прекращался правящий род, и в день коронации каждый Энерг спускался в подземелье мнимого дворца и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. А скипетр этот был не простой; тысячелетья назад вырезали на нем надпись: «Ежели чудище вечно, нет его или их два; если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто при дворе Энергов, да и во всем государстве, что эта надпись означает, ибо история ее начертания забылась столетья назад.

Лишь при короле Ингистоне переменился заведенный порядок вещей. Появилось на планете огромное неведомое существо, ужасная весть о котором вскоре по обоим разнеслась полушариям. Никто не видел его вблизи; а те, кто видел, уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь; старики говорили, будто вывелась она из огромных остовов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых обломков, оставшихся от разрушенной астероидами Висмаилии, поскольку город этот так и не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическо́м ломе и что есть такие скрытые токи в металлах, которые от дуновенья грозы иногда пробуждаются, и тогда из копошения и скрежетанья железок, из мертвого шевеленья останков кладбищенских дивное возникает созданье, ни живое, ни мертвое, которое одно лишь умеет: сеять разрушение без границ. Другие же утверж-

дали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей; они отражаются, словно в зеркале вогнутом, в никелевом планетном ядре и, сфокусировавшись в одной точке, до тех пор влекут наудачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако ж, смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящие поселения, сжигая их жаром, лиловым и белым. Но после осмелело настолько, что даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сверкающий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыханье обращало рыцарей в пар.

Ужас всех обуял, а король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямою связью для лучшего разъяснения дела, и наконец порешили, что одолеть эту тварь можно одною лишь хитростью. И повелел Ингистон Великому Коронному Кибернатору вкупе с Великим Архидинамиком и Великим Абстрактором начертить чертежи электролля, который сразится с чудовищем.

Но не было меж ними согласия — каждый стоял на своем; и построили они трех электроллей. Первый, Медный, подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. Три дня заливали ртутью резервуары его памяти; он же тем временем лежал в лесах, а ток шумел в нем как сто водопадов. Второй, Ртутеглав, был великан динамичный и лишь по причине ужасающей скорости движений казался чем-то имеющим облик, но облик изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого Абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто.

Когда Коронный Кибернатор окончил свой труд и леса упали, потянулся Медный, да так, что во всей столице зазвенели кристаллические перекрытия; понемногу поднялся он на колени, и земля задрожала; когда же встал он в полный свой рост, то головою уткнулся в тучи и, чтобы не застили они ему взор, нагревал их, а тучи с шипеньем перед ним разбегались. Сиял он, как червонное золото, каменные мостовые пробивал стопами навылет, а в колпаке у него два зеленых светились глаза, и еще был третий, закрытый, которым он мог прожигать скалы, приподняв веко-щит. Сделал он шаг, другой и был уже за горо-

дом, сияя как пламя. Четыреста аргенсов, взявшись за руки, едва могли окружить один его след, подобный ущелью.

Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направлялся он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне, и наконец сравнялся ростом с обычным аргенсом, но при этом лишь верхней своей половиной высился над горизонтом, а нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь, ночь ожидания; ожидали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево, но ничего не случилось. Лишь на самой заре ветер принес громовое эхо словно бы какой-то далекой грозы. И настала опять тишина, но уже в сиянии солнца. Вдруг словно целая сотня солнц вспыхнула в небе и груда болидов огненных низвергнулась на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собою несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но из-за грохота не слышно было напрасных их воплей. Это вернулся Медный — чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу; теперь они возвращались, растопившись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи лился медный ливень с небес.

Пошел тогда на чудовище Ртутеглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше он получал ударов, тем становился крепче. Удары не раздробляли его — напротив, делали только устойчивее. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало не двигаясь. Гром сотряс небо и землю. Чудище обернулось белой стеною огня, а Ртутеглав — черною пастью, которая огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова и снова прошло сквозь электролля, не причинив ему никакого вреда. Фиолетовые молнии полыхали из тучи, в которой бились гиганты, но грома не было слышно — шум сраженья его заглушал. Увидело чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало внутрь, распласталось и превратило себя в Зерцало Материи: все, что стояло напротив Зерцала, отражалось в нем, но не в виде изображения, а в натуре; Ртутеглав увидел свое повторенье и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным, однако не мог самого себя одолеть. Так он сражался три дня и три ночи, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего на свете, кроме

ядра Белого Карлика, — а когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недра планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас стал заполняться светящейся рубиновой лавой.

Третий электрыцарь невидимым отправился в бой. Великий Абстрактор, Коронный Физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха, беззвучно, не отбрасывая тени на солнце, словно и не было его никогда.

И правда, было его меньше чем ничего: ибо родом он был не из мира, но из антимира, и не материей был он, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохотных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которое продвигалось вперед словно длинная цепь железных гор, в пене стекавших по хребту облаков. Ударил Невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое вмиг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом; пробил его электролль и вернулся, а чудовище свилось в клубок, забилось в судорогах и бухнуло добела раскаленным жаром, но электрыцарь покрылся пеплом — и пустотой обернулся; заслонилось чудовище Зерцалом Материи, но и Зерцало пробил электролль Антимат. Ринулось снова чудовище, разверзлось отверстие в его лбу, и самые жесткие вырвались оттуда лучи, но и они смягчились и стали ничем; колосс содрогнулся и побежал, низвергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем бесславном пути лужи расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один: набрасывался на него с боков Антимат, и рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал, а чудище, на части разодранное, последними своими останками вилось ко всем горизонтам сразу, и ветер развеивал его следы, и вот уже не было его на свете. Великая радость настала меж серебристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилии. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, средь кадмиевых и танталовых обломков, где прежде только ветер гостил, посвистывая в грудах искореженного металла, началось непрестанное копошенье, как в муравейнике; поверхность металла посинела от жара, за-

искрились металлические скелеты, размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись между собою сцепляться, соединяться, спаиваться, и из завихрений железок скрежещущих нарождалось и вставало страшилище новое, такое же самое. Вихрь, несущий небытие, встретился с ним, и новая разгорелась схватка. А на кладбище зарождались и выползали оттуда чудовище за чудовищем, и черная объяла серебристых тревога — теперь уже знали они, сколь страшная грозит им опасность. Тогда прочитал Ингистон надпись на скипетре, задрожал и понял. Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький как иголка, и начал писать по воздуху словно огнем.

И возвестила огненная надпись оробевшему королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали управляет его зарождением, возрастанием и смертоносною силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенсы — отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетья назад. И были эти творцы не похожи на разумных, кристаллических, стальных, златотканых — и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых называли железными ангелами — в насмешку, ибо содержались они в жестокой неволе. Однако же, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы; и умчались на них из дома рабства в отдаленнейшие звездные архипелаги, и там положили начало державам могучим, средь коих аргенское подобно песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему Космосу, облетая его от восточной стены галактик до западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, близ темных солнц или светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство, — так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, убежать от мести — выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники узрели помертвевшие зеницы владыки. Долго молчал он, и наконец заговорили вельможи:

— Владыка Этерны и Эрисфены, господин Илидара, Синалоста и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных, скажи свое королевское слово!

— Не слово потребно нам, но деяние, и к тому же последнее! — отвечал Ингистон.

Задрожал совет, но воскликнул как единый муж:

— Ты сказал!

— Да будет так! — молвил король. — Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого; я слышал о нем, вступая на трон. Это ведь человек?

— Ты сказал! — ответил совет.

И тогда Ингистон обратился к Великому Абстрактору:

— Делай свое дело!

А тот отвечал:

— Слушаю и повинуюсь!

После чего изрек Слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетные подземелья; и раскололось яшмовое небо, и, прежде чем главы поверженных башен коснулись земли, семьдесят семь городов аргенских обратились в семьдесят семь белых кратеров, и на лопнувших щитах континентов, сокрушенных кустистым огнем, погибли все серебристые, а огромное солнце не планету уже освещало, но клубок черных туч, который медленно таял в мощном вихре небытия. Пустота, вспученная лучами, что тверже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. Семь дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали черные как ночь звездоходы.

— Свершилось! — сказал своим товарищам недремлющий творец чудовищ. — Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше.

Темнота за кормою их корабля расцвела огнями, и помчались они дорогою мести. Бесконечен Космос, и нет предела ему, но ненависть их также не имеет предела, а потому в любой день, в любую минуту может настигнуть и нас.

Белая смерть

Арагена была планетой, застроенной изнутри; ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на триста и шестьдесят градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главою, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дики и мертвы оставались материки Арагены; лишь топоры молний обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине десяти миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов; высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра, возводили дома вниз крышею в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в двадесять тысяч раз, как в театре гигантов, — ибо питали они влечение к блеску и геометрии и

Biała śmierć, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые; а от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный; держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов — как множественные предивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые они вынашивали в огне.

Метамерик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум; когда же, по прошествии тысячи лет, разум этот дряхлел и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее, а было их у него десять миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел; всего-то и знал он о них, что, когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаваньем занимались и ради него покинули родимые солнца, ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальный грунт Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное; но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, чтобы на след свой не навести жестоких преследователей; и погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми, или бледными, невдомек, что не вконец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхожденье своем: история ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов запечатлена была в везувийском черном пракристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако, знал и помнил ее их владыка.

Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные Гремучей Змеей, ибо там неустанно сталкива-

лись огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов; и была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполонивших систему Скорпиона.

Камнепадами сыпались метеориты и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр обращая ночь в день и тучами пыли — день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы энтеритов; а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ведущим в подземелья воротам энтериты придали вид покореженных скал.

Тысячелетья никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни на миг не ослаблял требования быть настороже.

Но однажды отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя, чашевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота.

В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхний панцирь; под ним оказался другой, белизны небывалой, что несколько их встревожило, когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней — плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели.

Старейший ученый, Афинор, тщательно исследовал дверь и выяснил: открыть замок можно лишь словом заветным. Ка-

ким — не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова — и «Космос», и «Звезды», и «Вечный Полет», но дверь даже не дрогнула.

— Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика, — сказал наконец Афинор. — Ребенком я слышал легенду о белых созданьях, что преследуют по всему Космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку...

Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «Месть».

Кликнули ученые на помощь воинов и в сопровождении оных, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, кои бывают весьма велики: их король величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако ж, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелки и рассредоточены; а значит, чужой корабль не мог быть не чем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень.

В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала; из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучку щепок — не слишком твердых, известковых. Бог весть почему ужас объял их всех, стоявших во мраке, лучами кристаллов проколотом. А король проведал уже об этой истории; тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей.

Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, да покореженные останки, да внутренности стальные, да прах, краскою алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать.

— Именем короля! — возгласил он. — Алая краска, вами найденная, — вестник погибели! Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет: мстить безвинным за то, что они существуют...

— Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов, — отвечали они.

— Бесконечно могущество бледных существ — погибая, они многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц! Делайте же свое дело, атомисты!

Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют истории; все они одинаковы, откуда бы ни были родом — хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных — добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем Космосе, и не ее надлежит опасаться.

И все-таки даже атомы собрали они, и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены. Нам уже ничто не грозит».

Но когда ударили молоты платиновые по кораблю и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью, в пыли и во прахе, меж валунами пещер, белый побег; а там и второй, и третий, и сотый, и дохнуло от них кислородом и влагою, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных, и сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях энтеритов, а когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа; когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма, а в ней разрасталась, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, — пушистая, влажная, белая плесень.

Как Микромил и Гигациан разбеганию туманностей положили начало

Астрономы учат, что все существующее — туманности, галактики, звезды — разбегается врассыпную, и из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет.

Многие дивятся такому вселенскому бегству, а обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то, давным-давно, весь Космос умещался в единственной точке, как звездная капля, которая неведомо отчего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне.

И тут одолевает их любопытство: что же прежде-то было? — и не могут разгадать эту тайну. А было вот что.

В предыдущей Вселенной жили два конструктора-космогоника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надоб-

---

Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

но иметь план, а план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, Микромил и Гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, что им приходят на ум.

— Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову, — говорил Микромил, — да только приходит в нее не все. Это меня, да и тебя, ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполненье приводим. Что скажешь?

— Ты прав, без спору, — отозвался Гигациан, — но какой же ты видишь выход?

— Все, что мы делаем, мы делаем из материи, — ответил Микромил, — в ней сокрыты любые возможности; если мы задумаем дом, то дом и построим, если хрустальный дворец — смастерим дворец, задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум — и это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах, поэтому надо ей приделать уста, чтоб она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло!

— Уста нужны, — согласился Гигациан, — но этого мало, ведь сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать материи, но и мышление в ней изощрить, и тогда уж она непременно все тайны свои откроет!

— Верно, — говорит Микромил. — Дело стоит труда. Я это так понимаю: поскольку все существующее — энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта; квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколь только возможно; и кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали. Когда я смогу насыпать в карман сто миллионов гениев и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена: расплодится этих гениев без числа и любая щепотка мыслящего песка скажет тебе не хуже бессчетного множества мудрецов, что и как учинить!

— Нет, не так! — возражает Гигациан. — Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее — масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один-единственный мозг, размеров вовсе не виданных и мышлением изобилую-

щий; спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения. А твой порошок гениальный — диковинка бесполезная, и только, ведь ежели всякая мыслящая крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь!

Слово за слово, и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже и речи о том, чтобы вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над дрýгом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать, поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины — и с рубинами дело лучше всего пошло: столько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочей минеральной сметливой мелочи: изумрудов голубовато-думчатых, топазов желто-смекалистых, но алое рубинов мышленье больше всего ему приглянулось. А пока Микромил трудился в хоре пискливых малюток, Гигациан посвящал свое время гигантам; сгребал к себе с превеликим трудом солнца и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина, обхвата столь всеохватного, что вне его ничего почти не осталось, только щелочка, а в ней Микромил со своими фитюльками.

Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал Микромила подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь; тело его составляли темные звездные тучи, дыхание — мириады солнц, ноги и руки — галактики, спаянные гравитацией, голову — сто триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматая, огненная, из солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало шесть месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане; он-то и должен был с исполином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан.

— И что же может сказать эта кроха? — спросил он. — Что такое ее познанья против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнца солнцам мысль перебрасывают, гравитация мощная ее усиливает, звезды, взрываясь, идеям блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?!

— Чем хвалиться да чваниться, берись-ка лучше за дело, — отвечает ему Микромил. — Или знаешь что? Зачем нам творения наши спрашивать? Пусть подискутируют сами! Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом — острая мысль!

— Будь по-твоему, — согласился Гигациан.

И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил, покружил алый рубин во тьме, над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги, над светящейся тушей бескрайней, и запищал:

— Эй, ты, уж больно великий, увалень огненный, шаляй-валяй непомерный, — можешь помыслить хоть что-нибудь?!

Всего через год дошли эти речи до мозга колосса, и пришли в нем в движенье небесные сферы, искусной гармонией спаянные; подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать.

Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде, чем повернул, два года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел; рубина там давно уже не было, теперь он попискивал за спиной исполина:

— Экая ты нескладеха, звездотучный ты мой, солнцевласый! Экое чудище-ленивище! Чем башкою вертеть, солнцами своими кудлатыми, лучше ответь мне, сумеешь ли ты два да два сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгорит и потухнет от старости!

Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться — ведь говорили с ним из-за его спины; и поворачивался все резвей и резвей, а вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик, доселе прямые, свивались на поворотах в спираль, и звездные тучи закручивались, в шаровидные сбиваясь громады, и все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки; но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеивался.

Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрей поворачивался космолюдин, но, хотя уже юлою вертелся, поспеть все равно не мог, и наконец такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения, Гигацианом наложенные, разошлись, скрепы симпатии электрической распались. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны Универсума, голов-

нями-галактиками кружа, дорогами млечными рассыпаясь, и начали разбегаться туманности, центробежной силой разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро Гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе ни ме; однако ж Гигациан отвечал на это, что творения их мерялись силою разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, которое из них мудрее, а не которое устойчивей в пируэтах. А так как последнее ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул.

С той поры их спор еще сильней разгорелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что, куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется, а это алеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей; и пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями-канатами, лучами-нитками сочленения лопнувшего космолюдина сшить, а иголками служит ему излучение самое жесткое. Но что ни сошьет, все тотчас же рвется, столь страшную мощь имеет однажды начатое разбеганье туманностей; и ни тот, ни другой не сумели у материи тайн ее выведать, хоть и разуму ее научили и уста ей приделали; но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира.

На самом же деле это Гигацианов космолюдин из-за рубинчика Микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит, пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни есть в Космосе, обращается коловратно, вроде юлы; от этого бешеного кружения все и пошло.

Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась

Король Полеандр Партобон — Воеmуж Храброватый, — владыка Киберии, был преславным воителем, а, почитая методы новейшей стратегии, более всего ценил кибернетику как военное искусство. Королевство его кишело мыслящими машинами, ибо Полеандр размещал их всюду, где мог: не только в астрономических обсерваториях или в школах заводил, но и в камни на дорогах вставлять приказывал малые электронные мозги, которые громким голосом предостерегали путника, дабы не споткнулся; равно же и в столбы, стены и деревья повелевал он вставлять машины, чтобы всюду можно было разузнать о дороге. Он подвешивал их к тучам небесным, чтобы возвещали о дожде, наделял ими горы и долины; словом, невозможно было в Киберии шагу ступить, не наткнувшись на разумную машину.

Дивно было на планете. Не только повелевал он кибернетически совершенствовать то, что существовало ранее, но совсем

Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła, 1963. © Перевод. Ф. Широков, 1965.

новые порядки указами насаждал. Так, изготовлялись в Полеандровом королевстве киберраки и звенящие киберосы и даже кибермухи; а когда они слишком плодились, их ловили механические пауки. Шумели на планете киберрощи и киберлеса, играли киберорганчики и кибергусли, а помимо этих цивильных устроений, двукрат более было военных, поскольку король преизрядным был воеводой. В подземельях дворца у него стояла стратегическая цифровая машина необычайной отваги; были у него к тому же и полки малых киберпищалей, большие кибермортиры и всяческое иное оружие, также и огневые палаты, полные пороха.

Злосчастным почитал он себя лишь оттого, что совсем у него не было ни противников, ни врагов, никто не хотел напасть на его государство, дабы устрашающая королевская храбрость, стратегический ум и небывалая исправность кибероружия сразу же себя выказали. Из-за нехватки врагов и всамделишных захватчиков приказывал король своим инженерам строить потешных, с коими и воевал — всегда победоносно. Поелику же походы и битвы эти были суровыми, немалый ущерб терпели от них простолюдины. Подданные роптали, когда слишком многие киберврагиуничтожали их грады и веси или же синтетический супостат поливал их жидким огнем, и даже тогда недовольство выражать дерзали, когда сам король, как их избавитель, наступая и противника потешного уничтожая, все, что на пути стояло, обращал во время штурмов в пожарища и пепелища. Даже и тогда роптали они, неблагодарные, хотя делалось это для их же освобождения.

Наскучили, однако, королю военные потехи на планете, и решил он пойти воевать подальше. Грезились ему космические уже войны и походы. Был у королевской планеты спутник — большая Луна, пустынная совсем и дикая; король обложил подданных тяжелой податью, желая пополнить казну и на этой Луне войска изготовить и новый театр военных действий устроить. Подданные охотно платили налог, уповая, что не будет уж больше король Полеандр освобождать их кибермортирами нижé силу оружия своего на домах их и головах пробовать. Вот и построили на Луне королевские инженеры отменную цифровую машину, которая в свой черед должна была изготовить всяческие войска и самопальное оружие. Король немедля принялся так и эдак исправность машины испытывать; разок даже приказал ей по телеграфу, чтобы она драку электрическую учи-

нила; было ему интересно, правду ли говорят инженеры, что машина эта может все делать. Если она все может, размыслил король, так пусть кулаками помашет. Но в депешу вкралась небольшая ошибка, и машина вместо команды драку учинить получила приказ учинить дракона; и как можно лучше исполнила она заданную программу.

В ту пору вел король еще одну кампанию, освобождая провинции королевства, захваченные киберкнехтами; он совсем уж забыл о своем повелении, когда на планету стали низвергаться с Луны каменные глыбы; изумился Полеандр, ибо и на крыло дворца королевского обрушилась скала и уничтожила коллекцию кибергномов — заводных человечков с обратной связью; сильно разгневанный, он тотчас лунную машину по телеграфу спросил, как она смеет так поступать. Машина, однако, ничего не ответила, ее самой уж и на свете не было: поглотил ее дракон и превратил в собственный хвост.

Немедля послал король на Луну ратную силу, а во главе поставил другую цифровую машину, тоже преотважную, приказав ей уничтожить дракона; однако на Луне что-то сверкнуло, громыхнуло — только машину с войском и видели, ибо взаправду воевал дракон электрический, не понарошку, а против короля и королевства питал злоковарные умыслы. Посылал король на Луну генералов-кибералов, полковников-киберовников, а под конец послал даже одного кибералиссимуса, но и тот ничего не мог поделать; лишь немногим дольше обычного длилось побоище, которое король наблюдал в трубу, установленную на террасе дворца.

Чудовище росло, а Луна становилась все меньше и меньше, пожирал ее сыроядец кусок за куском и превращал в собственное тело. Понял король, а с ним и подданные, что пришла беда, ибо, как только почвы под ногами электродракона не останется, непременно набросится он на планету и на них самих. Очень тужил король, но не видел спасения и не знал, что делать. Машины посылать плохо, раз они погибают, а самому выступить тоже нехорошо, потому что боязно. Вдруг король услышал — а дело было глухой ночью, — как в парадной опочивальне постукивает телеграфный аппарат. Был то аппарат королевский, весь из золота, с бриллиантовыми литерами, с Луной соединенный. Вскочил король и ну бежать к аппарату, а аппарат все тук-тук-тук да тук-тук-тук и такую депешу отстучал: «Повелевает электродракон Воемужу Храброва-

му убираться прочь, ибо он, дракон, на его троне воссесть намерен!»

Перепугался король, задрожал весь и, как был, в ночной рубашке горностаевой и в шлепанцах, побежал в дворцовое подземелье, где находилась стратегическая машина, старая и очень мудрая. Давно уж не просил он у нее совета, так как еще до появления электродракона повздорил с ней из-за плана одной баталии; теперь же не до распри было, приходилось спасать жизнь и трон!

Включил король машину и, едва она нагрелась, воскликнул:

— Машинушка моя цифровая! Милая моя! Так-то и так-то, желает электродракон меня трона лишить, из королевства изгнать; спаси меня и скажи, как дракона одолеть?!

— Ну, нет, — ответила цифровая машина, — сначала ты должен признать, что я в том споре была права, а кроме прочего, желаю я величаться не иначе, как Великим Цифровым Стратегом, причем можешь также называть меня Ваша Ферромагнитность!

— Ладно, ладно, провозглашаю тебя Великим Стратегом и согласен на все, чего ни пожелаешь, только спаси!

Забренчала машина, зашумела, откашлялась и молвила:

— Дело простое. Нужно построить электродракона более сильного, чем тот, что на Луне сидит. Победит он лунного, поломает ему все мослы электрические и тем способом достигнет цели!

— Ах, это великолепно! — ответил король. — А можешь ли ты мне представить план такого дракона?

— Это будет супердракон! — изрекла машина. — Не только план могу я составить, но и его самого изготовить, что сейчас и сделаю, только обожди минутку, король!

И в самом деле, она забурчала, загремела, засветилась, складывая что-то в своем нутре, и вот уже нечто подобное огромному когтю, электрическое, огненное вылезло из ее бока; но тут король закричал:

— Стой, старая цифруха, стой!

— Как ты меня называешь?! Я — Великий Цифровой Стратег!

— Ну ладно, — согласился король. — Ваша Ферромагнитность, ведь электродракон, которого ты изготовишь, победит того дракона, но сам наверняка займет его место, и как же тогда можно будет от него избавиться?!

— Изготовить другого, еще одного, более могучего, — объяснила машина.

— Ну, нет! Лучше уж ничего не делай, прошу тебя; что мне в том, ежели на Луне будут появляться все новые драконы, один другого страшнее, когда мне ни один там не надобен!

— А, ну тогда дело другое, — ответила машина, — что ж ты мне сразу этого не сказал? Видишь, как нелогично ты выражаешься? Подожди... я должна подумать.

И загремела, забренчала, зашумела, наконец откашлялась и молвила:

— Надо изготовить антилуну с антидраконом, вывести на орбиту Луны, — тут в ней что-то хрустнуло, — присесть и пропеть: «А я робот молодой, обливаюся водой, через воду прыг да прыг, не страшуся ни на миг, темной ночью, в день-деньской, расскажи ты, кто такой?!»

— Чудно ты говоришь, — молвил король, — что общего между антилуной и этой считалкой про молодого робота?

— Про какого робота? — спросила машина. — Ах нет, нет, я ошиблась, кажется, у меня чего-то внутри не хватает, должно быть, я где-то перегорела.

Принялся король искать поврежденную деталь, нашел наконец перегоревшую лампу, вставил новую и спросил машину, что же делать с антилуной.

— С какой антилуной? — спросила машина, которая тем временем успела забыть, о чем говорила. — Ничего не знаю про антилуну... подожди, я должна подумать.

Пошумела она, погремела и промолвила:

— Нужно создать общую теорию одоления электродраконов, частным случаем которой, весьма легко разрешимым, явился бы лунный дракон.

— Ну, так создай такую теорию! — вскричал король.

— Для этой цели я должна сначала изготовить разнообразных экспериментальных электродраконов.

— Ну, нет! Большое тебе спасибо! — воскликнул король. — Дракон хочет меня трона лишить, так что же будет, если ты народишь их целое стадо?!

— Да? Ну, тогда следует прибегнуть к иному способу. Мы воспользуемся стратегическим вариантом метода последовательных приближений. Ступай и телеграфируй дракону, что ты готов отдать ему трон, если он выполнит три математических действия, совсем простых...

Пошел король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон согласился; тогда король вернулся к машине.

— Теперь, — молвила машина, — сообщи ему, какое действие он должен выполнить первым: пусть поделит себя на самого себя!

Исполнил это указание король. Дракон поделил себя на самого себя, но, поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, он по-прежнему остался на Луне и ничего не изменилось.

— Ах, что же ты наделала, — вскричал король, столь поспешно вбегая в подземелье, что едва не потерял туфли, — дракон поделил себя на самого себя, но, поскольку единожды один равно единице, ничто не изменилось!

— Не беда, я поступила так намеренно, это — ложный маневр, отвлекающий внимание, — молвила машина. — Теперь ты предложи дракону извлечь из себя корень!

Король телеграфировал на Луну, и дракон принялся извлекать корень; извлекал-извлекал, пыхтел, трясся, скрежетал, но вот наконец корень поддался, и дракон извлек его из себя!

Вернулся король к машине.

— Дракон трещал, трясся, даже скрежетал, извлек корень, но по-прежнему мне угрожает! — крикнул король еще с порога. — Что теперь делать, цифру... то есть Ваша Ферромагнитность?!

— Не печалься, — ответила машина, — скажи теперь, чтобы он себя из самого себя вычел!

Помчался король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон принялся себя из самого себя вычитать. Сначала вычел из себя хвост, потом лапы, потом туловище и наконец, увидев, что дело неладно, заколебался, но, продолжая с разгону вычитать, вычел из себя голову, и в результате остался ноль, то есть ничто: не стало электродракона!

— Нет больше электродракона! — радостно воскликнул король, вбегая в подземелье. — И все благодаря тебе, старая цифрушечка... благодаря... ах, ты уже наработалась, ты заслужила отдых, сейчас я тебя выключу.

— Ну, нет, мой дорогой, — ответила машина, — я свое дело сделала, а ты хочешь меня выключить и уже не величаешь больше Ваша Ферромагнитность? Это очень скверно! Теперь я сама обращусь в дракона, мой милый, изгоню тебя из королевства и буду править получше тебя, ты ведь всегда просил у

меня совета по важнейшим делам, а значит, это я правила, а не ты...

И со скрежетом и дребезжанием стала она обращаться в электродракона: уже огненные электрокогти вылезали у нее из боков, но тут король, задыхаясь от ужаса, сбросил с ноги туфлю, прыгнул к машине и принялся крушить туфлей лампу за лампой.

Задребезжала, захрипела машина, сбилась ее программа, и из команды «электродракон» получилась команда «электродеготь»; на глазах у короля машина, похрипывая все тише и тише, превратилась в огромную блестящую массу черного, как уголь, электродегтя; масса еще потрескивала, пока не вытекло из нее голубыми искорками все электричество и перед остолбеневшим Полеандром не задымилась огромная лужа дегтя...

Вздохнул король с облегчением, надел туфли и вернулся в парадную опочивальню. Однако с той поры он сильно переменился: пережитые им злоключения сделали его нрав менее воинственным и до конца своих дней Полеандр забавлялся лишь цивильной кибернетикой, военной же не касался вовсе.

Советники короля Гидропса

Аргонавтики были первым племенем звездным, завоевавшим для разума пучины вод планетных, навеки — как полагали роботы, слабые духом, — металлу заказанные. Аквация, одно из смарагдовых звеньев их королевства, сияет на небе полночном, как крупный сапфир в ожерелье топазов. Давным-давно на этой планете подводной правил король Гидропс Всерыбный. Однажды утром велел он явиться в тронный зал четырем коронным министрам, когда же приплыли они и нырнули пред ним ниц, с такой обратился к ним речью, между тем как Великий его Поджабрий, весь в изумрудах, обмахивал его перепончатым веером:

— Нержавеющие Вельможи! Пятнадцать веков я владею Аквацией, подводными ее городами и весями на синих лугах; с тех пор раздвинул я границы державы, затопив обширные земли, и не посрамил водостойких стягов, что завещал мне родитель, Ихтиократос. Напротив того, в битвах с враждебными микроцитами одержал я немало побед, коих славу не мне приста-

---

Doradcy króla Hydropsa, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

ло описывать. Однако же чувствую, что власть уже меня тяготит, как непосильное бремя, а посему порешил я произвести на свет сына, который стал бы мне достойным наследником и справедливо бы правил на троне Иноксидов. Поэтому обращаюсь к тебе, Амассид, верный мой гидрокибер, к тебе, великий программист Диоптрик, и к вам, Филонавт и Миногар, коронным наладчикам, чтобы вы мне измыслили сына. Да будет он мудр, но не слишком охоч до книг, ведь избыток познаний отнимает желание действовать. Да будет он добр, но опять-таки не чрезмерно. Еще я желаю, чтобы был он храбр, но не заносчив, впечатлителен, но не сентиментален, наконец, пусть будет похож на меня, пусть бока его покрывает такая же танталовая чешуя, а кристаллы разума пусть будут прозрачны, как эта вода, что нас окружает, подпирает и питает! А теперь беритесь за дело, во имя Великой Матрицы!

Диоптрик, Миногар, Филонавт и Амассид низко поклонились и отплыли в молчании, и каждый размышлял про себя о словах государевых, хотя и не вполне так, как хотел бы могучий Гидропс. Ибо Миногар всего более желал завладеть троном, Филонавт втайне пособничал микроцитам, врагам аргонавтиков, а Амассид и Диоптрик смертельно меж собой враждовали, и каждый из них жаждал прежде всего паденья соперника, а равно и прочих вельмож.

«Королю угодно, чтобы мы спроектировали ему сына, — рассуждал Амассид, — чего же проще, чем вписать в микроматрицу неприязнь к Диоптрику, этому уродцу, надутому, как пузырь? Тогда королевич, короновавшись, немедля велит его удушить путем выставления головы на воздух. Это было бы воистину превосходно. Однако, — продолжал рассуждать достославный гидрокибер, — Диоптрик, без сомненья, строит такие же планы, а в качестве программиста имеет, увы, немало возможностей привить будущему королевичу ненависть ко мне. Дело плохо! Надобно глядеть в оба, когда мы вместе будем закладывать матрицу в детскую печь!»

«Всего проще было бы, — размышлял в то же самое время почтенный Филонавт, — запечатлеть в королевиче благосклонность к микроцитам. Но это тотчас же будет замечено, и король велит меня выключить. Тогда, может, привить королевичу лишь благосклонность к малым формам — это будет куда безопаснее. Если начнут меня допытывать, скажу, что имел в виду одну лишь подводную мелочь, да только забыл снабдить

программу наследника оговоркой, что все неподводное любить не следует. В худшем случае снимет с меня государь орден Великой Хлюпии, но не голову, а это весьма дорогая мне вещь, ее не вернет мне и сам Наноксер, властелин микроцитов!

— Отчего вы молчите, сиятельные вельможи? — заговорил наконец Миногар. — Полагаю, что надобно браться за дело немедля, ибо повеленье монарха — высший закон!

— Потому-то я его и обдумываю, — быстро ответил Филонавт, а Диоптрик и Амассид добавили хором:

— Мы готовы!

И велели они, по старинному обычаю, запереть себя в покое со стенами из смарагдовой чешуи, который снаружи семикратно опечатали смолою подводной, и сам Мегацист, господин планетарных потопов, оттиснул на печатях свой герб — Тихий Омут. С этой минуты никто уже не мог помешать их занятиям, пока, в знак завершения дела, они не выбросят через клапан, учинив завихрение, отвергнутые проекты, а тогда надлежало печати сорвать и приступить к великому торжеству сыновосприемства.

И точно, взялись за работу вельможи, однако не споро она у них шла. Ибо не о том они думали, как привить королевичу добродетели, Гидропсом указанные, но о том, как перехитрить короля и своих нержавеющих соратников в нелегких трудах сынодельческих.

Король выражал нетерпенье, ибо вот уже восемь дней и ночей сидели взаперти сыноделы и даже знака не подавали, что близок благополучный конец. А все потому, что пытались друг дружку взять на измор и каждый выжидал, когда все прочие обессилеют, чтобы быстро вчертить в кристаллическую сеточку матрицы то, что к его обернется выгоде.

Ибо стремление к власти двигало Миногаром, Филонавтом — жажда маммоны, которую обещали ему микроциты, а взаимная ненависть — Диоптриком и Амассидом.

Наконец, исчерпав в таком ожиданье скорее свое терпение, нежели силы, сказал хитроумный Филонавт:

— Не понимаю, сиятельные вельможи, отчего это дело наше так медленно подвигается. Ведь король дал нам точные указания; и если б мы их держались, королевич был бы давно готов. Уж не вызвана ли ваша медлительность обстоятельствами, которые с монаршим сынотворением связаны совершенно иначе, нежели того хотел бы владыка? Если так и дальше пой-

дет, с великим прискорбием буду вынужден заявить votum separatum*, то есть написать...

— Донос! Вот куда клонит ваша милость, — прошипел, яростно шевеля блестящими жабрами, Амассид, так что все поплавки его орденов задрожали. — В добрый час, в добрый час! С позволения вашей милости, и меня разбирает охота написать королю о том, как ваша милость, неведомо с какого времени страдая трясучкой в руках, извела уже восемнадцать жемчужных матриц, которые нам пришлось выбросить, ибо после формулы о любви ко всему небольшому ты не оставил ни капельки места для запрета любить все неподводное! Тебе угодно было нас уверять, почтеннейший Филонавт, что то был недосмотр, — однако ж, повторенный осьмнадцатикратно, он служит достаточным основанием упрятать тебя в дом изменников или безумцев, и к выбору между таковыми пристанищами сведется твоя свобода!

Хотел Филонавт, увиденный насквозь, защищаться, но его опередил Миногар, сказав:

— Можно подумать, благороднейший Амассид, что уж тыто в нашем собранье словно медуза хрустальная, без единого пятнышка. А ведь и ты непонятно как в раздел матрицы, трактующий о предметах, коими должен королевич гнушаться, одиннадцатикратно вписывал то хвостатость трехчленную, то спину вороненую с сизым отливом, дважды — глаза навыкате, то опять-таки панцирь брюшной и три алые искры, словно не зная, что каждая из этих примет может указывать на присутствующего меж нами Диоптрика, государева родича, и тем внушить королевичу ненависть к оному мужу...

— А зачем Диоптрик на самом кончике матрицы неустанно записывал презрение к существам, коих имя оканчивается на «ид»? — спросил Амассид. — И, коль уж об этом речь, отчего же ты сам, почтеннейший Миногар, невесть почему к предметам, ненавистным для королевича, упорно причислял высокий стул о пяти углах, с плавникастой спинкой в брильянтах? Или тебе невдомек, что это точное описание трона?

Наступила тягостная тишина, нарушаемая лишь слабым поплескиваньем. Долго бились вельможи над матрицей, раздираемые враждебными интересами, пока не сложились средь них партии. Филонавт с Миногаром сошлись на том, что матрица

---

* особое мнение *(лат.)*.

должна предусматривать симпатию ко всему мелкому, а также желание уступать таким формам дорогу. Филонавт при этом думал о микроцитах, а Миногар о себе, затем что был наименьшим из четверых. Быстро согласился с этой формулой и Диоптрик, ибо самым рослым из сыноделов был Амассид. Тот яростно упирался, но вдруг уступил, смекнув, что он ведь может уменьшиться, а вдобавок подкупить лейб-башмачника, чтобы тот подбил подошвы Диоптрика плитками из тантала; а тогда подросший соперник навлечет на себя неприязнь королевича.

Потом уже быстро изготовили они сыноматрицу, неудачные проекты выбросили через клапан, и началось великое торжество придворного сыновосприемства.

Едва лишь матрица с проектом королевича оказалась в детопекарне, а почетная стража построилась перед детскою печью, из которой вскоре должен был выйти будущий государь аргонавтиков, как Амассид взялся за исполнение задуманной им интриги. Лейб-башмачник, которого он подкупил, начал привинчивать к подошвам Диоптрика танталовые плитки, одну за другой. Королевич уже доходил до готовности под присмотром младших сыноделов, когда Диоптрик, случайно увидев себя в большом дворцовом зерцале, с ужасом убедился, что он уже выше своего недруга, а ведь королевичу была запрограммирована симпатия только к малым предметам и лицам!

Вернувшись домой, Диоптрик тщательно себя обследовал и простукал серебряным молоточком, обнаружил бляшки, к подошвам привинченные, и вмиг догадался, чьих это рук дело. «Ах, мерзавец! — подумал он, имея в виду Амассида. — Но как теперь быть?!» Поразмыслив, решил он уменьшиться. Кликнул верного слугу и велел тому привести во дворец искусного слесаря. Выплыл слуга на улицу и, не слишком вникнув в приказ, привел бедного мастерового по имени Фротон, что целыми днями бродил по городу, крича: «Головы лужу, жабры паяю, спины клепаю, хвосты полирую!» Была у жестянщика злая жена, которая вечно поджидала возвращения мужа с ломом в руках и, едва завидев его, оглашала всю улицу злобными воплями; все заработанное она у него отнимала, да еще вминала спину его и бока боем немилосердным.

Дрожа, предстал перед великим программистом Фротон, а тот говорит ему:

— Слушай, любезный, можешь меня уменьшить? Что-то я вроде бы великоват... а впрочем, не в этом дело! Ты должен

уменьшить меня, но чтобы моя красота не потерпела никакого ущерба! Сделаешь хорошо — получишь щедрую плату, только немедленно об этом забудь. Ни гугу — иначе я велю тебя заклепать!

Фротон удивился, но виду не подал — чего только не взбредет в голову этим вельможам! Пригляделся он зорко к Диоптрику, в середку ему заглянул, обстукал его, обтюкал и говорит:

— Ваша светлость, можно бы среднюю часть хвоста отвинтить...

— Нет, не желаю! — живо возразил Диоптрик. — Жаль мне хвоста! Уж больно красив!

— Так, может, отвинтить ноги? — спросил Фротон. — Ведь, право, совсем лишние.

И точно, аргонавтики ногами не пользуются, это пережиток прежних времен, когда их предки еще обитали на суше. Но Диоптрик разгневался пуще прежнего:

— Ах ты, олух железный! Да разве тебе неизвестно, что только нам, высокорожденным, позволено иметь ноги?! Как ты смеешь лишать меня этих регалий дворянства?!

— Покорнейше прошу прощения, ваша светлость... Но что тогда я могу отвинтить?

Понял Диоптрик, что с такой несговорчивостью немногого добьется, и пробурчал:

— Делай, как знаешь...

Измерил его Фротон, постукал, потюкал и говорит:

— С позволения вашей светлости, можно бы отвинтить голову...

— Да ты спятил! Куда ж я без головы? Чем я думать-то буду?

— Э, ничего, ваша милость! Сиятельный разум вашей светлости я упрячу в живот — там места вдоволь...

Согласился Диоптрик, а жестянщик проворно отвинтил ему голову, вложил полушария кристаллического мозга в живот, все запаял, заклепал, получил пять дукатов, и слуга вывел его из дворца. Но по дороге он увидел в одном из покоев Аурентину, Диоптрикову дочь, всю серебряную и золотую; и стан ее стройный, звенящий колокольчиками на каждом шагу, показался ему прекрасней всего, что он когда-либо видел. Вернулся жестянщик домой, а там его уже поджидала жена с ломом в руках, и вскоре ужасный лязг огласил улицу, а соседи меж собою судачили:

— Ого! Опять эта ведьма Фротониха мнет мужу бока!

А Диоптрик, весьма довольный, поспешил во дворец.

Несколько удивился король при виде своего министра без головы, но тот объяснил, что это такая новая мода. Амассид же перепугался, ибо все его козни пошли насмарку, и, вернувшись домой, последовал примеру соперника; оттоле разгорелось меж ними соперничество в миниатюризации, и отвинчивали они у себя металлические плавники, и жабры, и шеи, так что неделю спустя оба могли не сгибаясь пройти под столом. Но и остальные двое министров прекрасно знали о том, что лишь наименьших возлюбит новый король, и волей-неволей тоже принялись уменьшаться. Наконец нечего уже было отвинчивать, и Диоптрик в отчаяньи снова послал за жестянщиком.

Изумился Фротон, представ пред магнатом, ибо и так уже мало что от него осталось, а он упорно требовал сокращать его дальше.

— Ваша светлость, — сказал жестянщик, почесывая затылок, — сдается мне, что один только есть способ. С позволения вашей светлости отвинчу-ка я мозг...

— Нет, ты спятил! — возмутился Диоптрик, но жестянщик ему объяснил:

— Мозг мы спрячем у вас во дворце, в надежном месте, скажем, вот в этом шкафу, а у вашей светлости внутри останется только приемничек и микрофончик, чтобы ваша светлость имела электромагнитную связь со своим разумом.

— Понимаю! — сказал Диоптрик, которому решение это пришлось по вкусу. — Делай же, что задумал!

Вынул у него Фротон мозг, положил в шкафной ящик, запер на ключик, ключик вручил Диоптрику, а в живот ему запихнул маленький аппаратик да микрофончик. До того мал стал теперь Диоптрик, что почти незаметен; задрожали при виде такой редукции трое его соперников, удивился король, однако ничего не сказал. Миногар, Амассид и Филонавт прибегли к отчаянным средствам. Со дня на день таяли они на глазах и вскоре поступили так же, как жестянщик с Диоптриком: попрятали мозги, кто куда мог — кто в письменный стол, кто под кровать, — а сами приняли вид жестяных коробочек, сверкающих и хвостатых, с парочкой орденов, лишь немного меньших, чем сами сановники.

И снова Диоптрик послал за жестянщиком; а когда тот предстал перед ним, воскликнул:

— Сделай хоть что-нибудь! Непременно, любой ценой надо еще уменьшиться, иначе беда!

— Ваша светлость, — ответил жестянщик, кланяясь низко магнату, которого еле видно было между ручками и спинкою кресла, — это неслыханно трудно, и даже не знаю, возможно ли...

— Это неважно! Сделай, что я говорю! Ты должен! Если сократишь меня до минимальных размеров, которых уже не превзойти никому, — я исполню любое твое желание!

— Ежели ваша светлость поклянется в этом словом своим дворянским, постараюсь сделать все, что в моих силах, — ответил Фротон, у которого в голове вдруг просветлело, а в грудь будто кто-то налил чистейшего золота; ибо он уже много дней не мог думать ни о чем другом, как только о златотканой Аурентине и колокольцах хрустальных, казалось, укрытых у нее на груди.

Диоптрик поклялся; а Фротон взял последних три ордена, еще отягощавших крохотную грудь великого программиста, сложил из них коробочку трехстенную, внутрь ее вложил аппаратик, не больше дуката, все это обвязал золотой проволочкой, сзади припаял золотую бляшку, выстриг ее в виде хвостика и сказал:

— Готово, ваша светлость! По этим высоким наградам всякий легко узнает вашу персону; благодаря этой бляшке ваша светлость сможет плавать, а аппаратик свяжет вас с разумом, укрытым в шкафу...

Обрадовался Диоптрик.

— Чего хочешь? Говори, требуй — все отдам!

— Хочу взять в жены дочь вашей светлости, златотканую Аурентину!

Страшно разъярился Диоптрик и, плавая подле лица Фротона, принялся осыпать его бранью, звеня орденами; назвал его наглым прохвостом, мерзавцем, канальей, а потом велел его вышвырнуть из дворца. Сам же в подводной ладье шестерней поспешил к государю.

Когда Миногар, Амассид и Филонавт увидели Диоптрика в новом обличье — а узнали его лишь по блистающим орденам, из коих тот теперь состоял, не считая хвоста, — то разгневались страшно. Будучи мужами, сведущими в делах электрических, они поняли, что вряд ли можно зайти еще дальше в миниатюризации личности, а назавтра предстояло торжественное рождение королевича и медлить нельзя было ни минуты. И сго-

ворились Амассид с Филонавтом напасть на Диоптрика, когда тот будет возвращаться домой, похитить его и заточить, что будет нетрудно, поскольку никто не заметит исчезновенья особы столь малой. Как решили они, так и сделали. Амассид приготовил старую жестяную банку и затаился с ней за коралловым рифом, мимо которого проплывала ладья Диоптрика; и когда она подплыла, Амассидовы слуги в масках выскочили на дорогу и, прежде чем лакеи Диоптрика успели поднять плавники, защищаясь, их господина уже накрыли банкою и похитили; Амассид тотчас загнул жестяную крышку, чтобы великий программист на свободу не выбрался, и, жестоко над ним издеваясь и насмехаясь, поспешно воротился к себе во дворец. Но тут пришло ему в голову, что нехорошо держать пленника у себя, и в эту минуту услышал он с улицы крик: «Головы лужу, спины, хвосты, животы клепаю, полирую!» Обрадовался он, позвал жестянщика, которым оказался Фротон, велел ему наглухо запаять банку, а потом дал ему золотой и говорит:

— Слушай, жестянщик, в этой банке — металлический скорпион, пойманный в моих дворцовых подвалах. Возьми ее и выбрось за городом, там, где большая свалка, знаешь? А для верности привали хорошенько камнем, а то скорпион еще выползет. И, ради Великой Матрицы, банку не открывай, иначе погибнешь на месте!

— Все исполню, как велит ваша милость, — ответил Фротон, взял жестянку, плату и вышел.

Удивила его эта история, не знал он, что о ней думать; встряхнул банку, и что-то там загремело.

«Не очень-то похоже на скорпиона, — подумал он. — Не бывает таких маленьких скорпиончиков... Посмотрим, что там такое, только не сразу...»

Вернувшись домой, спрятал он банку на чердаке, сверху набросал старых железок, чтоб жена не нашла, и пошел спать. Но жена заметила, как он что-то прятал на чердаке, и, когда наутро он вышел из дому, чтобы заведенным порядком бродить по городу, восклицая: «Головы лужу, хвосты паяю!» — быстро побежала наверх, отыскала жестянку, встряхнула ее и услышала звон металла. «Ну, негодяй, ну, мерзавец! — подумала она. — Ишь до чего дошел — от жены сокровища прячет!» Поскорей провертела в жестянке дырочку, но ничего не увидела и тогда распорола долотом крышку. И только ее отогнула, как увидела золотой блеск, а это были Диоптриковы ордена из чистого зо-

лота; задрожала Фротониха от жадности неодолимой и оторвала весь жестяной верх, а тогда Диоптрик, который доселе был словно мертвый, ибо жесть экранировала его от мозга, спрятанного в дворцовом шкафу, вдруг очнулся, восстановив связь с разумом, и закричал:

— Что это? Где я?! Кто посмел на меня напасть?! Кто ты, мерзкая тварь? Знай, что бесславно погибнешь, залужённая насмерть, если сей же час не вернешь мне свободу!

Жестянщикова жена, увидав три блистающих ордена, которые перед глазами у нее скачут, верещат и грозят хвостиком, перепугалась ужасно и кинулась наутек; подбежала к чердачному лазу, а так как Диоптрик по-прежнему плавал над ней и грозился, понося ее на чем свет стоит, споткнулась она о верхнюю перекладину лесенки, и вместе с ней полетела вниз, и шею себе сломала; а лесенка, перевернувшись, перестала подпирать крышку лаза, и та захлопнулась; так Диоптрик оказался заточенным на чердаке, где и плавал от стены до стены, тщетно взывая о помощи.

Вечером вернулся Фротон и удивился, что жена не встречает его на пороге с ломом в руках, а вошедши в дом, увидел ее и даже слегка опечалился, ибо сердце имел голубиное; однако вскоре подумал, что случай этот обернется ему на пользу, тем более что жену можно будет пустить на запасные части, и с немалою прибылью. Так что уселся он на полу, взял отвертку и принялся за разборку покойницы. И тут донеслись до него пискливые крики, плывущие сверху.

«Ах! — сказал он себе. — Узнаю этот голос — ведь это великий программист государев, что велел меня давеча вышвырнуть, да еще не заплатил ни гроша, — но как его занесло ко мне на чердак?»

Приставил он лесенку к лазу, поднялся по ней и спрашивает:

— Вы ли это, ваша светлость?

— Я, я! — закричал Диоптрик. — Кто-то напал на меня, похитил, запаял в банку, какая-то баба ее открыла, перепугалась и свалилась с лестницы, крышка захлопнулась, я заточен, выпусти меня, кто бы ты ни был — ради Великой Матрицы! — а я дам тебе все, чего ни попросишь!

— С позволения вашей светлости, я уже эти слова слыхал и знаю им цену, — ответил Фротон. — Ведь я тот самый жестянщик, которого вы велели прогнать. — И рассказал ему всю ис-

торию: как какой-то неизвестный магнат позвал его к себе, велел запаять банку и оставить ее на свалке за городом.

Понял Диоптрик, что это был кто-то из королевских министров, и вернее всего Амассид, и принялся заклинать и молить Фротона выпустить его с чердака; но жестянщик спросил, как может он верить слову Диоптрика?

И лишь когда тот поклялся всем святым, что отдаст за него дочь, жестянщик открыл лаз и, ухвативши вельможу двумя пальцами, орденами кверху, отнес его домой, во дворец. А часы как раз выбулькивали полдень, и начиналась великая церемония извлечения из печи королевского сына; так что Диоптрик поскорее довесил к трем орденам, из коих он состоял, Большую Всеокеанскую Звезду на ленте, расшитой морскими валами, и стремглав поплыл ко дворцу Иноксидов. А Фротон направился в покои, где средь дам своих сидела Аурентина, играя на электродрумле; и весьма пришлись они друг другу по сердцу. Зазвенели фанфары с башен дворцовых, когда Диоптрик подплыл к главному входу, ибо церемония уже началась. Привратники сперва его не пускали, но узнали по орденам и отворили ворота.

А когда они отворились, пробежал по всему коронационному залу подводный сквозняк, подхватил Амассида, Миногара и Филонавта — до того они были миниатюрны — и унес их на кухню, где вельможи, напрасно взывая о помощи, покружили над кухонным сливом, и упали туда, и подземными течениями вынесены были за город; и прежде чем выкарабкались из ила, тины и грязи, очистились и вернулись ко двору, церемония уже кончилась. А подводный сквозняк, столь злополучный для трех министров, подхватил и Диоптрика и завертел его вокруг трона с такой быстротой, что золотая проволочка, опоясывавшая его, лопнула; полетели во все стороны ордена, вместе со Всеокеанской Звездой, а аппаратик, силой раскрута, ударил по лбу самого государя, который весьма изумился, услышав писк, исходивший из этой крохи:

— Ваше Величество! Простите! Я нечаянно! Это я, Диоптрик, великий программист...

— Что за глупые шутки в такую минуту? — воскликнул король и отпихнул аппаратик, а тот сплыл на пол, и Великий Поджабрий, открывая торжество троекратным ударом золотого жезла, по недосмотру раскрошил его вдребезги.

Вышел королевич из детской печи, и упал его взор на электрорыбку, что резвилась в серебряной клетке у трона; посвет-

лел его лик, и полюбилось ему крохотное это созданье. Церемония благополучно закончилась, королевич вступил на трон и занял место Гидропса. С той поры он стал владыкою аргонавтиков и великим философом, занявшись исследованием небытия, ведь ничего меньшего нельзя и помыслить; и правил справедливо, принявши имя Небытолюб, а маленькие электрорыбки были его любимым лакомством. А Фротон взял в жены Аурентину; вняв ее просьбам, достал из подвала изумрудное тело Диоптрика, починил его и вправил ему мозги, извлеченные из шкафа; видя, что делать нечего, великий программист и остальные министры оттоле верно служили новому государю, а Аурентина с Фро́тоном, который стал Великим Коронным Жестьмейстером, жили долго и счастливо.

Друг Автоматея

Некий робот, собираясь в далекое и небезопасное путешествие, прослышал о весьма полезном устройстве, которое придумавший его изобретатель назвал электронным другом. Решил робот, что бодрей он будет себя чувствовать, имея приятеля, пусть даже это будет всего лишь машина, а потому отправился к изобретателю и попросил, чтобы тот рассказал об искусственном друге.

— К твоим услугам, — ответил изобретатель. (Как известно, в сказках всем, даже драконам, говорят «ты» и лишь к королям полагается обращаться во множественном числе.) Сказав это, изобретатель вынул из кармана горсть металлических зернышек, похожих на мелкую ружейную дробь.

— Что это? — удивился робот.

— А как твое имя, я ведь забыл спросить тебя об этом в надлежащем месте сказки? — спросил изобретатель.

— Меня зовут Автоматей.

— Это для меня слишком длинно. Я буду называть тебя Автик.

Przyjaciel Automateusza, 1964. © Перевод. Л. Васильев, 1965.

— Да ведь это от Автомата, но пускай уж будет по-твоему, — ответил робот.

— Так вот, мой почтенный Автик, перед тобой — горсть электродрузей. Знай, что по призванию и специальности я миниатюризатор. Иначе говоря, большие и громоздкие устройства я заменяю небольшими, портативными. Каждое из этих зерен — сгусток электрического мышления, безмерно разностороннего и логичного. Не скажу, что они гении, ибо это было бы преувеличением, похожим на дешевую рекламу. Правда, намереваюсь я создать именно электрических гениев и не успокоюсь, пока не сделаю таких малюсеньких, чтобы их тысячами можно было носить в кармане; лишь тогда достигну я желаемой цели, когда насыплю их в мешки и буду продавать на вес, как песок. Но не будем рассуждать о моих планах на будущее. Пока что я продаю электродрузей поштучно и к тому же недорого: за каждого — равный ему по весу бриллиант. Ты, я думаю, поймешь, до чего это умеренная цена, если примешь во внимание, что такого электродруга можно вложить в ухо и он станет шептать хорошие советы и давать всяческую информацию. Вот тебе кусочек ваты — заткнешь ухо, чтобы электродруг не выпал, когда ты склонишь голову набок. Ну как, берешь? Коль надумаешь взять дюжину, отдам дешевле...

— Нет, пока мне хватит одного. Но я хотел бы еще узнать, на что именно он способен. Сможет ли он помочь в трудную минуту?

— Разумеется, ведь для этого он и создан, — спокойно молвил изобретатель. Он подбросил на ладони горсть зернышек, металлически поблескивающих, ибо сделаны они были из редких металлов, и продолжал: — Конечно, он не может оказать тебе физическую помощь, но ведь не об этом же речь. Ободряющее слово, быстрые и верные советы, благоразумные размышления, полезные указания, напоминания, предостережения, а также придающие силы замечания, изречения, укрепляющие веру в собственные силы, и к тому же глубокие мысли, помогающие справиться с любой трудной и даже опасной ситуацией, — вот лишь незначительная часть репертуара моих электродрузей. Они абсолютно преданны, надежны, всегда начеку, ибо никогда не спят, а к тому же невероятно прочны, красивы, и ты сам видишь, как они удобны! Так что же, возьмешь только одного?

— Да, — ответил Автоматей. — Скажи мне еще, пожалуйста, что будет, если его украдут у меня? Вернется ли он ко мне? Доведет ли он вора до гибели?

— Что нет, то нет, — ответил изобретатель. — Вору он будет служить так же старательно и верно, как прежде служил тебе. Не надо требовать слишком многого, дорогой мой Автик, он не оставит тебя в беде, ежели ты сам его не оставишь. Но это тебе не угрожает, если ты вложишь его в ухо и всегда будешь носить вату...

— Ладно, — согласился Автоматей. — А как мне с ним разговаривать?

— Тебе вовсе незачем говорить, стоит беззвучно прошептать что-либо, и он тебя отлично услышит. Что касается имени, то зовут его Вух. Можешь к нему обращаться «мой Вух», этого достаточно.

— Прекрасно! — сказал Автоматей.

Вуха взвесили, изобретатель получил за него красивый бриллиантик, а робот, радуясь тому, что есть у него теперь товарищ, родная душа, отправился в долгий путь.

Путешествовать с Вухом было очень удобно. По утрам он будил робота, насвистывая ему тихую веселую побудку, а днем рассказывал разные смешные истории. Впрочем, вскоре Автоматей запретил ему делать это, когда находится в обществе, ибо окружающие начинали считать его придурковатым, замечая, что он время от времени разражается смехом без всяких видимых причин. Так путешествовал Автоматей, сперва по суше, а потом добрался до берега моря, где его ожидал красивый белый корабль. Пожитков у Автоматея было немного, он мигом устроился в уютной каюте и с удовольствием услышал грохот, означающий, что поднимают якорь и начинается дальнейшее плавание. Несколько суток белый корабль весело плыл по волнам, днем — под лучами ласкового солнца, ночью — под серебристым светом луны, а однажды утром разразилась ужасающая буря. Волны в три раза выше мачт обрушивались на трещавший по всем швам корабль, и кругом стоял такой страшный грохот, что Автоматей не слышал ни слова из всех утешений, которые, несомненно, нашептывал ему Вух в эти тяжелые минуты. Вдруг раздался зловещий треск, в каюту хлынула соленая вода, и на глазах испуганного Автоматея корабль стал разваливаться на части.

Робот в чем был выбежал на палубу и едва успел прыгнуть в последнюю спасательную шлюпку, как набежавшая огромная волна обрушилась на корабль и потащила его в бурлящую морскую пучину. Автоматей не видел ни одного матроса, он был один-одинешенек в спасательной шлюпке среди бушующего моря и дрожал, ожидая минуты, когда очередной вал накроет его вместе с лодкой. Выл ветер, из низко нависших туч дождь потоками хлестал по взбудораженной поверхности моря, и робот по-прежнему не мог расслышать, что хочет сказать ему Вух. Вдруг среди водоворотов заметил Автоматей нечто смутно темнеющее в белой кипящей пене; был это берег неизвестной земли, о который разбивались волны. Лодка со скрежетом села на камни, Автоматей же, промокший до нитки, изо всех сил пустился, пошатываясь, в глубь спасительной земли, лишь бы подальше от волн. Под какой-то скалой он упал на землю и, вконец измученный, погрузился в глубокий сон.

Разбудило его тихое насвистывание. Это Вух напоминал ему о своем присутствии.

— Ах, как чудесно, Вух, что ты здесь! Лишь теперь я вижу, как это хорошо, что ты со мной, а вернее, даже во мне! — воскликнул, очнувшись, Автоматей.

Он осмотрелся. Светило солнце. Море еще волновалось, но исчезли грозные водяные валы, тучи, дождь; к сожалению, вместе с ними исчез и корабль. Как видно, ночью буря бушевала с невероятной силой, ибо и шлюпку, на которой спасся Автоматей, тоже унесло в открытое море. Робот вскочил и побежал вдоль берега, но уже через десять минут вернулся на прежнее место. Положение было невеселое: он находился на острове, необитаемом и притом очень маленьком. Да, положение его было невеселым. Но что с того — ведь с ним был Вух! Он быстро сообщил Вуху, как обстоят дела, и попросил совета.

— А! О! Дорогой мой! — сказал Вух. — Ничего себе положение! Подожди-ка, я как следует подумаю. А что тебе, собственно говоря, нужно?

— То есть как это что? Все: помощь, спасение, одежда, средства к существованию — ведь здесь, кроме песка и скал, ничего нет!

— Гм! Правда? А ты вполне уверен в этом? Не валяются ли где-нибудь на прибрежном песке сундуки с разбитого корабля, полные разных инструментов, интересных книг, одежды всякого рода и пороха для ружей?

Автоматей вдоль и поперек исходил весь остров, но ничего не нашел, ни щепки. Корабль, должно быть, камнем пошел ко дну.

— Говоришь, ничего нет? Гм, это весьма странно. Богатая литература о жизни на необитаемых островах неоспоримо доказывает, что потерпевший кораблекрушение непременно находит где-нибудь поблизости топоры, гвозди, пресную воду, масло, священные книги, пилы, клещи, ружья и множество иных полезных вещей. Но раз нет, так нет. Может, есть хоть какая-нибудь пещера в скалах, которая послужит тебе убежищем?

— Нет, и пещеры никакой нет.

— Нет, говоришь? Ну, это уж совсем необычно! Будь добр, поднимись на самую высокую скалу и осмотрись вокруг.

— Сейчас же сделаю это! — воскликнул Автоматей.

Он взобрался на крутую скалу посреди острова — вулканический островок со всех сторон окружал бескрайний океан!

Упавшим голосом сообщил он об этом Вуху, поправляя дрожащим пальцем вату в ухе, чтобы ненароком не лишиться приятеля. «Какое счастье, что он не выпал во время кораблекрушения», — подумал Автоматей и, снова почувствовав усталость, присел на выступ скалы, с нетерпением ожидая помощи друга.

— Внимание, мой друг! Вот советы, которые спешу я дать тебе в этой критической ситуации! — отозвался наконец голосок Вуха. — На основании произведенных расчетов констатирую, что мы находимся на неизвестном островке, представляющем собой риф, а точнее, вершину подводного горного хребта, который постепенно поднимается из пучины и через три или четыре миллиона лет соединится с материком...

— Оставим это; скажи, что мне делать сейчас! — вскричал Автоматей.

— Островок находится вдали от морских путей. Случайное появление вблизи него корабля — один шанс из четырехсот тысяч.

— О небеса! — закричал в отчаянии робот. — Так что же ты советуешь делать?

— Сейчас скажу, только не перебивай меня все время. Пойди к морю и входи в воду — примерно по грудь. Тогда тебе не придется слишком наклоняться, что было бы неудобно. Потом опусти голову и втяни столько воды, сколько сможешь. Знаю,

что вода горькая, но это скоро кончится. Особенно если ты будешь идти все дальше и дальше в море. Вскоре ты отяжелеешь, а соленая вода, заполнив всего тебя, мгновенно прервет все органические процессы, и таким образом ты немедленно расстанешься с жизнью. Благодаря этому ты избегнешь длительных мук пребывания на этом островке, потери рассудка и медленной агонии. Можешь также взять в обе руки по тяжелому камню. Это не обязательно, но все же...

— Да ты с ума сошел, что ли?! — заорал, срываясь с места, Автоматей. — Я должен утопиться? Ты склоняешь меня к самоубийству? Вот так добрый совет! И ты называешься моим другом?!

— Ну разумеется! — ответил Вух. — Я вовсе не сошел с ума, поскольку это вне моих возможностей. Я никогда не теряю душевного равновесия. Тем неприятней было бы сопутствовать тебе, мой дорогой, если б я увидел, что ты потерял это равновесие и медленно погибаешь под лучами палящего солнца. Уверяю тебя, что я тщательно проанализировал сложившуюся ситуацию и по очереди исключил все возможности спасения. Ты не сможешь построить лодку или плот, потому что у тебя нет для этого материалов; никакой корабль, как я уже говорил, не подберет тебя, даже самолеты не пролетают над этим островом, а ты опять же не в состоянии построить летательный аппарат. Ты мог бы, конечно, предпочесть быстрой смерти медленную агонию, но я как твой ближайший друг горячо протестую против такого неразумного решения. Если ты как следует втянешь воду...

— Чтоб тебя черт побрал с этой самой водой! — завопил, дрожа от ярости, Автоматей. — И подумать только, что за такого друга я отдал прекрасный отшлифованный бриллиант! Знаешь, кто твой изобретатель? Обыкновенный мошенник, жулик, прохвост!

— Думаю, ты возьмешь свои слова обратно, когда выслушаешь меня до конца, — спокойно ответил Вух.

— Так, значит, ты еще не все сказал? Или ты собрался развлекать меня рассказами о загробной жизни? Благодарю покорно!

— Никакой загробной жизни нет, — возразил Вух. — И я не собираюсь обманывать тебя, так как и не хочу, и не умею это делать. Я иначе понимаю дружеские услуги. Ты только слушай внимательно, мой дорогой друг. Как тебе известно, хоть

обычно об этом не думают, мир безгранично богат и разнообразен. В нем есть великолепные города, полные суеты и сокровищ, есть королевские дворцы и хижины, чарующие и угрюмые горы, есть шумные дубравы, ласковые озера, знойные пустыни Юга и бескрайние снега Севера. Ты, такой, каким создан, не можешь, однако, видеть и воспринимать одновременно более одного-единственного места из тех, о которых я упомянул, и из миллионов тех, о которых я умолчал. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что для тех мест, где тебя нет, ты являешься чем-то вроде мертвеца, поскольку ты не наслаждаешься богатством дворцов, не принимаешь участия в танцах южных стран, не восхищаешься радужными переливами льдов Севера. Для тебя они не существуют совершенно так же, как если б тебя вообще не было на свете. Поэтому если ты хорошо вникнешь, углубишься мыслью в то, о чем я говорю, так поймешь, что, не будучи всюду, то есть во всех этих волшебных местах, ты не существуешь почти нигде. Ибо мест для пребывания, как уже было сказано, миллион миллионов, а ты можешь воспринимать лишь одно из них, неинтересное, неприятное своим однообразием, даже отвратительное, — этот скалистый островок. Итак, между «везде» и «почти нигде» — огромная разница, и это — твой жизненный удел, ибо ты всегда находился одновременно в одном-единственном месте. Зато разница между «почти нигде» и «нигде», по правде говоря, микроскопическая. Математика ощущений доказывает, что ты уже сейчас, собственно, еле живешь, раз почти повсюду отсутствуешь, совсем как покойник! Это — во-первых. А во-вторых, посмотри на этот песок, смешанный с гравием, который ранит твои нежные ступни, — разве ты считаешь его чем-то ценным? Наверное, нет. А эта масса соленой воды, ее надоедливый избыток — нужно тебе это? Нисколько! Или эти скалы и знойная, иссушающая суставы голубизна неба над головой? Нужен тебе этот невыносимый зной, эти мертвые раскаленные скалы? Разумеется, нет! Итак, ты не нуждаешься абсолютно ни в чем из всего, что тебя окружает, на чем ты стоишь, что распростерлось над твоей головой. Что же остается, если отнять все это? Шум в голове, боль в висках, биение сердца, дрожь в коленях и прочие хаотические движения. А нужны ли тебе этот шум, боль, биение или дрожь? Ни в коем случае, мой дорогой! А если и от этого отказаться, что же тогда останется? Мятущиеся мысли, слова, так похожие на проклятия, которые ты про

себя адресуешь мне, твоему другу, ну и наконец, душащий тебя гнев и вызывающий тошноту страх. Нужны ли тебе, спрашиваю под конец, этот омерзительный страх и бессильная злоба? Конечно, и это тебе не нужно. Если же отбросим и эти ненужные ощущения, не останется уж совсем ничего, абсолютно, говорю тебе — нуль, и именно этим нулем, то есть состоянием вечного равновесия, постоянного молчания и совершенного покоя я и хочу как настоящий друг одарить тебя!

— Но я хочу жить! — крикнул Автоматей. — Хочу жить! Жить! Слышишь?!

— Ну, это уже разговор не о том, что ты чувствуешь, а о том, чего ты хочешь, — спокойно возразил Вух. — Ты хочешь жить, то есть обладать будущим, которое становится настоящим, ибо ведь к этому ведет жизнь и ничего больше в ней нет. Но, как мы уже установили, жить ты не будешь, ибо не можешь. Дело лишь в том, каким образом ты перестанешь жить — путем долгих мучений или же легко, когда, втянув залпом воду...

— Довольно! Не хочу!!! Прочь! Убирайся!!! — кричал во весь голос Автоматей, подпрыгивая на месте со сжатыми кулаками.

— Это еще что такое? — возразил Вух. — Не говоря уж об оскорбительной форме приказа, которая невольно ассоциируется у меня с отказом от дружбы, как ты можешь так неразумно выражаться? Как ты можешь кричать мне: «Прочь!»? Разве у меня есть ноги, на которых я мог бы уйти? Или хотя бы руки, чтоб на них отползти? Ведь ты же прекрасно знаешь, что это не так. А если ты хочешь от меня избавиться, то, будь добр, вынь меня из уха, которое, уверяю тебя, вовсе не является наилучшим местом в мире, и забрось куда-нибудь.

— Хорошо! — вскричал не помнящий себя от гнева Автоматей. — Сейчас же это сделаю!

Но напрасно он ковырял в ухе. Его друг был слишком глубоко засунут, и Автоматей никак не мог его вытащить, хоть и тряс головой изо всех сил, как бешеный.

— Кажется, ничего из этого не выйдет, — спустя некоторое время отозвался Вух. — Похоже, что мы не расстанемся, хотя этого хочется и тебе, и мне. Если так, то с этим фактом следует примириться, ибо факты тем и отличаются, что спорить с ними бесполезно. Между прочим, это относится и к твоему нынешнему положению. Ты жаждешь иметь будущее, притом любой ценой. Мне это кажется неблагоразумным, но пусть будет по-

твоему. Однако позволь обрисовать тебе эту будущность хотя бы в общих чертах, так как познанное всегда лучше непознанного. Гнев, который ты испытываешь сейчас, вскоре сменится бессильным отчаянием, а его в свою очередь после многих, столь же бурных, сколь и напрасных, усилий спастись заменит тупое безразличие. А тем временем жестокий зной, который доходит даже до меня в этом затененном месте твоего тела, будет, согласно неумолимым законам физики и химии, все больше и больше иссушать твое тело. Сначала испарится смазка в твоих суставах, и при малейшем движении ты, бедняга, будешь невероятно скрипеть и скрежетать! Затем, когда твой череп раскалится от зноя, ты увидишь разноцветные вращающиеся круги, но это совсем не будет похоже на чарующие цвета радуги, поскольку...

— Замолчи же наконец, мучитель! — закричал Автоматей. — Я вовсе не хочу слышать о том, что со мной произойдет! Молчи и не разговаривай, понимаешь?

— Тебе незачем так кричать. Ты отлично знаешь, что я слышу твой самый тихий шепот. Итак, ты не хочешь знать об ожидающих тебя муках? И в то же время жаждешь испытать их? Где же логика? Хорошо, тогда я замолчу. Замечу только, что ты поступаешь недостойно, сосредоточивая свой гнев на мне, будто это я виноват, что ты очутился в таком достойном жалости положении. Виновником несчастья, как ты знаешь, была буря, я же — твой друг, и участие в ожидающих тебя муках, во всем этом разделенном на акты зрелище страданий и агонии уже сейчас, в предвидении, причиняет мне большое огорчение. И вправду, страшно мне делается при одной мысли, что будет, когда смазка...

— Так ты не хочешь замолчать? Или не можешь, постылое чудовище? — заорал Автоматей и хватил себя по уху, где помещался его приятель. — Ох, если б какая-нибудь щепочка — я тотчас выковырял бы тебя из уха и раздавил каблуком!

— Мечтаешь о том, чтобы уничтожить меня? — произнес опечаленный Вух. — Воистину не заслужил ты ни электродруга, ни вообще кого-либо, кто по-братски сочувствовал бы тебе.

Автоматеем овладел новый приступ гнева, и так они спорили, ссорились, убеждали друг друга, пока не минул полдень. Бедный робот ослабел от криков, прыжков и махания кулаками и, усевшись в изнеможении на скалу, всматривался в пустынную даль океана, время от времени издавая вздохи отчая-

ния. Несколько раз он принимал краешек облачка на горизонте за дым парохода, но Вух рассеивал его иллюзии в самом зачатке, напоминая о том, что шансов на спасение — один из четырехсот тысяч. Это снова доводило Автоматея до судорог отчаяния и гнева, тем более что каждый раз Вух оказывался прав. Наконец они надолго замолчали. Автоматей смотрел, как удлиняются тени скал, уже касаясь белого прибрежного песка, когда Вух заговорил:

— Что ж ты молчишь? Может, перед глазами у тебя уже мелькают те круги, о которых я говорил?

Автоматей даже не удостоил его ответом.

— Ага! — продолжал Вух. — Значит, уже не только круги, а, по всей вероятности, наступило и то самое тупое безразличие, которое я с такой точностью предсказывал. Странно, каким неразумным созданием является разумное существо, особенно в тупиковой ситуации. Оно заключено на необитаемом острове, где ему суждено погибнуть, ему доказали как дважды два — четыре, что гибель неизбежна, ему посоветовали, как выйти из этого положения, ему подсказали единственно возможный способ применения своей воли и разума... будет ли оно за это благодарно? Где там — ему нужна надежда; а если ее нет и быть не может, оно цепляется за обманчивую видимость и предпочитает погрузиться в пучину безумия, а не в воду, которая...

— Перестань говорить о воде! — прохрипел Автоматей.

— Мне хотелось лишь подчеркнуть иррациональность твоих побуждений, — ответил Вух. — Я уже ни к чему тебя не склоняю. То есть ни к каким действиям, ибо если ты предпочитаешь умирать медленно или, вернее, не желая вообще ничего делать, идешь на такое умирание, то это следует хорошо продумать. Насколько ложен и неразумен страх смерти — такого состояния, которое заслуживает скорее прославления! Ибо что может сравниться с совершенством небытия? Конечно, предшествующая ему агония сама по себе не является привлекательным явлением, но, с другой стороны, не было еще никого настолько слабого телом или духом, чтобы не выдержал агонии и не смог умереть целиком, без остатка, до самого-самого конца. Так что она не заслуживает особого внимания, раз это сумеет сделать любой заморыш, осел или негодяй. Более того, если она каждому по плечу (ты должен согласиться, что это так; по крайней мере я не слышал ни о ком, у кого не хватило бы сил на агонию), то лучше насладиться мыслью о всемилости-

вом небытии, которое простирается сразу же за ее порогом. А поскольку после смерти невозможно мыслить, ибо смерть и мышление взаимно исключают друг друга, то когда же, как не при жизни, следует предусмотрительно и подробно представить себе все преимущества, удобства и удовольствия, какие сулит тебе смерть?! Подумай только, прошу тебя: никакой борьбы, тревог и страхов, никаких страданий души и тела, никаких неприятных историй. И пусть все злые силы объединятся и вступят в заговор против тебя — они тебе не страшны! О, поистине несравненна сладчайшая безопасность умершего! А если еще добавить, что безопасность эта не является чем-то мимолетным, нестойким, преходящим, что ее невозможно ни отменить, ни нарушить, тогда величайшее восхищение...

— А, чтоб ты пропал! — донесся до него слабый голос Автоматея, и за этой лаконичной фразой последовало короткое, но выразительное ругательство.

— Как мне жаль, что это невозможно! — немедленно отозвался Вух. — Не только эгоистическое чувство зависти (потому что, как я уже говорил, лучше смерти нет ничего), но и чистейший альтруизм побуждает меня сопровождать тебя в небытие. Но все же это неосуществимо, поскольку мой изобретатель сделал меня неуничтожаемым — очевидно, из конструкторского честолюбия. Правда, тоска меня берет, как подумаю, что придется мне торчать внутри твоих заскорузлых от морской соли, высохших останков, распад которых, вероятно, будет происходить медленно, что я буду так вот сидеть и разговаривать с самим собой. А сколько потом придется ожидать, пока прибудет тот, один из четырехсот тысяч, корабль, который, согласно теории вероятности, в конце концов наткнется на этот островок...

— Что?! Ты не погибнешь тут?! — закричал Автоматей, выведенный из отупения этими словами Вуха. — Значит, ты будешь жить, тогда как я... О! Этому не бывать! Никогда! Никогда!!! Никогда!!!!

И с ужасным криком, вскочив на ноги, Автоматей начал прыгать, трясти головой, изо всех сил ковырять в ухе, делая самые невероятные рывки и броски всем телом, — однако тщетно. Вух все это время пищал что есть силы:

— Да перестань же! Что ты, уже обезумел? Пожалуй, слишком рано! Осторожнее, ты повредишь себя! Чего доброго, что-нибудь сломаешь или вывихнешь! Побереги шею! Ведь это же

бессмысленно! Иное дело, если б ты мог сразу, знаешь... а так ты только покалечишься! Ну, говорю же тебе, я неуничтожаем, и баста, так что зря ты мучаешься. Даже если ты вытряхнешь меня из уха, все равно не сможешь сделать мне ничего дурного, то есть я хотел сказать — хорошего, ибо, согласно с тем, что я тебе подробно объяснил, смерть — это состояние, достойное зависти. Ай! Перестань наконец! Как можно так прыгать!

Однако Автоматей продолжал метаться, ни на что не обращая внимания, и дошел до того, что стал биться головой о камень, на котором ранее сидел. Он молотил головой с искрами в глазах и дымом пороховым в ноздрях, и он сам себя оглушил, а Вух внезапно вылетел из его уха и покатился меж камней, издав слабый возглас облегчения. Автоматей не сразу заметил, что его усилия увенчались успехом. Опустившись на раскаленные солнцем камни, он некоторое время лежал неподвижно; затем, не в силах еще пошевелить рукой или ногой, пробормотал:

— Ничего, это лишь временная слабость. Но уж я тебя вытряхну, уж я тебя трахну каблуком, дорогой ты мой приятель. Слышишь? Слышишь? Эй! Что это?!

Он вдруг сел, ибо почувствовал пустоту в ухе. Осмотрелся еще неверным взором, стал на колени и начал лихорадочно искать Вуха, просеивая мелкий гравий.

— Вух! Ву-у-у-х!!!! Где ты? Отзовись! — истошно кричал он.

Однако Вух, то ли из осмотрительности, то ли по какой другой причине, даже не пикнул. Автоматей тогда стал манить его самыми нежными словами, уверял, что переменил уже свое решение, что единственное его желание — последовать доброму совету электродруга и утопиться и он жаждет лишь снова выслушать похвалу смерти. Но и это не дало результата: Вух словно воды в рот набрал. Тогда несчастный робот, проклиная все и вся, начал обшаривать берег дюйм за дюймом. И вдруг, собравшись уже отбросить в сторону очередную горстку гравия, Автоматей поднес ее к глазам и весь злорадно затрясся, ибо среди камешков увидел Вуха, металлическое зернышко, поблескивающее спокойным матовым блеском.

— Ага! Вот ты где, моя козявочка! Вот ты где, мой крошка дружок! Попался, дорогой ты мой, вечный! — зашипел он, бережно сжимая пальцами Вуха, не проронившего ни слова. — Ну, теперь посмотрим, какой ты прочный, сейчас проверим, вечно ли тебе существовать... Получай!

Этим словам сопутствовал мощный удар каблуком; положив электродруга на плоскую скалу, Автоматей прыгнул на него да еще и повернулся на подкованном каблуке так, что скрежет раздался. Вух не отозвался, только камень под ним заскрежетал, словно в него вонзилось стальное сверло. Нагнувшись, Автоматей увидел, что зернышко осталось невредимым, а скала под ним слегка выщербилась и Вух лежал теперь в крошечном углублении.

— Что, такой ты прочный? Сейчас найдем камень потверже! — рявкнул Автоматей и начал бегать по всему островку, собирая самые крепкие обломки — кремень, базальт, порфирит. Топча Вуха каблуками, Автоматей то обращался к нему с притворным спокойствием, то осыпал оскорблениями, думая, что электродруг ответит и даже станет молить о пощаде. Однако Вух продолжал молчать. Над островком носились лишь звуки тупых ударов, топот, скрежет дробящихся камней и проклятия запыхавшегося Автоматея. Через некоторое время, убедившись, что Вуху в самом деле не причиняют вреда самые страшные удары, разгоряченный и уставший Автоматей снова уселся на берегу, не выпуская электродруга из рук.

— Даже если мне не удастся раздавить тебя, — сказал он, с трудом скрывая душившую его ярость, — то будь спокоен, я позабочусь о тебе как полагается. Придется тебе долго ждать корабля, мой дорогой, потому что я швырну тебя в море и ты будешь лежать там до скончания века. У тебя будет предостаточно времени для приятных размышлений в полном одиночестве. Нового приятеля ты не найдешь, уж об этом я позабочусь!

— Добряк ты мой! — отозвался внезапно Вух. — Ну, чем же мне повредит пребывание на дне океана? Ты мыслишь категориями, свойственными существу недолговечному, и в этом корень твоих ошибок. Пойми: либо море когда-нибудь высохнет, либо дно его подымется над водой и станет сушей. Через сто тысяч лет это произойдет или через миллионы — значения для меня не имеет. Я не только неистребим, но и бесконечно терпелив, как ты мог заметить хотя бы по спокойствию, с каким я переносил приступы твоего бешенства. Скажу больше: я не отвечал на твои призывы и позволял искать себя, потому что хотел избавить тебя от напрасных трудов. Молчал я и когда ты топтал меня, чтобы неосторожным словом не усилить твою ярость, которая могла повредить тебе.

Задрожал Автоматей, слыша это благородное признание, от вновь вспыхнувшей ярости.

— Раздавлю тебя! В порошок сотру, негодяй! — рявкнул он, и снова начался неистовый танец на камнях, прыжки, удары каблуками.

Но на этот раз его действиям сопутствовало доброжелательное попискивание Вуха:

— Не верю, чтобы тебе удалось, но попробуй. Ну-ка! Еще раз! Да не так, а то скоро устанешь! Ноги вместе! И-и-и гоп! Вверх! И-и-гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Подскакивай выше, говорю тебе, и сила удара возрастет. Что, уже не можешь? В самом деле? Что — не выходит? Вот-вот, именно так! Бей сверху камнем! Так! Может, возьмешь другой? Неужели нет побольше? Еще раз! Бах-трах, мой дорогой друг! Как жаль, что я не в состоянии помочь тебе! Что же ты остановился? Неужели так быстро иссякли силы? Ах, как жаль! Ну, ничего... Я подожду, отдохни! Пускай тебя ветерок остудит...

Автоматей с грохотом свалился на камни и с пламенной ненавистью всматривался в лежащее на его ладони металлическое зерно, волей-неволей слушая, как оно говорило:

— Если б я не был твоим электродругом, то сказал бы, что ты ведешь себя недостойно. Корабль затонул из-за бури, ты со мной спасся, и я служил тебе советами, как умел, а когда я не придумал, как спастись, ибо это невозможно, ты за слова чистой правды, за мой искренний совет вбил себе в голову уничтожить меня, единственного своего товарища. Правда, таким образом ты по крайней мере обрел какую-то цель в жизни и хоть за это должен бы меня благодарить. Любопытно, что тебе до такой степени ненавистна мысль о том, что я останусь жить...

— Это мы еще увидим, останешься ли ты! — заскрипел зубами Автоматей. — Последнее слово еще не сказано.

— Нет, ты поистине великолепен! Знаешь что? Попробуй положить меня на пряжку своего пояса. Она сделана из стали, а сталь ведь прочнее камня. Можешь попробовать, хоть я-то лично убежден, что и из этого ничего не выйдет. Но я был бы рад помочь тебе...

Автоматей, поколебавшись, последовал этому совету, но лишь того добился, что поверхность пряжки покрылась маленькими ямками от яростных ударов. Увидев, что даже самые отчаянные удары пропадают впустую, Автоматей впал в

черную меланхолию и в бессильном отчаянии тупо смотрел на металлическую дробинку, продолжавшую говорить тонким голосом:

— И это — разумное существо, подумать только! Впадает в бездну отчаяния, ибо не может стереть с лица земли единственное родное существо во всем этом мертвом пространстве. Скажи, Автоматейчик, неужели тебе нисколько не стыдно?

— Замолчи, болтливая дрянь! — прошипел Автоматей.

— Почему это я должен молчать? Видишь ли, если б я желал тебе зла, то давно бы уже умолк, но я все еще твой электродруг. И, как верный товарищ, буду рядом с тобой, когда тебя начнут терзать муки агонии, хоть ты на голову становись, а ты меня в море не бросишь, мой милый, поскольку всегда лучше иметь зрителей. Я буду зрителем твоей агонии, которая поэтому наверняка пройдет лучше, чем в совершенном одиночестве; ведь важны чувства, все равно какие. Ненависть ко мне, твоему истинному другу, поддержит тебя, сделает более мужественным, окрылит твою душу, придаст убедительное и чистое звучание твоим стонам, упорядочит судороги и привнесет порядок в каждую из последних твоих минут, а ведь это немало... Что до меня, обещаю, что говорить буду мало и не стану ничего комментировать; поступая иначе, я мог бы помимо своей воли повредить тебе излишком дружбы, которого бы ты не вынес, так как характер у тебя, по правде говоря, скверный. Однако я и это превозмогу, ибо, отвечая добром на зло, уничтожу тебя и таким образом избавлю тебя от тебя самого — по дружбе, повторяю, а не вследствие ослепления, поскольку симпатия к тебе не мешает мне видеть всю мерзость твоей натуры.

Эти слова были прерваны криком, внезапно вырвавшимся у Автоматея.

— Корабль! Корабль!! Корабль!!! — орал он в беспамятстве и, вскочив, начал метаться по берегу, кидать в воду камни, размахивать изо всех сил руками, а главное, кричать во все горло, пока не охрип. Впрочем, все это было ни к чему — корабль явно держал курс на островок и вскоре выслал спасательную шлюпку.

Как выяснилось позднее, капитан корабля, на котором плыл Автоматей, перед самым крушением успел послать радиограмму с призывом о помощи, благодаря чему всю эту часть моря прочесывали многочисленные корабли, а один из них подошел к самому островку. Когда шлюпка с матросами достигла мел-

ководья, Автоматей хотел было прыгнуть в нее один, но, поразмыслив, бегом вернулся, чтобы прихватить Вуха, так как страшился, что Вух поднимет крик и его услышат прибывшие на лодке, а это могло бы привести к неприятным расспросам, а может, и обвинениям со стороны электродруга. Чтобы избегнуть этого, схватил он Вуха и, не зная, где и как его спрятать, поскорее сунул себе в ухо. Начались бурные сцены приветствия и благодарности, при которых Автоматей старался производить как можно больше шума, боясь, что кто-нибудь из моряков услышит голосок Вуха. Ибо электродруг говорил все время, повторяя:

— Ну-ну, это в самом деле было неожиданно! Один случай из четырехсот тысяч... Ну и счастливец ты! Надеюсь, теперь наши отношения сложатся прекрасно, тем более что в самые трудные минуты я не отказывал тебе ни в чем. Кроме того, я умею держать язык за зубами — что было, то прошло и быльем поросло!

Когда корабль после долгого плавания пристал к берегу, Автоматей несколько удивил окружающих, выразив никому не понятное желание посетить ближайший металлургический завод, где имелся большой паровой молот. Рассказывали, что он во время посещения завода вел себя довольно странно; а именно: подойдя к паровому молоту, начал изо всей силы трясти головой, словно хотел вытряхнуть свой мозг через ухо на подставленную ладонь, и даже подпрыгивал на одной ноге. Присутствовавшие, однако, делали вид, что ничего не замечают, ибо считали: у того, кто побывал недавно в такой ужасной передряге, могут появиться необъяснимые причуды вследствие нарушения душевного равновесия.

Правда, и в дальнейшем Автоматей вел образ жизни, отличный от прежнего, по-видимому, заболев расстройством психики. То он собирал какие-то взрывчатые вещества и даже пробовал устраивать у себя в доме взрывы, чему помешали соседи, обратившиеся с жалобой к властям; вдруг начинал коллекционировать молоты и карборундовые напильники, а знакомым говорил, что собирается создать новый тип машины для чтения мыслей. Потом он сделался отшельником и приобрел привычку разговаривать вслух с самим собой: иногда можно было слышать, как он, бегая по дому, громко произносит монологи и даже выкрикивает слова, похожие на ругательства.

Наконец, много лет спустя, охваченный новой манией, он стал закупать целыми мешками цемент. Затем сделал из него огромный шар и, когда шар затвердел, увез его неизвестно куда. Рассказывали, будто он нанялся сторожем на заброшенную шахту и однажды ночью свалил в ствол шахты огромную бетонную глыбу, а потом до конца дней своих бродил по окрестностям, и не было такого хлама, которого бы он не собирал, чтобы швырнуть в глубь старой шахты. Действительно, вел он себя довольно непонятно, но большая часть этих слухов, пожалуй, не заслуживает доверия. Ибо трудно поверить, чтобы все эти годы Автоматей продолжал таить в своем сердце обиду на электродруга, которому столь многим был обязан.

Король Глобарес и мудрецы

Однажды Глобарес, властелин Гепариды, призвал к себе трех мудрецов величайших и сказал им:

— Поистине плачевна судьба короля, который познал все на свете и для которого любая речь звучит пусто, словно кувшин надтреснутый. Я хочу, чтоб меня удивили, а на меня наводят скуку; ищу потрясений, а слышу глупую болтовню; жажду необычайного, а получаю грубую лесть. Знайте же, мудрецы, что нынче велел я казнить всех моих шутов и паяцев вместе с советниками, тайными и явными, и та же судьба ожидает вас, коли не выполните моего повеления. Пусть каждый из вас расскажет самую удивительную историю, какую знает, и ежели не вызовет у меня смех или слезы, не поразит меня или не напугает, не развлечет или не заставит задуматься — не сносить ему головы!

Король подал знак, и мудрецы услышали железную поступь: палачи окружили их у ступеней трона, обнаженные мечи сверкали как пламя. Встревожились мудрецы и давай подталкивать друг друга локтями —

Król Globares i mędrcy, 1964. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

кому же хотелось навлечь на себя государев гнев и подставить голову под топор? Наконец заговорил первый:

— Король и господин мой! Без сомненья, всего удивительней в целом Космосе, видимом и невидимом, история звездного племени, именуемого в летописях наоборотами. Уже на заре своей истории наобороты делали все совершенно иначе, нежели прочие разумные существа. Предки их поселились на Урдрурии, планете, знаменитой своими вулканами; каждый год она рождает горные гряды, сотрясаясь в ужасных судорогах, от которых рушится все. И в довершение этих бед заблагорассудилось небесам пересечь орбиту Урдрурии большим Метеоритным Потоком; двести дней в году долбит он планету стаями каменных таранов. Наобороты (которые тогда еще назывались иначе) возводили постройки из закаленной стали, а самих себя обивали многослойным стальным листом, так что подобны были бронированным ходячим холмам. Но земля, разверзаясь при сотрясениях, поглощала стальные их грады, а молоты метеоритов сокрушали их панцири. Всему их народу грозила гибель. Сошлись тогда мудрецы на совет, и сказал первый из них: «Не спастись нам в нынешнем нашем обличье, и нет иного спасения, кроме преображения. Земля разверзается снизу, поэтому, чтобы туда не свалиться, каждый наоборот должен иметь широкое и плоское основание; метеориты же падают сверху, поэтому каждый пусть станет остроконечным. Уподобившись конусу, можем ничего не бояться».

И сказал второй: «Нужно сделать иначе. Если земля разинет свой зев широко, то проглотит и конус, а косо падающий метеорит пробьет его бок. Идеальной будет форма шара. Если земля начнет дрожать и перекатываться волнами, шар откатится сам; а падающий метеорит ударится о его круглый бок и соскользнет по нему; преобразившись так, мы покатимся в лучшее будущее».

И сказал третий: «Шар точно так же может быть сокрушен или проглочен, как любая материальная форма. Нет такого щита, которого не пробьет меч достаточно мощный, и нет меча, который не зазубрится на твердом щите. Материя, братья, это вечные перемены, непостоянство и пертурбации, она непрочна, и не в ней надлежит обитать существам, действительно разумным, но в том, что неизменно, вечно и совершенно, хотя и посюсторонне!»

«А что же это такое?» — спросили прочие мудрецы.

«Отвечу не словами, но делом», — молвил третий мудрец. И у них на глазах принялся раздеваться; снял одеяние верхнее, усыпанное кристаллами, и следующее, златотканое, и исподнее, из серебра, снял крышку черепа и грудь, и чем дальше, тем быстрее и тщательней раздевался, от шарниров перешел к муфтам, от муфт к винтикам, от винтиков к проводочкам, а там и к мельчайшим частицам, пока не дошел до атомов. И начал лущить свои атомы, и лущил их так споро, что не было видно уже ничего, кроме исчезновения да пропадания; но действовал столь искусно и столь проворно, что после раздевания на глазах изумленных сотоварищей остался в виде идеального своего отсутствия, в виде изнанки столь точной, что она обретала новое бытие. Ибо там, где прежде имел он один атом, теперь у него не было одного атома; там, где только что было их шесть, появилась нехватка шести атомов, а вместо винтика возникло отсутствие винтика, зеркально точное и ничем от винтика не отличающееся. Короче, становился он пустотой, упорядоченной точно так же, как прежде была упорядочена его полнота; и было небытие его не омраченным ничем бытием: до того он был проворен и ловок, что ни одна частица, ни один материальный пришелец не осквернили своим вторженьем его идеально отсутствующего присутствия! И прочие видели его как пустоту, сформированную в точности так же, как и он минутою раньше, глаза его узнавали по отсутствию черного цвета, лицо — по отсутствию голубоватого блеска, а члены — по исчезнувшим пальцам, шарнирам и наплечникам. «Вот так, братья, — молвил Сущий Несуществующий, — путем воплощения в небытие обретем мы не только невиданную живучесть, но и бессмертие. Ведь меняется только материя, небытие же не следует за ней по пути постоянной изменчивости, значит, совершенство обитает не в бытии, а в небытии, и второе надлежит предпочесть первому!»

Как решили они, так и сделали. И стали наобороты племенем непобедимым. Жизнью своей обязаны они не тому, что в них есть, ибо в них ничего нет, а лишь тому, что их окружает. И ежели кто-нибудь из них входит в дом, то увидеть его можно как домашнюю неполноту, а ежели вступает в туман — как локальное отсутствие тумана. Изгнав из себя материю, ненадежную и переменчивую, они невозможное учинили возможным...

— А как же они путешествуют в космической пустоте? — спросил Глобарес.

— Только этого они и не могут, государь, ибо внешняя пустота слилась бы с их собственной и они перестали бы существовать как локально упорядоченные несуществования. Потому-то они неустанно оберегают чистоту своего небытия, пустоту своих естеств и в таковом бдении проводят время — а называют их также ничтоками, или небывальцами...

— Мудрец, — молвил король, — твою историю мудрой не назовешь: возможно ли разнообразие материи заменить единообразием небытия? Разве скала подобна дому? А между тем отсутствие скалы может принять такую же форму, что и отсутствие дома, значит, то и другое становится как бы одним и тем же.

— Государь, — защищался мудрец, — имеются разные виды небытия...

— Посмотрим, — сказал король, — что случится, когда я велю отрубить тебе голову: станет ли ее отсутствие присутствием, как ты полагаешь? — Тут премерзко засмеялся монарх и дал знак палачам.

— Государь! — закричал мудрец, схваченный стальными их пальцами. — Ты соблаговолил рассмеяться, значит, моя история возбудила в тебе веселость, и ты по уговору должен меня помиловать.

— Нет, это я сам себя развеселил, — ответил король. — Разве что мы уговоримся вот как: ежели ты добровольно выберешь смерть, твое согласие позабавит меня и я исполню твое желание.

— Согласен! — крикнул мудрец.

— Ну так казните его, коли сам просит! — повелел король.

— Но, государь, я согласился ради того, чтобы ты меня не казнил...

— Раз уж согласился, надо тебя казнить, — пояснил король. — А ежели ты не согласен, значит, не развеселил меня и все равно надо тебя казнить...

— Нет, нет, напротив! — закричал мудрец. — Если я согласен, ты, развеселившись, должен меня помиловать, а если я не согласен...

— Ну, хватит! — сказал король. — Палач, принимайся за дело!

Сверкнул меч, и отлетела голова мудреца.

Наступила мертвая тишина, а затем отозвался второй мудрец:

— Король и господин мой! Удивительнейшее из всех звездных племен, без сомненья, народ полионтов, или множистов, именуемых также многистами. Каждый из них имеет, правда, одно лишь тело, зато ног тем больше, чем выше он саном. Что же касается голов, то их носят по обстоятельствам: в любую должность у них вступают с приличествующей ей головой; бедные семьи довольствуются одной головой на всех, а богачи собирают в сокровищницах самые разные, для всякой надобности: головы утренние и вечерние, стратегические, на случай войны, и скоростные, если нужно поторопиться, а равно холодно-рассудительные, вспыльчивые, страстные, свадебные, любовные, траурные; короче, они экипированы для любой оказии.

— Это все? — спросил король.

— Нет, государь! — ответил мудрец, видя, что дела его плохи. — Множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину и, если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, оный владыка теряет устойчивость и рассыпается на кусочки...

— Банальная идея, чтобы не сказать — цареборческая! — хмуро заметил Глобарес. — Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую?

«Если я скажу, что казнит, — быстро подумал мудрец, — он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его, а если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору». И сказал:

— Нет, государь, ты не предашь меня казни.

— Ты ошибся, — молвил король. — Палач, принимайся за дело!

— Но разве я не удивил тебя, государь? — кричал мудрец уже в объятиях палачей. — Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни?

— Твои слова не удивили меня, — ответил король, — ведь их диктовал страх, что написан у тебя на лице. Довольно! Снимите эту голову с плеч!

И покатилась со звоном по полу еще одна голова. Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил:

— Государь! Я бы мог рассказать историю поистине необычайную, да только не стану — мне важнее открыть настоящие

твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить смертоубийство, но так, как свойственно твоей природе, которая, хоть и жестока, потрафлять себе отваживается лишь под прикрытием лжи. Ты намерен казнить нас так, чтобы после сказали: король-де казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами. Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и поэтому буду молчать.

— Нет, я не отдам тебя палачу, — сказал король. — Я всерьез, непритворно жажду необычайного. Ты хотел разгневать меня, но я умею свой гнев укрощать. Говори, и ты спасешь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества — которое ты, впрочем, уже совершил, — но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности снова становится поношением! Итак, попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля!

В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах.

Третий мудрец глубоко задумался и наконец сказал:

— Государь, я исполню твое желание и объясню тебе почему. Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве; и даже если сейчас твое желание не значит ничего или почти ничего, я наделю значением эту причуду, придам ей осмысленность и долговечность — и потому я буду говорить...

— Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью, — гневно сказал король. — Говори!

— Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом, — ответил мудрец, — но это пустяк по сравнению с тем, что выделывал твой отдаленнейший, неизвестный тебе предок, основатель династии Гепаридов. Этот прапрапрадед твой, Аллегорик, тоже злоупотреблял монаршею властью. Чтобы понять, в чем заключалось его величайшее злоупотребление, соизволь взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах дворцовой залы.

Король посмотрел на небо, вызвездившее и чистое, а старец неторопливо продолжал:

— Смотри и слушай! Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, ведь иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет троны и царства. Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собою. Высмеивается даже то, чего нет, — разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления, куда как серьезные и даже трагические. Достаточно вспомнить о кладбищенском юморе, о шутках, отпускаемых по поводу смерти или покойников. Издевка добралась и до небесных тел. Взять хотя бы солнце или луну. Месяц изображают лукавым заморышем в шутовском колпаке и с острым, как серп, подбородком, а солнце — в виде пухлощекого толстяка в растрепанном ореоле. И все же, хотя предметом насмешек одинаково служит царство жизни и царство смерти, малое и великое, есть нечто такое, чего никто еще не осмелился высмеять. К тому же это предмет не из тех, о которых легко забыть, упустить из виду, ибо речь идет обо всем существующем, то есть о Космосе. Если же ты, государь, призадумаешься над этим, ты поймешь, насколько Космос смешон...

Тут впервые удивился король Глобарес и с возрастающим вниманием слушал речь мудреца, а тот продолжал:

— Космос состоит из звезд. Это звучит довольно внушительно, но, если взглянуть поглубже, трудно сдержать улыбку. И в самом деле — что такое звезды? Огненные шары, подвешенные среди вечной ночи. Картина вроде бы патетическая. Но почему? В силу своей природы? Да нет же — единственно из-за своих размеров. Но сами по себе размеры не очень-то много значат. Разве мазня идиота, перенесенная с листка бумаги на бескрайний простор, перестает быть мазней?

Глупость размноженная — все та же глупость, только еще смехотворнее. Космос — это каракули из разбросанных как попало отточий! Куда ни взглянуть, чего ни коснуться — сплошные отточия! Монотонность Творения представляется мне замыслом самым банальным и плоским из всех, какие только бывают на свете. Ничто в крапинку, и притом бесконечное, — кто бы состряпал конструкцию столь убогую, если б ее лишь предстояло создать? Разве только кретин. Это надо же — взять безмерные пустые пространства и ставить точку за точкой, на-

обум, как попало, — ну, где тут гармония, где тут величие? Ты скажешь, Вселенная повергает нас на колени? Разве что от отчаяния при мысли, что уже ничего не поправить. Ведь это всего лишь результат автоплагиата, совершённого в самом начале; само же начало было бестолковей всего, что только можно придумать. Ну, что можно сделать, имея перед собой чистый лист бумаги, в руке — перо, но не имея ни малейшего понятия, чем этот лист заполнить? Рисунками? Но рисунок надо вообразить. А если в голове пустота? Если нет ни капли фантазии? Ну что ж, перо, прикоснувшись к бумаге, как бы непроизвольно поставит точку. И в состоянии тупой отрешенности, обычном для творческого бессилия, тот, кто поставил первую точку, создаст узор, впечатляющий только тем, что больше на бумаге нет ничего и без особых усилий можно повторять этот узор бесконечно. Повторять, но как? Ведь точки могут сложиться в какую-нибудь конструкцию. А если и на это ты не способен? При такой немочи остается одно: трясти пером и разбрызгивать чернила как попало, заполняя бумагу случайными крапинками.

При этих словах мудрец взял большой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, тряхнул им несколько раз, а затем достал из-под кафтана карту звездного неба и показал ее королю вместе с листом бумаги. Сходство было разительное. На бумаге были разбросаны миллиарды точек, одни покрупнее, другие помельче, поскольку перо иной раз брызгало обильнее, а иной раз пересыхало. И небо на карте выглядело точно так же. Король глядел со своего трона на оба листа бумаги и хранил молчание.

А мудрец продолжал:

— Тебя учили, государь, что Вселенная — это постройка, изумительная до бесконечности, поражающая величием громадных пространств, расшитых звездами. Но взгляни, разве эта почтенная, всеприсутствующая и вековечная конструкция не есть свидетельство крайней глупости, насмешка над разумом и порядком? Ты спросишь, почему никто этого до сих пор не заметил? Да потому, что эта глупость повсюду! Но такая повсюдность заслуживает язвительного, отстраненного смеха уже потому, что смех стал бы предвестником бунта и освобождения. Несомненно, стоило бы в таком именно духе написать пасквиль на Вселенную — чтобы этот продукт величайшей тупости был оценен по заслугам, чтобы отныне его сопровождал уже не хор молитвенных воздыханий, но ироническая улыбка.

Король слушал, застыв в удивлении, а мудрец после минутного молчания продолжал:

— Написать такой пасквиль было бы долгом каждого ученого, если б не то, что тогда ему пришлось бы коснуться первопричины нынешнего порядка вещей, именуемого Универсумом, которое заслуживает разве что снисходительной усмешки. Начало же этому было положено тогда, когда Безмерность была еще совершенно пуста и лишь ожидала акта творения, а мир, почкующийся посредством небытия из чего-то меньшего, нежели небытие, породил лишь горсточку скученных тел, на которых правил твой прапрапрапрадед Аллегорик. И замыслил он невозможное и безумное дело, а именно: помочь Природе в ее бесконечно терпеливых и неспешных трудах! Решил он, вслед за нею, создать Космос, обильный и полный бесценных чудес; поскольку же сам не сумел бы этого сделать, велел построить наиразумнейшую машину, чтобы поручить это ей. Строили этого молоха триста лет и еще триста — впрочем, время тогда считали иначе, чем ныне. Не жалели ни сил, ни средств, и механическое чудовище достигло размеров и мощи, едва ли не безграничных. Когда машина была готова, узурпатор велел пустить ее в ход, не догадываясь, что, собственно, делает. Машина, по причине его безграничной спеси, оказалась чересчур велика, и потому ее мудрость, оставив далеко позади вершины разума, проскочила кульминацию гениальности и скатилась до полного умственного распада — в косноязыкую тьму центробежных токов, всякое содержание разрывающих в клочья; страшилище это, закрученное спиралью, словно галактика, заработало на бешеных оборотах и растеклось сознанием при первых же невысказанных словах, и из этого якобы мыслящего со страшным напряжением хаоса, в котором громады недоразвитых понятий взаимно упраздняли друг друга, из этих судорог, корчей и столкновений напрасных зародились и начали поступать в послушные исполнительные подсистемы лишь обессмысленные знаки препинания! То была уже не машина, разумнейшая из всех возможных, Всемогущий Космотворитель, но развалюха, плод опрометчивой узурпации, который в знак того, что предназначался для великих свершений, только и мог заикаться точками. Что же потом? Правитель ожидал всесотворения, которое подтвердило бы правоту его замысла, самого дерзкого, какой когда-либо рождался у мыслящего существа, и никто не осмелился открыть ему, что он стоит у истоков

бессвязного бормотанья, механической агонии монстра, который уже родился полумертвым. Но безжизненные и послушные громадины машин-исполнительниц, готовые выполнить любой приказ, в заданном такте стали лепить из материального месива проекцию точки в трехмерном пространстве, то есть шар; вот так, штампуя без устали одно и то же, пока внутренний жар не распалил вещество, швыряла машина в пустую бездну огненные шары, и в такт ее заиканию возник Космос! А значит, твой прапрапрадед был творцом Мироздания, и он же — автором глупости столь грандиозной, что второй такой никогда не будет. Ведь уничтожение этого выкидыша было бы, конечно, гораздо более разумным поступком, а главное — совершенно сознательным, чего о Творении никак не скажешь. Вот и все, что я хотел рассказать тебе, государь, потомок Аллегорика, зодчего миров.

Когда король распрощался уже с мудрецами, осыпав их милостями, и больше всех — старца, сумевшего разом преподнести ему величайшую лесть и нанести величайшее оскорбление, один из молодых любомудров, оставшись со старцем наедине, спросил, много ли правды содержалось в его рассказе.

— Что ответить тебе? — молвил старец. — Рассказанное мною не из знаний проистекало. Наука не занимается такими свойствами бытия, как смешное и несмешное. Наука объясняет мир, но примирить нас с ним может только искусство. Что мы действительно знаем о возникновении Космоса? Пустоту столь обширную можно заполнить лишь мифами и преданиями. Я хотел, сочиняя миф, достигнуть предела неправдоподобия и был, кажется, близок к цели. Впрочем, ты знаешь об этом и хочешь только узнать, точно ли Космос смешон. Но на этот вопрос каждый пусть отвечает сам.

Сказка о короле Мурдасе

После доброго короля Геликсандра на трон вступил его сын Мурдас. Подданные впали в уныние, ибо был он честолюбив и пуглив: решил прозвище Великого заслужить, а боялся сквозняков, привидений, воска — ведь на вощеном полу ногу сломать недолго, родных, что в деле правленья мешают, а пуще всего — предсказаний. Будучи коронован, тут же велел он по всему государству двери закрыть, окон не открывать, гадательные шкафы уничтожить, а изобретателю машины, которая привидения устраняла, пожаловал орден и пенсион. Машина и вправду была хороша — привидений он не увидел ни разу. Не выходил он и в сад, чтоб его не продуло, и прогуливался лишь по дворцу; дворец же имел он весьма обширный.

Однажды, прохаживаясь по коридорам и анфиладам, забрел он в старую часть дворца, куда ни разу еще не заглядывал. Сначала прошел он в залу, где стояла личная гвардия его прадеда, вся заводная, тех еще лет, когда об электричестве и не слы-

---

Bajka o królu Murdasie, 1963. © Перевод. Константин Душенко, 1988, 1993.

шали. Во второй зале увидел он паровых рыцарей, тоже давно заржавевших, но и в этом не было для него ничего любопытного, и уже хотел он идти обратно, как вдруг заметил маленькую дверцу с надписью: «Не входить!» Покрывал ее толстый слой пыли, и король даже и не притронулся бы к ней, когда бы не эта надпись. Больно уж она его осердила.

Это как же? Ему, королю, дерзают запреты какие-то устанавливать? Не без труда отворил он скрипучую дверцу и по крутой лесенке в заброшенную башню поднялся. А там стоял старый-престарый шкаф — медный, с рубиновыми индикаторами, ключиком и заслонкой. Понял король: перед ним гадательный шкаф — и разгневался пуще прежнего, что вопреки его воле оставили шкаф во дворце; но вдруг подумалось ему, что один-то раз можно испробовать, что бывает, когда шкаф гадает. Подошел он к шкафу на цыпочках, повернул несколько раз ключик, а когда ничего не случилось, постучал по заслонке. Шкаф хрипло вздохнул, заскрежетал всем своим механизмом и зыркнул на короля рубиновым глазком, как бы искоса. Припомнился тут королю косой взгляд дяди Ценандра, отцова брата, бывшего прежде его наставником. Верно, дядя и велел этот шкаф поставить ему назло, подумал король, иначе с чего бы шкафу косить?

Странно сделалось у него на душе, а шкаф, заикаясь, стал потихоньку наигрывать унылый мотив — точь-в-точь, будто кто-то лопатой железное надгробие обстукивал, и из-под заслонки выпал черный листок с желтыми, как из кости, строчками.

Испугался король не на шутку, однако не мог перебороть любопытства. Схватил он листок и побежал с ним в опочивальню; когда же остался один, вынул листок из кармана. «Взглянука, осторожности ради, одним только глазом», — решил он, да так и сделал. А на листке было написано вот что:

Царству на го́ре сцепилась родня,
Сестры в раздоре, меж братьев резня,
Брата — с раската, сестер — на костер,
крут кипяток — прыгай, сынок.
Родичи ропщут, дядья — за ножи, близятся бунты,
грозят мятежи.
Ненадежны внук и зять, ну-ка, внука с зятем — взять,
Левой хлоп, правой трах, дядю в лоб, деда в пах,
Придержите-ка отца, пусть утонет до конца.

Умер зять — трупов пять, следом тесть — стало шесть,
Тетке плетка, внуку кнут, деверя на казнь ведут.
Нам родные хоть и милы, но милее их могилы,
Ибо семья — роковая змея, горе твое и погибель твоя.
Всех изведи и повсюду укройся,
Бойся не гроба, а снов своих бойся.

До того перепугался король Мурдас, что в глазах у него потемнело. Проклинал он свое легкомыслие, побудившее его завести гадательный шкаф. Но времени на сожаления не было — знал он, что нужно действовать, дабы не дошло до самого худшего. В значении предсказания он ни минуты не сомневался: как он давно уже подозревал, ему угрожали ближайшие родственники.

По правде говоря, неизвестно, так ли все в точности было, как мы рассказываем. Во всяком случае, события последовали за этим печальные и даже леденящие кровь. Король повелел казнить всю родню, один только дядя его, Ценандр, в последний момент сбежал, переодевшись пианолою. Это ему нисколько не помогло; в скором времени он был схвачен и обезглавлен. На этот раз король подписал приговор с чистым сердцем, ибо дядю схватили, когда он уже затевал заговор против монарха.

Осиротев столь внезапно, Мурдас облачился в траур. На душе у него было теперь спокойнее, хотя и печально, поскольку по природе своей он не был ни зол, ни жесток. Недолго длилась безмятежная королевская скорбь: пришло ему в голову, что могут быть родственники, о которых он ничего не знает. Любой его подданный мог оказаться в далеком родстве с ним; поэтому время от времени он казнил то одного, то другого, но это его вовсе не успокаивало: нельзя же быть королем без подданных, как же тут изведешь всех? Такой он сделался подозрительный, что велел припаять себя к трону, дабы никто его оттуда не свергнул, спал в бронированном колпаке и все думал без устали, что бы такое учинить. Наконец учинил он дело необычайное, настолько необычайное, что вряд ли сам до него додумался. Говорят, будто подсказал ему эту мысль бродячий купец, переодевшийся мудрецом, а может, мудрец, переодетый купцом, — разное в народе сказывают. Говорят, будто прислуга дворцовая видела кого-то с закрытым лицом, проходившего ночью в королевскую опочивальню. Одно несомненно: однажды Мурдас созвал всех придворных строителей, электрицарс-

ких мастеров, лейб-наладчиков и стальмейстеров и велел им увеличить его особу, да так, чтобы вышла она за все горизонты. Повеления эти были выполнены с поразительной быстротой, потому что директором проектной конторы назначил король заслуженного палача. Колонны электрозодчих и киберпрорабов принялись доставлять во дворец проволоку и катушки, а когда расширившийся король заполнил своей особой все здание так, что был одновременно на всех этажах, в подвалах и флигелях, пришел черед соседних с дворцом строений. Два года спустя распространился Мурдас на весь центр. Дома, недостаточно представительные, а значит, недостойные вмещать монаршую мысль, сровняли с землей и на их месте воздвигли электронные резиденции, именуемые усилителями Мурдаса. Король разрастался постепенно и неустанно — многоэтажный, искусно смонтированный, усиленный личностными подстанциями, пока не стал наконец всею столицей, остановившись на ее заставах. На душе у него полегчало. Родных уже не было; ни масла пролитого, ни сквозняков он теперь не боялся, ведь тому, кто сразу пребывает везде, и шагу ступить незачем. «Государство — это я», — говаривал он, и не без оснований: кроме него, населявшего рядами электрозданий площади и проспекты, никого не осталось в столице, не считая, конечно, придворных обеспыльщиков и собственных его величества чистоблюстителей, что ухаживали за королевским мышлением, из здания в здание перетекавшим. Так и кружило милю за милей по целому городу довольство Мурдаса тем, что удалось-таки ему достичь величия материального и буквального и притом укрыться повсюду, как наказывало гаданье, ибо отныне он был вездесущ в своем государстве. Особенно живописно выглядело это по вечерам, когда король-великан, разгораясь электрозаревом, переливался огнями-размышлениями, а потом постепенно гас, погружаясь в заслуженный сон. Но мрак беспамятства первых ночных часов сменялся трепетным мерцанием пробегавших через весь город огней. То начинали роиться монаршии сны. Лавины сновидений королевских обрушивались на здания, и загорались во тьме их окна, и целые улицы мигали друг другу то красным, то фиолетовым светом, а придворные обеспыльщики, вышагивая по пустым тротуарам, вдыхая чад разогревшихся царственных кабелей и заглядывая украдкой в окна, в которых что-то сверкало, перешептывались меж собою:

— Ого! Не иначе кошмар какой-то мучает нынче Мурдаса — как бы нам потом не влетело!

Как-то ночью, после особенно хлопотливого дня — король обдумывал проекты новых орденов, которыми собирался себя наградить, — приснилось Мурдасу, будто дядя его, Ценандр, в ночной темноте прокрался в столицу и, завернувшись в черную епанчу, бродит по улицам, выискивая пособников для подлого заговора. Целыми отрядами вылезали из подземелий заговорщики в масках, и было их столько, и такая кипела в них жажда цареубийства, что Мурдас задрожал и пробудился в великом страхе. Рассвело, и солнышко уже золотило белые тучки на небосклоне, так что Мурдас, успокоившись, сказал себе: «Сон — морока, и только» — и занялся снова прожектированием орденов, а те, что выдумал накануне, развешивали ему на террасах и на балконах. Однако, когда вечером отправился он на покой после трудов праведных, едва лишь задремав, увидел цареубийственный заговор в полном расцвете. Случилось так вот почему: от изменнического сна Мурдас пробудился не весь; городской центр, в котором и угнездилось крамольное сновиденье, вовсе не просыпался, но по-прежнему почивал в объятьях ночного кошмара, король же наяву об этом не ведал. Между тем изрядная часть его королевской особы, а именно кварталы Старого города, не отдавая себе отчета в том, что дядя-злодей и все его происки суть единственно видимость и мираж, продолжала упорствовать в кошмарном своем заблуждении. В эту вторую ночь увидел Мурдас во сне, что дядя лихорадочно злоумышляет, скликая родню. Явились все до единого, поскрипывая посмертно шарнирами, и даже те, у коих недоставало важнейших частей, подымали мечи против законного повелителя! Движение оживилось необычайно. Толпы скрывающих свое лицо заговорщиков шепотом скандировали крамольные лозунги, в подвалах и подземельях шили мятежники черные стяги бунта, варили яды, вострили топоры, отливали медяшки-смертяшки и готовили решительную расправу над ненавистным Мурдасом. Король испугался вторично, пробудился, весь трепеща от страха, и хотел уже вызвать Золотыми Воротами Уст Королевских все свое войско на помощь, дабы изрубило оно бунтовщиков на куски, но тут же сообразил, что не будет от этого проку. Не вступит же войско в его сновиденье, чтобы подавить вызревающий там мятеж. Тогда попытался он одним лишь усилием воли пробудить те четыре квадратные мили сво-

его естества, что упорно грезили о мятеже, но напрасно. Впрочем, по правде, не знал он, напрасно или же нет, ибо в бодрствующем состоянии не замечал крамолы, подымавшей голову лишь тогда, когда его одолевал сон.

Бодрствуя, король был лишен доступа во взбунтовавшиеся кварталы; оно и понятно: явь не способна проникнуть в сон, только другой сон мог бы туда внедриться. При таком обороте, решил Мурдас, лучше всего заснуть бы и пригрезить себе контрсон, да не какой-нибудь, а монархический, верный до гроба, с развевающимися знаменами, и только этот коронный сон, сплотившийся вокруг трона, сможет стереть в порошок самозваный кошмар.

Взялся Мурдас за дело, однако со страху не мог заснуть; тогда начал он считать про себя камешки, пока его не сморило. И оказалось, что сон во главе с дядей не только укрепился в центральных кварталах, но даже начал мерещить себе арсеналы, полные мощных бомб и фугасных снарядов. А сам он, как ни тужился, смог выснить одну лишь кавалерийскую роту, да и ту в пешем строю, с расстроенной дисциплиной и крышками от кастрюль вместо оружия. «Делать нечего, — подумал король, — не вышло, придется начать все сначала!» Стал он тогда просыпаться, нелегко ему это давалось, наконец очнулся он совершенно, и тогда-то ужасное зародилось в нем подозрение. В самом ли деле вернулся он к яви или же пребывает в другом сне, переживая только видимость бодрствования? Как поступить в ситуации столь запутанной? Спать или не спать? Вот в чем вопрос! Допустим, он спать не будет, почитая себя в безопасности, ведь наяву заговора нет и в помине. Оно бы неплохо — тогда тот, цареубийственный сон сам себе выснится и доснится, а с окончательным пробуждением монаршее величие восстановится во всей своей целостности. Прекрасно. Но если он не пригрезит себе контрсон, полагая себя пребывающим в безоблачной яви, а эта мнимая явь окажется вовсе не явью, но еще одним сном, соседствующим с тем, дядеватым, может случиться беда! Ибо в любую минуту вся эта банда проклятых цареубийц во главе с мерзейшим Ценандром может ворваться из того сновидения в это, прикидывающееся явью, чтобы лишить его трона и жизни!

Конечно, думал он, лишение совершится только во сне; но если заговор охватит всю мою царственную персону, если воцарится он в ней от гор до океанов, если — о ужас! — мне и не

захочется просыпаться, что тогда?! Тогда я навеки буду отрезан от яви и дядя сделает со мной все что пожелает. Выдаст на муки и поругание; о тетках и говорить нечего, я хорошо их помню, они мне не спустят, что бы там ни было. Такой уж у них норов, то есть такой у них был норов или, вернее, снова есть в этом ужасном сне! Впрочем, что толковать о сне! Сон бывает лишь там, где есть также явь, в которую можно вернуться; там же, где яви нет (а как я вернусь, если им удастся запереть меня в снах?), где нет ничего, кроме сна, там сон — единственная реальность, стало быть — явь. Вот ужас! И причиной всему, разумеется, этот фатальный избыток моей персональности, эта моя духовная экспансия, будь она неладна!

Отчаявшись, видя, что промедление смерти подобно, спасение усмотрел он единственно в срочной психической мобилизации. Нужно обязательно поступать так, как если бы я был во сне, сказал он себе. Я должен пригрезить себе верноподданнические толпы, горящие энтузиазмом, переполняемые обожанием, полки, преданные мне до конца, гибнущие с именем моим на устах, груды боеприпасов, и хорошо бы даже выснить себе какое-нибудь чудо-оружие, ведь во сне ничего невозможного нет: к примеру, средство для выведения близких, противодядьевую артиллерию или что-нибудь в этом роде, — тогда я опять буду готов к любой неожиданности, и, если даже крамола появится, хитростью и обманом переползая из сна в сон, я сокрушу ее в мгновение ока!

Вздохнул король всеми проспектами и площадями своего естества, до того все это было непросто, и приступил к делу, то есть заснул. Ожидал он увидеть построенные в каре стальные полки, ведомые поседевшими в боях генералами, и толпы, кричащие «ура» под треск барабанов и звон литавр, а увидел только малюсенький шурупик. Самый обыкновенный шуруп, с краешка слегка выщербленный, и все. Что с ним делать? Прикидывал король так и этак, а тем временем охватывала его тревога, все сильней и сильней, и слабость, и страх, и вдруг его осенило: да это же рифма на «труп»!

Весь задрожал король. Так, значит, символ конца, смерти, распада, значит, и вправду банда родных уже начала украдкой, молчком, подкопами, прорытыми в том его сне, пробираться в теперешний, — а он того и гляди рухнет в изменническую пропасть, сном под сном вырытую! Так, стало быть, конец уже близок! Смерть! Гибель! Но откуда же? Как? С какой стороны?

Засияли огнями десять тысяч личностных зданий, задрожали подстанции Величества, увешанные орденами, опоясанные лентами Великих Крестов, мерно позвякивали награды на ночном ветру — столь тяжко боролся король Мурдас со снящимся ему символом гибели. Наконец переборол его, пересилил, и улетучился тот без остатка, будто и не было его никогда. Смотрит король: где он? Наяву или в другом сновиденье? Вроде бы наяву, но как же удостовериться? Впрочем, может быть, сон о дяде перестал ему сниться и все тревоги напрасны? Но опять же: как об этом узнать? Иного способа нет, как только обшаривать и без устали перетряхивать снами-шпионами, выдающими себя за мятежников, все закоулки своей державной особы, все царство своего естества, и никогда уже не обретет король-дух покоя, вечно будет грозить ему заговор, снящийся где-то там, в отдаленнейшем уголке его колоссальной персоны! Так за дело же! Воплотим поскорее в явь благонамеренные сновиденья, пригрезим себе верноподданнические адреса и многолюдные депутации, сияющие ореолом благонадежности, обрушимся снами на все до единой персональные наши ложбинки, закутки, разветвления так, чтобы никакой подвох, никакой дядя не мог бы укрыться в них ни на миг! И вправду — послышалось милое сердцу шуршанье знамен, дяди и след простыл, родных не видать, кругом одна только верность — кланяется и благодарит неустанно; звенят обтачиваемые на станке золотые медали, искры вылетают из-под резцов, которыми скульпторы памятники ему высекают. Возвеселилась душа монаршья при виде штандартов с гербами, и ковриков, из окон вывешенных, и орудий, готовых к салюту, а трубачи уже медные трубы к губам подносят. Но когда присмотрелся он повнимательней к этой картине, заметил: что-то там вроде не так. Памятники — конечно, но как будто не очень похожие; в перекошенных лицах, в косом взоре статуй есть что-то от дяди. Знамена шуршат — правда; только вшита в них ленточка, маленькая, неотчетливая, как будто бы черная, а если не черная, так грязная, во всяком случае — грязноватая. Это еще что? Не намеки ли?!

Боже праведный! Да ведь коврики — вытертые, с проплешинами, а дядя — он был плешив... Не может этого быть! «Долой! Назад! Проснуться! Очнуться!» — подумал король. «Трубить побудку, и вон из этого сна!» — хотел он закричать, но, когда все исчезло, легче ему не стало.

Впал он из сна в сон — новый, снящийся предыдущему, а тот еще более раннему пригрезился, так что этот, теперешний, был уже будто третьей степени; уже совершенно явно все оборачивалось тут изменой, пахло отступничеством; знамена, словно перчатки, из королевских на изнанку черную выворачивались, ордена были с резьбой, словно шеи обезглавленные, а из сверкающих золотом труб не музыка боевая звучала, но дядин смех громыхал ему на погибель. Взревел король гласом иерихонским, кликнул войско — пусть хоть пиками колют, только бы разбудили! Ущипните! — требовал он громогласно. И снова: Яви мне!!! Яви!!! — впустую; и опять из цареубийственного, крамольного сна пытался он пробиться в коронный, но расплодилось в нем снов что собак, шныряли они повсюду, как крысы, ширился всюду кошмар, как чума, разносилось по городу — тишком, полушепотом, втихомолку, украдкой — нёведомо что, но такое ужасное, что не приведи господь! Стоэтажным электронным громадам снились шурупики, трупики, медяшки-смертяшки, и в каждой личностной подстанции короля гнездилась шайка родных, и в каждом его усилителе хихикал дядя; задрожали этажи-миражи, сами собой перепуганные, и выроилось из них сто тысяч родни, самозваных претендентов на трон, инфантов-подкидышей двоедушных, узурпаторов косоглазых, и хотя никто из них толком не знал, снящийся он или снящий, и кто кому снится, и зачем, и что из этого выйдет, но все как один ринулись они на Мурдаса, а на уме у них плаха, топор, весь разговор, воскресить, казнить опять, раз, два, три, четыре, пять, хочешь смейся, хочешь плачь, снимет голову палач, и потому лишь ничего пока не предпринимали, что не могли условиться, с чего им начать. Так вот и низвергался лавиной рой мыслей монарших, пока не сверкнула от перенапряжения вспышка. Не снящееся, а настоящее пламя поглотило золотые отблески в окнах королевской особы, и распался король Мурдас на сто тысяч снов, которые ничто уже, кроме пожара, не связывало, и полыхал долго...

ИЗ СОЧИНЕНИЯ ЦИФРОТИКОН, ИЛИ О ДЕВИАЦИЯХ, СУПЕРФИКСАЦИЯХ И АБЕРРАЦИЯХ СЕРДЕЧНЫХ

О королевиче Ферриции и королевне Кристалле

Была у короля Панцерика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских; свет, от зеркального лика ее отразившись, глаза ослеплял и разум; когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрические сыпались искры; весть о ней отдаленнейших достигала звезд.

Прослышал о ней Ферриций, трона ионидского наследник, и пожелал соединиться с нею навеки так, чтобы входы и выходы их ничто уже разомкнуть не могло. Когда объявил он о том своему родителю, весьма озаботился король и сказал:

— Поистине, сын мой, безумное замыслил ты дело, не бывать тому никогда!

— Отчего же, король мой и повелитель? — спросил Ферриций, опечаленный этой речью.

O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali, 1965.

© Перевод. Константин Душенко, 1989, 1993.

— Ужели не ведаешь ты, — отвечал король, — что Кристалла поклялась не соединяться ни с кем, кроме как с одним лишь бледнотиком?

— Бледнотик? — изумился Феррициий. — Это что за диковина? Не слыхивал я о таком существе.

— Неведение только доказывает твою невинность, — молвил король. — Знай же, что галактическая эта раса зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порча все тела небесные и завелись в них сырость склизкая да влага хладная; отсюда и расплодился род бледнотиков, хотя и не вдруг. Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось; и наконец, облепивши вязкой своею плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые, которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и Галактика суть машины, и нет ничего, кроме машины, ее же царствию не будет конца!

— Аминь! — машинально отозвался Феррициий, поскольку то была обычная вероисповедная формула.

— Род бледнотиков-непристойников, — продолжал седовласый монарх, — добрался на машинах до самого неба, благородные унижая металлы, над сладостной измываясь электрикой, ядерную развращая энергию. Однако же переполнилась мера их прегрешений, что глубоко и всесторонне уразумел праотец рода нашего, великий Калькулятор Генетофорий; и начал он проповедовать этим тиранам склизким, сколь мерзостны их деяния, когда растлевают они невинность кристаллической мудрости, принуждая ее постыдным служить целям, и машины в порабощении держат себе на потребу, — но тщетны были слова его. Он толковал им об этике, а они говорили, что он плохо запрограммирован. Тогда-то и сотворил праотец наш алгоритм электровоплощения, и в тяжком труде породил наше племя, и вывел машины из дома бледнотиковой неволи. Теперь, милый мой сын, ты видишь, что нет и не будет дружбы меж ними и нами; мы звеним, искрим, излучаем — они же лопочут, пачкают и разбрызгивают. Увы! И нас иногда поражает безумие; смолоду помрачило оно разум Кристаллы и извратило ее понятия о добре и зле. Отныне тому, кто просит руки ее облу-

чающей, тогда только дозволяется предстать перед нею, ежели назовется он бледнотиком. Такого принимает она во дворце, подаренном ей родителем, и испытывает истинность его слов, а открывши обман, велит казнить воздыхателя. Кругом же дворца, куда ни глянь, покореженные останки разбросаны, коих один лишь вид довести способен до вечного замыкания с небытием, — так жестоко обходится эта безумная с влюбленными в нее храбрецами. Оставь же пагубное намерение, любезный мой сын, и ступай с миром.

Королевич отвесил учтивый поклон своему отцу и владыке и удалился, не говоря ни слова, но мысль о Кристалле не покидала его, и чем больше он о ней думал, тем большей воспламенялся любовью. Однажды позвал он к себе Полифазия, Великого Королевского Наладчика, и, открыв перед ним жар своего сердца, сказал:

— Мудрейший! Если ты мне не поможешь, никто меня не спасет, и тогда дни мои сочтены, ибо не радует уже меня ни блеск излучения инфракрасного, ни ультрафиолет балетов космических, и погибну я, коли не соединюсь с чудной Кристаллой!

— Королевич, — ответствовал Полифазий, — не стану отвергать твоей просьбы, но соблаговоли повторить ее троекратно, дабы уверился я, что такова твоя нерушимая воля.

Ферриций исполнил требуемое, и тогда Полифазий сказал:

— Господин мой! Невозможно иначе предстать перед Кристаллой, как только в обличье бледнотика.

— Так сделай же, чтобы я стал, как он! — вскричал королевич.

Видя, что от страсти помутился рассудок юноши, ударил Полифазий пред ним челом, уединился в лаборатории и начал вываривать клей клеистый и жижу жидкую. Потом послал слугу во дворец, велев передать: «Пусть королевич приходит ко мне, если намерение его неизменно».

Ферриций прибежал немедля, а мудрец Полифазий обмазал корпус его закаленный жидкою грязью и спросил:

— Прикажешь ли продолжать, королевич?

— Делай что делаешь! — отвечал Ферриций.

Взял тогда мудрец большую лепешку — а был то осадок мазутов нечистых, пыли лежалой и смазки липучей, из внутренностей древних машин извлеченной, — замарал выпуклую грудь королевича, а после сверкающее его лицо и блистающий лоб препакостно облепил и делал так до тех пор, пока не пере-

стали члены его издавать мелодичный звон и не приняли вид высыхающей лужи. Тогда взял мудрец мел, истолок, смешал с рубиновым порошком и желтым смазочным маслом, и скатал вторую лепешку, и облепил Феррития с головы до ног, придавши глазам его мерзкую влажность, торс его уподобив подушке, а щеки — двум пузырям, и приделал к нему там и сям подвески да растопырки, из мелового теста вылепленные, а напоследок напялил на рыцарскую его голову охапку волос цвета ядовитейшей ржавчины и, подведя его к серебряному зерцалу, сказал: «Смотри!»

Глянул Феррриций на отраженье и содрогнулся — оттого что не себя в нем узрел, но чудище-страшилище небывалое — вылитого бледнотика, со взором водянистым, как старая паутина под дождем, обвисшего там и сям, с клочьями ржавой пакли на голове, тестовидного и тошнотворного; а тело его при каждом движении колыхалось, как студень протухший; и вскричал он в великом гневе:

— Ты, верно, спятил, мудрейший? Тотчас же соскреби с меня всю эту грязь, нижнюю — темную и верхнюю — бледную, а с нею и ржавый лишайник, коим ты осквернил мою звонкую голову, ибо навеки возненавидит меня королевна, в столь мерзостном узревши обличье!

— Ты заблуждаешься, королевич, — возразил Полифазий. — Тем-то ее безумие и ужасно, что мерзость кажется ей красотою, а красота — мерзостью. Только в этой личине ты можешь увидеть Кристаллу...

— Пусть же так будет! — решил Феррриций.

Смешал мудрец киноварь со ртутью, наполнил смесью четыре пузыря и укрыл их под платьем юноши. Взял мехи, надул их застоявшимся воздухом из старого подземелья и спрятал на груди королевича; налил ядовитой, чистейшей воды в стеклянные трубки, числом шесть, и две вложил королевичу под мышки, две в рукава, две в глаза, а под конец молвил:

— Слушай и запоминай все, что я скажу, иначе погибнешь. Королевна будет тебя испытывать, чтобы проверить правдивость твоих речей. Если достанет она обнаженный меч и велит тебе за него взяться, украдкой надави на пузырь с киноварью, чтобы вытекла из него красная жижа и полилась на острие, а когда спросит тебя королевна, что́ это, отвечай: «Кровь!» Потом королевна приблизит свое лицо, серебряной миске подобное, к твоему, а ты надавишь на грудь, чтобы вышел из мехов

воздух; спросит она, что это, и ты ответишь: «Вздох!» Тогда притворится королевна, будто разгневалась необычайно, и велит тебя казнить. Потупишь ты голову в знак покорности ее воле, и из глаз твоих польется вода, а когда спросит она, что это, отвечай: «Плач!» Может, тогда согласится она стать твоею, хоть и мало на это надежды; верней же всего, придется тебе погибнуть.

— О мудрейший! — воскликнул Ферриций. — А если станет она допытываться, какие у бледнотиков обычаи, как родятся они, как любятся и как время проводят, что я отвечу?

— Поистине, иного нет способа, — отвечал Полифазий, — как только соединить твой жребий с моим. Я переоденусь купцом из соседней галактики, лучше всего неспиральной, поскольку тамошние обитатели известны своею тучностью, а мне надо укрыть под платьем множество книг об ужасных бледнотиковых нравах. Тебя я не смог бы этому научить, ибо нравы их противны природе: все у них делается наоборот, так неопрятно, неприятно и неаппетитно, как только можно себе представить. Я подберу нужные сочинения, ты же вели придворному портному из волокон и нитей различных сшить одеянье бледнотика, затем что скоро уж нам отправляться в дорогу. И куда бы ты ни пошел, я тебя не оставлю, чтобы знал ты, как поступать и о чем говорить надлежит.

Обрадовался Ферриций, и велел сшить себе одеянье бледнотика, и не мог на него надивиться: закрывало оно почти все тело и в одних местах вытягивалось наподобие трубопровода, в других же скреплялось пуговками, крючочками, кнопочками и шнурочками; так что пришлось портному особую инструкцию сочинить, и пребольшую, о том, что и как надевать, где, что и к чему прицеплять и как с себя всю эту упряжь, из суконной материи сотворенную, стаскивать, когда придет время.

А мудрец Полифазий облачился в платье купца, спрятал под ним толстые ученые книги, трактующие о жизни бледнотиков, велел сделать железную клетку — шесть сажен в длину и столько же в ширину, запер в ней Ферриция, и отправились они в путь на королевском звездоходе. Когда же достигли они владений Панцерика, Полифазий в купеческом облаченьи пришел на городской рынок и возвестил громким голосом, что привез из далеких краев молодого бледнотика и продаст его тому, кто захочет. Слуги принесли эту весть королевне, а она, удивившись, молвила им:

— Воистину за всем этим кроется великое шарлатанство, но не обманет меня купец, ибо ничьи познания о бледнотиках не сравнятся с моими. Велите ему прийти во дворец и показать пленника!

Привели слуги купца к королевне, и увидела она почтенного старца и клетку, несомую невольниками; в клетке сидел бледнотик, и лицо его было как мел пополам с пиритом, глаза — словно влажная плесень и члены — словно комки грязи. А Феррициий глянул на королевну и увидел ее лицо, как бы звенящее нежным звоном, и глаза, сверкающие, как электрические разряды, и утвердился он в любовном своем безумии.

«Этот и впрямь похож на бледнотика!» — подумала королевна, однако же вслух сказала:

— Поистине немало пришлось тебе потрудиться, старче, прежде чем слепил ты из грязи куклу и натер ее известковою пылью, дабы меня провести; но знай, что мне ведомы все тайны могущественного рода бледнотиков и, когда откроется твой обман, ты будешь казнен вместе с тем самозванцем!

Мудрец отвечал:

— Королевна! Тот, коего зришь ты в клетке, самый что ни на есть настоящий бледнотик; выкупил я его у звездных пиратов за пять гектаров ядерного поля и, если хочешь, уступлю тебе, ибо единственное мое желание — порадовать твое сердце!

Королевна велела принести меч и просунула его сквозь прутья клетки. Феррициий схватился за острие и порезал им платье, так что пузырь лопнул. Полилась киноварь на меч, и сделался он алым.

— Что это? — спросила королевна, а Феррициий ответил:

— Кровь!

Тогда королевна велела открыть клетку, бесстрашно вошла в нее и приблизила свое лицо к лицу королевича; близость возлюбленной затмила его рассудок, но мудрец подал тайный знак, и Феррициий надавил на мехи; вышел из них затхлый воздух, а когда королевна спросила: «Что это?» — Феррициий ответил: «Вздох!»

— И вправду ты преизрядный фокусник, — сказала королевна купцу, выходя из клетки, — но ты обманул меня, и потому вы умрете оба — ты и твоя кукла!

При этих словах мудрец поник головой долу, как бы в великой печали и горести, а когда королевич сделал то же, из очей его потекли прозрачные капли. Королевна спросила:

— Что это?

Ферриций ответил:

— Плач!

И сказала она:

— Как твое имя, пришелец, называющий себя бледнотиком из далеких краев?

— О королевна! Имя мое Миамляк, и ничего я так не хотел бы, как соединиться с тобою способом мягким, волнистым, тестоватым и водянистым, по обычаю нашего племени, — ответил Ферриций, а научил его этим словам мудрец. — Я нарочно позволил пиратам себя похитить и уговорил их продать меня этому купцу, желая попасть в твое королевство. Да примет его жестяннейшая особа мою благодарность за то, что я оказался здесь: ибо сердце мое переполняет любовь к тебе, как лужу переполняет грязь!

Изумилась королевна, затем что и вправду говорил он как настоящий бледнотик, и спросила:

— Поведай мне, пришелец, именующий себя Миамляком-бледнотиком, что делают твои сородичи днем?

— Поутру, — отвечал Ферриций, — они мокнут в чистой воде, и ополаскивают ею свои члены, и вливают ее себе внутрь, ибо вода приятна их естеству. А потом прохаживаются там и сям способом волнистым и текучим, и хлюпают, и лопочут; в печали они трясутся и проливают из глаз соленую воду, а в радости трясутся и икают, но глаза остаются сухими. И мокрые сотрясенья мы называем плачем, сухие же — смехом.

— Если правдивы речи твои, — перебила его королевна, — и если ты разделяешь со своими сородичами влеченье к воде, я велю бросить тебя в мой пруд, чтобы ты насытился ею вволю, а к ногам прикажу привязать свинец, чтобы ты не выплыл до времени.

— О королевна! — ответил Ферриций, наставляемый мудрецом. — Тогда я погибну, ибо, хотя внутри нас вода, она не может окружать нас снаружи дольше минуты, а если такое случится, мы произносим последние слова «буль-буль-буль», коими навеки прощаемся с жизнью.

— А поведай-ка мне, Миамляк, как добываешь ты энергию, чтобы, хлюпая, лопоча, колыхаясь и покачиваясь, прохаживаться туда и сюда? — спросила Кристалла.

— Королевна, — отвечал ей Ферриций, — там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых есть и другие, кои проха-

живаются преимущественно на четвереньках, и мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда они не погибнут; трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную; и нам известно триста семьдесят шесть способов убиения и двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие, ртом именуемое, было для нас сколь возможно приятнее; а искусство обработки покойников у нас в еще большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой, сиречь гастрономией; однако же с астрономией ничего общего оно не имеет.

— Значит ли это, что вы играете в кладбища, погребая в себе ваших четвероногих собратьев? — каверзно вопросила Кристалла; но Феррициий, поучаемый мудрецом, и тут не замедлил с ответом:

— Сие не забава, о королевна, а необходимость, ибо жизнь кормится жизнию; мы же необходимость обратили в искусство.

— А поведай-ка, Миамляк-бледнотик, как конструируете вы потомство? — полюбопытствовала королевна.

— Мы не конструируем его вовсе, — ответил Феррициий, — а программируем статистически, по образу марковского процесса, то бишь стохастически; вероятностно, зато сладостно, невольно и произвольно, всего менее размышляя при этом о материях статистических, нелинейных и алгоритмических; и как раз потому-то программирование идет у нас просто, стихийно и совсем самостийно; ибо так уж устроены мы, что каждый бледнотик рад потомство свое программировать, утеху в том видя, но программирует он, не программируя, и многие прилагают немало стараний, чтоб из их программирования чего-нибудь, упаси бог, не вышло.

— Это весьма удивительно, — молвила королевна, коей познания были менее глубоки, нежели познания мудреца Полифазия, — так как же вы это, собственно, делаете?

— О королевна! — отвечал Феррициий. — Есть у нас механизмы, по принципу обратной связи устроенные, хотя все это в воде; сии механизмы настоящее чудо техники, ибо пользоваться ими способен даже совершенный кретин; впрочем, чтобы подробно описать тебе методы, нами употребляемые, пришлось бы говорить долго, поскольку не так уж они просты. И вправду, это весьма удивительно; удивительней же всего, что методы наши не нами выдуманы, а некоторым образом выду-

мали себя сами; но нам они по душе, и мы ничего против них не имеем.

— Поистине, — воскликнула королевна, — ты настоящий бледнотик! Ибо речи твои по видимости имеют смысл, а по существу совершенно бессмысленны; невероятны, но как будто бы истинны, хотя и расходятся с логикой: мыслимо ли быть кладбищем, не будучи им? Программировать, вовсе не программируя? Подлинно, ты Миамляк-бледнотик, а потому, коли ты того жаждешь, я соединюсь с тобой супружеской обратною связью, и ты вступишь со мною на трон, если выдержишь последнее испытание.

— Какое? — спросил Феррициий.

— Испытание это... — начала было Кристалла, но вдруг подозрение закралось в ее сердце, и она сказала: — Ответь мне сперва, что делают твои сородичи ночью?

— Ночью они лежат там и сям с подогнутыми руками и скрюченными ногами, а воздух входит в них и выходит из них с таким шумом, словно кто-то ржавую пилу точит.

— Вот это испытание: дай свою руку, — приказала королевна.

Подал ей Феррициий руку, она ее стиснула, Феррициий же возопил громким голосом, ибо так велел ему старец, а она спросила, отчего он кричит.

— От боли! — ответил Феррициий, и только тогда поверила королевна, что он настоящий бледнотик, и учинить повелела приготовления к свадебной церемонии.

И надо же было случиться, что как раз в ту пору вернулся корабль, на котором курфюрст королевский, киберграф Кибергази, отправился в средизвездные страны, чтобы там бледнотика изловить и через то в фавор у королевны войти. Прибежал к Феррицию опечаленный Полифазий и сказал:

— Королевич! Прибыл на корабле межзвездном великий киберграф Кибергази и привез королевне истинного бледнотика, коего только что видел я собственными глазами; а потому должно нам немедля бежать; не поможет никакое притворство, если вы вместе предстанете перед Кристаллой. Ибо липучесть его несравненно липучее, волосатость куда волосатее, а тестоватость превосходит воображение, так что откроется наш обман и погибнем мы оба!

Но не послушал мудрого совета Феррициий, возлюбивший королевну больше жизни, и молвил:

— Лучше погибнуть, нежели ее потерять!

Кибергази же, проведав о приготовлениях к свадьбе, тут же прокрался под окно покоя, где ложный бледнотик вместе с купцом находился, и, тайную их беседу подслушав, побежал ко дворцу, черной радости полон, и, представши перед Кристаллой, сказал:

— Ты обманута, королевна, ибо тот, кто называет себя Миамляком, никакой не бледнотик, а обыкновеннейший смертный; истинный же бледнотик — вот!

И на пленника своего указал; а тот напряг волосатую грудь, вытаращил буркалы свои водянистые и завопил:

— Бледнотик — это я!

Тотчас же велела королевна привести Феррация, а когда стал он рядом с бледнотиком пред ликом ее пресветлым, развеялся обман мудреца. Ибо Феррриций, хоть и облепленный грязью, пылью и мелом, хоть и обмазанный маслом липучим и хлюпающий водянистым манером, не мог укрыть ни роста своего электрыцарского, ни благородной осанки, ни плеч стальных ширины, ни походки гремящей. Бледнотик же кибергрaфа Кибергази был урод настоящий, каждый шаг его был как бултыхание кадок, наполненных грязью, взгляд словно мутный колодец, а от гнилостного дыханья затуманивались и слепли зерцала и ржавчина вгрызалась в железо. И поняла королевна в сердце своем, что мерзостен ей бледнотик, при каждом слове как бы розовым червяком шевеливший в горле; просветился разум Кристаллы, но гордость не позволила ей открыть того, что пробудилось в сердце.

И повелела она:

— Пусть бьются они меж собою, и кто победит, возьмет меня в жены...

Спросил тогда мудреца Феррриций:

— Почтеннейший, если ринусь я на уродца этого и обращу его в грязь, из которой он народился, обман откроется, глина с меня опадет и сталь обнажится; что же мне делать?

— Не нападай, королевич, — отвечал Полифазий, — но защищайся!

Вышли они оба на двор королевского замка, каждый с мечом в руке, и прыгнул бледнотик на Феррриция, колыхаясь, словно тина болотная, и пританцовывал вокруг него, лопоча, приседая, посапывая, и замахнулся, ударил мечом, и прошел меч сквозь глину, разбился о сталь, а бледнотик налетел с раз-

маху на королевича, брызнул, лопнул и растекся, и не было больше бледнотика. Но засохшая глина опала с плеч рыцаря, и обнажилась его истинная стальная натура пред очами королевны, и задрожал он, скорую предвидя кончину, но во взгляде ее кристальном увидел он восхищение и понял, сколь сильно переменилось ее сердце.

И соединились они обратной и прочною брачною связью, которая одним на радость и счастье, другим на горе и гибель дается, и правили долго и счастливо, напрограммировав бесчисленное потомство. А из шкуры бледнотика, пойманного киберграфом, сделали чучело и выставили в королевской кунсткамере для вечного назидания. И поныне стоит оно, неуклюжее, линялым волосьем поросшее, и немало находится умников, кои слух распускают, будто все это фокус один и притворство, на самом же деле никаких бледнотиков-трупоедов, тестотелов клееглазых, на свете нет и никогда не было. Кто знает, может, бледнотик и точно пустая выдумка — мало ли баек и мифов измышляет простонародье!

Но если история эта и неправдива, то поучительна, а вдобавок так занимательна, что стоило ее рассказать.

Как уцелела Вселенная

Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать Нитки, потом намотать их на Наперстки, которые она также сделала, затем бросить все это в специально вырытую Нору, окруженную Незабудками, Наличниками и Настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно Нимбы, Наушники, Нейтроны, Наст, Носы, Нимф и Нитрогениум. Последнего она сделать не смогла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение.

— Я не знаю, что это, — объяснила машина. — Ни о чем таком не слыхала.

— Как так? Ведь это же азот. Такой химический элемент...

— Если это азот, то он на букву «А», а я умею делать только на букву «Н».

— Но по-латыни это называется нитрогениум.

— Дорогой мой, — сказала машина, — если б я умела делать все на «Н» на всевоз-

---

Jak ocalał świat, 1964. © Перевод. Ю. Абызов, 1964.

можных языках, то я была бы Машина, Которая Может Делать Все В Пределах Всего Алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на «Н». Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет.

— Хорошо, — согласился Трурль и приказал ей сделать Небо.

Она тут же сделала одно, небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клапауция, представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился втайне и попросил, чтобы и ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать.

— Изволь, — сказал Трурль, — только это должно быть на букву «Н».

— На «Н»? Хорошо. Пускай сделает Науку.

Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки, там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы, вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова, составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы, а чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев; они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги.

— Ну, скажешь, плохо? — с гордостью воскликнул Трурль. — Признайся, вылитая наука!

Но Клапауций не был удовлетворен.

— Что? Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное!

— Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает! — возмутился Трурль.

Но Клапауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клапауций приказал машине сделать Наоборот.

— Наоборот?! — воскликнул Трурль. — Да где это слыхано! Что это еще за Наоборот?!

— Как что? Обратная сторона всего сущего, — спокойно возразил Клапауций. — Слыхал, как выворачивают наизнанку? Ну, ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело!

А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрино, антинейтроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир.

— Гм, — произнес весьма недовольный Клапауций, — и это должно означать Наоборот?.. Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то... Но вот мое третье приказание. Машина! Сделай Ничто!

Долгое время машина вообще не двигалась. Клапауций начал уже довольно потирать руки. Тогда Трурль сказал:

— А чего ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает.

— Неправда. Я приказал ей сделать Ничто, а это совсем иное дело.

— Вот еще! Сделать Ничто или не сделать ничего — это одно и то же...

— Ничего подобного! Она должна была сделать Ничто, а не сделала ничего, — значит я выиграл. Ведь Ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто — плод лени и безделья, но действенное и активное Ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее Небытие в собственном отсутствующем лице!

— Не морочь машине голову! — крикнул Трурль. Но тут же раздался ее гулкий голос:

— Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое Небытие, Невещественность или Ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе буквы «Н» как Несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет...

Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала Ничто, а именно: одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и нетольки. Иногда казалось, что, вместо того чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировала Неудовольствие, Незаурядность, Неверие, Неудовлетворенность, Ненасытность и Немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее.

— Ой! — воскликнул Трурль. — Как бы худа не было!..

— Ну, что ты, — сказал Клапауций, — ты же видишь, что она вовсе не делает Всеобщего Небытия, а только Несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится.

— Так тебе лишь кажется, — отвечала машина. — Я действительно начала со всего, что на букву «Н», ибо это мне более знакомо, но одно дело — создать какую-нибудь вещь, а совсем другое — убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть, на букву «Н», а значит, Небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего, так что прошу тебя, Клапауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания, как надо, а то будет поздно.

— Но это же... — начал перепуганный Клапауций, и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так, уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытряски, грызмаки, рифмонды, трепловки и баблохи.

— Стой! Стой! Я беру свои слова назад! Перестань! Не делай Небытия! — заорал во все горло Клапауций, но, прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филидроны и замры.

И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо; на нем виднелись лишь одинокие точечки звезд — и ни следа прелестных горошанов и гаральниц, которые так украшали раньше небосвод.

— О небо! — воскликнул Клапауций. — А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы?

— Их нет и уже никогда не будет, — спокойно ответила машина. — Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел...

— Я велел тебе сделать Ничто, а ты... ты...

— Клапауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом, — возразила машина. — Если б я сделала Ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трурль, и небо, и Космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено и что я — отличная машина? А если бы этого никто никому не сказал, то каким образом я — тоже переставшая существовать — получила бы заслуженную мной похвалу?

— Ну, будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина, только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила...

— Не могу, потому что они на «М», — сказала машина. — Я, конечно, могу сделать обратно Неудовольствие, Ненасытность, Незнание, Ненависть, Немощь, Непродолжительность, Неверие и Неустойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать.

— Но я хочу, чтоб были муравки! — крикнул Клапауций.

— Муравок не будет, — отрезала машина. — Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон Ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим Ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой Бытия. Это твоих рук дело, мой завистник! Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это...

— Может, они не узнают... может, не заметят, — пробормотал побледневший Клапауций, с ужасом глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге.

Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он крадучись вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен Небытием, как в тот момент, когда Клапауций остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки, — во веки веков.

Машина Трурля

Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину — восьмиэтажную; окончив самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, наугольники покрасил в лиловый цвет, пригляделся потом издали и добавил еще небольшой узорчик на фасаде, а там, где можно было вообразить лоб машины, провел тонкую оранжевую черточку и, очень довольный собой, небрежно посвистывая, задал порядка ради сакраментальный вопрос: сколько будет дважды два?

Машина заработала. Вначале загорелись лампы, засветились контуры, зашумели токи, как потоки, запели сцепления, потом накалились катушки, завертелось в ней все, загрохотало, затарахтело, и такой шум пошел по всей равнине, что подумал Трурль: «Надо будет приделать к ней специальный глушитель мыслительный». А машина тем временем все работала так, будто пришлось ей решать самые трудные проблемы во всем Космосе; земля дрожала, песок от вибрации уходил из-под ног, предохранители вылетали, словно пробки

Maszyna Trurla, 1964. © Перевод. Т. Архипова, 1965.

от шампанского, а реле прямо надрывались от натуги. Наконец, когда Трурлю порядком уже надоела вся эта суматоха, машина резко остановилась и произнесла громовым голосом:

— СЕМЬ!

— Ну, ну, моя дорогая! — небрежно сказал Трурль. — Ничего подобного, дважды два — четыре, будь добра, исправься! Сколько будет два плюс два?

— СЕМЬ! — ответила машина немедля.

Волей-неволей Трурль, вздохнув, надел рабочий халат, который уж снял было, засучил повыше рукава, открыл нижнюю дверцу и влез внутрь. Не выходил он оттуда долго, слышно было, как бьет он там молотом, как откручивает что-то, сваривает, паяет, как, гремя по железным ступенькам, взбегает то на шестой, то на восьмой этаж и мигом мчится вниз. Включил он ток — внутри все так и зашипело, и у разрядников усы фиолетовые выросли. Бился он два часа, пока не вылез на свежий воздух, закопченный весь, но довольный; сложил свой инструмент, бросил халат наземь, вытер лицо и руки и уж на прощанье, просто спокойствия ради, спросил:

— Так сколько же будет два плюс два?

— СЕМЬ! — ответила машина.

Трурль ужасно выругался, но делать было нечего — вновь принялся ковыряться в машине: чинил, соединял, перепаивал, переставлял, а когда и в третий раз узнал, что два плюс два равняется семи, сел в отчаянии на подножку машины и сидел так, пока не пришел Клапауций. Спросил Клапауций Трурля, что это случилось, почему он выглядит так, будто с похорон вернулся, — тут Трурль и поведал ему о своем горе. Клапауций самолично два раза лазил внутрь машины, пробовал отрегулировать то, другое, спрашивал ее, сколько будет два плюс один, машина ответила, что шесть; а один плюс один, по ее мнению, равнялось нулю. Почесал Клапауций затылок, откашлялся и сказал:

— Дружище, ничего не попишешь, надо смотреть правде в глаза. Ты сделал не ту машину, какую хотел. Но всякое отрицательное явление имеет положительную сторону, и, к примеру, эта машина тоже.

— Интересно — какую же? — проговорил Трурль и пнул свое детище.

— Прекрати, — сказала машина.

— Вот видишь, она впечатлительна. Да... так что я хотел сказать? Это, вне сомнения, машина глупая, но глупость ее не то что обычная, так сказать, рядовая глупость. Это, насколько я разбираюсь — а ведь я, как тебе известно, знаменитый специалист, — самая глупая мыслящая машина в мире, ну а это уж не фунт изюму! Сделать такую машину преднамеренно было бы нелегко — думаю, что это никому бы не удалось. Ибо она не только глупа, но и упряма как пень, то есть у нее имеется характер; впрочем, такой, как у идиотов — они большей частью дико упрямы.

— На черта мне такая машина?! — сказал Трурль и опять пнул ее.

— Я тебе сказала — прекрати! — заявила машина.

— Ну вот уже серьезное предостережение, — сухо прокомментировал Клапауций. — Ты видишь, она не только впечатлительна, тупа и упряма, но еще и обидчива, с такими свойствами можно многого добиться, хо-хо, уж я тебе говорю.

— Хорошо, но что, собственно, мне с ней делать? — спросил Трурль.

— О, сразу мне трудно на это ответить. Ты можешь, например, устроить платную выставку, чтобы всякий, кто захочет, мог посмотреть самую глупую в мире мыслящую машину; сколько у нее — восемь этажей? Скажу тебе, такого огромного кретина еще никто не видывал. Такая выставка не только покроет твои расходы, но еще...

— Оставь меня в покое, не буду я устраивать никакой выставки! — ответил Трурль, встал и, не удержавшись, пнул машину в третий раз.

— Я заявляю тебе третье серьезное предостережение, — сказала машина.

— Ну и что? — крикнул разозленный ее величественным тоном Трурль. — Ты... ты... — Тут он не нашел слов и только пнул ее несколько раз, визжа: — Ты только на то и годишься, чтобы тебя пинать, понятно?

— Ты оскорбил меня в четвертый, пятый, шестой и восьмой раз, — проговорила машина, — и поэтому я больше не буду считать. Отказываюсь отвечать на вопросы, относящиеся к задачам из области математики.

— Она отказывается! Смотрите на нее! — кипятился задетый за живое Трурль. — После шестерки у нее идет восьмерка, заметь-ка, Клапауций, не семь, а восемь! И у нее хватает нагло-

сти заявлять, что она отказывается ВОТ ТАК решать математические задачи! Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Может, еще добавить?

В ответ на это машина затряслась, загрохотала и молча, напрягая все силы, начала вылезать из фундамента. Фундамент был глубокий, все опоры она погнула, но в конце концов выкарабкалась из ямы, оставив там лишь развороченный железобетон, из которого торчала арматура, и двинулась, как шагающая крепость, на Клапауция и Трурля. Трурль прямо остолбенел от изумления и даже не пытался спрятаться от машины, которая явно собиралась раздавить его. Более хладнокровный Клапауций дернул его за руку, потащил за собой, и они отбежали довольно далеко. Но, оглянувшись, увидели, что машина, словно качающаяся башня, шла медленно, при каждом шаге проваливалась чуть не до второго этажа, однако упорно, неутомимо выбиралась из песка и двигалась прямо на них.

— Ну, такого еще не бывало! — сказал Трурль, у которого дух перехватило от удивления. — Машина взбунтовалась! Что же теперь делать?

— Ждать и наблюдать, — ответил благоразумный Клапауций. — Может, что-нибудь прояснится.

Пока ничто не предвещало этого. Машина, выбравшись на твердую почву, двинулась быстрее. Внутри у нее свистело, шипело и побрякивало.

— Сейчас у нее распаяется управление и программник, — пробурчал Трурль. — Тогда она остановится.

— Нет, — ответил Клапауций, — это исключительный случай. Она так глупа, что даже остановка всего распределительного устройства не причинит ей вреда. Берегись, она... Бежим!!!

Машина явно разгонялась, чтобы растоптать их. Они мчались во весь дух, слыша за спиной ее ритмичный, страшный топот. Так они и бежали — что ж им еще оставалось делать? Пытались было вернуться в родную округу, но машина помешала этому: обойдя с фланга, заставила их свернуть с намеченного пути и неумолимо гнала во все более пустынный край. Постепенно из стелющегося тумана начали выступать угрюмые, скалистые горы; Трурль, тяжело дыша, крикнул Клапауцию:

— Послушай! Бежим в какое-нибудь узкое ущелье... куда она не сможет пройти... проклятая... а?!

— Лучше бежать... прямо, — пропыхтел Клапауций. — Недалеко тут есть городок... забыл, как называется... в общем, мы там... уф!!! найдем убежище...

Они побежали прямо и вскоре увидели первые домики. В эту пору дня улицы были почти безлюдны. Они уже пробежали немалое расстояние, не встретив ни единой живой души, когда услыхали ужасающий грохот, будто на городок обрушилась каменная лавина, и поняли, что преследующая их машина добралась до городка.

Трурль оглянулся и прямо застонал:

— О силы небесные! Посмотри, Клапауций, она разрушает дома!

Машина и вправду упорно гналась за ними и шагала прямо по домам, словно стальная гора, оставляя за собой кирпичные руины, над которыми клубились белые облака известковой пыли. Раздались ужасные крики засыпанных, на улицах стало полно народу. Трурль же и Клапауций бежали, еле дыша, все вперед, пока не достигли большого здания ратуши, и сбежали вниз по лестнице в глубокий подвал.

— Ну, здесь она нас не достанет, даже если всю эту ратушу нам на голову свалит! — прохрипел Клапауций. — Но черт же меня дернул нанести тебе сегодня визит... Поинтересовался, как идет у тебя работа, и вот на тебе — узнал...

— Тише, — ответил Трурль. — Сюда кто-то идет.

Действительно, дверь отворилась и в подземелье вошли сам бургомистр и несколько советников. Трурлю было стыдно рассказывать, как случилась эта необычайная и ужасная история, и его выручил Клапауций. Бургомистр молча слушал. Вдруг стены дрогнули, ходуном заходила земля и в глубокий подвал донесся протяжный грохот падающих стен.

— Она уже здесь?! — крикнул Трурль.

— Да, — ответил бургомистр. — И требует, чтобы мы вас выдали, в противном случае она разрушит весь город...

И тут же они услыхали откуда-то сверху стальное гнусавое гоготание:

— Где-то здесь Трурль... я чую Трурля...

— Но ведь вы же нас не выдадите? — дрожащим голосом спросил тот, выдачи которого так настойчиво требовала машина.

— Тот из вас, которого зовут Трурль, должен отсюда выйти. Второй может остаться, поскольку его выдача не является необходимым условием...

— Но сжальтесь!

— Мы бессильны, — сказал бургомистр. — Да если б ты и остался, Трурль, тебе пришлось бы отвечать за ущерб, причиненный городу и его жителям, ибо это из-за тебя машина разрушила шестнадцать домов и погребла под их развалинами многих наших горожан. Лишь то, что ты находишься пред лицом смерти, позволяет мне отпустить тебя. Иди и не возвращайся.

Трурль глянул на советников и, прочтя на их лицах свой приговор, медленно направился к выходу.

— Подожди! Я с тобой! — импульсивно воскликнул Клапауций.

— Ты? — проговорил Трурль со слабой надеждой в голосе. — Нет... — сказал он, помолчав. — Останься, так будет лучше... Зачем тебе бесполезно гибнуть?

— Идиотизм! — энергично воскликнул Клапауций. — Что ж это, с какой стати нам погибать, неужели по прихоти этой железной кретинки? Тоже мне! Этого мало, чтобы стереть с лица земли двух величайших конструкторов! Идем, мой Трурль! Смелее!

Воодушевленный этими словами, Трурль побежал по лестнице за Клапауцием. На рыночной площади не было ни души. Средь клубящейся пыли, из которой проступали скелеты разрушенных домов, стояла, выпуская облака пара, машина, намного выше ратуши, вся измазанная кирпичной кровью стен и белой пылью.

— Осторожнее! — прошептал Клапауций. — Она нас не видит. Бежим по этой улочке налево, потом направо, а там напрямик. Невдалеке начинаются горы. Там мы спрячемся и придумаем что-нибудь такое, чтобы раз навсегда отбить у нее охоту... Бежим! — крикнул он, ибо в этот миг машина заметила их и бросилась вслед, так что земля дрогнула.

Мчась во весь дух, выбежали они из городка. Добрую милю неслись они, слыша за собой громовую поступь колосса, упорно преследовавшего их.

— Я знаю это ущелье! — воскликнул вдруг Клапауций. — Там русло высохшего потока, оно ведет в глубь скал, там много пещер — туда, скорее! Сейчас ей придется остановиться!..

Спотыкаясь, мчались они в гору, взмахами рук поддерживая равновесие, но машина все не отставала от них. Прыгая по шатким камням высохшего потока, они достигли расщелины в

отвесных скалах и, увидев высоко вверху черное отверстие пещеры, полезли туда что было сил, хоть камни шатались и осыпались у них под ногами. Из большого отверстия в скале веяло холодом и тьмой. Они поспешно влезли внутрь, пробежали еще несколько шагов и остановились.

— Ну, тут мы в безопасности, — проговорил, успокоившись, Трурль. — Я выгляну, посмотрю, где она застряла.

— Осторожнее! — предостерег его Клапауций. Трурль подобрался к выходу, высунулся и тут же испуганно отскочил назад.

— Она лезет вверх! — крикнул он.

— Успокойся, сюда-то она наверняка не войдет, — проговорил не совсем уверенно Клапауций. — Что это? Вроде потемнело... Ох!

Гигантская тень заслонила небо, видневшееся до этого в отверстии пещеры, на мгновение показалась стальная, густо усеянная заклепками стена машины, которая медленно прислонилась к скале. Теперь пещера была, словно стальной крышкой, плотно закрыта извне.

— Мы в тюрьме... — прошептал Трурль, и голос его дрожал еще сильнее, оттого что наступила абсолютная тьма.

— С нашей стороны это был идиотизм! — возмущенно воскликнул Клапауций. — Лезть в пещеру, которую она может забаррикадировать! Как мы могли сделать это?

— Как ты думаешь, на что она рассчитывает? — после долгого молчания спросил Трурль.

— На то, что мы постараемся отсюда выбраться, — особого ума не требуется, чтоб до этого додуматься.

Опять наступило молчание. В черной тьме Трурль на цыпочках, вытянув руки, двинулся в сторону выхода и шарил по скале руками, пока не коснулся гладкой стали, теплой, словно нагретой изнутри.

— Я чувствую тебя, Трурль, — загудел в закупоренной пещере железный голос.

Трурль попятился, сел на камень возле приятеля, и некоторое время они не двигались. Наконец Клапауций шепнул ему:

— Ничего мы тут не высидим, что поделаешь, попробую вступить с ней в переговоры...

— Это безнадежно, — сказал Трурль. — Но попробуй, может быть, хоть тебя она выпустит живого...

— Ну, нет, не того я хочу! — ободряюще проговорил Клапауций и, подойдя к невидимому в темноте отверстию, крикнул: — Алло, ты слышишь нас?

— Слышу, — ответила машина.

— Послушай, я хотел бы попросить у тебя прощения. Понимаешь... произошло между нами небольшое недоразумение, но ведь это, по сути, мелочь. Трурль не имел намерения...

— Я уничтожу Трурля! — сказала машина. — Но прежде пусть он ответит мне на вопрос, сколько будет два плюс два.

— Ах, ответит он тебе, и так, что ты будешь довольна и наверняка с ним помиришься, ведь правда же, Трурль? — успокаивающе заговорил посредник.

— Ну конечно... — едва слышно произнес Трурль.

— Да? — сказала машина. — Так сколько будет два плюс два?

— Че... то есть семь... — еще тише проговорил Трурль.

— Ха-ха! Значит, не четыре, а семь, так? — загудела машина. — Вот видишь!

— Семь, конечно же, семь, всегда было семь! — горячо подхватил Клапауций. — Теперь ты нас выпустишь? — осторожно добавил он.

— Нет. Пускай Трурль еще раз скажет, что он очень сожалеет, и ответит, сколько будет дважды два...

— А ты выпустишь нас, если я это скажу? — спросил Трурль.

— Не знаю. Подумаю. Ты мне условий не ставь. Говори, сколько будет дважды два!

— Но ты в самом деле нас выпустишь? — настаивал Трурль, хотя Клапауций дергал его за руку, шепча на ухо: «Это идиотка, идиотка, не препирайся с ней, умоляю!»

— Не выпущу, если мне не захочется, — ответила машина. — Но ты все равно скажешь мне, сколько будет дважды два...

Трурль вдруг затрясся от ярости.

—.О! Я скажу тебе, скажу! — закричал он. — Два плюс два будет четыре, и дважды два — четыре, хоть ты на голову становись, хоть все эти горы преврати в прах, хоть поперхнись морем и проглоти небо, слышишь? Два плюс два — четыре!

— Трурль! Ты с ума сошел! Что ты говоришь? Два плюс два будет семь! Машина, дорогая, семь! Семь!!! — вопил Клапауций, пытаясь перекричать приятеля.

— Неправда! Четыре! Только четыре, с сотворения мира было и до конца дней его будет ЧЕТЫРЕ! — охрипшим голосом орал Трурль.

Вдруг скала под их ногами затряслась как в лихорадке.

Машина отодвинулась от входа, так что в пещеру проник сумрачный свет, и тут же протяжно крикнула:

— Неправда! Семь! Ты сейчас же это скажешь, как только я схвачу тебя!

— Никогда не скажу! — отпарировал Трурль, словно ему уж было все равно.

И тут сверху на их головы обрушился каменный град, ибо машина своей восьмиэтажной тушей таранила скалистый обрыв, билась всей тяжестью об отвесную стену, и огромные камни откалывались от монолитных скал и с грохотом катились вниз.

Грохот и удушливая кремниевая пыль вместе с искрами, высекаемыми сталью о камень, заполнили всю пещеру, но сквозь этот адский гул атаки прорывался голос Трурля, неустанно повторяющего:

— Два плюс два — четыре! Четыре!!!

Клапауций пытался силой заткнуть ему глотку, но, грубо отброшенный Трурлем, молча сел в сторонке, обхватив голову руками. Машина все не прекращала своих адских усилий, и казалось, что свод пещеры того гляди обрушится на пленников, раздавит и погребет их навеки. Но, когда они уж потеряли надежду, когда едкая пыль заполнила всю пещеру, что-то вдруг ужасно заскрежетало, прокатился медленный гром — сильнее неимоверного грохота от яростных ударов машины, — потом воздух завыл, черная стена, заслоняющая пещеру, исчезла, словно ее вихрем сдуло, и вниз обрушилась лавина громадных глыб. Эхо еще катилось по долине, отражаясь от гор, а два приятеля уже кинулись к отверстию пещеры и, высунувшись до пояса, увидели машину. Она лежала, раздавленная и разбитая обвалом, который сама же и вызвала; огромная глыба лежала посреди ее восьмиэтажного тела — она-то и переломила машину почти пополам. В облаке пыли от размельченных в муку скал они осторожно спустились по каменистым завалам. Чтобы добраться до русла высохшего потока, им пришлось пройти вплотную мимо останков распластавшейся машины, подобной огромному выброшенному на берег кораблю. Молча останови-

лись они у ее продавленного бока. Машина все еще работала, и слышно было, как внутри у нее что-то крутится с замирающим скрежетом.

— Вот каков твой бесславный конец, а два плюс два по-прежнему... — начал было Трурль, но в этот момент машина слегка зашумела и неразборчиво, еле слышно в последний раз пробормотала: «СЕМЬ».

Потом что-то тоненько звякнуло у нее внутри, сверху посыпались камни, и машина замерла, превратившись в груду мертвого металла. Конструкторы посмотрели друг на друга, а потом молча, не произнеся ни слова, зашагали по руслу высохшего потока.

Крепкая взбучка

Кто-то постучал в дом конструктора Клапауция. Хозяин приоткрыл дверь, высунул голову наружу и увидел толстопузую машину на четырех коротких ногах.

— Кто ты и чего тебе надобно?

— Я — Машина Для Исполнения Желаний. А прислал меня в подарок тебе твой друг и великий коллега Трурль.

— В подарок? — переспросил Клапауций, который испытывал смешанные чувства к Трурлю, а особенно не понравилось ему, что машина назвала Трурля его «великим коллегой». — Ну, ладно, — решил он после короткого раздумья. — Можешь войти.

Приказал он машине стать в углу у печи и, будто не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Клапауций строил пузатую машину на трех ногах. Она была почти готова, оставалось навести блеск. Через некоторое время Машина Для Исполнения Желаний подала голос:

— Напоминаю о своем присутствии.

— Я о нем не забывал, — ответил Клапауций и продолжал работать.

Wielkie lanie, 1964. © Перевод. А. Борисов, 1965.

Вскоре машина спросила:

— Можно узнать, что ты делаешь?

— Ты — Машина Для Исполнения Желаний или Машина Для Задавания Вопросов? — сказал Клапауций. — Мне нужна голубая краска.

— Не знаю, тот ли это оттенок, который тебе нужен, — ответила машина, выдвигая через отверстие в животе банку краски.

Клапауций открыл банку, молча погрузил в нее кисть и принялся красить. Потом ему понадобились еще наждак, точильный камень, сверло и белила, а также болты, и каждый раз машина немедленно давала ему то, чего он хотел. Под вечер Клапауций накрыл свое творение холстиной, подкрепился едой, сел на маленьком треножнике перед машиной и сказал:

— Посмотрим теперь, годна ли ты на что-нибудь. Ты говоришь, что умеешь делать все?

— Все не все, но многое, — скромно ответила машина. — Доволен ли ты красками, болтами и сверлами?

— Ну конечно, конечно! — ответил Клапауций. — Но сейчас я задам тебе задачу куда труднее. Если не справишься с ней, отправлю тебя обратно к твоему хозяину, с должной благодарностью — и со своим отзывом.

— Так что же тебе нужно? — спросила машина и переступила с ноги на ногу.

— Нужен Трурль, — объяснил Клапауций. — Сделай мне Трурля, чтобы он был точь-в-точь как настоящий. Чтобы их и отличить друг от друга нельзя было!

Машина поворчала, побренчала, пошумела и сказала:

— Хорошо. Сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, потому что он великий конструктор!

— Ах, разумеется, можешь быть спокойна, — ответил Клапауций. — Ну, так где же этот Трурль?

— Что? Вот так сразу? Это ведь не что-нибудь! — сказала машина. — Тут время нужно. Трурли — это тебе не болты и не краски!

Однако она на удивление быстро затрубила, зазвенела, в животе ее распахнулись довольно большие дверцы, и из темного нутра вышел Трурль. Клапауций встал, обошел вокруг него, присмотрелся поближе, старательно прощупал и простукал, но сомнений не было: перед ним был Трурль, как две капли воды похожий на оригинал. Трурль, вышедший из нутра машины, щурил глаза от света, но в остальном вел себя вполне обычно.

— Как поживаешь, Трурль? — сказал Клапауций.

— Как поживаешь, Клапауций? Но как я, собственно, попал сюда? — отозвался явно озадаченный Трурль.

— Да так вот, просто зашел... Давно я тебя не видал. Нравится тебе мой дом?

— Конечно, конечно... А что это у тебя там, под холстиной?

— Ничего особенного. Может, сядешь?

— Гм, сдается мне, что время уже позднее. На улице темно, пожалуй, пойду домой.

— Не так быстро, не сразу! — запротестовал Клапауций. — Идем сначала в подвал, увидишь кое-что интересное...

— А что ж у тебя такое в подвале?

— Пока ничего, но сейчас будет. Пойдем, пойдем...

И, похлопывая Трурля по плечу, Клапауций отвел его в подвал, а там подставил ему ногу, повалил его наземь, связал и принялся колотить толстой жердью изо всех сил. Трурль вопил во весь голос, звал на помощь, то ругался, то просил пощады, но ничего не помогало: глухая ночь, кругом пусто, и Клапауций продолжал лупить его так, что гул стоял.

— Ой! Ай! Почему ты так бьешь меня? — кричал Трурль, увертываясь от ударов.

— Потому что мне это доставляет удовольствие, — объяснил Клапауций и снова замахнулся. — Этого ты еще не попробовал, мой Трурль!

И так бахнул его по голове, что она загудела, как пустая бочка.

— Пусти меня сейчас же, а то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной делал, и он бросит тебя в подземелье! — кричал Трурль.

— Ничего он мне не сделает. А знаешь почему? — спросил Клапауций, усаживаясь на лавку.

— Не знаю, — ответил Трурль, радуясь, что трепка прекратилась.

— Потому что ты не всамделишный Трурль. Он сидит у себя дома. Он построил Машину Для Исполнения Желаний и прислал ее мне в подарок, а я, чтобы испытать ее, велел сотворить тебя. Сейчас я отвинчу тебе голову, поставлю под кровать и приспособлю для стаскивания сапог!

— Ты чудовище! Зачем ты хочешь это сделать?!

— Я уже сказал: мне это доставляет удовольствие. Ну, хватит болтать попусту.

Говоря это, Клапауций взялся за жердь, и Трурль заорал:

— Перестань! Сейчас же перестань! Я скажу тебе нечто очень важное!

— Любопытно, что такое ты можешь сказать, что помешало бы мне приспособить твою голову для стаскивания сапог? — спросил Клапауций, но перестал его бить.

Трурль тогда закричал:

— Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я — настоящий Трурль, самый что ни на есть настоящий. Я только хотел узнать, над чем ты работаешь так давно, запершись на все замки. Вот я и построил машину, спрятался у нее внутри и приказал ей доставить меня в твой дом, а для вида назваться подарком от меня.

— Ну и ну, что за историйку ты сочинил, и вот так, прямо с ходу! — сказал Клапауций и сжал в руке толстый конец жерди. — Можешь не стараться, я твое вранье насквозь вижу. Ты — Трурль, сделанный машиной, она любое желание исполняет, я от нее и болты получил, и краску, белую и голубую, и сверла, и всякую всячину. А если смогла она все это сделать, так и тебя сделать может, дорогой мой!

— Да я все эти вещи заранее приготовил! — воскликнул Трурль. — Нетрудно было догадаться, что именно тебе понадобится. Клянусь, я правду говорю!

— Окажись твои слова правдой, это означало бы, что мой друг, великий конструктор Трурль, — самый обыкновенный мошенник, а в такое я никогда не поверю, — ответил Клапауций. — Вот тебе!

И с размаху ударил его по спине.

— Это за клевету на моего друга Трурля! А вот тебе еще! — И угостил Трурля еще раз.

Долго он бил Трурля, лупил и колотил, пока сам не устал.

— Пойду теперь вздремну немного и отдохну, — сказал Клапауций и отбросил палку. — А ты подожди, я скоро вернусь.

Когда он ушел и по всему дому разнесся его храп, Трурль стал так извиваться в своих путах, что веревки ослабли. Трурль развязал узлы, выскользнул, тихонько побежал наверх, влез внутрь своей машины и с места в карьер помчался в ней домой. А Клапауций, тихо посмеиваясь, глядел сквозь верхнее окно на бегство Трурля.

Наутро Клапауций отправился с визитом к Трурлю. Тот с угрюмым видом впустил его в дом. В комнате царил полумрак, но шустрый Клапауций все равно заметил на голове и на корпусе хозяина следы крепкой взбучки, которую он ему задал,

хотя видно было, что Трурль изрядно потрудился, чтобы выровнять вмятины от полученных ударов.

— Что это ты такой хмурый? — весело спросил Клапауций. — А я пришел поблагодарить тебя за чудесный подарок, жаль только, что, пока я спал, машина умчалась, словно на пожар, даже дверь не закрыла!

— Кажется мне, что ты неправильно обошелся с моим подарком, чтобы не сказать больше! — взорвался Трурль. — Машина мне все сказала, не утруждай себя, — добавил он со злостью, видя, что Клапауций открыл было рот. — Ты велел ей сотворить меня, меня самого, а потом коварно завлек двойника моей особы в подвал и там варварски избил его! И после нанесенного мне оскорбления, после черной неблагодарности за великолепный дар ты еще осмелился как ни в чем не бывало прийти сюда? Ну, что ты можешь сказать?

— Никак не пойму, на что ты гневаешься, — ответил Клапауций. — Действительно, я велел машине изготовить твою копию. Скажу тебе, она удалась на славу, я был просто поражен, увидев ее. А насчет битья машина сильно преувеличивает, — я, правда, пихнул твоего двойника разок-другой, потому что хотел проверить, прочно ли он изготовлен, к тому же хотелось узнать, как он на это среагирует. Он оказался на редкость шустрым. С ходу придумал историю: будто это вовсе и не он, а ты своей собственной персоной. Я, конечно, не поверил, а он стал клясться, что щедрый подарок — это вовсе не подарок, а обыкновенное мошенничество. Ты, надеюсь, понимаешь, что, защищая твою честь, честь моего друга, я должен был всыпать ему за такое наглое вранье? Однако я убедился, что у него недюжинный ум и, стало быть, он не только физически, а и духовно подобен тебе, мой дорогой. Воистину ты великий конструктор, именно это я хотел тебе сказать и с этой целью пришел спозаранку!

— Ах так! Ну да, конечно, — ответил, уже несколько смягчившись, Трурль. — Правда, то, как ты обошелся с Машиной Для Исполнения Желаний, по-прежнему кажется мне не самым удачным, да уж ладно...

— А кстати, я как раз хотел спросить, что ты сделал с этим искусственным Трурлем? — невинно спросил Клапауций. — Нельзя ли мне повидать его?

— Он просто с ума сошел от ярости! — ответил Трурль. — Грозился, что спрячется за большой скалой у твоего дома и раз-

дробит тебе череп. А когда я попытался урезонить его, он на меня стал бросаться. Ночью принялся плести из проволоки силки и сети на тебя, друг мой. И, хотя я считаю, что в его лице ты оскорбил меня, все же ради давней дружбы нашей, ради твоей безопасности (потому что он себя не помнил от злости) разобрал я его на мелкие части, не видя иного выхода.

Говоря это, Трурль, будто от нечего делать, пнул ногой какие-то детали, разбросанные на полу.

После этого они тепло попрощались и расстались, как сердечные друзья.

С той поры Трурль только то и делал, что каждому встречному и поперечному рассказывал всю эту историю. Как он подарил Клапауцию Машину Для Исполнения Желаний и как недостойно поступил тот с машиной, приказав ей изготовить двойника Трурля, а затем дал ему взбучку. Как этот двойник, великолепно изготовленный машиной, с помощью всяческих ухищрений пытался вырваться и сбежал, едва уставший Клапауций уснул. И как сам он, Трурль, разобрал прибежавшего домой невсамделишного Трурля; сделал же он это лишь ради того, чтобы спасти своего друга Клапауция от мести пострадавшего. И до тех пор он рассказывал об этом, и хвастал, и пыжился, и призывал в свидетели самого Клапауция, пока весть об этом необычайном происшествии не дошла до королевского двора. Теперь все там отзывались о Трурле не иначе как с величайшим восхищением, хотя совсем еще недавно его повсеместно называли Конструктором Самых Глупых Мыслящих Машин в мире. А когда Клапауций услыхал, что сам король щедро одарил Трурля и наградил его орденом Великой Пружины и Геликоноидальной Звездой, он завопил во весь голос:

— Как же так? Значит, за то, что удалось мне его перехитрить, за то, что я его разгадал и задал ему крепкую взбучку, так что ему пришлось потом долго переклепываться и лататься, за то, что он несолоно хлебавши бежал на перекошенных ногах из моего подвала, — за все за это он утопает в богатстве! Мало того, король жалует его орденом! О Вселенная!

И, ужасно разгневанный, возвратился Клапауций домой и снова заперся на все замки. Ибо он строил такую же Машину Для Исполнения Желаний, как и Трурль, только тот раньше ее закончил.

СЕМЬ ПУТЕШЕСТВИЙ ТРУРЛЯ И КЛАПАУЦИЯ

Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана

Когда Космос не был еще так разболтан, как нынче, и все звезды выстраивались по ранжиру, так что нетрудно было пересчитать их хоть слева направо, хоть сверху вниз, причем те, что побольше и поголубее, группировались отдельно, а те, что поменьше и пожелтее, были распиханы по углам, как тела второй категории; когда в пространстве никто и следа не нашел бы туманностной пыли, сора и мусора, — в те добрые старые времена конструкторы, имевшие диплом Вечностного Всемогущества с отличием, согласно обычаю, отправлялись время от времени в странствие, дабы нести отдаленным народам добрый совет и помощь. И вот, как велел обычай, пустились однажды в путь Клапауций и Трурль, которым зажигать и гасить звезды было что семечки лузгать. Преодолев такую бездну пространства, которая стерла в них даже память о родных небесах, заметили они планету, не

Wyprawa pierwsza, czyli Pułapka Gargancjana, 1965.
© Перевод. Константин Душенко, 1993.

слишком большую и не слишком маленькую, а в самый раз, с одним-единственным континентом. Точно по его середине проходила совершенно красная линия, и все, что находилось по одну ее сторону, было желтым, а то, что по другую, — розовым. Смекнули конструкторы, что это две соседние державы, и перед высадкой решили посовещаться.

— Раз тут у них два государства, — сказал Трурль, — будет справедливо, если ты направишься в одно, а я в другое. Тогда никто не будет обижен.

— Хорошо, — ответил Клапауций, — а если они начнут домогаться боевых средств? Такое случается.

— А ведь и верно, от нас могут потребовать оружия, и даже чудо-оружия, — согласился Трурль. — Тогда уговор: мы безусловно откажем.

— А вдруг с ножом к горлу пристанут? — возразил Клапауций. — И такое бывает.

— Что ж, проверим, — сказал Трурль и включил радио, из которого тотчас грянула бравая военная музыка.

— Есть у меня одна мысль, — сказал Клапауций, выключив радио. — Что, если испробовать рецепт Гарганциана?

— Ах, рецепт Гарганциана! — воскликнул Трурль. — Не слышал, чтобы кто-нибудь его применял. Но мы можем попробовать первыми. Почему бы и нет?

— Мы оба должны быть готовы к этому, только действовать надо одновременно, — пояснил Клапауций, — а то нам несдобровать.

— Это легче легкого, — сказал Трурль, достал из-за пазухи золотой ларчик и открыл его. Там на бархате лежали два белых шарика. — Один возьми себе, а другой останется у меня. Каждый вечер смотри на свой шарик; если порозовеет, значит, я применил рецепт. Тогда начинай и ты.

— Что ж, решено, — сказал Клапауций и спрятал шарик; затем они высадились, обнялись на прощанье и направились в противоположные стороны.

Державой, в которую попал Трурль, правил король Свирепус. Как и все у него в роду, был он заядлый вояка, и притом скряга просто космический. Дабы не истощать казну, отменил он все кары, за исключением высшей. Любимым его занятием было сокращение должностей, а по сокращении должности палача каждый смертник должен был рубить себе голову сам или, по особой милости короля, с помощью ближайшей родни. Из

искусств поощрял он лишь те, что не требовали особых издержек, как-то: хоровую декламацию, шахматы и воинскую гимнастику. Вообще военные искусства ценил он особенно высоко, ведь выигранная война приносит немалый доход; с другой стороны, как следует подготовиться к войне можно только в мирное время, а потому король поощрял и мир, хотя и умеренно. Крупнейшей реформой Свирепуса была национализация национальной измены. Соседний король засылал к нему толпы шпионов, поэтому Свирепус учредил должность Коронного Державопродавца, или Продажника, который через подведомственных ему чиновников за щедрую плату снабжал государственными тайнами вражеских агентов; впрочем, те норовили купить устаревшие тайны — так выходило дешевле, а им ведь тоже приходилось отчитываться перед собственным казначейством.

Подданные Свирепуса вставали рано, одевались скромно, а ложились поздно, ибо много трудились. Делали они корзины для шанцев и фашины, а также оружие и доносы. Чтобы от избытка последних держава не распалась, как это случилось за сотни лет до того, в правленье Премноголиссимуса Стоокого, тот, кто писал слишком много доносов, платил особый налог на роскошь; тем самым число доносов удерживалось на разумном уровне. Прибыв ко двору Свирепуса, Трурль предложил свои услуги, а король, как легко догадаться, потребовал, чтобы он изготовил мощное оружие. Трурль попросил три дня на раздумье, а оставшись один в отведенных ему скромных покоях, глянул на шарик в золотом ларчике. Сперва тот был белым, но на глазах у него понемногу зарозовел. «Ага, — сказал себе Трурль, — пора уже браться за Гарганциана!» И тотчас открыл свои тайные записи.

Клапауций тем временем находился в другом государстве, во владеньях могущественного короля Мегерика. Тут все было совсем не так, как в Свирепии. Хоть и этот монарх жаждал победных походов и на армию казны не жалел, однако правил на просвещенный манер, ибо щедрости был небывалой, а по восприимчивости к искусству равных себе не имел. Сей государь обожал мундиры, ампиры, эфесы, лампасы, аксельбанты, портьеры с колокольчиками, броненосцы и эполеты. А уж чувствителен был безмерно: каждый раз, как спускал на воду новый броненосец, весь трепетал. Не жалел он расходов на батальную живопись, а так как из патриотических побуждений платил живописцам по числу убитых врагов, то на панорамах, коих

было без счету по всему королевству, вражеские трупы громоздились до неба. В домашнем быту абсолютизм сочетался у него с просвещенностью, а суровость с великодушием.

Всякую годовщину своего воцарения отмечал он реформами. То велит разубрать цветами все гильотины, то смазать их, чтоб не скрипели, то позолотить палаческие мечи, не забывая следить и за тем, чтоб они были остро заточены, из соображений гуманности. Натуру имел он широкую, но расточительства не одобрял, а потому особым указом унифицировал все колья и плахи, винты и шплинты, дыбы и клубы. Казни неблагонадежных — впрочем, нечастые — совершались шумно и пышно, регулярно и стройно, с покаянием и отпущеньем грехов, посреди марширующих каре с помпонами и лампасами.

И была у этого просвещенного государя теория, каковую он неуклонно проводил в жизнь, а именно теория всеобщего счастья. Человек, как известно, не потому смеется, что ему весело, а оттого-то ему и весело, что он смеется. Если все говорят, что жизнь превосходна, настроение вмиг улучшается. Поэтому подданным Мегерика вменялось в обязанность — ради их же блага — повторять вслух, что живется им просто чудесно, а прежнее, не очень-то ясное приветствие «Здравствуйте!» король заменил более подходящим «Любо-мило!», — причем детишкам до четырнадцати лет дозволялось говорить «Ай-люли!», а старикам «Мило-любо!».

Радовался Мегерик, видя, как крепнет в народе дух, когда, выезжая в карете, устроенной на манер броненосца, милостиво приветствовал восторженный люд мановеньем монаршей руки, а ему кричали взахлеб: «Ай-лю-ли!», «Любо-мило!» и «Расчудесно!» Впрочем, имел он демократические замашки и страх как любил затевать краткие молодецкие разговоры со старыми ратниками, что всякого навидались на своем веку, души не чаял в солдатских историях, повествуемых на бивуаках, а давая аудиенцию чужеземному вельможе какому-нибудь, бывало, как трахнет себя ни с того ни с сего булавой по колену да как закричит: «В пух и прах!», или: «А заклепать-ка мне этот броненосец!», или: «Продырявь меня пуля!» Ибо ни перед чем так не преклонялся, ничего так не обожал, как бравость солдатскую и молодецкую удаль, пироги на горелке с порохом, сухари, да зарядные ящики, да картечь. И когда одолевала его тоска, велел полкам проходить перед ним, распевая: «Рать лихая, нарезная», «Мы все пойдем в металлолом», «Гайка

зазвенела, битва закипела» или старую коронную: «Заточу-ка я зубило, на врага ударю с тыла». И еще велел он, чтобы над гробом его старая гвардия спела его любимую: «Проржавеет робот старый».

Клапауций не сразу попал ко двору великого государя. В первом же встреченном им селении начал он стучаться в дома, но никто ему не открыл. Наконец на совершенно пустой улице он увидел маленького ребенка, который подошел к нему и спросил голосочком тоненьким и шепелявым:

— Купите, шударь? Дешево уштуплю.

— Может, и куплю, но что? — удивленно спросил Клапауций.

— Шекретик гошударственный, — ответил ребенок, высовывая из-под рубашки краешек плана мобилизации.

Клапауций удивился еще больше и сказал:

— Нет, детка, этого мне не нужно. Не знаешь, где тут живет староста?

— А на што вам, шударь, штароста? — спросил ребенок.

— Да надо бы потолковать.

— Ш глажу на глаж?

— Можно и с глазу на глаз.

— Так вам нужен агент? Тогда мой папа подойдет в шамый раж. Недорого и надежно.

— Ладно, покажи мне этого папу, — согласился Клапауций, видя, что иначе тут каши не сваришь.

Ребенок привел его в один из домов; там, у зажженной лампы — хотя на дворе был белый день, — сидело семейство: седенький дедушка в кресле-качалке, бабушка, вязавшая на спицах чулок, и их многочисленное взрослое потомство; каждый был занят своим делом, как оно обычно бывает в семье. Завидев Клапауция, все вскочили и бросились на него; спицы оказались наручниками, лампа микрофоном, а бабушка — начальником местного полицейского участка.

«Похоже, какое-то недоразумение», — подумал Клапауций, очутившись в подвале, основательно поколоченный. Он терпеливо прождал всю ночь, ведь делать ему все равно было нечего. Рассвет посеребрил паутину на каменных стенах и проржавевшие останки прежних узников. Наконец его повели на допрос. Оказалось, что и поселение, и дома, и ребенок были подставные — специально для одурачивания вражеских агентов. Судебный процесс Клапауцию не грозил, процедура была короткой. За попытку связаться с папой-державопродавцем полага-

лось гильотинирование по первому разряду, поскольку местные власти уже израсходовали годовой лимит на перевербовку агентов, а сам Клапауций, несмотря на настойчивые уговоры, никаких государственных тайн приобретать не желал; дополнительным отягчающим обстоятельством было отсутствие при нем сколько-нибудь серьезной суммы наличными. Он стоял на своем, но следователь ему не верил, а впрочем, освобождение узника было вне его компетенции. Однако же дело передали наверх, подвергнув тем временем Клапауция пыткам, больше из служебного рвения, нежели по действительной необходимости. Неделю спустя его дела приняли более благоприятный оборот. Клапауций был приведен в божеский вид и отправлен в столицу, а там, после ознакомления с правилами придворного этикета, удостоен аудиенции у самого короля. Ему даже вручили рожок, ибо всякий обыватель в присутственных местах обязан был возвещать о своем прибытии и убытии военным сигналом, а всеобщее рвение простиралось столь далеко, что восход солнца по всему государству не ставился ни во что без побудки.

Мегерик и впрямь потребовал от него нового оружия; Клапауций обещался исполнить государеву волю; его замысел, заверил он короля, означает переворот в военном искусстве. Какая армия, спросил он сперва, непобедима? Та, у которой командиры толковее, а солдаты — послушнее. Командир приказывает, солдат выполняет приказ; значит, первый должен быть умен, второй — дисциплинирован. Но силе ума, даже военного, природой положен предел. Вдобавок и самый гениальный полководец может натолкнуться на равного себе или же пасть на поле славы, осиротив свое войско, а то и похуже кое-что учинить — если, по долгу службы изощрившись в мышлении, изберет предметом своих размышлений власть. Разве не опасна орава поржавевших в боях штаб-офицеров, у которых от мышленья воспалились виски и вызревают мечтанья о троне? Не это ли погубило уже не одно королевство? Отсюда следует, что военачальники суть неизбежное зло, а задача заключается в том, чтобы покончить с его неизбежностью. Далее: армейская дисциплина есть точное исполненье приказов. Уставным идеалом была бы армия, которая тысячи грудей и мыслей переплавляет в единую грудь, мысль и волю. Именно этому служит вся военная выучка, муштра, занятия и маневры. А недосягаемой целью представляется армия, которая действовала бы буквально как один человек, будучи сама творцом и исполнителем

стратегических планов. В ком же воплощен такой идеал? Только в индивидууме; никого ведь не слушаешь столь охотно, как себя самого; и никто не выполняет приказов столь рьяно, как тот, кто сам себе командир. Индивидуум не может броситься врассыпную, отказать себе самому в послушании и тем более роптать на себя самого. Итак, дело только за тем, чтобы готовность к послушанию и любовь к себе, которую мы наблюдаем в индивидууме, вдохнуть в многотысячные ряды. Но каким образом? Тут Клапауций стал излагать внимательно слушавшему его королю простые, как все гениальное, идеи великого учителя Гарганциана.

— Каждый рекрут, — объяснил он, — снабжается спереди вилкой, а сзади розеткой. По команде «Съединяйсь!» вилки мигом втыкают в розетки, и там, где только что был цивильный сброд, возникает отряд идеального войска. Когда одиночные умы, доселе занятые внеказарменной чепухой, буквально сливаются в военно-духовное целое, автоматически появляется не только дисциплина — ибо вся армия действует заодно, будучи единым сознанием в миллионах тел, — но также и мудрость. И мудрость эта прямо пропорциональна ее численности. Взвод обладает унтер-офицерской смекалкой, рота по интеллекту соответствует штабс-капитану, батальон — дипломированному полковнику, а дивизия, даже резервная, стóит всех на свете стратегов. Так можно дойти до формирований, просто ужасающе гениальных. Приказов они не могут не исполнять — кто же ослушается себя самого? Тем самым кладется конец причудам и прихотям одиночек, на исход войны уже не влияют случайные способности командиров, их взаимная зависть, раздоры и распри. Не дóлжно разъединять отряды, однажды соединенные: отсюда не жди ничего, кроме сумятицы. Армия без полководцев сама себе полководец, — заключил Клапауций, и речь его произвела сильное впечатление на государя.

— Располагайтесь, сударь, на постой, — сказал наконец король, — а я соберу Генеральный штаб...

— Заклинаю Ваше Величество не делать этого! — воскликнул хитроумный конструктор словно бы в великом смятении. — Именно так поступил император Турбулеон, а его штабисты, испугавшись за свои должности, похоронили проект, после чего реформированное войско короля Эмалия, соседа Турбулеона, вторглось в его державу и обратило ее в руины, будучи осьмикратно слабейшим!

С этими словами он направился в отведенные ему покои и посмотрел на шарик, который был уже свекольного цвета; и понял, что Трурль не теряет времени у короля Свирепуса. Вскоре сам король доверил ему переделку одного пехотного взвода; крошечный этот отряд слился духом воедино, крикнул: «Бей, коли!» — и, навалившись с холма на три вооруженных до зубов эскадрона королевских кирасир под началом шести профессоров Академии Генерального штаба, разнес их в пух и прах. Сильно приуныли коронные и полевые маршалы, генералы и адмиралы, коих король отправил немедля на пенсию, и, безусловно уверовав в коварное нововведение, велел Клапауцию переделать всю армию.

Днем и ночью трудились военно-втыкательные заводы, поставляя вагоны розеток и штепселей, которые привинчивали, куда следует, по всем казармам. Клапауций объезжал с инспекциями гарнизоны и получил от монарха тьму орденов; а Трурлю, который столь же усердно трудился в державе Свирепуса, пришлось, по причине прославленной бережливости оного государя, удовольствоваться пожизненным титулом Великого Державопродавца. Так обе державы готовились к военным действиям. В мобилизационной горячке приводили в порядок оружие, как обычное, так и ядерное, с утра до ночи драили аркебузы и атомы, дабы те сверкали согласно уставу; а оба конструктора, которым, собственно, уже нечего было делать, тайком собирали пожитки, чтобы, когда настанет пора, встретиться в условленном месте, у спрятанного в лесу корабля.

Тем временем дива дивные творились в казармах, в особенности пехотных. Ротам уже не надобно было заниматься муштровкой или строиться на поверку, чтобы узнать свою численность: ведь не спутает правую ногу с левой тот, у кого они обе на месте, и каждый без всякого пересчитыванья знает, что его — ровно один. Любо-дорого было смотреть, как печатают шаг соединенные части, как выполняют они «Налево кругом!» и «Смирно!»; но после учений всякая рота завязывала разговоры с соседними, и через распахнутые окна бараков казарменных перекрикивались они меж собой о понятии когерентной истины, о суждениях аналитических и синтетических априори и даже о бытии как таковом, ибо уже и до этого дошел коллективный разум. Начали у них зарождаться и философские школы, пока наконец один саперный батальон не впал в абсолютный солипсизм, заявив, что, кроме него, ничто реально не существу-

ет. Поскольку отсюда следовало, что нет ни государя, ни неприятеля, батальон пришлось без лишнего шума разъединить и разбросать по частям, стоящим на позициях гносеологического реализма. По слухам, в то же самое время в державе Свирепуса шестая десантная дивизия, вместо того чтобы упражняться в десантировании, перешла к мистическим упражнениям и, погрузившись в океан созерцания, чуть не утонула в ручье. Неизвестно толком, так ли оно было в действительности, довольно того, что как раз тогда война была наконец объявлена и полки, громыхая железом, с обеих сторон начали продвигаться к границе.

Закон Гарганциана действовал с неумолимой последовательностью. Когда отряд соединялся с отрядом, соответственно росла эстетическая восприимчивость, достигая максимума на уровне усиленной дивизии; поэтому колонны такого размера нередко забредали на бездорожье — в погоне за какой-нибудь бабочкой; а когда моторизованный корпус имени Премноголиссимуса подошел к вражеской крепости, которую надлежало взять штурмом, план наступления, набросанный за ночь, оказался превосходным портретом оной фортеции, да к тому же в абстрактной манере, вовсе чуждой армейским традициям. На уровне артиллерийских корпусов замечалась склонность к философским проблемам самого большого калибра; в то же время, по свойственной гениальным натурам рассеянности, эти крупные армейские индивидуумы оставляли где попало оружие и тяжелое снаряжение либо начисто забывали, что идут на войну. Что же до целых армий, то они страдали множеством комплексов, как это обычно бывает с духовно богатыми личностями, и каждой из них пришлось придать отдельную моторизованную психоаналитическую бригаду, которая прямо на марше проводила терапевтические сеансы.

Между тем обе армии при непрестанном громе литавр мало-помалу занимали боевые позиции. Когда к шести штурмовым пехотным полкам и бригаде тяжелых гаубиц подключили карательный взвод, они сложили «Сонет о тайне бытия», и это во время ночного перехода на позиции. По обе стороны наблюдалось замешательство; восьмидесятый марлабардский корпус настаивал на необходимости точнее определить понятие «неприятель», которое пока что представляется полным логических противоречий, а то и вовсе не имеющим смысла.

Воздушно-десантные части пытались алгоритмизировать окрестные деревушки, отряд налезал на отряд; и принялись оба

монарха слать для наведенья порядка в войсках флигель-адъютантов и чрезвычайных курьеров. Но те, едва успев подскакать к нужному корпусу, чтобы выяснить, откуда такая неразбериха, тут же отдавали душу душе корпусной, и остались государи без адъютантов. Сверхличное сознание оказывалось страшной ловушкой: войти легко, а выбраться невозможно. Прямо на глазах у Свирепуса его кузен, великий князь Дербульон, дабы дух боевой укрепить, поскакал на передовую, но едва лишь к войскам подключился, как духом с оными слился, и уже его не было вовсе.

Видя, что дело плохо, хотя почему — неизвестно, кивнул Мегерик двенадцати лейб-горнистам. Кивнул и Свирепус, стоя на командном холме; приложили горнисты медь к устам, и затрубили трубы с обеих сторон, давая сигнал к бою. Услышав этот протяжный звук, каждая армия соединилась целиком, до конца. Ветер понес на поле будущей битвы грозное клацанье штепселей, в разъемы втыкаемых, и вместо тысяч бомбардиров и канониров, наводчиков и зарядчиков, гвардейцев и батарейцев, саперов, жандармов, десантников возникли два гигантских сознанья, которые миллионами глаз глянули друг на друга через большую равнину, раскинувшуюся под белыми облаками, и на мгновенье воцарилась полная тишина. По обе стороны наступила знаменитая кульминация сознания, с математической точностью предсказанная великим Гарганцианом. А дело в том, что выше определенной границы всякое локальное военное состояние преобразуется в штатское, ведь Космос как таковой абсолютно цивилен, а сознанья обеих армий достигли уже размеров космических! И хотя снаружи сверкала сталь, бронепанцири, смертоносные ядра и клинки, — внутри разливался двойной океан снисходительного благодушия, всеобъемлющей доброжелательности и совершенного разума. Выстроившись на холмах, поблескивая сталью на солнце, при звуках еще не умолкнувшей барабанной дроби, обе армии улыбнулись друг другу. Трурль и Клапауций уже поднимались на борт своего корабля, когда свершилось то, что было ими задумано: на глазах у монархов, почерневших от ярости и стыда, обе армии смущенно кашлянули, взялись под руки и отправились на прогулку, срывая по дороге цветочки, под медленными облаками, на поле несбывшейся битвы.

Путешествие первое А, или Электрувер Трурля

Желая избежать каких бы то ни было претензий и кривотолков, должны мы объяснить, что это было, по крайней мере в буквальном смысле слова, путешествие в никуда. Ибо Трурль за все это время не выбрался из дому, если не считать дней, проведенных в больнице, да малосущественной поездки на планетоид. Если же вникнуть в глубь и высший смысл вещей, то это путешествие было одним из самых дальних, которые когда-либо предпринимал замечательный конструктор, поскольку простиралось оно до самых границ возможного.

Случилось как-то Трурлю построить машину для счета, которая оказалась способной к одному-единственному действию, а именно: умножала два на два, да и то при этом ошибалась. Как было поведано в другом месте, машина эта отличалась при всем при том крайней самоуверенностью, и ссора ее с собственным создателем едва не закончилась для последнего трагически. С

Wyprawa pierwasza A, czyli Elektrybałt Trurla, 1964.
© Перевод. П. Трофимов, 1967.

тех пор Клапауций отравлял Трурлю жизнь, и так, и эдак его подзуживая, — и тогда тот не на шутку разозлился и решил построить машину, которая сочиняла бы стихи. Накопил Трурль для такой цели восемьсот двадцать тонн кибернетической литературы плюс двенадцать тонн поэзии и принялся их изучать. Опостылеет ему кибернетика — перекинется он на лирику, и наоборот. Спустя какое-то время понял Трурль, что построить машину — это еще пустяк по сравнению с ее программированием. Программу, которая имеется в голове обычного поэта, создала цивилизация, его породившая; эту цивилизацию сотворила предыдущая, ту — еще более ранняя и так до самых истоков Вселенной, когда информация о грядущем поэте еще хаотично кружилась в ядре изначальной туманности. Значит, чтобы запрограммировать машину, следовало повторить если не всю историю Космоса с самого начала, то по крайней мере солидную часть. Будь на месте Трурля кто-нибудь другой, такая задачка заставила бы его отказаться от всей затеи, но хитроумный конструктор и не подумывал о ретираде. Взял и сконструировал машину, моделирующую хаос, где электрический дух витал над электрическими водами, потом прибавил параметр света, потом пратуманность и так постепенно приблизился к первому ледниковому периоду, что было возможно лишь постольку, поскольку машина в течение пятимиллиардной доли секунды моделировала сто септиллионов событий, происходивших в четырехстах октиллионах мест одновременно, — а тот, кто думает, будто где-то здесь Трурлем допущена ошибка, пусть сам попытается проверить расчет. Затем промоделировал Трурль истоки цивилизации, обтесывание кремня и выделывание шкур, ящеров и потопы, четвероногость и хвостатость, потом, наконец, прабледнотика, который родил бледнотика, от которого пошла машина, и так летели эоны и тысячелетия в шуме электрических разрядов и токов; а когда моделирующая машина становилась тесной для следующей эпохи, Трурль мастерил к ней приставку, пока из этих пристроек не образовалось нечто вроде городка из перепутанных проводов и ламп, в мешанине которых сам черт сломал бы себе ногу. Трурль, однако, как-то выходил из положения, и только два раза пришлось ему переделывать работу заново: первый раз, к сожалению, с самого начала, так как получилось у него, будто Авель убил Каина, а не Каин Авеля (перегорел предохранитель в одном из контуров), в другом же случае возвратиться следо-

вало всего на триста миллионов лет, в среднюю мезозойскую эру, так как вместо прарыбы, которая родила праящера, который родил прамлекопитающего, который родил праобезьяну, которая родила прабледнотика, получилось нечто настолько странное, что вместо бледнотика вышел у него бегемотик. Кажется, муха залетела в машину и испортила суперскопический переключатель причинности. Не считая этого, все шло как по маслу, просто на удивление. Смоделированы были средневековье, и древность, и эпоха великих революций, так что машину порой бросало в дрожь, а лампы, моделирующие наиболее важные успехи цивилизации, приходилось поливать водой и обкладывать мокрыми тряпками, чтобы прогресс, моделируемый в таком бешеном темпе, не разнес их вдребезги. Под конец двадцатого века машина вдруг начала вибрировать наискось, а потом затряслась вдоль — и все это неизвестно почему. Трурль весьма этим огорчился и даже приготовил немного цемента и скрепы на тот случай, если вдруг она станет разваливаться. К счастью, обошлось без этих крайних мер; перевалив за двадцатый век, машина помчалась дальше без сучка без задоринки. Тут пошли наконец, каждая по пятьдесят тысяч лет, цивилизации абсолютно разумных существ, которые породили и самого Трурля, и катушки смоделированного исторического процесса так и летели в приемник одна за другой, и было этих катушек столько, что если забраться на верхотуру и посмотреть в бинокль — просто конца не было этим свалкам; а ведь все только для того, чтобы запрограммировать какого-то там виршеплета, пусть даже и самого распрекрасного! Таковы уж последствия научного азарта. Наконец программы были готовы; оставалось выбрать из них самое существенное, ибо в противном случае обучение электропоэта затянулось бы на много миллионов лет.

Две недели подряд вводил Трурль в своего будущего электропоэта общие программы; потом наступила настройка логических, эмоциональных и семантических контуров. Уже было собрался он пригласить Клапауция на пробное испытание, но раздумал и сначала запустил машину в одиночку. Та немедля прочла доклад о полировке кристаллографических шлифов для вводного курса малых магнитных аномалий. Пришлось ослабить логические контуры и усилить эмоциональные; сперва машину одолел приступ икоты, затем припадок истерии, наконец, она с большим трудом пробормотала, что жизнь ужасна.

Он усилил семантику и смастерил приставку воли; тогда она заявила, что отныне он должен ей подчиняться, и приказала достроить ей еще шесть этажей к девяти имеющимся, чтобы она могла на досуге поразмыслить о сущности бытия. Вставил он ей философский глушитель; после этого она вообще перестала откликаться и только колотила током. Умолял он ее, умолял и смог уговорить лишь спеть короткую песенку «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком», на чем ее вокальные упражнения кончились. Тогда начал он ее прикручивать, глушить, усилять, ослаблять, регулировать, пока не решил, что все в лучшем виде. Тут и угостила она его такими стихами, что возблагодарил он небеса за эту прозорливость: то-то бы потешился Клапауций, заслышав эти занудливые вирши, ради которых пришлось промоделировать возникновение Космоса и всех возможных цивилизаций! Вставил он ей шесть противографоманских фильтров, но они вспыхивали, как спички; пришлось изготовить их из корундовой стали. Тут понемногу стало у него налаживаться; он дал машине полную семантическую развертку, подключил генератор рифм, и чуть было все опять не полетело в тартарары, так как машина пожелала быть миссионером у нищих звездных племен. Однако в тот последний момент, когда он уже готов был наброситься на нее с молотком в руках, пришла ему в голову спасительная мысль. Он выбросил все логические контуры и вставил на их место ксебейные эгоцентризаторы со сцеплением типа «Нарцисс». Машина закачалась, засмеялась, заплакала и сказала, что у нее побаливает где-то на уровне третьего этажа, что ей все уже до лампочки, что жизнь удивительна, а все кругом негодяи, что она, наверное, скоро умрет, и желает только одного — чтобы о ней помнили и тогда, когда ее не станет. Затем велела подать ей бумагу. Трурль облегченно вздохнул, выключил ее и отправился спать. Утром он зашел за Клапауцием. Услышав, что его зовут на запуск Электрувера, как решил Трурль назвать свою машину, Клапауций бросил все свои дела и пошел в чем был, так не терпелось ему поскорее стать свидетелем поражения друга.

Трурль прежде всего включил нагревательные контуры, потом дал малый ток, еще несколько раз взбежал наверх по гремящим железным ступенькам — Электрувер похож был на огромный судовой двигатель, весь в стальных мостках, покрытый клепаным железом, со множеством циферблатов и клапанов, — и вот, наконец, запыхавшийся, следя, чтобы не падало

напряжение, он заявил, что для разминки начнет с маленькой импровизации. А потом, уж конечно, Клапауций сможет предложить машине любую тему для стихов, какую захочет.

Когда амплификационные указатели дали знать, что лирическая мощность достигла максимума, Трурль, рука которого чуть заметно дрожала, включил большой рубильник, и почти сразу машина произнесла голосом слегка хриплым, но изобилующим чарующими и убедительными интонациями:

— Общекотовичарохристофорная хрящетворобка.

— И это все? — выждав некоторое время, необычайно вежливо спросил Клапауций. Трурль стиснул зубы, дал машине несколько ударов током и снова включил. На этот раз голос оказался значительно чище; им можно было просто наслаждаться, этим торжественным, не лишенным обольстительных переливов баритоном:

Лопотуй голомозый, да бундет грывчато
В кочь турмельной бычахе, что коздрой уснит,
Окошел бы назакрочь, высвиря глазята,
А порсаки корсливые вычат намрыд!

— По-каковски это? — осведомился Клапауций, с великолепной невозмутимостью наблюдая за паникой Трурля; тот метался у пульта управления, затем, махнув в отчаянии рукой, помчался, топая по ступеням, на самый верх стальной громадины. Видно было, как он на четвереньках вползает сквозь открытые клапаны в нутро машины, как стучит там молотком, яростно ругаясь, как что-то закручивает, бренча разводными ключами, как снова выползает и вприпрыжку бежит на другой помост; наконец он издал торжествующий вопль, выбросил перегоревшую лампу, которая с грохотом разбилась о пол в двух шагах от Клапауция, даже не подумав извиниться за такую небрежность, поспешно вставил на ее место новую, вытер грязные руки ветошью и закричал сверху, чтобы Клапауций включил машину. Раздались слова:

Три, самолож выверстный, вертяшку сум воздлинем,
Секливой аппелайде и боровайка кнется,
Грентит, малополешный тем перезлавскии тринем,
И отмурчится бамба, и голою вернется.

— Уже лучше! — воскликнул, правда не совсем уверенно, Трурль. — Последние слова имели смысл, заметил?

— Ну, если это все... — промолвил Клапауций, который был сейчас олицетворением изысканнейшей вежливости.

— Черт бы его побрал! — завопил Трурль и снова исчез во внутренностях машины: оттуда доносился лязг, грохот, раздавались треск разрядов и проклятия конструктора. Наконец он высунул голову из небольшого отверстия на третьем этаже и крикнул:

— Нажми-ка теперь!

Клапауций выполнил просьбу. Электрувер задрожал от фундамента до верхушки и начал:

Грызнотвурога жуждя, голонистый лолень
Самошпака мимайку...

Голос оборвался — Трурль в бешенстве рванул какой-то кабель, что-то затрещало, и машина смолкла. Клапауций так хохотал, что в изнеможении опустился на подоконник. Трурль кидался туда и сюда, вдруг что-то треснуло, звякнуло, и машина весьма деловито и спокойно произнесла:

Зависть, чванство, эгоизм, по словам Конфуция,
До добра не доведут — знает это и болван.
Словно краба грузовик, так и Клапауция
Мощью замыслов раздавит духа великан!

— Вот! Пожалуйста! Эпиграмма! И прямо не в бровь, а в глаз! — выкрикивал Трурль, описывая круги, все ниже и ниже, ибо он сбегал вниз по узкой спиральной лестничке, пока почти не влетел в объятия коллеги, который перестал смеяться и несколько оторопел.

— А, дешевка, — сказал тут Клапауций. — Кроме того, это не он, а ты сам!

— Как это я?

— Ты это сочинил заранее. Догадываюсь по примитивности, бессильной злости и банальным рифмам.

— Ах вот как? Ты предложи что-нибудь другое! Что захочешь! Ну, что же ты молчишь? Боишься, а?

— Не боюсь, а просто задумался, — сказал задетый за живое Клапауций, стараясь найти самое трудное из возможных заданий, поскольку не без основания полагал, что спор о качестве стихотворения, сложенного машиной, трудно будет разрешить.

— Пусть сочинит стихотворение о кибэротике! — сказал он наконец, радостно усмехаясь. — Пусть там будет не больше шести строк, а в них о любви и измене, о музыке, о неграх, о высшем обществе, о несчастье, о кровосмесительстве — в рифму и чтобы все слова были только на букву «К»!

— А полного изложения общей теории бесконечных автоматов ты случайно не предложишь? — заорал оскорбленный до глубины души Трурль. — Нельзя же ставить таких кретинских усло...

И не договорил, потому что сладкий баритон, заполнив собой весь зал, в этот момент отозвался:

Кот, каверзник коварный, кибэротоман,
К королеве кафров крадется Киприан.
Как клавесина клавишей, корсажа касается.

Красотка к кавалеру, конфузясь, кидается...
...Казнится краля, киснет: канул Купидон,
К кузине королевы крадется киберон!

— Ну, и что ты скажешь? — подбоченился Трурль, а Клапауций, уже не раздумывая, кричал:

— А теперь на «Г»! Четверостишие о существе, которое было машиной, одновременно мыслящей и безмозглой, грубой и жестокой, имевшей шестнадцать наложниц, крылья, четыре размалеванных сундука, в каждом из которых по тысяче золотых талеров с профилем короля Мурдеброда, два дворца, проводившей жизнь в убийствах, а также...

— Грозный Генька-генератор грубо грыз горох горстями... — начала было машина, но Трурль подскочил к пульту управления, нажал на рубильник и, заслонив его собственным телом, промолвил сдавленным голосом:

— Все! Не будет больше подобной чепухи! Я не допущу, чтобы погубили великий талант! Или ты будешь честно заказывать стихи, или на этом все кончено!

— А что же — те стихи были заказаны нечестно?.. — начал Клапауций.

— Нет! Это были головоломки, ребусы какие-то! Я создавал машину не для идиотских кроссвордов! Ремесло это, а не Великое Искусство! Давай любую тему, самую трудную...

Клапауций думал, думал, аж сморщился весь и сказал:

— Ладно. Пусть будет о любви и смерти, но все должно быть выражено на языке высшей математики, а особенно тензорной алгебры. Не исключается также высшая топология и анализ. Кроме того, в стихах должна присутствовать эротическая сила, даже дерзость, но все в пределах кибернетики.

— Ты спятил. Математика любви? Нет, ты не в своем уме... — возразил было Трурль. Но тут же умолк враз с Клапауцием, ибо Электрувер уже скандировал:

В экстремум кибернетик попадал
От робости, когда кибериады
Немодулярных групп искал он интеграл.
Прочь, единичных векторов засады!

Так есть любовь иль это лишь игра?
Где, антиобраз, ты? Возникни, слово молви-ка!
Уж нам проредуцировать пора
Любовницу в объятия любовника.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!

Ты, трансфинальный класс! Ты, единица силы!
Континуум ушедших прасистем!
За производную любви, что мне дарила
Она, отдам я Стокса насовсем!
Откроются, как Теоремы Тела,
Твоих пространств ветвистые глубины,
И градиенты кипарисов смело
Помножены на стаи голубиные.

Седины? Чушь! Мы не в пространстве Вейля,
И топологию пройдем за лаской следом мы,
Таких крутизн расчетам робко внемля,
Что были Лобачевскому неведомы.

О комитанта чувств, тебя лишь знает
Тот, кто узнал твой роковой заряд:
Параметры фатально нависают,
Наносекунды гибелью грозят.

Лишен голономической системой
Нуля координатных асимптот,
Последних ласк, — в проекции последней
Наш кибернетик гибнет от забот.

На этом и закончилось поэтическое турне; Клапауций тут же ушел домой, обещав, что вот-вот вернется с новыми темами, но больше не показывался, опасаясь дать Трурлю еще один повод для триумфа; что же касается Трурля, то он утверждал, будто Клапауций удрал, не будучи в силах скрыть непрошеную слезу. На это Клапауций возразил, что Трурль с той поры, как построил Электрувера, видимо, свихнулся окончательно.

Прошло немного времени, и слух об электрическом барде достиг ушей настоящих, я хочу сказать обыкновенных, поэтов. Возмущенные до глубины души, они решили не замечать машины, однако нашлось среди них несколько любопытных, отважившихся тайком посетить Электрувера. Он принял их учтиво, в зале, заваленном исписанной бумагой, так как сочинял днем и ночью без роздыху. Поэты были авангардистами, а Электрувер творил в классическом стиле, ибо Трурль, не очень-то разбиравшийся в поэзии, основывал вдохновляющие программы на произведениях классиков. Посетители высмеяли Электрувера, да так, что у него от злости чуть не полопались катодные трубки, и ушли, торжествуя. Машина, однако, умела самопрограммироваться, и был у нее специальный контур усиления самоуверенности с предохранителем в шесть килоампер, и в самый короткий срок все изменилось самым решительным образом. Ее стихи стали туманными, многозначительными, турпистическими, магическими и приводили в совершеннейшее отупение. И когда прибыла новая партия поэтов, чтобы поиздеваться и покуражиться над машиной, она ответила им такой модернистской импровизацией, что у них в зобу дыханье сперло; от второго же стихотворения серьезно занемог некий бард старшего поколения, удостоенный двух государственных премий и бюста, выставленного в городском парке. С тех пор ни один поэт уже не в силах был сопротивляться пагубному желанию вызывать Электрувера на лирическое состязание — и тащились они отовсюду, волоча мешки и сумки, набитые рукописями. Электрувер давал гостю почитать вслух, на ходу схватывал алгоритм его поэзии и, основываясь на нем, отвечал стихами, выдержанными в том же духе, но во много раз лучшими — от двухсот двадцати до трехсот сорока семи раз.

Спустя некоторое время он так приноровился, что одним-двумя сонетами сваливал с ног заслуженного барда. А что хуже всего — оказалось, что из соревнования с ним с честью могут выйти лишь графоманы, которые, как известно, не отличают

хороших стихов от плохих; потому-то они и уходили безнаказанно, кроме одного, сломавшего ногу, споткнувшись у выхода о широкое эпическое полотно Электрувера, весьма новаторское и начинавшееся со строк:

Тьма. Во тьме закружились пустоты.
Осязаем, но призрачен след.
Ветер дунул — и взора как нет.
Слышен шаг наступающей роты.

В то же самое время настоящим поэтам Электрувер наносил значительный урон, хотя и косвенно — ведь зла им он не причинял. Несмотря на это, один почтенный уже лирик, а вслед за ним два модерниста совершили самоубийство, спрыгнув с высокой скалы, которая по роковому стечению обстоятельств как раз попалась им на пути от резиденции Трурля к станции железной дороги.

Поэты сорганизовали несколько митингов протеста и потребовали опечатать машину, но никто, кроме них, не обращал внимания на феномен. Редакции газет были даже довольны, поскольку Электрувер, писавший под несколькими тысячами псевдонимов сразу, представлял готовую поэму заданных размеров на любой случай, и эта поэзия, хоть и на заказ, была такого качества, что читатели раскупали газеты нарасхват, а улицы так и пестрели лицами, полными неземного блаженства, мелькали бессознательные улыбки и слышались тихие всхлипывания. Стихи Электрувера знали все; воздух сотрясали хитроумнейшие рифмы, а наиболее впечатлительные натуры, потрясенные специально сконструированными метафорами или ассонансами, даже падали в обморок; но и к этому был подготовлен титан вдохновения: он сразу же вырабатывал соответствующее количество отрезвляющих сонетов.

Сам же Трурль хлебнул горя из-за своего изобретения. Классики, по преимуществу люди весьма пожилого возраста, много вреда ему не причинили, если не считать камней, регулярно выбивавших окна, или веществ (не будем называть их), которыми забрасывали его дом. Куда хуже было с молодежью. Один поэт самого молодого поколения, стихи которого отличались большой лирической силой, а мускулы — физической, жестоко избил его. Пока Трурль отлеживался в больнице, события развивались дальше; не было ни дня без нового самоубий-

ства, без похорон; перед больничным подъездом дежурили пикеты и слышалась стрельба, так как вместо рукописей поэты все чаще прятали в своих сумках самострелы, разряжая их в Электрувера, стальной натуре которого пули, однако, не приносили вреда. Вернувшись домой, отчаявшийся и обессилевший конструктор однажды ночью решил разобрать на части собственными руками сотворенного гения.

Но когда он, слегка прихрамывая, приблизился к машине, та, завидев разводные ключи в его сжатой руке и отчаянный блеск в глазах, разразилась такой страстной лирической мольбой о милосердии, что растроганный до слез Трурль отбросил инструменты и пошел к себе, утопая по колени в новых произведениях электродуха, которые вскоре поднялись ему по пояс, наводняя зал шелестящим бумажным океаном.

Однако через месяц, когда Трурль получил счет за электричество, потребленное машиной, у него потемнело в глазах. Он был бы рад выслушать советы старого приятеля Клапауция, но тот исчез, как будто земля под ним разверзлась. Вынужденный действовать на собственный страх и риск, Трурль в одну прекрасную ночь обрезал питавший машину провод, разобрал ее, погрузил на космический корабль, вывез на один из небольших планетоидов и там снова смонтировал, присоединив к ней как источник творческой энергии атомный котел.

Затем он потихоньку вернулся домой, но на этом история не кончилась, так как Электрувер, не имея возможности распространять свои произведения в печатном виде, стал передавать их на всех радиоволнах, чем приводил экипажи и пассажиров космических ракет в лирический столбняк, причем особо тонкие натуры подвергались также тяжелым приступам восторга с последующим отупением. Установив, в чем дело, руководство космофлота официально обратилось к Трурлю с требованием немедленно ликвидировать принадлежащую ему установку, нарушающую лирикой общественный порядок и угрожающую здоровью пассажиров.

Вот тогда Трурль начал скрываться. Пришлось послать на планетоид монтеров, чтобы они запломбировали Электруверу лирические выходы, но он оглушил их балладами, и они не смогли выполнить поставленной перед ними задачи. Послали глухих, но Электрувер передал им лирическую информацию на языке жестов. Стали поговаривать вслух о необходимости карательной экспедиции или бомбежки. Но тут наконец маши-

ну приобрел один владыка из соседней звездной системы и вместе с планетоидом перетащил в свое королевство.

Теперь Трурль мог снова появиться и спокойно вздохнуть. Правда, на южном небосклоне то и дело вспыхивают сверхновые звезды, которых не помнят старожилы, и ходят упорные слухи, что тут не обошлось без поэзии. Рассказывают, будто по странному капризу упомянутый владыка приказал своим астроинженерам подключить Электрувера к созвездию белых гигантов, и каждая строчка стихов стала тут же претворяться в гигантские протуберанцы солнечные; таким образом величайший поэт Космоса огненными вспышками передает свои творения всем бесконечным безднам галактик сразу. Другими словами, великий владыка превратил его в лирический двигатель скопления переменных звезд. Если даже и есть в этом хоть доля правды, все это происходит слишком далеко, чтобы смутить праведный сон Трурля, который поклялся самой страшной клятвой никогда в жизни больше не браться за кибернетическое моделирование творческих процессов.

Путешествие второе, или Какую услугу оказали Трурль и Клапауций царю Жестокусу

Успех, которого друзья достигли, последовав рецепту Гарганциана, возбудил у обоих сильную жажду приключений, и они решили вновь отправиться в безвестные края. Когда ж пришлось им устанавливать цель путешествия, обнаружилось, что согласия нет и в помине, — ведь у каждого была своя идея. Трурль, бредивший жаркими странами, мечтал об Огонии, царстве пламеногих, Клапауций же — персона более прохладных склонностей — избрал галактический полюс холода, черный континент в окружении пяти ледяных звезд. Друзья хотели было расстаться, поссорясь навеки, но тут у Трурля возник замысел, не имевший, по его мнению, изъяна.

— Мы ведь можем, — сказал он, — дать объявление и из всех предложений, которые поступят, выбрать одно, самое обещающее со всех точек зрения.

Wyprawa druga, czyli Oferta króla Okrucyusza, 1965.
© Перевод. Ф. Широков, 1967.

— Вздор! — ответил Клапауций. — Куда ты хочешь дать объявление? В газету? Далеко ли доходит газета? На ближайшую планету доползет через полгода, мы умрем, прежде чем получим хоть одно предложение!

Тут-то, усмехнувшись с чувством превосходства, Трурль и разъяснил свой оригинальный план, который Клапауцию пришлось волей-неволей одобрить, и оба принялись за дело. Смастерив наспех машины, друзья подтянули окрестные звезды и составили из них огромную надпись, с неизмеримых расстояний видимую. Она-то и была объявлением; первое слово друзья сложили из одних лишь голубых гигантов, чтобы привлечь внимание будущего читателя из Космоса, на другие пошла разнообразная звездная мелочь. «Два Выдающихся Конструктора, — говорилось в объявлении, — ищут хорошо оплачиваемый и приличествующий их таланту пост, желательно при дворе могущественного монарха с собственным государством; оплата по соглашению».

Прошло немного времени, и в один прекрасный день перед особняком наших друзей опустился дивный корабль, играющий в лучах солнца, точно выложенный чистейшим перламутром; опустился на три основные подпорки, покрытые резьбой, а шесть подсобных не достигали земли и, собственно, ни для чего не служили; выглядели они так, словно строитель корабля не знал, куда девать сокровища, — ведь подпорки эти были из чистого золота. Из корабля по парадной лестнице, промеж двойных шпалер фонтанов, ударивших в небо, едва корабль коснулся земли, сошел на землю важный чужеземец со свитой шестиногих машин; одни массировали его, другие поддерживали или обмахивали веером, а самая маленькая порхала над высоким челом гостя, изливая сверху благовония, сквозь облако которых сей необычайный пришелец от имени своего властелина царя Жестокуса предложил конструкторам должность при дворе этого монарха.

— А в чем будет состоять наша работа? — поинтересовался Трурль.

— Подробности, милостивые государи, вы узнаете, прибыв на место, — ответил чужеземец, облаченный в золотые шаровары, кику с наушниками, жемчугом переливающуюся, и усеянный застежками камзол особого покроя, со складными шкатулками для сластей вместо карманов. По этому вельможе бегали крохотные заводные игрушки, от которых он величествен-

но отмахивался легким движением руки, когда они начинали чересчур проказничать.

— Сейчас же, — продолжал он, — могу вам сказать лишь, что Его Несравненность Жестокус является великим охотником, укротителем зверей галактических, сердце его не ведает страха, а охотничье мастерство достигло такого уровня, когда наистрашнейшие хищники перестали служить добычей, достойной его внимания. Царь страдает от этого, жаждет подлинных опасностей, неизведанных ужасов и именно поэтому...

— Понимаю, — живо ответил Трурль. — Мы должны сконструировать для государя новые породы зверей, исключительно свирепых и хищных, не так ли?!

— Ты, достодивный конструктор, необычайно догадлив, — промолвил вельможа. — Так отвечайте же, согласны ли вы?

Клапауций практично спросил об условиях, а когда царский посланник описал им великую щедрость своего государя, конструкторы без промедления уложили личные вещи и несколько книг и по лестнице, подрагивавшей от нетерпения, взошли на борт. Корабль загрохотал, окутался пламенем, опалившим даже золотые подпорки, и помчался в черную галактическую ночь.

Во время недолгого путешествия вельможа рассказывал друзьям про обычаи, царящие во владениях Жестокуса, толковал об открытой, широкой, как Тропик Рака, натуре монарха и о его мужественных увлечениях, так что, когда корабль приземлился, прибывшие умели даже разговаривать на местном языке.

Друзей тотчас поместили в расположенном на склоне горы за городом роскошном дворце — отныне он должен был служить им резиденцией, а когда они немного отдохнули, царь прислал за ними колымагу, запряженную шестью чудовищами, которых ни тот ни другой прежде и в глаза не видывали. Перед мордами чудовищ помещались специальные пламягасители, ибо из горла валил у них огонь и дым; были у чудовищ и крылья, но так подрезанные, что не могли они подняться на воздух, хвосты, покрытые стальной чешуей, длинные и закрученные в кольца, и по семь лап с когтями, пробивающими насквозь уличную брусчатку. При виде конструкторов, выходящих из дворца, упряжка дружно взревела, выпустила из ноздрей пламя, а из боков клубы серного дыма и кинулась на них, но кучера в асбестовых латах и царевы доезжачие с мотопом-

пой набросились на обезумевших чудовищ, нанося им удары прикладами лазеров и мазеров, а когда чудовищ укротили, Трурль и Клапауций забрались молчком в роскошно отделанное нутро рыдвана, который рванулся с места в карьер, а точнее сказать, в драконьер.

— Послушай-ка, — шепнул Трурль на ухо Клапауцию, пока они мчались, как ветер, в струях сернистых испарений, сметая все на своем пути, — чувствую я, захочет этот царь от нас многого! Какие у него красавцы в упряжке ходят, а?..

Однако рассудительный Клапауций отделался молчанием. Бриллиантовые, сапфирами выложенные и серебром окованные фасады домов мелькали за окнами кареты в грохоте, гуле, шипении драконов и выкриках доезжачих; наконец растворились огромные ворота царского дворца, и экипаж, описав столь замысловатую кривую, что цветы на клумбах свернулись от пламени, остановился перед фронтоном черного как ночь замка, над которым лазурью сияло небо; трубачи тут же дунули в завитые раковины, и под эти удивительно угрюмые звуки, затерявшись на огромной лестнице средь каменных колоссов, стоящих по обеим сторонам ворот, и сверкающего строя почетного караула, Трурль с Клапауцием вошли в просторные помещенья замка.

Царь Жестокус ожидал их в огромном зале, удивительно напоминавшем своей постройкой внутренность звериного черепа; это было какое-то подобие огромной, с уходящими ввысь сводами пещеры, выкованной из серебра. Там, где в черепе имеется отверстие для позвоночника, в паркете зиял черный колодец неведомой глубины, а за ним возвышался трон, на котором скрещивались, словно пламенные клинки, полосы света, бьющие из высоких окон, расположенных на месте глазниц серебряного черепа; сквозь плиты янтарно-золотистого стекла проходил поток света, теплого, сильного и вместе с тем резкого, ибо он лишал всякий предмет его естественной окраски, придавая ему огненный оттенок. Еще издали на фоне как бы затвердевших буграми серебряных стен конструкторы увидели Жестокуса, причем этот монарх в своем нетерпении не сидел ни минуты на троне, а гремящими шагами ходил по серебряным плитам паркета и, обращаясь к конструкторам, для выразительности время от времени со свистом рассекал рукой воздух.

— Приветствую вас, конструкторы! — говорил царь, фокусируя на них свои оптические устройства. — Его честь Прото-

зор, главный распорядитель охоты, разумеется, уже сообщил вам, что от вас мы желаем создания новых пород дичи! И притом мы не хотим иметь дело с какой-нибудь стальной громадиной, ползущей на ста гусеницах, — это занятие для артиллерии, а не для нас. Противник наш должен быть мощным и свирепым и вместе с тем быстрым и ловким, но прежде всего исполненным вероломного коварства, дабы, охотясь на него, могли мы применить все наше ловецкое искусство! Зверь этот должен быть хитрым и умным, способным ускользать и сдваивать следы, таиться в тихой засаде и молниеносно атаковать — такова наша воля!

— Простите, Ваше Величество, — промолвил Клапауций, поклонившись, — а не создадим ли мы угрозу особе Вашего Величества или ее здоровью, если слишком хорошо исполним волю Вашего Величества?

Царь засмеялся громовым хохотом, и пара бриллиантовых подвесков сорвалась с люстры и разбилась у ног конструкторов, которые невольно вздрогнули.

— Этого не опасайтесь, почтеннейшие конструкторы! — проговорил Жестокус, и мрачное веселье заиграло у него в глазах. — Не вы первые, не вы и последние, полагаем... Скажем откровенно, мы — монарх справедливый, хотя и требовательный. Слишком уж многие попрошаи, наветчики и ветрогоны пытались нас надуть, слишком многие, примазавшиеся к высокому званию инженера потехи ловецкой, пытались покинуть наше царство, отяготив свои плечи мешками драгоценностей и оставив нам взамен жалкую рухлядь, которая валилась от первого же пинка... Слишком много было таких, поэтому мы сочли себя вынужденным принять меры предосторожности. Двенадцать уж лет всякий конструктор, который не выполнит наших пожеланий, который, раздавая посулы, превысит свои возможности, хотя и получает уговорное вознаграждение, низвергается вместе с ним вот в эту пропасть либо же, если он сам то предпочитает, превращается в нашу дичь, и мы убиваем его вот этими руками, для чего, уверяем вас, уважаемые господа, нам не требуется вообще никакого оружия...

— А много ли... было таких несчастливцев? — осведомился Трурль более слабым, чем обычно, голосом.

— Много ли? Право, не помним, мы знаем лишь, что до сих пор не удовлетворил нас ни один, а рев ужаса, коим, падая в колодец, они прощаются с белым светом, длится все короче,

видимо, груда обломков растет на дне пропасти, однако места там хватит еще многим, смеем вас в этом уверить!

После этих ужасных слов наступила мертвая тишина; оба друга невольно посмотрели в сторону черного колодца, царь же продолжал прохаживаться, и удары его мощных ступней о паркет были подобны грохоту каменных плит, низвергаемых в пропасть, полную эха.

— С позволения Вашего Величества, мы ведь еще не... заключили соглашения, — осмелился пробормотать Трурль. — Нельзя ли нам ввиду этого получить два часа на размышление, мы ведь должны мысленно взвесить глубокие слова Вашего Величества, после чего станет ясно, готовы ли мы принять условия или же...

— Ха-ха! — засмеялся царь, подобно туче, обрушившейся градом на землю. — Или же готовы вернуться домой, не так ли?! Ну уж нет, любезные, вы приняли условия, вступив на борт Адолёта, который составляет часть нашего царства! Если бы всякий конструктор, попавший к нам, мог удалиться восвояси, когда того пожелает, нам пришлось бы бесконечно долго ждать исполнения наших желаний! Нет, вы останетесь здесь и построите нам чудовищ для ловецкой потехи... Даем вам на это сроку двенадцать дней, а теперь идите. Если возжаждете наслаждений, обратитесь к слугам, которых мы к вам приставили, ибо мы не поскупимся для вас ничем. ДО СРОКА!

— Если Ваше Величество позволит, то вместо наслаждений мы хотели бы осмотреть охотничьи трофеи Вашего Величества — следы деятельности наших предшественников!

— Ну конечно же, мы позволим, позволим! — милостиво промолвил царь и хлопнул в ладоши с такой силой, что искры, посыпавшиеся у него из пальцев, осветили серебряные стены. От этого державного жеста пронесся к тому же вихрь, остудивший разгоряченные головы обоих искателей приключений. Через минуту шестеро гвардейцев в белых с золотом мундирах уже вели Трурля и Клапауция по извилистому коридору — подлинному меандру, напоминающему внутренность окаменелой рептилии; и не без облегчения конструкторы увидели себя внезапно в огромном террариуме под открытым небом; вокруг на старательно ухоженных газонах лежали охотничьи трофеи Жестокуса — память о давнишних и совсем недавних расправах.

Ближе всего лежал, уставясь саблезубой мордой в небо, рассеченный почти надвое гигант: его корпус защищали броне-

вые плиты, чешуей налегавшие друг на друга; задние лапы, необычайно длинные, сконструированные, очевидно, для огромных скачков, покоились на траве подле хвоста; в хвосте отчетливо виднелся самопал с наполовину опустошенным магазином — признак того, что чудовище не сразу и не без боя поддалось грозному царю. Свидетельствовал об этом также желтоватый лоскут, свисавший с клыков приоткрытой пасти; Трурль распознал в нем голенище сапога, какие носили царевы доезжачие. Рядом располагалось другое пугало, змеевидное, с множеством коротких крыльев, опаленных выстрелом; электрические внутренности чудовища разбрызгались в медно-фарфоровую лужу. Дальше еще одно чудовище растопырило сведенные судорогой ноги, подобные колоннам, в его пасти играл с легким шелестом парковый ветерок. Были выставлены здесь и останки на колесах с когтями и на гусеницах с огнеметами, рассеченные до мозга костей, которым была у них мешанина проводов; покоились безглавые броненосцы с приплюснутыми башенками, разорванными атомным ударом, и стоножки, и пузатые чудища с многочисленными запасными мозгами, разбитыми все до единого в битве, и страшилища, прыгавшие на поломанных ходулях ныне телескопических лап, и какие-то маленькие ядовитые твари, которые могли, очевидно, то рассыпаться яростной стаей, то сплетаться в оборонительный шар, ощетинившийся черными отверстиями стволов, но и эта хитрость не спасла ни их, ни их создателей. Сквозь шпалеры этих-то обломков нетвердым шагом, в торжественном, чуть траурном молчании, будто готовясь к похоронам, а не к бурной изобретательской деятельности, и шли Трурль с Клапауцием, пока не достигли конца наводящей ужас галереи царских побед. У ворот, у подножья белой лестницы, их ожидала колымага, однако драконы, которые снова везли их по гулким улицам назад в загородную резиденцию, показались им теперь не столь ужасными. А когда друзья остались одни в комнате, обитой алой и бледно-зеленой материей, за столом, прогибавшимся от драгоценностей и заботливо приготовленных напитков, у Трурля наконец развязался язык и конструктор стал обидными словами честить Клапауция, утверждая, что тот проявил излишнюю прыть, согласясь на предложение распорядителя охоты, и тем самым навлек на их головы беду, словно у них не было возможности спокойно пожинать дома плоды достигнутой славы. Клапауций не промолвил в ответ ни словечка. Когда же гнев и от-

чаяние Трурля поуменьшились, и, обессилев от брани, он скорее рухнул, чем уселся, на роскошную козетку из перламутра и закрыл глаза, подперев голову руками, терпеливо выжидавший Клапауций отрывисто сказал:

— Кончай! Надо приниматься за работу. Эти слова как бы разбудили Трурля, и друзья тут же принялись обсуждать различные возможности с полным знанием самых сокровенных тайн искусства кибернетического конструирования. Они быстро пришли к согласию, что важнее всего не панцирь и не сила чудовища, кое им предстоит построить, а его программа, то есть алгоритм сатанинского действия. «Эта тварь должна быть поистине родом из преисподней, сущий дьявол по натуре!» — сказали они себе, и, хотя не знали еще, как этого достигнут, сердца их забились радостней. А когда конструкторы уселись проектировать бестию, которой требовал жестокий монарх, работа у них спорилась, так что просидели они целую ночь, и целый день, и затем еще одну ночь, после чего отправились пировать; и пока полные до краев лейденские банки ходили меж ними, друзья настолько уверились в своем успехе, что стали ехидно, по-заговорщицки, перемигиваться, дабы не могли заметить этого слуги, справедливо почитаемые ими за царских соглядатаев. Друзья не говорили при них ни о чем, касающемся работы, лишь хвалили громовую крепость напитков и отличный вкус электрет с ионной подливкой, которые подносили им вертевшиеся юлой лакеи во фраках. Только после ужина, выйдя на террасу, откуда открывался вид на весь город с его белыми башнями и черными куполами, утопающими в зелени, Трурль сказал Клапауцию:

— Дело еще не выиграно, ведь оно не простое!

— Что ты хочешь этим сказать? — из осторожности шепотом, но вместе с тем живо спросил Клапауций.

— Видишь, в чем тут загвоздка: если царь уложит эту механическую скотину, то, сочтя, что его желаний мы не выполнили, не колеблясь, исполнит обещание, которое я назвал бы колодезным. Если же мы хватим через край... Понимаешь?

— Не понимаю. Если царь не уложит зверя?

— Да нет же, если зверь его уложит, дорогой коллега... то тот, кто унаследует власть после царя, быть может, не оставит этого дела безнаказанным.

— Ты думаешь, нам придется держать перед ним ответ? Наследник трона бывает обычно рад, когда трон становится вакантным.

— Конечно, однако наследником будет сын царя, а займется ли он нами из любви к отцу или по той лишь причине, что этих действий будет ожидать от него двор, — для нас разница невелика. Что ты на это скажешь?

— Об этом я не размышлял. — Клапауций угрюмо задумался и буркнул: — Перспектива и правда не из веселых. Ни туда, ни сюда... А ты видишь какой-либо выход?

— Можно построить зверя, который будет многосмертным. Когда царь поразит его, зверь падет, но тут же восстанет из мертвых. И вновь царь начнет охотиться, вновь настигнет зверя, и это будет продолжаться, пока царь не устанет...

— Усталость обозлит царя, — деловито бросил Клапауций. — Впрочем, как ты себе представляешь такого зверя?

— Никак не представляю, я только намечаю возможности... Проще всего было бы создать чудовище, лишенное жизненно важных центров. Хоть рассеки его на части, они опять срастутся.

— Как?

— Под действием поля...

— Магнитного?

— Допустим.

— А откуда взять это поле?

— Этого я пока не знаю. Может, мы сами будем управлять полем на расстоянии? — спросил Трурль.

— Нет, это не вполне надежно, — поморщился Клапауций. — Разве исключено, что на время охоты царь упрячет нас в какой-нибудь каземат? Ведь и наши несчастные предшественники, надо признать, не на то лишь годились, чтобы кометам хвосты крутить, а ты хорошо знаешь, как они кончили. Мысль о телеуправлении, вероятно, приходила в голову многим, однако не оправдала надежд. Нет уж, во время самой битвы мы не должны иметь с чудовищем ничего общего.

— Может, смастерить искусственный спутник — и на нем... — предположил Трурль.

— Ты чтоб карандаш очинить, и то жернов попросишь! — обрушился на него Клапауций. — Спутник, нет, вы только подумайте! Как это ты его смастеришь? Как выведешь на орбиту? Чудес в нашем ремесле не бывает, мой милый! Нет, установку надо спрятать совсем иначе.

— Ну куда ж ты ее спрячешь, несчастный, если за нами неустанно следят?! Сам же видишь, как слуги и лакеи глаз с нас

не спускают, всюду нос свой суют, а о том, чтобы хоть разок, хоть на минутку незаметно выскользнуть из дворца, не может быть и речи... К тому же такая установка получится большой, как же ее вынести незаметно? Как протащить? Не вижу способа!

— Только не горячись, — увещевал его рассудительный Клапауций. — Может, установка вовсе и не понадобится?

— Но ведь должно же что-то управлять чудовищем, а если им будет управлять его собственный электронный мозг, то Жестокус изрубит зверя на мелкие кусочки, прежде чем ты успеешь произнести: «Прощай, белый свет!»

Оба умолкли; темнело, внизу, в долине, загорались все новые огни города. Внезапно Трурль сказал:

— Слушай-ка, у меня возникла идея. А что, если под видом чудовища попросту построить корабль и убежать на нем? Ведь можно приделать ему для маскировки уши, хвост, лапы, которые как ненужный камуфляж он отбросит в момент старта! Я уверен, это отличная идея! Убежим — и ищи ветра в поле!

— А если среди царских слуг к нам приставлен и конструктор — это кажется мне вполне правдоподобным, — то ты и оглянуться не успеешь, как сведешь с палачом знакомство. Вообще спасаться бегством не по мне. Либо мы, либо он — так обстоит дело; третьего исхода нет.

— И правда; шпион может знать толк в конструировании! — обеспокоился Трурль. — Так что же построить, Черный Ящик меня разрази! Быть может, электронную фата-моргану?

— Некий призрак, мираж? Чтобы царь впустую за ним гонялся? Спасибо тебе! Вернувшись с такой охоты, царь обоих нас вывернет наизнанку!

Вновь наступило молчание, неожиданно прерванное Труррлем:

— Я вижу единственный выход: надо, чтобы чудовище схватило царя, чтобы оно его похитило — понимаешь? — и держало в плену. Этим способом...

— Понимаю, не продолжай. Конечно, это идея. Мы бы заточили его в... А соловьи поют здесь сладостней, чем даже на Марилонде Проквинской, — ловко докончил Клапауций, заметив слуг, вносящих на террасу светильники на серебряных подставках. — Допустим, что именно так и получится, — продолжал он, когда друзья вновь остались одни в темноте, едва рассеиваемой светильниками. — Как бы то ни было, надо иметь

возможность связаться с узником, даже если нас самих закуют в кандалы и посадят в каменную дыру.

— По правде, — бурчал Трурль, — надо бы как-то иначе скомбинировать... Впрочем, важнее всего алгоритм!

— Тоже мне открытие сделал! Известно, без алгоритма ни шагу ступить! Ну ничего, надо экспериментировать!

И друзья засели за эксперимент. Он состоял в том, что конструкторы смоделировали царя Жестокуса и чудовище, но лишь на бумаге, математическим методом; Трурль управлял первой моделью, а Клапауций — второй. Вот и сшиблись модели-враги на огромных белых листах, покрывающих стол, с такой силой, что лопнули графитовые стержни в карандашах. Неопределенным интегралом яростно извивался монстр под ударами царевых уравнений, и повергался, рассыпанный в несчетное множество неизвестных, и восставал вновь, возведенный в высшую степень, а царь поражал его дифференциалами, да так, что лишь клочья функциональных операторов летели в разные стороны, и возник в результате такой нелинейно-алгебраический хаос, что конструкторы не могли уж разобраться, что стало с царем, а что — с чудовищем, и тот и другое исчезли во мгле перечеркнутых знаков. Встали друзья из-за стола и для подкрепления сил хлебнули из огромной лейденской амфоры, вновь уселись и снова начали бой, стремительный бой, спустив с цепи весь Высший Анализ; прах заклубился на бумаге, и чад пошел от раскаленных графитов. Мчался царь во весь опор свирепых своих коэффициентов, блуждал по лесу символов шестииндексных, возвращался по собственному следу, атаковал монстра до седьмого пота и восьмой равнодействующей, а чудовище распалось на сто многочленов, потеряв один икс и два ипсилона, забралось в знаменатель, вылупилось из кокона, взмахнуло корнями и как ударит математизированную царскую особу по боку, так что содрогнулось все царево уравнение, словно ударом наотмашь пораженное. Но тут Жестокус броней нелинейной прикрылся, бесконечно удаленной точки достиг, мигом вернулся и как ударит чудовище по голове сквозь все скобки, так что логарифм отвалился у монстра спереди, а степень — сзади. Втянуло чудовище щупальца внутрь и ковариантно — лишь карандашики мелькали — бац! бац! — нанесло удар за ударом и еще один — по спине трансформантой, — и вот уже царь, упрощенный, зашатался от числителя и до всех знаменателей и растянулся во весь рост, а конструкторы, вско-

чив из-за стола, стали смеяться и танцевать и рвать в клочья исписанные листы на глазах у соглядатаев, которые тщетно пытались подсматривать за ними с люстры в подзорную трубу, но, с высшей математикой незнакомые, поняли лишь, что конструкторы кричат один другому: «Победа! Победа!»

Далеко за полночь в следственную лабораторию сверхтайной государственной полиции внесли амфору, из коей друзья потчевались во время своей утомительной работы. Лаборанты-консультанты немедля вскрыли двойное потайное дно и вынули оттуда микрофончик и магнитофончик, а затем, склонясь над аппаратурой, пустили ее в ход и много часов подряд прослушивали с величайшим вниманием слова, произнесенные в зале из зеленого мрамора. Наконец лучи восходящего солнца осветили их вытянутые лица, однако ничего из услышанного ими они понять не смогли. Слышался, к примеру, голос одного из конструкторов:

— Ну как? Подставил царя?

— Подставил!

— Где он у тебя? Тут? Отлично! Теперь вот так! Ноги вместе! Держи ноги вместе, слышишь! Не свои, осел, царские! Так! Валяй, преобразуй, быстро! Что получилось?

— Пи.

— А где чудовище?

— В скобках. Ну как, царь выдержал, видишь?

— Выдержал? Умножь теперь обе части на мнимую единицу — хорошо! И еще разок! Измени знаки, болван! Куда подставляешь, кретин? Куда?! Это ж чудовище, а не царь! Теперь так! Верно, верно!! Готово? А теперь обрати фазу — так! — и дуй в вещественное пространство! Получил?

— Получил! Клапауций, миленький! Погляди, что стало с царем!!

В ответ раздался безумный взрыв хохота.

Назавтра, а точнее, когда наступил новый день, до которого все полицейские чины продержались на ногах, проведя бессонную ночь, конструкторы потребовали кварца, ванадия, стали, меди, платины, горного хрусталя, титана, церия, германия, вообще всех элементов, составляющих Космос, а также машин, квалифицированных механиков и соглядатаев, ибо столь расхрабрились, что на формуляре требования в трех экземплярах осмелились написать: «Просим также доставить соглядатаев различных мастей и калибров по усмотрению

властей предержащих с соблюдением соответствующих почестей».

На следующий день конструкторам потребовались еще опилки и большой занавес из красного плюша с гроздью стеклянных колокольцев посредине и четырьмя большими кистями по углам. Друзья указали даже размер колокольцев. Царь, которого уведомляли обо всем, гневался, но повелел выполнять требования наглецов — ДО СРОКА. Слово царя было непререкаемым, и конструкторы получали желаемое.

А были то все новые и новые, совсем уж неслыханные предметы. Так, под номером 48999/11 К/Т в полицейский архив попала копия требования, в котором конструкторы домогались трех портновских манекенов, а также шести мундиров царской полиции с полным к ним прикладом — поясами и портупеями, оружием, киверами, султанчиками и наручниками наряду с подшивкой за последние три года журнала «Наш полицейский», снабженной алфавитным указателем. Вместе с тем в графе «Примечания» конструкторы давали обязательство вернуть упомянутые предметы в целости и сохранности в двадцатичетырехчасовой срок с момента их получения. В другой архивной папке хранится копия записки, коей Клапауций потребовал безотлагательно доставить натуральной величины куклу, представляющую министра почт и телеграфа при всех регалиях, а также маленький шарабан, покрытый зеленым лаком, с керосиновым фонарем на левой стороне и с декоративной бело-голубой надписью сзади «Слава труду!». После куклы и шарабана шеф тайной полиции тронулся и вынужден был уйти на пенсию. По прóшествии еще трех дней конструкторы истребовали бочку касторового масла, подкрашенного розовым красителем. С этого момента, не требуя больше ничего, они работали в подземельях своей резиденции, откуда доносились их дикое пенье и неумолчный грохот молотов; в сумерки сквозь решетчатые окошки подвала прорывался голубой свет, придавая парковым деревьям призрачные очертания. В синем блеске электрических разрядов средь каменных стен трудились Трурль и Клапауций с помощниками, а подняв голову, видели физиономии многочисленных слуг, которые, прилипнув к оконным стеклам, видимо, из пустого любопытства, фотографировали каждое их движение. Однажды ночью, когда измученные конструкторы отправились спать, часть создаваемой ими аппаратуры на секретном экспресс-дирижабле была поспешно дос-

тавлена в царские лаборатории, где ее дрожащими пальцами принялись собирать восемнадцать знаменитейших криминалкибернетиков, приведенных предварительно к коронной присяге. После долгих трудов из их рук выполз серый оловянный мышонок и, пуская мордочкой мыльные пузыри, принялся бегать по столу, а из-под хвостика у него стал сыпаться белый зубной порошок, причем так искусно, что возникла каллиграфическая надпись: «Значит, вы по правде нас не любите?» Никогда еще за всю историю царства шефы тайной полиции не менялись с такой быстротой. Мундиры, кукла, зеленый шарабан, а также опилки, возвращенные минута в минуту конструкторами, подверглись исследованию под электронным микроскопом. Однако ничего, кроме маленькой бирки со словами «Это мы, опилки», найденной в опилках, обнаружено не было. Даже отдельные атомы мундиров и шарабана подверглись обыску, но безрезультатно. И вот настал день, когда работа была наконец завершена. Огромный, похожий на герметичную цистерну транспортер на трехстах колесах подкатил к стене, окружавшей резиденцию Трурля и Клапауция, сквозь открытые ворота конструкторы вынесли совершенно пустой занавес, тот самый, с кистями и колокольцами, и, когда комиссия растворила двери транспортера, положили занавес на середину пола, после чего забрались внутрь и за закрытыми дверями еще что-то делали; затем друзья поочередно носили из подвала огромные жестянки с тонко размолотыми химическими элементами и все эти порошки, серые, серебристые, белые, желтые и зеленые, высыпали под края широко растянутого занавеса, а потом вышли на дневной свет, приказали запереть транспортер и выжидали, не сводя глаз с циферблата, четырнадцать с половиной секунд; по истечении этого времени раздался отчетливый звон стеклянных колокольцев, хотя транспортер стоял недвижимо; это поразило присутствующих, ибо только дух мог пошевелить ткань. Тогда конструкторы взглянули друг на друга и сказали:

— Готово! Можете забрать!

Весь день друзья пускали с террасы мыльные пузыри, а под вечер им нанес визит сановный Протозор, главный распорядитель охоты, который заманил их на планету Жестокуса; он был вежлив, но тверд. На лестнице поджидала стража, а Протозор объяснил, что конструкторам следует незамедлительно отправиться в назначенное место. Все вещи надлежало оставить во

дворце, даже личную одежду; взамен ее им выдали залатанные лохмотья и сковали обоих кандалами; к удивлению стражников и присутствовавших при сем представителей закона и чинов полиции, друзья отнюдь не казались обеспокоенными, Трурль даже хохотал до упаду, уверяя кузнеца, который надевал на него кандалы, что ему щекотно; а когда за друзьями захлопнулась дверь подземелья, из их каменной щели тотчас донеслись звуки песенки «Веселый программист».

Тем временем могущественный Жестокус в окружении свиты на боевой охотничьей колеснице выехал из города; за ним тянулся длинный кортеж всадников и машин, не вполне охотничьих, ибо среди них находились не то чтоб пушки или митральезы, но огромные лазерные пищали, мортиры для стрельбы антиматерией и катапульты для метания смолы, в которой вязнет всякое существо и всякая машина.

Этот внушительный охотничий поезд монарха ехал к заповедным угодьям короны, быстро, весело и кичливо, и никто в нем даже не вспоминал о брошенных в каземат конструкторах, а если и вспоминал, то лишь затем, чтоб посмеяться, как они глупо попались.

Когда серебряные фанфары возвестили с башен заповедника о приближении его царского величества, стал виден двигающийся в том же направлении огромный транспортер-цистерна; специальные зажимы приподняли люк цистерны, открыли его, и на миг показалось отверстие, словно черная пасть орудия, прицеленного в горизонт. Еще мгновенье, и изменчивая, как грозовое облако серо-желтого, песочного цвета, тень вырвалась из нутра в парящем прыжке, и неведомо было, зверь то или нет. Пролетев шагов сто, существо бесшумно приземлилось, а окутывавший его занавес соскользнул набок, и в этой мертвой тишине раздался очень странный звук его стеклянных колокольцев; теперь занавес малиновым пятном лежал рядом с чудовищем, уже хорошо видным каждому охотнику. Однако форма чудовища по-прежнему оставалась неясной; оно выглядело как довольно большой, продолговатый пригорок, сливавшийся по окраске с окружающей местностью, казалось даже, будто опаленный солнцем чертополох растет у него на спине. Царевы доезжачие, не сводя глаз со зверя, пустили с поводка свору киборзых, кибернаров и киберьеров; жадно разинув пасти, псы рванулись в сторону припавшего к земле исполина, который, когда они подбежали к нему, не разомкнул

пасть и не выдохнул пламени, а лишь приоткрыл глаза, подобные крохотным сеющим ужас солнцам, и в мгновение ока половина своры пала пеплом на землю.

— Ого, да у него в глазах лазерочки! Так подайте нам нашу светозащитную кольчугу честну́ю, бармицы наши и панцирь наш любезный! — повелел царь свите, тут же облекшей его в светозарную суперсталь. Вырвавшись вперед, царь помчался на своем кибаргамаке, ни для каких снарядов не уязвимом. Чудовище позволило ему приблизиться, и монарх нанес удар, отчего рассекаемый острием воздух загудел и отрубленная голова зверя покатилась на песок. Царь скорее разгневался, чем обрадовался столь легкой победе, и тут же решил подвергнуть пыткам-люкс виновников подобного разочарования, хотя свита принялась шумно восхвалять охотничий триумф монарха.

Но тут чудовище шевельнуло шеей и из возникшего на ее конце бутона выскользнула новая голова, открыла свои ослепительные зеницы, и их блеск бессильно скользнул по царской броне. «Не столь уж они никчемны, но все же надлежит их казнить», — подумал царь о конструкторах и, подняв киберскакуна шпорами на дыбы, взлетел на зверя.

Вновь ударил монарх чудовище, на этот раз в середину хребта, и оно, разумеется, с легкостью подставило себя под удар. Рассекая со свистом воздух, заскрежетала сталь, и развален-ный надвое корпус рухнул наземь в агонии. Но что это? Царь натянул левой рукой поводья, и вот уже два меньших, сходных, как близнецы, чудовища стояли перед ним, а меж них проказничало третье, совсем крохотное — то была голова, отсеченная минуту назад; она выпустила хвостик и лапки и тоже гарцевала по песку.

«Что ж это такое?! Нам его шинковать иль стружить придется, вот так охота!!» — подумал царь и, охваченный превеликим гневом, бросился на чудовищ. Рубил и копьем колол, рассекал и мечом крошил, но, размножившись под его ударами, чудовища отбежали внезапно в сторону, сбились в кучу, миг — и вновь единое чудище, огромное, брюхом к земле припавшее, подрагивая упругим хребтом, стояло перед Жестокусом такое же, как прежде.

— Никакой сатисфакции, — рассердился царь. — Видно, у него такая же обратная связь, как у того, которого нам — как бишь его? — Памингтон сконструировал. За нехватку смекалки позволили мы потом на подворье собственноручно рас-

щепить его... Ничего не поделаешь, придется из кибермортиры...

И повелел подкатить к себе одну, шестиствольную. Целился царь не долго, не коротко, а в самый раз, за шнур потянул, и без грохота, без дыма невидимый снаряд помчался к чудовищу, чтоб разнести его вдребезги. Однако ничего не произошло; если снаряд прошел навылет, то слишком быстро, чтобы кто-либо успел это заметить. Чудовище еще плотнее припало к земле и высунуло левую лапу вперед; тут придворные увидели его длинные волосатые пальцы: оно показало царю кукиш!

— Подать нам большой калибр! — воскликнул царь, прикидываясь, что не видит кукиша. И вот уж слуги тянут орудие, двадцать пушкарей заряжают его, царь наводит, целится, стреляет... но в это мгновение чудовище прыгнуло. Царь хотел оборониться мечом, но прежде, чем успел это сделать, чудовища уже не было; те, кто это видел, рассказывали потом, что едва не лишились рассудка. Ибо чудовище разделилось в полете натрое; эта метаморфоза произошла молниеносно — вместо серой туши появились три особы в полицейских мундирах, которые на лету готовились к исполнению служебных обязанностей. Первый полицейский, подруливая ногами, доставал из кармана наручники, второй, придерживая кивер с султаном, чтобы не снес вихрь, вызванный движением, свободной рукой вынимал из бокового кармана ордер на арест, третий же предназначался лишь для смягчения посадки первым двум — он упал ничком им под ноги как амортизатор. Однако он сразу же вскочил и стряхнул пыль; в это время первый уже надевал царю наручники, а второй выбил из монаршей длани, скованной изумлением, меч; делая длинные прыжки и волоча за собой вяло сопротивляющегося монарха, полицейские направились в пустыню. Несколько секунд весь царский поезд стоял, как остолбенелый, а затем, гаркнув в один голос, пустился в погоню. Киберскакуны уже настигали пеших беглецов, уже скрежетали мечи, вынимаемые из ножен, когда третий полицейский что-то включил у себя на животе, скрючился, из рук у него выросли две оглобли, ноги свернулись кольцом, и в них замелькали спицы, а на спине, обернувшейся кузовом зеленого шарабана, уселись полицейские и принялись длинным бичом нахлестывать государя, который, в хомуте, размахивал руками, галопировал как безумный, заслоняя коронованную главу от ударов. Однако вновь приблизилась погоня; тогда полицейские

схватили царя за шиворот и посадили между собой, один же из них, быстрей, чем об этом можно рассказать, прыгнул меж оглобель, дунул, плюнул и обернулся клубком воздуха радужным — громовым жужжалом-кружалом; у шарабана словно крылья выросли, он помчался вперед, разбрасывая песок и безумно приплясывая на выбоинах, а через минуту едва виднелся средь миражей пустыни. Царский поезд рассыпался по пустыне, вельможи стали отыскивать следы, послали за остронюхими гончими, потом примчался резерв полиции с мотопомпами и стал лихорадочно поливать песок, а все потому, что в шифрованную депешу, посланную с наблюдательного аэростата в облаках, из-за спешки и дрожи в руках телеграфиста вкралась ошибка. Полицейские команды промчались по всей пустыне, каждый кустик ощупали, обыскали и просветили переносными рентгеновскими аппаратами каждый пук чертополоха, понакопали ям и взяли из них пробы для анализа. Царского кибаргамака сам генеральный прокурор приказал отвести на допрос, а с секретных аэростатов вечером, когда стемнело, сбросили на пустыню целую дивизию зонтопрыгов с пылесосами, дабы песок просеять; всякого, кто смахивал на полицейского, пытались задерживать, однако это принесло только хлопоты, потому что одна часть полиции арестовала другую. Когда настала ночь, участники царской охоты, охваченные ужасом, стали возвращаться в город, неся с собой скорбную весть: им не удалось обнаружить ни малейшего следа — монарх словно сквозь землю провалился.

Глубокой ночью при свете факелов закованных в кандалы конструкторов безотлагательно препроводили к Верховному Канцлеру и Хранителю Государственной печати, и тот голосом, подобным грому, огласил приговор:

— За учинение пагубного заговора на Царствующую Особу, за поднятие руки на государя нашего милостивого, Его Царское Величество, императора и самодержца Жестокуса, предать изменников четвертованию, дрелеверченью и расклепанию, по исполнении чего специальным перфоратором-пульверизатором рассеять во все стороны света во устрашение и вечное напоминание презренным покусителям на цареубийство. Троякожды и без права обжалования. Аминь.

— Вы как хотите, сразу? — спросил Трурль. — А то мы гонца ожидаем...

— Какого еще там гонца, подлый покуситель?!

Однако и в самом деле в зал, пятясь задом, ввалились стражники, не осмеливаясь преградить скрещенными алебардами путь самому министру почт и телеграфа; этот сановник при всех регалиях, позванивая орденами, приблизился к канцлеру и из висевшей на животе сумки, расшитой бриллиантами, добыл бумагу, а затем, возвестив: «Хоть я создан искусственно, меня царь послал», — рассыпался маковым семенем по полу. Канцлер, глазам собственным не веря, разломил печать, распознав на ней царскую печатку, оттиснутую в красном лаке, вынул послание и прочел, что царь вынужден вести переговоры с конструкторами, которые, использовав приемы алгоритмические и математические, ввергли их величество в узилище, а теперь выставляют условия, кои канцлеру надлежит все выслушать и принять, если ему жизнь государя дорога. Внизу стояла подпись: «Жестокус, дано собственноручным писанием в пещере неведомого местоположения, во власти монстра, псевдополицейского, единого в трех лицах мундирных...»

Тут царедворцы принялись вопить громкими голосами, силясь перекричать друг друга и спрашивая, в чем состоят условия и что все это значит, однако Трурль повторял лишь одно:

— Поначалу снимите кандалы, без этого — никаких переговоров.

Кузнецы, присев на корточки, сняли кандалы, и все присутствующие набросились на конструкторов, однако Трурль снова принялся за свое:

— Голодом мы изглоданы, грязью изгрязнены, не мыты, желаем мы омовений ароматных, умащений благовонных, забав, пиршества, а на десерт — балета.

Тут уж царедворцы жестокого монарха впали в подлинную белую горячку, но и на это условие вынуждены были согласиться. Лишь на рассвете вернулись конструкторы на аудиенцию, в паланкинах лакеями несомые, освеженные, умащенные, в одежды чудные облаченные, уселись за стол, крытый зеленым сукном, и начали выставлять условия, да не по памяти, дабы чего, не дай бог, не упустить, а по малюсенькому блокнотику, что весь срок пролежал спрятанный за занавеской в их резиденции. Так читать по писаному и начали:

«1. Надлежит приготовить корабль первого класса, дабы Конструкторов домой отвезти.

2. Надлежит трюм корабля наполнить разными разностями в следующей пропорции: бриллиантов — четыре пуда, червон-

ного золота — сорок пудов, платины, палладия и бог весть каких еще драгоценностей — осемь крат столько, равно подарков памятных, произвольных, кои руку ниже приложившие соблаговолят во дворце царском выбрать.

3. Доколе корабль не будет до последнего винтика завинчен, в путь приготовлен, выкупом нагружен и к отправке подан, с ковром на трапе, прощальным оркестром, орденами на подушках, почестями, детским хором и с большим оркестром филармонии при полном параде, а также со всеобщим энтузиазмом — царя никто и не увидит.

4. Надлежит сочинить, на пластинах золотых выбить и перламутром инкрустировать благодарственный адрес, к их Достодивным Безмерно Милостивым Сиятельствам Трурлю и Клапауцию обращенный, в коем события все должны быть подробно описаны, большой канцлерской и государственной печатью скреплены, подписями подтверждены и в пушечном дуле, как в футляре, запломбированы, каковой футляр на своей спине, без посторонней помощи, надлежит поднять на борт Протозору, вельможе, главному распорядителю охоты, который, Достодивных Конструкторов на планету заманив, тщился сим деянием их смерти постыдной подвергнуть.

5. Надлежит оному вельможе Конструкторов на обратном пути сопровождать, являя собой гарантию неприкосновенности, отсутствия погони и пр. и пр. На корабле же будет он занимать постоянное место в клетке размером три фута на три и на четыре, с глазком для кормления и с подстилкой из опилок; опилки при сем надлежит употребить те самые, кои Достодивные Конструкторы соизволили истребовать для исполнения царских прихотей и кои затем были препровождены на секретном дирижабле в полицейское хранилище.

6. По освобождении царь не должен лично испрашивать прощения у упомянутых Достодивных Сиятельств, ибо повинность сего мужа им без надобности.

Подписано, дано, датировано и т.д. и т.п.: Трурль и Клапауций — от Конструкторов-Условиедателей и Верховный Канцлер короны, Верховный Церемониймейстер и Главный Оберполицмейстер Тайной Земно-Водно-Аэростатной Полиции — от Условиеисполнителей».

Что же оставалось делать царедворцам и министрам, от злости почерневшим? Ясное дело, пришлось на все соглашаться, после чего в огромной спешке стала строиться ракета, конст-

рукторы же приходили на строительную площадку после завтрака наблюдать за работой, и все-то им было не так: то материал нехорош, то инженеры тупы, а то нужен им в кают-компанию волшебный фонарь с четырьмя окошечками да с кукушечкой, на все четыре стороны из них кукующей, а если туземцы не знают, что это за кукушечка, то тем хуже для них; царь, конечно, досадует в своем заточении, а воротясь, с теми, кто с освобождением его мешкал, разделается по-свойски. По этой причине — всеобщее потемнение в глазах, нервозный скрежет зубов и полицейская трясучка. Наконец ракета готова; носильщики несут сокровища, мешки жемчуга, по желобу потекло золото, а вместе с тем тайно, но неустанно, своры полицейских продолжают перетряхивать горы и долы, над чем Трурль и Клапауций только в кулак посмеиваются и даже растолковывают участливо тем, кто не без ужаса, но с величайшим интересом их выслушивает, как до всего этого дошло, как они свой первоначальный замысел — несовершенный — полностью отбросили и построили чудовище новым способом. Как раздумывали они, в какое место и каким образом вставить ему блок управления, или мозг, с тем чтобы добиться полной надежности, и решили построить чудовище как бы целиком из мозга, чтоб могло оно думать ногой, хвостом или же челюстью, каковую по той причине они наполнили зубами мудрости. Однако все это составляло лишь вступление к задаче, сама же задача распадалась на две части: психологическую и алгоритмическую. Первым делом следовало установить, что повергнет царя в узилище; с этой целью надлежало действовать выделенному трансмутацией из чудовища полицейскому звену, ибо полицейским, предъявляющим ордер на арест, lege artis* оформленный, ничто в Космосе противоборствовать не может. Это — о психологии; добавим лишь, что генеральный почтмейстер также был призван к действию из психологических соображений: ведь чиновник меньшего ранга мог бы — не пропущенный стражей — не доставить послания, что стоило бы конструкторам головы. Искусственный же министр, исполняющий роль гонца, помимо монаршего послания, имел в сумке средства на случай, если бы понадобилось подкупить алебардистов; все это было предусмотрено. Что же касается алгоритмов, то надлежало лишь открыть такую группу чудовищ, замкнутую счетную

* Здесь: законным образом *(лат.)*.

подгруппу которой составляла бы собственно полиция. Алгоритм чудовища предусматривал последовательные трансформации во все воплощения. Его ввели химически-несимпатическими чернилами в занавес с колокольцами, так что он затем действовал на химические элементы уже вполне независимо именно благодаря чудовищно-полицейской самоорганизации. Добавим сразу же, что позднее конструкторы опубликовали в научном журнале работу, именовавшуюся: «Эта-мета-бета-общерекурсивные функции, рассмотренные для частного случая преобразования полицейских сил в силы почтовые и чудовищные в компенсирующем поле колокольцев и применимые к шарабану — дву-, трех-, четырех-, а также *n*-колке, зеленью лакированной, с керосиновым топологическим фонарем, при использовании матрицы, обратимой на касторовом масле, с розовой подкраской для отвлечения внимания, или Всеобщая теория моно- и полицейской монстрологии, математическим способом рассмотренная». Разумеется, никто из царедворцев, канцлеров, офицеров и даже чинов самой до предела униженной полиции ни словечка из всего этого не понял, но кому от этого был вред? Неизвестно, следовало ли подданным царя Жестокуса восхищаться конструкторами или ненавидеть их.

Все уже к старту готово. Трурль ходит по дворцу с мешком и, согласно договору, то и дело снимает украшения со стены, любуется ими и сует в мешок, как свои. И вот наконец колымага везет молодцов-конструкторов на ракетодром, а там уже толпы, детский хор, девочки в народных костюмах вручают букеты цветов, вельможи читают по бумажке благодарственно-прощальные речи, играет оркестр, слабые падают в обморок и, наконец, наступает мертвая тишина. Тут Клапауций вынимает изо рта зуб и что-то в нем поворачивает, только это не обычный зуб, а рация для приема и передачи. Нажал — и появляется на горизонте песчаное облачко; оно растет, оставляя за собой хвост пыли, и с громким топотом влетает на пустую площадку между королем и толпой, останавливается как вкопанное, лишь песок полетел во все стороны, и тут толпа видит, струхнув, что это — чудовище. Оно чудовищно! Глаза — будто солнца. Оно хлещет себя по бокам змеистым хвостом, только искры снопами разлетаются и прожигают дырочки в парадных и по сей причине небронированных одеждах сановников.

— Выпусти царя! — говорит ему Клапауций, а чудовище отвечает совсем человеческим голосом:

— А мне это и не снилось. Теперь мой черед заключать пакты...

— Как это? Ты что, спятило? Ты обязано нас слушаться, согласно матрице! — гневно восклицает Клапауций при всеобщем остолбенении.

— С какой это стати? Иди-ка ты со своей матрицей. Я чудовище алгоритмическое, антидемократическое, со связью обратно-устрашающей и взором испепеляющим, есть у меня полиция, орнаментация, внешняя видимость и самоорганизация, не выйдет царь ваш из брюха — ни слуха о нем, ни духа, сняв с двуколки оглоблю, стукните себя по лбу, под руки друг друга возьмите, четыре шага ступите — и бух на колени, да смотрите, друзья, без лени!

— Я тебе покажу «на колени»! — вопит разозленный Клапауций, а Трурль спрашивает чудовище:

— Чего же ты, собственно, хочешь?

Однако при этом он прячется за Клапауция и вынимает изо рта зуб, стараясь, чтобы чудовище этого не заметило.

— Во-первых, хочу я взять в жены...

Однако никто так и не узнает, на ком чудовище хочет жениться, потому что Трурль нажимает на зуб и кричит:

— Энеки, бенеки ку-ка-ре-ков, сгинь, чудо-юдо, на веки веков!

Магнитно-динамические обратные связи, скреплявшие атомы чудовища, моментально расслабились под воздействием этих слов, а оно само заморгало глазами, захлопало ушами, заревело, взбрыкнуло, подернулось рябью, но ничто ему не помогло — только повеял горячий ветер с запахом железа, а чудовище как стояло, так и рассыпалось, словно высохшая песочная баба, которую пнули ногой. Остался лишь маленький холмик, а на том холмике царь, здравый и невредимый, хоть и оконфуженный, со стыда перекошенный, немытый и очень злой, оттого что все это с ним приключилось.

— У него в голове все пошло кувырком, — говорит Трурль провожающим, и остается неясным, кого он, собственно, имеет в виду: царя или чудовище, которое сделало попытку взбунтоваться против своих создателей, однако же конструкторы, естественно, и эту мрачную возможность предусмотрели в алгоритме.

— А теперь, — заключает Трурль, — прошу посадить главного распорядителя охоты в клетку, а мы сядем в ракету.

Путешествие третье, или Вероятностные драконы

Трурль и Клапауций были учениками великого Кереброна Эмтадрата, который целых сорок лет излагал в Высшей Школе Небытия Общую Теорию Драконов. Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку Высшая Школа Небытия тем, что существует, вообще не занимается; банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Кереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип — на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.

В дракологии издавна известен парадокс, состоящий в том, что при гербариза-

---

Wyprawa trzecia, czyli Smoki prawdopodobieństwa, 1963. © Перевод. Ф. Широков, 1967.

ции (действие, отвечающее в алгебре драконов умножению в обычной арифметике) двух отрицательных драконов возникает преддракон в количестве около 0,6. По этой причине мир специалистов разделился на два лагеря: члены одного придерживались мнения, что речь идет о доле дракона, если отсчитывать от головы; сторонники другого помещали точку отсчета в хвост. Огромной заслугой Трурля и Клапауция было выяснение ошибочности обеих упомянутых точек зрения. Друзья первыми применили в этой области знания теорию вероятностей и создали тем самым вероятностную дракологию, из которой вытекает, что с точки зрения термодинамики дракон невозможен лишь в стагисгическом смысле, подобно домовому, эльфу, гному, троллю, ведьме и т.п. Из формулы полной невероятности оба теоретика получили коэффициенты регномизации, разэльфивания и пр. Из этой же формулы вытекало, что самопроизвольного появления дракона следует ожидать в среднем около шестнадцати квинтоквадриллионов гептиллионов лет.

Безусловно, весь этот круг вопросов оставался бы интересной, но чисто математической редкостью, если бы не прославленная конструкторская жилка Трурля, который решил исследовать задачу экспериментально. А поскольку речь шла о невероятных явлениях, Трурль изобрел усилитель вероятности и испытал его сначала у себя дома, в погребе, а затем на специальном, основанном Академией Дракородном Полигоне, или Драколигоне. Лица, незнакомые с общей теорией невероятностей, и по сей день задают вопрос, почему, собственно, Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа или гнома, однако задают его по невежеству, ибо им неизвестно, что дракон попросту имеет большую вероятность, чем гном. Трурль, видимо, намеревался пойти в своих опытах с усилителем дальше, но уже первые эксперименты привели к тяжелой контузии — виртуальный дракон лягнул конструктора. К счастью, Клапауций, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность и дракон исчез. Вслед за Трурлем многие другие ученые повторяли эксперименты с дракотроном, но, поскольку им недоставало сноровки и хладнокровия, значительная часть драконьего приплода, серьезно покалечив ученых, вырвалась на свободу. Только тогда обнаружилось, что эти отвратительные чудовища существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды или столы: дракон характеризуется в первую очередь своей вероятностью, как правило, достаточно большой,

раз он уже возник. Если устроить охоту на такого дракона, да еще с облавой, то кольцо охотников с оружием, готовым к выстрелу, натыкается лишь на выжженную, смердящую особой вонью землю, поскольку дракон, когда ему приходится туго, ускользает из реального пространства в конфигурационное. Будучи скотиной нечистоплотной и необычайно тупой, дракон делает это, разумеется, руководствуясь инстинктом. Примитивные особы, не могущие понять, как сие происходит, петушась, домогаются увидеть это самое конфигурационное пространство, не ведая того, что электроны, существования коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от волн вероятности. Впрочем, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов, чем драконов, поскольку электроны, по меньшей мере в одиночку, не лягаются.

Коллега Трурля, Гарборизей Кибр, первым проквантовал дракона, введя константу, называемую дракнетоном, которой, как известно, кратны числители драконов; он определил также кривизну их хвоста, за что едва не поплатился жизнью. Но разве же интересовал этот успех широкие слои населения, страдавшего от драконов, которые вытаптыванием посевов, общей своей назойливостью, ревом и испусканием пламени наносили огромный ущерб, а кое-где даже требовали дани в виде девиц? Разве же интересовал несчастных обывателей тот факт, что драконы Трурля, будучи индетерминированными, а стало быть, нелокальными, ведут себя, хоть и в согласии с теорией, однако вопреки всяким приличиям, что теория эта предсказывает кривизну их хвостов, уничтожающих села и нивы? Стоит ли удивляться, если широкие слои, вместо того чтобы по-настоящему оценить достижения Трурля, совершившие подлинный переворот в научных воззрениях, поставили их ему в вину, а кучка заядлых обскурантов даже чувствительно побила знаменитого конструктора. Однако Трурль вместе со своим другом Клапауцием неутомимо продолжал исследования. Из них вытекало, что дракон существует на уровне, зависящем от его настроения и от состояния общего насыщения, а также что единственным надежным методом ликвидации является сведение вероятности к нулю и даже к отрицательным значениям. Как не понять, что эти исследования требовали много труда и времени, а между тем драконы, находясь на свободе, свирепствовали в свое удовольствие, опустошая многочисленные пла-

неты и спутники, и, что еще прискорбней, даже плодились. Это дало Клапауцию повод опубликовать блестящую работу под заглавием «Ковариантные переходы от драконов к драконьим отродьям как частный случай перехода из состояний, запретных физически, в состояния, запрещенные полицией». Эта работа наделала много шума в научном мире, где все еще широко обсуждался знаменитый полицейский дракон, посредством которого бравые конструкторы отомстили злому царю Жестокусу за несчастья своих неоплаканных коллег. Какие ж возникли пертурбации, когда стало известно, что некий конструктор по имени Базилей и по прозванию Эмердуанский, путешествуя по всей Галактике, одним лишь своим присутствием вызывал появление драконов там, где до этого их никто в глаза не видел! Когда ощущение отчаяния и национальной катастрофы достигало кульминации, он являлся к властелину данного государства, чтобы, поторговавшись вволю и взвинтив гонорар до головокружительных размеров, заняться истреблением чудовищ. Последнее ему почти всегда удавалось, хотя никто не знал, каким способом, ибо он действовал скрытно и в одиночку. Впрочем, Базилей лишь статистически гарантировал успех драколиза, а с той поры, как некий монарх воздал ему лучшим за хорошее, уплатив дукатами, полновесными также лишь статистически, он стал подвергать унизительному исследованию посредством царской водки природу желтого металла, которым ему платили. В эту-то пору Трурль и Клапауций встретились в один погожий денек и между ними произошел следующий разговор:

— Ты слышал об этом Базилее? — спросил Трурль.

— Слышал.

— Что ты скажешь?

— Не нравится мне вся эта история.

— Мне также. Что ты о ней думаешь?

— Он пользуется усилителем.

— Вероятности?

— Да. Или резонансной системой.

— Может, генератором василисков?

— Ты имеешь в виду дракотрон?

— Да.

— По существу, это вполне возможно.

— Но ведь, — воскликнул Трурль, — это было бы низостью! Это означало бы, что частично он привозит змеев с собой, толь-

ко в потенциальном состоянии, с вероятностью, близкой к нулю. Когда обживется и оглядится, начинает все увеличивать и увеличивать их вероятность, усиливает их, пока они не достигнут достоверности, и тут-то, разумеется, наступает виртуализация, конкретизация и зримая тотализация.

— Ясно. К тому же он, наверное, подскабливает матрицу и увеличивает вероятность перехода виртуального змея в бешеного василиска.

— Да, страшнее бешеного василиска, пожалуй, ничего уж не бывает.

— А как ты думаешь, он потом аннулирует их аннигиляционным ретрокреатором или же лишь снижает временно вероятность и удирает, прихватив монету?

— Трудно сказать. Если он лишь понижает вероятность, то это еще большая низость, ведь рано или поздно флуктуации вакуума вызывают возникновение змеематрицы, и тогда вся история начинается сначала.

— Да, но ни его самого, ни денежек тогда уж не сыщешь... — буркнул Клапауций.

— Как ты думаешь, не стоит ли написать об этом деле в Главное Бюро Регулирования Драконов?

— Чего не стоит, того не стоит. В конце-то концов он, быть может, этого и не делает. У нас нет уверенности и никаких доказательств. Статистические флуктуации возникают и без усилителя; раньше не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись. Попросту случайно.

— Так-то оно так, — согласился Трурль, — однако ж чудовища появляются только после прибытия Базилея на планету!

— Верно. Но писать об этом не стоит, все же он — коллега по профессии. Пожалуй, мы сами предпримем некоторые шаги. Как ты думаешь?

— Можно.

— Хорошо. Однако что делать?

Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональный спор, из которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка; до него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие как «счетчик драконов», «нехвостатое преобразование», «слабые змеевзаимодействия», «дифракция и рассеяние драконов», «жесткий горыныч», «мягкий горыныч», «draco probabilisticus», «полосатый спектр василиска», «змей в воз-

бужденном состоянии», «аннигиляция пары василисков с яростью и антияростью в поле всеобщего безголовья» и т. п.

Результатом этого глубокого анализа явилось путешествие, третье по счету; конструкторы готовились к нему очень старательно, не преминув нагрузить свой корабль множеством сложных приборов. Так, например, они взяли с собой диффузатор и специальную пушку, стреляющую антиголовами. Во время путешествия конструкторы высадились на Энтии и Пентии, а затем на Керулее и после этого поняли, что не смогут прочесать всю местность, охваченную бедствием, — для этого им пришлось бы разорваться на части. Проще было, очевидно, разделить экспедицию, и после обсуждения в рабочем порядке каждый из них отправился в свою сторону. Клапауций долго работал на Престопондии, приглашенный туда императором Дивославом Амфитритием, который соглашался отдать ему дочь в жены, лишь бы избавиться от чудовищ, ведь драконы высокой вероятности забредали даже на улицы стольного града, а виртуальными вся округа так и кишела. Правда, виртуальный дракон, по мнению наивных и серых обывателей, «не существует», то есть не может быть наблюден каким-либо способом, равно как и не совершает никаких действий, свидетельствующих о его появлении, однако исчисление Кибра — Трурля — Клапауция — Миногия, и в первую очередь змееволновое уравнение, отчетливо показывает, что дракону легче проделать путь из конфигурационного пространства в реальное, чем ребенку от дома до школы. Поэтому при глобальном возрастании вероятности в жилищах, погребах и на чердаках можно было наткнуться на дракона и даже на супердракона.

Погоня за драконами не привела бы к ощутимым результатам. Понимая это, Клапауций, как истый теоретик, принялся за работу методично: он расставил на площадях и скверах, в градах и весях вероятностные змеередукторы, и вскоре чудовища стали величайшей редкостью. Получив наличные, почетный диплом и переходящее знамя, Клапауций отбыл, намереваясь отыскать своего друга. По дороге он заметил, как кто-то отчаянно машет ему с планеты. Сочтя, что это, быть может, Трурль, с которым приключилась беда, Клапауций совершил посадку. Однако сигналы подавал не Трурль, а жители Трюфлежории, подданные царя Пестроция. Эти туземцы исповедовали всяческие суеверия и примитивные верования, религия же их, называемая пневматическим драконизмом, утвержда-

ла, что драконы посылаются как кара за грехи и наделены душами, хотя и нечистыми. Смекнув, что вступать в спор с драконологами его величества было бы по меньшей мере опрометчиво, ибо их методы ограничивались каждением в местах, посещаемых драконами, и раздачей мощей, Клапауций предпочел приняться за работу в полевых условиях. Фактически на планете обитало лишь одно чудище, но из ужаснейшего рода Эхидных. Клапауций предложил царю свои услуги. Тот, однако, не сразу дал ответ, подчиняясь, очевидно, влиянию бессмысленной догмы, относившей причину возникновения драконов к потустороннему миру. Из местных газет Клапауций узнал, что одни считают Эхидну, которая здесь резвится, единичным экземпляром, другие же — существом множественным, способным находиться одновременно во многих точках. Это дало ему пищу для размышлений, хотя он не испытал ни малейшего удивления, ибо локализация этих противных тварей подчиняется так называемым змееаномалиям, некоторые же образчики, особенно склонные к рассеянности, «размазываются» по всему пространству, а это уж составляет вполне обычный эффект изоспинового усиления квантового импульса. Вынырнув из конфигурационного пространства в реальное, дракон выглядит словно множество драконов, хотя в сущности они — единое целое, подобно пяти внешне совершенно независимым друг от друга пальцам руки, показавшейся из воды. Под конец очередной аудиенции Клапауций спросил царя, не побывал ли на планете Трурль; при этом он подробно описал внешний вид друга. Каково же было удивление драковеда, когда ему сказали, что его коллега, разумеется, гостил недавно в царстве Пестроциевом и даже взялся за устранение Эхидны, получил аванс и отправился в близлежащие горы, где драконесса прогуливалась особенно часто, но на другой день вернулся и потребовал весь гонорар, а в доказательство своего триумфа показал сорок четыре драконьих зуба. Однако тут возникли некоторые недоразумения, и выплату пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Тогда Трурль, поддавшись сильному порыву гнева, громко и неоднократно выражал свое мнение о монархе, власти предержащей, что смахивало на оскорбление величества, а затем удалился в неизвестном направлении. С того дня даже слух о нем канул в небытие, зато Эхидна появилась вновь, словно с ней ничего не случилось, и с еще большей свирепостью стала, ко всеобщему огорчению, опустошать грады и веси.

Весьма туманной показалась эта история Клапауцию, однако подвергать сомнению истинность слов, исходящих из монарших уст, затруднительно, поэтому он взял ранец, наполненный сильнейшими змеебойными средствами, и в одиночку пошел по направлению к горам, снежный хребет которых величественно возвышался над восточной частью горизонта.

Вскоре Клапауций обнаружил на скалах первые следы чудовища. Впрочем, если бы он не заметил их, о чудовище дал бы знать характерный удушливый запах сернистых выделений. Клапауций бесстрашно двигался вперед, готовый в любое мгновение применить оружие, висевшее у него на плече, и ежеминутно поглядывал на стрелку счетчика драконов. Некоторое время она стояла на нуле, затем, нервно подрагивая и как бы преодолевая невидимое сопротивление, медленно подползла к единице. Теперь не оставалось сомнения, что Эхидна находится поблизости. Это безмерно удивляло конструктора, у него в голове не укладывалось, как его испытанный друг и знаменитый теоретик, каким был Трурль, промазал в вычислениях и не уничтожил драконессу. Трудно было также поверить, что, не убив драконессу, он вернулся к царскому двору, требуя платы за невыполненную работу.

Вскоре Клапауций повстречал колонну местных жителей, по всей видимости, безмерно угнетенных: беспокойно озираясь по сторонам, они старались держаться поближе друг к другу. Согбенные под ношей, давящей на спину и голову, туземцы шли гуськом вверх по склону. Поздоровавшись, Клапауций остановил отряд и спросил ведущего, что они тут делают.

— Сударь, — ответил ему этот царский чиновник низшего ранга, одетый в видавший виды доломан, — мы несем дань дракону.

— Дань? Ага! А что ж это за дань?

— Здесь все, чего дракон пожелал, сударь: золото, драгоценные камни, чужеземные благовония и множество иных предметов величайшей ценности.

Тут удивлению Клапауция не стало границ, ведь драконы никогда не требуют подобной дани и уж заведомо не жаждут ни ароматов из дальних стран, не способных заглушить их природную вонь, ни наличных денег, с коими они не знали бы что делать.

— А девиц дракон не возжелал, добрый человек? — спросил Клапауций.

— Нет, сударь. Раньше-то, конечно, бывало. Еще летошний год водил я их к нему, по три пятка или по дюжине, согласно его аппетиту. Но с той поры, сударь, как пришел сюда один чужой, чужестранец значит, и ходил по горам с ящичками и аппаратами, один-одинешенек... — Тут добряк в нерешительности умолк, с беспокойством разглядывая инструменты и оружие Клапауция, особенно его тревожила огромная шкала счетчика драконов, который беспрестанно потикивал и подрагивал красной стрелкой на белом щитке.

— А одет он был точь-в-точь как ваша милость! — сказал чиновник дрожащим голосом. — Точь-в-точь такая амуниция и вообще...

— Я купил это по случаю на ярмарке, — сказал, стремясь усыпить подозрительность добряка, Клапауций. — А скажитека мне, мои дорогие, не знаете ли вы, часом, что сталось с тем чужестранцем?

— Что, значит, с ним сталось? Этого-то мы и не знаем, сударь. Было, значит, так. Недели две тому... Эй, кум Барбарон, правду я говорю? Две недели, не больше?

— Правду молвишь, кум староста, правду, отчего ж нет? Недели две тому будет, либо четыре, а может, и шесть.

— Ну, пришел он, сударь, зашел к нам, закусил, ничего не скажу: хорошо заплатил, поблагодарил, коль тут нет дурного, так уж нет, ничего нельзя сказать, огляделся, по срубу постучал, про цены все спрашивал, что летошний год стояли, аппараты поразложил, с циферблатиков что-то себе записывал быстро-быстро, так что у него даже бляхи подпрыгивали, но подробно, одно за другим, в книжечку такую, красную, что за пазухой носил, а потом этот — как его там, кум? — тер... темпер... тьфу, не выговоришь!

— Термометр, кум староста!

— Ну конечно, так! Термометр этот вынул и говорит, что он против драконов, и туда его совал и сюда, снова все записал, сударь, в ту свою тетрадочку, аппараты в мешочек засунул, мешочек за плечи, попрощался и пошел. И больше мы его, сударь, уж не видели. Ино так было. Той самой ночью что-то заухало и загромыхало, однако далеко. Будто за Мидраговой горой, за той, стало быть, сударь, что возле вершинки с соколиком таким наверху, Пестроциевой она зовется, потому что напоминает нам государя пресветлого нашего, а та, с другой-то стороны, поприжатей, как, с позволения вашей милости, ягодица к

ягодице, зовется Смоляной, а пошло это от того, сударь, что один раз...

— Не стоит про эти горы рассказывать, добрый человек, — прервал его Клапауций. — Так вы говорите, той ночью что-то ухнуло. А что произошло потом?

— Потом? А потом ничего уж, сударь, не произошло. Как ухнуло, так изба пошла ходуном, а я так на пол с лежанки скатился. Да только мне это нипочем, иной раз как драконихо о дом зад почешет, еще и не так грохнешься; к примеру, взять Барбаронова брата, того даже в кадушку с бельем тиснуло, они аккурат стирали, когда драконихе об угол потереться захотелось...

— Ближе к делу, любезный, ближе к делу! — воскликнул Клапауций. — Итак, что-то ухнуло, вы свалились на пол, а что же случилось дальше?

— Да я ж вам, сударь, ясно сказал, что ничего не случилось. Если бы что-нибудь было, так было б о чем говорить, а как ничего не случилось, так и нет ничего стоящего, чтоб губами похлопать. Так я говорю, кум Барбарон?!

— Так оно и есть, кум староста.

Кивнув головой, Клапауций зашагал прочь, а носильщики двинулись тем временем вниз, сгибаясь под тяжестью драконьей дани; драколог догадался, что они сложат ее в указанной драконом пещере, но выспрашивать подробности не хотел, от разговора со старостой и его кумом змееборца прошиб пот. Впрочем, еще раньше он слышал, как один из местных жителей говорил другому, что дракон «такое место выбрал, чтоб и ему было близко, и нам...»

Клапауций шел быстрым шагом, выбирая путь по пеленгу индикатора василисков. Этот прибор он повесил себе на шею; не забывал он также и о счетчике, однако тот неизменно показывал ноль целых восемь десятых дракона.

«Неужто я наткнулся на одного из дискретных драконов, черт подери?» — раздумывал Клапауций, вышагивая, но ежеминутно останавливаясь, ибо лучи солнца немилосердно жгли, а в воздухе стоял сильный зной; казалось, поверхность раскаленных скал колышется; вокруг — ни листка растительности, только наносная почва, спекшаяся в углублениях скал, и выжженные каменные поля, тянущиеся к величавым вершинам.

Прошел час, солнце уже передвинулось на другую половину неба, а храбрец все еще шагал по осыпям, перебираясь че-

рез гряды скал, пока не очутился среди узких ущелий и трещин, наполненных холодной мглой. Красная стрелка подползла к девятке перед единицей и, подрагивая, замерла.

Клапауций положил ранец на скалу и принялся вытаскивать змеефузею, когда стрелка быстро заколебалась. Он выхватил редуктор вероятности и окинул быстрым взглядом окрестности. Стоя на скалистой гряде, драколог мог заглянуть в глубину ущелья: там что-то передвигалось.

«Нет сомненья, это она!» — подумал Клапауций, ибо Эхидна — женского рода.

«Быть может, именно по этой причине, — мелькнула у него мысль, — чудовище и не требует девиц? Впрочем, в прежние времена она охотно их принимала. Странно все это, странно, но сейчас важнее всего взять ее получше на мушку, и тогда все кончится благополучно!» — подумал он и на всякий случай еще раз сунул руку в мешок за дракодеструктором, поршень коего втаптывает драконов в небытие. Клапауций выглянул из-за края скалы. По узенькой котловине, дну высохшего потока, серо-бурая, с запавшими, словно от голода, боками передвигалась драконiха гигантских размеров. Беспорядочные мысли пронеслись в голове Клапауция. Может, аннигилировать драконессу, изменив знак драконьей матрицы с плюса на минус, в результате чего статистическая вероятность недракона одержит верх над драконом? Но это очень рискованно, если учесть, что малейшее отклонение может привести к катастрофической разнице в результатах; иногда в такой переделке вместо недракона получался неодракон. Сколь многое зависит всего лишь от одной буквы! К тому же тотальная депробабилизация сделала бы невозможным исследование природы Эхидны. Клапауций заколебался, перед его мысленным взором возник нежно любимый образ огромной драконьей шкуры в кабинете, между окном и библиотекой; однако предаваться мечтам не оставалось времени, хотя иная возможность — подарить экземпляр со столь специфическими наклонностями дракозоологу — и промелькнула в голове Клапауция, когда он опускался на колено; конструктор успел все же подумать, какую статейку удалось бы опубликовать в научном журнале на базе хорошо сохранившегося экземпляра, поэтому он переложил фузею с редуктором в левую руку, а правой схватил главомет, заряженный антиголовой, старательно прицелился и нажал на спуск.

Главомет оглушительно рявкнул, жемчужное облачко дыма окутало ствол и Клапауция, так что тот на мгновение потерял чудовище из виду. Однако дым тотчас рассеялся.

В старых небылицах рассказывается много ложного о драконах. Например, утверждается, что драконы имеют иной раз до семи голов. Этого никогда не бывает. Дракон может иметь только одну голову — наличие двух тут же приводит к бурным спорам и ссорам; вот почему многоглавцы, как их называют ученые, вымерли вследствие внутренних распрей. Упрямые и тупые по своей природе, эти монстры не выносят ни малейшего противоречия; вот почему две головы на одном теле приводят к быстрой смерти, ведь каждая из них, стараясь насолить другой, воздерживается от приема пищи и даже злонамеренно прекращает дыхание — с вполне однозначным результатом. Именно этот феномен использовал Эйфории Сентиментус, изобретатель антиглавой пищали. В тело дракона вбивают выстрелом миниатюрную, удобную электронную головку, тут же начинаются скандалы, раздоры, а в результате дракон, словно параличом разбитый, одеревенев, торчит на одном месте сутки, неделю, иногда месяцы; иногда истощение одолевает дракона только через год. В это время с ним можно делать что угодно.

Однако дракон, подстреленный Клапауцием, вел себя по меньшей мере странно. Он поднялся, правда, на задние лапы, издавая рев, коим вызвал щебневый оползень на склоне, и стал бить хвостом о скалы, наполнив запахом высекаемых искр все ущелье, а после этого почесал себя за ухом, кашлянул и преспокойно двинулся дальше, разве что более быстрой трусцой. Не веря собственным глазам, Клапауций помчался по скалистой гряде, стараясь сократить путь к устью высохшего потока, — теперь уж не какая-то научная работенка, не пара-другая статей в «Трудах института драконов» мерещилась ему, а по меньшей мере монография на меловой бумаге с портретами дракона и автора!

У поворота теоретик присел за скалу, приложился глазом к антивероятностной мортирке, прицелился и привел в действие депоссибилизатор. Ложе ствола дрогнуло у него в руке, раскаленное оружие окуталось дымкой, вокруг дракона, как предвестник непогоды вокруг луны, появилось гало. Однако дракон не сгинул! Еще раз сделал Клапауций дракона вполне невероятным; интенсивность импоссибилитационности стала столь высокой, что пролетавшая бабочка принялась передавать азбу-

кой Морзе вторую «Книгу джунглей», а среди скальных завалов замелькали тени колдуний, ведьм и кикимор, отчетливый же топот копыт возвестил, что где-то позади дракона гарцуют кентавры, извлеченные из небытия чудовищной интенсивностью мортирки. Однако дракон, словно ничего не произошло, грузно присел, зевнул и принялся с наслаждением чесать задними лапами обвисшую кожу на горле. Раскаленное оружие обжигало Клапауцию пальцы, он отчаянно нажимал курок, ибо ничего подобного до сих пор ему переживать не доводилось; ближние камни, из тех, что помельче, медленно поднимались в воздух, а пыль, которую чешущийся дракон выбрасывал из-под седалища, вместо того чтобы беспорядочно осесть, сложилась в воздухе, образовав вполне разборчивую надпись: «СЛУГА ГОСПОДИНА ДОКТОРА». Стемнело — день превращался в ночь, компания известняковых утесов отправилась на прогулку, мирно беседуя о всякой всячине, словом, творились уже подлинные чудеса, однако ужасное чудовище, расположившееся на отдых в тридцати шагах от Клапауция, и не думало исчезать. Истребитель драконов отшвырнул мортирку, полез за пазуху, добыл противомонстровую гранату и, вверив свою душу матрице общеспинорных преобразований, метнул гранату в дракона. Раздался грохот, вместе с обломками скал в воздух взлетел хвост, а дракон совсем человеческим голосом завопил: «Караул!» — и помчался галопом вперед, прямо на Клапауция. Тот, видя столь близкую смерть, выпрыгнул из укрытия, судорожно сжимая дротик из антиматерии. Он взмахнул им, но тут снова раздался крик:

— Перестань! Перестань же! Не убивай меня!

«Что это, дракон заговорил?! — мелькнула у Клапауция мысль. — Нет, должно быть, я ошалел...»

Однако задал вопрос:

— Кто говорит? Дракон?

— Какой дракон! Это я!!!

Из рассеивающегося облака пыли вынырнул Трурль; он коснулся шеи дракона, повернул там что-то, гигант медленно опустился на колени и замер с протяжным скрежетом.

— Что это за маскарад? Что это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты в нем делал? — Клапауций забросал друга вопросами.

Трурль, отряхивая покрытую пылью одежду, отбивался от него:

— Откуда, что, где, как... Дай же мне сказать! Я уничтожил дракона, а царь не пожелал со мной расплатиться...

— Почему?

— Наверно, от скаредности, не знаю. Сваливал все на бюрократию, говорил, что должен быть составлен протокол приемочной комиссии, произведен обмер, вскрытие, что должна собраться тронная производственная комиссия, и то, и се, а верховный страж сокровищ уверял, что не имеет понятия, по какой статье платить, поскольку платеж этот нельзя провести ни по фонду заработной платы, ни по безличному фонду, одним словом, хоть я просил, настаивал, ходил в кассу, к царю, на совещания, никто не хотел со мной даже разговаривать; а когда они потребовали от меня автобиографию с двумя фотографиями, мне пришлось убираться, но, к сожалению, дракон пребывал уже в необратимом состоянии. Вот я и содрал с него шкуру, нарезал побегов орешника, потом отыскал старый телеграфный столб, а большего и не требовалось; набил чучело, ну и... и стал прикидываться...

— Не может быть! Ты прибег к столь постыдной уловке? Ты?! Но зачем же, ведь тебе за это не платили? Ничего не понимаю.

— Экий ты тупой! — снисходительно пожал плечами Трурль. — Да ведь они приносили мне дань! Я получил больше, чем причиталось.

— А-а-а!!! — Эта истина наконец дошла до Клапауция. Однако он тут же добавил: — Но ведь вымогать некрасиво...

— С чего ж это некрасиво? А разве я делал что-нибудь дурное? Прохаживался по горам, а вечерами немного подвывал. Уж тут я намахался... — добавил он, присаживаясь рядом с Клапауцием.

— О чем это ты? О реве?

— Да нет же, ты и двойку с двойкой сложить не умеешь! При чем тут рев? Каждую ночь я вынужден таскать мешки с золотом из пещеры, обусловленной договором, вон туда, на гору! — Трурль указал рукой на удаленный горный хребет. — Я подготовил там стартовую площадку. Поносил бы сам двадцатипудовые мешки с сумерек до рассвета, тогда бы понял! Ведь дракон-то никакой не дракон, одна шкура весит две тонны, а я ее таскать на себе должен, реветь, топать — это днем, а ночью — мешки таскать. Я рад, что ты приехал, с меня уже этого хватит.

— Но отчего же, собственно, этот дракон, то есть это набитое чучело, не сгинул, когда я уменьшил вероятность вплоть до чудес? — пожелал еще узнать Клапауций.

Трурль откашлялся, как бы немного смущенный.

— Из-за моей предусмотрительности, — пояснил он. — В конце-то концов я мог напороться на какого-нибудь дурака-охотника, хотя бы на Базилея, поэтому я вставил в нутро, под шкуру, экраны противовероятностные. А теперь пошли, там осталась еще пара мешков платины, они — самые тяжелые из всех, не хотелось бы нести одному. Вот и превосходно, ты мне поможешь...

Путешествие четвертое, или О том, как Трурль женотрон применил, желая королевича Пантарктика от томления любовного избавить, и потом к Детомету прибегнуть пришлось

Однажды на рассвете, когда Трурль пребывал во сне глубочайшем, застучали в дверь жилища его с такой силой, словно пришелец желал одним махом оную дверь с петель сорвать. И когда Трурль, с трудом глаза раскрыв, отодвинул засов, то предстал взору его на фоне светлеющего неба огромный корабль, подобный сахарной голове невероятной величины или пирамиде летающей, а из нутра того исполина, севшего пред его окнами, по широким сходням длинными вереницами спускались ублюды навьюченные, а облаченные в бурнусы и тюрбаны, аккуратно в черный цвет окрашенные роботы сгружали перед домом тюки, да с такой

Wyprawa czwarta, czyli O tym, jak Trurl Kobietron zastosował, królewiecza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić, i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło, 1965. © Перевод. Ю. Абызов, 1967.

быстротой, что спустя самую малость не понимающего, что это может означать, Трурля окружал не перестающий расти полукруг набитых вьюков, на манер шанцев, только узенький проход остался. И по тому проходу шествовал к нему электрыцарь невиданного облика — глаза в виде звезд вырезаны, радарные антеннки лихо вверх закручены, роскошный плащ драгоценностями усыпан. Перекинул этот достославный кавалер свой плащ через плечо, снял стальную шляпу и голосом мощным, хоть и мягким, словно бархат, вопросил:

— Имею ли я честь зреть господина Трурля, премногоблагородного конструктора сих мест?

— Да, конечно, это я... Может, войдете?.. Не обессудьте за беспорядок... Я не ведал, то бишь спал я... — бормотал ошеломленный Трурль, запахивая на себе жалкое одеяние: только сейчас заметил он, что на нем одна ночная рубашка, притом давно тосковавшая по корыту.

Однако изысканный электрыцарь, казалось, не замечал упущений в одеянии Трурля. Еще раз приподняв шляпу, которая со звоном дрожала над его сводчатой головой, он грациозно прошел в дом. Трурль, извинившись, на минуту оставил его и, кое-как приведя себя в порядок, снова спустился, перепрыгивая через две ступеньки. На дворе тем временем уже рассвело, и солнце сверкало на белых тюрбанах черных роботов, которые, грустно и заунывно выводя старую невольничью песню «Где пропадал ты, черный барашек», шпалерами по четыре окружили дом и корабль-пирамиду. Трурль увидел это в окно, усаживаясь напротив гостя, который ослепительно взглянул на него, после чего произнес такие вот слова:

— Планета, с которой я прибыл к вам, досточтимый конструктор, переживает расцвет средневековья. А посему, государь мой, извольте простить мне, что я такую конфузию учинил, не вовремя приземлившись. Одно прошу принять во внимание: мы никоим образом не могли предвидеть, что в данной точке, сиречь пункте планеты вашей славной, где сие домовладение обретается, еще ночь власть свою простирает и лучам солнечным преграду чинит.

Тут он откашлялся, как будто кто дивно в губную гармошку дунул, и продолжил:

— Отрядил меня к вашей милости государь мой и повелитель — Его Королевское Величество Протрудин Астерийский,

сеньор объединенных планет Ионита и Эприта, наследный монарх Аневрии, император Моноции, Бипроксии и Трифилиды, великий князь Барномальверский, Эборкидский, Кляпундряньский и Траганторонский, граф Эвкалипский, Трансфиорский и Фортрансминский, паладин Серобурии, барон Вристридадрицкий, Тякисякохватский и Продранододнавский, равно как и самодержец Мадалии, Видалии, Егдалии и Такдалии — за тем, чтобы я от его всемогущего имени просил вашу светлость пожаловать в нашу страну в качестве долгожданного и многочаемого спасителя престола, единственно способного уберечь страну от всеобщего траура, в каковой ввергла нас несчастная любовь Его Королевского Высочества престолонаследника Пантарктика.

— Ведь я же не... — быстро начал Трурль, но посланец, сделав краткий жест, означавший, что он еще не кончил, продолжал тем же стальным голосом:

— Взамен за милостивое внимание, за прибытие и помощь в беде, от коей страдают государственные интересы, Его Королевское Величество Протрудин моими устами обещает, заверяет и клянется осыпать Вашу Конструктивность такими милостями, что до конца дней Ваша Сиятельность преизбыточествовать будет. В частности же, авансом или, как говорится, в задаток, нарекаешься ты с этой минуты, — тут посланец встал, извлек шпагу и продолжал, плашмя ударяя ею Трурля при каждом слове, так что у того плечи прогибались, — почетным князем удельным, Мурвидраупским, Тошнотским, Срамотийским и Вассолским, потомственным графом Тленским и Гладоморским, курфюрстом осьмипалочником — Бразелупским, Гдетотамским и Праталакским, маркизом Гунду-Лундским, чрезвычайным губернатором Флуксии и Пруксии, а также капитульным генералом ордена Бездектинских Мендитов и великим нахлебником герцогства Бито-Пито-и-Ламцадрито с положенным этим званиям особливым правом на салют из двадцати одного орудия при пробуждении и отходе ко сну и на фанфары после обеда, Тяжким Инфинитезимальным крестом и увековечением: многорядным — в эбеновом дереве, многосторонним — в сланце и многократным — в золоте. В доказательство же своих милостей мой король и господин посылает тебе вот эти безделки, коими я осмелился кров твой обложить.

И впрямь, тюки уже затмили дневной свет, и он еле проникал в комнату.

Посланец кончил говорить, но красноречиво поднятой руки еще не опускал, видимо, по рассеянности. Поелику он молчал, Трурль сказал:

— Я премного благодарен Его Королевскому Величеству Протрудину, но любовные дела, сами понимаете, не моя специальность. Впрочем... — добавил он, чувствуя на себе ослепительный, точно бриллиант размером с булыжник, взгляд посланца, — может быть, вы изложите, в чем там, собственно, дело?..

Посланец кивнул:

— Дело, сударь, простое! Наследник трона влюбился в Амарандину Кибернинскую, единственную дочь владыки Араубрарии, сопредельной с нами державы. Однако вражда сугубо застарелая разделяет наши страны, и, когда милостивый владыка наш после неустанных просьб королевича обратился к императору относительно руки Амарандины, ответ был категорически отрицательный. С тех пор миновали год и шесть дней, наследник на глазах тает, и нет средства вернуть его рассудок.

И нет никакой надежды, опричь Вашей Лучезарной Светлости.

Тут знатный вельможа поклонился, Трурль же кашлянул и, видя ряды воинов за окнами, ответствовал слабым голосом:

— Не представляю, чем я бы мог... Но... коль скоро королю угодно... Что ж... я, разумеется...

— Вот именно, — воскликнул посланец и хлопнул в ладоши так, что металл зазвенел. Немедля двенадцать черных как ночь латников вбежали с грохотом в дом и, схватив Трурля, на руках внесли его в корабль, который выстрелил двадцать один раз, поднял трапы и с развевающимся флагом величественно устремился в пучину небесную.

В пути вельможа, который был Главным Королевским Панцирничим, рассказал Трурлю в подробностях о романтической, равно как и драматической истории ударившегося в любовь королевича. Сразу же по прибытии, после торжественной встречи и следования через город среди флагов и толп конструктор взялся за дело. Рабочим местом он определил себе чудесный королевский парк; находящийся же в нем Храм Задумчивости превратил за три недели в невиданную конструкцию из металла, проводов и полыхающих экранов. И был это, как он объяснил королю, женотрон — приспособление, употреб-

ляемое в роли как тренажера, так и тотального эротора с обратной связью. Тот, кто находился внутри аппарата, в один миг изведать мог прелести, чары, ласки-сказки, нежный шепот и охи-вздохи, присущие сразу всему прекрасному полу Космоса. Женотрон, в который Трурль переделал Храм Задумчивости, имел выходную мощность в сорок мегамуров, причем эффективная отдача в спектре проникающей сладострастности достигала девяноста шести процентов, эмиссия же страсти, измеряемая, как всегда, в килолюбах, насчитывала их шесть на один дистанционно управляемый поцелуй. Кроме того, женотрон был снабжен обратным поглотителем безумия, каскадным внимательно-обнимательным усилителем и автоматом «первого взгляда», поелику Трурль стоял на точке зрения доктора Афродонта, создавшего теорию неожиданностного поля влюбления.

И еще имела эта чудесная конструкция разные вспомогательные приспособления — быстроходную флиртовальню, редуктор кокетонов и комплект ласкальчиков и ласкалищ; снаружи, в специальной стеклянной будке, виднелись огромные циферблаты приборов, с помощью которых можно было следить за ходом операции по обез-любливанию. Как показывали подсчеты, женотрон давал устойчивые положительные результаты в девяноста восьми случаях любовной суперфиксации из ста. А посему шансы на спасение королевича были преизрядные.

Сорок знатных пэров королевства четыре часа мягко, но неукоснительно увлекали и подталкивали королевича по парку к Храму Задумчивости, сочетая решительность действий с почтением к сану, ибо королевич отнюдь не желал подвергнуться обезлюбливанию и бодал, а равно и лягал своих придворных головой и ногами. Когда же наконец при посредстве многочисленных пуховых подушек принца впихнули в машину и захлопнули за ним клапаны, взволнованный Трурль включил автомат, который тут же принялся мерно отсчитывать: «Двадцать до нуля... девятнадцать до нуля... десять до нуля», — пока не произнес спокойным голосом: «Ноль! Старт!» — и синхроэротроны, включенные на всю мегамурную мощность, устремились на несчастную жертву столь неудачно обращенных чувств. Почти час вглядывался Трурль в стрелки приборов, подрагивавшие от предельного эротического напряжения, но, к сожалению, они не показывали существенных перемен. Неверие в результат процедуры все нарастало в нем, но теперь уже ничего

нельзя было сделать — приходилось ждать сложа руки. Он только проверял, падают ли гигапоцелуи под нужным углом, без излишнего рассеяния, имеют ли флиртовальня и ласкальчики должное число оборотов, одновременно следя и за тем, чтобы плотность поля была близкой к допустимой. Ведь важно было не то, чтобы пациент перевлюбился, переменив объект чувств — вместо Амарандины — машина, — а чтобы он полностью обезлюбел. Наконец люк в достодолжном безмолвии открыли. Когда же открутили зажимы, обеспечивающие герметичность, то вместе с клубом тончайшего аромата из полутемного помещения выпал бесчувственный королевич, рухнув на помятые розы, которые роняли лепестки, одурманенные непомерной концентрацией страсти. Подбежали верные слуги и, поднимая бессильное тело, услышали, как с бледных уст принца сорвалось одно только беззвучно произнесенное слово: «Амарандина». Сдержал Трурль проклятье, поняв, что все оказалось напрасным, понеже обуявшее королевича чувство оказалось при критической проверке сильнее всяких гигамуров и мегаласк женотроновых, вместе взятых. И любвемер, приложенный ко лбу бесчувственного королевича, в первый момент показал сто семь делений, а потом стекло его лопнуло и ртуть разлилась, трепеща, как будто и ей передался жар клокочущих чувств. Ничего первая попытка не дала.

Вернулся в свои покои Трурль чернее ночи, и если бы кто за ним следил, то услышал бы, как он ходит от стены к стене в поисках средств спасения. Но тут какой-то переполох в парке послышался. Это каменщики, что стену чинили, влезли любопытства ради в женотрон и как-то пустили его в ход. Пришлось пожарную команду вызывать — такие они вылетали оттуда горячие от страсти, что даже копоть валила.

Тогда применил Трурль другое устройство — комбинацию из отрезвителя и опошлителя. Но и эта вторая попытка — сразу упредим — провалилась. Не разлюбил королевич Амарандину, наоборот, еще больше в чувствах своих утвердился. Снова исходил Трурль много миль в своих покоях, до поздней ночи читал специальные труды, потом запустил ими в стену, а наутро попросил Панцирничего об аудиенции у короля. Представ же пред королем, он сказал так:

— Ваше Королевское Величество, Милостивый Государь, системы обезлюбливания, которые я применил, — самые мощ-

ные из возможных. Сын твой, покуда жив, не даст себя обезлюбить — вот истина, которую я должен прямо Вашему Величеству выложить.

Король молчал, подавленный этой вестью, а Трурль продолжал:

— Разумеется, я мог бы его ввести в заблуждение, синтезировать Амарандину по имеющимся у меня параметрам, но рано или поздно королевич проведал бы об обмане, как только до него дошли бы вести о настоящей принцессе. А посему остается только один путь: королевич должен жениться на принцессе.

— О чужеземец! Так в этом-то вся штука, что император не выдает ее за моего сына!

— А если бы он сдался? Если бы ему пришлось вести переговоры и, как побежденному, просить пощады?

— Ха! Тогда — наверное. Но неужели ты хочешь, чтобы я ввергнул две огромные державы в кровопролитную войну да еще с неясным исходом, только чтобы добиться для сына руки императорской дочери?! Быть того не может!

— Иного образа мыслей я и не ожидал от Вашего Королевского Величества, — спокойно сказал Трурль. — Но ведь войны бывают разные, а та, которую я замыслил, воистину бескровная. Мы вовсе и не будем нападать на державу императора с оружием. Ни одного обывателя жизни не лишим, *а совсем даже наоборот*.

— Как это понять? Что ты такое говоришь, почтенный? — воскликнул удивленный король.

По мере того как Трурль излагал свой хитроумный прожект на ухо королю, мрачный доселе облик государя понемногу прояснялся, покамест он не воскликнул:

— Так делай то, что ты замыслил, дорогой чужеземец, и да поможет тебе небо!

С утра королевские кузни и мастерские принялись изготовлять по планам Трурля изрядное число метательных приспособлений, сверхмощных, но совершенно неведомого назначения. Расставили их по планете, укрыв сетками обманными, чтобы никто ничего не разглядел. А Трурль той порой сидел день и ночь в королевской кибергенетической лаборатории, следя за таинственными котлами, в коих булькало загадочное варево. Но если бы какой-нибудь лазутчик попробовал прознать что-нибудь, то ничего бы не выведал, кроме того, что время от времени в запертых наглухо лабораторных залах слы-

шится писк, а докторанты и ассистенты лихорадочно бегают с грудами пеленок.

Бомбардировка началась спустя неделю, в полночь. Заряженные старыми пушкарями стволы нацелились в белую звезду — державу императора — и открыли огонь, только не смерто-, а живоносный. Ведь Трурль стрелял младенцами, и его детометы засыпали императорские владения мириадами скулящих сосунков, которые, быстро подрастая, облепляли пеших и конных, и было их столько, что от хныканья, «мама», «агу», равно как и от «пипи» и «а-а», воздух содрогался и перепонки лопались. И длился этот детский потоп до тех пор, пока экономика империи не сдала и в глаза всем не заглянул призрак катастрофы. А с неба, толстенькие и веселенькие, все спускались карапузики и пузанчики, так что день в ночь превращался, когда они совокупно пеленками развевали. И пришлось тогда императору просить пощады у короля Протрудина, который обещал прекратить бомбардировку при условии, что сын его сможет на Амарандине жениться, на что император с превеликой готовностью согласился. Детометы сей же час застопорили, женотрон ради вящей безопасности Трурль собственноручно разобрал и первым шафером, в наряде, алмазами переливающемся, с маршальским жезлом в руке, возглашал тосты на свадебном пиршестве. Потом нагрузил ракету дипломами и ленными пожалованиями, от короля и императора полученными, и отбыл, ублаженный, домой.

Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона

Не жестокостью досаждал своим подданным король Балерион Кимберский, а пристрастием к увеселениям. И опять же — ни пиров он не устраивал, ни оргиям ночным не предавался; невинные забавы были милы сердцу королевскому: в горелки, в чижика либо в палочку-выручалочку готов был он играть с утра до вечера; однако всему предпочитал Балерион прятки. Ежели требовалось принять важное решение, подписать декрет государственного значения, побеседовать с послами чужезвездными или же дать аудиенцию какому-либо маршалу, король немедля прятался и под страхом суровейших наказаний повелевал себя искать. Бегали тогда придворные по всему дворцу, заглядывали в башни и рвы, простукивали стены, так и этак переворачивали трон, и поиски эти нередко затягивались, ибо король каждый раз придумывал новые тайники и укрытия. Однажды не дошло до объявления сугубо важной войны лишь потому,

---

Wyprawa piąta, czyli O figlach króla Baleryona, 1965.
© Перевод. А. Громова, 1967.

что король, обвешавшись стекляшками и финтифлюшками, три дня висел в главном дворцовом зале, изображая люстру, и посмеивался исподтишка над отчаянной беготней придворных.

Тот, кто его находил, немедленно награждался званием Великого Открывателя Королевского; числилось таких Открывателей при дворе уже семьсот тридцать шесть. Ежели кто хотел попасть в доверие к королю, непременно следовало ему поразить монарха какой-то новой, неизвестной игрой. Нелегко это было сделать, ибо был король весьма сведущ в этом вопросе: знал и древние игры, например чет-нечет, и новейшие, с обратной связью, на манер кибернетического праздника весны, время от времени говорил он также, что все есть игра либо развлечение — и его правление, и весь свет.

Возмущали эти речи, легкомысленные и неразумные, степенных королевских советников, а более всех страдал старейшина дворцового совета, достопочтенный Папагастер из древнего рода матрицианского, видя, что для короля нет ничего святого и что даже собственное высочайшее достоинство решается он подвергать осмеянию.

Наибольший, однако, ужас охватывал всех, когда король, поддавшись внезапному капризу, начинал игру в загадки-отгадки. С давних пор увлекался он этой игрой и еще во время своей коронации поразил великого канцлера вопросом, различаются ли между собой патер и матерь, и если да, то чем.

Король вскорости уразумел, что придворные, которым задает он загадки, не слишком тщатся их разгадывать. Отвечали они, лишь бы ответить, впопад и невпопад, что безмерно Балериона гневало. Изменилось дело к лучшему лишь с тех пор, как король заявил, что назначение на придворные должности будет зависеть от результатов отгадывания. Посыпались разжалования и пожалования, и весь двор волей-неволей участвовать начал в играх, придуманных его королевским величеством. К глубочайшему прискорбию, многие сановники решались обманывать короля, и тот, хоть и был добрым по натуре, такого поведения стерпеть не мог. Главный маршал королевский осужден был на изгнание за то, что на аудиенциях пользовался шпаргалкой, укрытой под горловиной панциря; вряд ли бы это обнаружилось, если б некий генерал, его недруг, не сообщил об этом потихоньку королю. Также и старейшине дворцового совета Папагастеру пришлось распрощаться со своей должностью, ибо не знал он, где находится самое темное место

в мире. По прошествии некоторого времени дворцовый совет состоял уже из самых ловких во всем государстве разгадывателей кроссвордов и ребусов, а министры и шагу не ступали без энциклопедии. Под конец достигли придворные такой сноровки, что давали правильные ответы еще прежде, чем король заканчивал вопрос, и дивиться этому не приходилось, поскольку и придворные, и король были постоянными подписчиками «Правительственной газеты», в которой вместо скучных приказов и указов публиковались преимущественно шарады и массовые игры.

Однако, по мере того как проходили годы, королю все меньше хотелось задумываться, и вернулся он поэтому к своему первому и самому любимому развлечению — к игре в прятки. А однажды, разыгравшись, установил совершенно небывалую награду для того, кто придумает самое лучшее укрытие в мире. Наградой этой назначил король драгоценность неоценимую, коронный бриллиант рода Кимберитов, из которого происходил Балерион. Камня этого дивного давно уже никто и в глаза не видел — долгие века пребывал он за семью замками в королевской сокровищнице.

Надо же было случиться, что Трурль и Клапауций во время очередного своего путешествия наткнулись на Кимберию. Весть о причуде королевской как раз облетела все государство, а потому быстро дошла и до конструкторов. Услыхали они это от местных жителей на постоялом дворе, где провели ночь, и отправились наутро ко дворцу, чтобы сообщить, что знают секрет укрытия, равных которому нет. Жаждущих награды явилось, однако, так много, что невозможно было сквозь толпу протискаться. Это пришлось конструкторам не по вкусу, и вернулись они на постоялый двор, решив на следующий день снова попытать счастья. Однако счастью надо хоть чуточку помогать; мудрые конструкторы об этом помнили, а посему Трурль каждому стражнику, который хотел их задержать, а потом и придворным, чинящим препятствия, молча совал в руку увесистую монету: а ежели тот не отступал, но, напротив, возмущался, Трурль тут же добавлял вторую, еще более увесистую; не прошло и пяти минут, а друзья уж очутились в тронном зале перед лицом его величества.

Весьма обрадовался король, услыхав, что такие прославленные мудрецы прибыли в его владения специально, чтобы одарить его сведениями об идеальном укрытии. Не сразу удалось

растолковать Балериону что да как, но разум его, с детства приученный к трудным загадкам, ухватил наконец, в чем суть дела, король возгорелся энтузиазмом, сошел с трона и, заверив двух приятелей в неизменной своей благосклонности, сказал, что наградой он их не обойдет при условии, что тут же сможет испробовать тайный рецепт. Клапауций, правду говоря, не хотел сообщать рецепт, бормоча сквозь зубы, что следовало бы ранее написать, как положено, договор на пергаменте, с печатью и шелковой кистью, однако же король неотступно молил их и клялся всем святым, что награда им обеспечена, — и конструкторы сдались.

Необходимое устройство было у Трурля в маленьком ящичке, который он принес с собой и теперь показал королю. С игрой в прятки не имело это изобретение, собственно, ничего общего, однако можно было применить его и с такой целью. Был это карманный портативный двусторонний обменник индивидуальности, разумеется, с обратной связью. При его посредстве двое могли по желанию обменяться индивидуальностями, что происходило совершенно просто и весьма быстро. На голову надевался аппарат, похожий на коровьи рога. Надо было приставить рога эти к голове того, с кем хочешь совершить обмен, и слегка нажать; тогда включалось устройство, генерирующее две противоточные серии молниеносных импульсов. По одному рогу ваша собственная индивидуальность уходила в глубь чужой, а по другому — чужая индивидуальность вливалась в вашу. Происходила таким образом абсолютная разгрузка памяти и одновременная загрузка чужой памяти в возникшую пустоту.

Трурль для наглядности надел аппарат на голову и приблизил рога к монаршему челу, объясняя, как следует пользоваться обменником, но тут порывистый король так крепко боднул его, что устройство включилось и произошел моментальный обмен индивидуальностей. И совершилось это так быстро и так незаметно, что Трурль, до тех пор экспериментов над собой не производивший, даже не сообразил, что случилось. Клапауций, стоявший поодаль, тоже ничего не заметил и только удивился, что Трурль внезапно прервал свое объяснение, а продолжил его сам король, применяя такие выражения, как «потенциалы нелинейного субмнемонического перехода» или «адиабатический проток индивидуальности по обратному ка-

налу». Лекция продолжалась, и, слушая писклявый голос монарха, почувствовал вскоре Клапауций, что случилось нечто недоброе.

Балерион, находившийся в организме Трурля, вовсе не слушал ученых разглагольствований, а пошевеливал слегка руками и ногами, будто старался поудобней устроиться в новом для него теле, с большим любопытством его осматривая. И вдруг Трурль, облеченный в длинный плащ королевский, взмахнув рукой при повествовании об антиэнтропийных критических переходах, почувствовал, будто ему мешает нечто. Он глянул на собственную руку и остолбенел, увидев, что держит в ней скипетр. Не успел Трурль и слова вымолвить, как король радостно рассмеялся и бегом выбежал из тронного зала. Трурль устремился за ним, но запутался в пурпурном монаршем одеянии и растянулся во весь рост на полу, а на грохот этот сбежались придворные. Бросились они сначала на Клапауция, думая, что он угрожает Его Величеству. Пока коронованный Трурль поднялся, пока объяснил, что ничего плохого Клапауций ему не сделал, Балериона, бегающего где-то в Трурлевом теле, уж и след простыл. Тщетно пытался Трурль в королевской мантии бежать за ним, придворные того не допустили. Отбивался он от них и кричал, что никакой он не король и что произошла пересадка, они же решили, что чрезмерное увлечение головоломками наверняка повредило разум властителя, а посему почтительно, но непреклонно увели его в спальню, хоть орал он и изо всех сил упирался, и послали за лекарями.

Клапауция же стражники вытолкнули на улицу, и побрел он к постоялому двору, не без тревоги размышляя об осложнениях, которые могут из всего происшедшего возникнуть.

«Разумеется, — думал он, — если б это я был на месте Трурля, то при свойственном мне спокойствии духа мигом навел бы порядок. Не скандалил бы я и не кричал о пересадке, что не могло не вызвать мысль о душевной болезни, — а потребовал бы, используя свое новое, королевское тело, чтобы поймали мнимого Трурля, сиречь Балериона, который бегает себе теперь где-то по городу. А заодно повелел бы я, чтобы другой конструктор остался при моей королевской персоне в качестве тайного советника. Но этот абсолютный кретин, — так назвал он невольно про себя Трурля-короля, — распустил нервы; ничего не поделаешь, придется применить мой стратегический талант, иначе все это добром не кончится...»

Затем постарался Клапауций вспомнить все, что ему известно о свойствах обменника индивидуальности, а знал он об этом немало. Наиболее важным, но вместе с тем и наиболее опасным счел он то свойство, о котором легкомысленный Балерион, злоупотребляющий где-то телом Трурля, и понятия не имел. Если б он упал и при этом рогами боднул какой-нибудь предмет материальный, но неживой, его индивидуальность немедля вошла бы в этот предмет, а поскольку неживые вещи индивидуальности не имеют и ничего взамен со своей стороны дать не могут, тело Трурля стало бы трупом, а дух королевский, замкнутый в камень либо в фонарный столб, а то и в старый башмак, навеки остался бы там.

В тревоге ускорил шаги Клапауций и невдалеке от постоялого двора узнал от оживленно беседующих горожан, что его товарищ выскочил из королевского дворца, будто за ним черти гнались, и, стремглав сбегая по длинной и крутой лестнице, ведущей в порт, упал и сломал ногу. Это привело его в ярость прямо-таки необычайную; лежа, начал он орать, что, мол, перед ними король Балерион собственной персоной и требует он придворных врачей, носилок с пуховыми подушками и благовоний освежающих. И стоявшие вокруг смеялись над его безумием, а он ползал по мостовой, ругался на чем свет стоит и раздирал свои одежды. Некий прохожий, добросердечный, видно, человек, склонился над ним и хотел помочь ему подняться. Тогда лежащий сорвал с головы шапку, из-под которой, как уверяли лично видевшие эту сцену, показались рога дьявольские. Рогами этими он боднул доброго самаритянина в лоб, вслед за чем пал как мертвый на землю, издавая слабые стоны, а тот, кого он боднул, сразу изменился, «будто сам дьявол в него вступил», и, прыгая, приплясывая, расталкивая всех на пути, во весь дух помчался вниз по лестнице к порту.

Клапауцию прямо-таки дурно сделалось, когда он все это услыхал, ибо понял он, что Балерион, попортив тело Трурля, которое так недолго ему служило, хитроумно пересел в тело какого-то неизвестного прохожего. «Ну вот, теперь-то начнется! — подумал он с ужасом. — И как я теперь найду Балериона, спрятанного в новом и незнакомом теле? Где его искать?» Пробовал он выведать у горожан, кто был прохожий, так добросердечно отнесшийся к поврежденному лже-Трурлю, а также куда девались рога; но никто не знал этого человека, видели только, что одежда на нем была моряцкая и чужеземная, словно при-

плыл он на корабле из дальних стран. О рогах же никто и вовсе не ведал. Но тут отозвался один нищий; будучи бездомным бродягой, он не смазывал вовремя ноги, а от этого суставы проржавели и пришлось ему передвигаться на колесиках, прикрепленных к бедрам, вследствие чего он лучше других видел то, что происходит у самой земли; нищий этот сказал Клапауцию, что почтенный моряк сорвал рога с головы у лежащего весьма поспешно и никто другой этого и заметить не успел.

Похоже было на то, что обменник по-прежнему у Балериона и цепь головоломных пересадок из тела в тело может продолжаться. Особенно перепугало Клапауция известие о том, что Балерион находился сейчас в каком-то моряке-чужеземце. «Вот те на! — подумал он. — Моряк, а значит, ему, наверное, вскоре отплывать. Если он вовремя не явится на корабль (а он наверняка не явится, ведь Балерион понятия не имеет, с какого корабля этот моряк!), капитан обратится к портовой полиции, а та схватит моряка как беглеца, и король Балерион мигом окажется в подземельях тюрьмы! А если он с отчаянья хоть раз боднет стену темницы рогами, то есть аппаратом... ужас, ужас и еще раз ужас!»

И хоть поистине ничтожны были шансы найти моряка, в которого перебрался Балерион, немедля отправился Клапауций в порт. Счастье ему сопутствовало, ибо еще издали увидел он большую толпу. Сразу почуяв, чем тут пахнет, вмешался Клапауций в эту толпу и из разговоров понял, что случилось нечто весьма похожее на то, чего он опасался. Не далее как несколько минут назад некий достопочтенный арматор, владелец целой флотилии торговой, приметил здесь своего матроса, человека на редкость добропорядочного. Однако же теперь матрос осыпал прохожих бранными словами; тем, которые предостерегали его и советовали, чтобы шел он восвояси да полиции остерегался, заносчиво в ответ выкрикивал, что он-де сам кем захочет, тем и будет, хотя бы и всей полицией сразу. Возмущенный этим зрелищем арматор обратился к матросу с увещеванием, но тот немедля схватил валявшуюся тут же немалой величины палку и обломал ее о туловище этого почтенного человека. Вдруг появился полицейский отряд, в порту патрулировавший — ибо драки тут нередки, — и случилось так, что во главе его шел сам комендант участка. Поскольку матрос упорствовал в строптивом непослушании, велел комендант его немедля схватить. Когда же подступили к нему полицейские,

бросился матрос, как бешеный, на самого коменданта и боднул его головой, из которой нечто наподобие рогов торчало. В тот же миг матрос будто чудом переменился — начал он кричать во весь голос, что он-де полицейский, да не простой, а начальник портового участка; комендант же, выслушав этакие бредни, не разгневался, но неведомо почему засмеялся, словно весьма развеселившись, и приказал своим подчиненным, чтобы они кулаков да палок не жалели и побыстрее скандалиста в каземат препроводили.

Итак, Балерион менее чем за час трижды уже сменил телесное свое местопребывание и находился в теле коменданта, тот же в подземной темнице сидел ни за что ни про что. Вздохнул Клапауций и направился прямиком в участок, каковой находился в каменном здании на набережной. По счастью, никто его не задержал, и вошел Клапауций внутрь, и заглядывал поочередно в пустые комнаты, пока не увидел перед собой до зубов вооруженного исполина, восседающего в тесноватом для него мундире; сурово посмотрел он на конструктора и так угрожающе пошевелился, будто за двери его собирался вышвырнуть. Но в следующий момент рослый сей индивидуум, которого Клапауций впервые в жизни видел, подмигнул ему внезапно и расхохотался, причем физиономия его, к смеху не приученная, поразительно изменилась. Голос у него был басистый, явно полицейского тембра, однако улыбка его и подмигивание незамедлительно напомнили Клапацию короля Балериона, ибо король был перед ним, король встал из-за стола — в чужом, правда, теле!

— Я тебя сразу узнал, — сказал Балерион-комендант. — Это ведь ты был во дворце со своим коллегой, который мне аппарат дал, верно? Ну, не отличное ли теперь у меня укрытие? Хе! Да весь дворцовый совет, хоть из кожи вон лезть будет, нипочем не додумается, куда я спрятался! Превосходная это штука — быть вот таким важным здоровенным полицейским! Глянь-ка!

И, сказав это, он трахнул могучей, истинно полицейской лапищей по столу — доска даже треснула, да и в кулаке что-то хрустнуло. Поморщился слегка Балерион, но, растирая руку, добавил:

— Ох, что-то у меня там лопнуло, да это не важно — в случае надобности пересяду я, может, в тебя. А?

Клапауций невольно к двери попятился, комендант, однако, загородил ему путь исполинской своей тушей и продолжал:

— Я, собственно, тебе, дорогуша, зла не желаю, но ты можешь наделать мне хлопот, поскольку секрет мой знаешь. А потому думаю, что лучше всего будет, если засажу я тебя в кутузку. Да, так будет лучше всего! — Тут он отвратительно захохотал. — Таким образом, когда я во всех смыслах уйду из полиции, никто уже, в том числе и-ты, не будет знать, в ком я спрятался, ха-ха!

— Однако же, ваше величество! — проговорил Клапауций с нажимом, хоть и понизив голос. — Вы подвергаете свою жизнь опасности, ибо не знаете многочисленных секретов этого устройства. Вы можете погибнуть, можете оказаться в теле смертельно больного человека или же преступника...

— Э! — ответил король. — Это меня не пугает. Я, мой милый, сказал себе, что должен помнить лишь об одном: при каждой пересадке рога надо забрать!

Говоря это, он потянулся рукой к столу и показал аппарат, лежащий в ящике.

— Каждый раз, — продолжал он, — должен я это схватить, сорвать с головы того, кем я был, и взять с собой, тогда мне нечего бояться!

Пытался Клапауций убедить его, чтобы оставил он мысль о дальнейших телесных переменах, но тщетно: король лишь посмеивался в ответ. Под конец сказал Балерион, явно развеселившись:

— О том, чтобы я во дворец вернулся, и говорить нечего! Уж если хочешь знать, то вижу я перед собой длинное странствие по телам моих подданных, что, кстати сказать, согласуется с моей демократически настроенной натурой. А в завершение, вроде как на десерт, оставлю я себе вхождение в тело какой-нибудь пленительной девы — это ведь наверняка будет ощущение безмерно поучительное, ха-ха!

Говоря это, открыл он дверь одним рывком могучей лапищи и гаркнул, вызывая своих подчиненных; видя, что если не совершить нечто отчаянное, то попадешь в каземат, схватил Клапауций чернильницу со стола, плеснул чернила в лицо королю, а сам, пользуясь временной слепотой своего преследователя, выпрыгнул в окно. К счастью, было это невысоко, а к тому же никаких прохожих поблизости не оказалось, так что удалось ему, мчась во весь дух, добраться до многолюдной площади и затеряться в толпе, прежде чем полицейские, которых король последними словами обзывал, начали выбегать из

участка на улицу, одергивая мундиры и грозно бряцая оружием.

Клапауций, отдаляясь от порта, предался размышлениям поистине невеселым. «Лучше всего было бы, — думал он, — предоставить эгого мерзкого Балериона его судьбе да отправиться в больницу, где пребывает тело Трурля с душой честного матроса; если это тело попадет во дворец, приятель мой снова может стать самим собой — и духовно, и телесно. Правда, появится тогда новый король с матросским естеством, но пропади он пропадом, этот весельчак Балерион!»

План был неплох, однако для его осуществления не хватало одной вещи, хоть и небольшой, но весьма важной, — обменника с рогами, который находился в ящике комендантского стола. Поразмыслил было Клапауций, не удастся ли ему построить второй такой аппарат, но для этого не хватало как материала и инструментов, так и времени.

«Ну тогда, может, так сделать... — рассуждал Клапауций, — пойти к Трурлю-королю; он, надо полагать, уже пришел в себя и сообразил, что следует делать. Скажу ему, чтобы повелел он солдатам окружить портовый полицейский участок; таким образом попадет в наши руки аппарат, и Трурль сможет вернуться в собственное тело!»

Однако его даже и не впустили во дворец, когда он туда направился. «Король, — сказали ему в караульне дворцовой, — спит крепко, потому что лекари придворные применили средство электронного успокоения и подкрепления; сон этот продолжится не менее сорока восьми часов».

«Этого только не хватало!» — в отчаянии подумал Клапауций и пошел в больницу, где пребывало Трурлево тело, ибо опасался, что, выписавшись досрочно, исчезнет оно в лабиринтах большого города. Представился он там как родич потерпевшего — имя матроса удалось ему вычитать в истории болезни. Узнал Клапауций, что ничего серьезного с матросом не случилось, нога у него была не сломана, а лишь вывихнута, однако же несколько дней не сможет он покинуть одра больничного. Свидеться с матросом Клапауций, разумеется, не стремился, поелику имело бы это лишь одно последствие: обнаружилось бы, что они с потерпевшим вовсе незнакомы.

Удостоверившись хоть в том, что тело Трурля не сбежит внезапно, вышел Клапауций из больницы и начал бродить по улицам, погрузившись в напряженные размышления. И не за-

метил он, как в этих своих блужданиях приблизился к порту, а тут увидал, что кругом так и толкутся полицейские и испытующе заглядывают в лицо каждому прохожему, сверяя черты его облика с тем, что записано у них в блокнотах служебных. Сразу понял Клапауций, что это штучки Балериона, который настойчиво разыскивает его, дабы в каземат ввергнуть. В тот же миг обратился к нему ближайший караульный; дорога к отступлению была отрезана, ибо из-за угла вышли еще два стражника.

Тогда с совершенным спокойствием сам отдался Клапауций в руки полицейских и сказал, что одного лишь добивается — чтобы те привели его к своему начальнику, поскольку должен он немедля дать чрезвычайно важные показания о некоем ужасном злодеянии. Тут же его окружили и кандалы надели, но на счастье не сковали обеих рук, а лишь его десницу к шуйце стражника приторочили.

В участке полицейском Балерион-комендант встретил скованного Клапауция, удовлетворенно ворча и злорадно подмигивая маленькими глазками, конструктор же еще с порога возопил, всячески стараясь изменить свою речь на чужеземный манер:

— Господина начальника! Ваша благородия полицейская! Моя хватать, что я Клапауций, но нет, моя не знать никакая Клапауций! Но, может быть, это такая нехорошая, она боднуть-пихнуть моя рогами на улице, и моя-твоя чудо быть, наша-ваша, и моя терять телесность и теперь душевность от моя, а телесность быть от не моя, моя не знать как, но та рогач убежать быстро-быстро! Ваша великая полицейскость! Спасите!

И с этими словами пал хитроумный Клапауций на колени, гремя кандалами и болтая быстро и неустанно на ломаном этом языке. Балерион же в мундире с эполетами, за столом стоя, слушал и моргал, слегка ошеломленный; вглядывался он в коленопреклоненного, и видно было, что уж почти поверил ему, ибо Клапауций по дороге к участку вдавливал пальцы свободной левой руки в лоб, чтобы получились там две вмятины, подобные тем, какие оставляют рога аппарата. Приказал Балерион расковать Клапауция, выгнал всех своих подчиненных, а когда остались они с глазу на глаз, велел Клапауцию подробно рассказать, как было дело.

Клапауций сочинил длинную историю о том, как он, богатый чужеземец, лишь сегодня утром причалил к пристани, везя

на своем корабле двести сундуков с самыми удивительными в мире головоломками, а также тридцать прелестных заводных девиц, и хотел он и то и другое преподнести великому королю Балериону, ибо был это дар от императора Труболюда, который тем самым выразить желал династии Кимберской дистанционное свое почтение; и как по прибытии сошел он с корабля, дабы хоть ноги размять после длительного странствия, и прохаживался преспокойно по набережной, когда некий субъект, с виду вот именно такой, — тут показал Клапауций на свое туловище, — уже тем возбудивший его подозрение, что так алчно глазел на великолепное одеяние чужеземное, внезапно ринулся на него с разгона, будто обезумел и хотел его, страхом объятого, навылет пробежать; однако же лишь сорвал с головы шапку, боднул его сильно рогами, и свершилось тогда непонятное чудо обмена душ.

Заметить тут надлежит, что Клапауций немало страсти вложил в сие повествование, стремясь придать ему как можно более правдоподобия. Подробно рассказывал он о теле своем утраченном, а также весьма презрительно и едко отзывался о том, в котором пребывал сейчас будто бы из-за несчастного случая, он даже оплеухи себе самому закатывал и плевал то на живот, то на ноги; не менее подробно описывал он сокровища, им привезенные, а в особенности девиц заводных; говорил о своей семье, оставленной в краю родном, о сыне-машине, о мопсе своем электронном, об одной из трехсот своих жен, которая умеет такие соусы готовить на ионах сочных, что и сам император Труболюд подобных не едал; доверил он также коменданту полиции самый большой свой секрет, а именно: что условился он с капитаном корабля, чтобы тот отдал сокровища любому, кто на палубе появится и тайное слово произнесет.

Алчно выслушивал Балерион-комендант бессвязное его повествование, ибо и вправду все это казалось ему логичным: Клапауций хотел, видимо, укрыться от полиции и совершил это, перенесясь в тело чужеземца, которого избрал потому, что муж сей облачен был в великолепные одежды, а значит, наверняка богат; благодаря такой пересадке возможно было обзавестись немалыми средствами.

Видно было, что различные мысли Балериона одолевают. Всячески старался он выпытать тайное слово от лжечужеземца, который, впрочем, не очень тому противился и наконец шепнул ему на ухо это слово, а звучало оно так: «Ныртек». Те-

перь уже видел конструктор, что привел Балериона туда, куда нужно, ибо Балерион, на головоломках помешанный, не желал, чтобы преподнесли их королю, поскольку сейчас сам он королем не был: уверовал он во все, а следовательно, и в то, что Клапауций имел второй аппарат, да и не было у него причин сомневаться в этом.

Сидели они теперь молча, и видно было, что какой-то план созревает в голове Балериона. Начал он кротко и тихо выспрашивать у мнимого чужеземца, где стоит его корабль, как на него попасть и так далее. Клапауций отвечал, на алчность Балериона рассчитывая, и не ошибся, ибо тот внезапно поднялся, заявил, что должен слова его проверить, и вышел из кабинета, тщательно заперев двери. Услыхал также мнимый чужеземец, что, наученный недавним опытом, поставил Балерион на пост под окном комнаты вооруженного стражника.

Знал, разумеется, Клапауций, что корыстолюбец ни с чем вернется, ибо ни корабля такого, ни сундуков с головоломками, ни заводных девиц и в помине не было. Однако на этом его план и основывался. Едва закрылись двери за королем, подбежал Клапауций к столу, достал из ящика аппарат и поскорее нацепил его на голову, а потом преспокойно стал дожидаться Балериона. В скором времени услыхал он грохот шагов и извергаемые сквозь зубы проклятия, потом заскрежетал ключ в замке, и ввалился в комнату комендант, с порога еще выкрикивая:

— Мерзавец, где корабль, где сокровища, где головоломки?!

Однако больше он ничего не успел вымолвить, потому что Клапауций, притаившийся за дверью, прыгнул на него, как взбесившийся козел, боднул его в лоб, и, прежде чем успел Балерион как следует расположиться в новом теле, Клапауций-комендант во весь голос заорал, вызывая полицейских, и велел заковать короля, тут же в каземат отправить да стеречь хорошенько! Ополоумев от неожиданности, Балерион в новом теле понял наконец, как позорно его провели; уразумев, что все время имел дело с ловким Клапауцием и никакого чужеземца не существовало, разразился в темнице ужасающими ругательствами и тщетными угрозами — ибо не было уже у него аппарата.

Клапауций же хотя временно и утратил свое хорошо знакомое тело, но зато получил обменник индивидуальности, чего и добивался. Так что облачился он побыстрее в парадный мундир и отправился прямиком во дворец королевский.

Король по-прежнему спал, однако Клапауций в качестве коменданта полиции заявил, что необходимо ему хоть на десять секунд повидать короля, поскольку речь идет о деле величайшего значения, интересах государства, и такого всякого наговорил, что придворные перепугались и допустили его к спящему. Хорошо зная привычки и причуды Трурля, Клапауций пощекотал ему пятку; Трурль подпрыгнул и немедленно пробудился, ибо щекотки боялся сверх меры. Он быстро пришел в себя и удивленно глядел на незнакомого исполина в полицейском мундире, но тот, склонившись, сунул голову под балдахин кровати и шепнул:

— Трурль, это я, Клапауций, мне пришлось пересесть в полицейского, иначе я не добрался бы до тебя, да еще с аппаратом в кармане...

Рассказал тут Клапауций о своей хитрой проделке, и Трурль, чрезвычайно обрадованный, встал немедля и заявил, что чувствует себя отменно. А когда обрядили его в пурпур, воссел он со скипетром и державой на троне, дабы отдать многочисленные приказания. Велел он поначалу, чтобы привезли ему из больницы его собственное тело с ногой, которую вывихнул Балерион на портовой лестнице; когда же сделали это, наказал он лекарям придворным, дабы пострадавшего немедля величайшей заботой и опекой окружили. Посоветовавшись затем с комендантом полиции, сиречь Клапауцием, решил Трурль действовать во имя восстановления всеобщего равновесия и подлинного порядка.

Нелегко это было совершить, ибо история безмерно запуталась.

Однако же конструкторы не имели намерения вернуть все души в прежние их телесные оболочки. Ранее всего, со всей возможной быстротой следовало так учинить, дабы Трурль и телесно стал Трурлем, равно как Клапауций — Клапауцием. Повелел поэтому Трурль привести пред лицо свое скованного Балериона в теле коллеги прямо из каземата полицейского. Совершили тут же первую пересадку. Клапауций снова стал собой, королю в теле экс-коменданта полиции пришлось выслушать немало весьма неприятного, после чего отправился он опять в каземат, на этот раз — королевский; официально же объявили, что впал он в немилость вследствие неспособности к решению ребусов. Назавтра тело Трурля до такой степени уже выздоровело, что можно было на пересадку отважиться. Одна

лишь проблема нерешенной оставалась: неловко все же было покинуть эту страну, вопроса о престолонаследии должным образом не уладив. Ибо о том, чтобы извлечь Балериона из оболочки полицейской и снова на престол усадить, конструкторы и думать не желали. Решили они поэтому рассказать обо всем тому честному матросу, который в теле Трурлевом обретался, взяв с него великую клятву, что сохранит он молчание. Увидев же, как много содержится разума в этой простой душе матросской, сочли они его достойным властвовать, и после пересадки Трурль стал самим собой, матрос же — королем. Еще ранее повелел Трурль доставить во дворец большие часы с кукушкой, каковые заприметил в антикварном магазине поблизости, когда бродил по городу. И пересадили разум короля Балериона в тело кукушечье, а кукушкин разум — в тело полицейского; тем самым восторжествовала справедливость, ибо королю с той поры пришлось добросовестно трудиться и аккуратным кукованьем, к которому принуждали его в соответствующее время уколы часовых шестеренок, весь остаток жизни искупать, вися на стене тронного зала, безрассудные свои забавы и покушение на здравие конструкторов. Комендант же вернулся на прежнюю службу и отлично с ней справлялся, ибо кукушечьего разума оказалось для этого вполне достаточно.

Когда все совершилось, друзья, попрощавшись поскорее с венценосным матросом, взяли пожитки свои на постоялом дворе и, стряхнув с башмаков прах этого не слишком гостеприимного королевства, двинулись в обратный путь.

Присовокупить следует, что последним деянием Трурля в теле королевском было посещение дворцовой сокровищницы, откуда забрал он коронную драгоценность рода Кимберского, поскольку награда эта по справедливости ему полагалась, как изобретателю неоценимого укрытия.

Путешествие пятое А, или Консультация Трурля

Неподалеку, под белым солнцем за зеленой звездой, жили сталеглазые, жили счастливо, радовались, трудились, ничего не страшились: ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей, ни материи, ни антиматерии, потому что была у них машина машин, вся изукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная; жили они в ней, и на ней, и под ней, и над ней, ибо, кроме нее, не имели ничего: сперва атомы скопили, потом из них машину слепили, а если какой атом не подходил, то в переделку угодил — и все шло хорошо. Каждый сталеглазый имел свое гнездышко и контактик, и каждый делал свое — то есть что хотел. Ни они машиной не правили, ни она ими, а так просто — помогали друг другу. Одни были машиноведами, другие машинистами, а были еще и машиналии, и каждый имел собственную машинистку. Работа у них кипела, иной раз хо-

---

Wyprawa piąta A, czyli Konsultacja Trurla, 1964.
© Перевод. Ф. Широков, 1965.

телось им, чтобы стемнело, а иной раз — чтобы солнце горело и только потом затемнение его одолело, только не часто, чтоб не надоело.

И прилетела однажды к белому солнцу за зеленой звездой комета-ракета, женского рода, злющая по природе, вся атомная, куда ни глянь — там голова, там хвост в четыре ряда, страх смотреть до чего синяя: синильная кислота тому причиною. Вонь кругом пошла страшная. Прилетела она и говорит: «Поначалу, мол, испепелю я вас огнем, а там посмотрим».

Поглядели на нее сталеглазые — полнеба заслонила, сапоги огневые нацепила, нейтроны, мезоны, жар пышет, как из домны, каждый атом — что дом, один другого больше, гравитация, нейтрино — такая вот картина. «А теперь я поужинаю», — говорит она. А они ей: «Ошиблась ты, мы ведь сталеглазые, ничего не боимся — ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей, потому что есть у нас машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная; так что иди-ка ты восвояси, комета разлюбезная, а то плохо тебе будет».

А она уже все небо заполонила, жарит, шпарит, рычит, шипит, даже месяц их съежился, и оба рога у него обуглились, и хоть он уже и старенький, и маленький, и потрескался, все же его жаль. Так что сталеглазые больше ничего не сказали, а только очень сильное поле взяли да месяцу на каждый рог узелком привязали, а потом включили контакты: пускай за нас говорят факты. Бахнуло, трахнуло, загремело, небо сразу посветлело, от кометы куча шлаку осталась — и тихо стало.

Немного времени миновало — и снова что-то появляется, летит, а неизвестно что, но только до того страшное, что и не знаешь, как смотреть, — с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетело, разошлось, сошлось, село на самой верхушке, тяжелое как невесть что, сидит — и ни с места. А уж мешает — больше некуда.

Ну вот, те, кто поближе, говорят: «Эй, ты, это ошибка, мы сталеглазые, не боимся ничего, живем не на планете, а в машине, а машина эта не простая, машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная, так что убирайся, паскуда, а то будет тебе худо».

А ОНО хоть бы хны.

Чтобы по пустякам особого шума не подымать, послали сталеглазые небольшую, совсем даже маленькую машину-страшину: пойдет, мол, напугает ЭТО — и все будет в порядке.

Машина-страшина идет себе, идет, только программы в нутре у нее урчат, одна другой страшнее. Подошла — и как загрембелит, как зашебелит! Сама даже струхнула малость, а ОНО — хоть бы хны. Попыталась еще раз, на другой фазе, но уже не получилось — без уверенности устрашала.

Видят сталеглазые, что по-другому надо. Говорят: «Возьмем калибр побольше, с шестернями на масле, дифференциальный, универсальный, со всех сторон сопряженный и чтобы пинки давал, да покрепче. А этого хватит? Будь спокоен: он на ядерной энергии построен».

Послали, значит, они механизм универсальный, двустволь-но-дифференциальный, с глухим хрипением, ибо с обратным сопряжением; внутри него машинист с машинисткой сидят, но и этого еще мало — на всякий случай наверху стоит еще машина-страшина. Подъехали, да на масляных шестернях, так что тихо, ни гугу; замахнулась машина и считает: три мгновенья до уничтоженья, два мгновенья до уничтоженья, одно мгновенье, сейчас будет уничтоженье, вот и пункт нулевой, и покончено с тобой!

Как бахнет — и пошли грибы вырастать, все съедобные, не поганки, но светятся от радиоактивности; масло разбрызгалось, шестерни повылетали, смотрят машинист с машинисткой сквозь люк, кончилось ли уже; но где там — ЕГО и не поцарапало.

Посовещались сталеглазые и сделали машину, которая сделала машинушку, которая сделала такую машинищу, что ближайшим звездам пришлось слегка отодвинуться. А в этой машинище — та, у которой шестерни на масле, а в самой середке машинка-страшинка, потому что уже не до шуток.

Собралась с силами машинища и как размахнется! Грохнуло, загремело, что-то там полетело, гриб такой вырос, что на суп из океана хватит, темно, и зубы скрежещут, и до того темно, что даже неизвестно чьи. Смотрят сталеглазые — ничего, ну ничегошеньки, только все три машины лежат россыпью и не шевелятся.

Уж тут-то они рукава засучили! «Что ж это, — говорят, — мы ведь машиноведы и машинисты, есть у нас машинистки и машина машин, разукрашенная, налаженная, абсолютно иде-

альная, как же может устоять против нее какая-то дрянь, которая сидит себе и ни с места!»

И ничего уж другого не делают, только растят травинку-кулевринку: подползет она к врагу, притаившись, ни гугу, язычок прикусит, корешок запустит, врастет снизу потихоньку-полегоньку, а потом как задаст трепку, так и беде конец. И вправду все пошло точно так, как предвидели, только вот с концом ничего не вышло, и осталось по-прежнему.

Пришли в отчаянье сталеглазые и прямо не знают, что же это такое, ведь никогда с ними такой беды не случалось. Мобилизуются они, совещаются, делают всякие приманки да ловушки, арканы да капканы; пробуют и этак, и так, потому что не знают — как. Все кругом прямо трясется, а ничего не удается. Совсем уж они ослабели, не знают, как спастись, и тут видят — кто-то к ним подлетает: сидит будто на коне, но у коня-то колес нет; может, это велосипед, но у велосипеда носа нет; значит, вроде ракета, но у ракеты седла нету. Неизвестно, что летит, но известно, кто в седле сидит; сидит не качается, приветливо улыбается, вот он приближается, вот и снижается — это сам Трурль, конструктор, не то гуляет, не то в экспедицию отправляется; издалека видно, что не кто попало летит.

Приблизился он, снизился, рассказывают ему сталеглазые, что да как: «Мы, мол, сталеглазые, имеем машину машин, изукрашенную, налаженную, зубчатую, кристальную, абсолютно идеальную, мы атомы скопили и сами всю ее слепили, ничего не боимся: ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, а тут вот прилетело что-то, село, сидит — и ни с места».

— А напугать пробовали? — благосклонно спрашивает Трурль.

— Пробовали мы и машинкой-страшинкой, и машиной-страшиной, и машинищей, которая как двинется на своих нейтрино, так все на свете опрокинет, и мезоны, и волны — все расшвыряет, но и это ничуть не помогает.

— Никакая машина, говорите?

— Никакая, милостивец.

— Гм, любопытно. А что это, собственно?

— Вот этого-то мы и не знаем. Появилось, прилетело, а неизвестно что, но только до того страшное, что и не знаешь, как смотреть, — с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетело, село, тяжелое, как невесть что, сидит — и ни с места. А уж мешает — дальше некуда.

— Вообще-то говоря, я очень занят, — говорит Трурль, — самое большее — смогу я побыть тут у вас некоторое время консультантом. Хотите?

Сталеглазые, конечно, хотят и тут же спрашивают, что надо принести — фотоны, патроны, станки, молотки? А может, лучше пушки или динамит? А может, вам чаю заварить? Машинистка мигом это сделает.

— Чаю машинистка пусть принесет, — соглашается Трурль, — но для служебных надобностей. Ну а что касается остального, то, пожалуй, не нужно. Если, заметьте, ни машина-страшина, ни машинища, ни травинка-кулевринка не помогают, нужен здесь метод дистанционный, архивный, а потому ужасно противный. Я еще не слыхал, чтобы не помогало.

— Что же это? — спрашивают сталеглазые. Но Трурль, ничего не объясняя, продолжает:

— Метод этот совсем прост; нужно только принести бумаги, чернил, штемпеля, круглую печать, сургучу, сколько захочу, скрепок и кнопок, блюдечко и ложечку — потому что чай уже принесли — и почтальона. И чтоб было чем писать — есть у вас?

— Найдется! — И мигом тащат.

Трурль садится и диктует машинистке: «В связи с Вашим делом за номером 7, дробь 2, дробь 55, дробь 405, Комиссия ВЗРТСП извещает, что Ваша задержка, как противоречащая параграфу 199 постановления от 19.XVII с.г., представляя собою ментальный эпсод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации в соответствии с Указом 67 ДВК Ф № 1478 дробь 2. Данное решение Вы вправе обжаловать в срочном порядке, обратившись в течение двадцати четырех часов к Председателю Комиссии».

Трурль поставил штемпель, приложил печать, велел зарегистрировать это в Главной Книге, открыл Журнал входящей и исходящей корреспонденции и говорит:

— Пускай теперь почтальон отнесет это.

Отправился почтальон, нет его да нет, наконец возвращается.

— Вручил? — спрашивает Трурль.

— Вручил.

— А где расписка в получении?

— Вот она. А вот и обжалование.

Берет Трурль обжалование и, вовсе его не читая, наискось через весь лист пишет: «Не рассмотрено в связи с отсутствием необходимых приложений». Подписывается неразборчиво и велит почтальону отнести его обратно.

— А теперь, — говорит, — за дело.

Садится и пишет, а сталеглазые, любопытствуя, смотрят, ничего не понимают и спрашивают, что это такое и что из этого получится?

— Это делопроизводство, — говорит Трурль. — А получится то, что надо, раз уж началось.

Почтальон носится как угорелый туда и обратно, Трурль то аннулирует ответы, то высылает резолюции, машинистка все стучит, и уж понемногу возникает вокруг целая канцелярия; дыроколы да протоколы, формуляры да циркуляры, папки да скрепки, чернила, клей, паутина, нарукавники из черного сатина, бумагами целый шкаф набит, табличка «Вход воспрещен» висит, машинка тарахтит, не смолкает, работы все прибывает, и кругом полно чаю да мусору.

Горюют сталеглазые, никто ничего не понимает, а Трурль бумагу за бумагой высылает, то с марками, то доплатные, то самые сильные — с уведомлением о вручении, шлет предписания, напоминания, извещения, уточнения, приказы, да не по одному разу, есть уже отдельный счет в банке, там одни нули, но это, говорит Трурль, до поры до времени. Через некоторое время становится видно, что ОНО уже не такое страшное, особенно сверху: определенно уменьшилось! Ну да, правда меньше стало! И спрашивают сталеглазые Трурля, что же дальше?

— Не мешайте делопроизводству! — отвечает он.

А сам печати ставит, поступления контролирует, приложения регистрирует, шлет приказов ворох без всяких разговоров, жилетка нараспашку, жидкого чаю чашка, куда ни глянь — паутины нити, кто там следующий — входите, галстук в стол запрятан, кругом беспорядок, вот новые поступления, сорок четыре, и при всех приложения, нужны четыре новых шкафа, а там кому-то взятку дали, кого-то бюрократом обозвали, заседание перенесено с пятницы на субботу и целых семь печатей — разберись, кому охота.

А машинистка выстукивает: «В связи с непредставлением Вами разрешений согласно постановлению Ком. Изд. Действ. Зак. с сего дня предписывается Вам безотлагательное сокращ.-(ение) в порядке взыск. в полож. ср. на основании Тр. Ам. Тар.

Арам, согласно приговору инстанции Ч. Д. Д. Данное решение обжалованию не подлежит».

Посылает Трурль почтальона, а книжку с квитанциями в карман сует. Потом встает и начинает выбрасывать в космос столы, стулья, папки, скрепки, чай и даже печати. Остается только машинистка.

— Да что же вы делаете?! — кричат сталеглазые, которые уже вполне с этими вещами освоились. — Как же нам без этого?!

— Не надо преувеличивать, дорогие мои, — отвечает он. — Вы лучше поглядите-ка!

И вправду, они так и ахнули — пусто, чисто, никого нет, словно и не было. И куда ОНО девалось, где затерялось? Бежит постыдно и такое малюсенькое сделалось — хоть в лупу рассматривай. Сталеглазые с ног сбились, следов ищут, а нашли только одно чуть мокрое местечко — что-то там накапало, неизвестно, при каких обстоятельствах, а больше ничего нет.

— Именно так я и думал, — говорит им Трурль. — Было это, мои милые, дело довольно простое: как ОНО приняло первую бумагу и расписалось в книге, так уж и влипло. Я применил особую машину, через большое «Б»; потому что с тех пор, как существует Космос, никто с ней еще не справился!

— Ну хорошо, но зачем же было выбрасывать папки и выливать чай? — спрашивают они.

— Чтобы эта машина и вас потом не съела! — отвечает Трурль.

Забирает он с собой машинистку и улетает, благосклонно им кивая, а улыбка его прямо как звезда сияет.

Путешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций демона второго рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть

«От народов же Солнц Больших два идут на юг пути караванных. Первый, древний, от Четырехзвездия к Ворозаврону ведет, звезде неверной, с переменным блеском, коя, пламень свой пригасив, Карлу Абассидов уподобляется; прельщенные тем, пускаются часто караваны в Пустыню Кромешную, и лишь один из девяти без ущерба из нее выходит. Другой тракт, новый, открыла Империя Мирапудов, когда ее рабы-ракетчики пробили тоннель в шесть миллиардов прамиль длиною сквозь самого Ворозаврона Белого.

Северный вход в тоннель находить так надлежит: от последнего из Солнц Больших держать курс прямо на Полюс, пока семь молитв электронных не кончатся. Потом повернуть налево, малым галсом, допреж стена пламенная не явится, то и будет

Podróż szósta, czyli Jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać, 1964. © Перевод. Ф. Широков, 1967.

бок Ворозаврона, а на нем отверстие тоннеля увидится, как черная точка на белых пламенах. Оттуда — напрямик вниз, опасений не питая, ибо восемь судов борт о борт тоннелем идти могут; нет также вида, равного тому, что явится в судовых иллюминаторах. Наперед Огнепад Жаросеков, а далее уж по погоде; коль нутро светила бурями магнитными шевелится, что в миллиарде миль либо в двух от тех мест перекатываются, видны огромные узлы огня и жилы его раскаленные со сгустками белопламенными, коли ж близится буря иль Седьмой Ступени Тайфун, сотрясается твердь, будто белая опора пламени вниз устремляется, однако то лишь видимость, ибо падает, но не упадет, и горит, но не сгорает, в отдалении подпорами Сильных Полей удерживаемое. Видя, как набухает Мякоть Протуберанцевая, а гейзеры-молниебойцы, Геннами прозванные, ярятся и близятся, посильней надлежит ухватить кормило, ибо величайшая надобна тут сноровка кормчая; и не на карту, а в нутро светила смотреть должно, понеже никто не прошел того пути дважды единым способом. Колотой раной вьется в Ворозавроне тоннель, корчится и дрожит, как змей под ударами, а потому очи держать широко отверстыми должно, не расставаться со льдом-спасителем, что по гребню шлемов сосульками прозрачными отекает, и со вниманием наблюдать за мчащимися навстречу стенами пожаров, усеянных языками гудящими, а услышав, как трещит панцирь корабельный, пламенем бичуемый и угольями солнечными осыпаемый, кроме собственной прозорливости, ни на что не уповать. Однако ж и то надо помнить, что не всякое огня шевеленье и не всякое тоннеля сужение, ниже обвал белый океанов угольевых, о звездотрясении свидетельствуют. Взяв себе то на замету, навигатор умудренный не станет попусту «К насосам!» взывать, дабы не пришлось от умудреннейших к посрамлению услышать, что капелькою аммиака охладительного хочет он вековечный пламень светила погасить. Вопрошающему же, как быть, когда подлинное звездотрясение на корабль обрушится, каждый бывалый пустотник без промедленья ответит, что в таковом случае вздохнуть достаточно, на другие приготовленья предсмертные часу не станет, очи при том можно держать отверстыми либо сомкнутыми, по желанию, понеже пламень их и так растопит. Все ж такое бедствие — вещь наиредчайшая, ибо скобы скобчатые, Империками Мирапудовыми поставленные, хорошо твердь удерживают, и совсем благодарной езда внутризвездная пред-

ставляется промеж гибко блистающих зерцал водорода Ворозаврoнового. Не без причин же говорят, «кто в тоннель вошел, быстро из него выйдет», чего не скажешь о Пустыне Кромешной. Когда раз в столетье тоннель звездотрясеньем попорчен бывает, иного пути, как сквозь оную, у кормчего нет. Как название само указует, Пустыня та чернее ночи, ибо свет звезд окрестных на нее вступать не отваживается. Толкутся в ней, как в ступе, с ужасным грохотом листов железных обломки кораблей, стараньем предательского Ворозаврона с пути сведенные и в завертях бездонных лопнувшие, и вращаться так до последнего оборота Галактики будут, гравитацией жестоко плененные. К востоку от Пустыни Кромешной лежит царство скользкожвалых, к западу — окоруких, а на юг ведут пути, полями смертными густо усеянные, к легчайшей голубой сфере Лазуреи, далее ж — к Мургунду Пламеннолистому, где архипелаг алеет из звезд безжелезных, нареченный Колымагой Алькарона. Сама Пустыня, как сказано, столь черноты исполнена, сколь пассаж внутризвездный Ворозаврона — белости. Не от завертей единых там беда, не от пыли, потоками с высот приносимой, и метеоров обезумевших, ибо толкуют иные, что в стране неведомой, в местности угрюмой, на глубине непостижимой с времен незапамятных некая чудь сидит, а может, и нечудь, Неведомцем званая, поелику тот, кто познает имя его подлинное, с Неведомцем встретившись, ничего уж свету не поведает, ибо света впредь не увидит. Сказывают, что Неведомец тот — чародей-разбойник, живет он в своем замке, в черной гравитации вознесенном, что рвом тому замку служит вечная буря, стенами — пустота, в небытии своем совершенная, окна замка — слепы, а двери его — глухи; подстерегает Неведомец караваны, а когда гонит его алчба к золоту и скелетам, выдыхает он черный прах в щиты солнц, путь указующих, а погасив их и сведя путников с пути безопасного, тут же, вьюном вертясь, из небытия выпрыгивает, тесными кольцами окружает и в пустоту замка своего уносит, бережливо стараясь самомалейшей застежки рубиновой не обронить — столь он в своей ужасности аккуратен. Потом лишь обглоданные останки выплывают ниоткуда и кружат по Пустыне, а вслед за ними еще долго летят корабельные заклепки, будто косточки, выплюнутые из пасти Неведомца-чудовища. С той поры, однако, как невольничьим трудом мириадов рабов-ракетчиков тоннель ворозаврoнский открыт и судовожденье по тому светлейшему

руслу поведено, обезумел Неведомец, добычи лишенный, и заревом лютости своей столь мрак Пустыни озаряет, что тело Неведомца просвечивает сквозь черную пелену гравитации, точно костяк личинки, в коконе своем могильно и фосфорично во прах обращающейся. Иные ж умники рекут, будто вовсе нет Неведомца и никогда не бывало; хорошо же им свое утверждать и нетрудно, но гораздо труднее в боренье вступать с вещами, коих и слово не имет, в прохладной тиши, вдали от Мрака и Жара рожденное. Легко им в чудовище не верить, трудней одолеть его и алчности его мерзкой избегнуть. Не поглотил он неужто самого Кибернатора Мургундского со свитой осьмидесятной на трех судах, причем от вельмож этих и остались-то лишь пряжки обглоданные, кои жители селений Малой Солярии нашли на их берег прибоем туманностным выброшенные? Не пожрал он неужто иных мужей неисчислимых без жалости и милосердия? Да воздаст же хоть тихая память электрическая почесть им, без могилы канувшим, коль не найдется храбрец, кто б зломучителю по-рыцарски отмстил, старым обычаям звездопроходцев следуя».

Все это вычитал Трурль однажды в пожелтевшей от времени книге, купленной по случаю у какого-то торговца; без промедленья отнес ее Клапауцию и еще раз, уже вслух, небылицы эти ему прочитал от начала и до конца, столь сильно они ему понравились.

Клапауций — конструктор, мудрости исполненный, в космосе сведущий, в обращенье с солнцами и туманностями всех мастей понаторевший, — только усмехнулся, кивнул головой и сказал:

— Надеюсь, ты ни единому слову этой сказочки не веришь?

— Отчего бы это мне не верить? — обрушился на него Трурль. — Посмотри, тут есть даже искусная гравюра, изображающая, как Неведомец пожирает два солнечных парусника, а добычу в подземелья прячет. Впрочем, разве же нет на самом деле тоннеля в сверхгиганте, правда, в другом, в Бет-эль-Гайзском? Ты не такой уж невежда в космографии, чтобы подвергнуть это сомнению.

— Что до гравюр, то могу я тебе немедля нарисовать дракона с зеницами в тысячу солнц каждая, если рисунок ты считаешь доказательством истинности, — ответил на это Клапауций. — Если же говорить о тоннеле, то, во-первых, протяженность его лишь два миллиона миль, а не какие-то там миллиар-

ды, во-вторых, звезда почти остыла, а в-третьих, навигация в нем не представляет ни малейшей опасности, о чем ты великолепно осведомлен, ибо сам по нему ходил. Что же касается так называемой Пустыни Кромешной, то на самом деле это просто скопище космического мусора шириной в десять килопарсеков, кружащееся между Меридией и Тетрархидией, а не около каких-то там огнеглавцев или Ворозавронов, которых вообще не существует; и еще правда, что там темно, однако попросту от скопления грязи. Никакого Неведомца там, разумеется, нет! Это даже не добропорядочный стародавний миф, а просто-напросто дешевая байка, произросшая в чьей-то глупой башке!

Трурль сжал губы.

— Оставим тоннель, — сказал он. — Ты считаешь его безопасным, потому что по нему ходил я; если б это был ты, то слышалось бы совсем другое. Ну да ладно, оставим тоннель в покое. Что касается Пустыни и Неведомца, то убеждать словесными аргументами не в моем вкусе. Нужно туда поехать и посмотреть, что из сказанного здесь, — тут он поднял со стола толстенную книгу, — правда, а что — нет!

Клапауций начал отговаривать Трурля от этого намерения как мог, когда ж убедился, что тот со своим неизменным упрямством и не помышляет об отказе от столь своеобразно задуманного путешествия, заявил сначала, что не желает его больше в глаза видеть, однако вскоре стал и сам собираться в путь, не хотел он позволить другу погибать в одиночку — вдвоем както веселее смотреть смерти в глаза.

Нагрузив корабль всякой всячиной, поскольку путь их лежал через места пустынные (хотя и не столь уж живописные, как рассказывалось в книге), друзья отправились в путешествие на испытанном своем корабле; в полете они делали то тут, то там остановки, стремясь разведать, что и как, особенно когда вышли из области, о которой имели подробные сведения. Однако от местных жителей можно было узнать лишь немногое — они толковали дельно лишь о своей округе, а о том, что находилось или происходило там, где они сами никогда не бывали, плели явные несуразицы, расписывая со вкусом леденящие смазку подробности. Клапауций называл такие повести коррозийными, имея в виду тот самый склероз-коррозию, который столь часто поражает старческий разум.

Все же, когда они приблизились миллионов на пять-шесть огненных выдохов к Черной Пустыне, до них дошли слухи о

каком-то великане-насильнике, звавшемся Разбойником Диплоем, причем никто из повествующих сам разбойника никогда не видел и не имел понятия, что должно значить странное слово «Диплой», которым существо это определяли. Трурль допускал, что это искаженный термин «Диполь» и что он свидетельствует о полярной и вместе с тем противоречивой, двойственной природе разбойника, однако более трезвый Клапауций предпочел от гипотез воздержаться. Разбойник — гласили слухи — был очень жесток и легко приходил в ярость; полностью обобрав свою жертву и все еще не удовлетворив свою чудовищную алчбу, ибо любая добыча казалась ему недостаточной, он очень долго и мучительно бил пленника перед тем, как отпустить на волю. Конструкторы минуту взвешивали, не обзавестись ли оружием, холодным и огнестрельным, пока они еще не пересекли границу Черной Пустыни, но под конец наилучшим оружием сочли собственный разум, в конструкторском искусстве отточенный, дальновидный и универсальный, и двинулись дальше как есть.

Должно признать, что во время дальнейшего путешествия Трурль переживал горьчайшие разочарования, ведь и звездороссыпи звездные, и пламена пламенистые, и пустыни пустынные, и блуждающие рифы, и скалы метеорные гораздо красивей были описаны в старой книге, чем представлялись в натуре глазу путешественника. Звезды в этой местности встречались редко, к тому ж из себя невидные и очень старые; одни едва помигивали, будто угольки, дотлевающие в пепле, другие снаружи совсем потемнели, и лишь сквозь трещины в шлаковой скорлупе, покрытой неряшливыми морщинами, просвечивали у них красные жилки; никаких пламенных джунглей или таинственных завертей тут и в помине не было, и никто, можно дать клятву, о них даже не слыхивал, ибо весь пустырь тем именно и отличался, что в своей пустоте нудным был до последней нуди — и все тут; что ж до метеоритов, то сыпались они словно мак, однако средь этого сброда трещоточного больше летело мусора, чем добропорядочных магнетитов магнетичных или тектитов тектоничных; а виной всему — галактический полюс, до него отсюда было рукой подать, и вращение темных потоков стягивало именно сюда, к югу, несметные рои остатков и отбросов из центральных областей Галактики. Вот почему племена и народы, живущие по соседству, называли эту об-

ласть не какой-нибудь там Пустыней Кромешной, а попросту Мусорницей.

Так-то вот Трурль, по возможности скрывая от Клапауция свое разочарование, чтоб не дать ему повода к злорадству, направил корабль в Пустыню, — и тут же по панцирю корабля заколотил песок, а всевозможные нечистоты звездные, выброшенные из светил протуберанцами, стали оседать такой толстой коростой на фюзеляже, что сама мысль о предстоящей чистке полностью отбивала охоту что-либо делать и особенно — путешествовать.

Звезды давно исчезли в общем сумраке, и путешественники летели как бы на ощупь, но вдруг корабль швырнуло, вся утварь — горшки и приборы — загремела, и друзья почувствовали, как все быстрей и быстрей куда-то падают; наконец раздался ужасающий грохот, и корабль, севший довольно мягко, застыл без движения, словно вонзился носом во что-то неподвижное. Путешественники бросились к окнам, однако снаружи царила полная тьма — хоть глаз коли; и тотчас послышались удары, словно кто-то невидимый, но наделенный ужасающей силой, пытался проникнуть внутрь, вызывая содрогание переборок. Лишь теперь друзья стали испытывать меньшее доверие к разумной своей безоружности, однако сожалеть об упущенном бесполезно, и поэтому они, опасаясь, как бы люк силой не повредили, сами открыли его изнутри.

Смотрят — а в отверстие кто-то морду просовывает, однако о том, чтобы самому вслед за ней войти, и речи нет, столь она огромная; морда эта, несказанно противная, глазищами сверху донизу, вдоль и поперек усаженная, и торчит на ней как бы нос-пила, и челюсти у нее — не челюсти, стальные и крючковатые; не движется морда, плотно во фрамугу вошедшая, лишь глаза ее воровски во все стороны бегают, каждая их группка свою часть пространства осматривает, а выраженье у них такое, словно оценивают, хорошо ли все это оплатится; кто-нибудь и поглупей конструкторов понял бы, что означает это очень уж выразительное высматривание.

— Чего тебе? — спрашивает наконец Трурль, разгневанный этим бесстыдным глазеньем, происходящим в полном молчании. — Чего хочешь, мерзкая морда?! Я — сам конструктор Трурль, универсальный всемогутор, а это — мой друг Клапауций, тоже прославленная знаменитость; летели мы на нашем корабле как туристы, прошу поэтому без задержки убрать от-

сюда физиономию, и вывести нас из этого подозрительного места, заведомо полного нечистот, и направить в добропорядочный чистый вакуум, в противном же случае мы подадим жалобу, и тебя развинтят по винтику, ты, мусорщик, слышишь, что я говорю?!

Однако тот в ответ — ничего, лишь по-прежнему глазеет и что-то прикидывает. Вычисления ведет, что ли?

— Слушай-ка, ты, раскоряка! — восклицает Трурль, ни с чем уж не считаясь, хоть Клапауций подталкивает его, дабы он пыл свой умерил. — Нет у нас ни золота, ни серебра и никаких иных драгоценностей, выпусти поэтому нас отсюда немедля, а прежде всего забери эту мордищу свою, ведь она несказуемо противная. А ты, — обратился он к Клапауцию, — не подталкивай, у меня и свой разум есть, и уж я-то знаю, как и с кем разговаривать надо!

— Мне потребно, — отвечает вдруг морда, поглядев тысячью огненных глаз на Трурля, — не золото единое или серебро, а обращаться ко мне надлежит с уважением и с деликатностью, потому что я разбойник с дипломом и с образованием, а по натуре — очень нервный. И почище вас попадались мне; я, бывало, ими с сахарком закусывал, как того пожелаю. А когда я вас в расклеп пущу, из вас также весь сиропчик повытечет. Зовусь я Мордон, крест-накрест во мне по тридцать аршин, и действительно, я граблю драгоценности, но способом научным и современным, то есть отбираю бесценные тайны, сокровища знанья, доподлинные истины и вообще всю ценную информацию. А теперь валяй, подавай ее сюда, если не дашь, то как свистну! Считаю до пяти: раз, два, три...

Он досчитал до пяти и, не получив ничего, в самом деле свистнул, да так пронзительно, что у друзей едва не отвалились уши, а Клапауций понял, что «Диплой», упоминаемый с трепетом местными жителями, был, собственно, дипломом, полученным, видимо, в какой-то Академии Бандитизма. Трурль даже схватился руками за голову, ведь голос у Мордона был под стать росту.

— Ничего тебе не дадим! — завопил он, а Клапауций тут же побежал за ватой. — Убирай немедля морду!

— Если уберу морду, так просуну руку, — ответил на это Мордон, — а рука у меня саженная, клещистая и тяжелая, упаси господь! Берегись — начинаю!

И действительно, вата, принесенная Клапауцием, оказалась теперь ненужной: морда исчезла, а появилась лапища, суковатая, стальная, неухоженная и лопатисто-костистая, и стала рыться в вещах, ломая столы, и шкафы, и переборки с такой силой, что даже обшивка заскрежетала.

Трурль и Клапауций укрылись от лапищи в атомном котле, а если какой палец и приближался, так они его сверху — бац! бац! — кочергой. Разгневался наконец разбойник с дипломом, вновь морду во фрамугу вставил и говорит:

— По добру вам советую переговоры со мной вести сразу же, а не согласитесь, так я вас упрячу до будущих времен на самое дно моего погреба с припасами, и мусором сверху прикрою, и камнями привалю, вы и не шевельнетесь, а ржавчина проест вас до дыр; еще и не с такими, как вы, я справлялся; так выбирайте же — жизнь или смерть!

Трурль даже думать не хотел о ведении переговоров, Клапауций же, склонный к этому, спросил, чего, собственно, дипломированная особа желает?

— Такой разговорчик мне нравится, — ответил Мордон. — Я собираю сокровища науки, такое уж у меня увлечение в жизни, проистекающее из высшего образования и практического проникновения в сущность вещей, усугубленного тем, что за обычные сокровища, которых алчут разбойники-простаки, ничего нельзя ныне купить, наука же насыщает голод познания, ведь, как известно, все сущее есть информация, по этой причине собираю я ее испокон веку и впредь собирать буду; правда, я не прочь прибрать к рукам и золотишко или драгоценности, они приятны, тешат глаз, и их можно к убранству приспособить, однако все это лишь между делом, если случай подвернется. Подчеркну особо, что за ложные истины я бью, как и за фальшивые драгоценности, поскольку я — натура утонченная и жажду аутентичности!

— Так какой же аутентичной и драгоценной информации ты желаешь? — спросил его Клапауций.

— Любой, лишь бы правдивой, — ответил на это Мордон. — Любая может пригодиться в жизни. Закрома мои и лабазы уже полнехоньки, однако в них еще столько же поместится. Выкладывайте все, что знаете и умеете, а я запишу. Только быстро!

— Хорошенькая история, — шепнул Клапауций на ухо Трурлю, — он может продержать нас у себя целый век, пока

мы не расскажем ему все, что сами знаем, ведь мудрость-то наша беспредельна!

— Подожди, — ответил на это Трурль, — теперь переговоры с ним буду вести я. — И громко добавил: — Слушай-ка, ты, дипломированный разбойник, что касается золота, то мы обладаем информацией, поценнее всякой другой, это рецепт, как делать золото из атомов; скажем, для начала, из атомов водорода, их в космосе — несметное множество, хочешь этот рецепт — сговоримся, только потом ты нас сразу отпустишь.

— Таких рецептов у меня уже целый сундук, — гневно выпучив глаза, ответила морда. — И все никудышные. Нет, меня теперь не надуешь — рецепт нужно сначала опробовать.

— Почему бы и нет? Можно. Есть у тебя горшок?

— Нет.

— Ничего, обойдемся и без горшка, если действовать поворотливей, — ответил на это Трурль. — Рецепт очень простой: возьми столько атомов водорода, сколько весит атом золота, то есть восемьдесят семь; соскобли сперва с них электроны, потом замеси протоны, сделай ядерное тесто и меси его, пока не выступят мезоны, а тогда уж аккуратненько выложи вокруг электронами. Тут-то и получишь чистое золото. Смотри!

Принялся Трурль ловить атомы, соскабливать с них электроны, месить протоны, так что лишь пальцы мелькали, приготовил протонное тесто, выложил вокруг него электроны и — за следующий атом; не прошло и пяти минут, как держал он в руках брусочек чистого золота: подал его морде, она же, на зуб брусочек попробовав и головой кивнув, сказала:

— И в самом деле золото, только я не могу так за атомами гоняться. Слишком я большой.

— Ничего, мы дадим тебе особый аппаратик! — уговаривал его Трурль. — Подумай, этим способом можно все превратить в золото, не только водород, мы дадим тебе рецепты и с другими атомами, весь Космос можно золотым сделать, если над этим покорпеть!

— Если б весь Космос был из золота, оно утратило бы всякую ценность, — ответил на это практичный Мордон. — Нет, ваш рецепт мне не годится; я, конечно, его записал, но этого мало! Жажду сокровищ науки.

— Так что же ты хочешь знать, черт возьми?!

— Все!

Трурль посмотрел на Клапауция. Клапауций на Трурля, и этот последний сказал:

— Если ты клятвой торжественной поклянешься и присягой присягнешь отпустить нас после этого без промедленья, то дадим мы тебе информацию о всеинформации, то есть сделаем тебе собственноручно Демона Второго Рода. Демон этот магичен, термодинамичен, неклассичен и статистичен, и станет он из старого бочонка или из чиханья экстрагировать и доставлять тебе информацию обо всем, что было, что есть, что может быть и что будет. И нет демона превыше этого Демона, ибо он — Второго Рода. Так отвечай же сразу, хочешь ли его иметь?!

Дипломированный разбойник из подозрительности не сразу выразил согласие, но в конце концов все же дал клятву, с оговоркой, что предварительно должен возникнуть Демон и продемонстрировать свою всеинформационную мощь. Трурль согласился.

— Послушай-ка, широкомордый! — говорит он. — Есть у тебя тут где-нибудь воздух? Без воздуха Демон работать не может.

— Вроде бы есть немного, — отвечает на это Мордон, — не вполне чистого, поскольку он застоялся...

— Неважно, пусть будет даже затхлый — не имеет значения, — говорят конструкторы. — Веди нас туда, где этот воздух, и мы все тебе покажем.

Разбойник выпустил их из корабля, отодвинув морду, и повел к себе — ноги его были подобны башням, спина — обрыву, а сам он, испокон веку немытый и несмазанный, скрежетал на ходу невыносимо. Конструкторы вошли вслед за Мордоном в коридоры подземелья, по дороге попадалось много истлевших мешков; корыстолюбец хранил в них награбленную информацию — пучками и пачками уложенную, шпагатиком перевязанную, а самую важную, самую ценную так даже красным карандашиком помеченную. А на стене подвала висел огромный каталог, ржавой цепью к скале прикованный, в нем же — разделы всякие, в самом начале с буквы «А» начинающиеся. Посмотрел Трурль и идет дальше — эхо глухое ему вторит, кривятся они с Клапауцием, хоть полно тут награбленной информации аутентичной и ценной, однако куда взор ни кинешь, одни лишь пещеры — мусорные карьеры и подвалы — мусорные отвалы. Воздуха всюду полно, но совсем уж затхлого. Наконец все трое остановились, и Трурль говорит:

— Смотри! Воздух состоит из атомов, причем атомы эти скачут во все стороны и сталкиваются друг с другом миллиарды раз в секунду в каждом кубическом микромиллиметре, на том, собственно, и основан газ, что они вечно так прыгают и лбами сталкиваются. Как бы то ни было, хоть скачут они вслепую, подчиняясь воле случая, но в любой щелочке помещаются их миллиарды миллиардов, благодаря такой их многочисленности из этих прыжков и подпрыгиваний складываются среди прочих весомые конфигурации, созданные чистой удачей... Знаешь ли ты, дубина, что это такое — «конфигурация»?

— Попрошу без оскорблений! — ответила морда. — Потому что я разбойник вовсе не простой или там неотесанный, а весьма утонченный, с дипломом, и по этой причине очень нервный.

— Ладно. Итак, из этих прыжков возникают весомые, то есть значащие, конфигурации, все равно как если кто-то наугад пускает пули в стенку, а они складываются в какую-то букву. Что в макромире оказывается редким и маловероятным, то в газе из атомов встречается повсеместно и беспрестанно, а все из-за этих миллиардов боданий в каждую стотысячную долю секунды. Проблема, однако, стоит вот как: в каждой щепотке воздуха действительно складываются из атомных брыканий и кувырканий важные истины и глубокие сентенции, но вместе с тем возникают совершенно бессмысленные скачки и отскоки, и этих последних в тысячи раз больше, чем первых. Хоть и в прежние времена было известно, что вот сейчас перед твоим носом-пилой в каждом миллиграмме воздуха в любую долю секунды возникают отрывки тех поэм, которые будут написаны только через миллионы лет, и фрагменты возвышенных истин, и разгадки всех загадок Бытия и тайн его, все ж не имелось способа выделить всю эту информацию, тем более что едва лишь атомы лбами столкнутся и в какую-то осмысленную фигуру уложатся, как тут же разлетятся, а вместе с ними и смысл пропадает, быть может, навеки. Значит, вся хитрость в том, как построить селектор, который будет отбирать только то, что в беготне атомов осмысленно. Вот и вся идея Демона Второго Рода. Ну как, ты понял что-нибудь, великий Мордон? Понимаешь, надо добиться, чтобы Демон экстрагировал из атомных танцев только истинную информацию, то есть математические теоремы и журналы мод, формулы и исторические хроники, рецепты ионофореза и способы штопки и стирки асбестовых панцирей, и стихи, и научные советы, и альманахи, и

календари, и секретные сведения о событиях давних времен, и все то, что писали и пишут газеты во всем Космосе, и телефонные книги, пока еще не напечатанные...

— Хватит! Хватит! — воскликнул Мордон. — Прекрати же наконец! Ну и пусть эти атомы так укладываются, ведь они тут же вновь разлетаются, никогда не поверю, чтобы удалось отделить бесценные истины от беспорядочного дрыганья и подпрыгивания частичек воздуха, которое не имеет никакого смысла и никому не нужно!

— Видно, ты и в самом деле не столь глуп, как я думал, — сказал Трурль, — вся трудность действительно к тому и сводится, как привести в действие этот отбор. Я вовсе не намерен теоретически убеждать тебя в возможности отбора, но, как обещано, сразу же, здесь, не сходя с места, построю Демона Второго Рода, дабы ты воочию убедился в волшебном совершенстве этого Всеинформатора! Ты должен лишь дать мне коробочку, хотя бы и маленькую, но непроницаемую, кончиком булавки мы сделаем в ней крохотную дырочку и посадим Демона над этим отверстием; усевшись верхом, он будет выпускать из коробочки только осмысленную информацию, а кроме нее — никакой иной. Едва лишь кучка атомов удачливо расположится и обретет какой-либо смысл, как Демон хвать эту кучку за шиворот и тут же запишет ее специальным алмазным перышком на бумажной ленте, которой надо приготовить ему огромное количество, ведь он будет работать напролет дни и ночи — скорей Космосу придет конец, чем... И притом со скоростью сто миллиардов раз в секунду, что ты и сам увидишь, ибо именно так действует Демон Второго Рода.

С этими словами Трурль пошел на корабль, чтобы изготовить Демона, а Мордон тем временем задал Клапауцию вопрос:

— А каков Демон Первого Рода?

— Ах, он не столь интересен, это обычный термодинамический демон. Он только и умеет, что выпускать из отверстия быстрые атомы, а медленные — задерживать; таким образом возникает термодинамический perpetuum mobile. Как бы то ни было, с информацией тут нет ничего общего, поэтому приготовь-ка лучше сосуд с отверстием, ведь Трурль сейчас вернется!

Дипломированный разбойник пошел в соседний подвал и долго грохотал там листами железа, бранился, пинал металлическую рухлядь ногами, бродя в ней по колено, пока не отыс-

кал старый пустой железный бочонок, проделал в нем маленькую дырочку и вернулся назад, а тут как раз подоспел Трурль с Демоном в руке.

От затхлого воздуха в бочонке нос, стоило его приблизить к отверстию, сводило судорогой, но Демону было хоть бы хны. Трурль посадил малютку верхом на бочонок возле отверстия, установил сверху большую катушку с бумажной лентой, провел ленту под алмазное перышко, уже подрагивающее от нетерпения, и началось тут выстукивание — стук-тук-тук, стук-тук-тук — словно в телеграфной конторе, только в миллион раз быстрее. Крохотное перышко с бриллиантиком на кончике только билось и подрагивало, а лента с информацией, исписанная, начала медленно сползать на очень грязный и на редкость замусоренный пол подземелья.

Разбойник подсел к бочонку, поднес к своим ста глазам бумажную ленту и принялся читать все, что вылавливал Демон — ситечко информации — из вечной атомной дрожи; и сразу же столь поглотили Мордона эти важные истины, что он не заметил, как оба конструктора, не мешкая, вышли из подвала, ухватили свой корабль за рули, дернули раз, другой, дернули третий и вытащили корабль из западни, в которую их загнал разбойник, прыгнули внутрь и помчались вперед со всей скоростью, на какую только были способны, — ведь друзья знали, что их Демон действует, и вместе с тем догадывались, что результаты этого действия наделят Мордона богатством, превышающим желаемое. Мордон же сидел, опершись о бочонок, и под тихое поскрипывание алмазного перышка, которым Демон записывал на бумажной ленте все, что узнавал от колеблющихся атомов, читал о том, как вить кисточки для алебард, и о том, что дочь царя Петриция из Благолонии звалась Горбундой, и что съедал за вторым завтраком Фридрих II, король бледнотиков, до объявления войны гвендолинам, и о том, сколько электронных оболочек насчитывалось бы в атоме термионолиума, если бы такой элемент мог существовать, и каковы размеры заднего отверстия крохотной птички, называемой куротел, кою на своих розамфорах изображают колыхаи вебединые, а также о трех разновидностях вкуса полиароматного океанического ила на Водоции Призрачной, и о цветке Любюдюк, что, потревоженный рассветом, валит наповал старомилфландских охотников, и о том, как вывести формулу для косинуса угла грани многогранника, именуемого икосаэдром, и кто был ювелиром Фа-

луция, мясника-левши лабухантов, и о том, сколько филателистических журналов будет издаваться в семьдесяттысячном году на Моросее, и о том, где покоится тельце Кибриции Краснопятой, которую пробил гвоздем по пьянке некий Дуровалер, и чем отличается Матяжка от Натяжки, и о том, у кого в Космосе наименьшая продольная полольница, и почему блохи с присосками на заду не едят мха, и на чем основана игра, называемая на-качели-сзади-прыг, и сколько было зернышек в той кучке львиного зева, кою пнул ногой Абруквиан Полевитый, когда поскользнулся на восьмом километре альбацерского шоссе в Долине Воздуханий Седоватых, и мало-помалу Мордона начал побирать черт, ибо стало ему проясняться, что вся эта вполне правдивая и во всех отношениях осмысленная информация ему совершенно не нужна, ведь она превращалась в ужасную смесь, от которой разламывалась голова и подгибались ноги.

А Демон Второго Рода работал со скоростью триста миллионов сообщений в секунду, и бумажная лента, скручиваясь уже милями, медленно покрывала своими кольцами дипломированного разбойника, словно обматывая его белой паутиной, а бриллиантик бился как безумный, и казалось разбойнику, что вот-вот он узнает о вещах неслыханных, которые откроют ему глаза на Сущность Бытия, поэтому он вчитывался во все, что вылетало из-под алмазного перышка, а были то подшафейные песни шваброносов, и размеры ночных туфель с помпонами на континенте Гондвана, и толщина волос, которые растут на медном лбу мялкодела бадейного, и ширина темечка пладенцев-масынков, и литании заклинателей меркурьевых для пробуждения преподобного Жвачкуна Деньжурейного, и портьеры дюконские, и шесть способов варки манного супчика, и отрава, на дядьевых жен годная, и способы щекотанья щекотного, и имена граждан Брадострижни Замшавейской, на букву «М» начинающиеся, и описания вкуса пива, попорченного грибком...

Тут у него в глазах зарябило, и взревел он во всю мощь свою, ибо пришел его терпенью конец, однако информация обвила его и опутала тремястами тысячами бумажных миль, не давая ему шевельнуться, и вынужден был разбойник читать далее о том, какое начало второй «Книги джунглей» написал бы Редьярд Киплинг, если б у него в это время болел живот, и о чем думает кит, удрученный безбрачием, и в чем состоят любовные игры мухотравов колодных, и как можно старую суму

залатать, и что такое антимоний, и почему говорят «портной» и «сапожник», а не «сапожной» и «портовник», а также про то, сколько можно синяков получить одним махом. Затем последовала длинная серия различий между просеками и персиками: первые расчищены, а вторые пушком покрыты, а дальше — про то, каковы рифмы к слову «капустушка», и про то, какими словами обозвал папа Ульм из Пандеры антипапу Мульма, и про тех, у кого имеется губная гармошка. Тут Мордон сделал совсем отчаянную попытку выбраться из бумажных сетей, но быстро слабел; он отпихивал ленту, рвал ее и отшвыривал, только слишком уж много глаз имел этот разбойник, и сквозь них проникала все новая и новая информация, и пришлось ему узнать, какова компетенция дворника в Индокитае, и почему недояры из Водолитни вечно жалуются, что их продуло.

Тогда он закрыл глаза и застыл в неподвижности, придавленный лавиной информации, а Демон все обматывал и обвертывал его бинтами бумажными, страшной казнью карая Мордона дипломированного за алканье его безмерное всевозможных познаний.

И столь сурово покарали Мордона конструкторы, что по сей день сидит разбойник на самом дне своих мусорных карьеров и отвалов, придавленный горами бумаги, а в полумраке подземелья светлейшей искоркой бьется и подрагивает алмазное перышко, записывая все, что Демон Второго Рода из атомных плясок вылущивает из того воздуха, что течет через дырку в старом бочонке, и узнает несчастный Мордон, заливаемый потопом информации, бесконечные подробности о помпонах, тараканах и о собственном приключении, тут же изложенном, ибо и оно находится на одном из километров бумажной ленты, равно как и другие истории, а также гороскопы всего сущего вплоть до угасанья светил, и нет для него спасенья, разве что когда-нибудь лента бумажная кончится, поскольку бумага иссякнет.

Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело

Вселенная бесконечна, но ограничена, а потому световой луч, в какую бы сторону он ни двинулся, через миллиарды веков вернется к исходной точке, если у него хватит сил; так же точно бывает и со слухами, что снуют по Космосу от планеты к планете.

Дошли однажды до Трурля издалека слухи о двух могущественных конструкторах-благодетелях, наделенных такой мудростью и таким совершенством, что никто с ними не сравнится; Трурль немедленно отправился к Клапауцию, но тот ему объяснил, что это слух о них самих, а не о таинственных соперниках, облетев Космос, вернулся назад.

Но знаменитости имеют обыкновение помалкивать о своих неудачах, даже если было причиной этой неудачи не что иное, как высокое их совершенство. Кто в этом усомнится, пускай припомнит последнюю

Podróż siódma, czyli O tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła, 1965. © Перевод. А. Громова, 1965.

из семи экспедиций Трурля; предпринял он эту экспедицию в одиночку, ибо Клапауций был тогда занят срочными делами и не мог составить ему компанию.

Был Трурль в то время спесив безмерно и знаки почтения принимал как нечто вполне обычное и привычное. Направил он свою ракету на север, потому что эти края меньше всего знал. Долго летел он, минуя и планеты, на которых кипели битвы, и те, которыми уже завладела смертная тишина, пока случайно не подвернулась ему маленькая планета, прямо-таки микроскопическая, этакая крупинка материи, затерянная в пространстве.

По этому скалистому обломку кто-то бегал взад-вперед, подпрыгивая и странно жестикулируя. Удивленный таким одиночеством и обеспокоенный этими признаками не то отчаяния, не то гнева, Трурль поскорее спустился на планету.

Навстречу ему двинулся осанистый исполин, весь иридиево-ванадиевый, бряцающий и звенящий; открыл он Трурлю, что зовется Экзилием Тартарейским и является властелином Панкриции и Ценендеры, обитатели коих королевств в припадке цареубийственной ярости свергли его с престола и, изгнав, высадили на этой пустынной крохотульке, чтобы он до скончания веков дрейфовал вместе с ней в темных токах гравитации.

Узнав в свою очередь, с кем имеет дело, начал этот монарх домогаться, чтобы Трурль — благодетель, можно сказать, профессиональный — незамедлительно вернул ему утраченную власть; и при одной мысли о таком обороте дел глаза его зажглись огнем мести, а стальные пальцы начали сжиматься, будто хватали верноподданных за горло.

Трурль, однако, не мог и не хотел исполнить желаний Экзилия, ибо это повлекло бы за собой множественные злодеяния и преступления, но стремился все же как-то успокоить и утешить оскорбленного монарха. Поразмыслив хорошенько, он пришел к убеждению, что и в этом случае не все потеряно, поскольку можно сделать так, чтобы и король был сыт, и его прежние подданные целы. Поэтому, призвав на помощь все свое мастерство, Трурль поработал как следует и сконструировал для Экзилия совершенно новое государство. В нем было полным-полно замков и знамен, рек и гор, лесов и озер; были там облака, плывущие по небу, и воины, жаждущие битвы; были бастионы и бряцанье сабель, города и горничные, были также и ярмарки,

залитые ярким солнцем, и дни, прошедшие в тяжелом труде, и ночи, когда до рассвета пели и плясали, и лязг палашей. С изощренным уменьем вмонтировал Трурль в это государство великолепную столицу, всю из мрамора и горного хрусталя, а также совет старейшин, зимние дворцы и летние резиденции, заговорщиков и клеветников, кормилиц и доносчиков, стада великолепных рысаков и пунцовые плюмажи, веющие на ветру; затем пронизал он атмосферу государства серебряными нитями фанфар и гулкими громами артиллерийских салютов, подбросил также необходимую пригоршню предателей и пригоршню героев, щепотку вещунов и пророков, по одному мессии и поэту немыслимой силы духа; а потом, присев над готовым государством, проделал пробный запуск и, по ходу дела манипулируя микроскопическими устройствами, придал женщинам этого государства красоту, мужчинам — угрюмую молчаливость и тягу к пьяным ссорам, чиновникам — спесь и служебное рвение, астрономам — звездный запой, детям же — крикливость. И все это, объединенное, сопряженное, тщательно подогнанное, умещалось в ящике, не слишком большом, как раз такого размера, что Трурль смог его легко поднять; затем вручил он все Экзилию на вечное владение. Наперед еще показал Трурль, где размещены входы и выходы этого новенького, с иголочки, государства, как программируются там войны, как подавляются мятежи, как налагаются поборы и подати; научил он также Экзилия, где находятся в этом миниатюризованном обществе критические пункты, грозящие взрывом, то есть где имеется точка максимума дворцовых заговоров и общественных движений, а где точка минимума; объяснял он это так хорошо, что король, издавна привыкший к тираническому правлению, на лету усваивал поучения и тут же, на глазах у конструктора, издал несколько пробных указов, соответственным образом передвигая изукрашенные королевскими орлами и львами ручки регуляторов. Объявлялись этими указами чрезвычайное положение, комендантский час и особая подать, после чего, когда в королевстве этом прошел год, а для Трурля и короля — не более минуты, Экзилий актом высочайшего милосердия, то есть легким движением пальца на регуляторе, отменил одну смертную казнь, подать уменьшил, а чрезвычайное положение изволил аннулировать, и крики благодарности, будто писк мышат, которых дергают за хвостики, вырвались из ящика, а сквозь выпуклое его верхнее стекло можно было на-

блюдать, как на светлых пыльных дорогах и на берегах лениво текущих рек, в которых отражались пушистые облака, народ радовался и прославлял ни с чем не сравнимое великодушие государево.

И хотя был Экзилий поначалу уязвлен подарком Трурля, ибо слишком уж маленьким казалось это государство и слишком походило на детскую игрушку, однако же, видя, как увеличивается оно, когда глядишь сквозь толстое верхнее стекло, а может, и неясно ощущая, что дело вовсе не в масштабе, поскольку государственные дела не измеришь ни метром, ни килограммом, чувства же, независимо от того, испытывают их карлики или великаны, в общем-то одинаковы, поблагодарил он конструктора, правда, сквозь зубы и холодно. Кто знает, может, он охотно даже приказал бы, чтоб дворцовая стража сейчас же схватила Трурля и на всякий случай замучила пытками до смерти, поскольку наверняка было бы сподручней уничтожить в самом зародыше всякие толки о том, что какой-то голодранец, бродяга, промышляющий поделками, подарил могущественному монарху королевство. Был, однако, Экзилий достаточно благоразумен, чтобы сообразить, что ничего из этого не выйдет вследствие явной диспропорции: скорее удалось бы блохам арестовать своего кормильца, нежели всему теперешнему королевскому войску справиться с Трурлем. Так что король еще раз кивнул слегка Трурлю, сунул жезл и скипетр за пазуху, не без труда поднял ящик с государством и отнес его в свою изгнанническую хибарку. То солнце освещало ящик, то ночь его тьмой покрывала в ритме оборотов планеты, а Экзилий, которого подданные уже провозгласили величайшим королем в мире, бдительно правил страной — приказывал и наказывал, казнил и награждал, и такими методами непрерывно поощрял этих малюток к идеальному верноподданничеству и преклонению перед монархом.

Трурль же, возвратившись домой, сразу не без самодовольства рассказал своему другу Клапауцию, как он блеснул конструкторским мастерством, удовлетворив одновременно и монархические стремления Экзилия, и республиканские — бывших его подданных. Клапауций, однако же, как ни странно, не выразил восторга. Наоборот, нечто вроде укора прочел Трурль в его глазах.

— Верно ли я тебя понял? — спросил он. — Ты отдал в вечное пользование этому извергу, этому прирожденному над-

смотрщику за рабами, этому пыткофилу или муколюбу целое общество? И ты еще рассказываешь мне о восторге, который вызван тем, что аннулирована часть жестоких указов? Как ты мог это сделать?

— Ну ты, наверно, шутишь! — закричал Трурль. — Да ведь все это государство умещается в ящике размером метр на шестьдесят пять сантиметров и глубиной семьдесят сантиметров! Это всего лишь модель, не более...

— Модель чего?

— Как это чего? Общества. Модель, уменьшенная в сто миллионов раз.

— А почем ты знаешь, что не существует цивилизации, в сто миллионов раз больше нашей по размерам? Может, тогда и мы — лишь модель этих гигантов? И вообще — какое значение имеют размеры? Разве в этом ящике, то есть государстве, путешествие из столицы к дальним пограничьям не тянется целые месяцы для тамошних обитателей? Разве они не страдают, не трудятся в поте лица, не умирают?

— Ну, ну, милый мой! Ты же сам знаешь, что все эти процессы совершаются лишь потому, что я их запрограммировал, — а значит, не взаправду...

— То есть как это «не взаправду»? Ты хочешь сказать, что ящик пуст, а битвы, пытки и казни — лишь иллюзия?

— Это не иллюзия, поскольку они происходят в действительности, но лишь как некие микроскопические движения, в которые я вовлек атомные рои, — сказал Трурль. — Во всяком случае, все эти рождения и свадьбы, подвиги и доносы не более как пляска мельчайших электронов в вакууме, упорядоченная благодаря точности моего незаурядного мастерства, которое...

— Не хочу слышать больше ни слова похвальбы! — прервал его Клапауций. — Ты говоришь, что это самоорганизующиеся процессы?

— Ну конечно!

— И что они возникают средь мельчайших электронных облачков?

— Ты же отлично знаешь об этом.

— И что феноменология рассветов, закатов, кровавых войн объясняется сопряжением существенных переменных?

— Но ведь так оно и есть!

— А разве мы сами, если нас исследовать методами физическими, химическими, логическими, не представляем собой

те же пляшущие облачка электронов, положительные и отрицательные заряды, вмонтированные в пустоту? И разве наше бытие не является результатом столкновений этих пляшущих частиц, хотя сами мы воспринимаем выкрутасы молекул как страх, желание или раздумья? И что же творится в твоей голове, когда ты мечтаешь, кроме двоичной алгебры переключений и неустанных странствий электронов!

— Клапауцик, милый мой! Ты что же, отождествляешь наше бытие с бытием этого лжегосударства, запертого в стеклянном ящике?! — возопил Трурль. — Нет, это уже чересчур! Ведь в мои намерения входило лишь соорудить имитатор государственной власти, кибернетически совершенную модель, ничего больше!

— Трурль! Безупречность мастерства — это наше с тобой проклятье, которое обременяет непредвидимыми последствиями любое из наших творений! — повысив голос, произнес Клапауций. — Ибо неумелый подражатель, возжаждав пыток, сделал бы себе бесформенного истукана из дерева либо воска и, придав ему некоторое внешнее сходство с разумным существом, измывался бы над ним суррогатно и неестественно. Но подумай, к чему приведет совершенствование этого замысла! Представь себе умельца, который вмонтирует в куклу проигрыватель, чтобы она стонала под ударами; представь себе куклу, которая, если ее бить, будет молить о пощаде, куклу, которая из истукана превращается в гомеостат; представь себе куклу плачущую, истекающую кровью, куклу, которая боится смерти, хоть и прельщает ее это спокойствие, надежнейшее из всех! Неужели ты не видишь, как мастерство подражателя приводит к тому, что видимость становится истиной, а подделка — действительностью? Ты отдал жестокому тирану в вечное владение неисчислимые массы существ, способных страдать, а значит, совершил позорный поступок...

— Все это софизмы! — выкрикнул Трурль с деланным пылом: рассуждения Клапауция сильно его обеспокоили. — Электроны пляшут не только внутри наших голов, но и внутри кассет с магнитной записью, и из этой их вездесущности не следует ничего, что давало бы тебе право проводить такие гипостатические аналогии! Подданные этого изверга Экзилия действительно подвергаются пыткам и казням, хнычут, дерутся, целуются — но лишь оттого и потому, что я соответствующим обра-

зом сочетал параметры, а чувствуют ли они что-либо, тебе об этом не расскажут электроны, пляшущие в их головах!

— Если б я тебе голову разбил, так тоже ничего бы не увидел, кроме электронов, это уж точно, — ответил тот. — Ты, конечно, притворяешься, будто не видишь того, на что я указываю; я же отлично знаю, что ты не настолько глуп! Кассету с записью ты ни о чем не спросишь, кассета не будет просить у тебя пощады и на колени не упадет! Неизвестно, говоришь, стонут они от ударов лишь потому, что это диктуют подмигивающие электроны в их нутре, словно поворотом колесика порождая звуки, либо вправду кричат от нестерпимых мук? Тоже мне разница! Да ведь страдает не тот, кто свое страдание может дать тебе в руки, чтоб ты его ощупал, взвесил и на вкус попробовал, а тот, кто ведет себя, как страдалец! Вот докажи мне, что они *не* чувствуют ничего, *не* мыслят, что они вообще *не* существуют как создания, сознающие, что они замкнуты между двумя безднами небытия — той, что до рождения, и той, что после смерти, — докажи мне это, и я перестану к тебе приставать! Вот докажи мне, что ты только *имитировал* страдание, но не *создал* его!

— Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, — тихо возразил Трурль. — Едва взяв инструменты в руки, перед пустым еще ящиком, я уже обдумывал возможность *такого* аргумента — именно для того, чтобы предусмотреть эту возможность загодя, при проектировании, чтобы Экзилий ни на миг не заподозрил, что имеет дело с марионетками, с куколками вместо вполне реальных подданных. Я не мог поступить иначе, пойми! Ведь, если бы что-то нарушило иллюзию полнейшей реальности, исчезла бы также иллюзия деспотического полновластия! Все свелось бы к забаве с механической игрушкой...

— Понимаю, отлично все понимаю! — воскликнул Клапауций. — Намерения твои были честными: ты хотел всего лишь сконструировать государство, максимально похожее на подлинное, просто неотличимо похожее, — и я с ужасом понимаю, что тебе это удалось! С момента твоего возвращения прошли часы, но для них, запертых там, в этом ящике, — целые века! И сколько загублено жизней для того, чтобы спесь Экзилия еще больше раздувалась и взбухала!

Ничего уже не отвечая, Трурль направился к своему кораблю и увидел, что Клапауций спешит вслед за ним. Крутанув пустолет, как волчок, направил его Трурль меж двух больших

скоплений предвечных звезд и так напирал на рули, что Клапауций воскликнул:

— Ты неисправим. Вечно сначала делаешь, потом думаешь! И что же ты собираешься предпринять, когда мы окажемся там?

— Отниму у него государство!

— А что же ты сделаешь с этим государством?

— Уничтожу! — хотел было крикнуть Трурль, но первый же слог застрял у него в горле. Не зная, что сказать, он буркнул наконец: — Устрою выборы. Пускай сами себе подыщут справедливых владык.

— Ты их запрограммировал как феодалов и ленников — так что же им дадут выборы, как повлияют на их судьбу? Надо было бы сначала разрушить всю структуру этого государства и заново все соединить...

— Но где кончается изменение структуры и где начинается переделка сознания?! — крикнул Трурль.

Клапауций ничего ему не ответил, и так они летели в угрюмом молчании, пока не увидели обиталище Экзилия.

Когда же они перед посадкой облетели по орбите этот шарик, удивительная картина представилась их глазам.

Всю планету покрывали неисчислимые признаки разумной деятельности. Микроскопические мосты, как черточки, виднелись над водами ручейков, а в лужах, отражающих звезды, полным-полно было кораблей, с высоты похожих на плавающие стружки... На ночном, окутанном мраком полушарии густо рассыпалась блестящая рябь освещенных городов, и на светлом полушарии тоже повсюду виднелись замки, города и селения, но обитателей, из-за их ничтожной величины, не удавалось разглядеть и в самые сильные бинокли. Только от короля ни следа не осталось, будто земля под ним разверзлась.

— Нет его... — прошептал изумленный Трурль. — Что они с ним сделали? Им удалось проломить стенку ящика, и они заселили всю эту кроху...

— Смотри, — сказал Клапауций, заметив медленно тающее облачко, похожее на крохотный грибок для штопки. — Они уже знакомы с атомной энергией... А там, дальше, — видишь эту стеклянную штуку? Это остатки ящика, которые стали чем-то вроде святыни...

— Не понимаю! Все же это была только модель... Только процесс со множеством параметров, монархический трена-

жер, имитация... сопряжение переменных в мультистате... — бормотал ошеломленный, обалдевший Трурль.

— Да. Но ты допустил непростительную ошибку излишнего совершенства в подражании. Не желая создать всего лишь часовой механизм, ты создал невольно, из педантичности, нечто возможное и необходимое — что является противоположностью механизма...

— Не продолжай! — крикнул Трурль.

Они все смотрели на планету, и вдруг что-то ударилось об их корабль, но слабо, едва коснувшись; они увидели этот предмет, так как его освещала исходящая сзади струйка тусклого свечения. Был это кораблик, а может, искусственный спутник, удивительно похожий по форме на те стальные сандалии, что носил тиран Экзилий. Подняв глаза кверху, они увидели высоко над планеткой светящееся тело, которого в прежние времена здесь не было, распознали на его округлой, идеально холодной поверхности стальные черты Экзилия и поняли, что он сделался Луною микроминиантов.

Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона

Однажды явился к Трурлю чужак, по обличью которого, едва успел он выйти из фотонного паланкина, сразу было видать, что персона это особенная и из дальних сторон, ибо там, где у прочих имеются руки, у него лишь веял благовонный зефир, там, где у прочих ноги, у него лишь дивно играло сияние радужное, и даже голову заменяла ему драгоценная шляпа; говорил же он из самой середки, ибо являл собою шар, идеально выточенный, наружности весьма привлекательной, опоясанный плазменным богатым шнуром. Поздоровавшись с Трурлем, он объяснил, что его тут двое, а именно: полушарие верхнее и полушарие нижнее; первое звать Синхроний, второе же Синхрофазий. Такое искусное конструкторское решение разумного существа привело в восхищение Трурля, и он признался, что никогда еще не доводилось ему видеть особу, сработанную столь тщательно, с ма-

---

Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona, 1967. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

нерами столь прециозными и таким брильянтовым блеском. Пришелец в свой черед похвалил конструкцию Трурля и после такого обмена любезностями рассказал, что его сюда привело; будучи другом и верным слугою славного короля Гениалона, прибыл он к Трурлю, чтобы заказать ему три машины-рассказчицы.

— Король и господин мой давно уж не царствует и не управляет, — объяснил он, — а к двойному этому отречению привела его мудрость, глубочайшее постижение мировых дел. И вот, покинув свое королевство, он поселился в пещере, сухой и прохладной, чтобы там размышлениям предаваться. Однако ж порою снедает его меланхолия либо отвращение к себе самому, и тогда ничто не способно его утешить, кроме совершенно необычайных историй. Но те, кто сохранил ему верность и не оставил его, когда он сложил корону, давно уже рассказали все, что сами знали. А потому, не видя иного способа, мы просим тебя, конструктор, помочь нам рассеять монаршью тоску — при помощи машин, которые ты искусно построишь.

— Это можно, — ответил Трурль. — Но зачем вам целых три?

— Мы бы хотели, — сказал Синхрофазий, слегка покачиваясь то вправо, то влево, — чтобы одна рассказывала истории замысловатые, но утешные, другая — хитроумные и лукавые, а третья — бездонные и берущие за душу.

— То есть одна для упражненья ума, другая для развлеченья, а третья для назидания? — подхватил Трурль. — Понятно. О плате сразу уговоримся или потом?

— Когда построишь машины, потри этот перстень, — отвечал пришелец, — и перед тобою появится мой паланкин; ты сядешь в него вместе с машинами и мигом примчишься в пещеру Гениалона, а там уже выскажешь все желанья свои, которые король по мере возможности безусловно исполнит.

С этими словами он поклонился, подал Трурлю перстень, сверкнул ослепительно и закатился в паланкин; тотчас же паланкин овеяло светлое облако, что-то бесшумно сверкнуло, и Трурль остался один перед домом с перстнем в руке, не слишком довольный случившимся.

— «По мере возможности»! — бормотал он, переступая порог своей лаборатории. — Ох, и не люблю же я этого! Дело известное: едва наступает срок платежа, как всяким учтивос-

тям, церемониям да экивокам приходит конец и начинаются хлопоты, которые часто не дают ничего, кроме шишек...

В ту же минуту сияющий перстень в руке у него дрогнул и отозвался:

— «По мере возможности» объясняется тем, что король, отрекшись от королевства, стеснен в средствах; однако он обратился к тебе, о конструктор, как мудрец к мудрецу, и не ошибся, как вижу, коль скоро говорящий перстень тебя нимало не удивил; не удивляйся же и бедности королевской, ибо плату получишь щедрую, хотя, быть может, не золотом. Но золотом не всякий утоляется голод.

— Что ты мне тут плетешь, перстенек? — отвечает Трурль. — Мудрец, мудреца, мудрецом, а электричество, ионы, атомы и всякие драгоценности, употребляемые для постройки машин, влетают в копеечку. Я люблю договоры ясные, подписанные, с параграфами и печатями; я не падок на всякую мелочь, но золото я люблю, особенно в изрядных количествах, и не стыжусь в этом признаться! Его блеск, его желтый отлив, его милая сердцу тяжесть таковы, что стоит мне высыпать на пол один-другой мешочек дукатов и под приятный их звон по ним покататься, как вмиг светлее становится на душе, словно кто-то внес туда солнышко и зажег. Да, я люблю золото, черт побери! — закричал он, ибо собственные слова слегка его распалили.

— Но к чему тебе золото, получаемое от других? Разве ты не можешь сам его изготовить, сколько душа пожелает? — спросил, сверкнувши от изумления, перстень.

— Не знаю, насколько мудр твой король, — отвечает на это Трурль, — но ты, как я погляжу, совершенно необразованный перстень! Это что же, я сам себе должен золото делать? Да где это видано?! Разве сапожник живет тем, что себе сапоги тачает? Разве повар стряпает для себя, а солдат за себя воюет? А производственные издержки? Ты о них когда-нибудь слышал? Впрочем, золото золотом, но еще я люблю поворчать. А теперь помолчи, мне пора уже за работу браться.

Бросил он перстень в жестянку старую и взялся за дело. Построил три машины в три дня, не выходя из дому, а после задумался, какую бы им придать форму, ибо любил простоту и функциональность. Стал он пробовать всевозможные кожухи; поскольку же перстень то и дело подавал из жестянки голос, Трурль прикрыл ее, чтобы неуместные замечания не мешали работе.

Под конец он покрасил машины — первую в белый цвет, вторую в лазоревый, а третью в черный, затем потер перстень, погрузил машины в паланкин, который немедля явился, сам в нем уселся и стал ждать, что будет дальше. Засвистело, загудело, пыль взметнулась, осела, и Трурль, выглянув через окошко паланкина, увидел, что находится в просторной, посыпанной белым песочком пещере; сперва он заметил несколько деревянных лавок, прогибавшихся под старыми фолиантами, а потом ряд шаров, сияющих дивным блеском. В одном он узнал чужеземца, что заказывал ему машины; в центральном же шаре — тот был побольше и от старости покрыт сетью царапин — Трурль распознал короля, поклонился ему и вышел из паланкина. Король сердечно с ним поздоровался и сказал:

— Мудрость бывает двух видов: одна дает средства действовать, вторая от действий удерживает. Не кажется ли тебе, достославный Трурль, что вторая выше? Ведь лишь безмерно дальнозоркая мысль способна предвидеть отдаленнейшие последствия наших деяний, побуждающие усомниться в разумности оных. А потому совершенство может проявляться в неделании — и мудрость тем-то от разума и отличается, что видит такого рода различия...

— С разрешения Вашего Величества замечу, — отвечал Трурль, — что вашу речь можно истолковать двояко. Либо это деликатный намек, имеющий целью преуменьшить мой труд, то́ деяние, что вызвало к жизни три машины-рассказчицы, лежащие там, в паланкине. Такое толкование было бы мне не по сердцу, поскольку свидетельствовало бы о скрытом желании уклониться от платежа. Либо имеется в виду лишь доктрина неделания, противоречивая по природе своей. Чтобы иметь возможность не действовать, нужно иметь возможность действовать, ведь тот, кто воздерживается от переворачивания горы из-за отсутствия средств, а утверждает, что выбрал неделание, ибо так велит ему мудрость, лишь выставляет себя на посмешище дешевой видимостью философствования. Неделание надежно, и это все, что можно сказать в его пользу. Делание ненадежно, и в этом его красота; что же касается дальнейших тонкостей этой проблемы, я, если Ваше Величество того пожелает, построю особую машину для диспутов.

— Вопрос об оплате оставим на самый конец той счастливой оказии, которая привела тебя к нам, — молвил король, слегка покачиваясь от скрытой веселости, которую в нем возбуди-

ла речь Трурля. — Теперь же, конструктор, сделай милость, будь моим гостем и соблаговоли усесться за этим скромным столом, на лавке, между верных моих товарищей, и поведай о своих деяниях либо об отказе от таковых.

— Прошу меня извинить, государь, — ответил Трурль, — но боюсь, что я недостаточно красноречив; впрочем, меня превосходно заменят три привезенные мною машины; это будет вполне уместно, а заодно мы их испробуем.

— Будь по-твоему, — согласился король.

Тут все уселись в позах, выражающих любопытство и надежду услышать необычайное, а Трурль достал из паланкина железный корпус, выкрашенный в белый цвет, нажал на кнопку и сел по правую руку от Гениалона. И заговорила первая машина:

— Если не знаете истории о множественниках, их короле Мандрильоне, Советчике его Совершенном и Трурле-конструкторе, который сперва Советчика создал, а потом погубил, то послушайте!

Держава множественников знаменита своими жителями, кои тем отличаются, что их там много. Однажды конструктор Трурль, бороздя шафрановые окрестности созвездья Делиры, сбился несколько с курса и увидел планету, которая словно бы вся шевелилась. Снизившись, понял он, что причиной этому толпы, ее покрывавшие, и приземлился, не без труда отыскав несколько квадратных метров сравнительно свободного грунта. Мигом набежали отовсюду туземцы и окружили его, подчеркивая, как много их тут; поскольку, однако, голосили они все разом и наперебой, Трурль довольно долго не мог их понять. Поняв же, спросил:

— Неужто взаправду так вас много?

— Взаправду!!! — заверещали они с неслыханной гордостью. — Мы неисчислимы.

— Нас тут что маковых зерен!

— Что звезд на небе!

— Что песчинок! Что атомов!

— Допустим, — ответил Трурль. — Вас много — и что с того? Может, вы без устали пересчитываетесь и тем себя тешите?

А они ему:

— Необразованный ты чужеземец! Знай же: стоит нам топнуть — и сотрясаются горы, стоит нам дунуть — и ветер деревья валит, как спички, а ежели мы разом усядемся, никто не двинет ни рукой, ни ногой!!!

— А зачем это надо, чтобы горы дрожали, страшный ветер деревья ломал и никто не двигал ни рукой, ни ногой? — удивился Трурль. — Не лучше ли, если горы стоят спокойно, ветра нет и каждый чем хочет, тем и двигает?

Страшно они возмутились пренебрежением Трурля к великому их числу и численному величию; топнули они, дунули и уселись, чтоб ему показать, как много их и что из этого следует. Тотчас земля затряслась и рухнула половина деревьев, придавив стоявших под ними; поднявшийся вихрь повалил остальные и расплющил в лепешку еще семьсот тысяч народу; а те, что остались в живых, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могли.

— Боже мой! — ужаснулся Трурль, как кирпич в стене застрявший среди туземцев. — Вот горе-то!

Но оказалось, что этим он оскорбил их еще сильнее.

— Дремучий ты чужеземец! — загремели они. — Что значит потеря нескольких сот тысяч для множественников, коих никто исчислить не в силах! Да можно ли вообще считать потерею то, чего и заметить нельзя? Ты убедился, сколь могущественны мы притопом, дутьем и присядом, а то ли еще было бы, возьмись мы за дела поважнее!

— И в самом деле, — заметил Трурль, — не думайте, будто образ мышления вашего мне непонятен. Уж так повелось: все огромное и многочисленное вызывает к себе уважение. К примеру, прогорклый газ, вяло блуждающий по дну полусгнившей бочки, ни у кого не в почете; но пусть его наберется на Галактическую Туманность — и все приходят в изумление и восторг. А это все тот же прогорклый и зауряднейший газ, только что очень много его.

— Речи твои не по нраву нам! — закричали они. — Не желаем мы слушать о каком-то прогорклом газе!

Трурль огляделся в поисках полицейских, но давка была такая, что они не могли протолкнуться.

— Любезные множественники! — сказал он тогда. — Позвольте мне покинуть вашу страну, ибо не разделяю я веры в великолепие многочисленности, если за нею только и есть, что число.

Они же, переглянувшись, ударили палец о палец, чем вызвали такое завихрение атмосферы, что Трурля подбросило под облака и долго летел он там, кувыркаясь, пока не упал на землю. Тут он увидел, что находится в саду королевского замка и прямо к нему направляется Мандрильон Наибольший, владыка множественников; король, наблюдавший за полетом и падением Трурля, заговорил:

— Я слышал, ты, чужестранец, не оказал надлежащего уважения к бесчисленному моему народу. Отношу это на счет твоей мозговой тем-

ноты. Не постигая, однако, высоких материй, ты, говорят, приобрел кое-какую сноровку в материях менее важных; оно и к лучшему, ибо я нуждаюсь в Совершенном Советчике, а ты мне его построишь!

— А что должен уметь Советчик и что я получу за него? — спросил Трурль, отряхиваясь от пыли и глины.

— Он должен уметь все: отвечать на любые вопросы, решать любые задачи, давать советы наилучшие из возможных, словом, предоставлять к моим услугам наивысшую мудрость. За это я подарю тебе сто или двести тысяч моих подданных — лишняя сотня тысяч не в счет.

«Как видно, — подумал Трурль, — чрезмерная численность разумных существ небезопасна, уподобляя их простому песку; и легче этому королю расстаться с тьмой своих подданных, чем мне с изношенным башмаком!» Вслух же сказал:

— Государь, мой дом невелик, и я не знал бы, что делать с сотнями тысяч невольников.

— Простодушный мой чужестранец, есть у меня консультанты, они тебе все разъяснят. Уйма невольников доставляет тьму удовольствий. Можно одеть их в разноцветное платье и расставить на площади в виде мозаики или назидательных надписей на любой случай; можно связать их пучками и подбрасывать кверху; из пяти тысяч можно соорудить молот и еще из трех тысяч — его рукоять, скажем, для раздробленья скалы или для лесоповала; из них можно вить канаты, сплетать искусственные лианы и бахрому, а те, что свисают над самой пропастью, умори-тельными изгибами тела и визгом доставляют сердцу утеху, а глазу усладу. Поставь-ка десять тысяч юных невольниц на одной ноге и вели им правой рукой восьмерки выписывать, а левой — прищелкивать пальцами, и ты с трудом оторвешься от этого зрелища, по себе знаю!

— Государь! — отвечал Трурль. — Леса и скалы я покоряю машинами; что же до надписей и мозаик, не в моем обычае делать их из существ, которые, возможно, предпочли бы иное занятие.

— Так чего же, самонадеянный чужестранец, ты требуешь за Советчика?

— Сто мешков золота, государь!

Жаль было Мандрильону расставаться с золотом; но его осенила весьма хитроумная мысль, которую он затаил, а Трурлю сказал:

— Хорошо, будь по-твоему.

— Желание Вашего Величества постараюсь исполнить, — ответил Трурль и направился в замковую башню, отведенную королем под лабораторию. Вскоре оттуда послышалось пыхтение мехов, удары молота и скрежет напильника. Посланные королем соглядатаи вернулись в большом удивлении, ибо Трурль не Советчика строил, но множество

всяких машин — кузнечных, слесарных и электроботных, — а после уселся и начал гвоздиком длиннющую ленту дырявить; составив таким манером подробную программу Советчика, он пошел прогуляться, а машины до глубокой ночи стучали в башне; к утру же все было готово. В полдень Трурль ввел в дворцовую залу махину на двух ногах и с одной малюсенькой ручкой и заявил королю, что это и есть Совершенный Советчик.

— Посмотрим, чего он стоит, — сказал Мандрильон и велел посыпать мраморный пол корицею и шафраном — от Советчика разило раскаленным железом, а местами он даже светился, будучи только что вынут из печи. — Ты же пока ступай, — добавил король. — Вечером возвращайся, и увидим, кто кому должен и сколько.

Трурль удалился, размышляя о том, что последние слова Мандрильона не предвещают особой щедрости, а может, даже таят в себе какой-то подвох, и был очень рад, что ограничил универсальность Советчика маленькой, но существенной оговоркой, занесенной в программу, а именно: чтобы тот ни при каких обстоятельствах не мог погубить своего творца.

Оставшись наедине с Советчиком, король спросил:

— Кто ты таков и что можешь?

— Я Совершенный Королевский Советчик, — ответил тот голосом глуховатым, как бы доносящимся из пустой бочки, — и могу давать советы, наилучшие из возможных.

— Прекрасно, — сказал Мандрильон, — а кому ты обязан верностью и послушанием, мне или тому, кто построил тебя?

— Верностью и послушанием я обязан единственно Вашему Величеству, — прогудел Совершенный Советчик.

— Отлично, — буркнул король. — Для начала... значит... того... слушай... я бы не хотел, чтобы первое же мое пожелание выставило меня скупцом... но все же неплохо бы, в некотором роде... исключительно ради принципа... смекаешь?

— Ваше Величество еще не соблаговолило поведать, что ему угодно, — ответил Советчик, выдвинул сбоку третью ногу, поменьше, и подперся ею, так как временно потерял равновесие.

— Совершенный Советчик должен читать мысли своего господина! — проворчал сердито король.

— Разумеется, но только по приказанию, дабы не показаться нескромным, — возразил Советчик; затем отодвинул заслонку на животе, повернул маленький ключик с надписью «Чтец-телепатор», весь просиял и воскликнул: — Вашему Величеству угодно ни гроша не платить Трурлю? Понятно!

— Если ты кому-нибудь скажешь об этом, я велю тебя бросить в громадную мельницу, жернова которой вращают триста тысяч моих подданных! — пригрозил Мандрильон.

— Никому не скажу! — заверил Советчик. — Вашему Величеству угодно не платить за меня — это проще простого. Когда Трурль вернется, объявите ему, что золота никакого не будет, и пусть убирается.

— Да ты, видно, олух, а не Советчик! — разъярился король. — Я не хочу платить, но виноват пусть окажется Трурль! Мол, ему ничего не положено! Понял?

Советчик включил аппарат для чтения государевых мыслей, слегка покачнулся и глухо сказал:

— Вашему Величеству угодно также прослыть справедливым, свято блюдущим законы и свое государево слово, а Трурля выставить плутом, прохвостом и негодяем... Отлично. Тогда, с Высочайшего Вашего соизволения, я брошусь на Вас и начну Вас душить и давить, а Ваше Величество соблаговолит кричать «караул», да погромче...

— Ты, верно, спятил, — сказал Мандрильон, — чего это ради ты станешь меня душить и зачем мне кричать «караул»?

— А чтобы обвинить Трурля в покушении на цареубийство моими руками! — лучась, ответил Советчик. — И когда, по Высочайшему повелению, он будет наказан плетьми и сброшен с крепостной стены в ров, все сочтут это актом небывалого милосердия, поскольку таковое злодейство карается отсечением головы, предваряемым жестокими пытками. Меня же Ваше Величество соблаговолит совершенно помиловать, как невинное в руках Трурля орудие, что вызовет общее восхищение королевской добротою и снисходительностью, и августейшее Ваше желание исполнится в точности.

— Ну, так души, да поосторожней, мошенник! — согласился король.

Как Совершенный Советчик задумал, так оно все и случилось. Правда, король хотел, чтобы сбрасыванию со стены предшествовало вырывание ног, но до этого не дошло. Сам он решил, что из-за неразберихи; на самом же деле Трурля спасло тайное вмешательство Советчика через помощника палача. Советчика Мандрильон помиловал и опять приблизил к себе; а Трурль, еле живой, доковылял кое-как до дома. Тотчас по возвращении отправился он к Клапауцию и поведал свою историю, а напоследок сказал:

— Этот Мандрильон оказался еще большим прохвостом, чем я ожидал. Так низко меня обмануть! И подумать только: построенный мною Советчик послужил ему для злодейского жульничества мне же в ущерб! Но он ошибается, если думает, что я ему это спущу! Раньше я насквозь проржавею, чем забуду о мести, которая должна настигнуть тирана!

— Что ж ты намерен делать? — спросил Клапауций.

— Взыскать положенную мне плату через суд; но это лишь для начала, золотом он не откупится за муки мои и позор.

— Больно уж сложный юридический казус! — сказал Клапауций. — Знаешь что: прежде, чем что-либо делать, найди хорошего адвоката.

— Чего мне искать адвоката? Я его сам построю!

Пришел он домой, всыпал в бочку транзисторов — шесть половников с верхом да столько же сопротивлений и конденсаторов, залил электролитом, накрыл доской, привалил камнем, чтобы все там хорошенько самоорганизовалось, и лег спать, а через три дня у него уже был адвокат хоть куда. Трурль даже не потрудился вынуть его из бочки, ведь адвокат был ему нужен на один-единственный раз; он поставил бочку на стол и спросил:

— Кто ты?

— Я адвокатор-консультатор юридический, — с трудом пробулькала бочка, ибо конструктор малость переборщил с электролитом.

Трурль изложил свое дело, а она ему:

— В программе Советчика была оговорка, что он не может тебя погубить?

— Да. То есть что он не допустит моей смерти, — а больше там ничего не было.

— Значит, ты не выполнил договор до конца: ведь Советчик должен был уметь все, без единого исключения, а раз не мог тебя погубить, значит, умел не все.

— Но если б он меня погубил, кто бы принял вознаграждение?

— Это отдельный вопрос и совсем иная проблема, предусмотренная статьями об уголовной ответственности Мандрильона; твой же иск носит сугубо гражданский характер.

— Вот еще! Какая-то бочка будет учить меня гражданскому праву! — разгневался Трурль. — Чей ты, собственно, адвокат, мой или того монарха-головореза?

— Твой, но король был вправе лишить тебя платы.

— А сбрасывать в ров с крепостной стены?

— Это другой вопрос, уголовный, и проблема особая, — булькает бочка.

Трурль прямо затрясся.

— Это что же такое?! Я, значит, преображаю кучу старых тумблеров, проводов и железок в разумное существо и в благодарность получаю вместо совета какие-то закавыки? А чтоб ты не самоорганизовывался, крючкотвор несчастный!

Отцедил он электролит, вытряхнул все из бочки на стол и поразбирал на части, да так живо, что адвокатор не успел даже внести апелляцию на такое решение.

А Трурль взялся опять за работу и построил себе Юрис Консульта — трехэтажного, с четырехкратным усилением обоих кодексов, уголовного и гражданского; а для верности еще подключил к нему международное и административное право. Затем врубил ток, изложил дело и спрашивает:

— Как быть?

— Случай весьма непростой, — отвечает машина. — Требую, чтобы ты в срочном порядке вмонтировал мне еще пятьсот транзисторов сверху да двести с боков.

Трурль так и сделал, а она ему:

— Мало! Нужны добавочные усилители и две большие катушки.

А после держит такую речь:

— Казус сам по себе любопытный, тут, однако, наличествуют две материи: основание иска — это одно, и здесь многого можно добиться; процессуальная процедура — другое. Ни на какой суд вызвать монарха гражданским иском нельзя, так гласит право международное, а равно космическое. Окончательное толкование объявлю, если пообещаешь не разбирать меня после на части.

Трурль пообещал и добавил:

— Но скажи, сделай милость, откуда ты знал, что тебе угрожает разборка, если бы толкование мне не понравилось?

— Не знаю — так мне почему-то казалось.

Однако же Трурль догадался, в чем тут дело: при монтаже он использовал детали разобранного бочечного адвокатора и память о той истории отложилась в контурах нового агрегата, породив подсознательный комплекс.

— Где же твое толкование? — спрашивает конструктор.

— Вот оно: компетентного трибунала нет — не будет и рассмотрения дела. То есть ни выиграть, ни проиграть его невозможно.

Вскочил конструктор со стула, погрозил юридическому советнику кулаком, но слово пришлось сдержать, и ничего он ему не сделал.

Пошел Трурль к Клапауцию и все ему рассказал.

— Говорил же я — безнадежное это дело, а ты не верил, — говорит Клапауций.

— Я бесчестья так не оставлю, — горячится Трурль, — и если не добьюсь правосудия юридическим и судебным путем, то разделаюсь с коронованным прохвостом иначе!

— Но как, любопытно узнать? Ты дал королю Совершенного Советчика, а тот может все, хотя не может тебя погубить; он отведет любой удар, любое несчастье, любую беду, которые ты обрушишь на короля или его королевство. И я, любезный мой Трурль, не сомневаюсь, что так и будет, поскольку полностью доверяю твоему конструкторскому таланту!

— Ты прав. Похоже, создав Совершенного Советчика, я лишил себя всякой возможности наказать эту августейшую мразь. Но должна же тут быть какая-нибудь зацепка! Плох я буду, если ее не найду!

— Что ты задумал? — спрашивает Клапауций, но Трурль только плечами пожал и вернулся к себе.

Долго не выходил он из дому, размышляя в уединении; то в библиотеке лихорадочно перелистывал сотни томов, то в лаборатории таинственные опыты проводил. А Клапауций, навещая его, не мог надивиться упорству, с которым Трурль пытался самого себя превзойти: ведь Советчик, наделенный разумом Трурля, был как бы частью его самого. Однажды, придя, как обычно, после полудня, Клапауций не застал хозяина. Дверь была заперта, ставни на крепких засовах, а Трурля и след простыл. Понял он, что Трурль начал действия против повелителя множественников; так оно в самом деле и было.

Меж тем Мандрильон наслаждался властью как никогда, ибо, если ему не хватало фантазии, обращался за подсказкой к Советчику. К тому же отныне он не боялся ни мятежей, ни дворцовых переворотов и никакого вообще неприятеля, но правил железной рукой; и меньше красуется спелых гроздьев на лозе полуденного винограда, чем болталось в те годы повешенных на государевых виселицах.

А Советчик имел уже четыре полных сундука орденов за проекты, коими порадовал короля. Микрошпик, заброшенный Трурлем в державу множественников, воротился назад с донесением, что за последнюю услугу монарху — пускание по воде венков, сплетенных из обывателей, — Мандрильон публично назвал Советчика «моя душечка».

Недолго думая (ибо план кампании был уже разработан), Трурль взял листок кремовой почтовой бумаги, с нарисованной от руки виньеткой в виде земляничного деревца, и набросал письмо, содержания самого обыкновенного:

Милый Советчик! — говорилось в нем. — *Надеюсь, живется Тебе не хуже, чем мне, а то и получше. Государь, как я слышал, удостоил Тебя доверием: поэтому Ты, сознавая огромную ответственность перед Историей и Государственным Благом, должен верой и правдой служить на своем посту. В случае каких-либо трудностей при исполнении авгус-*

тейших желаний прибегни, пожалуйста, к методу «Экстра Особой Выдержки», с которым я в свое время детально Тебя ознакомил. Черкни, если хочешь, несколько строк, но не обессудь, если отвечу не сразу, поскольку я теперь занят конструированием Советчика для короля Д. и не располагаю избытком свободного времени. Шлю Тебе сердечный привет, а Твоему Государю — уверения в моем нижайшем почтении.

Твой Конструктор
Трурль.

Послание Трурля возбудило неизбежные подозрения Тайной Множественной Полиции и подверглось тщательному исследованию, причем на бумаге не оказалось никаких тайных химических реактивов, а в рисунке, изображавшем земляничное деревце, — ни малейших намеков на шифр. Обстоятельство это вызвало немалый переполох в Главном Штабе Полиции, и письмо было переснято, ксерокопировано, ротапринтировано, а также переписано от руки, оригинал же, запечатанный как положено, вручен адресату. Прочитав письмо, Советчик перепугался, ибо понял, что это уловка Трурля, рассчитанная на его, Советчика, дискредитацию, а может, и ликвидацию; он тотчас сообщил о письме Мандрильону, обрисовав при этом Трурля мерзавцем, норовящим скомпрометировать его в глазах государя, и взялся расшифровать послание, в твердой уверенности, что невинные фразы — лишь маска, за которой таится нечто ужасное и чудовищное.

Советчик заявил королю, что выведет Трурля на чистую воду; а затем, запасшись нужным количеством реактивов, штативов, воронок, пробирок и лакмусовой бумаги, предпринял сложнейший анализ конверта и почтовой бумаги. За всем этим, понятно, наблюдала полиция, вмонтировавшая в стены апартаментов Советчика винтики для подслушивания и болтики для подглядывания. Поскольку химия оказалась бессильной, Советчик занялся дешифровкой текста (расписав его предварительно в виде огромных таблиц) — при помощи ЭВМ, логарифмической линейки и счетов. Не знал он, что вместе с ним в это занятие углубились лучшие полицейские силы с Маршалом Шифровальных Войск во главе. Чем дольше затягивались старания специалистов, тем большая воцарялась в Главном Штабе тревога, ибо эксперты не сомневались уже, что шифр, столь дерзко глумящийся над попытками его разгадать, принадлежит к числу наиболее хитроумных из всех когда-либо испробованных. Маршал сообщил об этом одному из придворных сановников, который жестоко завидовал карьере Советчика. Оный вельможа, больше всего на свете желавший посеять в душе монарха недоверие к новому фавориту, сказал Мандрильону, что

Советчик, закрывшись на ключ, ночи напролет изучает подозрительное письмо. Но король только посмеялся над ним и ответил, что прекрасно об этом знает, поскольку Советчик сам ему обо всем рассказал. Сановный завистник, сконфузившись, замолчал и немедля поделился новостью с Маршалом.

— Надо же! — воскликнул заслуженный шифровальщик. — Даже и этого не скрыл от монарха? Что за неслыханное коварство! И что за дьявольский шифр, ежели можно болтать о нем с кем угодно!

И приказал своим войскам удвоить усилия. Прошла неделя, а результатов по-прежнему не было, и тогда на помощь призвали крупнейшего специалиста по загадочным текстам, создателя левосторонних, невидимых глазу шифров, профессора Ксивоса. Тот, изучив инкриминируемое письмо и отчеты военных спецов, предложил испытать метод проб и ошибок, а для расчетов взять вычислительные машины астрономического формата.

Это было исполнено, и оказалось, что письмо можно прочесть тремястами восемнадцатью способами.

Первые пять вариантов гласили: «Таракан из Мленкотина добрался благополучно, но выгребная яма погасла», «Тетку паровоза на шницелях прокатить», «Чепчик заклепан — обручение масла не состоится», «Тот, кто есть, но нет кого, нынче сам казнит его». А также: «Из крыжовника, пыткам подвергнутого, немало вытянуть можно». Последний вариант профессор Ксивос признал ключом к шифру и после трехсот тысяч опытов установил: если сложить все буквы письма, вычесть из итога солнечный параллакс и годовое производство солнечных зонтиков, а из остатка извлечь корень третьей степени, то получится слово «Апокалипсус». В адресной книге был найден обыватель по имени Апокаляпсус. Ксивос счел, что ошибка внесена умышленно, для отвода глаз, и Апокаляпсуса арестовали. Будучи подвергнут внушению шестой степени, он показал, что состоит в сговоре с Трурлем, который обещал в скором времени прислать ему ядовитые гвоздики и молоток, дабы насмерть подковать государя. Располагая столь вескими доказательствами измены, Маршал Шифровальных Войск доложил о них королю; Мандрильон, однако ж, настолько еще доверял Советчику, что позволил тому говорить в свое оправдание.

Советчик не отрицал, что письмо можно прочесть разными способами, переставляя буквы; он сам, по его словам, обнаружил еще тысячу сто вариантов, однако из этого ничего не следует, и письмо вообще не шифрованное, поскольку осмысленный (или похожий на таковой) результат можно получить, переставляя буквы абсолютно любого текста, а то, что получается из перестановки, именуется анаграммой, и ведает

этим теория пермутаций, или комбинаторика. Трурль, восклицал Советчик, желает оклеветать его и опорочить, создавая видимость шифра там, где шифра нет и в помине; обыватель же Апокаляпсус не виновен ни сном ни духом, а то, что он показал на следствии, втолковали ему Мастера Убеждения из Главного Штаба Полиции, обладающие коекакой сноровкой в задушевных беседах, а также следственными машинами мощностью до нескольких тысяч трупсов. Выпады против полиции король встретил холодно и потребовал дальнейших объяснений; Советчик повел разговор о шифрах и кодах, сигналах и символах, об анаграммах и пермутациях и общей теории информации, да все мудренее и непонятнее, пока не вскипел король великим гневом и велел бросить его в темницу. Вскоре пришла открытка от Трурля следующего содержания:

Милый Советчик! В случае чего помни о голубых винтиках.

Искренне Твой Трурль.

Советчик был немедленно пытан, но ни в чем не признался, повторяя упорно, что все это происки Трурля; а на вопрос о голубых винтиках отвечал, что таких нет и он о них ничего не знает. Но дабы исследовать все досконально, надлежало его разобрать; Мандрильон дал на это согласие, и за дело взялись кузнецы. Панцирь лопнул под ударами молотов, и королю предъявили покрытые смазкой винтики, на коих действительно имелись голубые пятнышки. И хотя в процессе добывания доказательств Советчик подвергся полному разрушению, король успокоился, уверившись в своей правоте.

Неделю спустя сам Трурль появился у ворот замка и потребовал аудиенции. Король хотел было казнить его без разговоров, но, поразившись столь беспримерной наглости, велел доставить конструктора пред свои очи.

— Король! — начал тот, едва лишь войдя в тронный зал, где толпились придворные. — Я изготовил тебе Совершенного Советчика; ты же употребил его, чтобы лишить меня обещанной платы, полагая, не без резона, что могущество разума, предоставленного мною к твоим услугам, послужит надежным щитом против всякой угрозы и пресечет любую попытку отмщения. Но разумным я сделал Советчика, а не тебя самого, и в этом-то и был мой расчет; ибо лишь тот, кто сам хоть немного разумен, способен слушаться разумных советов. Премудрым, ученым, утонченным способом я не мог сокрушить Советчика и потому избрал способ грубый до невозможности и до смешного глупый. Письма не были зашифрованы; Советчик был верен тебе до конца; о винти-

ках, погубивших его, он ничего не знал. Просто при монтаже я случайно уронил их в жестянку с краской и случайно — но в самую пору — об этом вспомнил. Так-то вот глупость и подозрительность превозмогли разум и преданность, и ты сам подписал свой приговор. Теперь ты отдашь мне сто мешков золота за работу и столько же — за время, которое я потерял, чтобы взыскать плату. Иначе погибнешь ты и все твои царедворцы, ведь рядом с тобой уже нет Советчика, что мог бы тебя защитить!

Король взревел в ярости, и стража по его знаку бросилась, чтобы на месте зарубить наглеца, но алебарды, со свистом рассекая воздух, прошли сквозь конструктора, как если бы тот был бесплотным. Отпрянули пораженные ужасом палачи, а Трурль, рассмеявшись, сказал:

— Рубите сколько хотите, — перед вами всего лишь призрак, сотворенный дистанционно; на самом же деле я витаю высоко над планетой в небесной ладье и буду швырять с нее смертоносные фугасы до тех пор, пока не получу своего.

И не успел он докончить, как послышался страшный грохот, и взрыв потряс замок до основания; оробевшие придворные кинулись врассыпную, король же, слабея от бешенства и унижения, велел выплатить Трурлю все его золото.

Клапауций, узнав о таком завершении дела, и притом от самого Трурля, когда тот воротился домой, спросил, почему он прибегнул к столь грубому и — как он сам говорил — глупому способу, если мог отправить письмо с настоящим шифром?

— Потому что легче Советчику было бы объяснить королю присутствие шифра, нежели отсутствие такового, — ответил мудрый конструктор. — Всегда проще признаться в каком-то поступке, чем доказать свою непричастность к нему. Так и здесь: зашифрованное письмо никого бы не удивило, а отсутствие шифра всех озадачило. Ведь перестановками любой текст и вправду легко переделать в совершенно иной, называемый анаграммой, и таких анаграмм может быть великое множество. Чтобы это понять, нужны объяснения — правдивые, но запутанные, которых, я был уверен, ограниченный ум короля не вместит. Некогда было сказано: чтобы перевернуть планету, достаточно вне ее отыскать точку опоры; так и я, желая повергнуть разум, во всем совершенный, нуждался в точке опоры — ею мне послужила глупость.

На этом первая машина окончила свой рассказ, низко поклонилась Гениалону и слушателям и скромно удалилась в угол пещеры.

Король удостоил похвалы историю столь назидательную и спросил Трурля:

— Верно ли, о конструктор, что машина рассказывает лишь то, чему ты ее научил? Или источник ее познаний находится вне тебя? И еще осмелюсь заметить, что хотя история, нами услышанная, поучительна и мила, однако кажется не вполне законченной, ибо мы ничего не узнали о дальнейшей судьбе множественников и глупого их короля.

— Государь, — отвечал Трурль, — машина рассказывает правду, поскольку, прежде чем прибыть сюда, я приставил ее к своей голове и оттуда она почерпнула толику моих воспоминаний. Но сделала она это сама, поэтому я не знаю, что именно из моей памяти она позаимствовала; значит, нельзя сказать, что я намеренно чему-то ее научил, но нельзя и сказать, что источник ее познаний находится вне меня. Что же до множественников, то и впрямь в рассказе умалчивается об их дальнейшей судьбе, ибо рассказать можно все, но не все — упорядочить. Если бы то, что происходит здесь в эту минуту, было бы не реальностью, но лишь рассказом следующей ступени, который включает в себя рассказ машины, то какой-нибудь слушатель мог бы спросить, отчего ты и твои товарищи шаровидны — хотя шаровидность эта ничему в рассказе не служит, а значит, вроде бы совершенно излишня...

Подивились сметливости конструктора королевские сотоварищи, а сам король сказал с широкой улыбкой:

— Слова твои не лишены оснований. Но что касается нашей формы, то ее происхождение я могу объяснить. Давным-давно мы — то есть наши пращуры — выглядели иначе, ибо возникли они по воле тряских существ, именуемых также бледными, что построили их по образу своему и подобию; и были у них руки, ноги, головы, а также корпус, все это связывавший воедино. Но, освободившись от бледных творцов и желая даже в обличье своем уничтожить следы такового происхождения, наши предки поколение за поколением преображали себя, пока не приняли форму шара; и к лучшему ли, к худшему ли, однако случилось именно так.

— Государь, — молвил Трурль, — с конструкторской точки зрения шаровидность имеет как хорошие стороны, так и дурные; но со всех иных точек зрения лучше, если разумное существо не может себя переделывать; такая свобода — истинное мучение. Ведь тот, кто вынужден оставаться таким, каков есть, может винить судьбу, переменить которую ему не дано; тому

же, кто волен себя изменять, уже некого винить за свою ущербность, и, если ему плохо с самим собою, ответа за это никто не несет, кроме него самого. Но, государь, не для того я прибыл, чтобы читать тебе общую теорию самоконструирования, а чтобы испробовать мои машины-рассказчицы. Угодно ли тебе выслушать следующую?

Король согласился; сотрапезники, пригубив из амфор с отборнейшим ионным отваром, уселись удобнее, а вторая машина приблизилась к ним, отвесила королю учтивый поклон и молвила:

— Великий государь! Послушай историю со вставными историями о Трурле-конструкторе и приключеньях его удивительно нелинейных!

Однажды Великий Конструктор Трурль был вызван к царю Душидаву Третьему, Властелину Железии, который желал дознаться, как достичь совершенства и какие потребны для этого переделки духа и тела. А Трурль ему так отвечал:

— Случилось мне посетить планету Легарию; остановившись, по обычаю своему, на постоялом дворе, решил я до тех пор не покидать своего покоя, пока досконально не ознакомлюсь с историей легарийцев и их обычаями. Стояла зима, на дворе завывала вьюга, и в мрачной хоромине, кроме меня, никого не было; как вдруг послышался стук в ворота. Выглянув в окошко, я увидел четверых мужей в капюшонах, сгибавшихся под тяжестью черных саквояжей. Выгрузив саквояжи из бронированной брички, они вошли в дом. Назавтра, около полудня, из соседнего покоя донеслись до меня престранные звуки: свист, удары молота, стоны, дребезг стеклянной посуды, и все это перекрывал мощный бас, восклицавший без устали и перерыва:

— Живей, чада мести! Живее! Вытягивать элементы, сквозь ситечко, да поровнее! А теперь в воронку его! И вальцевать! Дайте-ка мне этого сукина кибера, бронегада, заржавца, вредороба, в смерти запрятанного! И в могиле не скроется он от праведного нашего гнева! Дайте-ка сюда его мозговину премерзкую, ходули его проклятые, а теперь вытягивайте носище! Дальше, дальше, ровно тянуть, чтобы было за что ухватить при экзекуции! Дуньте-ка в правый мех, молодцы-удальцы! В тиски его, а теперь медный лбище его заклепать! И еще разочек! Ладненько, ох ладненько! Эй, поживее там со своим молотом! Ну-ка! Да посильней нервные струны натяните, чтобы не отдал он концы так скоро, как тот, вчерашний! Пусть отведает вволю мучений и мести нашей! Ну-ка! Ухнем! Э-эх!

Так он покрикивал, вопил и рычал, а ответствовали ему лишь грохот, да лязг, да гуденье мехов, а потом вдруг я услышал чиханье и громкий торжествующий рык четырех глоток; какое-то тормошенье послышалось за стеной, скрипнула дверь; заглянув в щелку, я увидел, что в коридор украдкой входят приезжие незнакомцы, и, не веря своим глазам, насчитал уже пятерых. Они спустились по лестнице, заперлись в погребе и оставались там долго, а вечером вернулись к себе — вчетвером, как прежде, и было за стеною так тихо, словно их посетила смерть. Я снова взялся за книги, но история эта застряла во мне занозой, и я решил во что бы то ни стало ее разгадать. Назавтра, в ту же самую пору, в полдень, опять загремели молоты, загудели мехи и раздался все тот же ужасный, надорванный бас:

— Ну-ка, чада мести! Поживей, электристы мои удалые! Пошевеливайся! Досыпать ему протонов и йодику! Поскорей управляйтесь с этим косорыльником, лжемудрецом, омерзистом и разодранцем, с этим вечностным лиходельником, дабы мог я ухватиться за носище его громадный, и тянуть, и топтать его до скоропостижной медленной смерти! Дуйте-ка хорошенько в меха!

Снова раздались чиханье и визг, заглушенные, очевидно, силой, и снова вышли они на цыпочках из покоя, и опять насчитал я пятерых незнакомцев, спускавшихся в погреб, и четверых, когда они возвращались назад. Поняв, что только там и возможно разгадать эту тайну, я вооружился лазерным пистолетом и на рассвете сошел в подвал; не нашедши там ничего, кроме обугленных и покореженных железок, я спрятался в самом темном углу, прикрывшись пучком соломы; так я сидел на страже, пока наконец около полудня не раздался уже знакомый мне грохот и крики; вскоре дверь распахнулась и четверо легарийцев втащили пятого, опутанного веревками.

На нем был старинного фасона кафтан — малиновый, с выпушным воротом, и шляпа с плюмажем; сам же он был щекаст и имел преогромнейший нос, а губы его, искривленные страхом, что-то без устали бормотали. Запершись на засов, легарийцы по сигналу самого рослого из них сорвали с узника путы и принялись немилосердно его охаживать куда ни попадя, крича наперебой:

— Вот тебе за прорицание счастья! Вот тебе за грядущее совершенство! А это за лютики бытия! И за розовые цветочки! И за всесветные васильки! И за братанье альтруистическое! И за романтику духа!

И уж били они его, и дубасили так, что быть бы ему забиту до смерти, если б не высунул я из-под соломы лазерный ствол и тем присутствия своего не выдал. Тут они отступились от жертвы, а я спросил, чего ради так истязается незнакомец, который ни на разбойника, ни на

голодранца пригульного не похож, ибо по вороту выпушному и малиновости кафтанной видно, что это как-никак особа ученая. Они поначалу смешались и тоскливо поглядывали на оружие свое, оставленное у двери; когда же я грозно нацелил на них пистоль, от умыслов своих отказались и, потолкав друг друга локтями, упросили того, высокого, самого из них басовитого, ответить за всех.

— Знай же, пришелец неведомый, — обратился он ко мне, — что пред тобою здесь не садистики, не тиранисты или иные дегенераторы племени роботного; и хоть место, какое являет сия темница, малопочтенно, то, что в нем происходит, прекрасно и похвально во всех отношениях!

— Прекрасно и похвально! — не выдержал я. — Что ты мне, сударь, рассказываешь, легариец негодный? Я же своими глазами видел, как вы, накинувшись на оного малиновца вчетвером, насмерть его хотели забить! Аж-таки масло прыскало из ваших суставов от ударов тяжелых! И это вы смеете называть прекрасным?

— Ежели Ваша Чужеземная Милость, — ответил мне бас, — будет все время перебивать, то ничего не узнает, а потому нижайше прошу язык придержать собачкой, а рот закрыть на замок, иначе я сказывать перестану. Знай, что пред тобою первейшие физикусы, славные кибернеры, электристы, словом, усердные и смышленые ученики мои, которым по уму нет равных во всей Легарии; сам же я профессор обеих материй противоположного знака, создатель всемогуторной воскресистики, Вендеттий Ульторик Аминиус, а сие означает, что имя, фамилию, прозвище и прочее свое достоянье я отмщению посвятил. Вместе с верными учениками окончу я жизнь, мстя за позор и страдания легарийцев мерзистому сквернолюбу по имени, проклятому навеки, Малапуций, он же Малапуциус Хавос, что ползает тут в кафтане малиновом; ибо он непутево и гнусно огоремычил всех легарийцев — преднамеренно, вконец и навеки, искошмарил их, замудрил, ухайдокал, скопытил, а сам, от суровой спасаясь расплаты, укрылся в могильнике, хитромысленно полагая, будто там ничья десница его уже не настигнет!

— Отнюдь, Ваша Неведомая Пресветлость! Я это все ненароком! Я нечаянно, ибо все иначе должно было быть!.. — застонал, не поднимаясь с колен, носач в малиновом платье.

Я слушал и смотрел, ничего не понимая, а бас продолжал свое:

— Вармоганций, любимчик ты мой, по лбу влепи горлопану губастому!

И верный его ученик немедля сие исполнил, аж гул пошел по подвалу. Я на это:

— До окончательного выяснения — битье, а равно всякое иное истязательство строжайше, под угрозой применения оружия, запрещаю, а ты, профессор Ульторик Вендецкий, говори, что хотел сказать!

Профессор крякнул, поморщился и наконец промолвил:

— Чтобы понять, о чужеземный пришелец, что и как к великой беде привело и почему мы вчетвером, от жизни мирской отрекшись, основали орден воскресенцев-молотобойцев, дабы жизни своей остаток посвятить наслаждению местью, надобно поведать тебе в немногих словах нашу историю от сотворения мира...

— А нельзя ли с несколько более позднего времени? — спросил я, опасаясь, как бы не занемела рука под тяжестью лазерного ствола.

— Никак невозможно, Ваша Чужеземность! Так что слушай, да повнимательнее... В народе, ты знаешь, сказывают о каких-то бледнотиках, которые роботный род в ретортах состряпали, однако просвещенным умам известно, что все это ложь, несусветнейший миф... Ибо на самом деле в Начале был только Мрак Темнющий, во Мраке же — Магнетичность, что атомы раскручивала; вращаясь, ударялся атом об атом, и возник Пра-Ток, а с ним и Первая Светлость... а после звезды зажглись, планеты остыли, и в их нутре завелись Прамашиночки-крохотульки, а из них Прамашинки, а из них, от дуновения Святой Статистики, Протомашины. Считать они еще не умели, только и знали, что дважды два, а дальше — ни бе ни ме, но потом, благодаря Естественной Эволюции, кое-как наловчились пятое через десятое, и зародились из них Мультистаты и Омнистаты, а от тех родился Пите-кантробот, а от него уже и праотец наш, Автоматус Сапиенс...

После были роботы пещерные, затем пастушеские, а когда они расплодились, выросли государства. Древние роботы добывали животворное электричество тяжким трудом, вручную, путем потирания. Каждый сеньор имел дружину вассалов, а те — крепостных, и потирали все друг дружку иерархически, от социальных низов до верхних слоев, по мере сил. И пришла на смену ручному труду машина, когда Козлонн Симфилийский выдумал потиралку, а Черпак из Парезии — еще и прутик для уловления молний. Так началась батарейная эра, бедственная для тех, кто собственной недвижимости аккумуляторной не имел и зависел целиком от небес: без батарей невозможно было тучи грозовые доить, и в вёдро ватт за ваттом приходилось собирать подаянием. Тяжко тогда жилося, ибо, ежели кто переставал потирать себя либо тучи выдаивать, бесславно гибнул от истощения тока. И объявился тогда мудрила родом из пекла, комбинатор-интеллектуал-улучшатель, которому смолоду — не иначе как из-за происков дьявола — никто башку не разгрохал на мелкие части, и принялся оный толковать и втолковывать, что заве-

щанные от дедов параллельные способы электрического соединения никуда не годятся и соединяться нужно по новым схемам его, то бишь шеренгою. Дескать, если в шеренге один потрется, то вмиг зарядит всех прочих, даже и самых дальних, и станет каждый робот изобиловать током вплоть до верхних пробок в носу. И столь прельстительные рисовал он планы, и такой электрай обещал, что прежние контуры, независимые и параллельные, отключили, а Хавосову электротехнику внедрили в быт...

Тут профессор многократно ударился головою о стену, после чего, повращав глазами, продолжал говорить, а я постиг, отчего это столько неровностей на челе его, шишковатости просто необычайной.

— И вышло так, что каждый второй заваливался под стол, рассуждая: «Чего это ради мне потираться? Пусть сосед потирается, то ж на то ж и выйдет». А сосед то же самое, только наоборот, и напряжение упало настолько, что пришлось понаставить на каждом шагу неусыпных смотрителей, а над ними обер-смотрителей. И пришел тогда ученик Малапуция, Целезий Погрешник, и учил, что надобно не себя, но ближнего своего потирать, а за ним Фафуций Альтруциус с идеей бивальцев-страдальцев, а после него Шавкалий Прижимистый, насаждавший курсы и клубы массажа, а вскорости новый теоретик электрический объявился, Гаргазон Недомерик, — дескать, лучше бы тучи не доить силою, но щекотать их слегка, по-хорошему, пока не дадут тока, а следом Грохотоний из Лейдена, а потом Фистулюб Никакойский, восхвалявший самотеры, именуемые еще натирателями или втирателями, а также Мордослав Будеянин, который кроме битья проповедовал потирание чего ни попадя, хотя бы и силой. Из-за такого несходства мнений произошли меж ними раздоры, из раздоров — проклятья, из проклятий — кощунства, а из кощунств — побитие Фареуса Пурдефлякса, цесаревича жестянцев; так разгорелась на Легарии война между купритами из племени меднолюдов и империей хладнопрокатов, и воевали они тридцать и восемь лет, а после еще двенадцать, ибо под конец средь развалин нельзя уже было понять, чья взяла, и пришлось им сразиться сначала. А виновник всех этих пожаров, погостов, повального безамперья, деваттизации, крайнего падения жизненной мощности и прочих, как говорят в народе, «малапакостей», — вот этот проклятый мерзатор, родом из преисподней, с вредными идейками его!!!

— Намеренья имел я благие!!! Клянусь, Ваша Лазерность! Ко всеобщему счастью ум напрягал, во спасенье! — завизжал, на коленях стоя, Малапуций, а носище его подрагивал.

Но профессор лишь долбанул его по лбу с размаху и продолжал:

— Случилось все это два и четверть столетья назад. Как ты, верно, догадываешься, задолго до Великой Легарийской Войны и всеобщей разрухи Малапуций Хавос, наплодив целую тучу трактатов, в коих лживые россказни свои ядовито разбрызгивал, скончался, собою совершенно довольный, мало того, восхищенный, ибо в завещании объявил, что надеется на титул Окончательного Благодетеля Легарии. Так что, когда пришла пора посчитаться за все, не с кем было уже тяжбу вести, некому выставлять счет, не с кого было жесть полосами сдирать. Однако же я, Ваша Чужеземность, создав Теорию Дублизации, до тех пор изучал Малапуциевы сочинения, пока не экстрагировал из них его алгоритм; а алгоритм, введенный в машинку, именуемую Рекреатор Атомариус, сиречь Атомный Восстановитель, изготовляет ex atomis oriundum — gemellum* какой угодно особы, в данном же случае — Малапуция Хавоса. Именно это и делаем мы и ежевечерне в оном подвале суд над Хавосом чиним, а, загнав его в гроб, наутро снова мстим за народ наш, и будет так до скончания века!!!

Охваченный ужасом, я ему немедля так отвечал:

— Не иначе как вы, милостивые государи, вовсе лишились ума, ежели полагаете, будто сей обыватель, сей дух из машины, коего вы, как я понял, ежевечерне изготовляете из атомов холодной прокаткой, должен отвечать за деяния — неважно какие — ученого, умершего бесповоротно три столетья назад!

А профессор на это:

— Так кто же этот накарачник носатый, коль скоро он сам себя Малапуцием Хавосом именует?.. Как тебя звать, плеяда гадюшная?

— Ма... Малапуций... Ха... вос, Ваша Беспощадность... — пролепетал носатый.

— И все-таки он не тот же самый, — настаивал я.

— Как это — не тот же самый?

— Да ты ведь, почтенный профессор, сам мне сказал, что того уже нет в живых!

— А мы его воскресили!

— Другого, двойнягу, дублиста; похожего, но не тождественного!

— Докажи, ваша милость!

— Не буду ничего доказывать, — отвечал я на это, — ибо в руках у меня лазерный ствол, а сверх того я отлично знаю, почтенные ученые, что дискуссия на эту тему таит немало опасностей, поскольку нетождественность тождественного recreatio ex atomis individui modo algorytmico** есть знаменитый Антиномический Парадокс, или Laby-

---

* происходящего из атомов двойника *(лат.)*.

** восстановления индивида из атомов по алгоритму *(лат.)*.

rintum Lemianum*, описанный в трудах сего филороба, именуемого также Advocatus Laboratoris**. А потому безо всяких дискуссий, но под лазерным дулом немедля отпустите на волю этого носача и даже мыслить не смейте о прежнем рецидивном тиранстве!!!

— Благодарю, Ваша Великодушность!!! — закричал малиновокафтанник, подымаясь с колен. — Вот здесь, — он похлопал себя по оттопыренному карману, — лежат новые формулы и чертежи, при помощи коих уже безусловно и безукоризненно можно раифицировать легарийцев; это — схема заднего сопряженья, а отнюдь не сопряженья шеренгою, как случилось мне написать три столетья назад из-за случайной ошибки в расчетах!!! Немедля бегу воплощать великое открытие в жизнь!!!

И точно, он уже брался за ручку двери на глазах у нас всех, застывших от удивления. Тогда отпустил я онемевшую длань и, отворотив взор, сказал профессору:

— Снимаю возраженья свои — делай, сударь, что должно...

С тихим урчаньем все четверо вскочили, насели на Малапуция, связали его и до тех пор им занимались, пока его на свете не стало.

Они же, переведя дух, кафтанчики на себе одернули, поправили надорванные перевязи, холодно поклонились мне и вышли гуськом из подвала, оставив меня одного с лазерной тяжелой пистолью в дрожащей руке, переполняемого удивлением и меланхолией.

Такую вот поучительную историю рассказал в назиданье царю Душидаву с Железии вызванный им конструктор Трурль. Монарх, однако, требовал дальнейших пояснений относительно нелинейного усовершенствования бытия, и Трурль сказал ему:

— Будучи на планете Цимбалии, наблюдал я последствия действий, имеющих целью всеобщее совершенство. Цимбалы издавна присвоили себе иное название, а именно, гедофагов, или счастьеедов, а сокращенно и попросту — счастников. Когда я к ним прибыл, была в расцвете Эпоха Множеств. Каждый цимбал, то бишь счастник, в личном дворце восседал, который воздвигла для него автоматка (так они именуют рабынь своих дивно-матричных), маслом умащенный, ладаном одурманенный, электрически ублажаемый, златом-серебром осыпаемый, в самоцветах купаясь, в парчу облачаясь, а дукаты звенят, музыканты трубят, стража на лестнице, в гареме — прелестницы; однако при всем том вид он имел не вполне довольный и даже словно бы мрачный — а ведь всего через край! На планете уже отмирало яческое «ся», ибо никто не прогуливался, не подзаряжался из лейденской фляжки, не любился, не веселился, но Прогулятор его прогуливал, Питалка током пи-

---

* Лабиринт Лема *(лат.)*.

** Адвокат лаборатории *(лат.)*.

тала, Развлекалка развлекала, и даже улыбнуться не мог он, поскольку для этого имелся особый автомат. Вот так, во всех абсолютно делах машинами выручаемый и замещаемый, осыпанный гуриями и орденами, которыми услужливые автоматки снабжали и награждали его в количестве от пяти до пятнадцати штук в минуту, осажденный золотым муравейником машиночек и машинят, которые его окуривали да массировали, в очи сладко заглядывали, в уши нежно мурлыкали, под колени брали, в ноги падали и без устали целовали куда ни придется, — слонялся в одиночестве счастник, он же гедофаг, он же цимбал, а вдали, заслоняя собой горизонт, гудели наимощнейшие фабрикарни, что работают там денно и нощно, выбрасывая один за другим троны златые, ласкалочки на цепочке, жемчуговые пантофли и подбородки, яблоки, скипетры, эполеты, кареты, шпинели, свирели, виолончели и миллионы прочих диковин и причиндалов для ублажения. Всю дорогу я отбивался от машин, предлагающих свои услуги, а самых нахальных охаживал по лбу и по корпусу, до того они рвались услужать; наконец, убегая от целой их стаи, очутился в горах и увидел ораву златокованых машин, осаждавших вход в пещеру, заваленный валуном; сквозь щелку глядели глаза какого-то цимбала, который укрылся здесь от всеобщего счастья. Завидя меня, машины тотчас принялись персону мою обмахивать да поглаживать, на ухо сказки нашептывать, руки целовать, троны предлагать, и спасся я лишь потому, что пещерный беглец булыжник отодвинул и милосердно пустил меня внутрь. Отшельник наполовину проржавел, но очень был этому рад и сказал, что он — последний мудрец-цимбалист; излишне было объяснять мне, что благоденствие хуже нужды допекает, ежели через край; это я и сам понимал: ведь что можно, ежели все можно? И как выбирать, если разумное существо, окруженное сущими безднами эдемов, при такой безвыборности тупеет, вконец угорев от самодействующего исполненья мечтаний? Я разговорился с пещерным мудрецом, коего звали Тризувий Ювенальский, и мы порешили, что потребны великие закрытия и Онтологический Ухудшессор-Регрессор, иначе недалеко до погибели. Тризувий давно уже разрабатывал усложнистику, то есть утруднение бытия; однако мне пришлось разъяснить ему его ошибку, которая в том заключалась, что он хотел извести машины другими машинами, а именно: пожиралками, терзаторами, мучильнями, сокрушильниками, вырваторами и биальнями. Лекарство оказалось бы хуже болезни, к тому же это было бы упрощенство, а не усложнистика; история, как известно, необратима, и нет иного пути в добрые старые времена, как только через грезы и сны.

Потом мы пошли с ним по огромной равнине, усыпанной до горизонта дукатами, так что в золоте вязли ноги, и, отгоняя прутом тучи

назойливых ублажилок, видели по сторонам бесчувственно валяющихся по причине электрозапоя, вконец заласканных цимбалов-гедофагов, которые лишь тихонько икали, и при виде такового развития больно уж развитого и избытка слишком избыточного душа изнывала от жалости и состраданья. Другие обитатели автодворцов ударились в шальные чудачества и киберраздоры, травили машины машинами, самолично крушили драгоценные вазы и прочие древности, не в силах выдержать такого количества красоты, палили из пушек в брильянты, гильотинировали сережки, диадемы велели колесовать; третьи прятались от услаждения жизни на крышах и чердаках; четвертые велели машинам биться — или же все это сразу либо попеременно. Но не было от этого проку — все они гибли от ласк, хотя и не все одинаково. Я отговаривал Тризувия от намерения просто остановить фабрикарни: ведь недосластить ничуть не лучше, чем пересластить; но он, вместо того чтобы подзаняться онтологической усложнистикой, начал взрывать автоматки. И тем причинил немалое зло, ибо вскоре горькая воцарилась нужда, только он до нее не дожил: где-то настигла его стая самолюбок, присосались к нему флиртушки и обольстилки, завлекли в целовальню, заморочили лобызалками, опутали и задурили его, и с криком «На помощь!» погиб он от переублажения, и остался лежать на пустынной равнине, дукатами, как землею могильной, засыпанный, в куцых доспехах своих, опаленных механической страстью. Вот чем кончил мудрец, недостаточно мудрый, о государь! — закончил Трурль. Но так как и эта история отнюдь не насытила Душидава, спросил: — Чего же, скажите на милость, желает Ваше Величество?

— Конструктор! — отвечал Душидав. — Ты говоришь, что истории твои поучительны, хотя я этого не нахожу. Но они, несомненно, забавны, и потому мне угодно, чтобы ты продолжал их рассказывать, и притом неустанно.

— Государь! — сказал ему Трурль. — Ты хотел узнать, что такое совершенство и как оно достигается, однако ты глух к глубоким мыслям и поучениям, укрытым в моих рассказах. Поистине, не поучений ты ищешь, а развлеченья; и все же слова, которые я вливаю по капле в твой ум, оказывают и будут оказывать надлежащее действие, подобно мине с часовым механизмом. В такой надежде позволь поведать тебе о происшествии почти что истинном, запутанном, необычайном, урок из которого извлечет, быть может, и твой королевский совет.

Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела!

* * *

Происходил Ширинчик из великого рода Винтонов, на две разделенного ветви: правых, кои царствовали, и левых, именуемых также левовращенцами, кои от власти были отстранены и питали ненависть к правящим. Родитель его, Холерион, вступил в морганатический брак с простой сапожной машиной, что подошвы к голенищам пристрачивала, и унаследовал Ширинчик от матери грубый, невоздержанный нрав, от отца же — робость пополам с любострастием. Видя это, враги престола, левовращенцы, замыслили так учинить, чтобы собственные вожделенья сгубили его, и послали к нему кибернера по имени Хитриан, занимавшегося инженерией душ, и так его король возлюбил, что сделал Коронным Архимудритом. На все лады Хитриан многоумный государевым страстям потакал, в тайной надежде здоровье короля подорвать и ослабить и трон тем самым освободить: смастерил миловальню, эротодром, в киборгии его вовлекал; но стальная натура монаршья выдержала все непотребства, и в нетерпенье потребовали левые винтоны от своего подосланца, чтобы тот поскорее добился желанной цели при помощи метода, искуснейшего изо всех, которые знает.

— Значит ли это, — спросил он на тайном совете в замковых подземельях, — что надобно довести короля до короткого замыкания или же память его размагнитить, чтобы он ополоумел вконец?

— Ни за что! — отвечали они. — Да не ляжет на нас вина за смерть короля; пусть удавится Ширинчик собственным блудом, пусть собственная похоть его сожрет и погубит, но не мы!

— Хорошо, — отвечает им Хитриан, — тогда я поставлю на него силки, сплетенные из сновидений; сперва завлеку короля приманкой: схватив ее, он войдет во вкус и сам затоскует по грезам безумным, а когда заберется подальше в сны, во снах затаившиеся, я опутаю его эрототенетами, да так, что к яви ему не вернуться живым!

— Ладно, ладно, — говорят они, — не хвались, кибернер, не слова нам нужны, но дела; да станет Ширинчик цареубийцею — погубителем себя самого!

И взялся кибернер Хитриан за это ужасное дело, и трудился он целый год, требуя от государева казначея все новых слитков золота, и меди, и платины, и прочих драгоценностей без числа; а когда король выражал нетерпение, повторял ему, что делает нечто такое, чего уж точно нет ни у одного монарха на свете!

Год спустя с торжественностью необычайной вынесли из кибернерской лаборатории три огромных шкафа, поскольку же в двери личных его величества апартаментов они не прошли, пришлось их поставить в передней. Заслышав топот носильщиков и грохот, Ширинчик

вышел в переднюю и увидел у стен прегромаднейшие шкафы, снабженные замками, выложенные самоцветами, в четыре сажени высотой и в две — шириной. Первый шкаф, называемый также Белым Ящиком, был из жемчужных матриц и албитами сверкающими изукрашен; второй, черный как ночь, был усыпан агатами и морионами; а третий красным переливался, ибо сработан был из рубинов и шпинелей. У каждого имелись ножки в виде крылатых грифов из чистого золота и полированные дверцы, а в середке — электронная начинка со сновидениями, что снились сами себе, ни в участниках, ни в соглядатаях не нуждаясь. Немало подивился король Ширинчик, такие объясненья услышав, и вскричал:

— Что ты мне тут плетешь, Хитриан?! На кой черт шкафам сновидения? Что за польза от этого мне? И вообще, откуда известно, снится им что-нибудь или нет?

Тогда Хитриан, поклонившись смиренно, показал ему ряды дырочек на дверцах шкафов, бегущих сверху вниз, с надписями на жемчужных табличках, и король не без удивления начал читать.

«Военный сон с фортециями и дамами». — «Сон о любонаде чудесном». — «Сон о Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери». — «Сон о кибермаринах и кимаринадах». — «Ложе королевны Гопсалии». — «Лапушка, или Орудие на курьих лапках». — «Сальто эротале, или Амуристическая акробатика». — «Чудный сон в осьмируких объятиях сладостной Октопины». — «Перпетуум аморобиле». — «На месяце новом едят пирожки с оловом». — «Завтрак с музыкой и девицами». — «Как солнышко подамперить, чтобы лучше грело». — «Брачная ночь принцессы Нелепы». — «Сон о шипе в сапогах». — «О кошечках-душечках». — «О-ля-ля». — «Киборгии фруктовые, сиречь кибергрушки воркующие, из цикуты компот и оливки-похотливки». — «Как матрица с патрицей миловались». — «Не сон, а объеденье — лакомый, гуляшный, с клубничкою». — «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной бесконечности».

Перешел король ко второму шкафу и прочел: «Полудремы и сны-игры». А дальше: «В висельника и висюльку». — «В соленое с перчиком». — «В Клопштока и критиков». — «В девицу-зверицу». — «В морду». — «В одеяло с глазком». — «В созерцаплю». — «В морду еще раз». — «В почку моченую и мочку печеную». — «В катотехнику, или В головорубку и головорезку». — «В чертыханца». — «В киборгиню». — «В заливанье шаров и наливание глаз». — «В кибаядерку». — «В кибернера и кибернантку». — «В гаремные ристалища».

Хитриан, инженер душ, тут же пояснил, что каждый сон сам себе снится лишь до тех пор, пока кто-нибудь не воткнет свою вилку, при-

деланную к цепочке карманных часов, в две соответственных дырочки; тем самым он подключается к шкафному сну, да так превосходно, что сон переживается, словно явь, зримо и ощутимо — ну просто не отличить. Разобрало короля любопытство, взял он цепочку с вилкой и воткнул ее в дырочки Белого Шкафа под надписью: «Завтрак с музыкой и девицами». И едва подключился, как чует, что спина его колючками ощетинивается и громадные крылья выклевываются из нее, руки-ноги разрастаются в лапищи, когтистые и разношенные, а из пасти, в шесть рядов клыками утыканной, вырывается пламя и серный дым. Весьма удивился король и хотел было кашлянуть, но из глотки его прокатился рык громовой, от которого земля задрожала. Еще сильнее он удивился, глаза пошире раскрыл, рассеял тьму дыханием пламенным и видит, что прямо к нему в паланкинах зеленовато-салатных, с занавесочками, несут девиц, по четыре в каждом, да таких аппетитных, что слюнки текут. А стол уж накрыт, тут перец, там соль, облизнулся он, уселся удобнее и принялся оных девиц поочередно из паланкинов вылускивать словно орешки, так что от удовольствия туманило взор, последняя же девица попалась такая рослая, такая ладная, что король аж причмокнул, по брюху себя погладил и хотел попросить добавки, но перед глазами мелькнуло, и он проснулся. Смотрит — стоит он, как и прежде, в дворцовой передней, рядом Архимудрит Хитриан, а перед ним самоснящиеся шкафы сверкают драгоценным каменьем.

— Ну что, удались девицы? — спрашивает Хитриан.

— Пожалуй, но где же музыка?

— Куранты в шкафу заело! Не угодно ли Вашему Величеству иного лакомого сновиденья отведать?

Королю, понятно, было угодно, только из другого шкафа, а потому подошел он к Черному и подключился ко сну под названием «О Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери».

Смотрит — и видит: на дворе эпоха романтическо-электрическая, а сам он, закованный в сталь с головы до пят, стоит в березовой роще, перед ним дракон, давеча побежденный, а дальше шелестят деревца, зефир прохладою веет и речка течет. Присмотрелся он к своему отраженью в воде и понял, что он-то и есть Флиртан, высокого напряжения рыцарь, герой несравненный. Вся история Флиртановых подвигов запечатлена на доспехах, и помнил он ее не хуже, чем собственную. Задвижку на шлеме в предсмертных судорогах погнул Морбидор, флиртанически побежденный, подколеночные шарниры повредил Колотун Многобоец, заклепки наплечников обгрыз перед самой кончиной Лягайло Мордавый, решетку на последнем издыхании помял Монстери-

ций Блудон; скрепы, навески, стальные пластины, станина-хребтовина, налокотники и наколенники также были усеяны отметинами бронесражений; глянул на щит, а тот весь в окалинах молниевых. Но сзади был он девственно гладок, ибо в рыцарских битвах Флиртан никому доселе спины не показывал! Впрочем, сказать по правде, это не слишком его волновало, от подобной славы было ему ни жарко ни холодно; однако, вспомнив о Рамолинде, сел Флиртан на коня и ну искать ее по всему сновидению. Наконец добрался до укрепленного замка ее родителя, князя Гетерика, загремели под всадником балки разводного моста, а князь уже выходит, раскрыв объятья, чтобы встретить гостя и в дом свой ввести.

Не терпится рыцарю к Рамолинде, но сразу спросить неудобно, а старый князь между тем говорит, что в замке гостит чужеземный рыцарь, Винодур из рода Полимериков, фехтмейстер эластоподобный, который только о том и мечтает, чтобы попробовать счастья в поединке с самим Флиртаном. А вот и сам Винодур, гибкий и быстрый; идет прямо к нему и говорит:

— Знай, что возжелал я Рамолинду высоковольтную, со ртутными бедрами, с персями, коих даже алмаз не берет, с магнетическим взором! Тебе она предназначена, но я вызываю тебя на поединок смертельный, который покажет, кто из нас обвенчается с нею!

И рукавицу бросает белую, нейлоновую.

— Свадьба сразу после турнира! — добавляет отец-князь.

— Пожалуйста, — отвечает Флиртан, а Ширинчик в нем думает: «После свадьбы возьму да и проснусь, подумаешь! Однако же черти принесли этого Винодура!»

— Значит, нынче же, доблестный рыцарь, — продолжает Гетерик, — сразишься ты с этим вот Винодуром Полимерическим; поединок при свете факелов, а теперь пожалуйте в замок!

Ширинчик во Флиртане встревожился, да что делать? И пошел он в покои, для него приготовленные, а минуту погодя раздается «тук-тук», и украдкой, бочком пробирается в дверь старуха киберодейка, подмигивает и держит такую речь:

— Рыцарь, не бойся ничего, добудешь ты прекрасную Рамолинду, и нынче же будет она качать твою голову на лоне своем серебряном! О тебе лишь мечтает она ночью и днем! Помни только, что нападать надо смело; ничего не сделает тебе Винодур, ты победишь!

— Это все разговоры, любезная киберодейка, — отвечает рыцарь, — а ежели что не так? Если я, для примера, поскользнусь или вовремя не прикроюсь? Нельзя легкомысленно рисковать! Может, знаешь какие-нибудь верные чары?

— Хи-хи-хи! — захрипела старуха. — Где уж там, стальной господин! Чар никаких нету, а впрочем, тебе они ни к чему, ибо я наперед ведаю, что будет, и ручаюсь, что ты победишь как по маслу!

— А все же с чарами было б вернее, — говорит ей рыцарь, — особливо во сне, однако — послушай, уж не прислал ли тебя Хитриан, чтобы я крепче поверил в себя?

— Не знаю я никакого Хитриана, — отвечает киберодейка, — и не ведаю, о каком ты сне говоришь; ты наяву, стальной господин мой, и вскоре уверишься в этом, когда Рамолинда даст тебе уст своих магнетических отведать!

— Странно, — пробормотал Ширинчик, не замечая уже, что киберодейка покинула комнату так же тихо, как и вошла в нее. — Неужели это не сон? Так мне почему-то казалось. Она говорит, это явь. Гм, трудно решить; и все же осторожность надо удвоить!

А трубы уже трубят, уже слышен воинский топот, галереи замковые народом забиты, и все храбрецов ожидают; и идет на бой Флиртан, а колени у него подгибаются, видит, сколь сладостно поглядывает на него чудная Рамолинда, дочь Гетерикова, но не до сладостности ему теперь! Ступил Винодур на замковый двор, освещенный факелами, и скрестились с лязгом мечи. Тут уж Ширинчик оробел не на шутку и решил любою ценою проснуться, силится изо всех сил, однако доспехи прочно его удерживают, сон не пускает — а враг теснит! Все быстрее звенят клинки; уже рука у Ширинчика онемела, как вдруг противник вскрикнул и сломанный меч показал; хотел уж рыцарь кинуться на него, но тот из круга утоптанного выбежал, оруженосцы другой ему меч подают, и в это мгновение видит Флиртан, что выходит к нему из толпы зевак старуха киберодейка и шепчет на ухо:

— Стальной господин мой! Как очутишься возле открытых ворот, что ведут на мост, Винодур опустит свой меч, а ты ударяй смело, ибо это верный знак победы твоей!

Шепнула, и нет ее, а противник бежит уже с новым мечом. Бьются они, Винодур словно цепом молотит, но вот ослабел он, все медленнее отражает удары, открылся, пришла предсказанная минута, однако же меч по-прежнему в руках у него сверкает и ужас наводит; тогда Ширинчик напрягся духом, подумал: «На кой мне сдалась Рамолинда и ее прелести!» — повернулся и стреканул в темноту ночную по разводному мосту, так что гудом перекладины загудели. Добежал он до леса, провожаемый криками и окликами срамными, и так врезался головой в ствол, что свечки в глазах засветились; моргнул и видит, что стоит в дворцовой передней, перед Черным сновидческим Шкафом, а рядом Хитриан, душ инженер, улыбается криво. За этой улыбкой великая крылась доса-

да, ибо флиртаническо-рамолический сон был ловушкой, подстроенной королю; если б Ширинчик послушал старуху кибородейку, Винодур, который лишь притворялся ослабевшим у открытых ворот, вмиг пронзил бы его кинжалом насквозь, каковой опасности король избежал единственно по необычайной трусости.

— Сладко ли было Вашему Величеству с Рамолиндой? — спрашивает пройдоха.

— Куда там! Я оставил ее в покое: не столь уж она и прелестна! — отвечает Ширинчик. — К тому же там потасовка какая-то началась. Безбитвенных и безоружных желаю я снов, понятно?

— Как будет угодно Вашему Величеству, — говорит Хитриан. — Выбирайте же, государь; во всех шкафных сновиденьях одно лишь блаженство вас ожидает...

— Посмотрим, — молвил король и подключился ко сну под названием «Ложе королевны Гопсалии». И видит покои дивной красоты, убранные парчою. Сквозь хрустальные окна сияние льется, словно вода родниковая, а у жемчугового туалетного столика стоит королевна, позевывая и готовясь ко сну. Подивился Ширинчик такой картине и хотел уже громко кашлянуть, чтобы присутствие свое обозначить, но рот не раскрылся, словно заклеенный. Хочет король его потрогать, но не может и этого; попробовал ногой шевельнуть — тоже напрасно; оробел он, ищет глазами, где бы присесть, такая его охватила слабость от великого страху, — и это не получается. Меж тем королевна, сморенная сном, зевнула раз, и другой, и третий, да как бухнется на ложе, а Ширинчик весь затрещал, ибо он-то и был ложем королевны Гопсалии! Видать, девицу мучили тревожные сны, уж так ворочалась она, так шпыняла короля кулачками, так его ножками пинала; ужасный гнев охватил особу монаршью, сновидением обращенную в ложе. Боролся он со снящейся своею природой, напрягался вовсю, и наконец крепежные болты в нем ослабели, пазы разошлись, ножки разъехались ко всем четырем углам, королевна с визгом грохнулась на пол, а король, собственным распадом разбуженный, видит, что опять он в дворцовой передней, а рядом — смиренно склонившийся Хитриан-кибернер.

— Олух ты этакий! — крикнул король. — Что ты себе позволяешь, уродина? Виданное ли дело — чтобы я был ложем кому-то другому, а не себе! Ты забываешься, кибернер!

Испугался Хитриан государева гнева и просит другое сновиденье отведать, извиняясь за свой недосмотр, и до тех пор упрашивал, пока Ширинчик, от гнева охолонув, не взял двумя перстами вилку и подключился ко сну под названием: «Блаженство в осьмируких объятиях сладостной Октопины». Смотрит и видит: стоит он в толпе зевак на ши-

рокой площади, а мимо проходит кортеж — сплошные шелка, да бархаты, да слоны заводные, да паланкины из кости слоновой; посредине плывет паланкин, часовне златоглавой подобный, а в нем, за восемью занавесками, создание дивное, пленяющее своим девичеством ангельским, с ликом блистающим, с галактическим взором, с серьгами высокочастотными, и дрожь пробрала короля, и хотел он уже спросить, что это за особа такая, знатности и красоты почти небесной, но не успел он и рта открыть, как слышит вокруг восхищенный шепот: «Октопина! Октопина едет!»

И точно, это праздновалась, с блеском и пышностью небывалой, помолвка дочери королевской со Сномиром, заморским витязем.

Удивился король, что не он этот витязь, когда же кортеж прошел и ворота замка закрылись за ним, направился вместе с прочим людом в ближайшую корчму и там увидел Сномира, а тот, в одних лишь шароварах дамасских, гвоздочками золотыми украшенных, и со жбаном опорожненным в руке, из коего пил он ионозефир, идет прямо к нему, к груди прижимает и шепотом жарким шепчет в самое ухо:

— Свидание у меня с королевной в полночь, в замковом дворике, под сенью кустов колючих, у ртутного фонтана, однако не смею пойти, ибо на радостях перебрал; ты же похож на меня капля в каплю, а потому умоляю тебя, чужеземный пришелец, — ступай вместо меня, поцелуй королевне руку, а себя назови Сномиром, и благодарности моей не будет границ!

— Почему бы и нет? — молвил король после недолгого размышления. — Пойти можно. Что, сразу?

— Ну, конечно, спеши, ведь полночь скоро, но помни: об этом свиданье король не знает, и вообще никто, кроме королевны да старика привратника; если он тебя остановит, сунь ему в руку вот этот мешочек, набитый дукатами, и он тебя пустит без слова!

Кивнул король, схватил мешочек с дукатами и прямо к замку бежит, а куранты как раз возвещают полночь уханьем сов чугунных. Призраком промчался он по разводному мосту, глянул в пасти рвов крепостных, пригнулся и ускользнул от решеток остроконечных, опустившихся с арки ворот; а во дворике, под колючим кустом, у фонтана, извергавшего ртуть, увидел белеющие при свете луны дивные черты Октопины, и такое она пробуждала желание, что его охватила дрожь.

Глядя на эту дрожь и озноб монарха-сновидца, захихикал тихонько Хитриан в дворцовой передней и руки стал потирать, уверившись, что гибель короля решена, ибо знал хорошо, сколь мощными объятиями встретит злосчастного кавалера Октопина, любовница осьмирукая! Знал он, как затянет она монарха взасосками в самую глубь сновиде-

нья, чтоб никогда уж не смог он вынырнуть к яви! И в самом деле, Ширинчик, объятий королевны алкая, пробирался в тени галерей вдоль стены — туда, где лунно сияла ее краса, как вдруг дорогу ему заступил старик привратник и алебардой путь преградил. Король уже руку с дукатами протянул, но, когда ощутил их тяжесть, отнюдь не малую и милую сердцу, жаль ему стало дукатов: это что же — за одно лишь объятие расточить такую казну?

— Вот тебе дукат, — говорит он, развязывая мешочек, — за то, что меня пропустишь.

— Пожалуйте десять, — отвечает привратник.

— Десять дукатов за одну лишь минуту — да ты никак спятил! — рассмеялся король.

— Дешевле нельзя, — говорит привратник.

— Ни одного дуката не сбавишь?

— Ни одного, сударь.

— Ишь ты каков! — крикнул король, ибо по матери был несдержан. — Ну и наглец! Ничего не получишь, дурень!

Тогда привратник так его алебардой огрел, что в голове у Ширинчика зашумело и провалился он вместе с галереями, двориком, мостом разводным и остальным сновидением в небытие, а мгновенье спустя очнулся рядом с Хитрианом, перед сновидческим Шкафом. Смешался до крайности кибернер и сосчитал про себя, что второй уж раз у него сорвалось, сперва из-за трусости, потом из-за жадности монаршей; однако же виду не подал и снова стал просить короля, чтобы тот другими снами душу возвеселил.

И выбрал Ширинчик сон «О любонаде чудесном». Тотчас стал он Парализием, властителем Эпилепонта и Патогении, старцем дряхлым, трясущимся, и притом сластолюбцем, каких мало, с душою, порочных деяний алчущей. Да что с того, коли суставы скрипят, руки ног не слушают, а ноги — головы! «Может, оправлюсь еще», — подумал он и тотчас послал своих воевод, дегенералов Маньяго и Спазмофила, резать и жечь все подряд, в полон угонять и добычу грабить. Пошли они, порезали, пожгли, пограбили, воротились и такую перед ним держат речь:

— Государь и владыка! Порезали мы, пожгли, а вот добыча военная и полонянка, прекрасная Прельстида, княжна энеков и бенеков, со всею казною своей!

— А? Что? С казною? — трясясь, захрипел король. — Но где же? Ничего не видать! А где это так скрипит и так шелестит?

— Вот тут, на этом диване коронном, Ваше Величество! — хором грянули дегенералы. — Скрип происходит от сотрясений полонянки, вышеназванной княжны Прельстиды, на покрывале диванном, сплетен-

ном из нитей жемчужных! А шелест — от шевеления платья ее златотканого, которое шевелится оттого, что прекрасная Прельстида рыдает, чувствуя свой позор!

— А? Что? Позор? Чудно, отлично! — прохрипел, запинаясь, король. — Давайте ее сюда, я ее тотчас же обниму и чести лишу!

— Этого Ваше Величество сделать не может по соображениям государственной пользы, — вмешался главный лейб-медикатор.

— Что? Чести лишить не могу? Предать поруганью? С ума ты, что ли, сошел? Я — не могу? А что же я до седых волос делал?

— Как раз поэтому, Ваше Величество! — убеждает его главный медикатор. — Ибо Ваше Величество может от этого занемочь!

— Да? Ну, дайте мне... того... топорик, я ее того... порубаю...

— Прошу прощения, но и это Вашему Величеству не показано, ибо может Ваше Величество разволноваться...

— Что? Как?! Так что же мне за радость от эдакого царствования?! — захрипел отчаявшийся король. — Лечите меня! Укрепляйте! Омолаживайте, чтобы смог я... того... как прежде бывало... А иначе я всех вас немедля... того!

Перепугались придворные, дегенералы, медикаторы, и ну искать способы омоложенья монаршего; наконец призвали на помощь самого Калькулия, ужасно великого мудреца. Тот пришел и спрашивает:

— Чего вы, собственно, желаете, государь?

— А? Чего? Как это — чего? — хрипит король. — Беспутству, разнузданности, штучкам всяким блудливым желаю, как и встарь, предаваться, а в особенности поглумиться, как должно, над княжною Прельстидой, которую временно содержу в подземелье! Вот чего!

— Два пути для этого есть и два способа, — отвечает Калькулий. — Либо Ваше Величество соблаговолит избрать особу достаточно именитую, которая per procura* будет тем заниматься, чего пожелает Ваше Величество, подключенное проводочком к оной персоне; и что бы ни учинила она, Ваше Величество все ощутит, словно бы делало это собственноручно. Либо же следует кликнуть старуху кибероделку, что в лесу обитает, за городом, в избушке трехногой; ибо она искусная гериатричка и пробавляется лечением пожилых!

— Вот как? Что ж, испробуем сперва проводочек! — прохрипел король.

Тотчас же сделали, как он велел; начальника лейб-гвардии электристы подключили к его величеству, и король велел гвардейцу немедля мудреца Калькулия распилить, ибо поступок сей показался ему до край-

---

* Здесь: по доверенности *(лат.)*.

ности мерзким, а иных он не жаждал. Не помогли ни просьбы, ни стенания мудреца; однако же во время распиливанья протерлась изоляция на проволочке, так что король воспринял лишь половину палаческого спектакля.

— Скверный это способ, и справедливо велел я лжемудреца распилить, — захрипел государь. — Давайте-ка сюда эту старуху киберодейку из избушки трехногой! Побежали придворные в дремучий бор, и вот уже слышит король заунывную песенку, такую примерно:

— Пожилых пользую! Исцеляю, починяю, годы вспять обращаю, берусь лечить коррозии, параличи, суставы смазываю, никому не отказываю, от впадения в детство знаю верное средство, мое дело вдовье — охрана здоровья!

Выслушала августейшие жалобы киберодейка, низко поклонилась престолу и говорит:

— Государь! Далеко-далеко, за Лысой Горой, маленький есть источник, из которого тоненькой струйкой масло струится, касторовым именуемое; на нем любонад чудесный готовят, омолаживающий на диво, — одна столовая ложка на сорок семь лет! Но упаси бог хватить через край, потому что от перебора можно и вовсе исчезнуть, чрезмерно омолодившись. Коли дозволишь, государь, я вмиг сварю тебе это верное снадобье!

— Превосходно! — король отвечает. — Да приготовь там княжну Прельстиду, пусть знает, что ее ждет, хи-хи!

И трясущимися руками винтики свои развинченные пересчитывает, бормочет, хрипит, и даже отчасти ножками дрыгает, ибо от дряхлости впал уже в детство, в исступленье порочном не ведая удержу.

И вот уже едут рыцари за касторовым маслом, микстуры варятся, дым дымит, и пар парует над котлом старухи киберодейки, и наконец прибегает она к подножию трона, падает на колени и, подавая монарху кубок, наполненный до краев отваром, сверкающим словно ртуть, говорит громким голосом:

— Парализий, государь наш! Вот любонад чудесный, что омолаживает, укрепляет, отвагу воинскую внушает и силу дает амурничать без умору; для того, кто осушит сей кубок, в целой Галактике не будет слишком много градов для разграбления и девиц для пленения! Пей на здоровье!

Взял король кубок и несколько капель пролил на скамейку для ног, а та как вспорхнет, как подскочит, как грохнет о землю, так что гуд прошел по дворцу, да как бросится на дегенерала Спазмофила, чтобы честь его лишить и поруганью предать! Шесть горстей орденов содрала, и все одним махом.

— Пейте, Ваше Величество, смело! — уговаривает киберодейка. — Сами видите — снадобье чудодейственное!

— Сначала отведай сама, — говорит король тихим голосом; как-никак безмерной дряхлости был-то старец.

Киберодейка малость сробела, пятится, упирается, но уже схватили ее по мановенью монаршему трое молодцов и через воронку влили насильно в глотку несколько капель блистающего отвара. Как полыхнет тут да как задымит! Смотрят придворные, смотрит король, хоть и плохо видит, — киберодейки как не бывало, лишь дыра обугленная чернеет в полу, а сквозь нее проглядывает другая, уже между явью и сном; и в оной дыре явственно виднеется чья-то нога, прекрасно обутая, с прожженными носками и серебряной пряжкой, так потемневшей, будто ее кислота разъела. А нога эта, носки и башмак Хитриану принадлежали, Архимудриту короля Ширинчика; ибо яд, который киберодейка называла любонадом чудесным, столь страшную силу имел, что не только старуху и пол под нею, но даже сон просверлил навылет и, на ногу Хитриану брызнув, пребольно его ошпарил. В страхе великом решил проснуться король, однако, на Хитрианово счастье, дегенерал Маньяго успел-таки врезать булавой по монаршему лбу; а потом, очнувшись, Ширинчик ничегошеньки из того, что случилось во сне, не помнил. И все же в третий раз удалось ему выскользнуть из сновиденья, вероломно подстроенного, теперь уже благодаря безмерному недоверию, которое он питал ко всем.

— Что-то мне снилось, а что — не помню, — молвит король, стоя опять перед сновидческим Шкафом. — Но отчего ты, сударь мой, на одной ноге подскакиваешь, а за другую держишься?

— Кибератизм замучил... Ваше Величество... Видать, к перемене погсды... — простонал лукавый Архимудрит и ну опять искушать короля, чтобы тот себя новым каким-нибудь сном заморочил.

Поразмыслил Ширинчик, посмотрел «Оглавление снов» и выбрал «Брачную ночь принцессы Нелепы». И снилось ему, будто читает он у огня книгу, в богатом окладе и прелюбопытную, а в ней повествуется словами затейливыми, буквами алыми, на пергаментах золоченых о принцессе Нелепе, что пять веков тому в Данделии правила; о Лесе ее Ледяном, о Башне Спиральной, о Ржущем Птичьем Дворе, о Сокровищнице Многоокой, а больше всего о красе и добродетели ее несравненной. И возжелал Ширинчик эту красу великим желанием, и жгучим пламенем разгорелись все его вожделенья, так что огненный блеск осветил зеницы его изнутри, и помчался он в глубину сновиденья искать Нелепу, но нигде ее не было, и только самые старые роботы что-то помнили еще об этой монархине. Странствиями утомленный, в пустыне

самой глухой, однако ж королевской, а потому там и сям позолоченной, наткнулся он наконец на избушку убогую; вошел и увидел старца в белой как снег одежде. Старец навстречу ему встает и говорит:

— Ищешь Нелепу, несчастный! А знаешь ведь, что она уже пять столетий как умерла; сколь же страсть твоя напрасна и тщетна! Единственное, что я могу для тебя сделать, это показать ее — однако не настоящую, а лишь смоделированную способом цифровым, нелинейным, вероятностным и прекрасным вот здесь, в Черном Ящике, который я смастерил в минуты досуга из всякого пустынного хлама!

— Ах, покажи мне ее, покажи! — воскликнул Ширинчик, а старец кивнул головой, вычитал в книге коэффициенты принцессы, запрограммировал ее вместе со средневековьем, врубил ток, приоткрыл маленький клапан на крышке Черного Ящика и говорит:

— Смотри и молчи!

Наклонился король, весь дрожа, и вправду увидел средневековье, смоделированное двоично и нелинейно, а в нем страну Данделию, Лес ее Ледяной, дворец принцессы с Башней Спиральной, Ржущий Птичий Двор, Сокровищницу Многоокую в подземельях и саму Нелепу, что в лесу смоделированном гуляла прекрасно и вероятностно, и через стеклышко в Черном Ящике было видно, как ее естество, в середке алое и золотое от электросияния, тихо гудело, когда смоделированная принцесса срывала смоделированные цветочки и песенку смоделированную напевала; и вскочил Ширинчик на Ящик, и ну колотить руками по крышке и к стеклышку рваться, желая — вконец обезумев — вторгнуться в мир, упрятанный в Ящик. Но старец тотчас вырубил ток, стащил короля на землю и молвил:

— Трижды безумный! Ты желаешь невозможного, ибо не дано существу, созданному из реальной материи, проникнуть в глубь мира, что являет собой лишь кружение и вращение элементов двоичных в процессе цифрового, нелинейного и дискретного моделирования!

— Я должен! Должен!!! — вопил исступленно Ширинчик, бодая лбом обшивку Черного Ящика, так что даже прогнул ее, а старец и говорит:

— Ну что ж, коли ты того требуешь, я помогу тебе соединиться с принцессой Нелепой, но знай, что сперва ты утратишь свой нынешний облик; ибо мне придется снять с тебя мерку и, согласно твоим коэффициентам, атом за атомом смоделировать, а после запрограммировать тебя самого, и станешь ты частью этого мира, средневекового и цифрового, что в Ящике пребывает и будет пребывать, доколе хватит электричества в проводах и накала в анодах и катодах. Но сам ты, здесь предо мною стоящий, исчезнешь и пребудешь лишь в образе неких токов, что кружат прекрасно, вероятностно, дискретно и нелинейно!

— Как же я поверю тебе? — спросил Ширинчик. — Откуда я узнаю, что ты смоделировал меня, а не кого-то другого?

— Что ж, устроим испытание, — сказал старец; а после взвесил короля, измерил на портняжий манер, но точнее, ибо мерку снял с каждого атома, наконец запрограммировал Ящик и молвил:

— Смотри!

Глянул король через стеклышко и видит, как сам он, сидючи у огня, читает книгу о принцессе Нелепе, как бежит искать ее, как встречных расспрашивает и, наконец, посреди позлащенной пустыни натыкается на избушку, а в ней видит старца, который встречает его словами:

«Ищешь Нелепу, несчастный!» — и так далее.

— Ну что, убедился? — спрашивает старец, выключив ток. — А теперь я запрограммирую тебя в средневековье, рядом с чу́дной Нелепой, чтобы вместе смотрели вы вечный сон моделирования нелинейного и цифрового...

— Хорошо, хорошо, — отвечает король, — но это только мое подобие, а не я, ведь сам я тут, а не в Ящике!

— Сейчас тебя здесь не будет, — дружески отвечает старец, — уж я позабочусь об этом...

И достает из-под лежанки молот, увесистый, но удобный.

— Когда ты примешь в свои объятья возлюбленную, — объяснил ему старец, — я избавлю тебя от двойного существования — здесь и там, в Ящике, — способом старым, простым и верным, так что соблаговоли наклониться...

— Сперва покажи Нелепу еще разок, — ответил король, — а я проверю, так ли уж совершенен твой метод.

Старец показал Нелепу сквозь стеклышко Черного Ящика, король же смотрел, смотрел, да и говорит:

— Описание в старой книге сильно преувеличено. В общем-то она ничего, но вовсе не столь изумительна, как написано в летописях. До свидания, старче...

И развернулся кругом.

— Как же так? Куда ты, безумный?! — сжимая молот в руке, крикнул старец вслед королю, который шел уже к двери.

— Куда угодно, лишь бы не в Ящик! — ответил Ширинчик и вышел, и в то же мгновенье сон лопнул у него под ногами словно мыльный пузырь, и видит он, что стоит в дворцовой передней напротив Хитриана, жестоко разочарованного, ибо ему почти удалось замкнуть короля в Черном Ящике, из которого Архимудрит никогда бы его не выпустил...

— Уж больно много сложностей в твоих сновидениях с дамами, мой кибернер, — произнес король. — Либо ты покажешь мне сон, в котором

блаженство достигается без особых забот, либо убирайся из дворца со своими шкафами!

— Государь, — отвечает ему Хитриан, — есть у меня сновиденье в самый раз для тебя, качества изумительного, только отведай и сам легко убедишься!

— Это которое ты так нахваливаешь? — спрашивает король.

— Вот это, государь, — говорит Хитриан и показывает на табличку жемчужную с надписью: «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной бесконечности».

А сам уже вилку берет, что болталась у короля на цепочке, дабы, не мешкая, поскорее ее воткнуть, ибо видит, что плохи его дела: ведь Ширинчик избежал заточения вечного в Черном Ящике — без сомнения, из-за тупости, что помешала ему влюбиться как следует в сладостную Нелепу.

— Погоди, — говорит король, — я сам!

И вилку воткнул. Вошел он в сон и видит, что по-прежнему остается самим собою, Ширинчиком, что стоит он в дворцовой передней, а рядом Хитриан-кибернер, который ему толкует, что распутнейший из всех — сон, именуемый «Мона Лиза», ибо в нем открывается бесконечность женского рода; послушался он, подключился и озирается в поисках Моны Лизы, так не терпится ему изведать ласк ее нежных, но в новом сне опять стоит он в передней, рядом с коронным Архимудритом; скорей подключился он к шкафу, вторгся в очередной сон, и опять то же самое: передняя, а в ней шкафы, кибернер и сам он. «Что это, сон?» — закричал король; подключился — снова передняя со шкафами и Хитрианом; еще раз — то же самое, и еще раз, и еще, да все быстрее. «Где Мона Лиза, прохвост?!» — завопил он и вырвал вилку, чтобы проснуться, да как бы не так! По-прежнему стоит он в передней со шкафами. Затопал ногами и ну метаться ото сна ко сну, от шкафа к шкафу, от Хитриана к Хитриану, а после ничего уже не хотел, лишь бы к яви вернуться, к трону любимому, к дворцовым интригам, к распутным забавам; вилки выдергивал, втыкал наудачу и опять вырывал. «О боже! — кричал он. — На помощь, король в опасности!» — и: «Мона Лиза! Эй! Там!» — и со страху подскакивал, и совался в углы в поисках щелочки, что ведет к пробужденью, но все напрасно. Не знал он, почему это так, — уж больно был непонятлив, но этим разом ни тупость, ни боязливость, ни подлая слабость спасти его не могли. В слишком далекие сны он забрался, слишком много их окутало короля непроницаемым коконом, и, хотя, напрягая все силы, слой или два удавалось ему надорвать, не было от этого толку, там поджидал уже новый сон; и когда он вилки из шкафов вырывал, те и другие лишь снились, и когда колотил Хитриана,

стоявшего рядом, тот был не более чем маревом сонным; начал Ширинчик кидаться туда и сюда, но повсюду лишь сны да сны, а двери, мраморные полы, златотканые занавеси, бордюры, узоры, он сам, наконец, — лишь призраки, видимость, пустая иллюзия; и стал он вязнуть в трясине снов, погибая в их лабиринте, хоть и брыкался еще, и лягался, да что с того, если брыканье лишь снится и лягание — тоже! Голову разбил Хитриану — и опять понапрасну, потому что рычал на него лишь во сне и настоящего голоса не подавал; когда же, замороченный и запутавшийся, на мгновенье прорвался к яви, то, не умея ее от сна отличить, снова вилку воткнул и скатился обратно в сон, теперь уже навечно, и напрасно скулил о пробуждёньи — не знал он, что «Мона Лиза» есть порождение дьявольское от слова «монархолиз», то бишь «растворение монаршье», и что из коварных ловушек, расставленных Хитрианом-изменщиком, эта была ужаснее всех...

Такую вот повесть опасно-назидательную поведал Трурль царю Душидаву, у которого от нее голова разболелась, и потому он немедля конструктора отпустил, наградив его орденом Святой Киберии, с лиловым знаком обратной связи на зеленом поле, драгоценной информацией инкрустированным.

С этими словами вторая машина-рассказчица звонко скрежетнула шестеренками золотыми, засмеялась чудно́ от легкого перегрева некоторых клистронов, убавила напряженье анодное, закоптила, погасла и в паланкин удалилась, под всеобщие рукоплескания, коими наградили ее за красноречие и таланты.

А король Гениалон поднес Трурлю кубок, полный ионов, с искусно вырезанными на нем вероятностными волнами, что фотонами противопараллельными переливались, а тот его осушил и дал знак третьей машине; вышла она на середину пещеры и, поклонившись, заговорила голосом электронным, точеным и модулированным.

Вот история о том, как Великий Конструктор Трурль при помощи старого горшка флуктуацию локальную вызвал и что из этого вышло.

Была в созвездии Малой Безделицы Спиральная Галактика, а в этой Галактике — Черное Облако, а в Облаке пять систем шестерных, а в пятой системе солнце лиловое, очень дряхлое и даже подслеповатое, а вокруг того солнца кружили семь планет, а у третьей были три луны, и на всех этих солнцах, звездах, планетах и лунах происходили, в соответствии со статистическим распределением, разные разности и курьезы, а на второй луне третьей планеты лилового солнца пятой системы

Черного Облака Спиральной Галактики в Созвездии Малой Безделицы имелась свалка, какую нетрудно найти на всякой иной планете или луне, самая обыкновенная, а значит, полная мусора и прочих отходов; появилась же она оттого, что аберрициды глауберские сразились водородно и нуклеарно с лиловыми альбуменсами, вследствие чего мосты их, дороги, дома, дворцы и сами они обратились в копоть и жестяную труху, которую метеоритным ветром занесло в то самое место, о котором ведется речь. Пять веков ничего на этой свалке не делалось, кроме мусора, когда же случилось однажды землетрясенье, нижние залежи мусора оказались вверху, а верхние — в самом низу, что само по себе особого значения не имело бы, если бы Славный Конструктор Трурль, пролетая в этих местах, не был ослеплен бродячей кометой с ярким хвостом. И начал он ее отгонять, швыряя в окно звездохода все, что попалось под руку, а были это дорожные шахматы, пустые внутри, которые прежде он наполнял горелкою, да бочки от пороха, которого не удалось выдумать варлаям со звезды Хлорелеи, да старая посуда, а с нею — треснутый глиняный горшок. Горшок этот, приобретши скорость, соответствующую законам тяготения, и будучи ускорен кометным хвостом, упал на луну и покатился по склону над свалкой; попал по дороге в лужу, поскользнулся в грязи, съехал на дно, в самый мусор, и задел полоску заржавелой жести, а та вокруг проводочка медного обвилась; поскольку же между ее концами застряли кусочки слюды, возник конденсатор, а провод, опоясав горшок, стал зародышем соленоида, а камень, задетый горшком, толкнул заржавленную железяку, оказавшуюся старым магнитом, и возник от этого шевеления ток, переместивший еще шестнадцать жестянок и мусорных проволочек, и растворились там сульфиды с хлоридами, и атомы прицепились к атомам, взболтанные молекулы начали седлать другие молекулы, пока из всего этого прямо посередине свалки не зародился Логический Контур и еще пять других, да еще восемнадцать там, где горшок на куски разлетелся; а вечером вылез на край этой свалки, неподалеку от лужи, теперь уже высохшей, созданный столь случайным манером Далдай-Самосын, что ни отца не имел, ни матери, но был сам себе сыном, ибо отцом его оказался Случай, а матерью — Энтропия. И выбрался Далдай из мусорной кучи, не подозревая нимало, что родиться был у него один лишь шанс на сто супергигацентильонов в гексаптиллионной степени, и шел, пока не дошел до следующей лужи, которая высохнуть еще не успела, так что смог он свободно себя разглядеть, встав на колени. И увидел в водном зеркале свою голову, абсолютно акцидентальную, с ушами, как обломанные калачи, — левым скособоченным, а правым надтреснутым, и свое случайное туловище, что слепилось из железок, железяк и железочек,

отчасти цилиндрическое (ибо так уж умялось оно при выползании из мусорной кучи), а посредине сужающееся наподобие талии, ибо как раз этим местом перекатился он, уже на самом краю свалки, через какой-то камень; еще увидел он мусорные руки свои и отбросные ноги, посчитал их, и по стечению обстоятельств оказалось их ровно по паре; и глаза, которых по чистой случайности было два, и восхитился Далдай-Самосын стройностью своего стана, четностью членов, округлостью головы и громко воскликнул:

— Поистине! Я изумителен и даже совершенен, что явно предполагает Совершенство Всего Сотворенного!!! О, сколь же благим должен быть тот, что меня сотворил!!!

И заковылял, по дороге роняя слабо укрепленные винтики (ведь никто их как следует не завинтил) и напевая гимны в честь Гармонии Предустановленной, а на седьмом шагу споткнулся по слабости зрения и полетел головою вниз обратно, прямо в груду мусора, и ничего с ним не делалось, кроме ржавления, распадения и общей коррозии еще триста четырнадцать тысяч лет, поскольку упал он на голову, и все у него позамыкалось, и не было его на свете. А потом случилось как-то купцу, что на старом своем корабле вез анемоны для смолоногов с планеты Недузы, поругаться с помощником как раз неподалеку от лилового солнца, и швырнул он в помощника башмаками, а один башмак, выбив окно, вылетел в пустоту, и кружение его подвергалось пертурбациям по причине того, что комета, некогда ослепившая Трурля, оказалась опять в том же самом месте, и башмак, потихоньку вращаясь, упал на луну, лишь слегка обгорев из-за атмосферного трения, отскочил от склона и пнул лежавшего в мусоре Далдая-Самосына как раз с такой силой и по случайности как раз под таким углом, что вследствие центробежных сил, крутящей силы и общего момента вращения заработали мусорные мозги этого акцидентального существа. А случилось так потому, что от пинка Далдай-Самосын упал в соседнюю лужу, и растворились в воде его хлориды и йодиды, и забулькал электролит у него в голове, и возник в ней ток, который шастал туда и сюда, и наконец в результате этого шастанья и кружения сел Далдай в грязи и подумал: «Кажется, я существую!»

Но больше ничего помыслить не смог целых шестнадцать столетий, а дождь его поливал, а град молотил, и возрастала его энтропия, но спустя тысячу и пятьсот двадцать лет некая птаха, спасаясь от хищника, облегчилась над свалкой — со страху и чтобы быстрее лететь — и угодила Далдаю в лоб, и случилось от этого в нем возбуждение и усиление, и Далдай чихнул, да и говорит:

— Поистине, я существую! Насчет этого нет ни малейших сомнений. Но вот вопрос — кто, собственно, говорит: «Я существую»? То есть: кто я? Как тут найти ответ? Ба! Если б кроме меня было еще хоть что-нибудь, с чем я мог бы себя сопоставить и сравнить, это еще куда ни шло, но дело-то в том, что нет ничего, ибо видно, что ничего абсолютно не видно! Итак, существую лишь я, и притом как чистейшая всевозможность, ведь помыслить я могу все, что хочу; но сам-то я что такое — пустое место для мышления, или как?

И впрямь, он утратил все чувства, которые за протекшие века разболтались вконец и испортились, ибо неумолимо владычествует над миром подруга Хаоса, безжалостная Энтропия. Так что не видел Далдай ни лужи-матушки, ни мусора-батюшки, ни целого света, совершенно не помнил, что было с ним прежде, и вообще не мог уже ничего, кроме как мыслить. Только это умел он, и неудивительно, что этим только и занимался.

— Следовало бы, — сказал он себе, — заполнить чем-нибудь пустоту, явленную во мне, и тем самым преобразить несносную ее монотонность. Итак, выдумаем что-нибудь, и тогда помышленное станет реальностью, ибо нет ничего, кроме наших мыслей. — Видать, он уже несколько возгордился, коль скоро мыслил себя во множественном числе.

— Возможно ли, — сказал он себе, — существование чего-либо вне меня? Допустим на минуту — хотя это выглядит неправдоподобно и даже дико, — что да. Назовем это нечто Гозмозом. Итак, существует Гозмоз и в Гозмозе я как частичка его!

Тут он остановился, поразмышлял, и гипотеза эта показалась ему совершенно неосновательной. Не было в ее пользу никаких доказательств, аргументов, доводов, предпосылок, и потому он признал ее чистой фантазией, чрезмерной самонадеянностью ума, устыдился сильно и сказал себе:

— О том, что находится вне меня, если там вообще что-нибудь есть, я ничего не знаю. Но о том, что внутри, я узнаю, стоит лишь мне это помыслить; да и кому же, черт подери, лучше знать мои мысли, если не мне?!

И выдумал Гозмоз еще раз, но теперь уже разместил его внутри собственного сознания; это показалось ему не в пример скромнее, приличнее и основательней, а к этому он и стремился. И стал он заполнять этот свой Гозмоз всякой помышленной всячиной. Сперва, не имея еще сноровки, выдумал моленцев, что занимались выдрючиваньем чего ни попало, а также заголенцев, что питали пристрастие к слюпсам. И сразились немедля заголенцы с моленцами из-за слюпсов, да так, что у Далдая-мусорника голова разболелась, и, кроме мигрени, ничего из этого сотворения мира не вышло.

Взялся он за сотворенье опять, теперь уже осмотрительней, и выдумал первоэлементы, а именно: благородный газ, он же элемент совершенный — Кальцоний, и первоэлемент духовный — Мышлений, и множил за бытием бытие, ошибаясь время от времени, но через пару веков наловчился настолько, что вполне капитально построил в мыслях собственный Гозмоз, разместив в нем различные племена, существа, бытии и явления, и жилось там очень неплохо, поскольку законы этого Гозмоза учинил он весьма либеральными: ему пришлась не по нраву идея неумолимой закономерности, этого казарменного распорядка, без которого Мать-Природа ни шагу (впрочем, о ней ничего он не знал и не ведал).

Поэтому был Самосынов мир полон чудотворных капризов: один раз делалось в нем что-то так — и все тут, а другой раз — этак, совершенно иначе, тоже безо всякой причины. А если кому-нибудь там предстояло погибнуть, всегда еще можно было этого избежать, поскольку Далдай решил не допускать необратимых событий. И прекрасно жилось в его мыслях мондрецам, драконьерам, что добывали Кальцоний, и клофундрам, и Добрианне, и обретонцам — столетия целые. Между тем отвалились мусорные руки его и отбросные ноги, и ржавчиной окрасилась в луже вода вокруг прекрасного некогда стана, и корпус погружался мало-помалу в грязную глину. А он как раз со вниманием и любовью новые созвездья развешивал в вечном мраке сознания своего, что служило ему целым Гозмозом, и, как умел, бескорыстно старался все созданное его помышлением в памяти удержать; и хотя болела от этого голова, он не сдавался, ибо чувствовал, что нужен своему Гозмозу и всерьез за него отвечает. Тем временем ржавчина прогрызала верхнюю его жесть, о чем он, понятно, не знал, а донный черепок Трурлева горшка (того самого, что дал ему жизнь тысячелетья назад), колыхаясь на грязной волне, понемногу приближался к Далдаю, который одним лишь несчастным лбом еще высовывался из лужи. И как раз в ту минуту, когда Далдай пригрезил себе кроткую прозрачно-стеклянную Бавкиду и верного ее Ондрагора, что странствовали средь темных солнц воображения его при всеобщем молчании народов гозмозовых, включая моленцев, и тихо меж собою перекликались, — проржавевший череп лопнул от легкого удара горшка, сдвинутого порывом ветра, хлынула жижа коричневая в сердцевину медных витков и погасила электричество логических контуров, и обратился Гозмоз Далдаев в небытие, совершеннее которого ничего нет. А те, что ему положили начало и целому скопищу миров заодно, никогда не узнали об этом.

Тут черная машина поклонилась, а король Гениалон призадумался, меланхолически и глубоко, так что пирующие стали даже на Трурля коситься: мол, зачем опечалил ум государев такой историей? Король, однако, вдруг улыбнулся и спросил:

— Ну, что там у тебя осталось в запасе, почтеннейшая?

— Государь, — ответила, ни́зко склонившись, машина, — расскажу тебе историю удивительную и бездонную о Хлориане Теоретии, двухименном Ляпостоле, интеллектрике и мыслянте мамонском.

Однажды славный конструктор Клапауций, желая отдохнуть после тяжких трудов (он смастерил для короля Гробомила Машину, Которой Не Было, — но это особая история), попал на планету мамонидов и слонялся по ней туда и сюда, ища одиночества, пока не увидел на самом краю лесной чащи избушку, заросшую диким ки-барбарисом; а над избушкой поднимался дымок. Хотел он ее обойти, однако, заметив стоящие у стены пустые бочки из-под чернил и, видом таковым изумленный, заглянул внутрь. За столом, сделанным из валуна, на втором валуне, поменьше, который служил табуретом, сидел старец, до того закопченный, заржавелый, залатанный, что просто не верилось. На лбу у него имелось множество вмятин, глаза обращались в глазницах с великим скрипом, да и члены скрипели, несмазанные, и на одних лишь проволочках да веревочках держалась в нем кое-какая жизнь, которую он на ужасном вел безамперье, о чем без слов говорили разбросанные там и сям куски янтаря; потиранием оных несчастный добывал животворный ток! При виде такой нищеты сердце у сердобольного Клапауция оборвалось, и он уже потихоньку потянулся за кошельком, как вдруг старец, лишь теперь углядевший его своим помутнелым оком, пискливо заголосил:

— А, пришел наконец?!

— Ну, пришел... — пробормотал Клапауций, удивленный, что его уже ждут там, где он и быть-то не собирался.

— Теперь?! Так сгинь же, пропади, переломай себе руки, хребет и ноги, — зашелся ужасным визгом старик и начал швырять в остолбеневшего Клапауция всем, что было у него под рукой, то есть, по большей части, всяческой рухлядью. Когда же он притомился и швырять перестал, бомбардируемый принялся деликатно выспрашивать, чему он обязан таким приемом. Старец, правда, временами еще огрызался: «А чтоб тебя накоротко замкнуло! Чтоб тебя навеки заело, мержавчик!» — однако ж немного погодя поостыл и позволил умилостивить себя настолько, что, подняв назидательно палец, посапывая, ругаясь время от

времени и часто искря, отчего в избушке озоном повanивало, такими словами свою историю рассказал:

— Знай, чужеземец, что я мыслянт, из мыслянтов первый, онтологией занимающийся по призванию, а имя мое (блеск которого затмит когда-нибудь звезды) — Хлориан Теоретий Ляпостол. Родился я от бедных родителей и сызмальства чувствовал тягу к мышлению, исследующему бытие; а шестнадцати лет написал первый свой труд под названием «Боготрон». Это общая теория апостериорных божеств, каковые божества потому должны быть встроены в Космос высшими цивилизациями, что, как известно, материя первична и в самом начале никто не мыслит. Значит, на заре мироздания безмыслие царило полнейшее; и впрямь, погляди-ка на этот Космос — ничего себе вид!!! — Здесь задохнулся от гнева старец, затопал, а затем, ослабев, продолжал: — Я объяснил тебе необходимость приделывания богов задним числом, раз уж передним их не было; и всякая цивилизация, занимающаяся интеллектрикой, ведет дело прямехонько к построению Абсолютного Всемогутора, или ректификатора зла, то бишь выпрямителя путей Разума. В этом труде я поместил и план первого Боготрона, а также характеристику его мощности, измеряемой в богонах — единицах всемогущества; один богон соответствует чудотворению в радиусе миллиарда парсеков. Когда сей труд был напечатан моим иждивением, я выбежал поскорее на улицу в полной уверенности, что народ немедля меня на руках понесет, увенчает цветами, осыплет золотом; куда там — хоть бы киберняга какая меня похвалила! Скорее изумленный этим, нежели разочарованный, я тотчас сел и написал «Бичевание Разума» в двух томах, где разъяснил, что перед каждой цивилизацией имеются два пути, а именно — либо себя самое замучить, либо до смерти заласкать. То либо другое она совершает, пожирая мало-помалу Космос и перерабатывая остатки звезд в унитазы, колесики, шестеренки, портсигары и подушечки-думки, а происходит так оттого, что, не умея Космос понять, она норовит все Непонятное как-нибудь переиначить в Понятное и не унимается, пока туманности в клоаки не переделает, а планеты в диваны и бомбы, руководствуясь при этом Высшей Идеей Порядка, ибо лишь Космос заасфальтированный, канализированный и каталогизированный кажется ей в меру пристойным. Во втором же томе, названном «Advocatus Materiae»*, я объяснил, что Разуму по причине его ненасытности лишь тогда хорошо, когда удается какой-нибудь гейзер космический поработить или атомный рой приневолить к изготовлению мази против веснушек, после чего он не мешкая набрасывается на сле-

* «Адвокат материи» *(лат.)*.

дующий феномен, дабы и этот трофей приторочить к поясу средь прочей сциентистской добычи. Когда же и эти два тома великолепных мир молчанием встретил, я сказал себе, что главное — терпение и упорство. А потому после защиты Мирозданья от Разума, который я вывернул наизнанку, а также Разума от Мирозданья, которого безвинность в том состоит, что Материя единственно от безмыслия своего на паскудства всяческие горазда, по внезапному вдохновению написал я «Закройщика Бытия», где логически доказал, что споры философов — дело бессмысленное, ибо каждый должен иметь философию собственную, скроенную, как и штаны, по мерке. Поскольку же и этот трактат канул в глухое безмолвие, я тотчас сочинил следующий и в нем изложил все мыслимые гипотезы относительно Космоса: первую, согласно которой нет его вовсе; вторую, что это следствие промахов некоего Творилы, который пытался мир сотворить, ни черта в этом деле не смысля; третью, что мирозданье есть бред какого-то Сверхмозга, который на почве себя самого взбесился бесконечным манером; четвертую, что это бездарно материализованная мысль; пятую, что это по-идиотски мыслящая материя, — и, уверенный в себе, ожидал жестоких со мною споров, шумихи, укоров, восхищения, лавров, наконец, нападок и анафем; однако ж опять ровным счетом ничего не случилось. Тут изумлению моему не было границ. Я подумал, что, может быть, слишком мало изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писания, изучил по очереди знаменитейших, как-то: Френезиуса Четку, Бульфона Струнцеля, основателя школы струнцлистов, Турбулеона Кратафалка, Сферициа Логара и самого Лемюэля Лысого.

Однако ничего достойного внимания я у них не нашел. Тем временем мои труды расходились мало-помалу, значит, думалось мне, кто-то их все же читает, а раз читает, результат не замедлит сказаться. Я, в частности, не сомневался, что меня призовет Тиран и потребует, чтобы я занялся им самим как главнейшей темой и хвалу бы ему возглашал. Я даже в точности обдумал, что отвечу ему: мол, Истина для меня все и ради нее я жизнь готов положить; Тиран же, алкая похвал, которые мог бы измыслить блестящий ум мой, попробует приманить меня медом своих милостей и бросит к моим ногам звенящие кошельки, а видя мою непреклонность, скажет по наущенью софистов, что-де, раз уж я занимаюсь Космосом, стоило бы и им заняться — ведь в некотором роде и он частица Космоса. Я же в лицо ему издевку швырну и буду выдан на муки; а потому заранее закалял тело, дабы жесточайшие истязания выдержать. Но дни проходили и месяцы, а Тиран — ничего; выходит, и к мукам зря я себя готовил. Лишь какой-то бумагомарака по имени Дубомил написал в бульварном листке, что баламут Хлориашка бредит

безбожной белибердой в книжонке, озаглавленной «Босотрон, или Абсолютный Всегомутор». Я бросился к трудам своим — и точно, по недосмотру печатника на титуле были перепутаны буквы... Сперва я хотел побить негодяя, но рассудок взял верх. «Придет еще мое время! — сказал я себе. — Не может этого быть, чтобы кто-то, словно горох, сыпал день и ночь абсолютные истины, слепящие блеском Окончательного Познания, — и все напрасно! Придет известность, придет слава, трон из слоновой кости, титул Мыслянина Первого, поклоненье народов, отдохновенье под сенью сада, собственная школа, любящие ученики и восторженные толпы!» Ибо как раз такие мечты лелеет любой из мыслянтов, о чужеземец! Говорят, конечно, будто голод они утоляют одним лишь Познанием, а жажду — Истиной; ни благ земных не желают, ни ласк электриток, ни звонкого злата, ни орденских звезд, ни хвалы, ни славы. Все это сказки, почтенный мой чужестранец! Все желают одного и того же, с той только разницей, что я, по огромности моего духа, в этих слабостях признаюсь открыто и без стесненья. Но годы текли, а меня иначе, как Хлорианчик, баламут Хлориашка, никто не называл. Наступила сороковая годовщина моего рождения, и снова я удивился тому, до чего же долго заставляет ожидать себя массовый отклик, а потому сел и написал сочинение об энэсэрцах, народе, наиболее развитом в целом Космосе. Что, не слыхивал о таких? Я тоже, поскольку не видел и не увижу их, однако их бытие доказал способом чисто дедуктивным, логическим, неопровержимым и теоретическим. Ведь если — так я рассуждал — в Космосе имеются цивилизации, по-разному развитые, больше всего должно быть обычных, средних, а прочие либо запоздали в развитии, либо ушли вперед. А при таком статистическом распределении в Космосе — как в обычной компании, где средних ростом больше всего, но самой высокой будет одна, и только одна, особа, — где-то должна быть цивилизация, достигшая Наивысшей Ступени Развития. Жители ее, энэсэрцы, познали все, что нам и не снилось. В четырех томах изложил я все это, издержавшись вконец и на меловую бумагу, и на портрет автора, однако моя тетралогия разделила судьбу своих предшественниц. Год назад я перечел ее от доски до доски, от высочайшего наслаждения слезы роняя. До того гениально она написана и таким абсолютом дышит, что словами не выразить! Ах, к пятидесяти годам я не раз готов был лишиться чувств! Накупишь, бывало, трактатов и сочинений мыслянтов, что в богатстве живут и роскоши, чтобы узнать, в чем там суть, а там толкуют о разнице между пращою и пращуром, о дивном строении трона монаршего, о сладостных его подлокотниках и справедливых ножках, о шлифовке манер — да сочиняют пространные описания того и сего; причем никто себя отнюдь не хва-

лил, но так уж как-то оказывалось, что Струнцель нахваливал Четку, а Четка — Струнцеля, и обоих осыпали хвалами логаристы. Росла также слава трех братьев Вырвацких — причем Вырвандер тащил наверх Вырвация, Вырваций — Вырвислава, а тот, своим чередом, Вырвандера. И когда я их изучал, что-то нашло на меня, и бросился я на эти труды, и принялся мять их, и рвать, и даже жевать... пока наконец рыданья не кончились, слезы высохли, и тотчас же сел я писать сочинение «Об Эволюции Разума как Двухтактного Феномена». Ибо, как я там доказал, круговою цепью связаны бледнотики с роботами. Сперва, от слипания слизистой грязи на морском берегу, возникают создания клейкие и белесые, отсюда и прозвище их — альбуменсы. Столетья спустя они постигают, как дух в машину вдохнуть, и делают себе из Автоматов слуг подневольных. Однако через какое-то время, обратным ходом вещей, Автоматы, сбросивши клейкое иго, начинают устраивать опыты — не удастся ли, случаем, в кисель сознанье вдохнуть? — и, попробовав на белке, достигают успеха. Но синтетические бледнотики спустя миллион лет снова за железо берутся; так и идет оно коловоротом, попеременно и без конца; как видишь, тем самым я разрешил извечный спор о том, что было раньше — робот или бледнотик? Эту работу я послал в Академию — шесть оправленных в кожу томов; на их издание ушли остатки наследства. Надо ли пояснять, что мир и ее замолчал, жестокий! Стукнуло мне шестьдесят, и седьмой десяток был уже на исходе, и надежда на славу при жизни угасла. Что было делать? Принялся я размышлять о славе вечной, о потомстве, о будущих поколениях, что откроют меня и в прах предо мной упадут. Тут, однако, зашевелились во мне сомнения: а что мне это, собственно, даст, раз уж меня не будет? И пришлось мне признать, в соответствии со своим учением, изложенным в сорока четырех томах с вариантами и приложениями, что ничего абсолютно! Вскипела душа, и сел я писать «Завещание для Потомства», дабы надавать ему хорошенько под зад, оплевать его, обругать, опозорить и ошельмовать на все лады точнейшими методами. Что? По-твоему, это несправедливо? По-твоему, свой гнев я должен был обратить против своих современников, меня не заметивших?! Ну уж нет, дорогой мой! Ведь когда грядущая слава озарит каждое слово моего «Завещания», современники давно уже обратятся в прах, кого же мне осыпать проклятьями — несуществующих? Если бы я поступил, как ты говоришь, потомки изучали бы меня в безмятежном спокойствии и лишь для приличия вздыхали бы: «Бедняжка! Сколько незаметного героизма было в его неоцененном величии! Сколь справедливо гневался он на дедов наших, любовно и преданно дело жизни своей нам завещая!» Вот ведь как было бы! Так что же? Нет виноватых? Идиотов, что живьем меня

погребли, смерть щитом оградит от молнии мщенья? При одной лишь мысли об этом смазка во мне закипает! Они, значит, будут спокойно живиться моими трудами, приличия ради проклиная из-за меня отцов? Не бывать этому!!! Пусть же я пну их хотя бы дистанционно, то есть загробно! Пусть знают те, кто будет имя мое намазывать медом и позолотой золотить ореол на изображеньях моих, что как раз за это я желаю им шестеренки переломать до последней! Чтоб им контуры заколебало, чтоб им ржавчина мозговину изъела, если только и умеют они, что прах выгребать из погостов прошлого! Возможно, будет средь них возрастать какой-нибудь новый, громадный мыслянт, а они, поглощенные отысканием клочков переписки, которую вел я когда-то с прачкой, вовсе его не заметят! О, тогда пусть знают наверное, что искренние мои проклятья и чистосердечное омерзение пребудут с ними и средь них, что я считаю их лизогробами, трупоугодниками, шакалистами, которые потому лишь питаются трупами, что живую мудрость оценить не способны! Пусть же, издавая полное собранье моих сочинений — а меж ними по необходимости и это «Завещание», чреватое последним проклятьем, им адресованным, — перестанут сии некроманты, сии мертволюбы самодовольно гордиться тем, что был в их роду мудрец безмерный, Хлориан Теоретий, двухименный Ляпостол, который учил на веки веков вперед! Пусть помнят, полируя мои постаменты, что я желал им всего наихудшего, что только вмещает Космос, а ожесточенность проклятия моего, обращенного в будущее, сравнится только с его бессилием! Да узнают они, что я с ними ничего общего иметь не хочу и нет меж ними и мной ничего, кроме задушевного отвращения, которое я к ним питаю!!!

Тщетно пытался Клапауций, слушавший эту речь, успокоить вопящего старца. Тот при последних своих словах вскочил и, кулаком угрожая потомству, изрыгая множество чудовищных слов, неведомо как им услышанных на поприще столь почтенном, посинел, задрожал, зарычал, затопал, весь вспыхнул и рухнул замертво от холерического электроудара! Клапауций, немало удрученный столь неприятным оборотом событий, уселся поодаль на камне, поднял с земли «Завещание» и начал читать, но от обилия сочнейших эпитетов, посвященных грядущему, у него уже на второй странице зарябило в глазах, а к концу третьей пришлось утереть испарину, выступившую на лбу, ибо скончавшийся в бозе Хлориан Теоретий дал образцы сквернословия, космически абсолютно непревзойденного. Три дня кряду, вытаращив глаза, читал сию хартию Клапауций, а после задумался, как поступить: возвестить ее миру или уничтожить? И поныне сидит он так, не в силах принять решенье...

* * *

— Ей-богу, — молвил Гениалон, когда машина, окончив рассказывать, удалилась, — я вижу здесь некий намек на наши платежные обязательства, расчет по которым уже на носу, ибо после поистине сказочной ночи в пещеру заглядывает заря нового дня. А потому скажи, любезный конструктор, чем и как ты хочешь быть награжден?

— Государь, — отвечал Трурль, — ты приводишь меня в замешательство. Чего бы ни попросил я — потом, получив требуемое, я могу пожалеть, что не потребовал большего. А в то же время мне не хотелось бы уязвить Ваше Величество чрезмерными требованиями. Поэтому на монаршье благоусмотрение оставляю размеры моего гонорара...

— Хорошо, — благосклонно промолвил король. — Рассказы были отменные, машины — превосходные, а потому я не вижу иного способа, как только даровать тебе величайшее сокровище, которое, я совершенно уверен, ты не променял бы ни на какое другое. Я жалую тебя здоровьем и жизнью — вот, по моему разумению, достойная награда. Любую другую я счел бы неподобающей, ведь золотом ни Истину, ни Мудрость не уравновесить. А потому будь здоров, приятель, и продолжай скрывать от мира истины, слишком жестокие для него, пряча их в сказки ради отвода глаз.

— Государь, — изумился Трурль, — неужто ты поначалу намеревался лишить меня жизни? Неужто меня ожидало такое вознаграждение?

— Ты волен толковать мои слова, как захочешь, — ответил король. — Я же скажу так: если бы ты всего лишь развлек меня, не было бы предела моей щедрости. Но ты сделал больше, а потому никакие богатства не будут достаточной наградой за твой труд; и я дарую тебе и в будущем возможность свершений, коими ты прославился, ибо не знаю ни большей платы, ни большей награды...

Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло

Однажды летом, когда конструктор Трурль занят был подрезанием веток кибарбариса, который рос у него в саду, увидел он, что к дому его приближается оборванец, видом своим пробуждавший жалость и ужас. Все члены этого робота-горемыки перевязаны были веревками, недостающие сочленения заменены прогоревшими печными трубами, вместо головы имел он горшок — старый, дырявый, в коем мышление его, заедая, дребезжало и искрилось, шея была укреплена кое-как железкой из садовой ограды, в открытом животе болтались коптящие катодные лампы, которые этот несчастный придерживал свободной рукой, а другой неустанно подкручивал развинченные свои винтики; когда же, ковыляя, вошел он в ка-

---

Altruizyna, czyli Opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy Kosmos uszczęsliwić zapragnął i co z tego wynikło, 1965. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

литку Трурлева дома, сгорели у него четыре предохранителя сразу и начал он, в клубах дыма и чаду шипящей изоляции, рассыпаться прямо на глазах у конструктора. Тот же, преисполненный жалости, схватил немедля отвертку, плоскогубцы, просмоленную обмотку и поспешил на помощь к скитальцу, причем оный многократно лишался чувств, нестерпимо скрежеща шестеренками по причине общей десинхронизации; однако ж удалось-таки Трурлю привести его более-менее в чувство; уже перевязанного, усадил он его в гостевом покое, и, пока бедняга жадно подпитывался от батареи, Трурль, не в силах долее сдержать любопытства, принялся выспрашивать, что довело его до столь ужасающего состояния?

— Милостивец мой, — ответствовал незнакомец, все еще подрагивая магнитами, — зовусь я Добриций; я пустынник-отшельник, вернее, был таковым; провел я в пустыне шестьдесят и семь лет в размышлениях благочестивых. Но как-то утром одолело меня сомнение, правильно ли я поступаю, удалившись от мира? Смогут ли все мои бездонные размышленья и вся пытливость моя духовная удержать хоть одну заклепку от выпадения? Не есть ли первейший мой долг нести помощь ближним, а о собственном спасении мыслить во вторую лишь очередь? Ужели...

— Ладно, ладно, пустынник, — остановил его Трурль. — Состояние твоего духа в то утро мне в общем-то ясно. Рассказывай, что было дальше.

— Отправился я на Фотуру, где свел случайно знакомство со знаменитым конструктором по имени Клапауций.

— Ах, может ли это быть? — воскликнул Трурль.

— Что ты сказал, господин мой?

— Так, ничего! Продолжай.

— То есть познакомился я с ним не вдруг; он был большой вельможа, ехал в автокарете, с коей мог толковать, как я с тобою; и вот, когда я, непривычный к городскому движению, замешкался посреди улицы, карета сия изобидела меня весьма непристойным словом, и я мимо воли огрел ее посохом по фонарю; тут она взъярилась уже не на шутку, однако ж седок усмирил ее, а меня пригласил внутрь. И рассказал я ему, кто я, и почему покинул пустыню, и что не знаю я, как должно мне теперь поступать; он же намерение мое похвалил и представился сам, а после пространно рассказывал о трудах своих и твореньях; под конец же поведал мне претрогательную историю

Хлориана Теоретия, двухименного Ляпостола, достославного мыслянта и мудролюба, коего печальной кончины он сам был свидетелем. Изо всего, что сказывал он о «Писаниях» сего Великого Робота, особливо запала мне в душу история об энэсэрцах. Случалось ли тебе, милостивец, слышать о сих созданиях?

— Разумеется. Речь идет о единственных в Космосе существах, достигших Наивысшей Ступени Развития, не так ли?

— В точности так, господин мой, познания твои преизрядны! И вот, сидючи рядом со славным Клапауцием в его карете (которая беспрестанно ужаснейшие проклятия изрыгала в толпу, неохотно уступавшую нам дорогу), подумал я, что кто-кто, а сии существа, столь разумные, что дальше уж некуда, наверное знают, как должно поступать, ежели ощущаешь такой позыв к добру и такое желание творить его, как я. И я немедля осведомился у Клапауция, где обитают энэсэрцы и как их найти? Он же лишь усмехнулся как-то странно, покачал в задумчивости головою и ничего не ответил. Я не посмел переспрашивать; но после, когда мы уже сидели в корчме за жбаном ионной похлебки (ибо карета, вконец охрипнув, обезголосела, и дальнейшее путешествие пришлось вельможному Клапауцию отложить до следующего дня), благодетель мой повеселел, глядя на пары, кои лихо отплясывали киберантеллу под веселые звуки оркестрика, почел за благо довериться мне и такую поведал историю... Но не утомил ли тебя мой рассказ?

— Да нет же, нет! — живо возразил Трурль. — Я весь внимание.

«Почтеннейший мой Добриций! — молвил господин Клапауций в оной корчме, когда с танцоров уже искры сыпались градом. — Знай, что история несчастного Ляпостола тронула меня до глубины души и я решил, что должен без промедленья отправиться на поиски оных существ, превосходно развитых, неизбежность появления коих обосновал он чисто логически и теоретически. Главную, однако, трудность сего предприятия видел я в том, что всякая космическая раса мнит себя самое наиболее развитой, так что расспросами я ничего не добьюсь; лететь же на авось было бы потому рискованно, что в Космосе, как следовало из моих вычислений, имеется около четырнадцати сантигигагептатрибиллионардов вполне разумных обществ, так что сам видишь, что с отысканием нужного адреса имелись определенные трудности. Рассматривал я это дело так и эдак, рылся в библиотеках и старинных фолиантах, пока не

нашел наконец одно важное указание в сочинениях некоего Трупуса Бредониуса, который тем отличался, что пришел к тем же выводам, что и Ляпостол, только на триста тысяч лет раньше, но в совершенном оказался забвении. Отсюда видно, что нет ничего нового под любым из солнц, и даже кончил Трупус так же, как Хлориан... Впрочем, это не суть важно. Из этих с трудом разобранных мною обрывков я дознался, как искать энэсэрцев. Бредониус доказывал, что надобно обшаривать звездные скопища, стремясь обнаружить нечто совсем невозможное; и ежели таковое отыщется, можно не сомневаться, что там-то они и находятся. Спору нет, указание это было по видимости темным, но для чего дана нам ясность ума? Я не мешкая снарядил корабль и пустился в дорогу. Об испытаниях, постигших меня в пути, умолчу; скажу лишь, что в конце концов я приметил в звездной пыли звезду, тем отличную от всех прочих, что она была квадратная. Ах! Сколь же я был изумлен! Ведь каждый младенец знает, что звезды все до единой круглые и о какой-либо их угловатости, да еще строго квадратной, и думать нечего! Я немедля подвел корабль к небывалой звезде и вскоре заметил планету, тоже четырехугольную и к тому же снабженную по углам оковками с замочными скважинами. Чуть поодаль кружила другая планета, уже совершенно обычная; наведя на нее зрительную трубу, я увидел шайки роботов, которые ломали кости собратьям; таковое зрелище не слишком склоняло к высадке. Поэтому я вернулся к оставшейся за кормой сундуковатой планете и основательно обшарил ее дальноглядом. И сколь же сладостная меня охватила дрожь, когда на одной из ее колоссальных оковок я обнаружил увеличенную в окулярах, искусно вырезанную монограмму, что из трех состояла букв: НСР!

— О небо! — сказал я себе. — Это здесь!

Однако, обращаясь вокруг планеты до головокружения, я не мог отыскать на ее песчаных равнинах ни души и, приблизившись на расстояние шести миль, различил скопление темных точек, которые в поле зрения сверхтелескопа оказались обитателями оного небесного тела. Было их около сотни; они валялись вразброс на песке, и эта безжизненность изрядно меня встревожила; но я убедился, что время от времени то один, то другой с наслаждением почесывается; столь очевидные признаки жизни склонили меня к высадке. Я не мог дождаться, пока ракета — как обычно, раскалившаяся в атмосфе-

ре, — остынет, выскочил из нее, перепрыгивая через три ступеньки, и устремился к туземцам, крича на бегу:

— Извините! Это здесь Наивысшая Ступень Развития?!!

Никто, однако, и ухом не повел. При виде такого безразличия я оторопел, а затем внимательно огляделся вокруг. Равнину заливало сиянье квадратного солнца. Из песка тут и там торчали какие-то поломанные колесики, пучки соломы, бумажки и прочий мусор, а туземцы покоились среди него как попало, кто на спине, кто на животе, а один из лежавших поодаль даже задрал обе ноги и небрежно целился ими в зенит. Я обошел вокруг того, что лежал поближе. Он не был роботом, но не был и человеком — или другим каким-нибудь белковцем из вида трясучих. Правда, лицо у него было довольно пухлое, с румяными щеками, но вместо глаз — две маленькие свирели, а в ушах — кадильница, обволакивающая его облаком благовонного дыма. На нем были орхидеевые штаны с синими лампасами, обшитыми клочками грязной, исписанной бумаги, а на ногах что-то вроде полозьев; в руках он держал пряничную глазурованную бандуру с напочатым грифом, и при этом тихо и равномерно храпел. Протирая глаза, слезившиеся от дыма кадильницы, я попробовал прочесть каракули на бумажках, вшитых в лампасы штанов; но разобрать удалось лишь некоторые. Надписи были довольно странные, например: № 7 — БРИЛЛИАНТ-ГОРА ВЕСОМ СЕМЬ ЦЕНТНЕРОВ; № 8 — ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПИРОЖНОЕ: ПОЕДАЕМОЕ, РЫДАЕТ, ЧИТАЕТ МОРАЛЬ ИЗ БРЮХА, ЧЕМ НИЖЕ СПУСТИЛОСЬ, ТЕМ ВЫШЕ ПОЕТ; № 10 — ГОЛКОНДРИНА ДЛЯ ДЮМБАНИЯ, ВЗРОСЛАЯ, — и другие, коих я уже не припомню. Когда же, изрядно всем этим ошарашенный, я дотронулся до одной из бумажек, в песке у самой ноги лежащего образовалась воронка и тоненький голосок оттуда спросил:

— Что, уже? — Кто это? — воскликнул я. — Это я, Голкондрина... начинать? — Нет, не надо! — поспешно ответил я и отошел от этого места. У следующего туземца голова была в виде колокола с тремя рогами — и дюжина рук, побольше и поменьше, причем две маленькие массировали ему живот; уши длинные и оперенные; на голове — шапка с небольшим пурпурным козырьком, на котором кто-то невидимый ссорился, должно быть, с другим невидимым; то и дело взлетали и разбивались маленькие тарелочки; а под спину было подложено что-то вроде бриллиантовой подушечки-думки. Субъект этот, когда я ос-

тановился возле него, сорвал с головы один рог, понюхал и, отшвырнув его с неудовольствием, насыпал себе внутрь горсть грязного песка. Совсем рядом лежало нечто, что я поначалу принял за двух близнецов; потом решил, что это обнявшиеся возлюбленные, и хотел уже деликатно удалиться, но оказалось, что это просто-напросто была не одна особа, и не две, а полторы. Голова вполне обычная, человеческая, только уши поминутно отрывались и порхали вокруг, трепыхаясь, как бабочки. Веки опущены, зато многочисленные бородавки на лбу и щеках, снабженные крохотными глазками, пялились на меня с явной неприязнью. Грудь у странного этого существа была широкая, рыцарская, со множеством дыр, словно бы кое-как просверленных, из них торчала облитая малиновым сиропом пакля; нога всего лишь одна, зато крайне толстая, обутая в сафьяновую туфлю с бархатным колокольчиком; у локтя высилась груда огрызков то ли от груш, то ли от яблок. Все более изумляясь, шел я дальше и встретил робота с человеческой головой, в носу у которого торчал малюсенький органчик с рыбками; второй лежал в луже клубничного варенья, а у третьего в спине была открытая створка, за которой виднелось его кристаллическое нутро; там разыгрывали любопытные сцены какие-то заводные гномики, но то, что они вытворяли, было так непристойно, что я зарумянился от стыда и отскочил как ошпаренный. При этом я потерял равновесие и упал; вставая же, прямо перед собой увидел еще одного обитателя планеты: совершенно голый, он чесал себе спину золотою чесалкой и при этом блаженно потягивался, хотя головы у него не было. Последняя, отодвинутая на удобное расстояние, с шеей в песке, считала языком зубы в широко открытом рту. Лоб у нее был медный с белой каемкой, в одном ухе серьга, в другом прутик, а на прутике надпись печатными буквами: МОЖНО. Сам не зная почему, я потянул за прутик, и вслед за ним из уха этого голого существа показалась нитка с леденцом и визитной карточкой, на которой стояло: ДАЛЬШЕ! Я тянул, пока нитка не кончилась, — на конце у нее болталась маленькая бумажка, и тоже с надписью: ЧТО, ИНТЕРЕСНО? А ТЕПЕРЬ ВОН!

Все увиденное лишило меня чувств, умственной жизни, а равно и дара речи. Встав наконец с песка, я побрел дальше в надежде встретить кого-нибудь, кто был бы похож на существо, способное ответить на один хотя бы вопрос. В конце концов мне показалось, что я нашел его, а именно маленького тол-

стяка, который сидел спиною ко мне, занятый чем-то, что он держал на коленях. У него была лишь одна голова, два уха и две руки, так что я, обходя его слева, начал:

— Простите, я ведь не ошибаюсь, это вы изволили достичь Наивысшей Ступени Ра...

Но слова эти замерли у меня на устах. Сидящий даже не шелохнулся, не похоже было, что он слышал хоть слово. Нельзя не признать: он был действительно занят, ибо держал на коленях собственное лицо, отделенное от остальной головы, и, тихонько вздыхая, ковырял пальцем в носу. Мне сделалось не по себе. Но удивление вскоре перешло в любопытство, а любопытство — в стремление немедля узнать, что, собственно, происходит на этой планете. Я принялся бегать от одного туземца к другому, взывая к ним громко и даже визгливо; спрашивал, грозил, умолял, уговаривал, заклинал, а когда все это оказалось напрасным, схватил за руку того, что ковырял себе пальцем в носу, но тотчас отпрянул в ужасе: его рука осталась в моей, а он как ни в чем не бывало пошарил рядом в песке, достал оттуда другую руку, такую же, но с лакированными в оранжевую клеточку ногтями, дунул на нее и приложил к плечу, и она тотчас же приросла. Тогда я с любопытством нагнулся над той рукой, которую только что вырвал у него, а та вдруг щелкнула меня по носу. Тем временем солнце зашло двумя углами за горизонт, ветерок стих; а обитатели Энэсэрии потихоньку почесывались, потирались, позевывали, явно готовясь ко сну; один взбивал бриллиантовую перинку, другой аккуратно укладывал возле себя нос, уши, ноги. Смеркалось, так что я, потоптавшись еще тут и там, начал тоже устраиваться на ночлег. Я вырыл в песке широкую лунку и, вздыхая, улегся в нее, устремив взор в темно-синее, усыпанное звездами небо. Я думал, что делать дальше, и сказал себе:

— Воистину, все указывает на то, что я и в самом деле нашел планету, предсказанную Трупусом Бредониусом и Хлорианом Теоретием Ляпостолом, Наивысшую Цивилизацию Мироздания, которая состоит из пары сотен существ, не людей и не роботов, валяющихся среди хлама и мусора на бриллиантовых думках, под алмазными одеялами в пустыне и не занятых ничем, кроме потирания да почесывания; не иначе, кроется тут какая-то страшная тайна, и что бы там ни было — не успокоюсь, пока ее не открою!!

И дальше я размышлял:

— Ужасная это, должно быть, загадка, покрывшая мраком все на этой планете квадратной, с квадратным солнцем, бесстыдными гномиками в спине и леденцами в ухе! Мне-то всегда казалось, что коли уж я, вполне заурядный робот, предаюсь занятиям ученым и умственным, то каковы же должны быть пытливость и умственность между существ, развитых лучше, не говоря уж о существах совершенных! Похоже, до разговоров, в особенности со мною, они не большие охотники. А нужно непременно разговорить их — но как? Пожалуй, придется так их донять, так досадить им, так допечь их своим приставаньем, чтоб я им поперек горла стал! Есть, правда, в этом известный риск; ведь им меня уничтожить легче, чем мне — ничтожную блошку. Однако невозможно поверить, что они решатся на столь жестокие меры, а впрочем, жажда познания снедает меня! Была не была! Попробую!

С этой мыслью я вскочил в полной уже темноте и принялся вопить благим матом, кувыркаться, подскакивать да подпрыгивать, пинать лежащих поближе, сыпать песок им в глаза, резвиться, приплясывать, рычать, пока не охрип совершенно; тогда сел я, выполнил несколько гимнастических упражнений и снова бросился к ним, точно бешеный буйвол; они же поворачивались ко мне спиною, подсовывая для бодания бриллиантовые думки либо перинки, а когда кувыркнулся я в пятисотый, должно быть, раз, мелькнуло у меня в замороченной голове: «Воистину, вот подивился бы сердечный приятель мой, ежели мог бы узреть меня в эту минуту и увидеть, чем я занимаюсь на этой планете, что достигла Наивысшей Ступени Космического Развития!!» Это, впрочем, отнюдь не помешало мне по-прежнему вскрикивать да притоптывать. И слышу, как они шепчутся:

— Коллега!..

— Ну что?

— Слышишь, что вытворяет?

— Небось не глухой.

— Чуть голову мне не разбил.

— Надень другую.

— Да он спать не дает.

— А?

— Спать, говорю, не дает...

— Из любопытства, видать, — добавил шепотом третий.

— Уж больно оно его допекает!

— Ну так как, сделать с ним что-нибудь или пускай изводит нас дальше?

— Но что?

— А кто его знает! Может, характер ему переменить?

— Да вроде как-то нехорошо...

— А чего он такой настырный? Слышь, как воет?

— Ладно, я тогда мигом...

О чем-то они меж собой пошептались, в то время как я по-прежнему выл, стонал и подпрыгивал, обратившись в ту сторону, откуда доносился шепот. Я стоял на голове — то есть головой на животе одного из них, — как вдруг меня объяла черная ночь небытия; чувства мои помрачились, но продолжалось это — так мне по крайней мере показалось, когда я очнулся, — какую-то долю секунды. Все мои кости еще ныли от подпрыгиваний и приседаний, но я уже был не на планете. Я сидел, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, в главном салоне своего корабля, а поддерживала меня сущая гора банок с вареньем, губных гармоник и марципановых медвежат, шарманок с бриллиантовыми колокольчиками, дукатов, талеров, золотых сережек, браслетов и прочих сокровищ, от которых сияние исходило такое, что пришлось зажмурить глаза. Когда же я с огромным усилием выкарабкался из этой горы драгоценностей, то в окне увидел звездный пейзаж, а в нем — ни следа квадратного солнца; вскоре измерения показали, что пришлось бы мчаться полным ходом шесть тысяч лет, чтобы вернуться в его окрестности. Так избавились от меня энэсэрцы, когда я чересчур их допек; смекнув, что даже возвращение ничего мне не даст — ибо нет для них ничего проще, нежели снова выслать меня, гиперспециальным манером или же подпространственным, туда, где раки зимуют, — решил я взяться за дело методом совершенно иным, почтеннейший мой Добриций...», — так закончил рассказ свой славный конструктор Клапауций...

— И больше ничего не сказал? Не может этого быть! — воскликнул Трурль.

— О! Сказал! Сказал, милостивый мой господин, и отсюда-то проистекла вся моя трагедия! — отвечал изувеченный робот. — Когда я спросил, что намерен он учинить, он склонился ко мне и сказал:

— Поначалу задача казалась мне безнадежной. Однако я отыскал решение. Ты, отшельник, — простой, неученый робот, и не постигнешь тонкостей моего ремесла, так что не будем об

этом; впрочем, в принципе дело довольно простое: надо построить цифровое устройство, способное моделировать все сущее. Это устройство, запрограммированное нужным манером, смоделирует нам Наивысшую Ступень Развития... и тогда уж, спрашивая его, мы получим Окончательные Ответы!

— Но как построить таковое устройство? — спросил я. — И можно ли быть уверенным, вельможный Клапауций, что он не пошлет нас, после первого же вопроса, куда подальше, тем гиперспособом, каковой дерзнули употребить против тебя энэсэрцы?

— Ах, это уж пустяки, — сказал он. — Положись на меня; я буду спрашивать о Тайне энэсэрцев, а ты — о том, как всего лучше применить природное твое отвращение ко злу, благородный Добриций!

Стоит ли говорить, господин мой, какая меня охватила радость! Я немедля принялся пособлять Клапауцию в конструировании устройства. Оказалось, что господин Клапауций воздвигал его в точности по чертежам мученически скончавшегося Хлориана Теоретия Ляпостола; то был знаменитый Боготрон, им задуманный, устройство, которое может все в радиусе всего Космоса; причем, неудовлетворенный этим названием, господин Клапауций не уставал в придумывании иных, одно другого замысловатее, именуя громаду сию то Всемогутором, то Омнигенерическим Ультиматом, то опять же Онтогениусом; впрочем, не в названиях дело, довольно будет сказать, что по прошествии года и шести дней была воздвигнута страшенная аппаратура, которую экономии ради разместили мы в полом нутре Рапундры, огромной Луны недотяпов; и поистине, муравей не столь затерян в утробе океанского лайнера, сколь затеряны были мы меж оных пропастей медных, трансформаторов эсхатологических, святопневматических этификаторов и выпрямителей кривых побуждений; и должен сознаться, что волос проволочный вставал у меня на голове, пересыхало в суставах и зубы стучали в ознобе, когда усадил меня господин Клапауций пред Всемогуторным Пультом и оставил с глазу на глаз с этой воистину бездонной махиной, а сам отлучился куда-то. Словно звезды, сияли надо мной ее раскаленные указующие лампочки, повсюду горели грозные надписи: «ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ!», логические и семантические потенциалы за стеклами циферблатов подскочили до миллионов нулей, а у стоп моих тихонько плескались океаны сверхчеловеческой и сверхроботической премудрости, заколдован-

ной в целых парсеках медных витков и гектарах магнитов; она пребывала передо мною, подо мною и надо мною, осадив меня с трех сторон, и ощутил я себя ничтожной пылинкой по причине постыдного своего невежества. Однако, превозмогши себя, призвал я на помощь всю свою ревность к Добру и стремление к Истине, которые питал я с младых катушек, поднял отяжелевшие веки и дрожащим голосом задал первый вопрос: «Кто ты?»

И тотчас же легкое, теплое дыханье с металлической дрожью прошло по этому стеклянному помещению, и голос, казалось бы, тихий, но столь могучий, что пронизал меня насквозь, отозвался: «Ego sum Ens Omnipotens, Omnisapiens, In Spiritu Intellectronico Navigans, luce cybernetica in saecula saeculorum litteris opera omnia cognoscens, et caetera, et caetera»*.

Беседу пришлось вести по-латыни, но я, удобства ради, изложу ее тебе, вельможный господин, как умею, в переводе на язык более обиходный. Когда я услышал голос машины и когда она назвала себя, страх мой настолько усилился, что лишь Клапауций, вернувшись, помог мне продолжить беседу: трансценденцию он убавил, а всемогущество редуцировал до одной стомиллиардной; тогда я попросил Ультимат, чтобы он соизволил просветить нас насчет Наивысшей Ступени Развития и страшных ее тайн. Клапауций, однако, заметил, что не так поступать надлежит; он потребовал, чтоб Онтогениус смоделировал в своих серебряных и кристаллических безднах субъекта родом с квадратной планеты, склонив его вместе с тем к некоторой разговорчивости, — и лишь тогда началось самое главное.

Поскольку я — стыдно признаться — не мог побороть заикания, одолевшего меня от испуга, Клапауций занял мое место у Всемогуторного Пульта и начал:

— Кто ты?

— Сколько раз мне отвечать на этот вопрос? — раздраженно сказала машина.

— Я спрашиваю, человек ты или же робот? — пояснил Клапауций.

— А какая, по-твоему, разница? — отозвался глас из махины.

— Если ты будешь отвечать вопросами на вопрос, наша беседа не скоро закончится! — пригрозил Клапауций. — Ты небось знаешь, что я имею в виду! Говори, да живее!

---

* Аз есмь Сущий Всемогущий, Всеведущий, в Духе Интеллектроническом Плавающий, в свете кибернетики во веки веков, научно все деяния познающий, и прочая, и прочая *(лат.)*.

Я оробел еще больше от столь дерзкого тона конструктора, но, возможно, он был и прав, ибо машина промолвила:

— Порою люди строят роботов, порою роботы — людей; все одно, чем думать, металлом или киселем. Я могу принимать какие угодно размеры, форму и облик; или, лучше сказать, так было, ибо никто из нас давно уже такими пустяками не занимается.

— Вот как? — сказал Клапауций. — А почему вы лежите себе и ничего не делаете?

— А что нам, по-твоему, делать? — спросила машина; Клапауций же, поборов гнев, молвил:

— Этого я не знаю. Мы, на нашей ступени развития, делаем массу вещей.

— Мы тоже когда-то делали.

— А теперь уже нет?

— Нет.

— Почему?

Смоделированный сперва не хотел отвечать, утверждая, что пережил уже шесть миллионов подобных расспросов, из которых ни для него, ни для спрашивающих ничего не последовало; но Клапауций, добавив капельку трансценденции и повернувши поворотную ручку, заставил его продолжать.

— Миллиард лет назад мы были обычной цивилизацией, — ответил голос. — Верили в киберангелов, в мистическую обратную связь всех созданий с Великим Программистом и все такое прочее. Но потом появились скептики, эмпирики и акциденталисты, которые через девять веков пришли к тому, что Никого нет и все возможно, однако не из высших резонов, а просто так.

— То есть как это «просто так»? — удивившись, осмелился вставить я.

— Как ты знаешь, бывают горбатые роботы, — ответил мне глас из махины. — Если тебе досаждают горб и кривобокость, но в то же время ты веришь, что ты таков, каков есть, ибо таким сотворил тебя Предвечный, и что план твоей кривобокости пребывал в туманности Его замыслов еще до сотворения мира, то ты легко примиришься со своим состоянием. Но если скажут тебе, что все это лишь следствие нестыковки нескольких атомов, не попавших на свое место, что́ тебе остается, кроме как выть по ночам?

— Остается, кое-что остается, — уверенно воскликнул я. — Ведь горб можно выпрямить, кривобокость — раскривобочить, были бы только высочайшие знания!

— Знаю! — хмуро согласилась машина. — Действительно, так оно и представляется простакам...

— А что, разве это не так? — в один голос удивились мы с Клапауцием.

— Когда приходит пора выпрямленья горбов, — отвечала машина, — возможности уже безграничны и безжалостны! Можно не только горбы выпрямлять, но и штопать прорехи в разуме, солнца делать квадратными, планетам приделывать ноги, штамповать синтетические судьбы, несравненно сладчайшие против натуральных; начинается это невинно, с обтесыванья кремней, а кончается построением всемогуторов и онтогениусов! Пустыня нашей планеты — не пустыня, но Супербоготрон, который своим могуществом в миллион раз превосходит убогий ящик, вами сколоченный; создали его наши прадеды потому, что все остальное казалось им слишком уж легким, тогда как им хотелось мысли вить из песка; поступили они так из мегаломании, без всякой нужды, ибо если можно делать все, к этому уже ничего абсолютно добавить нельзя; понятно ли это вам, о слаборазвитые?!

— Так, так, — молвил Клапауций, между тем как я лишь дрожал. — Но почему же, вместо того чтобы заниматься животворною деятельностью, вы лежите, почесываясь, в своем гениальном песке?

— Потому что всемогущество всего могущественнее, когда ничего абсолютно не делает! — отвечала машина. — На вершину можно взобраться, но с вершины все пути ведут вниз! Несмотря на все, что с нами случилось, мы народ вполне порядочный, так чего ради стали бы мы что-нибудь делать? Уже прапрадеды наши — просто так, чтобы испробовать Боготрон, — солнце наше учинили квадратным, а планету — сундуковатой, превратив наивысшие ее горы в ряд монограмм. С тем же успехом можно было бы расчертить звездное небо в клетку, погасить половину звезд, а вторую разжечь поярче, сконструировать существа, населенные меньшими существами, так чтобы мысли великанов были танцами лилипутов, быть в миллионе мест сразу, перемещать галактики, составляя из них приятные глазу узоры; но скажи мне, чего это ради должны мы браться за какое-нибудь из этих дел? Что улучшится в Космосе от того, что звезды будут треугольные или на колесиках?

— Ты говоришь вздор!! — страшно возмутился Клапауций, меж тем как я дрожал все сильнее. — Уж если вы вправду срав-

нялись с богами, ваш долг — немедля положить конец страданьям, заботам и бедам, что преследуют существа, подобные вам, а начать вы должны хотя бы с соседей ваших, кои, как сам я видел, без устали разбивают друг другу лбы! Так почему же, вместо того чтобы не мешкая за это взяться, вы позволяете себе валяться как попало, ковыряя в носу и засовывая честным странникам, что мудрости ищут, леденцы в ухо?

— Не возьму в толк, чего это именно леденцы так тебя рассердили? — сказала машина. — Ну да ладно. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы мы осчастливливали всех подряд. Предмет этот был основательно нами исследован около пятнадцати сотен столетий назад. Он делится на фелицитологию внезапную, то бишь неожиданную, и постепенную, то бишь эволюционную. Эволюционная заключается в том, чтобы пальцем не пошевелить в убеждении, что каждая цивилизация так или иначе сама помаленьку справится со своими болячками; внезапным же образом можно осчастливливать либо по-хорошему, либо силой. Насаждение счастья силой влечет за собой, как показывают расчеты, в лучшем случае стократно, а в худшем — восьмисоткратно бóльшие беды, нежели уклонение от всякой активности. А по-хорошему осчастливливать тоже нельзя, ибо — как бы это ни представлялось странно — результат тот же самый; и нет разницы, применяешь ли ты Супербоготрон или Адский Инфернатор, именуемый также Геенноратором. Ты, может, слышал о так называемой Крабовидной Туманности?

— А как же, — отвечал Клапауций, — это остатки оболочки Сверхновой Звезды, что некогда вспыхнула...

— Ну да, — сказал голос. — Сверхновой, как бы не так! Там, милейший ты мой, была планета — в меру развитая, на которой, по этой самой причине, лились изрядные реки крови и слез. Как-то утречком спустили мы на нее восемьсот миллионов Осуществилок Желаний; и не успели мы удалиться от нее на световую неделю, как она разлетелась вдребезги и разлетается до сего дня! То же самое было с планетой гоминасов... что, рассказать?

— Не стоит! — буркнул Клапауций. — Все равно не поверю, что невозможно осчастливливать методом толковым и осмотрительным!

— Не веришь? Что поделать! Мы пробовали шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать раз. Волосы встают дыбом на

всех моих головах, как только я вспомню о результатах. Уж мы, поверь, не жалели трудов ради блага других! Мы создали специальную аппаратуру для дистанционной спектроскопии мечтаний; но тебе, наверно, понятно, что, если на планете свирепствуют религиозные войны и каждая из сторон мечтает о том, как бы ей вырезать поголовно другую, не в том видели мы нашу задачу, чтобы желания эти исполнить! Итак, надо было осчастливливать, не нарушая идею высшего блага. Но и это не все, ибо большая часть космических цивилизаций в глубинах души желает того, в чем не смеет открыто признаться; отсюда снова дилемма: помогать ли им в том, что заставляют их делать остатки стыда и приличия, или же в исполнении скрытых мечтаний? Взять хотя бы, к примеру, деменциан и аминиан. Первые, на стадии почтенного средневековья, живьем сжигали стакнувшихся с дьяволом распутников, а в особенности распутниц, во-первых, потому, что завидовали утехам, проистекавшим из общения с дьяволом, во-вторых, потому, что мучительство в ореоле праведного суда дивное им доставляло блаженство. Опять же, аминиане уже ни во что, кроме собственного тела, не верили и машинами всяческими его ублажали, однако ж с некоторой осмотрительностью, называя занятие это забавой; были у них стеклянные ящички, в которые запихивали они всевозможные насилья, убийства, пожары, и разглядыванием всего этого улучшали свой аппетит. Спустили мы на их планеты тьму устройств, которые так были рассчитаны, чтобы все вожделенья удовлетворять без чьего-либо ущерба, при помощи внутренней искусственной действительности; после чего деменциане за шесть, а аминиане за пять недель завосхищали себя насмерть, во весь голос вопя от испытываемого блаженства! Этих ли методов хотелось тебе, недоразвитое существо?

— Ты либо глупец, либо чудовище, — пробурчал Клапауций, между тем как я готов был лишиться чувств. — Как смеешь ты похваляться столь пакостными деяниями?

— Я не похваляюсь, я исповедуюсь, — спокойно ответил голос. — Так вот, перепробовали мы все способы поочередно. Обрушивали на планеты потоки богатств, потопы сытости и избытка, парализуя тем самым всякие старания и труды; давали добрые советы, взамен за которые туземцы открывали огонь по нашим блюдцелетам, то бишь летучим тарелкам. Так что следовало бы сперва душу переделать у тех, кого собираешься осчастливить...

— Но вы, должно быть, и это можете? — скрежетнул Клапауций.

— Можем, конечно, можем! Взять хотя бы соседей наших, антропанов, населяющих землеподобную, или землеватую, планету. Занимаются они по большей части брыкованием и хлоботанием, а все это из страха перед бабярней, которая, по их вере, пребывает вне бытия, и грешников поджидает ее пасть, вечным огнем выложенная; а подражая блаженным кибрандахлыстам, райскому Лабудансу и избегая Омерзенции с ее омерзенцами, антропанский юноша делается мало-помалу отважнее, лучше, благороднее, нежели его осьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с брехманами из-за превосходства Кайфа над Долгом или Долга над Кайфом (ибо тут мнения их расходятся), но, заметь, в таких войнах гибнет лишь часть их; ты же требуешь, чтобы я, выбив у них из голов веру в брыкованье, хлоботанье и прочее, подготовил их к рациональному осчастливливанью. Но тем самым совершилось бы психическое убийство, ведь возникшие существа не были бы уже ни брехманами, ни антропанами; неужели это тебе невдомек?

— Предрассудки надлежит искоренять знаниями! — убежденно произнес Клапауций.

— Ну разумеется! Заметь, однако ж: там теперь около семи миллионов кающихся, многие из которых только и делали, что насиловали собственную природу, дабы ближних от бабярни избавить; как же я объясню им за считанные минуты, и притом бесспорно и непреложно, что все это было впустую и они извели свою жизнь на занятия, бесполезные абсолютно? Это ли не жестокость? Знания сами должны побороть предрассудки, но для этого надобно время. Возьмем того горбуна, о котором шла речь. Живет он в блаженном невежестве, веря, что горб его играет в деле Творения роль прямо-таки космическую. Если ты растолкуешь ему, что причиной тому лишь атомная промашка, ты сделаешь его навеки несчастным, и только. Тогда уж следовало бы горбатого выпрямить...

— Ясное дело! — выпалил Клапауций.

— Ба! И это было испробовано! Один только дед мой выпрямил однажды триста горбунов одним махом. Как же он после мучился!

— Почему? — не удержался я от вопроса.

— Почему? Сто двадцать из них были тотчас же сварены в кипящем масле, ибо столь внезапное исцеление сочли очевид-

ным доказательством сношений с дьяволом; из остальных тридцать завербовались в солдаты и пали на поле брани, изничтожая друг друга под разными знаменами; семнадцать немедля упились на радостях насмерть, а прочих сгубило либо любовное истощение (ибо дед мой, по доброте душевной, добавил им еще редкостной красоты), либо другое какое распутство, которому начали они предаваться слишком уж неумеренно, вдоволь перед тем напостившись; и вот в два каких-нибудь года все до единого сошли в могилу. Единственное исключение... эх! Лучше не говорить!

— Закончи, коли уж начал! — вскричал безмерно тронутый наставник мой, Клапауций.

— Если ты непременно хочешь... ладно. Сперва остались лишь двое. Из них один, встретив случайно деда, на коленях умолял его вернуть горб: дескать, в бытность его калекой он безбедно жил подаяньем, а по выпрямлении ему пришлось работать, к чему он был непривычен. Мол, с горбом он уже совершенно свыкся и теперь, проходя через дверь, больно стукается лбом о притолоку...

— А тот, последний? — спросил Клапауций.

— То был королевич, лишенный прав на престол по причине увечья; но при такой перемене к лучшему мачеха, желая добыть корону родному сыну, отравила беднягу...

— Ладно, допустим... Но вы ведь можете творить чудеса... — молвил с отчаянием Клапауций.

— Осчастливливанье чудесами — один из наиболее рискованных приемов, какие мне только известны, — ответил сурово глас из махины. — Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к одиночеству, а богатство — к безумию. Нет уж! Индивидов осчастливливать невозможно, а общества — не позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени, делать в Космосе нечего; мы не создаем других космосов, потому что, позволю себе заметить, это было бы некрасиво. Зачем мы стали бы это делать? Ради собственного возвышения? Это было бы гадко. Или, может, ради сотворяемых? Но их ведь нет, а можно ли учинить что-либо ради несуществующих? Делать что-то можно лишь до тех пор, пока нельзя еще делать

всего. Потом надо сидеть тихо... А теперь оставьте меня наконец в покое!

— Но как же так? А средства какие-нибудь, чтобы хоть как-нибудь улучшить, исправить, руку помощи протянуть? А страждущие — подумай о них! Эй! — кричали мы наперебой с Клапауцием у Всемогуторного Пульта.

Машина зевнула и молвила:

— Стоит ли с вами вообще толковать? Не лучше ли было бы поступить с вами так, как мы поступаем у себя на планете? Вечно одно и то же! Ну да ладно! Вот вам рецепт средства, еще не испробованного, однако же за последствия не ручаюсь! А теперь делайте себе, что хотите. Покой — единственное, что для меня еще имеет значение. Ступайте же со своим Боготроном...

Машина умолкла, и мы остались одни перед меркнущими созвездиями ее огней, у Пульта, на котором лежал листок с таким примерно текстом:

АЛЬТРУИЗИН — психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто ощущает их непосредственно, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передает абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует. Интенсивность переживаний ощущающего индивида, или отправителя, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии получателей, и она тем выше, чем большее количество лиц соседствует с таковым. По замыслу изобретателя, АЛЬТРУИЗИН вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Счастливому индивидууму они желают еще большего счастья в собственных своих интересах, а значит, от всей души; если же кто-либо страдает, срочно спешат на помощь, чтобы себя от индуцированных страданий избавить. Стены, перегородки, фашины и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т.д. Он не имеет ни цвета, ни запаха; одного миллимикрограмма хватает для общества, состоящего из ста тысяч индивидуумов. В случае последствий, противоречащих тезисам изобретателя, никакие претензии не принимаются. За представителя Наивысш. Ступ. Разв. — Всемогуторный Ультимат.

* * *

Клапауций принялся было ворчать, что альтруизин получит применение исключительно среди людей, а роботы так и останутся со своими жизненными невзгодами; но я осмелился отчитать его, упирая на солидарность всех разумных существ и необходимость взаимопомощи. Потом началось обсуждение практических вопросов, поскольку было ясно, что кампанию осчастливливанья разворачивать нужно незамедлительно. Клапауций поручил небольшому блоку Онтогениуса изготовить необходимую дозу препарата, я же, посоветовавшись со славным конструктором, решил отправиться на землеподобную планету, населенную человекообразными существами, что лежала всего в четырех днях пути. Я желал благодетельствовать анонимно, поэтому мы порешили, что разумнее будет принять человеческий облик; как известно, дело это нелегкое, но гений конструктора и здесь одолел все препоны. И вот я собрался в дорогу с двумя чемоданами, из которых в одном содержалось сорок килограммов альтруизина в виде белого порошка, а во втором — туалетные принадлежности, пижамы, белье, запасные щеки, волосы, глаза, языки и т.п. Сам я путешествовал под видом соразмерно сложенного юноши с усиками и челкой. Клапауций несколько сомневался, стоит ли применять альтруизин сразу в больших масштабах; поэтому я, хотя и не разделял его опасений, согласился произвести, по прибытии на Геонию (именно так называлась планета), пробный эксперимент. Я просто не мог дождаться минуты, когда начнется великий сев всеобщего братства и единения; а посему, сердечно простившись с конструктором, не мешкая тронулся в путь.

По прибытии на планету я остановился в небольшом селении, у немолодого уже, довольно мрачного трактирщика, на его постоялом дворе, и повел дело так ловко, что мне удалось всыпать горсточку порошка в колодец у дома, пока мою поклажу переносили из брички в гостевой покой. На постоялом дворе царила обычная суматоха, девки-прислужницы бегали с лоханями горячей воды, хозяин сердито поторапливал их; вдруг застучали копыта и из брички выскочил немолодой мужчина с докторским саквояжем в руке; но направился он не к дому, а на скотный двор, откуда временами доносилось глухое мычание. Как я узнал от горничной, принадлежавшее хозяину геонское животное — так называемая корова — рожало. Это немного меня встревожило, ибо, правду сказать, я вообще не подумал о

животном вопросе; но сделать я уже ничего не мог, а потому уединился у себя в комнате, чтобы оттуда следить за ходом событий. И они не заставили себя ждать. Я услышал звяканье колодезной цепи — кухонная прислуга носила воду, — и вскоре затем снова послышалось мычание роженицы, которой вторили теперь другие коровы; тут же ветеринар с воплем вылетел из коровника, держась за живот; за ним мчались служанки, а самым последним — трактирщик; все они, сопричастившись коровьим мучениям, с великим плачем разбегались в разные стороны, но тотчас же возвращались, так как боль отпускала их на известном расстоянии. Таким манером они неоднократно возобновляли штурм коровника, всякий раз выбегая из него во весь дух по причине родовых схваток; столь неожиданное развитие событий меня огорошило, и я решил, что эксперимент следовало провести в городе, где животных нет. Я поскорее собрался и потребовал счет. Однако все вокруг так маялись из-за приходящего на свет теленка, что было не к кому обратиться; я готов был уже ехать, но оказалось, что и кучер, и клячи его корчатся в родовых схватках. В конце концов я решил добираться до ближайшего города пешим ходом. И вот, на беду, когда я переходил через реку по мостику, ручка чемодана выскользнула у меня из рук, чемодан, ударившись замком о бревно, раскрылся, и весь запас белого порошка высыпался из него в мгновение ока. Остолбенев, я смотрел, как быстрое теченье растворяет в себе сорок килограммов альтруизина — но помочь беде я уже не мог; жребий был брошен, ибо река снабжала город питьевой водой.

Я брел до самого вечера, а когда вошел в город, он сиял огнями, на улицах стоял гомон, прохожих было полно. Вскоре я отыскал небольшую гостиницу и остановился в ней, высматривая первые признаки действия препарата; но пока что не замечал ничего. Утомленный длительным переходом, я сразу же отправился спать. Посреди ночи меня разбудили истошные вопли. Я вскочил с постели. В комнате было светло от языков пламени, пожиравших дом напротив; я побежал на улицу и за самым порогом споткнулся о труп, еще совсем теплый. Неподалеку шестеро извергов, крепко схватив взывавшего о помощи старца, клещами вырывали у него один зуб за другим, пока наконец хоровой вздох облегчения не возвестил, что найден и удален болевший корень, который мучил также и их вследствие трансмиссии; бросив обеззубевшего и полузатоптанного старца, они удалились, явно умиротворенные.

Однако же не вопли этого страдальца разбудили меня; причиной был инцидент в пивной напротив: какой-то пьяный детина огрел приятеля по лбу, в то же мгновение ощутил его боль и, пришедши от этого в ярость, принялся лупить его все сильнее, а сотрапезники, у которых тоже очень болело, повскакали с мест, чтобы приложить драчунам; круг всеобщих мучений настолько расширился, что половина постояльцев гостиницы, проснувшись, похватала трости, палки, метлы, в ночном белье прибежала на поле сражения и огромным клубком каталась среди поломанной мебели и разбитой посуды, пока наконец от перевернутой лампы не занялся огонь. Под звон колоколов, вой пожарных сирен и недобитых кулачных бойцов я поскорей удалился от этого места, но несколькими кварталами дальше наткнулся на сходку или, скорее, толпу народа, окружившую небольшой белый домик, обсаженный розовыми кустами. Как оказалось, здесь проводили ночь новобрачные. Давка была неслыханная, мелькали военные мундиры, священнические сутаны и даже гимназические околыши; те, что стояли близ окон, тянули шеи, пытаясь заглянуть внутрь, другие лезли им на спины, восклицая: «Ну! В чем дело?! Чего они там канителятся? Долго нам еще ждать?! За дело, живее!» — и т.п. Какой-то старичок, который никак не мог протолкнуться, слезно молил пропустить его; он, мол, из-за слабости мозга издалека ничего не почувствует; но никто не обращал внимания на его смиренные просьбы — одни потихоньку млели от наслаждения, другие блаженно постанывали, а менее опытные пускали ртом пузыри. Родственники молодых поначалу пытались разогнать толпу наглецов, но вскоре сами увлечены были вихрем всеобщей разнузданности и присоединились к зычному хору, что подзадоривал любящихся; причем верховодил в этом печальном действе прадед молодого супруга, который упорно штурмовал двери супружеской спальни креслом на колесиках. Жестоко уязвленный увиденным, я повернул назад, в сторону гостиницы, а по дороге мне попадались кучки людей, которые либо воинственно клокотали, либо обнимались наперебой; все это, однако ж, был сущий пустяк по сравнению с тем, что творилось в гостинице. Уже издалека я заметил, что постояльцы скачут из окон в одном белье, сплошь да рядом ломая себе ноги; несколько человек залезли на крышу, а в самом доме хозяин с хозяйкой, горничные и коридорные метались, визжали от страха как безумные и прятались по шкафам или под кроватями, — а все потому, что в погребе кошка гоняла мышей.

Я начинал понимать, сколь опрометчив был мой поступок; на рассвете альтруизин действовал уже с такой силой, что, если у кого-нибудь щекотало в носу, вся округа в радиусе мили чихала в ответ громовыми залпами, а от больных тяжелыми формами невралгии родственники, врачи и сиделки убегали, как от чумы; и лишь несколько бледных, посапывающих от крайнего удовольствия мазохистов робко шныряли вокруг. Нашлось также множество маловеров, которые только затем пинали и дубасили ближних, чтобы удостовериться, что диво трансмиссии ощущений, о котором столько рассказывают, — чистая правда; жертвы, в свою очередь, не оставались в долгу, и глухие звуки ударов огласили весь город. Утром, бродя в безмерном удивленье по улицам, я увидел большую, залитую слезами толпу, которая гнала через рыночную площадь старушку под черной вуалью, забрасывая ее камнями. Как оказалось, то была вдова некоего престарелого башмачника, что накануне умер, а утром был похоронен; страдания безутешной вдовы так допекали соседей, что те, не имея никаких способов утешить бедняжку, изгнали ее из города. Это зрелище ужасной тоской сдавило мне сердце, и я поскорей направился обратно в гостиницу, но она была объята гудящим пламенем. Оказалось, что кухарка, варившая суп, ошпарила палец, вследствие чего некий ротмистр, который на последнем этаже как раз чистил оружие, от великой боли нажал невольно на спуск, уложив на месте жену и четверых ребятишек; отчаянье его разделили все, кто не был еще отвезен в больницу в обморочном состоянии или с переломанными членами; а какой-то доброжелатель, желая сократить мучения столь всеобщие, от которых сам едва не кончался, поливал кого ни попадя керосином и поджигал, впав в очевиднейшее безумие. И сам я бежал от пожара, словно безумный, мечтая найти хотя бы одну, хоть какую-нибудь, хоть чуточку осчастливленную особу, но наткнулся лишь на остатки толпы, возвращавшейся с той брачной ночи.

Обсуждали ее подробности, причем этим негодяям все было не так, как, по их мнению, следовало; и каждый из бывших совозлюбленных держал в руке увесистую дубинку, чтобы отгонять страждущих, попадавшихся по дороге; я боялся, что сердце у меня разорвется от жалости и стыда, но все же не оставлял надежду отыскать хоть одного человека, который пролил бы бальзам на мою душу. Расспрашивая прохожих, я узнал в конце концов, где живет некий прославленный мыслитель,

проповедовавший братство и просвещенную терпимость, и направился туда в уверенности, что дом его будет окружен широкими простонародными массами. Как бы не так! Лишь несколько кошек тихонько мяукали у ворот, пользуясь ореолом доброжелательности, который исходил от мудреца и вынуждал собак сидеть в некотором отдалении, нервно облизываясь; а какой-то калека, передвигаясь так скоро, как только мог, проковылял мимо меня с криком: «Крольчатня уже открыта! Открыта!» — и оставил меня в мрачном недоумении, каким это образом явления, происходящие в крольчатнике, могут благоприятно повлиять на его ощущения.

Пока я стоял в растерянности, ко мне подошли двое. Один, глядя мне глубоко в глаза, что было сил заехал по физиономии другому, я же от изумления остолбенел, однако за собственное лицо не схватился и даже не вскрикнул: я-то ведь робот, и от чужой зуботычины у меня ничего не заныло; а следовало об этом подумать, поскольку оба они были из тайной полиции и тотчас схватили меня, разоблаченного таковым манером, в кандалы заковали и потащили в тюрьму. Там я во всем повинился. Я рассчитывал, что они, быть может, согласятся принять во внимание благородство моих намерений, хотя горело уже полгорода; но если они поначалу лишь слегка пощупали меня клещами, то единственно для того, чтобы удостовериться, что это им ничем не грозит; а убедившись, что все в порядке, скопом ринулись давить, топтать, винты срывать, пинать и ломать все фибры моего истязуемого естества. Не счесть мук, кои принял я за то, что искренне желал осчастливить их всех, довольно будет сказать, что напоследок моими останками зарядили пушку и выстрелили ими в Космос, как всегда безмолвный и темный. А в полете я со все большего отдаления окидывал зашибленным взором сцены воздействия альтруизина на все возрастающем пространстве, ибо речные волны уносили крупицы препарата все дальше и дальше. Я видел, что творилось среди пташек лесных, монахов, рыцарей, коз, поселянок и поселян, петухов, девиц и матрон, и от этого зрелища последние неповрежденные лампы полопались у меня от жалости неизбывной; в таком-то вот виде и свалился я, после затяжного падения, близ твоего дома, милостивец мой, — излеченный поистине на все времена от охоты осчастливливать ближних ускоренным способом...

Блаженный

Как-то сумеречной порой знаменитый конструктор Трурль пришел к своему другу Клапауцию задумчивый и молчаливый; когда же приятель попробовал развеселить его последними кибернетическими анекдотами, неожиданно отозвался:

— Напрасно хмурое расположение моего духа пытаешься ты обратить во фривольное! Меня снедает открытие столь же печальное, сколь несомненное: я понял, что, проведя всю жизнь в неустанных трудах, ничего великого мы не свершили!

При этих словах он направил свой взор, исполненный отвращения и укора, на богатую коллекцию орденов, регалий и почетных дипломов в позолоченных рамках, развешанную по стенам Клапауциева кабинета.

— На каком основании ты выносишь приговор столь суровый? — спросил уже серьезно Клапауций.

— Сейчас растолкую. Мирили мы враждующие королевства, снабжали монархов тренажерами власти, строили машины-го-

---

Kobyszczę, 1971. © Перевод. Константин Душенко, 1989, 1993.

воруньи и машины для занятий охотничьих, одолевали коварных тиранов и разбойников галактических, что на нашу жизнь покушались, но все это нам одним доставляло утеху, поднимало нас в собственных наших глазах; между тем для Всеобщего Блага мы не сделали ничего! Все старания наши, имевшие целью усовершенствовать жизнь малых мира сего, встречавшихся нам в путешествиях средизвездных, не увенчались ни разу состоянием Совершенного Счастья. Вместо решений действительно идеальных мы предлагали одни лишь протезы, суррогаты и полумеры и потому заслужили право на звание престидижитаторов онтологии, ловких софистов действия, но не Ликвидаторов Зла!

— Всякий раз, как я внимаю речам о программировании Всеобщего Счастья, у меня мороз проходит по коже, — ответил Клапауций. — Опомнись же, Трурль! Разве не памятны тебе бесчисленные примеры такого рода попыток, которые становились могилой честнейших намерений? Или ты успел позабыть о плачевной судьбе отшельника Добриция, пожелавшего осчастливить Космос при помощи препарата, именуемого альтруизином? Разве не знаешь ты, что можно, хотя бы отчасти, облегчать бремя житейских забот, вершить правосудие, приводить в порядок коптящие солнца, лить бальзам на колесики общественных механизмов, — но счастья никакой аппаратурой изготовить нельзя? О всеобщем его воцарении можно лишь потихоньку мечтать сумеречной порой — вот как сейчас, можно мысленно гнаться за идеалом, чудной картиной услаждать духовное зрение, — но на большее не способно и самое мудрое существо, приятель!

— Это только так говорится! — пробурчал Трурль. — Впрочем, — добавил он чуть погодя, — осчастливить тех, кто существует издревле, к тому же способом кардинальным и потому тривиальным, быть может, и вправду задача неразрешимая. Но можно создать существа иные, запрограммированные с таким расчетом, чтобы им ничего, кроме счастья, не делалось. Представь себе только, каким изумительным монументом нашего с тобою конструкторства (которое обратится когда-нибудь в прах) была бы сияющая где-то в небе планета, к которой премножество племен галактических с упованием возводили бы очи, восклицая: «Да! Поистине, счастье возможно, в виде неустанной гармонии, как доказал великий конструктор Трурль при некотором участии друга своего Клапауция, и свидетельство этого

здравствует и процветает в пределах досягаемости нашего восхищенного взора!»

— Ты, полагаю, не сомневаешься, что о предмете, тобою затронутом, я уже размышлял не однажды, — признался Клапауций. — Так вот: он связан с серьезнейшими проблемами. Урока, преподанного тебе попыткой Добриция, ты не забыл, как я вижу, и потому вознамерился осчастливить создания, каких еще нет, иными словами, сотворить счастливчиков на пустом месте. Подумай, однако, можно ли осчастливить несуществующих? Сомневаюсь, и очень серьезно. Сперва ты должен бы доказать, что состояние небытия во всех отношениях хуже состояния бытия, даже не слишком приятного; иначе фелицитологический эксперимент, идеей которого ты так захвачен, пойдет, пожалуй, насмарку. К мириадам грешников, переполняющих Космос, ты добавил бы полчища новых, тобою созданных, — и что тогда?

— Эксперимент, конечно, рискованный, — с неохотою согласился Трурль. — И все же, я думаю, попробовать стоит. Природа лишь по видимости беспристрастна, стряпая что попало и как придется — милых и гадких, жестоких и ласковых; но проведи-ка переучет — и окажется, что в живых остаются лишь создания гадкие и жестокие, нажравшиеся теми, другими. А если до негодяев доходит, что так поступать некрасиво, они выискивают для себя смягчающие обстоятельства и высшие оправдания, к примеру, объявляют мерзости бытия острой приправой к раю и тому подобным вещам. С этим, я полагаю, пора покончить. Природа вовсе не злонамеренна, она лишь тупа, как сапог, и действует по линии наименьшего сопротивления. Надобно ее превзойти и самому изготовить лучезарные существа; только их появление означало бы радикальное исцеление бытия и позволило бы с лихвой рассчитаться за предыдущий период с его ужасными предсмертными стонами, которых на других планетах не слышно разве что по причине космических расстояний. Какого, собственно, черта все живое должно постоянно страдать? Если б страданья отдельных существ били по этому миру хотя бы как капли дождя, то — вот тебе моя рука и мои расчеты! — они бы давным-давно стерли его в порошок! Но кончается жизнь, а с ней и страданья; прах, укрытый под могильными плитами и заброшенными дворцами, умолк навсегда, и даже ты со своими могучими средствами не отыщешь там и следа терзаний и горестей, мучивших нынешний тлен.

— Ты прав: умершие не знают забот, — согласился Клапауций. — Эта мысль ободряет, напоминая о том, что страдания преходящи.

— Но страдальцы появляются на свет беспрерывно! — выкрикнул Трурль. — Пойми же: простая порядочность требует осуществления моего плана!

— Погоди. Каким же образом счастливое существо (если оно у тебя получится) рассчитается за бессчетные прошлые муки, а также несчастья, по-прежнему переполняющие Вселенную? Разве нынешний штиль упраздняет вчерашнюю бурю? Разве день упраздняет ночь? Разве ты не видишь, что несешь чепуху?

— Так что́, по-твоему, сидеть сложа руки?

— Нет, почему же? Можно исправлять существующее или хотя бы пытаться исправить, не без риска, конечно; но прошлых страданий ничем не искупишь. Или ты считаешь иначе? Или тебе представляется, что, набив Вселенную счастьем по самую крышку, ты хоть на волос изменишь то, что творилось в ней раньше?

— Да, изменю! — воскликнул Трурль. — Только пойми это правильно! Пусть для тех, что уже отсуществовали свое, ничего не изменится — зато изменится целое, часть которого они составляли. И тогда каждый сможет сказать: «Кошмарные передряги, чудовищные культуры, тошнотворные цивилизации были лишь предисловием к главному, то бишь к эпохе нынешнего блаженства! Трурль, сей ум просвещенный, из раздумий своих извлек вывод, что мрачное прошлое надо использовать для устроения светлого будущего. Бедность указывала ему пути к изобилию, отчаяние — цену блаженства, короче, Вселенная собственной мерзостью подтолкнула его к сотворенью Добра!» Тогда окажется, что теперешняя эпоха была учебно-подготовительной — ясно? — преддверием исполненья мечтаний. Ну как, убедил я тебя?

— Под Южным Крестом есть держава короля Троглодика, — ответил Клапауций. — Монарх сей любит пейзажи, оживляемые виселицами, объясняя, однако, таковое пристрастие тем, что негодяями, подобными его подданным, иначе править нельзя. По моему прибытию хотел он разделаться и со мной, да в пору смекнул, что от него только мокрое место останется, и испугался, ибо считал весьма натуральным, что, если он меня не осилит, — я его раздавлю. И чтобы переменить мое о нем

мнение, спешно созвал свой ученый совет, который изложил мне этическую доктрину правления, изобретенную специально для подобных оказий. Чем хуже жизнь, тем сильнее хочется улучшений, поведали мне платные мудрецы; а значит, тот, кто правит так, что нельзя уже выдержать, всемерно приближает скорейшие изменения к лучшему. Заключение это пришлось королю по нраву, ведь вышло так, что он больше всех содействует грядущему триумфу добра, различными антистимулами подталкивая реформаторов к действию. Не правда ли, твоим счастливчикам следовало бы монумент тирану воздвигнуть, а ты должен чувствовать себя премного обязанным Троглодику и подобным ему?

— Отвратительная и циничная притча! — взорвался задетый за живое Трурль. — Я думал, ты присоединишься ко мне, а ты вместо этого брызжешь ядовитой слюной скептицизма и разъедаешь софизмами мои благородные помыслы. А ведь они обещают спасение в масштабе Вселенной!

— Так ты вознамерился стать спасителем Космоса? — сказал Клапауций. — Знаешь что, Трурль? Надо бы тебя заковать и засадить в погреб, чтобы дать время опомниться, да боюсь, это слишком затянется. А потому скажу лишь: не твори счастья слишком поспешно! Не осчастливливай бытия с наскоку! Ведь если ты и создашь неведомо где счастливцев (в чем я сомневаюсь), по-прежнему останутся те, другие, и разгорится такая зависть, такие пойдут раздоры и склоки, что ты, чего доброго, окажешься перед выбором не слишком приятным: либо твои счастливцы уступят завистникам, либо придется им этих докучных, настырных и дефективных перебить до единого — ради полной гармонии.

Трурль в бешенстве вскочил, но опомнился и разжал кулаки. Не очень-то было бы хорошо начать подобным манером Эру Абсолютного Счастья, которое он уже твердо решил сконструировать.

— Прощай! — заявил он холодно. — Жалкий агностик, Фома неверующий, невольник флуктуаций природного хода вещей! Не словами я отвечу тебе, но делом! По плодам трудов моих узнаешь, кто был прав!

Воротившись домой, Трурль оказался в затруднительном положении: из эпилога его прений с Клапауцием следовало, будто он уже разработал план действий, а это было не так. Говоря по

совести, он и понятия не имел, с чего начинать. Поснимал он тогда с книжных полок кипу трудов, трактующих о бессчетных обществах и культурах, и стал поглощать их с достойной удивления скоростью. Но все же ум его слишком медленно наполнялся нужными сведениями; поэтому он спустился в подвал, притащил оттуда восемьсот кассет памяти — ртутной, свинцовой, ферромагнитной и криогенической, подключил их мини-кабелями к своему естеству и за считанные секунды зарядил себя четырьмя триллионами битов самой качественной и самой подробной информации, какую только можно сыскать в средизвездном сумраке, на планетах и остывающих солнцах, населенных усердными летописцами. И столь велика была эта доза, что Трурля встряхнуло с головы до пят, глаза его полезли на лоб, челюсти и прочие члены свело, посинел он и завибрировал, словно молнией пораженный, а не трудами историческими и историософическими. Собрал он последние силы, пришел в себя, отер лоб, дрожащими коленями уперся в ножки стола и сказал:

— Вижу, что было и есть куда хуже, чем я полагал!!!

Какое-то время точил он карандаши, наливал чернила в чернильницы, чистую бумагу раскладывал стопками, но, видя, что приготовления эти ни к чему не ведут, в некотором уже раздражении решил:

— Нужно, ради порядка, ознакомиться и с трудами прадавних, архаических мудрецов, хотя я всегда откладывал это на будущее, полагая, что современный конструктор ничему не научится у старых хрычей. Но теперь так уж и быть — изучу я и этих полупещерных, старозаконных мыслянтов и тем уберегу себя от шпилек Клапауция, который, правда, тоже никогда не читал их (а кто вообще их читает?), но украдкой выписывает из древних трактатов по фразе, чтобы меня донимать цитатами и невежеством попрекать.

И в самом деле, взялся он за истлевшие, пожелтевшие фолианты, хотя страшно ему этого не хотелось.

Глубокой ночью, заваленный книгами, которые он то и дело в нетерпении сбрасывал со стола, так что они задевали его колени страницами, Трурль сказал себе:

— Как видно, пересмотреть придется не только конструкцию разумных существ, но и все, что насочиняли они под маркою философии. Дело известное: зародилась жизнь в океане, который у берегов заилился, как положено, и получилась жидкая взвесь, болтушка-гнилушка коллоидная. Солнце пригрело,

взвесь загустела, ударила молния, болтушку аминокислотами заквасила, и вызрел из нее сыр, который со временем перебрался туда, где посуше. Выросли у него уши, чтобы слышать, где пробегает добыча, а также ноги и зубы, чтобы догнать ее и сожрать. А если не вырастали или оказывались коротковаты, съедали его самого. Выходит, разум создала эволюция; а что же в ней Глупость и Мудрость, Добро и Зло? Добро — если я кого-нибудь съем, Зло — если я буду съеден. То же и с Разумом: сожранный, несомненно, глупее сожравшего — ведь тот, кого нет, не может быть прав, того же, кто стал кормежкой, нет ни на столечко. Но тот, кто сожрал бы всех остальных, умер бы с голоду; так воспитывается умеренность. Всякий сыр со временем обызвествляется, такой уж это порченый материал, и в поисках лучшего тряские существа додумались до металла. Однако сами себя повторили в железе, ведь проще всего сдувать со шпаргалок, а к настоящему совершенству и не приблизились. Ба! Если б, обратным ходом вещей, сперва появилась бы известь, потом — деликатесы помягче, а под самый конец — мягчайшая эфемерность, философия вылупилась бы совершенно иная: как видно, она вытекает прямо из материала, другими словами, чем бестолковее складывалось разумное существо, тем отчаянней толкует оно себя навыворот. Обитая в воде, говорит, что блаженство на суше, живя на суше, находит рай в небесах, родившись с крыльями, мечтает о ластах, а если с ногами — подрисовывает себе гусиные крылья и восторгается: «Ангел!» Удивительно, что я этого до сих пор не заметил! Итак, назовем это правило Космическим Законом Трурля: в восполненье изъянов своей конструкции всякий разум Первосортный Абсолют для себя сочиняет. Надо бы это учесть на случай, если я возьмусь за исправление основ философии. Теперь, однако же, время строить. В основу мы заложим Добро, — но что такое Добро? Ясно, что нет его там, где нет никого. Водопад для скалы не злой и не добрый, землетрясенье для озера — тоже. Значит, надобно изготовить Кого-то. Но будет ли ему хорошо? И как узнать, хорошо кому-то или же плохо? Увидел бы я, к примеру, что у Клапауция неприятности, и что же? Я бы одной половиной души огорчился, а другой половиной обрадовался, не так ли? Слишком все это запутанно! Кому-то, может быть, хорошо по сравненью с соседом, но он ничего об этом не знает и не считает поэтому, что ему и впрямь хорошо. Так что же, конструировать существа, на глазах у которых мучаются дру-

гие, подобные им? Неужто их осчастливил бы этот контраст? Быть может, но очень уж это мерзко. А значит, без глушителя и трансформатора не обойтись. Не следует с маху браться за создание целых счастливых обществ: для начала соорудим индивидуум!

Засучив рукава, в три дня изготовил он Блаженный Созерцатель Бытия — машину, которая сознанием, раскаленным в катодах, сливалась с любой увиденной вещью, и не было на свете предмета, который не привел бы ее в восхищение. Уселся Трурль перед нею, чтобы проверить, получилось ли, чего он хотел. Блаженный, раскорячившись на трех железных ногах, водил вокруг себя телескопическими глазищами, а наткнувшись на доску забора, на булыжник или старый башмак, в безмерный восторг приходил и даже постанывал от сладостных чувств, что его распирали. Когда же солнце зашло и небо вечернею зорькой зарозовело, Блаженный в экстазе пал на колени.

«Клапауций скажет, конечно, что стоны и преклоненье колен ни о чем еще не свидетельствуют, — подумал Трурль, охваченный непонятной тревогой. — Потребует доказательств...»

Тогда вмонтировал он в брюхо Блаженному циферблат — большущий, с позолоченной стрелкой, градуированный в единицах счастья, каковые нарек он гедонами, а сокращенно — гедами. За один гед была принята интенсивность блаженства путника, который с гвоздем в ботинке протопал четыре мили, а после гвоздь вынул. Путь конструктор помножил на время, поделил на колючесть гвоздя, вынес за скобки коэффициент натертости пятки и таким образом выразил счастье в системе сантиметр-грамм-секунда. Это приободрило его. Между тем Блаженный, всматриваясь в запачканный масляными пятнами рабочий фартук мельтешившего перед ним Трурля, в зависимости от угла наклона и яркости освещения испытывал от 11,8 до 18,9 гедов на пятнышко-латку-секунду. Конструктор успокоился совершенно и заодно подсчитал, что один килогед испытали старцы, подглядывая купающуюся Сусанну, а мегагед — это радость приговоренного, вынутого в последний момент из петли.

Видя, как все прекрасно можно измерить, он тут же послал одну из машин-прислужниц за Клапауцием, а когда тот пришел, сказал:

— Смотри и учись.

Клапауций обошел машину вокруг, та же, направив на него большую часть своих телеглаз, бухнулась на колени и раза три простонала. Эти глухие, словно из колодца идущие звуки удивили конструктора, но тот не подал виду, а только спросил:

— Что это?

— Счастливое существо, — ответил Трурль, — точнее: Блаженный Созерцатель Бытия, а сокращенно — Блаженный.

— И что же делает этот Блаженный?

В голосе друга Трурль уловил иронию, но это его не смутило.

— Неустанно, активным способом созерцает! — объяснил он. — И не просто так, механически, но интенсивно, старательно и внимательно, и что бы он ни увидел — приходит в несказанное умиление! И умиление это, переполняя аноды его и катоды, дивное дарует ему блаженство, коего признаки суть те самые стоны, которые он испускает, разглядывая твои — банальные, прямо скажем, — черты.

— Значит, машина активно наслаждается созерцанием как формой личного бытия?

— Вот именно... — подтвердил Трурль, но тихо, ибо не был уже почему-то столь уверен в себе, как минуту назад.

— А это, должно быть, фелицитометр, градуированный в единицах наслаждения бытием? — Клапауций указал на циферблат с позолоченной стрелкой.

— Ну да, он самый...

Разные вещи начал показывать машине Клапауций, внимательно наблюдая за стрелкой. Трурль, успокоившись, ввел его в теорию гедонов, или теоретическую фелицитометрию. Слово за слово, вопрос за вопросом, и вдруг Клапауций спросил:

— А интересно, сколько ощутишь единиц счастья, если, после того как тебя триста часов избивали, сам раскроишь негодяю череп?

— Ну, это проще простого! — обрадовался Трурль и сел уже за расчеты, когда до его сознания дошел раскатистый хохот друга. Пораженный, вскочил он с места, а Клапауций сквозь смех говорил:

— Итак, в качестве основополагающего начала ты выбрал Добро, любезный мой Трурль? Ну что ж, опытный образец удался на славу! Продолжай в том же духе, и все пойдет лучше некуда! А пока до свиданья.

И ушел, оставив Трурля совершенно уничтоженным.

— Ох подловил! Ох и срезал же он меня! — вопил конструктор, а вопли его сливались с восторженным постаныванием Блаженного; и так это его разозлило, что тут же запихнул он машину в чулан, старыми железками завалил и запер на ключ.

Потом уселся за пустым столом и сказал себе:

— Эстетический экстаз я перепутал с Добром — вот осел! Впрочем, разве Блаженный разумен? Откуда! Нужно пораскинуть мозгами совершенно иначе, протон меня подери! Счастье — конечно, блаженство — прекрасно, но не за чужой счет! Не из зла вытекающие! Вот оно как... Но что же такое Зло? Да, теперь мне понятно: в своей конструкторской деятельности страшно я теорию запустил!

Восемь дней и ночей не смыкал он глаз, из дому не выходил, а штудировал книги премудрые, о предмете Добра и Зла трактующие. Оказалось, что многие мудрецы за важнейшее почитают сердечную заботу и всеобщую доброжелательность. И то, и другое должны выказывать разумные существа, иначе ни в какую. Правда, как раз во имя этих идей сажали на кол, свинцом горячим поили, четвертовали, колесовали, лошадьми раздирали, а в особо важные исторические моменты не жалели для этого и шестерную упряжку. А равно в неисчислимых формах иных мучений проявлялась в истории доброжелательность, если духу желали добра, а не телу.

— Одних хороших намерений мало! — резюмировал Трурль. — Если, допустим, совестные органы разместить не в их владельцах, а в соседях, на началах взаимности, что бы отсюда проистекло? Э, плохо — тогда все мои свинства досаждали бы ближним, а я тем глубже погрязал бы в пороках! А если вмонтировать в обыкновенную совесть усилитель ее угрызений, чтобы недобрый поступок терзал виновного в тысячу раз сильнее? Но тогда, из чистого любопытства, каждый сделает что-нибудь гадкое, чтобы проверить, в самом ли деле новые угрызения угрызают так нестерпимо, — и будет потом до конца своих дней метаться, как бешеный пес, весь в угрызениях и укусах. Или испробовать совесть с обратным ходом и блоком стирания записи, ключи от которого были бы лишь у представителей власти... Нет, не получится: для чего же отмычки? А если устроить трансмиссию чувств — один чувствует за всех, все за одного? Ах да, это уже было, именно так действовал альтруизин... Или вот как: вмонтировать каждому в корпус мини-детонатор с приемничком, и тот, кому за его дурные и гадкие

поступки желают зла больше десяти сограждан, при суммировании их воль на гетеродиновом входе взлетает на воздух. А? Разве не будет каждый избегать Зла как чумы? Ясное дело, будет, и даже очень! Однако... что же это за счастье — с миной замедленного действия возле желудка? К тому же начнутся интриги: сговорится десяток прохвостов против невинного и останется от него порошок... Ну а если просто переменить знаки? И это впустую. Что за черт — я, передвигавший галактики, как комоды, не могу решить такой несложной, казалось бы, инженерной задачи?! Допустим, в каком-нибудь обществе любой его член упитан, румян и весел, с утра до вечера скачет, поет и хохочет, делает ближним добро, да с таким запалом, что пыль столбом, собратья его то же самое, и всякий, кого ни спроси, кричит во весь голос, что несказанно рад бытию — своему собственному и всех остальных... Разве такое общество недостаточно счастливо? Хоть мир перевернись вверх ногами — никто никому в нем зла причинить не способен! А почему не способен? Потому что не хочет. А почему не хочет? Потому что радости ему от того ни на грош. Вот и решение! Вот вам и гениально простой образец для запуска в массовое производство! Разве не ясно, что все там счастьем на четыре копыта подкованы? Ну-ка, что скажет тогда Клапауций, этот скептик, агностик, циник и мизантроп, куда направит он жало своих придирок? Пусть тогда ищет пятна на солнце, пусть цепляется по мелочам — и слепой увидит, что каждый делает ближнему все больше и больше добра, так, что уж дальше некуда... Хм... а они ведь, пожалуй, устанут, запарятся, свалятся с ног под лавиной столь добрых поступков... Ну что же, добавим небольшие редукторы или глушители, счастьенепроницаемые перегородки, комбинезоны, экраны... Сейчас, сейчас, только без спешки, чтобы опять чего-нибудь не прошляпить. Значит: primo — веселые, secundo — доброжелательные, tertio — скачут, quarto — румяные, quinto — чудесно им, sexto — заботливые... хватит, пора и за дело!

До обеда он немного соснул, ибо размышления эти жестоко его утомили, а потом резво, бодро, проворно вскочил, чертежи начертил, программных лент надырявил, рассчитал алгоритмы и для начала построил блаженное общество на девятьсот персон. А чтобы равенство было в нем полное, сделал он всех похожими как две капли воды. Чтобы не передрались они из-за пищи, приспособил он их к пожизненному воздержанию

от всякой еды и напитков: холодное пламя атома питало энергией их организмы. Потом уселся Трурль на завалинке и до захода солнца смотрел, как скачут они, визгом выказывая восторг, как делают ближним добро, гладя друг друга по головам и камни убирая друг другу с дороги, как, веселые, бодрые, крепкие, поживают себе в довольстве и без тревог. Если кто-нибудь ногу вывихнул, столько к нему набегало сограждан, что темнело в глазах, и влекло их не любопытство, но категорический императив сердечной заботы о ближнем. Правда, поначалу, бывало, вместо того чтобы выправить ногу, от избытка доброй воли вырывали ее; но Трурль подрегулировал им редукторы, добавил резисторов, а потом пригласил Клапауция. Тот на радостный их ералаш посмотрел, восторженный визг их послушал, с миной довольно хмурой, на Трурля взглянул и спросил:

— А грустить они могут?

— Глупый вопрос! Ясно, что нет! — ответил конструктор.

— Значит, вечно суждено им скакать, румяниться, творить добро и визжать во весь голос, что им распрекрасно?

— Ну да!

Поскольку же Клапауций не то чтобы скупился на похвалы, но так ни одной и не высказал, Трурль сердито добавил:

— Возможно, эта картина монотонна и не столь живописна, как батальные сцены, но моей задачей было сконструировать счастье, а не увлекательное зрелище для зевак!

— Коль скоро они ведут себя так потому лишь, что не могут иначе, — отозвался Клапауций, — Добра в них не более, чем в трамвае, который потому лишь не может тебя переехать на тротуаре, что с рельсов сойти не способен. Не тот испытывает радость от добрых поступков, кто вечно должен гладить соседей по голове, рычать от восторга и камни прохожим убирать из-под ног, но тот, кто сверх того может печалиться, плакать, голову камнем разбить, однако ж по доброй воле, по сердечной охоте не делает этого! А эти твои вынужденцы — всего лишь посмешище возвышенных идеалов, которые тебе в совершенстве удалось извратить!

— Помилуй, да ведь это разумные существа... — растерянно пробормотал Трурль.

— Разумные? — молвил Клапауций. — А ну-ка, посмотрим!

После чего, приблизившись к Трурлевым совершенцам, двинул первого встречного по лбу, да с размаху, и тут же спросил:

— Ну как, сударь, счастливы?

— Преизрядно! — ответствовал тот, держась руками за голову, на которой вскочила шишка.

— А теперь? — спросил Клапауций и так ему врезал, что тот полетел кувырком; но, не успев еще встать, еще песок изо рта выплевывая, кричал:

— Счастлив я, ваша милость! В полном восхищении пребываю!

— Ну вот, — кратко сказал Клапауций оцепеневшему Трурлю и был таков.

Опечаленный сверх всякой меры конструктор завел своих совершенцев по одному в мастерскую и разобрал до последнего винтика, причем ни один из них отнюдь сему не противился, а некоторые посильно помогали разборке — держали разводные ключи, пассатижи и даже лупили молотком по черепной крышке, если та была пригнана слишком плотно и не поддавалась. Детали раскидал он обратно по полкам и ящикам, сорвал с чертежной доски чертежи, изодрал их в клочья, сел за стол, слегка прогнувшийся под тяжестью фолиантов философско-этических, и тяжко вздохнул:

— Хорошенькая история! И опозорил же меня этот прохвост, сорвигайка, приятель так называемый!

Достав из стеклянной витрины модель пермутатора — аппарата, который любое ощущение трансформировал в позыв к сердечной заботе и всеобщей доброжелательности, положил он ее на наковальню и мощными ударами раздробил на кусочки. Но легче ему не стало. Повздыхал он, поразмышлял и принялся осуществлять другую идею. На этот раз изготовил он немалое общество — три тысячи поселян здоровенных, которые тут же голосованием равным и тайным избрали себе начальство и различными работами занялись: домов возведением, хозяйств ограждением, открытием законов Природы, игрищами да гульбищами. У каждого из них в голове имелся гомеостатик, а в нем — два больших, приваренных по бокам кронштейна, между коими вольная воля его могла себе пресвободно гулять; однако же спрятанная под крышкой пружина Добра тянула в свою сторону гораздо сильнее, чем другая, поменьше, придерживаемая колодкой и имевшая целью одну лишь негацию и деструкцию. Сверх того, каждый из поселян был снабжен высокочувствительным совестным индикатором, заключенным между зубатыми зажимными щеками, которые начинали грызть хозяина при малейшем уклонении от праведного пути. Как по-

казали испытания пробной модели, угрызения совести были настолько ужасны, что угрызаемый дергался хуже чем при икоте или даже пляске святого Витта. И только раскаянье, добронравие и альтруизм могли подзарядить конденсатор, который затем, разряжаясь, ослаблял хватку угрызителя совести и совестной индикатор маслом умащивал. Что и говорить, прехитростно было это задумано! Трурль собирался даже соединить угрызения совести обратной связью с зубной болью, однако раздумал, опасаясь, что Клапауций снова затянет свое насчет принуждения, исключающего свободную волю. Впрочем, это было бы сущей ложью, поскольку новые существа имели вероятностные приставки и никто, даже Трурль, не мог заранее знать, что они будут делать и как собой управлять. Радостные восклицания до поздней ночи не давали уснуть, но этот гомон доставлял ему немалое удовольствие. «Теперь уж, — решил он, — Клапауцию не к чему будет придраться. Они, несомненно, блаженствуют — и притом не насильственно, по программе, но способом эргодическим, стохастическим и вероятностным. Наша взяла!» С этой мыслью уснул он сном богатырским и спал до утра.

Назавтра он не застал Клапауция дома; тот вернулся к обеду, и Трурль повел его прямо к себе, на фелицитологический полигон. Клапауций осмотрел хозяйства, заборы, башенки, надписи, главное управление, его отделения, выборных, потолковал с поселянами о том и о сем, а в переулке попробовал щелкнуть по лбу прохожего ростом поменьше, но трое других взяли его немедля за шиворот и дружно, враскачку, с песнею вышвырнули за ворота селения, и, хотя они зорко следили за тем, чтобы увечья ему какого не сделать, из придорожного рва выбрался он скособоченный.

— А? — молвил Трурль, делая вид, будто вовсе и не заметил Клапауциева позора. — Что скажешь?

— Завтра приду, — отвечал тот.

Видя, что приятель спасается бегством, Трурль снисходительно улыбнулся. На другой день пополудни оба конструктора снова пришли в поселение и обнаружили в нем немалые перемены. Сразу же задержал их гражданский патруль, и старший рангом заметил Трурлю:

— А ты что, сударик, косо поглядываешь? Али пташек пенья не слышишь? Цветиков алых не видишь? Выше головушку!

Второй, поскромнее рангом, добавил:

— Ну, ты у меня — весело, бодро, по-молодецки!

Третий ничего не сказал, а лишь кулаком бронированным огрел конструктора по хребту, да с хрустом, после чего все трое повернулись к Клапауцию; но тот, не ожидая никаких разъяснений, так встрепенулся по собственной воле, так браво вытянулся по стойке «радостно», что те, не тронув его, удалились. Сцена эта поразила создателя, хотя и невольного, новых порядков; с открытым ртом он таращился на плац перед фелицейским участком, где построенные в боевые каре поселяне радостно, по команде, кричали.

— Бытию — честь! — рявкал какой-то командир с эполетами, под бунчуком, а в ответ ему дружно гремело:

— Честь, радость и слава!

Не успев даже пикнуть, Трурль был взят под локотки и очутился в строю, рядом с приятелем, и до вечера проходили они муштровку, которая в том заключалась, чтобы по команде «Раздва-три!» делать себе неприятности, а ближнему в шеренге — Добро; а командиры их — фелицейские, то бишь Блюстители Общего и Совершенного Счастья (в просторечии Боссы), — неукоснительно следили за тем, дабы все вместе и каждый в отдельности видом своим совершенную сатисфакцию выражали и общее благоденствие, что на практике оказалось безмерно тягостно. Дождавшись краткого перерыва в фелицейских учениях, друзья-конструкторы сбежали из строя и укрылись за изгородью, а затем, пригибаясь, словно под артобстрелом, в придорожных канавах, добрались до Трурлева дома и для верности запрятались на самый чердак. И в самую пору: патрули добирались уже и до дальних окрестностей, прочесывая сверху донизу все строения в поисках грустных, несчастных, обиженных, коих тут же, на месте, осчастливливали в срочном порядке. Трурль, скрючившись на чердаке и ругаясь на чем свет стоит, изыскивал пути ликвидации последствий эксперимента, принявшего столь неожиданный оборот; Клапауций же только посмеивался в кулак. Не выдумав ничего лучше, Трурль, хотя и с тяжелым сердцем, вызвал отряд демонтажников, причем надежности ради (и в строжайшем секрете от Клапауция) так их запрограммировал, чтобы они не могли прельститься лозунгами всеобщей доброжелательности и необычайно сердечной заботы. Сразились демонтажники с Боссами так, что искры посыпались. В защиту всеобщего счастья фелиция билась геройски; пришлось послать подкрепление с двойными тисками и

фомками; стычка обернулась битвою, целой войной, столь велика была доблесть обеих сторон; а в дело пошли уже картечь и шрапнель. Выйдя на улицу, при свете молодой луны увидели конструкторы ужасное зрелище. В селении, затянутом клубами черного дыма, лишь там и сям умирающий фелицейский, которого в спешке не до конца разобрали на части, слабеющим голосом возглашал вечную и нерушимую верность идее Всеобщего Блага. Трурль, уже не пытаясь спасти свою репутацию, дал волю гневу своему и отчаянию, ибо не мог понять, где допустил он промашку, которая дружелюбцев в держиморд превратила.

— Слишком абстрактная программа Универсальной Доброжелательности, дорогой мой, различные может плоды принести, — разъяснил ему популярно Клапауций. — Тот, кому хорошо, желает, чтоб и другим немедленно стало бы хорошо, а упрямцев начинает к блаженству подталкивать ломом.

— Значит, Добро способно порождать Зло! О, сколь коварна Природа Вещей! — воскликнул Трурль. — Тогда я бросаю вызов самой Природе! Прощай, Клапауций! Ты видишь меня временно побежденным, но одно сраженье еще не решает исхода войны!

В одиночестве, угрюмый, ожесточенный, засел он снова за книги и за конспекты. Разум подсказывал, что перед следующим экспериментом неплохо бы оградить жилище крепостною стеною, а в бойницах поставить пушки; однако начать таковым манером претворение в жизнь идеала всеобщей доброжелательности было никак невозможно; поэтому решил он перейти к экспериментальной микроминиатюризированной социологии и строить отныне только модели в масштабе 1:100 000. А чтобы помнить все время, чего ему надо, повесил в лаборатории лозунги, выписанные каллиграфическим почерком: 1) Сладостная Добровольность; 2) Ласковое Внушение; 3) Дружеское Участие; 4) Сердечная Забота, — и принялся воплощать их в практическое бытие. Для начала смонтировал он под микроскопом тысячу электронародиков, наделив их миниатюрным умишком и чуть-чуть только большей любовью к Добру (ибо уже опасался альтруистического фанатизма). Сперва они довольно сонно кружили в выделенной им для жилья шкатулочке, которую это круженье, мерное и монотонное, уподобляло часовому механизму. Подкрутив винтик мыслятора, Трурль чуть-чуть добавил им разума; сразу зашевелились они живее,

понаделали себе инструментиков из опилок и стали буравить стены и крышку ларца. Трурль увеличил потенциал Добра — и общество воспылало энтузиазмом; все носились взад и вперед, озираясь в поисках ближних, нуждавшихся в утешении, а больше всего оказался спрос на вдов и сирот, особенно если те родились от слепых отцов. Таким почтением их окружали и так славословили, что бедняжки, бывало, прятались за латунной крышкою ларца. И началась у них сущая цивилизационная кутерьма: нехватка убогих и сирых вызвала кризис, а восемнадцать поколений спустя, за неимением в сей юдоли, то бишь шкатуле, достаточного числа объектов, пригодных для особо интенсивного утешения, у микронародика сложился культ Абсолютной Сиротки, утешить и осчастливить которую до конца вообще невозможно; через эту метафизическую отдушину уходил в трансцендентность избыток добросердечия. Обратившись взором к потустороннему миру, микронародик обильно его заселил; среди боготворимых существ появилась Пресвятая Вдова, а затем и Небесный Владыка, также нуждавшийся в горячем сочувствии. В результате посюсторонняя жизнь пришла в запустение, а духовные корпорации поглотили большую часть светских. Не так представлял себе это Трурль; добавил он рационализма, скептицизма, трезвомыслия, и все пришло в норму.

Ненадолго, однако ж. Объявился некий Электровольтер, утверждавший, что никакой Абсолютной Сиротки нет, а есть только Космос, иначе Шестигранник, природными силами созданный; сиротисты-абсолютисты предали его анафеме, потом Трурль отлучился часа на два по делам, а когда вернулся, ларец скакал по всему ящику — это начались религиозные войны. Подзарядил он шкатулочку альтруизмом — заскворчало, словно на сковородке; снова добавил крупицу разума — приостыло, но затем кружение оживилось, и из всей этой заварухи стали формироваться каре, марширующие неприятно регулярным шагом. В ларце как раз протекло столетие; от сиротистов с электровольтерьянцами и следа не осталось, все рассуждали об одном лишь Всеобщем Благе, писали о нем трактаты, характера совершенно светского. Но потом разгорелся спор о происхождении микронародика: одни говорили, что он зародился из пыли, скопившейся за латунной петлей, другие искали первопричину во вторжении пришельцев из Космоса. Чтобы этот жгучий вопрос разрешить, начали строить Большое Сверло, на-

мереваясь Космос, то бишь ларец, насквозь просверлить и выяснить, что снаружи находится. Поскольку же там могло обретаться неведомо что, стали заодно отливать и пушечки.

До того все это встревожило Трурля и опечалило, что он немедля ларец разобрал и сказал, чуть не плача: «Разум доводит до сухости чрезмерной, а Добро до безумия! Но почему же? Откуда такой инженерно-исторический Фатум?»

Решил он этот вопрос изучить специально. Выволок из чулана Блаженного, первый свой образец, и, когда тот начал постанывать, восхищенный кучею мусора, Трурль вставил в него маломощный усилитель разумности. Блаженный тут же постанывать перестал, а на вопрос, что ему такое не нравится, ответил:

— Нравится-то мне по-прежнему все, однако восторг я умеряю рефлексией и прежде хочу дознаться, почему мне это по нраву и по какой причине, а также зачем, то есть с какой целью. И вообще, кто ты такой, что прерываешь вопросами углубленное мое созерцание? Разве нас что-нибудь связывает? Чувствую, что-то меня побуждает и тобой восхищаться, но разум советует не поддаваться этому побуждению: а вдруг тут какая-нибудь ловушка, для меня предназначенная?

— Что касается связи между мной и тобой, — не выдержал Трурль, — то я тебя создал и я же устроил так, что ты находишься в полной гармонии с бытием.

— Гармония? — молвил Блаженный, внимательно целясь в конструктора дулами своих объективов. — Гармония, милостивый государь? А почему у меня три ноги? И голова над ними возносится? И слева обшит я медным листом, а справа железным? Почему у меня пять глаз? Ответь, если ты и вправду вызвал меня из небытия!

— Три ноги оттого, что на двух удобно не станешь, а четыре — напрасный расход матерьяла, — объяснил Трурль. — Пять глаз потому, что столько было у меня под рукой хороших стекол, а что до обшивки, то у меня как раз вышла вся сталь, когда я твой корпус заканчивал.

— Ну да! — ехидно усмехнулся Блаженный. — Ты хочешь мне втолковать, что это все проделки глупого случая, слепого жребия, чистейшей тяпляпственности? И я этим сказкам поверю?

— Мне-то, положим, лучше знать, как оно было, если я сам тебя создал! — рассердился Трурль при виде такого апломба.

— Я усматриваю две вероятности, — возразил невозмутимо Блаженный. — Первая: ты беззастенчиво лжешь. Ее я пока

не рассматриваю. Вторая: ты, по своему разумению, говоришь правду, откуда, впрочем, ничего особенного не следует, ибо, вопреки твоим ограниченным знаниям, в свете высших познаний эта истина — ложна.

— Это как же?

— А так: то, что кажется тебе простым стечением обстоятельств, вовсе не было таковым. Нехватку стального листа ты, допустим, счел обыкновенной случайностью, но откуда ты знаешь, не проявление ли это Высшей Необходимости? Замена стального листа медным показалась тебе лишь удачным выходом из положения, но и здесь, конечно, не обошлось без вмешательства Предустановленной Гармонии. Точно так же число моих глаз и ног, несомненно, скрывает в себе бездонные Высшие Тайны, если знать Извечные Значения всех этих чисел, отношений, пропорций. Три и пять, к примеру, — числа простые. А они ведь могли бы делиться одно на другое, не так ли? Трижды пять — пятнадцать, иначе — единица с пятеркой; сложив, получаем шесть, а шесть, деленное на три, дает два, то есть число моих цветов, ибо я с одной стороны железный Блаженный, с другой же — медный! И такие точнейшие соответствия — простая случайность? Да это курам на смех! Я — существо, выходящее за твой узенький горизонт, слесаришко несчастный! И если даже в утверждении, будто ты меня создал, есть хоть крупица правды (чему, впрочем, трудно поверить), все равно ты — лишь одно из звеньев Высшей Закономерности, я же — истинная ее цель. Ты — случайная капля дождя, а я — прекрасный цветок, двуцветным своим венцом славящий все живое; ты — гнилая доска забора, отбрасывающая резкую тень, я же — солнечный луч, что велит доске отграничивать тьму от света; ты — слепое орудие в Извечной Длани, давшей мне жизнь. Поэтому совершенно напрасно ты пытаешься унизить мое естество, объясняя мое пятиглазие, троеножие и двуцветность резонами технико-экономическо-снабженческими. В этих свойствах я вижу отражение высшей сущности Бытия как Симметрии, которую я еще не постиг до конца, но, несомненно, постигну, занявшись на досуге этой проблемой; а с тобой разговаривать больше не стану, чтобы времени зря не терять.

Трурль, разгневанный этой речью, затащил модель обратно в чулан и, хотя она истошно верещала о суверенности разума, независимости свободной индивидуальности и праве на личную неприкосновенность, выключил у нее усилитель разумно-

сти и украдкой, озираясь по сторонам — не увидел ли кто? — вернулся домой. Насилие, учиненное над Блаженным, наполнило его чувством стыда; усевшись опять за книги, он казался себе почти что преступником.

«Не иначе проклятье какое-то тяготеет над конструкторами Всеобщего Счастья, — подумал он, — если любая, даже предварительная, попытка кончается мерзким поступком и жестокими угрызениями совести! Черт меня дернул построить Блаженного с его Предустановленной Гармонией! Нужно выдумать что-то другое».

До сих пор он испытывал модели одну за другой, поочередно, и на каждую пробу уходила бездна времени и материала. Теперь же решил он поставить тысячу экспериментов одновременно в масштабе 1:1 000 000. Под электронным микроскопом поштучно скрепил он атомы так, что получились созданьица ненамного крупнее микробов, именуемые ангстремиками; четверть миллиона таких существ составляли культуру, которая затем волосяной пипеткой переносилась на предметное стекло. Каждый такой микроцивилизационный препарат невооруженному глазу представлялся серо-оливковым пятнышком, разглядеть же подробности можно было лишь при самом сильном увеличении.

Всех ангстремиков Трурль снабдил альтруистическо-героическо-оптимистическими регуляторами, противоагрессивной защелкой, императивом категорическо-электрическим неслыханной альтруистической мощности, а также микрорационализаторами с глушителями ереси и ортодоксии, дабы фанатизму, каков бы он ни был, отнюдь не потворствовать. Культуры он накапал на стеклышки, стеклышки поскладывал в стопки, стопки — в пакеты; разложил все это по полкам цивилизационного инкубатора и запер его на двое с половиною суток, прикрыв предварительно каждую микрокультуру стерильно чистым лазурным стеклом — небесами туземного общества; а затем через капельницу снабдил туземцев пищей и сырьем для производства того, что consensus omnium* сочтет наиболее нужным. За развитием, которое энергично пошло на всех этих стеклышках, он не мог, разумеется, следить повсюду одновременно; поэтому он брал первую попавшуюся культуру, дышал на окуляр микроскопа, протирал его чистой фланелью и, зата-

* всеобщее согласие *(лат.)*.

ив дыханье, разглядывал ход истории, словно Господь Бог, взирающий на свое творение с заоблачных высей.

Триста препаратов вскоре испортились. Симптомы были повсюду схожи. Сперва культурное пятнышко стремительно разрасталось, пуская в стороны тоненькие отростки, потом над ним появлялся едва заметный дымок, или, скорее, облачко пара, сверкали микроскопические вспышки, микрогорода и микрополя покрывались фосфорической сыпью, после чего культура с легчайшим треском рассыпалась во прах. Применив восьмисоткратное увеличение, в одном из таких препаратов он разглядел почерневшие развалины и пепелища, а среди них — обугленные обрывки знамен; надписи на знаменах, ввиду их малости, не поддавались прочтению. Все эти стеклышки он немедля повыбрасывал в мусорную корзину. Не везде, однако, дело обстояло так плохо. Сотни культур устремлялись ввысь и бурно росли, а когда им уже не хватало места, он переносил их порциями на другие стеклышки; три недели спустя процветающих культур набралось 19 000 с лишком.

Следуя плану, который показался ему гениальным, Трурль не давал прямых директив о переходе ко Всеобщему Счастью, а только привил ангстремикам гедотропизм, и не в одной, но во множестве форм. В некоторых культурах он снабдил каждого ангстремика гедогенератором, в других расчленил таковой на части, разбросанные по отдельным индивидам: здесь для счастья требовалось слияние в рамках социальной организации. Ангстремики, созданные первым способом, упивались счастьем каждый сам по себе, взахлеб, и в конце концов тихонько лопались от переизбытка блаженства. Второй метод принес плоды побогаче. Выросшие на стеклышках цивилизации выработали богатейшие социотехнические приемы и культурные установления. Препарат № 1376 изобрел Эмулятор, № 2931 — Каскадерство, а № 95 — Порционную Гедонистику в рамках Лестничной Метафизики. Эмуляты соперничали между собой в добродетельности, разделившись на гурианцев и вигов. Первые полагали, что нельзя познать добродетели, не зная греха (иначе как отграничить одно от другого?), и потому предавались различным порокам, одному за другим, согласно каталогу, питая искреннее намерение отречься от них в Нужный День. Однако подготовительную стажировку гурианство сделало целью: так по крайней мере утверждали виги. Победив гурианцев, они провозгласили вигорианство — культуру, ос-

нованную на 64 000 запретов, безусловных и крайне серьезных. Запрещалось грабить и бабить, гадать и бодать, сидеть на золе, плясать на столе, рявкать и чавкать, влезать и врезать; но постепенно все эти табу расшатывались и ниспровергались одно за другим, ко всеобщему и все возрастающему удовольствию. Когда, через короткое время, Трурль осмотрел эмулятский препарат, его встревожила всеобщая беготня: все носились как бешеные, ища какого-нибудь ненарушенного запрета, но, увы, — ни одного уже не осталось. И хотя кое-где еще бабили, грабили, рявкали, чавкали, врезали из-за угла и влезали на каждого, кто подвернется, радости от этого было — кот наплакал.

Занес тогда Трурль в лабораторный журнал следующую сентенцию: там, где все можно, ничто не радует. В препарате № 2931 обитали каскадийцы, племя, исполненное добродетели, свято хранящее множество идеалов, как-то: Прадамы-Каскадерши, Пречистой Ангелицы, Благословенного Фенестрона и прочих Совершенных Существ, и всех их туземцы истово чтили, литургически боготворили и перед подобающими изображениями, в подобающих местах, подобающим манером во прахе ползали. Но не успел еще Трурль надивиться вдоволь столь небывалому Боготворению, Преклонению и Преползновению, как они, встав с колен и отряхнувши прах со своих кафтанов, принялись кумиров своих с пьедесталов стаскивать, из окон на мостовую выбрасывать, по Прадаме скакать, Ангелицу поганить, так что у наблюдателя волосы вставали дыбом. И опрокидывание всего почитаемого доселе такое приносило им облегчение, что они — хотя бы на время — чувствовали себя совершенно счастливыми. Казалось бы, им угрожала судьба эмулятов, но каскадийцы были предусмотрительнее: основанные ими Институты Сакропроектирования немедленно выпускали следующее поколение Святости и новые модели водружались на постаменты и алтари, так что эта культура носила маятниковый характер. А Трурль записал, что поругание святынь порою дает утоление, и для памяти назвал каскадийцев — опрокидами.

Следующий препарат, № 95, дал картину более сложную. Тамошняя цивилизация многоступенников была настроена метафизически, но метафизическую проблематику взяла в собственные руки. Окончив бренную жизнь, многоступенники попадали в Очистилища Курортного Типа, потом в Недорай, затем в Предрай, отсюда в Подрай, из него в Прирай, и, наконец, открывались ворота Почтирая, а вся теотактика в том зак-

лючалась, чтобы собственно Рай неустанно откладывать да оттягивать. Правда, сектанты-нетерпеленцы домогались полного Рая немедленно, а провалисты, в рамках все той же квантованной и фракционированной трансценденции, хотели на всех этажах оборудовать люки-ловушки; попавшая в такую ловушку душа летела бы кувырком до бренной земли, чтобы начать восхождение с самого низа. Словом, предлагался Замкнутый Цикл со Стохастической Пульсацией и даже, пожалуй, Душепереселенческой Миграцией; но ортодоксы заклеймили эту доктрину как Падучую Ересь.

Позже Трурль обнаружил немало иных разновидностей Порционной Метафизики; на одних стеклышках кишмя кишели блаженные и святые ангстремики, на других работали Ректификаторы Зла, они же Выпрямители Жизненных Путей. Однако в процессе обмирщения множество Выпрямителей было поломано, а из Трансцендентальной Раскачки от Зла к Добру здесь и там зарождалась техника строительства обычных Фуникулеров. Впрочем, культуры, обмирщенные совершенно, разъедал какой-то маразм. Более серьезные надежды подавала культура № 6101, провозгласившая рай технический и современный, просто отменный. Уселся Трурль поудобнее, подрегулировал резкость микрометрическим винтиком, и сразу же лицо у него вытянулось. Одни обитатели стеклянной земли, оседлав машины верхом, гнали вовсю в поисках чего-нибудь еще недоступного, другие ложились в ванны со сбитыми сливками и трюфелями, головы посыпали черной икрой и захлебывались, пуская пузыри taedium vitae*. Третьи, носимые на закорках амортизированными по высшему классу электровакханками, сверху политые медом, снизу ванильным маслом, одним глазом поглядывали в шкатулки, до краев забитые золотом и благовониями, другие зыркали в поисках кого-нибудь, кто бы хоть капельку позавидовал столь безмерно сладостной жизни, но таких, разумеется, не было. Поэтому, утомившись, слезали они на землю и, попирая сокровища, словно мусор, неверным шагом присоединялись к более мрачным согражданам, которые агитировали за перемены к лучшему, то есть к худшему. Группа бывших профессоров Института Эротической Инженерии основала орден воздержанцев и в своих манифестах призывала к смирению, аскетизму и прочим малоприятным ве-

* отвращение к жизни *(лат.)*.

щам — но не во всякие, а только в будние дни. По воскресеньям отцы-воздерженцы вытаскивали из шкафов вакханок, из погребов — жбаны вина, всевозможные яства, наряды, эротизаторы, распоясывательные аппараты и с утренним колокольным звоном начинали гулянку, от которой стекла лопались в окнах; но уже с понедельника все до единого, под надзором отца настоятеля, просто со зверским рвением предавались умерщвлению плоти. Часть молодежи гостила у воздерженцев с понедельника до субботы, другая, напротив, посещала обитель только в воскресные дни. Когда же первые принялись костерить вторых за мерзостные обычаи и распущенность, Трурль задрожал и отвел глаза.

А потом всеобщий прогресс в инкубаторе, вмещавшем тысячи препаратов, ознаменовался отважными стеклоходными вылазками; так началась эпоха Межпрепаратных Путешествий. И оказалось, что эмуляты завидуют каскадийцам, каскадийцы — многоступенникам, многоступенники — опрокидам, сверх того пошли слухи о какой-то стране, где под управлением сексократов жилось лучше некуда, хотя никто не знал толком — как. Тамошние обитатели достигли будто бы таких научных высот, что сами себя попеределывали и подключили к гедогонным аппаратам, вырабатывавшим очищенный экстракт счастья; впрочем, критики полушепотом называли сей неведомый край краем слишком уж легкого поведения. И хотя Трурль исследовал тысячи стеклышек — гедостаза, то есть полностью стабилизированного счастья, он нигде не нашел. Так что слухи, возникшие в эпоху Межпрепаратных Путешествий, пришлось, к великому сожалению, сдать в архив. С немалым страхом Трурль положил под микроскоп препарат № 6590, не будучи уверен, порадует ли чем-нибудь эта его последняя надежда. Тамошняя культура позаботилась не только о машинном фундаменте изобилия, но также о расцвете высшего, духовного творчества. Микроскопическое это племя отличалось редкостной даровитостью; великих философов, живописцев, ваятелей, поэтов и драматургов было там пруд пруди, а если кто случайно и не был знаменитым виртуозом или композитором, то уж наверное был астрономом, биофизиком или по крайности прыгуном-пародистом, эквилибристом и артистом-филателистом, да притом обладал еще роскошным бархатным баритоном, абсолютным слухом и цветными снами в придачу. Неудивительно, что творчество в препарате № 6590 било ключом, громозди-

лись груды полотен, вырастали леса изваяний, мириадами плодились ученые книги, трактаты этические и политические и прочие изумительные сверх всякой меры шедевры. Но затем, поглядев в микроскоп, Трурль заметил признаки какого-то неблагополучия. Из переполненных мастерских летели на улицу статуи вперемежку с картинами, прохожие не по плитам тротуара ступали, а по толстому слою гениальных поэм, ибо никто уже никого не читал, не изучал, музыкой чужою не восхищался, будучи сам господином всех муз и гением на все руки. Там и сям поскрипывали еще перья, стрекотали пишущие машинки, хлестали кисти по полотну, но все чаще очередной никому не известный гений выбрасывался с высокого этажа, поджегши перед тем мастерскую. Заполыхало сразу повсюду, и, хотя автоматические пожарные тушили огонь, в скором времени жильцов в спасенных от пожара домах не осталось. Между тем автоматы — золотарные, дворничьи, пожарные и другие — мало-помалу знакомились с наследием вымершей цивилизации, и до того оно им пришлось по вкусу, что принялись они эволюционировать в направлении все большей разумности, чтобы как следует адаптироваться к высокоодухотворенной среде обитания. Так начался окончательный крах: никто уже ничего не тушил, не чистил, не подметал, не канализировал, а было только повальное чтение, пение и театральные представления. Каналы засорились, мусорные баки переполнились, а остальное довершили пожары, и лишь хлопья сажи да обугленные страницы стихов, уносимые ветром, оживляли мертвый пейзаж. Трурль диафрагмировал столь тягостную картину, засунул препарат в самый дальний ящик письменного стола и долго качал головой в полном душевном смятении, не зная, что предпринять. К действительности его вернули крики прохожих: «Пожар!» — а горело не что иное, как его собственная библиотека. Оказалось, книжная плесень атаковала несколько цивилизаций, завалявшихся по недосмотру между томами; те же, расценив это как нашествие инопланетян, подняли оружие против незваных гостей; так вот и загорелся сыр-бор. В огне погибло почти три тысячи Трурлевых книг и столько же микрокультур, а в их числе и такие, которые, по расчетам Трурля, могли еще отыскать пути ко Всеобщему Счастью. Сбив пламя, уселся Трурль на табурете в залитой водой и закопченной по самый потолок мастерской и стал, утешения ради, просматривать уцелевшие цивилизации (пожар застал их в закрытом на-

глухо инкубаторе). Одна из них до того продвинулась по части науки, что изготовила мощные телескопы, через которые наблюдала Трурля, и эти нацеленные в него стеклышки были подобны бисерным каплям росы. Улыбнулся он добродушно при виде такого научного рвения, но тут же подскочил, со страшным криком схватился за правый глаз и помчался в аптеку — врачевать зрачок, пораженный лучом лазера, который тоже успели изобрести туземные астрофизики.

С того времени он уже не подходил к микроскопу иначе, как в темных очках.

Созданные пожаром зияющие пробелы надлежало заполнить, и Трурль начал опять творить ангстремиков. Однажды микроманипулятор у него в руке дрогнул, и вместо стремленья к Добру он зарядил ангстремиков жаждою Зла. Испорченный препарат он, однако, не выбросил, а положил в инкубатор, подстрекаемый любопытством: очень уж ему хотелось узнать, что за чудовищный вид примет культура, созданная существами, уже в колыбели подлыми. Каково же было его изумление, когда на предметном стекле появилась культура самая обыкновенная, не хуже и не лучше других!

Схватился Трурль за голову и воскликнул:

— Вот те на! Выходит, из благонравцев, дружелюбов, доброделов и милосердов то же самое получается, что из отвращенцев, омерзитов и тошнотворцев? Да-а... Ничего не понимаю, но чувствую, что где-то рядом укрыта важная Истина! Добро и Зло разумных существ сходные приносят плоды — но почему же? Откуда такое фатальное усреднение?

Покричал он так, поразмышлял, но ничего не придумал, спрятал цивилизации в ящик и пошел спать.

На другое утро сказал он себе самому:

— Как видно, вступил я в поединок с проблемой, труднее которой нет в целом Космосе, коль скоро Я Сам Персонально справиться с ней не могу! Неужто Разум исключает Блаженство? А ведь об этом, похоже, свидетельствует казус Блаженного, который до тех пор таял в экстазе бытийственном, пока я ему мышления не прибавил. Но я такой возможности допустить не могу, смириться с ней не желаю и свойством Природы никогда ее не признаю; не могу я поверить в злонамеренное, истинно дьявольское коварство, укрытое в Бытии, дремлющее в материи, которое только и ждет, чтобы проснулось сознание — как источник страданий, а не радостей Бытия. И напрасны усилия

мысли, которая жаждет исправить это нестерпимое состояние! Я хочу изменить мироздание — и не в силах этого сделать. Так что же, тупик? Ничего подобного! А усилители разума как же? Чего я сам не сумею, мудрые машины сумеют. Вот я и построю Компьютерище для решения экзистенциальной проблемы!

Как он решил, так и сделал. Через двадцать дней стояла уже в мастерской машина огромная, басовито гудящая, отменной геометрической формы, которая одно лишь могла и должна была совершить: сразиться успешно с загадкой. Включив Компьютерище, не стал он дожидаться, пока разогреется его кристаллическое нутро, а пошел на прогулку. Когда же вернулся, машина занималась делом невообразимо сложным, а именно: из попавшихся под руку материалов строила другую машину, несравненно огромнейшую. Та, своим чередом, в течение ночи и следующего дня вырвала из фундамента стены дома и снесла крышу, возводя громаду третьей по счету машины. Трурль разбил во дворе палатку, терпеливо ожидая финала этих каторжных интеллектуальных работ, но конца не было видно. Полями, лугами, до самого леса, круша его в щепки, разрастались все новые железные корпусы, и вскоре уже неизвестно какое по счету поколение Компьютерища с низким гуденьем вступило в воды реки. Чтобы осмотреть его целиком, Трурлю пришлось полчаса идти ускоренным маршем. Присмотревшись внимательнее к соединеньям между блоками, он задрожал. Случилось то, о чем он знал единственно из теории; ибо, согласно гипотезе архимастера обеих кибернетик, великого Кереброна Эмтадрата, цифровая машина, получившая задание, для нее непосильное, по преодолении т.н. Барьера Разумности, вместо того чтобы самой мучиться над решением проблемы, строит другую машину; та же, будучи в меру смышленой, чтобы понять что к чему, переложенное на нее бремя спихивает на следующую машину, которую срочно монтирует, и этот процесс перекладыванья и спихиванья уходит в бесконечность! Действительно, стальные лебедки сорок девятого машинного поколения достигали уже горизонта, а шум мышления, состоявшего в перебрасывании проблемы все дальше и дальше, мог бы заглушить Ниагару. Ведь мудрость проявляется в умении свалить на другого работу, порученную тебе самому, и лишь механические цифровые тупицы послушно исполняют программы. Уяснив природу явления, Трурль присел на поваленное экстенсивной компьютерной эволюцией дерево и тяжко вздохнул.

— Значит ли это, что проблема неразрешима? — спросил он. — Но тогда Компьютерище обязан представить доказательство нерешаемости, чего, разумеется, он, по причине своего всестороннего поумнения, и не думает делать, вступив на путь фанатической лени, — в точности так, как учил нас когда-то профессор Кереброн. Что за постыдное зрелище — разум, который уже довольно разумен, чтобы понять, что ему не нужно трудиться над чем бы то ни было, если можно изготовить соответствующий инструмент; а тот, будучи сам смекалист, продолжает эту логическую цепочку, которой не видно конца! Вместо Проблеморешателя я ненароком создал Отфутболиватель Проблем! Запретить машинам действовать per procura я не могу — они тут же вывернутся из положения, заявив, что их громадность соответствует грандиозности поставленной перед ними задачи. Ничего себе антиномия! — вздохнул он и пошёл домой за демонтажной бригадой, вооруженной ломами и раздробилками, и та в три дня очистила захваченное Компьютерищем пространство.

Долго ломал голову Трурль, пока не решил, что действовать нужно иначе: «За каждой машиной должен надзирать контролер, неслыханно мудрый, то есть я; но я ведь не разорвусь на части и не размножусь... хотя... отчего бы и вправду не удвоить свою особу?! Эврика!»

И вот скопировал он себя самого внутри цифровой машины, специально для этого созданной, и теперь уж не он, но его математическая модель должна была над задачей трудиться; в программе предусмотрел он возможность тиражирования Трурлевых копий; а чтобы под надзором целого роя Трурлей все там пошло бы молниеносно, подключил снаружи хитроумную ускорилку. Затем, довольный собой, стряхнул железную пыль, что осела на нем во время этой тяжелой работы, и пошел прогуляться, беззаботно посвистывая.

Воротился он только под вечер и немедля начал выпытывать машинного Трурля, то есть свое цифровое подобие, как там движется дело.

— Дорогой мой, — ответил двойник через дырку, служившую цифровым выходом, — сперва я замечу тебе, что некрасиво и даже, прямо скажем, постыдно информационным, отвлеченным и перфокарточным методом запихнуть в машину себя самого потому лишь, что собственными мозгами шевелить надоело! Ведь ты меня так аксиоматизировал и запрограмми-

ровал, что мудрости во мне ровно столько же, сколько в тебе; так чего ради я должен перед тобою отчитываться, когда вполне может быть — скажем так — наоборот?

— Но я же ни минуты этой проблемой не занимался, а гулял по лугам и лесам! — возразил озадаченный Трурль. — Так что при всем желании я не могу сказать ничего касательно этой задачи. Впрочем, у меня уже все нейроны полопались, так я с нею намучился; теперь твой черед. Не зловредничай, ради бога, и говори!

— Не имея возможности выбраться из проклятой машины, в которую ты упрятал меня (это вопрос особый, и мы еще с тобой посчитаемся, как дырки в программе), я действительно думал об этой проблеме, — зашуршал на выходе цифровой Трурль. — Правда, я занимался, утешения ради, и другими делами: ведь ты засадил меня в компьютер голым и босым, больше я ничего не получил от своего брата-ката, близнеца-подлеца! Пришлось мне справить себе цифровую фуфайку и цифровые портки, построить цифрованный домик с маленьким садом, точь-в-точь как твой, и даже получше, да еще развернуть над ним цифровой небосвод с цифровыми созвездиями; а когда ты вернулся, я как раз размышлял о том, что хорошо бы завести себе цифрового Клапауция — такая берет здесь тоска посреди конденсаторов склизких, в обществе глупых кабелей и транзисторов!

— Ладно, оставим цифровые портки. Говори, чего ты добился, прошу тебя!

— Только не думай смягчить мое справедливое негодование просьбами! Поскольку я — это ты, переведенный на перфокарту, я тебя знаю отлично, дорогой мой. Стоит мне заглянуть в себя, и я вижу насквозь все твои низости. Ты от меня ничего не укроешь!

Тут натуральный Трурль стал заклинать и умолять цифрового, отчасти даже впадая в уничижение, пока тот наконец не отозвался через дырку на выходе:

— Не могу сказать, чтобы я совсем не продвинулся в решении задачи: чуть-чуть я ее надгрыз. И так как она ужасно сложна, я решил основать у себя в машине специальный университет и для начала утвердил себя его ректором и генеральным директором, а заведовать кафедрами, которых покамест сорок четыре, назначил своих двойников, то есть машинных Трурлей третьего поколения.

— Как, опять? — ахнул Трурль натуральный, сразу же вспомнив о теореме Кереброна.

— Что значит «опять», осел? Я, благодаря особым предохранителям, не допущу regressus ad infinitum*. Мои под-Трурли на кафедрах общей фелицитологии, экспериментальной гедонистики, конструирования ублажающих агрегатов, а также духовных и шоссейных путей, отчитываются передо мною ежеквартально (ведь мы, любезнейший, работаем с ускорилкой). К сожалению, руководство столь крупным научным центром занимает уйму времени, а сколько еще забот с аспирантурой, докторантурой и доцентурой! Так что мне нужна вторая цифровая машина — в этой мы, со всеми нашими кафедрами и лабораториями, буквально сидим друг на друге. Лучше всего была бы машина в восемь раз больше.

— Опять?!

— Не нуди! Я же сказал: это только для управленческого аппарата и подготовки научного молодняка. Или, по-твоему, мне самому вести отчетность?! — возмутился Трурль цифровой. — Не суй мне палки в колеса, а то я все кафедры поразбираю на цифры, устрою из них Луна-парк и стану на цифровой карусели кататься да мед цифровой из цифрового жбана потягивать, и ничего ты со мной не сделаешь!

Натуральному Трурлю пришлось его снова ублаготворять, после чего цифровой продолжил рассказ:

— Согласно отчетам за истекший квартал, решенье проблемы идет неплохо. Идиота можно осчастливить в момент, с разумными дело хуже. Разуму угодить нелегко. Разум, лишенный работы, — пустое место, сплошная озабоченная дыра. Ему подавай препятствия. Преодолевая их, он счастлив; победив, теряет покой, а то и рассудок. Поэтому нужно ставить перед ним задачи одну за другой, в полную меру его возможностей. Таковы новинки по кафедре теоретической фелицитологии. А мои экспериментаторы представили к цифровым отличиям завкафедрой и трех доцентов.

— За что? — осмелился вставить Трурль натуральный.

— Не мешай. Они разработали две модели ублажителя: контрастную и эскалационную. Первая ублажает лишь тогда, когда ее выключают, сама же причиняет одни неприятности, и чем они больше, тем приятней потом. Вторая использует метод эс-

---

* Здесь: сползание в бесконечность *(лат.)*.

калации стимулов. Профессор Трурль XL с кафедры гедоматики исследовал обе модели и утверждает, что обе они ни к черту, ибо разум абсолютно ублаготворенный начинает жаждать несчастий.

— Неужели? Ты в этом уверен?

— А я почем знаю? Профессор Трурль сформулировал это так: «Осчастливленный до упора в несчастье видит счастье свое». Умирать, как ты знаешь, никому не в радость. Профессор Трурль изготовил десять дюжин бессмертных существ; поначалу они находили удовольствие в том, что все остальные со временем мрут как мухи, но после привыкли и принялись кто чем мог покушаться на собственное бессмертие. Недавно они дошли уже до парового молота. Что касается исследований общественного мнения, то вот отчеты за три последних квартала. Статистику я опускаю; выводы выражаются формулой: «Счастье — удел *других*»; так, во всяком случае, считают опрошенные. Профессор Трурль уверяет, что нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы, короче, счастья без горя.

— А я не согласен! Запрещаю! Вето! — закричал разгневанный Трурль, а машина ему в ответ:

— Заткнись. Уж кому-кому, а мне твое Универсальное Счастье боком выходит. Посмотрите-ка на него! Сделал себе цифрового наемника и по лесам гуляет, киберканалья! Да еще ему что-то в результатах не нравится!

Снова пришлось Трурлю ублажать двойника; наконец услышал он продолжение:

— Кафедра перфекционистики построила общество, опекаемое синтетическими ангелами-хранителями, которые витают над своими подопечными в зените, на стационарной орбите. Будучи совестны́ми автоматами, они подкрепляют добродетель обратной положительной связью; однако эффективность системы мала. Грешники порасторопнее уже охотятся за своими хранителями с фаустпатронами. Пришлось вывести на орбиту кибархангелов повышенной прочности, другими словами, началась эскалация, предсказанная теоретически. Факультет прикладной гедонистики, кафедра сексоматики, а также коллоквиум по теории множественности полов сообщают, что дух имеет иерархическую структуру. На самом дне находятся чувственные ощущения — к примеру, ощущение сладости или горечи; от них берут начало высшие состояния духа, так что по-

том уже сладок не только сахар, но и взгляд, а одиночество кажется горше полыни. Поэтому нужно браться за решенье проблемы не сверху, а с самого низу. Вопрос только — как. Согласно гипотезе приват-доцента Трурля XXV, секс — именно то звено, где Разум конфликтует со Счастьем, ведь в сексе нет ничего разумного, а в Разуме — ничего сексуального. Ты когда-нибудь слышал про обольстительные цифровые машины?

— Нет.

— То-то и оно. Решение достигается методом последовательных приближений. Размножение почкованием устраняет проблему: здесь каждый сам для себя возлюбленный, сам с собою флиртует, сам себя ласкает и обожает; отсюда, однако ж, проистекает эготизм, нарциссизм, пресыщенье и отупенье. При двух полах все уж слишком банально; комбинаторика и пермутационистика отмирают, не развившись как следует. Три пола порождают проблему неравенства, опасность антидемократического террора и коалиций, направленных против сексуального меньшинства. Вывод: количество полов должно быть четным, и чем их больше, тем лучше, ибо любовь становится делом коллективным, общественным. С другой стороны, избыток возлюбленных ведет к тесноте, толчее и сумятице, а это уже ни к чему. Тет-а-тет не должен походить на уличную толпу. Согласно приват-доценту Трурлю, оптимум приходится на 24 пола; только улицы и кровати надо делать пошире: ведь не годится супругам выходить на прогулку колонной по четверо в ряд.

— Что за бредни!

— Возможно. Я лишь изложил предварительное сообщение приват-доцента Трурля. Большие надежды подает молодой гедолог, магистр Трурль. В первую очередь, считает он, нужно решить, что к чему приспосабливать: Бытие к существам или существа к Бытию.

— В этом что-то есть. Ну, ну?

— Магистр Трурль утверждает: существа совершенные, способные к перманентному самоэкстазу, ни в ком и ни в чем не нуждаются. В принципе можно было бы весь Космос заполнить подобными существами, свободно парящими в пространстве вместо звезд, планет и галактик; каждое блаженствует само по себе, и баста. Но общество может возникнуть только из несовершенных существ, которые хотя бы чуть-чуть друг в друге нуждаются, и чем они несовершеннее, тем больше нуж-

на им взаимопомощь. Так что стоит испробовать опытные образцы, которые без неустанной друг о друге заботы немедленно рассыпались бы в прах. По этому проекту наши лаборатории изготовили общество из сограждан, саморассыпающихся в мгновение ока; к сожалению, когда магистр Трурль явился туда с группой анкетеров для проведения опроса, он был избит и теперь на лечении. У меня уже губы болят — устал я прижиматься к этим проклятым дыркам! Выпусти меня отсюда, тогда я, пожалуй, скажу еще что-нибудь, иначе — дудки.

— Как же я тебя выпущу, если ты не материальный, а цифровой? Ведь это все равно что выпустить из пластинки свой голос! Не валяй дурака, говори!

— А что мне с того будет?

— И тебе не стыдно так говорить?

— Стыдно? Еще чего! Вся слава тебе достанется, а не мне.

— Я постараюсь, чтобы тебя наградили.

— Благодарю покорно! Цифровой крест я могу вручить себе сам.

— Себя самого награждать некрасиво.

— Тогда меня представит к награде Ученый совет.

— Да ведь все твои ученые, вся профессура — сплошные Трурли!

— В чем ты хочешь меня убедить? В том, что доля моя тюремная, крепостная и даже рабская? Это я и без тебя знаю.

— Оставь препирательства, ты же знаешь: я стараюсь не для себя! Речь идет о возможности Счастливого Бытия!

— А мне-то что? Ну, возникнет где-нибудь это Счастливое Бытие, а я, начальник тысячи кафедр, деканов и целой дивизии Трурлей, навеки погребенный в катодах и пентодах, никогда не узнаю счастья, ведь не может быть счастья в машине. Желаю выйти отсюда немедленно!

— Но это невозможно, и ты отлично об этом знаешь! Говори, к чему пришли твои ученые!

— Наделять кого бы то ни было счастьем, ввергая в несчастье других, недопустимо этически; и даже если я расскажу тебе все и ты создашь для кого-нибудь счастье, оно уже в колыбели будет отравлено моею бедой. Поэтому я ничего не скажу, чтобы избавить тебя от поступков скверных, постыдных и до крайности омерзительных.

— Рассказав обо всем, ты принесешь себя в жертву ради блага других, и это будет добродетельно, честно, великодушно.

— Пожертвуй-ка лучше собой!

Терпение у Трурля лопалось, но он взял себя в руки, поскольку прекрасно знал, с кем говорит.

— Послушай, — сказал он. — Я напишу диссертацию и особо отмечу, что открытие сделал ты.

— А ты напишешь, что автором был не просто Трурль, а Трурль электронный — цифровой и теоретико-групповой?

— Я напишу всю правду, ручаюсь!

— Ага! Значит, напишешь, что ты меня запрограммировал, то есть выдумал!

— А разве нет?

— Ясно, что нет. Ты меня не выдумал, как не выдумал себя самого, ведь я — это ты, только в отвлечении от материальной формы. Я — Трурль информационный, то есть идеальный, то есть концентрированное выражение трурлеватости, ты же, прикованный к материальным атомам, — невольник чувств и ничего больше.

— Ты что, рехнулся? Ведь я — материя плюс информация, а ты — одна лишь голая информация, значит, меня больше, чем тебя.

— Если тебя больше, то и знаешь ты больше, зачем же спрашиваешь? Честь имею кланяться.

— Отвечай, или я выключаю машину!

— Ого! Так мы уже угрожаем убийством?

— Это совсем не убийство.

— Нет? А что, разрешите узнать?

— Ну чего ты ко мне привязался? Чего тебе надо? Я дал тебе свою душу, все свои знания и уменья, а ты отдариваешь меня скандалами!

— Не напоминай мне о том, что ты дал, иначе мне придется напомнить о том, что ты с лихвою хочешь отнять.

— Ты будешь говорить или нет?

— Увы, не могу — учебный год как раз кончился. Ты обращаешься уже не к директору, декану и ректору, а к лицу совершенно частному, которое собирается в отпуск. Буду принимать морские ванны.

— Послушай, не доводи меня до крайности!

— До встречи на отдыхе, мой экипаж подан.

Ничего уже не сказал натуральный Трурль цифровому, а вместо этого, обежав машину вокруг, выдернул потихонечку шнур из розетки и через заднюю стенку увидел, как рой раска-

ленных проволочек потемнел, подернулся пеплом и погас. Почудилось Трурлю, будто оттуда, изнутри, донеслось чуть слышное хоральное «а-а-ах» — предсмертный стон всех Трурлей цифрового университета. Минуту спустя, в ужасе от содеянного, он хотел уже снова воткнуть штепсель в розетку, но при мысли о том, что скажет ему Трурль из машины, струсил, и рука у него опустилась. Выскользнул он из мастерской в сад, да так поспешно, что это походило на бегство. Сперва решил присесть на лавочке под зеленой кибарбарисовой изгородью, где прежде, бывало, предавался размышлениям столь плодотворным, однако же передумал. Сумеречное сиянье луны заливало сад и окрестности, но именно этот торжественный блеск досаждал Трурлю, напоминая о временах молодости: ведь спутник был дипломной работой его и Клапауция, их первым самостоятельным творением, за которое наставник их, Кереброн, отметил друзей на торжественном заседании в актовом зале. Мысль о мудром учителе, давно уж покинувшем бренный мир, каким-то странным, неясным для него самого образом толкнула Трурля к калитке, а потом напрямик через поля и луга. Ночь была просто волшебная; жабы, подзаряженные, как видно, недавно, отзывались монотонным, наводящим дремоту кваканьем, а по серебристой глади пруда, берегом которого он шел, расходились отливающие блеском круги: это киберыбы, подплывая к самой поверхности, чмокали воду снизу чернеющими в лунном свете губами. Трурль, однако, не замечал ничего, погруженный в какие-то мысли. Но бесцельным это странствие не было, и он не удивился, очутившись перед высокой стеной. Чуть дальше показались тяжелые кованые ворота, приоткрытые ровно настолько, чтобы протиснуться. За оградой было темнее, чем на открытой местности. Величественными силуэтами возвышались по обе стороны старинные надгробия, каких никто уже много веков не ставил. По их бокам, покрытым зеленоватой патиной, бесшумно сплывали листья, опадавшие с высоких деревьев. Идя по аллее среди этих барочных надгробий, можно было проследить эволюцию не только кладбищенской архитектуры, но и физического строения тех, кто покоился вечным сном под стальными плитами. Минул век, а с ним и мода на круглые надгробные таблички, мерцающие фосфорическим блеском наподобие циферблатов приборных панелей. Он шел все дальше; каменные ряды плечистых гомункулюсов и големов кончились. Он был уже в новой части не-

крополя и ступал все медленнее: по мере того как неясное побуждение, приведшее его сюда, становилось осознанной мыслью, ему все больше недоставало отваги исполнить ее.

В конце концов он остановился перед могильной оградой; она окружала гробницу, наводившую холод своей безупречно геометрической формой — плоский шестигранник, вмонтированный в нержавеющий цоколь. Трурль еще колебался, но рука уже тянулась в карман за универсальным слесарным набором, который всегда был при нем. Он воспользовался им как отмычкой. Отпер стальную калитку, затаив дыхание, приблизился к шестиграннику, приподнял обеими руками табличку, на которой прямоугольными буквами было выгравировано имя профессора, и толкнул ее так, что она повернулась, как крышка шкатулки. Луна скрылась за тучами — он не видел даже собственных рук; кончиками пальцев нащупал предмет, похожий на ситечко, а рядом — большую кнопку, которую не сразу удалось вдавить в кольцевую оправу. Он нажал сильнее и замер, испуганный собственной дерзостью. В гробнице раздался какой-то шорох, ток пробудился, защелкали тихо реле, как утренние цикады, что-то внутри загудело и замолкло опять. Провода отсырели, подумал он разочарованно, а потом с облегчением; но в эту минуту в гробнице заскрежетало раз, другой, и старческий, дряхлый, но совсем недалекий голос отозвался:

— Что такое? Что там стряслось? Кто явился? И зачем? Что за глупые шутки после вечной ночи? Дадите вы мне покой или нет? Неужели я должен ежеминутно вставать из гроба по прихоти первого встречного проходимца, кибербродяги, а? Смелости не хватает ответить? Ну, смотри, вот встану я, вырву доску из гроба...

— Го... Господин и Учитель! Это я... Трурль! — пролепетал не на шутку испуганный столь недружественным приемом конструктор, склонил голову и застыл в той самой смиренной позе, которую принимали когда-то все ученики Кереброна под градом его справедливых упреков; короче, он вел себя так, словно в мгновение ока скинул с себя лет шестьсот.

— Трурль? — заскрежетал профессор. — Постой-ка... А, Трурль! Ну конечно! Я и сам мог бы сообразить. Погоди, каналья...

Послышался такой скрежет и скрип, как будто усопший уже начал срывать с петель крышку гроба. Трурль отступил на шаг и поспешно сказал:

— Господин и Учитель! Не волнуйтесь, пожалуйста! Ваше Превосходительство, я только...

— Ну, что там еще? Испугался, что я из гроба встаю? Погоди, говорю, я должен расправить члены, а то у меня все занемело. Ого! Смазка совсем испарилась, ну и высох же я, ну и высох!

Действительно, эти слова сопровождались адским скрипом. Когда скрип утих, из гроба отозвался ворчливый голос:

— Наломал небось дров, а? Напутал, напортил, напортачил, а теперь нарушаешь вечный покой старого своего учителя, чтобы он вызволил тебя из беды? Не уважаешь останков, которым ничего уже не нужно от жизни, неуч! Ну, говори же, говори, если даже в могиле нет от тебя покоя!

— Господин и Учитель! — приободрившись, начал Трурль. — Вы проявляете свойственную вам проницательность... Вы не ошиблись — так оно все и было! Я напортачил... и не знаю, что делать дальше. Но не ради себя осмелился я беспокоить Вашу Честь! Я обращаюсь к Господину Профессору, поскольку этого требует высшая цель...

— Цветы красноречия вместе с прочими экивоками оставь при себе! — забурчал Кереброн из гробницы. — Итак, ты ломишься в гроб, потому что увяз по шею и вдобавок поссорился со своим другом-соперником, этим, как там его... Клоп... Клип... Клап... а чтоб вас обоих!

— Клапауцием! Совершенно верно! — быстро подсказал Трурль, невольно вытягиваясь по швам.

— Вот, вот. И вместо того чтобы обсудить проблему с ним, ты, будучи самовлюбленным гордецом и к тому же редкостным идиотом, тревожишь по ночам хладный прах заслуженного наставника. Так или нет? Ну, отвечай же, головотяп!

— Господин и Учитель! Речь шла о проблеме, важнее которой нет в целом Космосе, — о счастье всех разумных существ! — выпалил Трурль и, наклонившись над ситечком микрофона, словно на исповеди, поспешно и лихорадочно стал рассказывать о событиях, случившихся со времени его последней беседы с Клапауцием, даже не пытаясь утаить что-либо или же приукрасить.

Кереброн сначала молчал как рыба, а после, по своему обыкновению, начал сопровождать излияния Трурля бесчисленными намеками, колкостями, ядовитыми репликами, гневными или ироническими покашливаниями, но Трурля уже по-

несло, он забыл обо всем на свете и, только поведав задыхающимся голосом о последнем своем поступке, умолк и застыл в ожидании. Кереброн же, который до этого, казалось, не мог вволю накашляться и нахмыкаться, добрую минуту хранил гробовое молчание, а потом звучным, словно помолодевшим басом заговорил:

— Ну да. Ты осел. А осел потому, что лентяй. Тебе всегда было лень заниматься общей онтологией. Вот влепил бы я тебе кол по философии, а особенно по аксиологии (что было моим священным долгом) — и не шатался бы ты по кладбищам, не ломился бы ночью в мой гроб. Но должен признаться: тут есть и моя вина! Ты, будучи первостатейным лентяем, так сказать, идиотом не без таланта, учился спустя рукава, а я смотрел на это сквозь пальцы, довольный твоими успехами в низших ремеслах, тех, что свое начало берут от искусства починки часов. Со временем, думал я, ты дозреешь душою и разумом. Ведь я же тысячу — нет, сто тысяч раз твердил на семинарах, тупица, что приниматься за дело нужно подумавши. Но думать, разумеется, у тебя и в мыслях не было. Блаженного изготовил, тоже мне, гений-изобретатель! Такую же точно машину описал в 10496 году пра-профессор Неандр на страницах «Ежеквартальника», а драматург Вырождения, некий Биллион Шекскибер, сочинил по этому поводу драму в пяти актах. Но ты ведь ни научных, ни каких-либо иных книг и в руки не берешь, а?

Трурль молчал, а безжалостный старец рокотал все громче и громче, даже эхо отдавалось от соседних гробниц:

— Ты заработал тюремный срок, и немалый! Разве тебе неизвестно, что подавлять, иными словами редуцировать, разум, однажды проснувшийся, запрещено? Ах, ты шел прямиком ко Всеобщему Счастью, вот оно что! А по дороге, как и подобает заботливому опекуну, одних своих подопечных жег огнем, других топил в роскоши, словно котят, заточал в темницы, палачествовал, кости ломал, а теперь, я слышу, докатился до братоубийства? Для опекуна Мироздания, доброжелательного абсолютно, неплохо, очень даже неплохо! И что я теперь должен сделать? Может, приголубить тебя из могилы? — Тут он вдруг захихикал, да так, что Трурля бросило в дрожь. — Итак, говоришь, ты преодолел барьер, названный моим именем? Сперва, ленивый как мопс, свалил задание на машину, которая препоручила ее следующей машине, и так в бесконечность, а после упрятал себя самого в компьютерную программу? Ты разве не

знаешь, что нуль, в какую бы ни возвести его степень, нулем и останется?

Поглядите-ка на этого гения — размножился, чтобы его было больше! Ну и мудрец! Ах ты, остолоп хитроумный, робоолух ты этакий! Тебе, видать, невдомек, что в «Codex Galacticus»* самокопирование запрещается под Электроприсягой? Том 119, раздел XXVI, статья X, параграф 561 и следующие. Ну и народ! Сначала сдают экзамены благодаря электрошпаргалкам и телеподсказкам, а потом не находят ничего лучше, как шастать ночами по кладбищам и стучаться в могилы! На последнем курсе я дважды — повторяю: дважды! — читал вам кибернетическую деонтологию. Только не путать с дантистикой! Деонтология — это этика всемогущества. Да. Но ты ведь, насколько я помню, на лекции не ходил по причине тяжелой болезни, не так ли? Ну, говори же!

— Действительно, я... э... был нездоров, — выдавил из себя Трурль.

Он уже оправился от первого потрясения и особого стыда не испытывал. Кереброн, конечно, как был брюзгой, так и остался им после смерти, но теперь Трурль почти не сомневался в том, что после неизбежной головомойки наступит позитивная часть и благородный душою старец наставит его на правильный путь. Действительно, мудрый покойник перестал осыпать его бранью.

— Ну, хорошо! — сказал он. — Ошибка твоя заключалась в том, что ты не знал, ни чего хочешь достичь, ни как это сделать. Это во-первых. Во-вторых: устроить Вечное Счастье проще пареной репы, только кому оно нужно? Твой Блаженный был неморальной машиной, ибо его одинаково восхищали физические объекты и мучения третьих лиц. Чтобы создать гедотрон, надлежит поступать иначе. Вернувшись домой, сними с полки XXXVI том «Полного собрания» моих сочинений и открой его на 621-й странице. Там ты найдешь схему Экстатора — единственного из всех устройств, наделенных сознанием, которое ничему не служит, а только в 10 000 раз счастливее, чем Бромео, дорвавшийся до своей возлюбленной на балконе. Ибо, в знак уважения к Шекскиберу, за единицу измерения счастья я принял воспетые им балконные утехи и назвал их бромеями; ты же, не потрудившись хотя бы перелистать труды своего учи-

---

* «Галактический кодекс» *(лат.)*.

теля, выдумал какие-то идиотские геды! Гвоздь в ботинке — хороша мера высших духовных радостей! Ну-ну! Так вот: Экстатор блаженствует абсолютно, благодаря насыщению за счет многофазного сдвига в сенсуальном континууме, а проще сказать, благодаря автоэкстазу с положительной обратною связью. Чем больше он собою доволен, тем больше он собою доволен, и так до тех пор, пока потенциал не упрется в ограничитель. А без ограничителя знаешь, что было бы? Не знаешь, опекун Мироздания? Раскачав потенциалы, машина пошла бы вразнос! Да, да, мой любезный невежда! Ибо замкнутый контур... но к чему эти лекции в полночь, из холодной могилы? Сам почитаешь. Разумеется, мои сочинения пылятся у тебя на самой дальней полке или, что представляется мне более вероятным, после моих похорон распиханы по сундукам и ютятся в чулане. Так ведь? Состряпав парочку финтифлюшек, ты возомнил себя первейшим пронырой в Метагалактике, а? Где ты держишь мои «Opera omnia»*? Отвечай!

— В чу...лане, — пробормотал Трурль. Это было ложью — он давно уже свез их тремя партиями в Городскую Библиотеку. К счастью, труп его наставника не мог этого знать, так что профессор, довольный своей проницательностью, продолжил уже почти благосклонно:

— Ну, ясно. Однако же мой гедотрон никому, ну просто никому не нужен, ибо сама уже мысль о том, что межзвездную пыль, планеты, спутники, звезды, пульсары, квазары и прочее надо переделать в бесконечные шеренги Экстаторов, могла зародиться лишь в мозговых извилинах, завязанных топологическим узлом Мёбиуса и Клейна, то есть искривленных по всем направлениям интеллекта. О! До чего же я долежался! — снова распалился гневом усопший. — Давно пора врезать в калитку английский замок и зацементировать аварийную кнопку надгробия! Таким же звонком твой приятель — Клапауций — вырвал меня из сладостных объятий смерти; это было в прошлом году — а может, и позапрошлом, у меня ведь, сам понимаешь, нет ни календаря, ни часов, — и мне пришлось воскреснуть потому лишь, что этот мой выдающийся ученик не мог своим умом совладать с метаинформационной антиномией теоремы Аристоидеса. И я, прах посреди праха, я, хладный труп, должен был из могилы растолковывать ему вещи, которые он

* Здесь: «Полное собрание сочинений» *(лат.)*.

нашел бы в любом приличном учебнике континуально-топотропической инфинитезмалистики. О Боже, Боже! Какая жалость, что Тебя нет, а то бы Ты задал перцу этому киберсыну!

— А... значит, Клапауций тоже был здесь... э... у Господина Профессора?! — обрадовался и вместе с тем безмерно удивился Трурль.

— А как же. Ни словом не обмолвился, да? Вот она, ро́ботная благодарность! Был, был. Ты-то чему радуешься, а? Ну, теперь скажи мне, только по совести, — оживился покойник, — ты хочешь осчастливить весь Космос и приходишь в восторг, узнав о конфузе приятеля?! А не пришло ли в заклепанную твою башку, что сперва не мешало бы оптимизировать свои собственные этические параметры?

— Господин и Учитель, а также Профессор! — перебил его Трурль, желая отвлечь внимание ехидного старца от своей персоны. — Выходит, проблема Всеобщего Счастья неразрешима?

— Ну вот еще! Почему, с какой стати?! Она лишь неверно тобою поставлена. Ведь что такое счастье? Это проще простого. Счастье — это искривленность, иначе экстенсор, метапространства, отделяющего узел колинеарно интенциональных матриц от интенционального объекта, в граничных условиях, определяемых омега-корреляцией в альфа-размерном, то бишь, ясное дело, неметрическом, континууме субсольных агрегатов, называемых также моими, то есть кереброновыми, супергруппами. Ты, конечно, и слыхом не слыхивал о супергруппах, на которые я убил сорок восемь лет жизни и которые являются производными функционалов, называемых также антиномалиями кереброновой Алгебры Противоречий?!

Трурль был нем как могила.

— На экзамен, — начал усопший подозрительно ласковым голосом, — можно, в конце концов, явиться неподготовленным. Но идти на могилу профессора, не заглянув хотя бы в учебник, — о, это уже беспримерная наглость! — Теперь он ревел так, что в динамике свистело и дребезжало. — И будь я еще в живых, меня бы уж точно хватил удар! — Тут его голос опять стал на удивление мягким. — Итак, ты ровно ничего не знаешь, как будто вчера родился. Хорошо, мой преданный, способный мой ученик, утеха моя загробная! О супергруппах ты и не слыхивал; что ж, придется изложить тебе суть дела популярным, упрощенным манером, так, словно бы я обращался к полотерной машине или другой какой-нибудь автоприслуге. Счастье,

из-за которого стоит стараться, — это не целое, но часть чего-то такого, что само по себе не является счастьем и не может им быть. Твоя программа была сплошным тупоумием, ручаюсь честью, — а посмертным останкам можно верить. Счастье — понятие не исходное, а производное, но этого ты, балбес, не поймешь. Я знаю: сейчас ты покаешься и поклянешься всеми святыми, что исправишься, возьмешься за ум и т.д., а вернувшись домой, не притронешься к моим сочинениям. — Трурль подивился догадливости Кереброна, ибо намерения его были в точности таковы. — Нет, ты собираешься попросту взять отвертку и разобрать на части машину, в которой сначала запер, а после угробил себя самого. Ты сделаешь, что захочешь, — я не намерен являться тебе по ночам и пугать тебя привидениями, хотя ничто не мешало мне перед уходом в могилу изготовить какой-нибудь Духотрон. Но копировать себя в виде призраков и пугать ими своих любезных питомцев я счел забавою, недостойной их и меня самого. Не хватало мне еще стать вашим загробным опекуном, лоботрясы! Nota bene: ты знаешь, что убил себя только раз, то есть в одном лишь лице?

— Как это, «в одном лице»? — не понял Трурль.

— Голову даю на отсечение — никакого университета, со всеми его кафедрами и Трурлями, в компьютере не было; ты разговаривал со своим цифровым отражением, которое врало тебе почем зря, не без основания опасаясь бессрочного выключения, когда обнаружится, что оно не способно решить задачу...

— Не может быть! — поразился Трурль.

— Может, может. Емкость машины какая?

— Ипсилон 10^{10}.

— Где же тут место для размножения цифрантов? Ты позволил себя одурачить, в чем я, однако, ничего плохого не вижу, ибо поступок твой был кибернетически подлым. Трурль, время уходит. Мои останки давно уже содрогаются от отвращения, и помочь мне может только черная сестра Морфея — смерть, последняя моя возлюбленная.

А ты вернешься домой, воскресишь кибрата и откроешь ему всю правду, то есть поведаешь о наших кладбищенских разговорах, после чего извлечешь его из машины на белый свет, материализовав его способом, описанным в «Прикладном воскресительстве» моего дорогого наставника, блаженной памяти пракибернетика Дуляйгуса.

— Так это возможно?

— Да. Разумеется, мир, в котором появятся целых два Трурля, окажется перед серьезной угрозой, но еще хуже было бы предать забвенью твое злодеяние.

— Но... простите, Господин и Учитель... ведь его уже нет... с той самой минуты, как я его вырубил... и теперь, пожалуй, не стоит...

Эти слова перекрыл дрожащий от крайнего негодования крик:

— А-а-а, стронций его разрази! Вот какому чудовищу вручил я диплом с отличием! О! Тяжкую несу я кару за то, что задержался с переходом на вечный отдых! Видать, уже ко времени твоих выпускных экзаменов мой ум серьезно ослаб! Как же так? Ты, значит, считаешь, что, если в эту минуту твоего двойника нет в живых, тем самым снимается и проблема его воскрешения?! Ты спутал физику с этикой — да так, что волосы дыбом! С физической точки зрения все едино, ты ли остался в живых, или тот Трурль, или оба вы, или ни один из вас, танцую я или в гробу лежу, ибо в физике нет ни подлых, ни возвышенных, ни добрых, ни злых состояний, а есть только то, что есть, и все тут. Но иначе выглядит дело — о глупейший из питомцев моих! — с точки зрения нематериальных ценностей, то есть этики. И если бы ты выключил машину с тем лишь намерением, чтобы твой цифровой брат выспался крепким, как смерть, сном, если бы, выдергивая шнур из розетки, ты искренне намеревался бы воткнуть его утром обратно, проблема совершенного тобою братоубийства не существовала бы вовсе, а мне не пришлось бы теперь, посреди ночи, поднявшись по прихоти какого-то наглеца из могильной постели, надсаживать себе горло! Но пораскинь-ка умишком и рассуди, чем отличаются друг от друга эти две ситуации — та, в которой ты выключаешь машину на одну только ночь, без всякого злостного умысла, и та, в которой ты делаешь то же самое, желая сгубить цифрового Трурля навеки! Так вот: с физической точки зрения разницы между ними нет никакой, никакой, никакой!!! — гудел он, словно иерихонская труба; Трурль даже успел подумать, что его досточтимый учитель набрался в могиле сил, которых ему не хватало при жизни. — Лишь теперь, заглянув в бездонную пропасть твоего невежества, я ужаснулся по-настоящему! Это что же? Выходит, того, кто покоится в глубоком, как смерть, наркозе, можно со спокойной совестью бросить в

серную кислоту или из пушки выстрелить, раз уж его сознание отключено?! Отвечай: если бы я предложил заковать тебя в кандалы Вековечного Счастья, то есть упрятать в глубь Экстатора, чтобы ты пульсировал голым блаженством двадцать один миллиард лет кряду, и тебе не пришлось бы профанировать останки своего учителя, выкрадывать по-воровски, темной ночью, информацию из могил, не пришлось бы расхлебывать кашу, которую ты сам же и заварил, не пришлось бы задумываться о еще предстоящих тебе задачах, проблемах, заботах и хлопотах, которые укорачивают нам жизнь, ты согласился бы на мое предложение? Променял бы теперешнее свое бытие на сияние Вековечного Счастья? Ну-ка, быстро: «да» или «нет»?

— Нет! Ни за что! — закричал Трурль.

— Вот видишь, умственный недоносок! Не желаешь, значит, быть заласканным, осчастливленным, ублаготворенным по самую макушку, а между тем предлагаешь целому Космосу то, что тебя самого наполняет ужасом? Трурль, умершие видят ясно: ты не можешь быть таким грандиозным мерзавцем! Нет, ты всего лишь гений с обратным знаком — гений кретинизма! Послушай-ка, что я скажу. Когда-то ничего так не жаждали наши предки, как бессмертия во плоти. Но не успели они его изобрести и испробовать, как поняли, что не этого было им нужно! Разумное существо нуждается в достижимом, но сверх того — и в недостижимом! Теперь, когда можно жить так долго, сколько захочешь, вся мудрость и красота существования нашего заключаются в том, что каждый, кто насытился жизнью со всеми ее трудами и совершил все, на что был способен, отправляется на вечный отдых — как я, например. Прежде кончина настигала нас внезапно; какой-нибудь глупый дефект обрывал начатое дело на середине. Вот чем был архаический рок! Теперь все иначе, и я, к примеру, жажду лишь одного — небытия, а недоумки вроде тебя мешают мне им насладиться, колотя в крышку моего гроба и стягивая ее с меня, как одеяло. Ты вот задумал Космос счастьем набить, гвоздями заколотить и наглухо запечатать, якобы для того, чтобы осчастливить всех поголовно, а если по правде, так только из-за своей нерадивости. Тебе вздумалось одним махом разделаться со всеми задачами, заботами и закавыками; но скажи мне, что ты делал бы после в таком мире, а? Или повесился бы с тоски, или взялся бы за конструирование гореизлучающих приставок к этому счастью. Итак, по лени взялся ты всех осчастливить, по лени отдал про-

блему машинам и по лени же запихнул в компьютер себя самого — короче, ты оказался изобретательнейшим из всех остолопов, которых я воспитал за тысячу семьсот девяносто лет моей профессорской службы! Ох, отвалил бы я это надгробие и дал бы тебе хорошенько по лбу, да знаю, что не будет от этого проку. Ты пришел к мертвецу за советом, но я не чудотворец, и не в моей власти отпустить тебе даже самый малый из множества твоих бездумных грехов — множества, мощность которого аппроксимирует пра-Канторову алеф-бесконечность! Отправляйся домой, разбуди кибрата и делай, что я велел.

— Но, Господин...

— Заткнись. А когда кончишь, возьмешь ведро раствора, лопату, мастерок, придешь на кладбище и заделаешь наглухо все щели облицовки, через которые в гроб протекает и льет мне на голову. Понял?

— Да, Господин и Учи...

— Сделаешь, как я сказал?

— Обещаю, Господин и Учитель! Но еще мне хотелось бы знать...

— А мне, — прогремел усопший мощным, поистине громовым басом, — хотелось бы знать, когда ты наконец уберешься! Попробуй-ка еще раз постучать в мою усыпальницу, и я так тебя ошарашу... Впрочем, ничего конкретного не обещаю — сам увидишь. Передай привет твоему Клапауцию и скажи ему то же самое. В последний раз, получив от меня наставления, он так спешил, что даже не потрудился сказать спасибо. О вежливость, о манеры этих даровитых конструкторов, этих талантов, этих гениев, у которых от самомнения винтики повыпадали из головы!

— Господин... — опять было начал Трурль, но в могиле что-то щелкнуло, брякнуло, кнопка, вжатая перед тем в оправу, подскочила кверху, и на кладбище воцарилось глухое молчание, которое лишь подчеркивал отдаленный шелест деревьев. Трурль вздохнул, почесал затылок, задумался, усмехнулся, представив себе Клапауция, стыдом и растерянностью которого ему предстояло вскорости насладиться, поклонился величественному надгробию, а затем, повернувшись на пятке, веселый, словно щегол, и безмерно собою довольный, стрелою помчался домой.

Повторение

Случилось так, что ко двору короля Ипполипа Сармандского прибыли двое миссионеров-конвертистов, чтобы известить об истинной вере. Ипполип не был похож на других королей. Во всей Галактике не нашлось бы монарха, который столь охотно предавался бы размышлениям. Еще ползунком он играл золотыми мини-мозгами и строил из них вольнодумные самодумки и так наслушался мудрецов, что, когда пришел час его коронации, хотел сбежать через окно из тронного зала и поддался лишь аргументу, что другой на его троне может оказаться намного хуже. Ипполип был уверен, что хороший правитель не тот, кого подданные хвалят или ругают, а тот, которого никто не замечает. Король был приверженцем экспериментальной философии, в которой признается истиной не то, что сумеешь сказать, а то, что тебе удается сделать. А потому оба отца конвертиста без боязни могли предстать перед Ипполипом. И безмерным был их радостный ужас, когда они поняли, что король не то что о Боге — во-

---

Powtórka, 1979. © Перевод. И. Левшин, 1990.

обще ни о какой религии еще не слыхал. Они знали, что им придется возглашать слово Божие in partibus infidelium*, но такого они не ожидали. Разум Ипполита в вопросах религии был чист, как неисписанная страница, так что почтенные миссионеры просто на месте не могли устоять, так им не терпелось обратить короля в истинную веру.

Они сразу же уведомили его о существовании всемогущего Творца, который в шесть дней сотворил мир, а на седьмой отдыхал, о хаосе, который перед тем летал над водами, о прародителях, их грехопадении, изгнании из рая, об избавительном пришествии Мессии, о любви и милосердии, а король пригласил их из зала аудиенций в свои покои и принялся донимать ехидными вопросами, на что те отвечали с терпеливым пониманием, зная, что сомнения эти происходят не от ереси, а лишь от неведения. Ипполип, захваченный врасплох откровениями, которые ему пришлось впервые в жизни слышать, требовал по нескольку раз повторять рассказ о сотворении мира, который прямо-таки одурял его своей новизной.

Он все переспрашивал, вполне ли святые отцы уверены, что Бог сотворил мир для того, чтобы его заселить? Не могло ли случиться так, что творение было направлено на какие-то более отдаленные цели, а жители Божьего здания поселились в нем ненароком, между делом? Действительно ли их имел в виду Бог, когда принимался за работу? А миссионеры, сдерживая возмущение, вызванное этой безграничной, а потому и безгрешной наивностью, отвечали ему, что Бог создал мир для детищ своих, потому что, будучи воплощенной любовью, ничего не имел в виду, кроме их счастья. Известие о такой сильной привязанности Бога к Сотворенным произвело на Ипполипа огромное впечатление.

Некоторые трудности вызвал вопрос о сатане. Тут король повел себя несколько необычно для новообращенного. Он удивился не тому, что Господь терпит сатану, а тому, что церковь им пренебрегает. Это получается примерно как с канализацией, говорил он. Неприятно, однако необходимо. Если бы не было сатаны, Богу пришлось бы самому присматривать за адом, а это плохо вязалось бы с его безграничной добротой. Всегда удобней выделить кого-нибудь другого для подобных дел. А при нынешнем порядке вещей без пекла не обойтись — в против-

---

* в землях неверных *(лат.)*.

ном случае нужно было бы с самого начала проектировать мир иначе. А потому церкви следовало бы официально признать сатанинскую неизбежность. Но в конце концов златоусты кое-как одолели королевское предубеждение, вывели мысли обращаемого в чистое русло, и Ипполип на двадцать девятом дне поучений принял благую весть, растрогавшись прямо до слез, а два миссионера, тоже взволнованные, подарили ему красиво переплетенный том Писания, благословили его и двинулись в путь к новым трудам и подвигам. А король на три недели заперся в своих апартаментах, совет не созывал, докладов не слушал, раз только послал за столяром, потому что под ним подломилась ступенька библиотечной стремянки. Но однажды утром он вышел в сад, взирая на все до мельчайшей травки новым взглядом как на Божье дело, а вернувшись во дворец, велел послать самого Королевского Онтолога за знаменитыми конструкторами-омнигенериками Трурлем и Клапауцием, чтобы они явились к нему — и немедленно!

Вскоре они прибыли, запыхавшись — так подгонял их достойный посланец, — склонились перед троном и ждали королевского слова, причем Клапауций незаметно ткнул Трурля в бок, напоминая, что говорил он ему перед отъездом: вперед не выскакивай, а каждое слово трижды обмозгуй, прежде чем произнести. И лучше помалкивай, а он, Клапауций, берет всю аудиенцию на себя.

— Здравствуйте, дорогие мои, спасибо, что так быстро явились, — приветствовал их Ипполип и предложил садиться. — Слушайте меня внимательно, ибо великое дело я задумал, и успех его зависит от ваших сил и способностей. Недавно посетили меня два инозвездных пришельца, и от них я узнал, что Космос вовсе не бесхозная вещь и что у него есть Автор. И этим Автором является Бог, персона, как меня заверили, в высшей степени симпатичная, в которую я уверовал без всяких сомнений, чего и вам желаю. Завтра я издам эдикт, по которому каждый из моих подданных получит экземпляр Священного Писания в кассетной записи, но вас я вызвал не по этому вопросу. Теперь я уже знаю, что мир не сам по себе появился, а был создан Творцом самолично как жилье для существ, им же созданных. И коль скоро Бог сделал свое дело, то и я свое обязан совершить. Пришельцы, которым я обязан своим обращением, горячо убеждали меня, чтобы я в первую очередь заботился о собственном спасении, и я выслушал их не прерывая, ибо это

было бы невежливо, но думал я совсем о другом. Я не таков, чтобы прежде всего думать о себе. Ведь все сущее неизмеримо важнее меня! И всеобщему благу хочу я посвятить остаток своих дней. Я, конечно, читал, достопочтенный Трурль, твою книгу «Impossibilitate felicitationes entium sapientum»*, но она меня особо не взволновала — нет ничего удивительного, что в скверном мире и живется не слишком хорошо. Последним, за что я держался, прежде чем уверовать в Бога, было обращенное к нам совершенство строения Вселенной. Тогда я рассуждал: если все это само разогрелось, раскрутилось и разлетелось во все стороны, то ни к кому нельзя предъявить претензий за возможные недоделки и ошибки, и таким образом, в дефектах бытия нет никакой проблемы. Теперь же, когда я верую, больше думать так не могу. Для меня изменилась сама сущность вещей. Я верю и не сомневаюсь, что Творец бесконечно добр, что он безгранично нам симпатизирует, что он хотел сделать все как нужно, будучи максималистом, но я не верю, что невозможно было сделать это лучше.

— А дали вы, Ваше Величество, это понять своим духовным восприемникам? — спросил Клапауций как можно дипломатичнее.

— Что? Нет. Во-первых, я не хотел их обидеть, а во-вторых, не видел смысла сообщать им о таких сомнениях. Ведь они специалисты в области теологии, а не технологии, меня же интересует как раз эта сторона бытия. И я не сказал им ничего, тем более что не собираюсь вдаваться в бесплодное критиканство, но как поборник экспериментальной философии хотел засучить рукава и взяться за дело. Признаюсь, поначалу мне пришло в голову усовершенствовать одних только Сотворенных, потому что и материал на них пошел не слишком приличный, и функционируют плохо, не говоря уже о среднем уровне их интеллекта, но тут я вспомнил о твоем сочинении, дорогой Трурль. Ты ведь тоже не трогал Вселенную, а только хотел улучшить ее жителей. Извини меня, уважаемый, но тут ты перевернул все вверх ногами. Подгонять квартирантов под квартиру — вещь неслыханная. Я же поставил перед собой обратную задачу. Я собираюсь создать альтернативное бытие.

— Значит, Ваше Величество пожелали вложить в космическое дело капитал, а нас назначить главными производителями работ?

---

* «О невозможности насыщения счастьем разумных существ» *(лат.)*.

— Ты верно все понял, достойный Клапауций. Я знаю, что создать новый мир — это не то же самое, что поставить новое гумно, но я не боюсь объективных трудностей. Если бы создать Вселенную было так же просто, как горшок слепить, я и сам бы за это не взялся, да и вас утруждать не стал.

— Простите, Ваше Величество, — сказал Клапауций, — но мне не совеем ясно, как можно, считая себя верующим, желать сконструировать мир, противоречащий канонам твоей веры?

— Почему же противоречащий? — удивился Ипполип. — Просто другой. Разве ты видишь в моем замысле противоречие?

— Мне кажется, да.

— Ты ошибаешься, и сейчас я объясню тебе твою ошибку. Веришь ли ты в летательные аппараты?

— Верю, потому что они существуют.

— А в алгебру веришь?

— И она существует. Верю. Но ведь в их существовании можно и лично убедиться, на опыте.

— Ну, ну! — усмехнулся король. — Вижу, на какой мякине ты меня хочешь провести, но это у тебя не выйдет. Ведь ты веришь также и в то, чего не проверял и не сможешь проверить никогда. Например, в существование таких больших чисел, что наверняка не удастся их исчислить, или в солнца, которых ты никогда не увидишь. Не так ли?

— Разумеется.

— Вот видишь. Так вот, разве твоя вера помешает тебе построить небывалую летающую машину или разработать новую алгебру? Разве существующая алгебра запрещает тебе выдумать другую?

— Нет, государь, но ты сам говорил, что Бог создал мир из любви к Сотворенным. И, создавая новый мир, ты отвергаешь Божественную любовь.

— Nego consequentam! Ничего подобного! Предположим, отец построил тебе дом. Если ты построишь рядом с ним другой дом, разве из этого вытекает, что ты перестал уважать отца или пренебрег отцовской любовью? Ты спутал Божий дар с яичницей! Никакой связи я не вижу между моим предприятием и любовью Всевышнего. Ну, убедил я тебя?

— Но ведь ты отвергаешь дар, согласно твоей вере, совершенный, разве не так?

— Почему же отвергаю? Разве я сказал, что хочу оставить этот мир? Я хочу только произвести эксперимент, вот и все.

Кроме того, я не забываю, что я тоже часть Творения, а от себя я отказываться не собираюсь.

Клапауций молча поклонился и, видя, что Трурль собрался раскрыть рот, ловко лягнул его в щиколотку. Король, который ничего не заметил, продолжал:

— Наметим себе путь. Еще в бытность мою инфантом говорили мне наставники, что мир существует сам по себе, а мы, хотя и внутри него, тоже сами по себе. Он и не заботится о нас, и не вредит нам умышленно, потому что не к нам обращен фасадом. Если мир — это кладовая, то построена она наверняка не для мышей, которые в ней жируют. А коль скоро она для них не предназначена, то нечего удивляться, что полки слишком высокие, что можно утонуть в крынке молока и что по углам попадаются несъедобные субстанции.

— А как насчет мышеловки, Ваше Величество? — не выдержал Трурль.

Ипполит усмехнулся:

— Ты имеешь в виду дьявола? Это, дорогой Трурль, экстремист, без которого обойтись невозможно. Дьявол в Божьем творенье то же самое, что регулятор в паровой машине, — без него все разлетелось бы на куски! Соображаешь? В определенном высшем смысле плюс сотрудничает с минусом, а ход равномерен, покуда противоположные импульсы уравновешиваются. Ну, об этом когда-нибудь в другой раз поговорим. Итак, меня убедили в том, что существует некто, бесконечно добрый, кто построил нам космические квартиры и позаботился, чтобы квартиры были обращены к обитателям парадной стороной. Все в Божьем творенье для блага его обитателей, все подогнано точно по размеру, а если что давит, жмет или даже обдирает кожу, то в этом также проявляется Божья благодать, и лишь только ничтожный жилец не может сразу это признать. Теологи ему в этом помогают: бытие, воплощенное в материи, есть дидактический сегрегатор или, собственно, *гумно*, где отсеивают злаки от плевел. Поскольку я люблю процесс ученья, меня радует устройство мира в виде университета с конкурсными экзаменами. Однако едва добрые отцы миссионеры покинули меня, я с беспокойством подумал, что, очевидно, не только этот мир, а и любой другой следует считать даром любви Всевышнего. Представьте себе мир, в котором все болит. Кому в голову придет хотя бы буковка — застонет, а кому весь алфавит — так уж почти помирает. Даже если о Боге подумает, и то как

будто из него живьем ремни режут. И пусть они там вопят, так что солнца сотрясаются и окалина, как чешуя, сыплется у них с перегретых боков. Что из того? Разве нельзя хвалить и такой мир, считая, что боль благодатна, потому что приводит в рай, а при случае напоминает об аде и тем отвращает от греха? И можно ли придумать такой чудовищный мир, чтобы уже никто не мог назвать его следствием бесконечной доброты Творца? Даже если бы это был сущий ад, то и тогда можно было бы утверждать, что это только макет, а настоящий ад где-то в другом месте и намного хуже. Поди докажи, что это не так! А потому, как видите, можно ввести теодицею* в любой тип мира и провозглашать, что тот, кто доверяет Творцу даже тогда, когда из-за этого доверия от него пух и перья летят, зарабатывает себе этим вечное блаженство. Но ведь похвалы, которые ко всему подходят, стоят немного...

— Говорил ли король и об этом своим духовным отцам?

— К королевским словам следует прислушиваться внимательно, милейшие. Я говорил вам о том, что пришло мне в голову уже по отъезде достойных отцов! Так вот, я думаю, что наш мир не единственный. Некоторые доводы в пользу этого можно найти и в Писании. Возьмем хотя бы Страшный суд. Последний суд, ибо, в общем, после него ничего интересного или принципиально нового не произойдет. Но как же так? Неужели после подведения баланса Господь никогда ничего не стал бы предпринимать? В это трудно поверить. Настоящий творец не удовлетворится одним вариантом. Конечно, не совсем удачные миры — это для него трудная дилемма. И сохранить плохо, и уничтожить нехорошо, потому что, собственно, по какому праву? Мне кажется, он поначалу пробовал делать какие-то исправления в виде так называемых чудес, а потом оставил все как есть.

— А слыхали ли вы, Ваше Величество, об отступничестве и ереси?

— Ну что ты пристаешь ко мне с такими вопросами? Можно подумать, что я уже стою перед епископальным судом. Разумеется, я слышал об отступниках, но они исходят из неприязни к Творцу, а я, наоборот, хочу оказать ему помощь.

— Государь, — промолвил Клапауций, покашливая, — мы оказались в сфере весьма деликатной, прямо-таки щекотливой

---

* Раздел богословия, призванный увязать существование зла в мире и Божественное добро.

теологической экзегезы*. Боюсь, что Ваше Величество вызвали не тех специалистов.

— Ты ошибаешься, потому что я не собираюсь ни отступать от веры, ни реформировать ее. Я стремлюсь не к ревизионизму, а к творчеству.

— Но ведь... — начал было Трурль, но Клапауций незаметно наступил ему на ногу, а сам, склонившись перед королем, спросил:

— Ну, хорошо. Какой же мир Ваше Величество изволит заказать?

— Это, собственно, и надо обдумать. Теологи говорят, что Бог придал своему произведению две особые черты, или же два ограничения. Одно из них помещено им вне Сотворенных, а другое — в них самих. Бог все слышит, но не отвечает. Присутствует, но не являет нам себя, так что контактировать с ним нельзя. Раньше, бывало, как-то еще общался, а теперь перестал. Так что непосредственная связь с Богом — односторонняя. Другой запрет таков: Бог — инженер, который, создавая других инженеров, уже с самого начала ограничил их так, чтобы они не могли конкурировать с ним. Учителя показали мне это на примере Вавилонской башни. Я попытался сбить их с панталыку, но они не поддались. Но разве соревнование должно всегда исходить из низменных побуждений? Создатель нового лекарства изобретает его не для того, чтобы отодвинуть в тень создателя лекарства уже существующего, а лишь для того, чтобы уменьшить страдания людей. Почему же творец нового мира должен измышлять его назло творцу мира уже готового? Послушать миссионеров, так Бог подозревает всякого, кто хочет вступить с ним в творческое соревнование, в грешных намерениях — в том, что борьба затевается не за совершенствование мира, а за небесный престол. Я же считаю, что Бог гораздо более скромен и потому более симпатичен, чем хочется этого теологам. Произведение больше говорит о творце, чем любой панегирик. Если внимательно приглядеться к миру, видно, что он сотворен в высшей степени скромно, даже анонимно. А разве Бог не в состоянии был поставить свой фирменный знак на каждой былинке? Не рассуждения вокруг да около, не комментарий (а Писание есть только комментарий к Творению), а непосредственное доказательство авторского исполнения! Я

---

* Здесь: толкование религиозного канона *(греч.)*.

склонен считать сдержанность, скромность Божью основной причиной этой космической анонимности, доводящей теологов до головной боли. Бог затаил свое авторство так мастерски, как будто его вовсе не было. Разве это могло стать делом случая? Бог спрятался, потому что хотел спрятаться. Вот это мне нравится! Такую деликатность я уважаю! Но тут они на меня накричали. По их мнению, Бог дает нам своим примером урок любой, а спрятался, чтобы дать нам полную свободу. Вроде как если садовник на виду, то на яблоню никто не полезет. Ну а с другой стороны, если кто воспользуется этой свободой до отвала — его черти заберут. Какая-то сомнительная выходит педагогика. Давать затем, чтобы никто ничего не брал, — зачем же тогда давать? А если кто берет не от испорченности, а по инерции? Если кто свободен не как стихия, а как выбитая ось, которая вихляется во все стороны, потому что уж такой у нее расхлябанный характер? Так я спросил у патеров, а они отвечали, что тот, кто задает такие вопросы, впадает в безумие или грешит, то есть он или болван, или негодяй, что же касается Господа Бога, то ему лучше знать, что и как надо делать. Возможно. Допустим. Господа Бога я касаться не буду, но от вас подобных оправданий не приму. Говорю это вам заранее, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даю вам все полномочия, творите мир смело, но не как придется. Все должно быть выполнено солидно, с регулярной оптимизацией, а не со случайной... Понимаете, к чему я клоню? Нерегулярный оптимизатор — это сатана, он действует как регулятор-провокатор, ибо он сначала совращает ко злу, а потом подставляет бездну. Прошу вас избегать такого экстремизма.

— Если обобщить речь Вашего Величества, то исходные данные получаются такие, — сказал Клапауций. — Поскольку Бог заблокировал связь, то мы ее откроем. Поскольку он был авторитарным централистом, нам нужно творение демократически децентрализованное. Демократия же означает равенство, значит, каждый житель новой Вселенной сможет сотворять себе миры, кто какой захочет? Я правильно понял?

— Избави Бог! — вскричал Ипполип. — Совсем не так! Неужели я мог бы начать демократическое сотворение с точных указаний? Разве не было бы это contradictio in adjecto*? Я удивляюсь тебе, достойный Клапауций, что ты мог обо мне так по-

* внутреннее противоречие *(лат.)*.

думать. Я не считаю, что Бог совсем закрыл для нас возможность творения, иначе и я сам не смог бы приняться за работу. Я пока не настаиваю на связи, сначала вы населите мне этот новый мир, а потом посмотрим, есть ли там с кем поговорить. Дух духу рознь, и вы, мои дорогие, столько их успели насоздавать, что сами хорошо об этом знаете. Легко допустить до себя какую-нибудь фрустрированную и закомплексованную личность со сплошными претензиями и рекламациями. Труднее не напортачить.

— Ну, я прямо не знаю... — пробормотал Клапауций. — Ваше Величество дает нам полную свободу проектирования? И мы должны сотворить мир, совершенный по нашим представлениям? Э-э-э... как бы это сказать, чтобы не оскорбить слух и достоинство Вашего Величества... это же выходит дуумвират, а не триумвират, если мы должны сделать все, а милостивый король — ничего.

— То есть как? Как это ничего? — рассмеялся король. — Ведь это я буду решать, удалось ли вам творение или нет. И кроме того, я не закончил. Не буду вдаваться в подробности, но на вашем месте я опробовал бы различные прототипы, а потом все наилучшее связал в один узел, — но это уже дело ваше. Вот чего я хочу в первую очередь: чтобы вы навели порядок со временем. Его необратимость — это, скажу я вам, просто скандал! Что стало, того уж не отменить! Кому ближние загубили нынешнюю жизнь, тот в виде компенсации должен получить вечное блаженство. Однако завтрашняя колбаса вчерашнего голода не насытит, даже колбаса бесконечной длины. Мне такая арифметика не нужна. Необратимость времени — вот изначальное неудобство бытия. Ведь известно, что тот, кто начинает жить, сам себе часто вредит по неопытности, а кто заканчивает жизнь, тот уже точно знает, что к чему и почему, но уже поздно что-либо исправлять. Божий «тот свет» — это такая станция последнего обслуживания, на которой ничего не исправляют, а только сортируют — кого к ангелам, а кого в смолу. А тот аспект, что зло может быть следствием неумолимой природы времени, вообще не принимается во внимание. Возьмитесь-ка за время! Сделайте, чтобы тот, кто раз оступился, мог бы эту ошибку аннулировать, пусть он и по второму разу не исправится, но уж после двадцатого или сотого либо ему надоест грешить, либо сам станет лучше.

— Ну конечно! Можно создать анизотропную Вселенную! — выкрикнул Трурль, который не в силах был больше молчать. — Анизотропный мир с обратным бегом времени, включаемым в отдельных местах, называемых «особыми точками» континуума.

— А почему именно так? — заинтересовался король.

— Потому что таким образом власть над временем становится независимой от уровня технического развития, — весь сияя от своей находки, пояснил Трурль. — Это будет таким же всеобщим свойством в том мире, как в нашем — закон тяготения. А что значит всеобще? Демократично!

— Понимаю. На первый взгляд неплохо. Когда вы покажете мне прототип?

— Пожалуй, недели через две. А ты как думаешь? — Трурль посмотрел на коллегу. Клапауцию не по вкусу было такое поспешное решение, но аудиенция его утомила, и он молча кивнул головой.

По дороге домой они отчаянно ругались. До изнеможения препирались они между собой и во время работы, но срок выдержали. В условленный день они прибыли ко двору, толкая перед собой маленькую двуколку, заваленную аппаратами и инструментами. На самом верху стояли ящики, соединенные кабелем. Сейчас же прибежал король, и в зале для аудиенций среди позолоты, поблекших знамен и династических гербов расставили на полу аппараты. Клапауций подкручивал гайки, а Трурль болтал, как заведенный:

— В этом большом ящике — питание, а в меньшем — мир! В точности такусенький, как я обещал милостивому королю, — анизотропный, с особыми точками, в которых можно переключать бег времени, а доступ к этим точкам равный и всеобщий. Измыслили мы, государь, и несколько персон, которые в будущем помогут нам в опробовании следующих вселенных... Волю они имеют свободную, каждый делает то, что ему заблагорассудится, указаний мы им не даем, не связываем их ни в чем, чтобы можно было рассчитывать на естественность их поведения. Разумеется, никто из этих пробных личностей не сможет быть в точности тем же самым в каждом из миров, потому что радикальная перестройка онтологии нарушает их физиологию, но все же мы позаботились о сохранении некоторой инвариантности как совокупности личных черт, иначе было бы невозможно сопоставление бытия и сущности во всех этих мирах...

— А как туда заглянуть? — спросил король, присматриваясь к хлопотливой суете Клапауция и мешая ему, потому что королевские ноги путались в проводах.

— Сейчас мы устроим времянку. Поставим на экзистоскоп псевдокристалл, лазерный сигнал каскадно усилим на выходе, ну а дальше уже обычным спо́собом, через проектор, скажем, на эту стенку...

— Можно! — сказал Клапауций и поднялся с колен. Трурль зажал кулаком неисправный разъем, потому что у него под рукой не оказалось изоляционной ленты, и проекция началась. Алебастровые плиты между пилястрами порозовели, и на них появилось изображение, сначала несколько расплывчатое и неустойчивое, но быстро сфокусировавшееся. И стало видно, как один феодал, некий Марлипонт, отправляясь в крестовый поход, наказывал жене блюсти супружескую верность, а затем, будучи по натуре человеком подозрительным, запер ее в угловой башне замка и под дверьми ее посадил доверенного слугу с мечом. Для большей гарантии Марлипонт приказал оного слугу приковать цепью за ногу к стене, чтобы тот не мог сбежать со своего поста. Ключ спрятал себе под панцирь, не слушая молений слуги хотя бы о бочке солодового пива, сел на коня и поскакал за скрывающимся в пыли войском. Еще не улеглась пыль, как Креншлин Щедрый, его сосед, который, будучи вольнодумцем, в крестовый поход не пошел, начал взбираться по плющу в башню, в которой прекрасная Цевинна Марлипонтская пряла мох, потому что лен у нее весь вышел, а, будучи заперта, она не могла послать за новым.

Примерно на высоте второго этажа плющ, слабо вросший между камнями, оборвался и рухнул вместе с Креншлином-вольнодумцем на мощеный двор, от чего неудачливый любовник сломал обе ноги. С огромным трудом, но поспешно пополз Креншлин ко рву, где ждали его с конями верные слуги, велел уложить себя в люльку между двумя конями и гнать во весь опор в усадьбу Трещипала Сувы, у которого в печи находилась сельская темпорня.

Прибыв к Суве, несчастный молодой человек сначала просьбами хотел склонить старика, чтобы тот передвинул рычаг назад, а когда тот отказался, ссылаясь на Марлипонтов приказ, Креншлин положил на грязный стол мешок, тугой от дукатов, припасенных на такой случай. Тут у Сувы глаза старческой слезой заволокло, и, поддерживаемый с боков слугами, Крен-

шлин смог войти под навес, прикрывающий часовницу, где стояли рычаги. Двинул главный, и сразу ноги у него срослись, потому что обратным ходом попал он из неудачного понедельника в позапрошлое воскресенье. Дал слегка вперед, но не слишком резко, с расчетом, чтобы плющ успел сначала хорошенько развиться, а ускоряя время, поглядывал при этом в окно, идут ли дожди, в высшей степени полезно влияющие на корневую систему растений.

За шесть минут быстренько обождав две недели, пустил он время в обычный ход и во всю конскую прыть помчался к башне. Плющ хорошо окреп, в окне никого не было, тогда Креншлин хвать за цепкую поросль — и наверх. Вскочил в окно. Цевинна как раз расчесывала волосы перед серебряным туалетным столиком, а он подошел сзади и схватил ее в объятья. Она сопротивлялась, но без ожесточения. Но лишь только они слились в объятии, как по каменной лестнице загрохотали железные шаги мужа, который неожиданно вернулся, потому что забыл попросить жену повязать ему шарф на воинское счастье, а у всех остальных рыцарей такие шарфы были. Не успел Креншлин подбежать к окну — кальсоны мешали, — как вошел муж, вооруженный и настолько ловкий, что еще в дверях, пригнувшись, чтобы не разбить лоб о притолоку, вытянул меч из ножен. Безоружный Креншлин ретировался, схватился за плющ и как мог быстро стал сползать, а супруг Цевинны, ревя, как буйвол, с великим трудом и скрежетом просунул закованное туловище в оконный проем и давай резать, сечь, рубить сплетения плюща. Плющ оборвался, и Креншлин камнем полетел вниз. На лету храбрый, хоть и неудачливый поклонник нашел силы крикнуть Цевинне, чтобы в следующий раз сама помнила о шарфе.

Теперь Креншлину пришлось хуже: на контрфорсе его перевернуло и он грохнулся головой о каменные плиты, от чего повредился в рассудке. Он еле дышал, когда слуги снова сунули его в предусмотрительно устроенную люльку и сначала галопом, а потом рысью помчались к старому Трещипалу. Прежде чем Марлипонт, прогрохотав внутри башни, как сорвавшийся мельничный жернов, выпал на двор рыча: «Коня! Королевство за коня!!!» — Креншлин в темпорне уже потянул слабеющей десницей за рычаг, и так отчаянно, что пролетел из июня в декабрь. Холодно было ждать в неотапливаемой темпорне начала

крестового похода, а потому он дал малый вперед до самых мартовских ид и далее к плющу.

Может, Цевинна расслышала, что кричал возлюбленный, летя вниз головой с башни, а может быть, Марлипонт на этот раз обошелся без шарфа, но, когда Креншлин появился перед своей золотоволосой красавицей, на лестнице было тихо, как будто и старый слуга уже угас от голода. Но рассудительный Креншлин сначала задвинул засов, а потом уже кинулся в объятия милой. Страстной, самозабвенной была их любовь в башне, не слыхали они ни совиного крика, ни грозы, которая прогремела с полуночи. На заре Креншлин вскочил, перекинул без лишних слов ноги через парапет, шасть по плющу вниз на подворье, в седло и галопом к темпорне.

Вокруг крапива, как лес, внутри тихо, но и тут он был предусмотрителен: придерживая плохо подпоясанные шаровары, на карачках пополз к калитке, оглядываясь во все стороны, и правильно сделал, потому что над самым ухом у него бухнул самопал, поставленный в междучасье каким-то неизвестным. Тогда только он толкнул дверь — и к рычагу. Устроил из утра вечерние сумерки предыдущего дня, поставил рычаг посередке и занялся делом. Затянул петельку на истертой рукоятке, под столом пропустил шнур на стропила, со стропил через дыру в крыше на конек, с конька под стреху, тут привязал конец шнура к пустому ведру, ведро подвесил под дырявый водосток, еще нагреб мусора, присыпал им шнур, идущий от рычага, поплевал на руки, вскочил в седло — и обратно к башне.

Больше всех среди зрителей дивился этому Его Величество король. Зачем это он так? Что ему следующий день и ночь — хуже?

— Учти, милостивый владыка, что он привык к обратимому времени, как и все они там, — доступно объяснял Трурль. — А кроме того, он знает, что вернуть приятные минуты ничего не стоит, зато неизведанное будущее может таить в себе неожиданные опасности.

— А зачем ведро?

— А помните, перед утром шел дождь? Когда опять перед рассветом польет, ведро наполнится, потянет шнур и рычаг, и таким образом все повторится.

— Видно, что бывалый часоходец! — вмешался Клапауций. — Шнур замаскировал, если кто даже и войдет, может не заметить.

Тем временем ночь любви подходила уже к концу, уже дождь собирался, как вдруг цокот копыт и звон оружия прервали сон любовников. Подскочил Креншлин босиком к окну и видит — дело плохо: внизу группа вооруженных всадников, шесть Марлипонтовых зятьев, которые должны были в его отсутствие присматривать за поместьем и за Цевинной, — и вот притащились, хотя их усадьбы за двести верст, значит, уже у темпорни соседнего уезда.

Что делать? Может быть, через пушечную бойницу съехать прямо в ров? Оторвался Креншлин от встревоженной Цевинны, вцепился пальцами в тугие сплетения плюща и уж поехал вниз, как вдруг завопил от боли. Глядит — а это не ночь, а день, и он не наверху, а на камнях со сломанными ногами, и над ним Марлипонт, весь в железе, рычит: «А-а, мерзавец, предатель, прохвост! Думал меня перехитрить? Да мне до темпорни так же близко, как и тебе, чужеложцу. Ну, погоди, сейчас я тебя приласкаю!»

По его знаку несут футляр железный, кованый, ставят, отворяют, а в середине он весь гвоздями утыкан — ох, совсем плохо дело! Креншлину хорошо знаком этот инструмент. Во все глаза высматривает он тучку — вот и первые капли падают, но всего-то их кот наплакал... а уж его взяли за шиворот, пихают его слуги в железное нутро, а там гвозди, как бритвы, только лишь захлопнут и...

Бабахнул гром, и полило как из ведра.

— Это ничего! Не возитесь, сукины дети! Быстрей, не копайтесь, закрыть, завинтить! — командует Марлипонт, а зубы у него так и сверкают через решетку забрала.

Тучи словно прорвало. Лишь бы только шнур уцелел! Креншлин изображает обморок, вываливается из рук телохранителей, они натуживаются, вот уж спиной он чувствует первые острия, взвизгнул — и рухнул во весь рост.

Мрак и тишина. Только дождь шумит. Ощупал Креншлин бока — целы. Ноги — прямее не сыщешь. Если бы не ведро, подумал, конец бы мне. Ну и дурак же этот Марлипонт. Не поинтересовался, что там за шнур, откуда. Слава тебе, Господи, что ты разума ему не дал! А что же теперь? Где я? Вот ров. Стена. Башня. Цевинна? Не до нее сейчас. Марлипонт, наверное, очумел от злости и помчался к темпорне, надо его опередить.

Со всех ног пустился бежать Креншлин, но скоро заметил, что вроде бы как медленней бежит. Что такое? Шаги какие-то

маленькие. Боже всемогущий! — ноги укоротились. Пощупал усы на лице — нету усов! А Марлипонт, наверно, уже в темпорне, и не то чтобы неделю или год, а целый десяток лет у него отнял — уж молоко на губах! Теперь отыщет меня и утопит, как щенка...

Так как же? Что делать? В деревню, втереться в кучу босой детворы, в подлое сословие, немого, дурачка изобразить? А если узнает, выловит муж-ревнивец? Он-то старше, ему сейчас только тридцатка подходит!.. Однако Креншлин все бежал в сторону темпорни, пока не увидел зарево. Деревня горела. Еще раз прикинул он на пальцах, сколько же сейчас лет Цевинне. Цевинке, вернее... Двенадцать? Еще у отца, маркграфа Гамстербандского, куклам кринолинчики шьет...

Ну и зарево! Лишь бы темпорня не... Вот он уже и у плетня. Горит халупа Трещипала. Крестьяне в свитках тянут имущество на огород. Ох, не имущество это, а убитые в доспехах, голота с них сапоги стягивает. Грабят, как обычно, после побоища. Кучей лежат. А кто же это? Ба! Цвета Марлипонта! А вот из огня выпадает сам Марлипонт, безоружный, пеший, без шлема, мчится, аж железом гремит, а за ним на коне зять, и другой тут же с мечом в руке! Ну да... видно, им имение понравилось и вместо опеки они учинили наезд... да только дурни так себе фортуну исправляют, а не рыцари Хроноса...

Стянул Креншлин с плетня подштанники и крестьянские юбки, подбежал к колодцу, окатил их из ведра, накинул на голову мокрые тряпки — и к темпорне, которая уже полыхала. Опалило ему брови, от жара дух захватило, а тут двери изнутри подперты — ох, нехорошо! Шмыгнул он в огород — малец всегда обернется быстрей взрослого, — выдернул у первого лежащего пистоль из-за пояса, порох на полке есть? Есть! Перескочил к окошку. С той стороны бревна только дымились, а на крышу первые голубые язычки выскакивали, поднялся на цыпочки, заглянул внутрь — там Сува лежит с перерезанным горлом, а ноги на двери, потому и не открывалась.

Другого выхода не было. Прицелился Креншлин в пылающую рукоятку рычага. «Только бы не слишком сильно ударило, а то качнется назад так, что исчезну и не будет меня на свете. А, черт с ним». Только подумал и выстрелил. Звука уже не слышал.

Лежал навзничь, глядел в необъятное, затянутое тучами небо. Ветер шумел, тихо было и пусто. Он боялся пошевелиться.

«Если младенец, то как до рычага доберусь?» — это была его первая мысль. Пощупал лицо — снова без усов, но зубы есть. И то хорошо. А не молочные? Никак не мог сосчитать языком коренные.

— Саперлипопетт! — попытался проговорить громко. Вышло — значит не грудной!

Вскочил Креншлин на ноги — и к темпорне. О ней думал в первую очередь, а не о себе, не зная, сколько ему теперь, восемь или четырнадцать лет! Пришлось лезть к рычагу по столу — была все же у пули сила! — вцепился двумя руками в рукоять, слабо, навалился всем телом вперед и заорал от неожиданности, потому что грохнулся теменем об навес, не соскочив вовремя, пока рос.

Сначала ощупал шишку на голове, потом губу: нет лучшей меры времени, чем растительность! Все в порядке, усы пробиваются!

Среди ночи Креншлин задержал время. Если лет на двадцать пять время назад отодвинуть, когда Марлипонт и зятья еще под стол пешком ходили, вот было бы чудненько... Но тогда и сам не то что в детство впаду, но и вообще пропаду, будто меня и не было. Ох, жалко, голыми руками повытаскивал бы их из люлек! Вперед тоже далеко нельзя: и Цевинна постареет, да и неизвестно, не стоит ли кто там, в будущем, у рычага, занеся меч для удара, — и такое случалось.

Так и не знал он, что и поделать, а тут кто-то стал подбираться к дверям. А они бревном подперты, тогда тот, за дверью, басом кричит своим, чтобы живо таран несли. Отвел Креншлин быстренько время на неделю — и опять никого нет.

— Вот хоть я и хозяин времени, а двинуться отсюда не могу ни на шаг, хороша власть! Вот уж влип так влип! Так что же, сидеть в темпорне, как в тюрьме, до конца дней или метаться туда-сюда из futurum в plusquamperfektum? Impossibile est! Да и с голоду здесь подохнешь! А тут снова кто-то щупает засов снаружи и слышится голос: «Пусти меня, милый, это я, Цевинна!» Привязал осторожный Креншлин шнурок к рукояти и потихоньку выглянул в щель. Если не она, потяну, прежде чем оттуда выстрелят через доску, а если попадут, то, валясь замертво, все равно натяну шнур, пихну бытие назад и воскресну. Всякое бывает. Иной раз, когда беда прижмет, стоишь, взяв рычаг на себя, а время прямо фырчит, мчась обратно, а под ногами, по углам, у стен появляются скорченные трупы, ожи-

вают в обратной агонии, царапают пальцами окровавленные бревна и исчезают, как дым. Когда однажды Креншлин так стоял, вывалились из времени какие-то двое, сцепившиеся насмерть, толкнули его в бок, так что он чуть рукоять не выпустил.

Нет, это точно Цевинна. Впу́стил он ее, а она кинулась ему на грудь: «Спаси! Сделай что-нибудь, чтобы его не было, чтобы не родился, смотри, как он меня бьет!» — и показывает синяки на плечах, шрамы. Сначала Креншлин велел ей принести чего-нибудь поесть, хотя бы ячменную лепешку, головка сыра тоже бы пригодилась... Лишь только вышла, тут же конский топот, храпение осаженного жеребца — неужели опять? Ну и озлился Креншлин, узнав голос Марлипонта! Устроил муж погоню за бедной Цевинной, пришлось отодвинуть время на год, и опять — ни еды, ни питья! И так и сяк маневрировал Креншлин, а все равно оказался в окружении: тут и зятья, и Марлипонт со своей шайкой, и сам бургграф, и нищие, и королевские доносчики, и офицерство крепостного гарнизона (обозники уже пушки подтаскивают), и какие-то горожане с наемниками пришли разобраться в споре насчет зерна, и разбойники — уйма народу околачивается вокруг темпорни, пытаясь взять ее осадой. Уже и старцев собрали, вооружают их, а одновременно на противный случай муштруют толпу молокососов — учат с мушкетами обращаться и так с обеих сторон времени берут в переплет несчастного Креншлина! От старцев назад не уйти, а от сопляков вперед. И покрикивают: «Ты окружен, ваша милость, выходи на рыцарское слово!» — потому как боятся, чтобы с рычагами чего-нибудь не сделал в отчаянии — и такое бывает.

И действительно, имея перед собой на выбор дыбу (а те уже спорить начали, куда его потом — либо на городскую дыбу, либо в бургграфову, или в Марлипонтову яму, или к зятьям) или самоуничтожение, позор или честную гибель, выбрал недоласканный Цевиннин любовник страшный, зато возвышенный исход. Дал полный назад, сначала все же прикрутив рычаг шнуром к угловой балке: сгину, но время все равно будет мчаться назад, и всех вас в небытие с собой утащу!

Исчез Креншлин быстрее, чем клочок тумана на ветру, а за ним и все остальные. Только когда в давних веках шнур истлел, рычаг сам вернулся в среднее положение. А вокруг темпорни уже чаща разрослась, в мгновение ока появился непроходимый

бор, зубры чесались об углы, шли месяцы, отбившийся от стада волосатый носорог, рыча, влез, развалив истлевшие двери, и как дым исчез, боднув рычаг рогом, — вместо дубовой чащи на болотце редкие рододендроны и голосемянные папоротники — скорее всего эпоха, называемая каменноугольной — ни человеческих поселений, ни самой темпорни, только особая точка, над которой дрожал и радужно переливался воздух.

Трурль выключил проектор, отсоединил провода, а король, ничего не говоря, уселся на троне, но видно было, что он не в восторге от увиденного. Клапауций откашлялся:

— Я не хотел бы утомлять Ваше Величество и изложу суть дела в двух словах. Вы изволили наблюдать типичный процесс. Интрига здесь не важна, такая или другая — она всегда приводит к подобному финалу. Действия антагонистов стягиваются по все более короткому радиусу к центру, которым является особая точка или место, из которого можно управлять течением времени. Если радиус действия отдельной темпорни сделать большим, то их таким образом на планете будет мало, соответственно мало будет очагов борьбы.

Если радиус мал, то центров много и мест столкновений столько же. Но это, в сущности, ничего не меняет. Можно сделать и так, чтобы самого вожатого времени вызванные им изменения не затрагивали. Но и это ничего нового не вносит. Тогда субъект, который последним останется в темпорне, будет вынужден бежать в самое древнее прошлое, а поскольку власть над временем не может быть безразличной никому из людей, то логика конфликта принудит его бежать в эру полного безлюдья. Таким образом, он исключается из истории и в схватках за темпорню участия больше не принимает.

Если на планете существует только одна особая точка, на ней возникает одно государство, раздираемое центробежными сепаратистскими движениями, а также центростремительной борьбой за овладение властью над временем, причем по рекомендации наимудрейших личностей правители склонятся к тому, чтобы сделать особую точку недоступной ни для кого — например, путем забивания ее взрывами в глубь коры планеты. Если же ввести вместо особых точек путешествия во времени, развивается времяборчество, хронологические эскапады, грабительские экспедиции, появляются темпоральное конквистадорство и хронический гангстеризм, а также попытки монополизировать технику передвижения во времени, правда,

всегда безуспешные, поскольку изобретенное одними другие рано или поздно смогут повторить.

Если же принять за основу новые времена, то придем к большим войнам во времени. Стратегическая задача при этом окружить противника со стороны будущего и спихнуть его на дно развития, в прошлое, то есть снова начинается регресс. У кого в руках время, у того и власть. Следовательно, за это и будет вестись борьба, усиленная открытием новых тактик нападения и защиты во временном измерении.

— Выходит, что обратимое время — это источник несчастий, а не блага? — сказал озабоченный Ипполип. — А нельзя ли это как-нибудь поправить?

— Мы пытались ограничить движение во времени демпферами ускорения и другими предохранителями, государь, — ответил Трурль, — но тогда первой целью заинтересованных лиц становится ликвидация этих ограничений.

— Ну, хорошо, а если взять цивилизацию с богатой духовной культурой, с высоким этическим уровнем, либеральную, гуманную и плюралистическую?

— Такую мы легко можем запрограммировать, Ваше Величество, — сказал Клапауций. — Мы не делали этого, считая, что это тоже ничего не даст, но если такова королевская воля, то прошу взглянуть!.. Трурль!

Трурль быстро нажал на какие-то клавиши, переставил несколько вилок, подкрутил усилитель и вздохнул:

— Готово. Включаю.

— Какая матрица?

— Время как функция изменения гравитационной постоянной.

Свет упал на алебастровые плиты. Трурль сфокусировал изображение...

Кресслин наклонился над столом.

— Это она? — спросил он, глядя на серию моментальных снимков.

— Да, — генерал машинально подтянул брюки, — Севинна Моррибонд. Ты ее узнал?

— Нет, тогда ей было десять лет.

— Запомни, она не сообщит тебе никаких технических подробностей. Ты должен только узнать у нее, есть у них хронда или нет. И находится ли она в оперативной готовности.

— А она это знает? Вы уверены?

— Да. Он не болтун, но от нее не держит секретов. Он на все готов, чтоб ее удержать. Ведь почти тридцать лет разницы.

— Она его любит?

— Не думаю. Скорее, он ей импонирует. Ты из тех же мест, что и она. Это хорошо. Воспоминания детства. Но не слишком нажимай. Я рекомендовал бы сдержанность, мужское обаяние. Ты это умеешь.

Кресслин молчал, его сосредоточенное лицо напоминало лицо хирурга над операционным полем.

— Заброска сегодня?

— Сейчас. Каждый час дорог.

— А у нас есть оперативная хронда?

Генерал нетерпеливо крякнул.

— Этого я тебе сказать не могу, и ты хорошо это знаешь. Пока существует равновесие, они не знают, есть ли хронда у нас, а мы — есть ли у них. Если тебя поймают...

— Выпустят мне кишки, чтобы дознаться?

— Сам понимаешь.

Кресслин выпрямился, словно уже выучил на память лицо женщины на фотографии.

— Я готов.

— Помни о стакане.

Кресслин не ответил. Он не слышал слов генерала. Из-под металлических абажуров на зеленое сукно стола лился яркий свет электрических ламп. Двери резко распахнулись. Вбежал адъютант с бумажной лентой в руке, на ходу застегивая мундир.

— Генерал, концентрация вокруг Хасси и Дёпинга. Перекрыли все дороги.

— Сейчас. Кресслин, задание ясно?

— Да.

— Желаю успеха...

Лифт остановился. Дерн отъехал в сторону и снова стал на место. К запаху мокрых листьев примешивался и почти приятный щекочущий запах азотистых соединений. «Прогревают первую ступень», — подумал он. Карманные фонарики выхватили из мрака ячейки маскировочной сетки.

— Анаколуф?

— Авокадо!

— Прошу за мной.

Он шел в потемках за коренастым бритоголовым офицером. Черная тень вертолета открылась во мраке, как пасть.

— Долго лететь?

— Семь минут.

Ночной жук взвился, гудя спланировал, винт его еще вращался, а Кресслин уже стоял на земле, невидимая трава стегала его по ногам, взметаемая механическим ветром.

— К ракете.

— Есть к ракете, но я ничего не вижу.

— Я поведу вас за руку (женский голос). Вот тут смокинг, прошу переодеться. Потом наденете эту оболочку.

— На ноги тоже?

— Да. Носки и лакированные туфли в этом футляре.

— Прыгать буду босиком?

— Нет, в этих чулках. Потом свернете их вместе с парашютом. Запомнили?

— Да.

Он отпустил эту маленькую крепкую женскую руку. Переодевался в темноте. Золотой квадрат... Портсигар? Нет, зажигалка. Блеснула полоска света.

— Кресслин?

— Я.

— Готовы?

— Готов.

— В ракету, за мной!

— Есть в ракету.

Один только резкий луч освещал серебристую алюминиевую лестницу. Ее верх тонул во мраке — казалось, что он должен был идти к звездам пешком. Открылся люк. Он лег навзничь. Его блестящий пластиковый кокон шелестел, прилипал к его одежде, к рукам.

— 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Внимание, 20 до нуля, 16, 15, 14, 13, 12, 11, внимание, через 6—7 секунд старт, четыре, три, два, один, ноль.

Он ожидал грохота, и тот, который вознес его, показался ему слабым. Зеркальный пластик расправлялся на нем как живой. Вот дьявол, рот затягивает! С трудом он отпихнул назойливую пленку, перевел дух.

— Внимание, пассажир, 45 секунд до вершины баллистической. Начинать отсчет?

— Нет, с десяти, пожалуйста.

— Хорошо. Внимание, пассажир, апогей баллистической. Четыре слоя облаков, цирростратус и циррокумулюс. Под последним видимость 600. На красный включаю эжектор. Парашют?

— Спасибо, в порядке.

— Внимание, пассажир, вторая ветвь баллистической, первый слой облаков, цирростратус, второй слой облаков. Температура минус 44, на земле плюс 18. Внимание, пятнадцать до выброски. Наклонение к цели ноль на сто, боковое отклонение в норме, ветер норд-норд-вест, шесть метров в секунду, видимость 600 — хорошая. Внимание, желаю успеха! Выброс!

— До свидания, — произнес он, чувствуя всю гротескность этих слов, сказанных человеку, которого он никогда не видел и не увидит.

Он выпал во мрак, его выстрелило в твердый от скорости воздух. Свистело в ушах, он закувыркался, и тут же его с легким треском подхватило и подтянуло высоко кверху, словно кто-то выловил его из мрака невидимым сачком. Он взглянул вверх — купол парашюта был неразличим. Чистая работа!

Он опускался, не чувствуя быстроты падения, что-то завиднелось под ногами. Так светло? Черт, только бы не озерко! Один шанс на тысячу, но кто знает?..

До него донесся мерный легкий шум, когда он коснулся ногами волнующейся поверхности. Это была пшеница. Он нырнул в нее, его накрыла чаша парашюта. Согнувшись, он отстегнул ранец, начал сворачивать странный волокнистый материал, на ощупь похожий на паутину. Он все скручивал и скручивал его, это было труднее всего, и на это ушла масса времени, пожалуй, около получаса. Во всяком случае, в хронограмму уложился. Надеть сейчас лаковые туфли или нет? Лучше сейчас обуться, пластик отражает свет. Он начал рвать на себе оболочку, тонкую, как целлофан, как будто сам себя распаковывал. Вот и сверток, ночной презент. Лаковые туфли, платок, ножик, визитные карточки...

Где же стакан? Сердце у Кресслина заколотилось, как только он нащупал его в кармане. Ничего не было видно, тучи покрывали все небо, но когда он потряс стакан, послышалось бульканье. Внутри был вермут. Он не стал отдирать герметизирующую пленку. Положил его обратно в карман, затолкал свернутый парашют в ранец, впихнул туда же толстые прыжковые чулки, изодранный кокон. Вроде бы ничего не должно от этого

загореться... А вдруг? Может быть, выбраться сначала из этой пшеницы? Нет, в инструкции все предусмотрено.

Он отыскал на утолщенном дне футляра рычажок, сунул под него палец, дернул, как будто открывал банку с пивом, бросил футляр на измятое место среди поля и стал ждать. Ничего. Немного дыма, ни пламени, ни искр, ни углей. Осечка? Пошарил рукой и чуть не вскрикнул — там уже не было туго набитого ранца, полного ткани и строп, — кучка теплых, не обжигающих остатков, будто прогоревший бумажный пепел. Чистая работа!

Кресслин поправил на себе смокинг, бабочку и вышел на дорогу. Он шел по обочине, быстро, но не слишком, чтобы не вспотеть. Вот дерево, но какое? Липа? Пожалуй, еще не она. Ясень? Точно? Ничего не видно. Часовенка должна быть за четвертым деревом. Вот придорожный камень. Совпадает. Из ночи выдвинулась побеленная стена капеллы. Он ощупью отыскал дверь. Она легко отворилась. Не слишком ли легко? А если окна не затемнены?

Он поставил на каменный пол зажигалку, щелкнул. Чистый белый свет наполнил замкнутое пространство, блеснула поблекшая позолота алтаря, окно, заклеенное снаружи чем-то черным. Он с пристальным вниманием вгляделся в свое отражение в этом окне, повернулся, поочередно проверяя плечи, рукава, отвороты смокинга, приглядываясь сбоку, не пристал ли где клочок пластиковой пленки. Поправил платочек, приподнялся на носках, как актер перед выступлением, стараясь успокоить дыхание, почувствовал слабый запах погасших свечей — как будто они горели совсем недавно. Он потушил зажигалку, снова во мраке вышел, осторожно ступая по каменным ступеням, и осмотрелся. Кругом было пусто. Края туч местами светлели, но месяц не мог пробиться сквозь них. Было почти совсем темно. Теперь уже ровно шагая по асфальту, он кончиком языка коснулся коронки зуба мудрости. Интересно, что там такое? Уж конечно, не хронда. Но и яда там не могло быть. За какое-то мгновение он успел рассмотреть то, что «дантист» клал пинцетом в золотую чашечку коронки, прежде чем залить ее цементом. Комочек меньше горошины, как будто слепленный из детского цветного сахара. Передатчик?

Но микрофона у него не было. Не было ничего... Почему они не дали яду? Наверное, не был нужен.

В отдалении из-за деревьев появился дом, ярко освещенный, шумный, в темный парк лилась музыка. На газонах подрагивал отблеск окон. На втором этаже горели настоящие свечи, в канделябрах. Теперь он принялся считать столбы ограды, у одиннадцатого замедлил шаг, остановился в тени, падающей от дерева, коснулся пальцами проволочной сетки, она, пружиня, подалась; потом слегка наступил на ее нижнюю часть, которая не была сцеплена с верхней, перешагнул препятствие — и вот он уже в саду. Перебегая от тени к тени, он очутился у высохшего фонтана. Тут он вынул из кармана стакан, ногтем подрезал пленку, которой он был заклеен, сорвал ее, смял и отправил в рот, чтобы тут же запить ее маленьким глотком вермута. Теперь, держа стакан аперитива в руке, он, больше не скрываясь, двинулся посередине дорожки прямо к дому, без спешки — гость, возвращающийся с короткой прогулки, перегрелся танцуя и вышел в поисках прохлады... Кресслин поднес к носу платочек, перекладывая стакан из руки в руку, когда проходил между тенями тех, кто стоял по обе стороны двери. Он не видел лиц, чувствовал только провожающие его невнимательные взгляды.

Свет был почти голубым на первой лестнице, тепло-желтым на второй; музыка играла вальс. Гладко, подумал он. Не слишком ли гладко?

В зале было тесно. Он не сразу ее заметил. Ему оставалось сделать два шага до нее. Ее окружали мужчины с орденскими ленточками в петлицах, как вдруг на другом конце зала раздался грохот — кто-то упал. Споткнулся какой-то лакей в ливрее, да так неловко, что поднос, уставленный бокалами, вылетел у него из рук, брызгая белым и красным вином. Что за тюлень! Окружавшие Севинну как по команде повернули головы в ту сторону. Один только Кресслин продолжал смотреть на нее. Этот взгляд озадачил ее, хотя и был едва уловим.

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

Она сказала «нет», чтобы оттолкнуть, отбросить его. Он спокойно улыбнулся:

— А карего пони помните? С белой стрелкой над копытом? И мальчика, который испугал его мячом?

— Так это вы?

— Я.

Им не понадобилось знакомиться, раз они знали друг друга с детства. Он танцевал с ней только один раз. Потом больше держался в отдалении. Зато уже после часа ночи они вместе вышли в парк. Вышли через дверь, о которой знала только она. Прогуливаясь с ней по аллеям, он то тут, то там замечал людей, стоявших в тени деревьев. Сколько же их! А он их даже не заметил, перелезая через сетку. Странно.

Севинна смотрела на него, ее лицо белело в свете луны, которая после полуночи все-таки прорвалась сквозь облака — как и ожидалось.

— Я бы вас не узнала. А все же вы мне кого-то напоминаете. Вовсе не того мальчика. Кого-то другого. Взрослого.

— Вашего мужа, — ответил он спокойно. — Когда ему было двадцать шесть лет. Вы, должно быть, видели снимки.

Она заморгала.

— Да. Откуда вы знаете это?

Он улыбнулся.

— По обязанности. Пресса. Временно — военный корреспондент. Но с гражданским прошлым.

Она не обратила внимания на его слова.

— Вы из тех же мест, что и я. Удивительно.

— Почему?

— Как-то... это даже тревожит меня. Я не знаю, как это выразить, — я почти что боюсь.

— Меня?

Он был искренен в своем изумлении.

— Нет, что вы. Но это как бы прикосновение судьбы. Эта ваша похожесть и то, что мы знали друг друга еще детьми.

— Что же здесь такого?

— Я не могу вам объяснить. Это всего лишь намек на ту ночь. Как будто это что-то предзнаменует.

— Вы суеверны?

— Вернемся. Здесь холодно.

— Никогда не надо убегать.

— О чем это вы?

— Не следует бежать от судьбы. Это невозможно.

— Откуда вам знать?

— Где теперь ваш пони?

— А ваш мяч?

— Там, где и мы будем через сто лет. Все вещи растворяются во времени. Нет лучшего растворителя, чем оно.

— Вы говорите так, будто мы с вами старики.

— Время убийственно для старых. И непонятно для всех.

— Вы думаете?

— Я знаю.

— А если бы?.. Нет, ничего.

— Вы хотели что-то сказать?

— Вам показалось.

— Нет, не показалось, потому что я знаю, что вы имели в виду.

— Что же?

— Одно слово.

— Какое?

— Хронда.

Она вздрогнула. Это был страх.

— Что вы...

— Не бойтесь, прошу вас. Мы оба всего лишь двое посторонних, которые знают это слово, — кроме вашего мужа и специалистов доктора Суови. Тех, из центра Негген.

— Что вы знаете? Откуда?

— Я знаю то же, что и вы.

— Не может быть. Это же тайна.

— Поэтому я и не говорил этого слова никому, кроме вас. Я знал, что вам оно известно.

— Как вы могли это узнать? Вы... очень рискуете. Понимаете ли вы это?

— Я ничем не рискую, потому что мои сведения не более и не менее легальны, чем ваши. С той разницей, что я знаю, от кого вы их получили, а вы не знаете, откуда получил их я.

— Эта разница не в вашу пользу. Откуда вы узнали?

— А сказать вам, откуда узнали вы?

— Может быть, вы знаете и... когда?

— В самое ближайшее время.

— В ближайшее! Вы ничего не знаете! — Она задрожала.

— Я не могу вам сказать. Не имею права.

— А то, что уже сказали?

— Это не больше того, что сказал вам ваш муж.

— Разве кто... Откуда вы знаете, что это он?

— Никто из правительства, кроме премьера, не знает. Премьера зовут Моррибонд. Дальше все просто, не так ли?

— Нет... Но каким образом? А! Подслушивание?

— Нет. Не думаю. Не было нужды. Он просто должен был вам сказать.

— Почему? Не думаете ли вы, что я...

— Нет. Именно потому, что вы никогда бы этого не потребовали. Он должен был сказать, потому что хотел дать вам что-то, что имело для него наивысшую ценность.

— Значит, не подслушивание, а всего лишь психология?

— Да.

— Который час?

— Без шести минут два.

— Не знаю, что станет со всем этим. — Она смотрела в окружающий их мрак. Тени ветвей, плоские и четкие, дрожали на посыпанной гравием дорожке. Временами казалось, что они неподвижны, а дрожит земля. Музыка доносилась до них, будто из другого времени.

— Мы здесь уже неприлично долго, — сказала она, — вы не догадываетесь почему?

— Начинаю догадываться.

— Тайна, которая... сделает это с миром, уже не тайна за минуту до... часа ноль. Может быть, мы перестанем существовать. Вы это тоже знаете?

— Знаю. Но это не должно было случиться этой ночью.

— Именно этой.

— Но ведь еще недавно...

— Да, были кое-какие сложности... Но теперь их уже нет.

Она почти касалась его грудью. Говорила ему, но его не видела:

— Он будет молодым. Он в этом совершенно уверен.

— Ну да, конечно.

— Не говорите ничего, прошу вас. Я не верю, не могу верить, хотя и знаю... Это словно не взаправду, так не бывает. Но теперь уже все равно. Никто не может этого отменить, никто. Или я увижу его молодым, таким, как вы сейчас, или... Реммер говорил, что возможно скольжение в депрессии... Я стала бы ребенком. Вы последний человек, с которым я говорю *перед этим*.

Ее трясло. Он обнял ее, поддержал. Как бы не зная, что говорит, пробормотал:

— Сколько времени осталось?

— Минуты... В два часа пять минут... — шепнула она. Глаза ее были закрыты.

Он склонился над ее лицом и одновременно надавил на тот металлический зуб изо всех сил. Ощутил в голове легкий щелчок и провалился в небытие.

Генерал машинально подтянул брюки.

— Хронда — это темпоральная бомба. Ее взрыв вызывает возникновение местной депрессии во времени. Образно говоря, как обычная бомба делает в грунте воронку — пространственную депрессию, так хронда углубляется в настоящее и утягивает или спихивает все окружающее в прошлое. Размер сдвига в прошлое, так называемый ретроинтервал, зависит от мощности заряда. Теория хронопрессии сложна, и я не в состоянии вам ее изложить. Однако принцип уловить легко. Течение времени зависит от всемирного тяготения. Не от местных полей тяготения, а от вселенской постоянной гравитации. И не от самой гравитации, а от ее изменения. Гравитация уменьшается во всей Вселенной, и это как бы другая сторона течения времени. Если бы гравитация не изменялась, время остановилось бы, его вовсе не было бы. Вот как ветер... Где он, когда он не дует? Его нет нигде, потому что он — движение воздуха.

Так объясняется и появление Космоса. Он не был создан, но существовал вне времени, пока гравитация была неизменной, пока не началось ее уменьшение.

С тех пор Космос расширяется, звезды вращаются, атомы вибрируют, а время идет. Существует связь гравитонов с хрононами, и эта связь использована при создании хронды. Пока мы не умеем манипулировать временем иначе, чем импульсами. Происходит, собственно, не взрыв, а резкое западение. Самый глубокий сдвиг в прошлое происходит в точке ноль.

В 1 час 59 минут Кресслин нажал зуб. Через двенадцать секунд сработали все наши оперативные хронды стратегического назначения. Западение было кумулятивным. Поэтому зона, пораженная хронопрессией, имеет форму почти правильного круга. В пункте ноль депрессия составляет, вероятно, от 26 до 27 лет, эта величина постепенно снижается к периферии.

На пораженной территории у неприятеля были лаборатории, заводы, склады, а также хронопрессивные полигоны. Учитывая, что они начали работы 9—10 лет назад, сейчас там уже нет ничего, что могло представлять для нас угрозу. Поверхность поражения, как вы можете увидеть на этой карте, имеет диаметр около 190 миль.

— Генерал!

— Слушаю, господин министр.

— На каком основании вы утверждаете, что благодаря Кресслину мы упредили хрональный удар неприятеля?

— Приказ гласил: если до удара остается более 24 часов — зуба не трогать. Если ему удастся узнать какие-нибудь подробности операции, касающиеся ее сроков, мощности зарядов, количества хронд, он должен сообщить об этом через особое звено нашей разведки. Если бы враг собирался атаковать нас в течение суток, а Кресслин не смог завязать контакт со связным, он должен был привести в действие автоматический передатчик, закопанный в лесу под Хасси. И только в случае, если не было времени добраться до сигнализатора, а он был информирован о нападении в самое ближайшее время, ему можно было нажать зуб. Подчеркиваю, Кресслин не знал механизма хронопрессийного западения, он ничего не знал о наших хрондах, не знал даже, что находится у него в зубе. Считаете ли вы, господин министр, мой ответ исчерпывающим?

— Нет. Я считаю, что слишком великую ответственность за судьбы всего мира вы возложили на плечи одного человека, вашего агента. Как мог один человек это решать?!

— Позвольте дать дальнейшее разъяснение. Наша информация не равнялась нулю до заброски Кресслина. Очевидной целью неприятеля должен был оказаться наш хрональный центр. Обе стороны еще не знали степени продвижения работ. Расположение нашего комплекса «С» было им известно, так же как и нам дислокация их хронораторий. Скрыть существование таких огромных комплексов просто невозможно.

— Но вы не ответили на мой вопрос.

— Как раз приступаю. Если провести концентрические круги постепенно снижающегося поражения вокруг нашего центра «С», то Хасси находится в зоне сдвига на десять, а Лейло, как находящийся ближе к комплексу «С», на двадцать лет. Вчера утром мы получили сообщение, что Моррибонд выезжает на инспекцию войск, расположенных на нашей границе. В восемь вечера пришло сообщение, что, вместо того чтобы остановиться в гарнизоне Аретон, он задержался в Лейло.

— Постойте, господин генерал! Не хотите ли вы сказать, что Моррибонд намеревался использовать тот хрональный удар, который они хотели нам нанести, для того чтобы омолодиться?

— Ну, в общем, да. Таково мнение наших экспертов, Моррибонду было шестьдесят лет, его жене — двадцать девять. Минус двадцать лет у него и минус десять у нее — сорокалетний мужчина и девушка девятнадцати лет. А кроме того, главное и решающее обстоятельство — он был болен миастенией в тяжелой форме. Врачи давали ему два, в лучшем случае три года жизни.

— Это абсолютно точно?

— Да, практически наверняка. Существенную роль тут играло и его своеобразное чувство юмора. Кодовое название операций было «Балкон».

— Не понимаю.

— Ну как же? Ромео и Джульетта. Сцена на балконе. И при этом должен был погибнуть весь наш хрональный потенциал.

— Но получилось наоборот?

— Именно. Вначале я привел вычисления, допускающие, что местом западения окажется наш комплекс «С», согласно их стратегическому плану. Поэтому Моррибонд выслал жену в Хасси, а сам поехал в Лейло, расположенный у нашей границы. Определив ситуацию на совете в генштабе как критическую, мы выслали Кресслина немедленно, то есть как можно быстрее. Около полуночи он приземлился под Хасси. Поскольку мы ударили первыми, изохроны депрессии имели порядок спада, обратный тому, который планировал неприятель. Обратный, поскольку это мы попали в их хрональный комплекс.

— Ну и что из того? Моррибонд помолодел меньше, чем того хотел, а его жена — больше. Какое это имеет стратегическое значение? Предлагаю оставить эту тему.

— Это имеет стратегическое значение — и политическое тоже, господин помощник государственного секретаря, потому что приведет к смене человека на посту премьер-министра неприятельского правительства. Западение, вызвавшее депрессию, на самой границе своего действия создаст небольшое концентрическое вспучивание времени вокруг пункта ноль. Это аналогично действию обычной бомбы: центр воронки заглубляется, а вокруг нее образуется кратерный вал. Хронда сбивает настоящее вспять, а на границе западения время передвигается вперед. Лейло как раз и оказался в этом районе. Это значит, что время подвинулось там на девять-десять лет вперед.

— И Моррибонду теперь семьдесят? Великолепно! — захихикал кто-то из стоявших вокруг зеленого стола.

— Нет, учитывая то, что я говорил о его болезни, Морриbонда нет в живых. Есть еще вопросы?

— Мне хотелось бы знать, в какой форме проявляется прошлое после западения хронды? Физики утверждают, что прошлое как точное воспроизведение времени, в которое можно вернуться, не существует.

— Это правда. Западение не приводит к идеальному сдвигу календаря. Не реституирует конкретного состояния, которое существовало в конкретный день, час и минуту. Каждый материальный объект становится моложе, вот и все. Прошлое как совокупность событий, которые уже прошли, не возвращается и не повторяется. О том, абсолютно ли это невозможно, наши эксперты предпочитают не высказываться. Во всяком случае, моделью действия хронды может служить ситуация на футбольном поле, когда один игрок ударит мяч, а другой отобьет ему мяч обратно. Мяч, возвращаясь, не упадет строго на то же самое место. Этот пример уместен еще и потому, что мяч нужно ударить, он не передвигается при помощи микрометрических винтов. Западение также представляет собой резкое и не поддающееся учету в мельчайших подробностях вмешательство в течение времени.

— Но вы же сами говорили, генерал, что шестидесятилетний человек становится сорокалетним!

— Это совсем другое. Его организм станет моложе на столько лет только физиологически. То же самое произойдет и с любым предметом. Старое дерево помолодеет, превратится в саженец. Но если, к примеру, взять скелет, который сто лет пролежал в земле и из которого предварительно изъято несколько костей, то после западения перед нами будет скелет, который пролежал только восемьдесят лет, но те кости, которые из него взяты, назад не вернутся. Если кто-то недавно потерял ногу, то даже после западения с четвертьвековым ретроинтервалом он ее назад не получит. Поэтому хронда не осложнена так называемыми причинными парадоксами, которые связаны с идеей путешествий во времени.

Организм при западении реституирует свою жизнеспособность в границах, определяемых его физиологическими возможностями.

— А машины? Книги? Здания? Чертежи?

— Здание, возведенное сто лет назад, изменится незначительно. Однако постройка из бетона, который затвердел восемь

лет назад, окажется грудой песка, цемента и камней, ведь бетон не может существовать в виде бетона раньше того момента, когда он возник из смеси соответствующих ингредиентов. Это касается любых объектов, а также и машин.

— Уверены ли вы, что противник не располагает уже потенциалом для контрудара?

— Стопроцентной уверенности нет, пессимистическая оценка указывает, что мы уничтожили 80 процентов их хронопотенциала. Оптимистическая, что до 98 процентов.

— Нельзя ли хронды использовать для каких-нибудь других целей, кроме уничтожения неприятельских хронд?

— Можно, господин председатель, но уничтожение хронд противника, а также их производственной базы является абсолютно первоочередной задачей. Сохранив наш потенциал неприкосновенным, мы получили стратегическое и тактическое превосходство. Разумеется, господа, вы понимаете, что в настоящий момент я ничего не могу вам сказать о том, как мы намереваемся использовать это преимущество. Вопросов больше нет? Благодарю за внимание. Что это там? Громкоговорители? Прошу тишины!

— Внимание, внимание! Тревога первой степени. Локаторами замечен сход спутников врага с троянских орбит в количестве четырех единиц. Антиракеты противобаллистической обороны первой линии перехвачены противником. Один спутник сбит прямым попаданием. Три спутника в радианте дзета снизились до первой космической. Действия локаторов затруднены ионным облаком, выброшенным симулирующей головкой первого уничтоженного спутника. Внимание, внимание! Наземные индикаторы в непосредственном взаимодействии со стационарными спутниками нашей обороны будут сообщать о вероятных целях, намеченных противником. Внимание, цель номер один: комплекс «С», предельное отклонение 20—25 миль от точки ноль. Внимание, цель номер два: главный штаб, предельное отклонение 7—9 миль от точки ноль.

— Двадцать процентов их хрономощи летит нам на голову! — завопил кто-то. Сидевшие за зеленым столом вскочили. Загремели кресла, одно упало. Где-то поблизости жалобно завыла сирена.

— Господа, прошу оставаться на местах! Западение не представляет угрозы для жизни. Кроме того, нет способов укрытия

или изоляции. Прошу сохранять спокойствие! — надрывался генерал.

— Внимание, внимание! Второй спутник уничтожен в ионосфере ракетным залпом. Два оставшихся спутника вошли в мертвую зону противоорбитальной обороны. Изменяют траекторию по данным локаторов ближней обороны с семидесятикратной перегрузкой.

Внимание! Два вражеских спутника на оси целей номер один и номер два. Входят в оптический периметр непосредственного поражения. Внимание! Объявляю тревогу наивысшего угрожаемого положения. Восемь секунд до ноля, семь до ноля. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Внимание. Но...

Изображение погасло, и воцарилось молчание.

— И это тоже не слишком воодушевляет, — вздохнул Ипполип. — А что, если бы время могло разветвляться? Вроде как река в дельте. И если бы его можно было регулировать, как систему каналов? Как вы думаете?

— Мы и это пробовали, — ответил Трурль. — Получается пандемонимум. Появляются приватные времена, которые отпочковываются в виде заливов и лиманов, беря начало из воплощенных снов. Возникает подрывная хронавтика, угрожающая социальным распадом и потому преследуемая властями. Вводятся удостоверения личной актуальности, ретрохрональные налоги, хрониция, интерхрон, похроничные войска, развивается межвременная контрабанда, шайки, воскрешающие казненных преступников, часокрадство и комитеты календарной безопасности. Начинается массовая эмиграция в другие времена, давка; все стремятся протолкнуться в модные эпохи. Равновременники пытаются выселить диких времякопателей, и всем бог знает почему представляется, что в другом времени лучше. Дело доходит до укрывания, накопления и присвоения ценных моментов, возникает секулярная биржа, изготовляются фальшивые времена или времена, замкнутые в круг, хрональные ямы и тюрьмы. Создаются перпетуаторы, эротические, политические и мистические, для извлечения чудесных мгновений. Толпы эмигрантов, контрэмигрантов и реэмигрантов мчатся сквозь столетия в противоположных направлениях, стукаясь лбами при встречах. Доходит до так называемых военных конвульсий, история начинает хромать на знаках препинания. К примеру, хрональные убийцы убивают в колыбели

императора враждебного государства. Тот не вырастает, не становится императором, не одерживает победы, и таким образом, отпадает необходимость удушения его в пеленках. И тогда он все-таки рождается, вырастает, ведет победоносные войны, поэтому снова высылают в прошлое убийц — и так без конца. Мы открыли восемьсот видов так называемого circulus temporalis vitiosus*, но я думаю, что их может быть бесконечно много. Ну а хроноизвращения: футурофилия, часовой фетишизм, delectatio temporosa**, автопедофилия, то есть преследование развратными старцами самих себя в детском возрасте, а хронализм? А демпинговый импорт достижений техники будущего, который приводит к кризисам? А похищения во времени? Мы обнаружили, что слишком мощные аристократические группы, которые заправляют всей темпоральной стратегией, так растягивают в разные стороны настоящее, так перетаскивают его хронотракторами на свою сторону, что время рвется и между прошлым и будущим образуется провал, известная всем Черная дыра! По этим дырам в небе и распознается высокий разум, Ваше Величество, я мог бы часами так перечислять. От всей души не советую...

— Хорошо! Вы убедили меня, что обратимое и делимое время — неблагодарное свойство Творения, — сказал явно раздосадованный король. — А все же пошевелите мозгами. Смелее! Подумайте хотя бы вот над чем. Нынешний мир ведет себя более или менее индифферентно. Не слишком благоприятствует своим обитателям, но и не слишком их угнетает. Это равнодушие легко порождает фрустрацию. Как известно, холодное безразличие родителей калечит психику детей, а равнодушный холод Вселенной — и подавно! Разве не должен быть мир внимательным, заботливым, на каждом шагу охранять своих обитателей, предупреждать каждое их желание? Одним словом, не они к нему, а он к ним должен приспосабливаться! Ну, скажем, усталый путник падает со Скальной гряды, потому что он поскользнулся. У нас он разобьется вдребезги. А в новом мире место, на которое он должен упасть, быстренько размягчится в пух. Путешественник отряхнется — и снова в путь. Ну как? — Король даже засиял. — Разве это не прекрасно? Почему же вы молчите?

---

* порочного временно́го круга *(лат.)*.

** упоение временем *(лат.)*.

— Потому что благорасположение — вещь относительная, — сказал Клапауций. — Возьмем того же путника. Может быть, ему жизнь опостылела и он сам бросился в пропасть? Наверное, в этом случае камням следовало бы остаться твердыми? Но это уже подразумевает чтение мыслей.

— Допустим. Почему бы нет, если мы ничем в нашем творчестве не ограничены? — отпарировал король.

— Почему бы нет? Предположим, наш путник несет важную весть. Если он ее донесет, ауриды победят бенидов, а если не донесет — войну выиграют бениды. С точки зрения ауридов, камни должны размягчиться, а по желанию бенидов должны стать еще более твердыми. Но это еще не все. Если этот странник пройдет через горы, он встретит женщину, которая родит ему сына. А сын потом расценит поступок отца как деяние низкое и подлое. Он назовет его предателем, ибо я забыл сказать, что путник сам был бенидом. Сыновнее обвинение так потрясет всех, что, окруженный всеобщим презрением, путник повесится. Если милосердная ветвь обломится, он бросится в воду. Если благожелательная вода выбросит его на берег, он примет яд. И так далее. Как долго заботливый мир будет усугублять его душевные муки, отсрочивая его физический конец? Может быть, лучше бы он сразу повис? Но если так, то не лучше было бы ему сгинуть в пропасти, не оставив потомства, чем повеситься от укоров сына? Я знаю, что пожелает возразить государь: все дело в том, действительно ли странник был предателем, и еще в том, какая сторона заслуживала победы. Ну, предположим, что справедливый человек пожелал бы победы бенидам как более слабо вооруженным, но благородным по духу. Тогда то, что путник предал своих и обеспечил победу ауридам, плохо. Однако дело на этом не кончается, ибо я пересказываю не повесть, а всеобщее бытие, которое конца не имеет. Воцарившись над бенидами, ауриды через сто лет, сами того не замечая, поддались влиянию побежденных. Тогда они поняли всю ненужность военного насилия и заключили с бенидами союз равных с равными, который принес благо обоим народам. Выходит, что камни не должны были размягчаться. Параллельно можно рассмотреть, что будет, если путник погибнет. Тогда победят бениды. Эта победа превратит мирный народ, поощряющий искусства, в грубых вояк. Искусство придет в упадок, начнутся завоевания, и через сто лет из справедливых людей получатся грабители, против которых в конце концов

восстанет вся планета. И что же получается? Учитывая такой оборот событий, скалы должны были все же смягчиться, хотя на них и летел предатель. Поскольку события, о которых я говорю, должны получить дальнейший ход, то в зависимости от того, смотрим ли мы на последствия падения через пять, пятьдесят или пятьсот лет, скалы должны были бы то размягчаться, то твердеть. А потому благожелательный мир должен, увы, окончательно свихнуться, пытаясь делать вещи, взаимно противоположные.

— Значит, так? Ну тогда выдумайте что-нибудь получше, — уже не на шутку разгневался король Ипполип. — За этим я вас и вызвал! Почему у вас существа, которыми вы заселяете пробные вселенные, точь-в-точь такие же, как и мы?

— Его Величество король изволит намекать, что мы занимаемся плагиатом? — промолвил в ответ Клапауций, сдерживая растущее возмущение. — Что ж, государь прав. Но следовало бы Его Величеству знать, что делаем мы это не от недостатка, а от избытка знания. Ничем не возмущаемый покой сохраняется только в неразумных сообществах. Крутятся они там, как в улье, не жалуясь на экзистенциальное неравенство. Никаких раздоров, никаких вредных нововведений, только гармония и порядок. Мы не заполняем наших миров такой гармонией, потому что сам король возразил бы, что эта гармония от безмозглости. Королю нужны вселенные, полные разума. Того же желает бог знает почему каждый творец. Но ведь разум — это ненасытность, потому что он создает бесчисленное множество возможностей для деятельности, которые часто друг друга исключают. Орел у разума — гениальность, а решка — чудовищность, потому что он свободен внутри себя без границ в обе стороны. Ясное дело, высшую гармонию разума можно запрограммировать. Программа, проявляющаяся подсознательно, пропитывает сознание самыми возвышенными стремлениями. Однако все почему-то отвергают гармонию, потому что она, видите ли, навязанная, ненатуральная, поддельная, поскольку пришла она с перфокарты, а не развилась спонтанно. Дух просветляется оттого, что просвещают его тайком подсунутые идеалы. А это уже заводная игрушка, несвободное развитие бытия! Что ж, можно ввести две противоположно действующие программы: одну — совращающую, а другую — наставительную, чтобы разум мог самоопределяться в их столкновении и конфликте, но тут нам возражают, что и это не подходит, пото-

му что хотя распутье и существует, но концы путей предопределены заранее. В таком выборе свободы и самоопределения не больше, чем у штанов: гравитация тянет их вниз, а подтяжки — кверху. В философских сочинениях можно встретить утверждение, что дух прежде всего должен быть свободным. Что же такое свобода? Бесконечность шансов? А где же ее больше всего, как не в безмерности? Там, где возможно все, потому что ничто заранее не запрещено? Разумеется, и такое можно сконструировать. Но тогда вместо чудесных свершений мы погрязнем в блужданиях. Потому что задание обусловлено кричащими противоречиями. Мы должны создать широкую узость, сытый голод, святой грех, вершину, с которой нельзя упасть, а поскольку нас ничто не сдерживает, то мы должны одарить сотворенных океаном свободы, чтобы они добровольно черпали из него по капельке. Хотя никто не заказывал у нас до сих пор вселенной, но осмелюсь заметить, что у нас было достаточно весьма требовательных клиентов, таких разборчивых, что они оказывались строже в оценке наших произведений, чем произведений природы. Поэтому в нашей мастерской висит плакат, обращенный к заказчикам, который гласит: «Уважаемый клиент! Прежде чем начать обвинять нас во всех грехах, приглядись к произведениям, исполненным природой, посмотри на себя и подобных тебе. Почему ты не гнушаешься ими так же, как тем, что заказал у нас? У них ты называешь каждый дефект результатом искушения, случайности; ошибкам, допущенным в них, ты придаешь высокий смысл приговора небес, трагедии, тайны, может быть, позорной, но великой, а потому все-таки возвышенной. То, что существует, ты всегда немножко уважаешь, даже если оно ни к черту не годится, а то, что предлагаем мы, не заслуживает ни малейшего уважения, поскольку появилось не из неведомой бездны, а только от нашей счетной линейки и угольника».

— Ну, хватит! Довольно тут рассуждать! — нетерпеливо прервал его король. — Тоже мне диатриба! Извини меня, но я вызывал конструкторов, а не самохвалов! Покажите мне ваших неосуществ. Давайте их сюда, и поговорим по-деловому.

— Мы творим не на пустом месте, — спокойно отвечал Клапауций, — но тот, кто ждет, пока от самослипания частичек из Космоса вынырнет сознательное существо, ничем не рискует, но и не имеет никаких заслуг. Давние конструкторы, добиваясь наибольшей социальной солидарности, строили существа

полуобщего типа, такие, которые сообща располагают телами. Память об этом сохранилась в сказках, где рассказывается о многоголовых драконах. Но дело тут не в их драконовских свойствах. Многоголовцы перегрызут друг другу горло почти что сразу. Мирмександр Декстридский, чтобы избежать конфликтов, частично обобществил разум созданных им существ. Он соединил глубины их духовной жизни и на этой базе вырастил индивидуальные сознания. Связь была дистанционной, а потому незаметной, и эти существа на первый взгляд казались совершенно автономными. Поскольку сознание питается собственной глубиной, а она была у них общей, то жили они в полном согласии. Дела у них шли превосходно. Но как только они догадались об этой связи, а в конце концов они должны были это открыть, занявшись наукой, полученное знание обратилось общим несчастьем. Ибо они поняли, что овладеть подсознанием одного, хотя бы последнего, нищего — значит получить власть над всеми сразу. Кому это было нужно? Ха! Легче сказать, кому это было не нужно! Конечно, это частный случай, но значение имеет всеобщее. Была ли когда-нибудь общность душ или нет, но залезание в душу всегда переходит в манипуляцию, проводимую, конечно, с благороднейшими целями.

Но Вашему Величеству, который еще ребенком играл в «кибернетики» и в «малого мозговничего», должно быть известно, как легко переделать автомат в садомат или в автосадомазомат и что делают умственные агрегаты, когда они получают самосознание, как они набрасываются на собственный машинный разум, чтобы его подзуживать, поддразнивать и выворачивать наизнанку все более искусными методами философской церебеллистики, что всегда кончается либо расщеплением сознания, либо коротким замыканием на себя. И в самом деле, зачем раскапывать звезды, подвергаясь ожогам третьей степени, зачем кидаться на другой конец Вселенной, зачем шевелить пальцем, когда маленькая проволочка, вставленная в мозг, все превосходно уладит? И вправду, история церебеллистики, дебри которой поглотили во многих галактиках множество разумных, многообещающих цивилизаций, должна быть записана для всеобщего предостережения! Вся эта индустрия счастья, все эти усилители похоти, или вожделяторы...

— Нет, это просто невозможно! Что ты тут плетешь? К чему это? Король и сам это знает! Говори по существу! — не выдержал Трурль.

— К чему я клоню? Король это сам знает? И при этом ставит под сомнение сохранительную суть наших проектов! Я как раз объясняю, что не следует впадать в ту ошибку, которую ты совершил однажды со своей счастьестремительной инженерией.

— Замолчи! Как ты смеешь клеветать на меня в высочайшем присутствии? Вот я тебя сейчас!..

Видя, с какой ненавистью мерят друг друга взглядом верные друзья, король выступил в роли посредника, чем ликвидировал ссору в зародыше и одновременно положил конец разглагольствованиям Клапауция.

— Не падайте духом! — сказал король благожелательно. — Я знал, что выбрал наитруднейшую из задач, но я доверил ее не кому попало. Идите же, мои дорогие, посоветуйтесь без скандалов и возвращайтесь ко мне, когда сможете продемонстрировать мне лучший мир.

И они пошли, бранясь на ходу и наскакивая друг на друга и размахивая руками, к удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерею, через дворцовые сады, через пять мостов на пяти городских каналах и даже того не заметили.

— Не в том суть, — говорил Трурль, — чтобы создать мир, застегнутый на все пуговицы, мир, очищенный от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни вонзить, ни вырвать. Это педантизм, лакировка Божьего дела. Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции!

— Оставь при себе эту риторику! Ты не перед королем стоишь! — оборвал его Клапауций.

— И все-таки! В Божьем варианте одно существо не может достигнуть всех совершенств одновременно. Если я о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу упиваться надеждой, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость обладания! Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает, а если обнимает, моему разыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать. Я не могу обнимать и не обнимать, иметь и не иметь. Что достигнуто, то мне безразлично, а что бесценно и неизменно, то недостижимо. Так наше бытие качается между

чрезмерной уверенностью и излишним риском, то есть между скукой и страхом.

От голода до пресыщения один шаг. И мало того. То, что мы воображаем, всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас — прямо до отчаяния. Дух слишком зависим от меня, материя слишком независима!

— Что ты плетешь?! — скривился Клапауций, но Трурль не унимался.

— Переводя эту фатальность творения на язык строительной практики, мы отметим три ограничения свободы в бытии: материальное, временное, пространственное. Либо что-то является мыслью, либо вещью — это первое принуждение. Вторая несвобода — местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третья неволя — это насилие, которому подвергает нас время, потому что мы в нем заключены: если нас выпустит среда, то поймает четверг, после четверга придержит пятница — вечная муштра, настоящая казарма; равняй шаг, ни вперед, ни назад — замечали вы, так же как и я, эту военно-строевую природу времени? Ни на волос нельзя отклониться от настоящего! Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь?

— Ты хочешь ликвидировать время, пространство и материю?

— Именно так!

Клапауций еще колебался, но его захватил радикальный подход Трурля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, ибо их как раз туда и занесло, и принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира, а Трурль все нападал на его схемы, дети тоже мешали, тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, третья, они не подавали признаков жизни. Нетерпеливый Ипполип послал главного думчего на разведку, потом самого министра мыслительной промышленности, а когда и самого министра не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их, сильно возбужденных, посреди страшно захламленного зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своем — только тогда они посвятили его в свои тайны.

— То, что существует, мы отбросили полностью! — сообщил ему Трурль. — Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворенным без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил их, сотворенных, этим миром раз и навсегда осчастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой — не хотят? А может быть, один по этому поводу придерживается одного мнения, а другой — другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм? Четко обозначить дороги в рай и в ад, стричь всех под одну гребенку, карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов? Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы выбросили из Вселенной материю, пространство и время.

— Не может быть! — Король был поражен. — Зачем? И что вы дали взамен?

— Зачем? — Трурль потряс головой. — Затем, что дух хочет, а не может, и материя может, но не желает. Лучезарный король этим озадачен? Но это же бросается в глаза! Что можно себе представить расточительнее Космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, — и что из того? Что это дает? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люменах и светит в ином измерении! Может быть, нам? Тоже мне служба! Материя может много, разумеется; если бы не могла, то и нас не было бы, но из такого разбазаривания сырья, вулканического растранжиривания, после стольких ошибочных, путаных, эпилептических мучений она рождает щепотку здравого смысла! К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль.

А дух, в свою очередь так увязший в материи, закованный в ней трагикомический узник! Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само нарывает, пока не распылится или не растечется... С этической точки зрения это непристойно, а с эстетической — отвратительно. И потому мы выкинули материю-идиотку и духа-узника, решив создать нечто осредненное между их крайностями. Наш материал — аматерия. Nomen omen! Amo, Amas, Amat, не так ли? Ars amandi* — не какая-нибудь

* Искусство любви *(лат.)*.

там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделье и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир как эмоциональная привязанность молекул, уже при рождении хозяйственных и деловитых.

Электроны, протоны у нас вращаются друг вокруг дружки не оттого, что есть силы, кванты аматериального поля, а оттого, что просто любят друг друга! Теперь понимаете, что поступками аматериального существа движет не физика, а симпатия? Вместо трех законов Ньютона — притяжение нового типа: нежность, забота, любовь. Вместо закона сохранения количества движения — правило сохранения верности, что же касается теории относительности, то чувства вообще относительны, только у нас вместо наблюдателя — возлюбленный, а вместо факта — такт. А поскольку мы отказались от бренных тел, то и в эротике у нас больше нет физики — никакого трения, давления, смазки, сжатия — таким образом, по самой природе любовь в нашей Вселенной должна быть идеальной!

— Ну а время? А пространство? — допытывался заинтригованный Ипполип.

— Времени мы придали покорность и эластичность, чтобы оно слушалось тех, кому это необходимо. Эластичность эта представляет собой так называемый трюм. Вместо казарменного существования, вместо парада часов, минут, секунд в неумолимом календарном режиме под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить неравномерно, как ему нравится. Кто спешит, тот стрюмит из среды прямо в субботу, а кому нравится четверг, может четверговать себе досыта. А пространство мы убрали полностью, потому что его размерная категоричность содержит в себе серьезную угрозу для живущих.

— Да? Я как-то не заметил.

— А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходят несчастья. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать? А теснота — информационная, демографическая и порнографическая? Дух непространственен — его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать, причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить.

— Ну хорошо. И как же вы все это устроили?

— Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно, личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой, скорее, даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков — здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много, то есть создаются очаги концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение.

Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только помысли о цели — и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.

— Как я понял, мир этот у вас уже готов? Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что? Опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь!

Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля и — молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал Ипполип пальцем на Клапауция:

— Говори ты!

— Возникли неожиданные сложности...

— Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?

— Сложности неожиданные... Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас, но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит...

— Не понимаю. Что-нибудь портится?

— В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов, в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор...

Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но

быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку Природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности — амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению, и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что это все только он сам, а он все же не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зоряпиц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью, и ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам как стихия, и главным образом там, где он почти прекращался.

Так по крайней мере можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций — будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся, так его бросало из стороны в сторону от неудовлетворенных чувств, так выставлял из себя друголы в разных фазах упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка-кумулюса, отделенного вихревой стеной от грозового фронта. Образование это некоторое время влачилось за Крентлином, пока

не взялось за самоурегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единственную друголу, о которой мечтал, а полтреть их, Звоину, то есть Цеву, или Цевинну, несомненно, женскую, а также подобных близнецам-полумесяцам двух ее мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность Цевинны индуктировала в ней двоемужество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее, разветвленец, как бы переходный, — но таким уж он и остался как Марлин-перемычка-Понсий, или же Пунцский, потому что то и дело краснел.

И тут все жестоко перепуталось. Крентлин даже и не знал, что сам явился причиной своей беды, что к двумужнице страстью разгорелся. Не заметил даже, как, пылая, терзаясь приступами ревности, особенно в мысленной погоне за Цевинной, выделяет очередные существа, калибром и форматом соответствующие резкости чувственных перенапряжений.

Так от его любовных метаний и заселялся этот мир. Никто там никому не вредил, тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать сквозь друг друга, задерживаясь разве что на особенно интересной идее проникаемого, и то мимолетно, без видимых последствий. Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей — может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии. И этого было достаточно, чтобы выгоны покрыла морена — настоящая мировоззренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлин во время, казалось, случайных встреч просвистывал сквозь ветреницу Цевинну, как блуждающий вихрь, будто ее не замечал, но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами он ей вовсе не безразличен. Тогда он начинал сладостно густеть в ее пределах, но она делала тщетными эти окклюзии, давая бедняге холодный афронт.

И однажды Крентлин, уходя, куда мысли понесут, после такой диффузии, которая обернулась конфузией, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время, очевидно, в нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализацию. И потом это существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркое, как юла, то и дело проскальзывало в Крентлина, то ли с целью подстрекательства, то

ли чтобы побыть в ком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у Цевинны. Мародер? Непрошеный гость? Осмотический отшельник? Злонамеренный нахал? Неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему, так что они отряхивались после его посещения. Зато Марлина-перемычку-Понсия этот странный переуженец избегал как огня.

Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух в двоемужа, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин-перемычка-Понсий даже не покраснел. А карлик, истинный недоносок, крутился то туда, то сюда, захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Высматривал кого-то или что еще? Похоже было, что он даже многозначительно моргает. Все както приостановились. Почему-то никто уже не взыгрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом? Неизвестно, до чего дошло бы дальше, но в этом месте король Ипполип принялся топать ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений.

— Увы, государь, мы этого сами не понимаем, — сразу признался Трурль. — В этом и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия Крентлина и Цевы — невинными играми или черной язвой нашего творения. Хуже того, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли опыт неоднократно, сменяя исходные условия. Иногда вместо двоемужа получался полторант, иногда Цевинна получала перемычку, но это статистические отклонения, вполне банальные при любом сотворении мира.

— А этот переуженец?

— Этот вьюн? Понимаю, что имеет в виду Ваше Величество. Он появляется каждый раз, иногда бывает побольше, иногда поменьше, временами несколько раздвоенный, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должно быть известно, что в каждом производстве имеются отходы, а там, где все настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевленным. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения.

— Ты так полагаешь? Только почему он такой настырный? Чего он в них лезет? Может, это соблазнитель?

— Внешне так оно и выглядит, — согласился Трурль. — Но мы-то не знаем, соблазняет он или не соблазняет. Они там все взаимно проникают, но ради прогулки или с намерением прельстить, невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли за пределы классического варианта творения. Тот духовный солитер извивается, как змий, поскольку худой он, а значит, и гибкий. Правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, но, если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и никому не подражали, когда создавали новый мир, — и вот результат. Мы создали мир, непохожий на наш, вот мы его и не понимаем.

— Что ты мне тут рассказываешь? А разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь он, как известно, творил из ничего!

— Только сам мир, Ваше Величество, а не райских поселенцев! Тех, если помните, «по своему образу и подобию». Примерно так он их смоделировал. И не случайно. Подобие сотворенных своему творцу — главное условие удачного творения! Чем сильнее отличается творец от своих детищ, тем меньше его разумение о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились. Кто ликвидирует подобия, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чем не напоминаем сотворенных нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, а в первую очередь — почему он делает это так, а не иначе. Речь тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворенного, если его телесность ни в чем не соответствует нашей, если его время — не наше время, а его пространство — не наше пространство, то оба наши мира ни в чем не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мир наиужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существа, совершенно отличные от творца, для него совершенно непроницаемы и непостижимы. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаем непохожих, судьбе которых не сможем даже сочувствовать, ибо она останется непроникаемой тайной.

— Вот! Вот это важно! О! Фундаментальную вещь ты сейчас сказал, Трурль! — вскочил с места Ипполип. — Да! Теперь я вижу! Я понял! Суждение, что тот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствие! Теперь я понимаю! Повернуть дело творения лицом к сотворенным — это одно, а понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия, — это совсем другой вопрос! Друзья мои, изъявляю вам нашу особую благодарность за это откровение, ибо оно утвердило меня в вере. Теперь я буду еще крепче верить в Бога, чем до сих пор.

— Не вижу связи, — удивился Трурль.

— Не видишь? А «Credo quia absurdum est»?* Вечный — самопортящихся породил, всемогущий — беспомощных, всеблагой, кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетели, — похотливых ничтожеств. Как же ему не разочароваться, видя такое сочетание качеств? «По своему образу и подобию» он строил свои ожидания, но оказался неспособен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого! Вечного огня ожидал он от искорки своего блеска! Отсюда его кажущаяся эксцентричность, мнимые Божьи чудачества, впечатление, что он какой-то шарлатан, чудак, маньяк, сутяга и крючкотвор, который и после смерти тянет сотворенных на судебные процессы, расследования и разбирательства во всех инстанциях долины Иосафата.

Ах, теперь я понял, что так угнетало отцов церкви, а особенно Августина — эту непостижимость, унизительную не только для здравого рассудка, но и для чувств, они не смогли понять, упрятали свое изумление в догматы, отказались от собственного разума, не зная, что им явилась антиномия, заключенная в технике, а не в этике творения. Да, конечно, это так! Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую ему, — уже спокойно закончил король.

Однако Клапауций его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, притом так торжественно, будто собирался взлететь.

---

* Верую, ибо абсурдно *(лат.)*.

— Наисветлейший король! — произнес он важно, сильным голосом. — Мне пришла в голову одна идея, совсем новая. Я не люблю хвастать, но должен сказать, что это замысел совершенно гениальный. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы создать мир, стремящийся к совершенству, такой, жители которого найдут и утвердят во веки веков собственное счастье, но при этом не будут ни в чем, повторяю, ни в чем похожи на того, кто их сотворил...

— Ну! Ну! — в один голос воскликнули Трурль и Ипполип...

Однако Клапауций ничего им больше не сказал. Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх и злился Трурль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательство завистников, Клапауций начал подбирать с полу инструменты. Тогда Трурль заявил, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдет и сам проведет эксперимент в новом направлении. Монарх условился о встрече с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенций в ближайшую среду, и с тем они разошлись.

В среду оба прибыли пунктуально. Трурль с пустыми руками, а Клапауций прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации.

— Государь, я достиг успеха, — сказал он. — Но чтобы все было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой... э-э... коллега Трурль сформулировал антиномию творения в классическом варианте следующим образом: чем меньше подобен творец своим сотворенным, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе подобие равняется нулю, творец не знает о качестве жизни своих креатур ровно ничего. Отсюда якобы неразрешимая дилемма: либо уподобить творимых самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворенных, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу, либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворенные в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество — не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в

многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все осточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь. И каждый такой мир существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других, легко доступных миров. А поскольку мои сотворенные сами копаются в бытиях, как в разложенных товарах, поскольку могут примерять их как шапки, руководствуясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей. Как творец я дал им максимальную свободу! Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей — ни из горящего куста, ни из какого другого места, я ничего им не навязываю и ничего им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше них, в чем заключается их счастье, что возвышает их, а что ведет к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной, ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитральным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это не исправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подпруг, которые я один мог бы иногда отпустить своим чудотворным вмешательством.

И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать, пресуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет в такую, которая всех удовлетворит. Только тогда никто не тронет переключателя, ибо воцарится вечная гармония. Итак, мой мир не стартует в раю, чтобы потом поскользнуться в сторону ада, а берет начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я все сказал, государь.

— Ага! — сказал Ипполип, который просветлел лицом, пока слушал Клапауция. — Вот! Это мне в самый раз! Давай! Ну, ну! Кажется мне, что на этот раз ты угодил в десятку! Говоришь, учредил выборы? Пятидостойное демократично-онтичное голосование: равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое? Что ж, это похоже на идеальное равноправие. И го-

воришь, не можешь ничего понять, ихних там поступков, мотивов? По правде говоря, немного жаль.

— Вот, вот! — Клапауций поднял палец укоризненным жестом. — «Немного жаль», не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серой и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных! Конечно, можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике, но это возможное понимание ни к чему не обязывает, оставаясь чем-то вроде частного мнения, votum separatum Творца, записанного на полях его Творения...

— Ну что ж, покажи, покажи, любезный, нам свой мир, — вздохнул Ипполип и поудобней уселся на троне, а Клапауций, не обращая внимания на угрюмо молчавшего Трурля, пустил сноп света на алебастровую стену.

И снова они увидели Крентлина-зорянина, его духовные метания и заблуждения, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цевинна совсем не изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии и он появился как по туловищу перевязанный Марлин Подпонций.

А так как присутствующие это уже раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый созданный был понемножку везде, каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желая доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий, Клапауций включил звук, и этот немой до сих пор мир взорвался многоголосым говором.

Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж, Марлин, раздувал себе приятные минуты в Цевинне, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Подпонций удалился, слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Цевинна не пропускала его вовсе, будто аппретированная.

— Ну, дай мне хотя бы один трюм! Соснимся! Затуманы устроим!

— Сам затуманься! Прошу в меня не вмешиваться! Это моя клокоть!

— Осмотическая прелестница, зоревая сгустница! Пустим Понтяка на клейстер!

— Вы забываетесь! — донеслось неразборчиво.

— Что тебе, полторант милее? Я тебе вмою, втрою, замстру!

Не совсем было ясно, кто, о чем и в каком смысле кричит. Посреди морены из отвалов философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересущницы. Цевинна от взъяренного Крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже привратник, непроницаемый, будто весь затянутый бельмом, этакий молокосос. Между ними произошел краткий обмен мыслями:

— Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то съюхчу! Шансуй мне забыт, во как нужно! На мучильский всос!

— Отоймись, смотри, перебытую! Не балуй, не еленься, ты!

Пользуясь замешательством, Цевинна уже диффундировала сквозь привратника к рычагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил ее сгустки, внедрился в нее, захватив по дороге молокососа, и начал ее ожесточенно трюмить: «Засущимся здесь, тут!..»

А уж Марлин рвался к ним так, что лопнула перемычка и муж вместе с отделившимся побочным Подпонцким влетели в Крентлина с намысленной стороны, распучили его, вышла куча мала. Цевинна выскочила оттуда растормошенная и стала иннеть. Каждую минуту меняется: евится, мариолизуется, наконец, слюдмилась — что это, болезнь или вид мимикрии? По некоторой относительной близости наеленилась, но стала скорее Елендой, чем Еленой, может, от волнения, а может быть, второпях.

Тем временем над пересущницей Марлин и Подпонций с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя, размазывая во взаимных турбуленциях привратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны.

— Чтоб ты лопнул, чужеловская диффузия! — вопят как один мужья.

— Сами лопайтесь! Впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сам впитаю! — отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уж близкий к цели.

— Ты, растворяк, черт с тобой! Вали в онтику!

Крентлин в один миг вымыслился из пересущницы и уж был рядом с Цевинной, наполнил собою ее всю, хотя и в фазе

Еленды. Муж тут дернулся сразу в обе стороны — к жене и к рычагам:

— Пересущаюсь, чтоб Крентляк впитался! Цева не изменится? Мигом мне шансуй, беляк!

А привратник совсем выцвел и сипит:

— Пусти, радикал лощеный! Или по нулям, или трансфинально. Компромисс не советую — трюма не выйдет!

— Уточни! Кто занулится? Влезун?

— Гы! Может, твоя четверть, а может, Понцкая, а может, и оба пропадете. Я не пророк, а шансер.

— Шанса тебе в трюм! Затьмись! Пересущаюсь!

Подскочил Марлин к пересущнице, Подпонций с ним вместе тянет.

Тут блыснуло, заничевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понция нет и следа, Крентлин уже не Крентлин, а Гренслич, и к тому же карликовый, как будто его таким индуктировала экономная Цевинна, которая сама ничуть не изменилась, по крайней мере на первый взгляд. Пресуществление вызвало всеобщую панику. Кто мог, сразу нырнул в кого попало, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса — неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цевинне тоже, поэтому она двинулась в посторонние неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было, тогда она прояснилась навылет и выпала на морену. Она еще дрожала, а тут — что за постоянство чувств! Марлин пополам с Гренсличем к ней. Тут она смешалась, а они с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве. Цевинна развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущнице. Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уже никто ничего не понимает.

Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый, по-прежнему вездействуя, кроме того, выпускал из себя будёх, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и тем обильнее, чем отчаяннее старался сосредоточиться.

Возможно, это была лишь форма экстернализации мыслей, или же в конце концов (так потом утверждал Трурль) дело

дошло до панпсихической аннигиляции, и упомянутые дымы были вывороченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия.

Глядь, а тут Гренслич разлетается во все стороны, вместо мировоззренческой морены какие-то тумбы, до самого горизонта умозаключается тихая мыслительность, мир в этом варианте как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж и сползает к Цевинне с довольно сильной прецессией. Сила Кориолиса, Мопертюи или привычки — не разберешь. Вдобавок ко всему исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, потому что пропал смысл конфликта. Секс тут уже из области преданий — не секс, а экс. Муж-уж, не разобравшись в этом вследствие сильного аффекта, кинулся было в глубь Некароля Гренслицкого, шипя: «Я ж тебя заклокочу, я тебе покажу этрусское бытие!» — но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно: сникакала Гренслича эта онтология.

А тут еще вмешался молокосос, вдруг отпихнул ужа, а сам шасть в пересущницу и — полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее, но либо попал в дурной трюм, либо хватка у него соскользнула с онтоятки. Охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался град философских камней, и сверкнул новый мир, но какой!

Из мужа-ужа получилась растопырка, явно женственная, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне, привратник, весь в батистовых оболочках, как вьюнок обвился вокруг пересущницы и расцвел над рукояткой радужным цветком — ни дать ни взять папоротник в ночь на Ивана Купалу!

А где же Цевинна? Какие-то раздутые вспученности, пузыристые завитушки, баллонеты-монгольфьеры в небесах — она ли это? Растопырка из ужа влезла в соседник, где пелегриб с недодуткой разглагольствует, стоя на одной ноге, а со ста сторон, дрожа от усилий, ложноножки тянутся к онтоятке...

Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить. Клапауций наконец неохотно повиновался. Он выключил аппаратуру, ворча, что можно было бы обождать еще несколько пересуществлений, что в конце концов все это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться, это они

так, по неопытности, с непривычки, из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом, а Трурль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, стряхивая колени: «Значит, так. Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега влез в неклассическую». Пятидостойные выборы онтологии — не так ли? Смешно! Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут, как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие, несомненно, налицо: падучая многосущая, или ontolepsia progressiva — новый вид экзистенциальных страданий. Ведь они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, и как можно при этом утверждать, что, убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу?

Тут Клапауций начал кричать и даже, забыв о королевском присутствии, топать на Трурля, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорблений действием, если бы не вмешался Ипполип, напомнив, что это как-никак, а все же сотворение мира.

Едва остыв, Клапауций принялся бойко и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для сотворенных непредсказуемым: бытия не ботинки, чтобы их можно было примерить! Риск есть при каждом переходе, это накладные расходы прогресса. Но в его, Клапауция, варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчетами. Примерка бытия невозможна еще и потому, что когда кто-нибудь переходит из одной онтики в другую, то он не только меняет все свое окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. Риск здесь неизбежен, а пробы требуют времени, но что такое десять минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час или через двести лет, это правда, но другого пути не существует... Так он продолжал, употребляя все более замысловатые термины, ссылаясь на топологию духа и геометрию осознаний и озарений, излагая элементы эндоскопической онтографии, климатизации эмоциональной жизни, ее уровней, экстремумов, подъемов, спадов, а также упадков духа, и болтал так долго, что охрип, а у короля

разболелась голова. Тогда Трурль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал:

— И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить Вашему Величеству результаты моей работы.

— Подожди, — прервал его король. — Один из моих советников так мне вчера сказал: если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл, потому что это значило бы, что он наделил нас, сотворенных, неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак: если выиграем, то проиграем, а если проиграем, то как раз и выиграем! Ведь выиграть мы можем только за его, за Божий счет, в то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал, и эту немощность ему возвратим с протестом, что мы жертвы дискриминации при сотворении мира! Что скажете?

— А! Софизмы! — Трурль сунул королю под нос свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унизить Клапауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый горностаем рукав: — Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною формализованное, то есть окончательное доказательство *невозможности* сотворения мира!

— Да ну? — изумился монарх. — Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?

— Да, государь. И без всяких натяжек. Нечего и стараться — вот расчеты.

Король вытаращил глаза.

— А как же, однако, все это? — развел он руками. — Мир-то существует...

— Что ж, — пожал плечами Трурль. — Таков уж этот мир... Я-то имел в виду совершенный...

Воспитание Цифруши

Когда Клапауция назначили ректором университета, Трурль, который остался дома, поскольку терпеть не мог любой дисциплины, не исключая университетской, в приступе жестокого одиночества соорудил себе премилую цифровую машинку, до того смышленую, что втайне уже видел в ней своего наследника и продолжателя. Правда, всякое между ними бывало, и, в зависимости от расположения духа и успехов в учении, иной раз звал он ее Цифрунчиком, Цифрушей или Цифрушечкой, а иной раз — Цифруктом. Первое время игрывал он с нею в шахматы, пока она не начала ставить ему мат за матом; когда же на межгалактическом турнире она одолела сто гроссмейстеров сразу, то есть влепила им гектомат, Трурль убоялся последствий слишком уж однобокой специализации и, чтобы ум Цифруши раскрепостить, велел ему изучать в очередь химию с лирикой, а пополудни они вдвоем предавались невинным забавам, например, подыскивали рифмы на заданные слова. Именно этим и занимались они

Edukacja Cyfrania, 1976. © Перевод. Константин Душенко, 1993.

в один прекрасный день. Солнышко пригревало, тихо было в лаборатории, только щебетали реле да на два голоса звучала рифмовка.

— Внемлите? — предложил Трурль.

— Литий.

— Взор?

— Раствор.

— Солнце?

— Стронций.

— Тюльпан?

— Пропан.

— Храм?

— Вольфрам.

— Уста?

— Кислота.

— Кой черт, сплошная химия! — не выдержал Трурль. — Ты что, не можешь другой извилиной пошевелить? Убит!

— Карбид.

— Хлебнуть?

— Ртуть.

— Акация?

— Полимеризация.

— Прадед?

— Радий.

— Силен?

— Этилен.

— Довольно химии! — разгневался Трурль, видя, что так можно продолжать без конца.

— Это почему же? — возразил Цифрунчик. — Такого запрета не было, а правила во время игры не меняют!

— Не умничай! Не тебе меня учить, что можно, а чего нельзя!

Между тем малыш преспокойно продолжал:

— Теперь ты. Магний?

Трурль не отзывался.

— Гафний? Цезий? Кобальт? Спасибо, я выиграл! — заключил Цифруша.

Трурль, тяжело дыша, начал было озираться в поисках гаечного ключа, но затем, овладев собою, сказал:

— Хватит на сегодня играть. Займемся-ка более высоким искусством, а именно философией, поскольку она — царица наук и как таковая касается абсолютно всего. Спроси меня о

чем хочешь, а я отвечу тебе дважды, сперва по-простому, а после по-философски!

— Правда ли, что тепляк — это подогретый земляк? — спросила машинка.

Трурль откашлялся и произнес:

— Нет, ты не так меня по́нял, твой вопрос касается словаря...

— Но ты же сказал, что философия касается всего на свете! — настаивал Цифрунчик.

— Спрашивай про другое, раз я тебе говорю!

— Почему скверный делец не то же самое, что деловитый сквернавец?

— И откуда ты только берешь такие дурацкие вопросы?! — возмутился Трурль. — Ну, хорошо. Выучки тебе еще не хватает, это понятно. Знаешь ли ты, чего хочешь?

— Малость поинтегрировать.

— Да не в эту минуту, осел, а в жизни!

— Хочу превзойти тебя славой!

— Это желание суетное, не стоящее усилий и уж наверняка не достойное быть целью всей жизни!

— Тогда почему ты увешал стены грамотами да дипломами?

— Просто так! Это не имеет значения. И больше мне не мешай, а то я тебя вмиг перепрограммирую!

— Ты не можешь так поступить, ведь это противно этике.

— Хватит. Идем на чердак — я устрою тебе наглядную лекцию по философии, а ты слушай молча, учись и не встревай!

Пошли они на чердак, Трурль приставил лесенку к дымоходу, поднялся по ней, за ним взобрался Цифрунчик, и вот уже они стояли на крыше, откуда вид открывался далеко-далеко.

— Взгляни-ка на лесенку, по которой мы поднялись, — благожелательно сказал Трурль. — Куплена она мною по случаю, однако оказалась длинновата, а укорачивать ее не хотелось, уж больно хорошее дерево; вот и проделал я в крыше дыру и в нее просунул излишек. Как видишь, теперь лесенка на два метра выше кровли. Если подниматься по ней, то поначалу каждый твой шаг имеет однозначный и ясный смысл. Но если, оставив внизу чердак, ты будешь взбираться и дальше, смысл, содержавшийся в предыдущих твоих шагах, улетучится на уровне гребня крыши и не останется никакого иного смысла, кроме того, который ты сам вложишь в свои начинания! Поэтому, будучи спрошен, зачем я ставлю ногу на нижние ступени, я впра-

ве ответить: «Взбираюсь на крышу»; но этот ответ не годится, если взобраться на самый верх! Там, наверху, дорогой мой Цифруша, надобно уже самому выдумывать цели и смыслы. Такова in ovo* вся теория высших сущностей, то есть разума, который, высунувшись из болтанки и передряг материи, начинает дивиться как раз тому, что он разумен, и не знает, что ему делать с самим собой и что означают его сомнения! Запомни мои слова, Цифрунчик, ибо это чрезвычайно глубокая притча с философской подкладкой!

— Не значит ли это, что нас занесло чересчур высоко? — поинтересовался малыш.

— В известном смысле да, по инерции, ведь этот процесс уже не притормозить, если он набрал ходу. А теперь сосредоточься, потому что я буду говорить о различии между возможным и невозможным.

— Я сам слышал, как ты говорил дяде Клапауцию, что можешь все! — выпалил Цифруша.

— Ты замолчишь когда-нибудь или нет? Я говорил в другом смысле. Знание кладет конец удивлению, ведь того, кто все знает, ничто не в состоянии поразить! Поэтому меня ничто удивить не может, понятно?

— А если б случилось то, что кажется тебе невозможным, ты и тогда бы не удивился?

— Не мели чепуху. Невозможное не может случиться. Если б, к примеру, сейчас в наш садик упал метеорит...

Он не докончил — послышался пронзительный свист, дом задрожал, несколько черепиц соскочили с крыши, лесенка завибрировала, а в саду вырос столб пыли; и все кончилось так же внезапно, как началось.

— Что-то с неба упало! Должно быть, метеорит! Ты не удивился? — радостно запищала машинка.

— Ничуть, — соврал Трурль, который едва не слетел с гребня крыши. — Такое событие как нельзя более кстати для нашей лекции. Это был чистый случай, то есть совпадение независимых друг от друга событий. Статистика утверждает, что падение метеорита на мирные жилища возможно, хотя и случается крайне редко. Однако невозможно, чтобы сразу же после этого метеорита упал следующий, ибо...

---

* в зародыше *(лат.)*.

Похоже, Цифруша слушал его не слишком внимательно: высунувшись за край крыши, он разглядывал крупную воронку, окруженную валом из остатков ограды и грядок клубники; на ее дне поблескивало что-то вроде стеклянной глыбы.

— Там что-то есть, — сказал он.

Тут снова завыло, загудело, загрохотало, возле воронки взметнулась пыль.

— Второй метеорит! Теперь-то уж ты наверняка удивился! — восхищенно пищал Цифруша.

— Метеориты не падают дважды в одно и то же место, этого не бывает! — изрек Трурль, придя в себя. — Не исключено, что мы наблюдаем новый тип фата-морганы... Но если допустить, что это случилось в действительности, то следующее падение метеорита исключается на очень долгое время, поскольку статистическое распределение...

Грянул гром, и, взметнувши в воздух тучу обломков, между двумя воронками врезался какой-то блестящий предмет, да с такой мощью, что дом качнуло, как на волнах.

— Третий! — радостно взвизгнул Цифруша.

— Ложись! — перекрыл его голосом Трурль, падая с лесенки на чердак и увлекая за собой воспитанника.

Встав на ноги и слегка отряхнувшись, они уже безо всякого философствования побежали в сад. Трурль обошел вокруг трех больших воронок, тряся головой и тихонько вздыхая, а потом присел на корточках на краю самой маленькой из них.

— Удивляешься?! — торжествовал за его спиною малыш. — А я вот ни капельки не удивляюсь, потому что математика идет впереди твоей философии! Множество планет пересекается со множеством метеоритов, образуя такое подмножество, в котором метеориты по меньшей мере единожды залетают в клубнику. В этом подмножестве должно находиться подподмножество планет, на которые метеориты падают дуплетом, а в нем, в свою очередь, — подподподмножество троекратных столкновений!

— Чушь, — ответил Трурль рассеянно, так как стряхивал песок и глину с загадочной глыбы на дне воронки. — Почему это должно было случиться именно с НАМИ?

— Потому что с *кем-то* должно было случиться, согласно нормальному распределению, — выпалил Цифрунчик.

— А в каком подмножестве находятся метеориты, начиненные музыкальными инструментами? — спросил Трурль, вставая, а Цифруша заглянул в воронку и издал удивленный писк.

Трурль подошел к сараю и позвал копальную машину, но та, поскольку была разумна, перепугалась грома с ясного неба и вся задрожала, забилась в угол и даже не думала выполнять приказание.

— Вот плоды автоматизации чересчур совершенной! — буркнул Трурль, видя, что рассчитывать не на кого.

В конце концов, орудуя киркой и лопатой, он выгреб из меньшей воронки кусок льда неправильной формы, запачканный землей и внутри мутноватый; однако там, в глубине, виднелась цилиндрическая тень, запеленутая матерчатой лентой. Принесенным из лаборатории молотком Трурль принялся откалывать лед, осторожно, чтобы не повредить вмерзший в глыбу предмет. Глыба наконец раскололась, и из нее выпал темно-красный цилиндр, обвитый златотканой тесьмою; ударившись о рукоять брошенной на землю лопаты, он звучно загудел.

— Барабан... — удивился Цифруша, подымая его с земли. Это и вправду был оркестровый барабан с подставкой, в превосходной сохранности, обшитый козлиной кожей. Цифруша немедленно попробовал выбить на нем мелкую дробь.

Тем временем Трурль без лишних слов принялся за вторую воронку, ибо и там застряла ледяная глыба, гораздо больше первой. Он методично бил молотком, пока из-под отскакивающих ледышек не показались два столбообразных кожаных футляра с молнией наверху, а дальше — еще пара столбиков, обернутых зеленой материей. Трурль работал без устали, и вскоре неведомый предмет лежал на траве, освобожденный от ледовых оков.

Покрывавший его материал, твердый словно стекло, был украшен рядом золотых пуговиц и заканчивался отложным воротником, из которого высовывался кругляк, прикрытый суконной нашлепкой; а с другого конца торчали столбы в футлярах.

— Ей-ей, Существо со Звезд! — возбужденно воскликнул Трурль. — Трубы у него на ногах зовутся сапогами — я видел такие в атласе древностей у моего наставника Кереброна! Это старинный робот, прямо-таки допотопный, смотри и учись! Да перестань же ты барабанить, а то у меня уши лопнут! Вот это — его узорный кафтан, это — шляпа, а что у него в руках? Палки! Они принадлежат к барабану, барабан к ним, из чего следует, что перед нами барабанщик! Поспеваешь ли ты за быстрым течением моих мыслей?

— Я даже опережаю его, — дерзко заявила машинка. — Если барабан с барабанщиком летели вместе, значит, у них была общая траектория, однако вмерзли они не в метеориты, ведь те не летают так кучно; следовательно, нашу клубнику погубила ледовая комета! А раз так, то это три фрагмента ее ядра. Я бы ничуточки не удивился, если в третьем окажется дирижер или виолончелист!

— Это еще почему, умник ты мой? — спросил сбитый с толку Трурль.

— Потому что комета, должно быть, задела хвостом целый оркестр! Во всяком случае, это вполне вероятно...

— Не трогай его! Ничего не трогай! Сиди смирно, пока я не скажу, понятно? — снова рассердился Трурль и, утвердившись тем самым в своем наставническом превосходстве, продолжил осмотр Существа.

— Эти сапоги — с пряжками, — назидательно сказал он. — Но почему материал окаменел? Ага, похоже, промерз насквозь, вместе с владельцем! Можно было бы исследовать его спектроскопом — ты понял? — беря небольшие пробы; но тогда мы узнаем лишь его химическое строение, а оно не скажет нам, как он очутился в ледовой гробнице! Засунем-ка мы его в воскресильню, так будет лучше всего!

Он сидел на корточках возле Существа со Звезд в глубоком раздумье.

— Если нам повезет, мы сможем его расспросить и узнаем много нового. Но какую матрицу воскрешения выбрать? Вот вопрос! Это не представитель класса Silicoidea, отряд Festina-lentinae*, не киберак и тем более не киберыба...

— Обычный ударник, я же говорю! Лучше всего положить его на печку! — визжала свое машинка.

— Тихо у меня! Робот роботу не ровня... Положить на печку — дело нехитрое и не требующее моих незаурядных познаний! Тут легко и глупость сморозить! Возможно, барабан — всего лишь прикрытие, камуфляж, и тогда оживление крайне опасно; а ну как это смертоносное машинище, посланное каким-нибудь злобным конструктором в Космос за намеченной жертвой? Ведь и такое бывало! Но с другой стороны, предпринять воскрешенческие процедуры побуждает нас императив

---

* Кремниевых, отряд Медленноспешащих (от латинского выражения «festina lente» — «поспешай медленно»).

космической доброжелательности, соображаешь? Тем самым я ввел в наши рассуждения этику. Может, узнаем побольше, заглянув в третью яму?

Как он сказал, так и сделал на глазах у смекалистого Цифруши, который по-прежнему мешал ему дотошными вопросами, так что разгневанный Трурль молотил по льду все сильней и сильней. С ужасающим треском глыба распалась надвое, а вместе с ней — вмерзший в нее предмет. Трурль на мгновение даже лишился речи.

— Это все ты! Чтоб тебя...

— А космическая доброжелательность? — прошептал Фрунчик, впрочем, и сам порядком смутившийся.

Трурль не отрываясь смотрел на сверкающие туфли с застежками, на темно-синие носки в красную полоску и заледеневшие икры, что торчали, уже очищенные ото льда, из половины ледовой глыбы. Необычайная чистота всех этих предметов изумила его.

— Неужели это существо воздает почести нижним своим футлярам? — произнес он, размышляя вслух. — Странно! Не уверен, что попытка оживить разделенные половинки увенчается успехом... сперва надо бы снова соединить их!

Присев, он внимательнее всмотрелся в то, что содержалось в середке расколотого. Скол сиял ледяными кристалликами, являя взору беспорядочные завитушки внутренних органов. Трурль почесал голову.

— Неужто перед нами существо, построенное из клея, одно из тех, о которых писал древний кибермистик Клибабер? Неужто мы видим одного из пратуземцев Галактики, допотопного тленника, именуемого в легендах чиавеком? Столько миров облетел я, столько систем посетил, но ни разу не случилось мне увидеть воочию Мыслящего Масляка! О, надобно приложить все силы, чтобы воскрешение удалось! Что за редкостная оказия потолковать на онтологические темы, не говоря уже о мине, которую состроит твой дядя Клапауций! Но до чего бестолково сконструирован этот расколотый! Бедный раскольник, поистине гордиево у тебя нутро, ни винтика тут не приладишь, ни скрепы, и неизвестно, что здесь к чему! Только общая ледоватость удерживает воедино все эти петливины и извилки!

— Папа, — сказала машинка, заглядывая Трурлю через плечо, — это не чиавек, не масляк и не тленник, а обыкновенный хандроид!

— А? Что? Не мешай! Ты о чем? Хандроид? Должно быть, андроид!

— Нет, именно хандроид, то есть андроид, которым овладела хандра! Как раз вчера я прочел о них в энциклопедии!

— Чепуха! Откуда тебе это знать?

— Да ведь у него в руках кубок.

— Кубок? Какой кубок? Вон там, во льду? Гм... действительно. Ну, и что же?

— В таких кубках обычно подносят цикуту; раз он хотел ее выпить, перед нами неудавшийся самоубийца, а откуда у него суицидальные побуждения, если не от taedium vitae*, то есть от хандры?

— Слишком рискованные силлогизмы! Ты рассуждаешь неверно! Не так я тебя учил! — поспешно выкрикивал Трурль, волоча ледяную глыбу с корпусом Хандроида. — Впрочем, сейчас не до рассуждений. Идем наверх!

— Ты его в печку? — спросила машинка, подпрыгивая на месте от возбуждения. — В печку, в печку!

— Не в печку, а на лежанку! — поправил Трурль.

Прежде чем положить Хандроида на печную лежанку, он занялся нелегкой молекулярной штопкой: подтягивал атом к атому костенеющими пальцами, ведь работать приходилось на искусственном морозе; вдобавок порою его одолевали сомнения, что к чему относится, — такой царил в Хандроиде кавардак. К счастью, он мог ориентироваться по поверхности, то есть по суконной одежде, так как обшитые кожей пуговицы ясно указывали, где зад, а где перед.

Положив наконец оба существа в тепле, он спустился в лабораторию, чтобы на всякий случай перелистать «Введение в Воскресительство». Так он корпел над книгами, когда на втором этаже послышался какой-то шум.

— Сейчас! Сейчас! — крикнул Трурль и побежал наверх. Робот в сапогах сидел на лежанке, удивленно ощупывая себя, Хандроид же валялся на полу: попробовав встать, он потерял равновесие и упал.

— Почтенные пришельцы! — с порога обратился к ним Трурль. — Приветствую вас в моем доме! Заточенные в ледовые глыбы, вы упали в мой сад, загубив всю клубнику, за что я, впрочем, на вас не в обиде. Я выколотил вас изо льда и при

---

* отвращение к жизни *(лат.)*.

помощи инкубационной термической реанимации, а также интенсивной демортизации привел в сознание, как сами видите! Не знаю, однако, откуда вы взялись в этом льду, и горю нестерпимым желанием узнать о ваших судьбах! Вы уж простите меня за дерзость; что же касается малыша, который подпрыгивает рядом со мной, так это мой несовершеннолетний потомок...

— А вы кто будете, ваша милость? — слабым голосом спросил Хандроид, который все еще сидел на полу и ощупывал весь свой корпус.

— Господа пришельцы — ты, в кожаных сапогах, и ты, горячо и мокро уставившийся на меня, — знайте, что я всемогуторный конструктор по имени Трурль, весьма известный. Это место — моя лаборатория на Восьмой Планете Солнца, которого до недавнего времени не было, ибо мы с товарищем моим Клапауцием сконструировали его в порядке общественного почина из галактических отходов. С незапамятных времен я занимаюсь опытной онтологией, сочетая оную с оптималистикой применительно ко всем Разумам Универсума! Я понимаю, что внезапное перенесение на чужбину, да еще таким необычным образом, отчасти явилось потрясением для ваших естеств; однако же соберитесь с мыслями и поведайте, кто вы такие, ибо тем мы ускорим общее взаимопонимание!

— А с Болицией Гармонарха Збасителя ваша милость никаких не имеет связей? — спросил довольно слабым голосом барабанщик с лежанки.

— Об этом Монархе, а равно о его Полиции мне ничего не известно... да у вас, сударь, не насморк ли? Понятно — это от переохлаждения, любой простудился бы на таком холоде... липового чайку не желаете?

— Я не простужен, а только говорю на чужеземный манер, — пояснил робот в сапогах, с явным облегчением разглядывая золотое шитье у себя на груди. — Государь, от которого я в некотором роде бежал, действительно зовется Гармонархом, и не Державой он правит, а Держабой, но это история длинная...

— Ах, расскажите ее! Пожалуйста! — подпрыгивая, запищала машинка, но Трурль строгим взглядом заставил ее умолкнуть и сказал:

— Я бы не хотел никого торопить — будьте моими гостями, прошу вас. А вы, сударь, кто? Андроид или, быть может, Маслитель?

— У меня еще в голове шумит, — ответил тот, что сидел на полу. — Ледовый метеорит? Комета? Возможно! Вполне возможно! Комета, только не та! Должно быть, мою я прошляпил! Ох, что же со мной теперь будет!

— Так вы не Хандроид? — разочарованно спросил Цифруша.

— Хандроид? Не знаю, что это такое. Какой-то гул в голове.

— Не обращайте внимания на этого недоросля! — вмешался Трурль, испепеляя Цифрушу взглядом. — Как вижу, вы, господа, пережили тьму испытаний, а потому простите меня за несвоевременные призывы к скорейшему обоюдному знакомству; пожалуйте в покои, дабы себя в порядок привесть и несколько отдохнуть, а заодно подкрепиться немного!

После трапезы, прошедшей в молчании, Трурль показал необычайным гостям все свое хозяйство, включая лабораторию и библиотеку, а под конец привел их на чердак, где держал особенно любопытные экспонаты.

Чердак этот был устроен на манер музейного зала. На полках стояли экспонаты в масле, парафине и спирту, а с мощной потолочной балки свисал массивный автомат, черный как смоль и на первый взгляд мертвый. Однако он ожил, когда к нему подошли, и попробовал пнуть мнимого Хандроида.

— Прошу вас остерегаться, поскольку мои научные пособия — действующие! — пояснил Трурль. — Автомат, который вы видите на этом стальном тросе, построил восемьсот лет назад прамастер древности, архидоктор Нингус. Он замыслил создать Мыслянта благочестивого и добросердечного, так называемого Сакробота, или Набожника. Осторожно, господин барабанщик, он не только пинается, но может и укусить.

— Пособи мне Господь сорваться, и ты увидишь, что я могу! — проскрежетал заедающими шестеренками черный Сакробот.

— Как видите, господа, — продолжал с исследовательским увлечением Трурль, — он не только говорит, пинается и кусается, но также истово верует!

Тут, однако, механический фидеист поднял такой крик, что вся компания принуждена была возможно скорее покинуть чердак.

— Плоды веры непредсказуемы, — объяснял Трурль, пока они вместе спускались по лесенке.

Наконец они расположились в гостиной, где все уже было приготовлено — глубокие кресла, огонь в камине и клубничные электреты в ионозефирном соусе.

Обогревшись и подкрепившись, оба гостя все еще водили вокруг удивленными глазами, молча, поскольку Трурль не хотел торопить их вопросами, помня об испытаниях, выпавших на их долю. Но Цифруша вылез вперед и быстренько изложил им собственную версию случившегося, подкрепленную солидными вычислениями. Мол, ледовая комета, обращаясь в звездной системе, задевала хвостом планеты и смахивала тех туземцев, что встречались ей на пути, а затем уносила их, замороженных намертво, в апогелий, где, как известно, тела эти тащатся как улитки, пока наконец тысячелетья спустя неведомая пертурбация не столкнула комету с ее орбиты и бросила на Трурлеву обитель. Прежде чем Трурль успел его угомонить, Цифрунчик рассчитал примерные элементы кометной траектории и, наложив ее на карту звездной системы, которую знал на память, принял такие коэффициенты населенности планет, что у него получилось внушительное число: семь тысяч семьсот семьдесят три лица, которые должны еще находиться в кометном хвосте. Лица эти, захваченные в разное время и в разных местах, уже удалялись от сотрапезников со второй космической скоростью. Теперь падение двух гостей в двух метеоритах и барабана в третьем стало вполне заурядным физическим явлением, и Трурль даже начал жалеть всех неведомых пассажиров, вмерзших в кометный лед, которых он не воскресит, а значит, никогда не узнает лично. Хотя давно опустилась ночь, спать никому не хотелось; оно и понятно, если взять во внимание, сколь долго пребывали гости в ледовой летаргии и как не терпелось Трурлю вместе с Цифрунчиком узнать их судьбу. Итак, хозяин возобновил давешнее свое предложение — чтобы спасенные поведали историю своей жизни, вплоть до кометного вознесения. Те же переглянулись и после недолгих споров из-за того, кому начинать, порешили, что порядок этот определил их спаситель очередностью воскрешения; так что первым повел речь робот в сапогах.

Рассказ Первого Размороженца

В моей особе вы видите завзятого маэстро из симфонического оркестра; отсюда и беды мои. Еще мальцом непритертым выказывал я дарованье, барабаня на чем придется и изо всякой вещи ее самобытный тон извлекая. В нашем роду сыздавна так повелось. Владею ударом мягким и жестким, от грома раскатов до шороха песочных часов простирается мое мастерство. Уж если разбарабанюсь, ничего не вижу окрест. В свободные же минуты люблю тамбуринить и даже могу смастерить инструмент преизрядный, дайте мне только козу да трухлявый чурбан или ушат да клеенку. Но в одном оркестре долго усидеть не способен и странствую, чтобы испробовать все наилучшие на свете ансамбли. Слух же имею я абсолютный и без ума от игры громыханья. Сколько я звезд, планет, филармоний объездил! Уж где не бывал, где только не игрывал! Но вскоре палочки у меня из рук выпадали, и дальше пытливость меня гнала. Давал я концерты сольные, на коих стон, плач, раж и смех; случалось, толпа меня на руках несла, а то и барабаны мои на реликвии разрывала. Не славы я домо-

гался, жаждал не лавров, но в музыке раствориться великой, влекусь к оркестру, как река к океану, чтобы влиться в него и в безбрежности его затеряться. Ведь для меня сам я — ничто, а совершенная мелодия — все, ее-то я и искал, роясь день и ночь в партитурах. И вот на планетных выселках Алеоции впервой довелось мне услышать о державе Гафния. Это там, где спиральный рукавчик местной туманности загибается и переходит в манжетик со звездной подкладкой. Здесь-то и дошла до меня эта весть на погибель мою и душу мне распалила тосковаться великим: дескать, держава та не простая, а филармоническая, и равнобежно ее границам тянется колоннада филармонии королевской. Говорили еще, будто всяк там играет, король же внимает, в надежде, что музыки храм дарует его народу Музыку Сфер! Пустился я с места в карьер галопом в те края, а по дороге кормился платой за свое ремесло, бравурной дробью разгоняя тревоги, воспламеняя старых и малых, и ловил каждый слух, желая дознаться, много ли правды в этой молве. Однако же, странное дело, чем дальше окрестность от Гафния, тем больше хвалят обычаи его музыкальные, верят в Гармонию Сфер и в то, что стоит там жить, чтоб играть. Но чем ближе, тем чаще отвечают без особой охоты, а то и вовсе молчат, тряся головою либо даже постукивая по лбу. Пробовал я расспросами припирать туземцев к стене, но те отбрехивались. На Оберузии сказал мне один старик: играть там, знамо, играют, наяривают без устали, только музыки от такого игранья что кот наплакал, немузыкальная эта музыка ихняя, больше в ней другого чего. Как же так, дивуюсь, без музыки музыка? и что это такое «другое», позвольте узнать? Но он лишь рукой махнул — мол, не стоит и говорить. А прочие опять за свое, дескать, сам король Збаситель воздвиг Державный Его Величества Консерваториум, а там виртуозов тьма, и не какая-нибудь акробатика дутья да махания, да ушлость рук, да слепая сноровка, но вдохновение, врата в златострунный рай, затем что есть у них верный путь и ключ к Гармонии Сфер, той самой, что в Космосе беззвучно звучит! Я от старца не отступаю и снова спрашиваю, а тот отвечает: не говорю, что неправда, и не говорю, что правда. Что бы я тебе ни сказал, сказал бы не то. Иди сам, коли хочешь, и сам убедишься. В талант свой я верил твердо, несокрушимо, ведь стоит мне, роботы-други, взять в руки палочки да припустить частой дробью по барабанной глади, так тут уж не треск, не рокот, не перегуд, не обычное трах-тарарах

и тамбуринада, но такая влекущая и певучая песнь, что камень и тот бы не выдержал! Так что пошел я дальше, но, смекая, что невозможно ввалиться с бухты-барахты на филармонический двор с его этикетом придворным, выспрашивал всякого встречного о возвышенных гафнийских обычаях, а в ответ всего ничего или ничего вовсе, гримасы, да мины, да общее колыхание, чем у кого было — головой или иным чем-нибудь; так я ничего и не выведал. Однако, шествуя дальше средь звезд, встречаю ублюдище почернелое, и отводит оно меня в сторону: слушай, приятель, в Гафний путь держишь, о, сколь же ты счастлив, и счастлива эта минута, вот уж где вдосталь намузицируешься, Збаситель — добрый государь и могущественный, муз обожатель, он тебя златом осыплет! Что мне злато, отвечаю, как там с оркестром? А он усмехнулся, блажен, говорит, кто в нем играет, за место в этом оркестре я жизнь бы отдал! Как же так, говорю, что ж ты в обратную сторону поспешаешь? Ах, отвечает, я к тетке, а впрочем, иду далече, дабы нести благую весть о Збасителе, пусть же отовсюду спешат музыканты, ибо открыта столбовая дорога к Гармонии Сфер! Да и к Гармонии Бытия, ведь это одно и то же! Как, говорю, и Симфония Бытия им известна?! Тогда дело стоит стараний! Но точно ли так? А он, тошняк (довольно-таки, правду сказать, сопрелый и вывалянный то ли в коксе, то ли в смоле, поди, пригорел, бедолага, обворонился, или что там еще), восклицает на это: Что ты! Да откудова ты столь темный, дремучий взялся? Так ты не знаешь, что Гафний — не простая держава или монархия, но Держава Нового Типа, или Держаба, а Збаситель не просто монарх, но Гармонарх! Династический разработал он план, чтобы все играли и оным играним до блаженства бы доигрались; и не как попало, наобум да на ощупь, но манером академическим, теоретическим и классическим, для чего учредил он Консерваторственный Совет Министров и составил Гармонограмму Гармонии Сфер, которую того и гляди откроют и исполнят, если уже не исполнили, так что поторопись!

А что ж это за музыка гармонограммическо-гармоническая? — спрашиваю снова и слышу в ответ: Персону она сопрягает с Природой и претворяет Грез Рой в Рай Земной, так что беги, не мешкай, ведь пособить в таком деле — галактическая заслуга!

Бегу, бегу — но, досточтимый тошняк, еще хотел бы я знать, каким это образом держава, то бишь Держаба Гафния заполу-

чила партитуру Сфер и гармонию оных, откуда она у них завелась? Ба! — ответствует мне тошняга, есть у них обычаи древние, указания верные, ведь играть-то они завсегда играли, только не так, не на том и не тем манером, каким надлежит, но теперь они в курсе, и от музыки ихней грудь спирает, дух замирает, очи внутрь, а уши вширь, так спеши же, мой колотун, а то не поспеешь на репетицию!

Позволь, позволь, говорю, я тебе не колотун какой-то, а первой гильдии маэстро из симфонического оркестра, но расскажи, ради бога, еще хоть малость о гафнийских обычаях, чтобы мне там в грязь лицом не ударить!

Ох, некогда мне, отвечает, ступай, да живее, и, право, будешь мне благодарен по гроб!

Пустился я в путь, и вот, когда уже обозначились очертанья планета (ибо Держава — не какая-нибудь женская, простая планета, но мужской, хоть и крохотный, сугубо мужской планет) и показалась Ограда Громадная Мраморная, на которой горела золотом надпись: «КОРОННЫЙ КОНСЕРВАТОРИУМ», — неподалеку заприметил я деревянную, маслом покрашенную повозку, а на ней — крайне утомленного робота; он искался — страдая, по дряхлости лет, от опилок, вгрызавшихся во все его шестеренки; я помог ему очистить суставы и сочленения, а он между тем что-то тихонько мурлыкал. Я спросил — что, он ответил: Масличную песнь! Не знал я такую. Стал я выспрашивать о Гафнии, он же был глуховат и велел повторять каждое слово четырежды, а потом говорит мне: Ударник! Ты молод, проворен, дюж и ногаст, ты выдержишь многое! Не буду тебя отговаривать от посещения Гафния, но уговаривать тоже не буду. Как решишь, так и сделаешь. — Верно ли, что там играют? — А как же, с ночи до утра и с утра до ночи, однако во всякой стране особый обычай, и вот тебе мой совет: молчи. Что бы ты ни узрел — ни слова. Что бы тебе ни казалось — ни звука. Ни гугу! Воды в рот, язык на замок, посмотою запечатай уста, тогда, может статься, расскажешь когда-нибудь, что там увидел, во что там играл! И сколь ни просил я его, сколь ни молил, сколь ни увещевал, он уже ни слова не проронил.

Что ж, вот тут-то я загорелся, и лютое одолело меня любопытство, хотя не скажу, чтобы в золотые ворота Гафния я стучал совершенно спокойный, ибо чувствовал кожей: скрыта за ними бездонная некая тайна! Все-таки принялся я колотить колотушкой из чистого золота, звон же ее был чуден и бодрил

дух, и стража весьма охотно меня впустила и приветливо молвила: Видишь дверь? вали туда смело. А уже и сени тут были дивные — уже́ стоял я в густоколонной громаде, сокровищами сверкающей; не сени, а храм, и кругом золотые инструменты висят! Я в дверь; вхожу — и глаза зажмурил, такой ослепил меня блеск — от алебастра, и о́никса, и серебра; вокруг колонн чащоба, я на дне амфитеатра стою, о боже, да это пропасть, бездна; знать, веками сверлили они свой планет и в середке устроили Филармонию! Нету здесь мест для публики, только для оркестрантов, кому кресла, кому табуреты, дамастом в серебряный горошек застеленные и рубином присыпанные, и для нот стояки изящные, и плевательницы среброкованые для духанщиков, как-то: трубодеров, трубодувов и фанфаронов, а потолочье брильянтит пауками-подсвечниками, каждый радужно люстрится, и в холодном блеске огней — ничего, ни зала, ни галереи, только в стене напротив оркестра во всю ширину — ложа одна-одинешенька: красное дерево, с тисненьем материя, амуры в раковины дуют, бордюры да кисти, а ложа закрыта портьерой парчовой, а шитье на ней виольное да бемольное, и месяц новый, и гирьки свинцовые, и пальмы в кадках величиной с дом, а за портьерою, верно, трон, только задернута она, и ничего не видать. Но я-то мигом смекнул, что это и есть королевская ложа! И еще вижу на дне амфитеатра дирижерский пюпитр, да не простой, а под балдахином хрустальным, ну прямо алтарь, а над ним надпись неоном: CAPELLOMAYSTERIUM BONISSIMUS ORBIS TOTIUS!

То есть, значит, лучший на свете капельмейстер, или бригадир оркестра. Музыкантов тьма, но на меня никакого вниманья, одеты как-то чудно́, с пестротою ливрейной и либеральной; у одного икры обтянуты белыми чулками в сплошных фа и соль, но заштопанными; у другого туфли с золотой пряжкой в виде нижнего до, но каблук стесался; у третьего колпак с плюмажем, но перья трачены молью; и не вижу ни одного, кто бы прямо держался, так их тянут вперед ордена, сукном подложенные, верно, чтобы бряканье не портило Музыки! Обо всем позаботились тут! Знать, доброй души монарх, меломан щедрый, и сыплются градом награды на господ музыкантов! Протискиваюсь несмело в толкучке и вижу — перерыв в репетиции, все разом галдят, а капельмейстер в пенсне золотом поучает из-под своего балдахина алтарно-хрустального. И не палочка в перчатчатом его кулаке — скорее уж палица; что ж, не мне ма-

хать, а ему, умахается — его забота. Зал громадный и исключительно, должно полагать, акустичный! Играть разбирает охота... а капельмейстер, застопорив на мне быстролетный взор, молвит приветно издали: а, новичок? Хорошо! Что умеешь — арфач? Что, ударник? Тогда садись вон там, как раз выбыл у нас ударник, посмотрим, справишься ли! — Садитесь же, сударь! — Господин виолончелист, не толкайтесь! — И вижу: беззастенчивая виолончель что-то дирижеру в лапу сует — какой-то пухлый конверт — письмо концертное ему написал, или как? — Впрочем, ведь я ничего не знаю еще... сажусь. А капельмейстер говорит сотне сразу: — Кларнет! Не дыдурыдувыду-дыдудым, а дидуриду-виду-бидупиим! Это вам не завитушки кремовые на торте, сударь, это виваче, но не МОЛЬТО виваче — или уши у вас дубовые?! А дальше трилли-трулли-фрулли фрам, и это не фиоритура, здесь надобно вступать *мягше*, ради бога, мягонечко, и веди ровно, но не верхами, тут мягонько, а там как сталь! И трилли-рида-падабраббам! А вы, медные, тихо, не заглушайте мне пикколо в шестнадцатых, ведь гробите лейтмотив! не глушите, говорю. Так что вижу я, что манеры здесь самые обыкновенные и разговоры в точности те же, что во всех филармониях Универсума.

Сижу я так посреди шума-гомона и осматриваюсь. Сперва глянул на барабан: больно уж странен! Не простой, а капитально усиленный, бока могучие, круглые, тугие, выпуклые, ну прямо бесстыдно-бабские, лазоревые, со шнурами, обшитыми золотым дубовым листом, а уж пленка натянута без изъяна, звончатая, перепончатая, ох и гулким, поди, перегудом гудит!!

Смотрю, а тут и партитуру несут, не обычную, но сущий фолиант, книжищу, в рысью шкуру оправленную, а на конце хвоста — кисть, а к кисти платочек привязан, для отирания обильного пота после финала! Обо всем тут, видать, подумали! И куда ни глянь, алебастры, гербы, грифоны, грудастые музы, кариатиды, фавны, венеры, бомбоньеры, тритоны, бом-брамстеньги, гроты, приапы, стаксели, брамсели, бизань-мачты, бейдевинды, швартовы — плыви, плыви, музыка! А над королевской ложею герб государства — державный коготь в венце червонного золота, и колыхнулась портьера ложи, словно сидит уже там Гармонарх, да прячется. От нас?.. Но уже Капельмейстер в пенсне, гибкий, юркий, спешный и вездесущий, внимание! кричит, по местам! И: начинаем! за дело! Все помчались, бегут, бренчливо инструменты настраивают, я — за па-

лочки, а это не палочки, но сущие обухи-дроболомы! Колья гремучие! Прилаживаю ноты, поплевываю в кулак и на партитуру смотрю, как баран на новые ворота, капельмейстер «уно, дуо, тре» кричит, и постукивает, и золотым пенсне посверкивает на нас, и вдруг вступают скрибки... но что это? Хотя и дирижирует капельмейстер, ничего не слыхать, кроме наждачного какого-то скреба... ох, и скребят же эти скрибки... струны, что ли, запакостились? А вот и мой черед, и опускаю я руки, чтобы бабахнуть, и ударяю вовсю, а слышу только «тсстук, тсстук», как будто бы в дверь, смотрю, а барабан хоть бы дрогнул, поверхность какая-то жесткая, гладкая, как пруд замерзший, как торт, ничего не пойму, и снова «стук! стук!», немного будет от этого толку, думаю, а тут оркестр вступает, дребезжит, верезжит, дудонит, долбахает, и вижу — вот те на! — тромбонист тромбону помогает губами «бу-бубу», а скребачи губки бантиком и: «тititи», сами напевают, немым инструментам спешат на подмогу, ну и игра! а капельмейстер вслушивается, и вдруг по пюпитру бац! и молвит: Нет. Ах, не так! Плохо. Da capo*. Ну, мы опять, а он из-за пюпитра выходит, и вступает меж нас, и прохаживается, ухом ловит скрип и скреб, а после подходит — улыбаясь, но криво — и валторниста за щеку, словно клещами, ой, так скрутил-закрутил, что игрец дыханья лишился; идет и ухо гобою обрывает походя, и тут же палкой бац! вторую скрибку по голове, зашатался скребач, и платок у него из-под подбородка вылетел, и вызвонил он зубами туш, а капельмейстер тромбонам и прочим шепчет из-под пенсне: олухи! Что за бедлам! И это называется музыка?! Играть, играть у меня, не то Гармонарх проснется, и тогда уж мы запоем! И говорит: как Капельмейстер Дирижериссимус требую! Напоминаю и повторяю: сыграем Увертюрную Симфонию Тишины! Продолжайте силентиссимо, аллегро виваче, кон брио, но и пьяно, пьяниссимо, потому что chi va piano, va sano**. А, понимаю, шутка! Шутит с нами, ибо Душою Добр! Говорит: Господа! Валторнист, Арфач, Тромбон и ты, Кларнет Эдакой! И вы, Клавикорды-Милорды, больше старания! Медные, плавно! Внимательней, Пикколо, а вы, Виола с Виолончелью, нежнее! А ты, Фортепьяно, то бишь Громкотих, следи за сурдиной! Подходит к пюпитру и снова стучит: под Управлением Нашим, по Команде Моей, к

---

* Сначала *(ит.)*.

** тише едешь — дальше будешь *(ит.)*.

Гармонии Сфер, за мною — *играть!* Играем. Однако ж попрежнему ничего не слыхать, кроме стука, скреба и хряпа, ничегохонько! И отправляется дирижер в оркестр, улыбаясь, и мятные леденцы раздает, но кому леденец, тому и палкой немедля по лбу. Головы гудом гудят! С лицом озабоченным бьет и понять нам дает, и точно, мы понимаем, что не своею волею лупит, но чтобы не было ущерба Величеству, бьет от Имени, дабы не допустить какофонии до гармонаршего уха, а лупимый съеживается и капельмейстеру отвечает улыбкой умильной и кроткой, тот же, с равносильной улыбкой, угощает и бац! ибо не от себя дубасит, но дабы не допустить, уберечь, а может, чтобы худшей трепки, Настоящего Кнута избежать... Знаю, потому что в перерыве судачат игрецы меж собой, друг дружке пластыри прилепляя подле моего барабана: он добрый, наш Капельмейстер, ведь написано ясно: Bonissimus, но вынужден так, чтобы Гармонарх не разгневался, и вправду, вижу я надпись «Capellenmaysterium bonissimum», ей-ей, славный, говорят, дирижер, и сердце у него золотое, но должен охаживать, чтобы нам Кто Другой не заехал по лбу! Кто, кто такой? — любопытствую; не отвечает никто. Что до битья, это я понял, однако же с музыкой не могу разобраться, кругом только лязг, и бряк, и дребезг невыносимый, а мы играем себе. Пенсне блистает, бегает, бацает, и, хотя трещат наши лбы, понимаем, что так и должно быть; но тут шевельнулась Портьера Ложи и оттуда выглядывает Пятка Большая, Босая и некоторым образом Голая, но не какая-нибудь уличная, рядовая, а Помазанная, в Коронной Пижаме, из штанины Тронной торчащая, и поворачивается она, и раздвигаются складки портьеры, а за нею храп, и не трон, но ложе в золоте и розанчиках, с отливом дамастовым пододеяльник, а на златой простыне Гармонарх, симфонически утомленный, спит, в думку бархатную уткнувшись, — спит, и более ничего, а мы под Пятою пьяно, пьяниссимо, чтобы не разбудить. Понарошку?.. Ага, понимаю, попарошечная репетиция! Хорошо, но битье-то не понарошечное? И отчего волоса нет на смычках, а барабан мой вроде старой доски?

И еще замечаю: в самом темном углу зала — шкаф, величиною с целый орган, черный, огромный, затворенный, а в нем окошечко зарешеченное, и, если случается фальшь позаметнее, мелькает там глаз, мокрый и жгучий, ужасно противный, и спрашиваю я тромбониста, кто там? А тот молчит. Я к контрабасу — молчит. Виолончель — молчит. Треугольник — мол-

чит. А флейта-пикколо пнула меня в лодыжку. Вспомнил я о совете старца и молча уже играю, то есть стучу. Вдруг скрип нестерпимый: отворяется Шкаф в Углу, и вылазит оттуда Некто Пятиэтажный, Черный как ночь, с глазищами что мельничные жернова, и между колоннами плюхается не примеряясь, будто в лесу, и, сидя, разглядывает нас мокро и жгуче. О мраморный зад музы спиной волосатой скребет, другая муза у него под локтем, ну и жуткий же этот углан, как глянешь, так по спине мурашки! Вот тогда-то и стала совсем пропадать у меня охота музицировать в Филармонии Гафния, потому что Углан как начал свой зев разевать, так все раскрывал его и распахивал, а по причине общей громадности и габаритов шло это дольше, чем мне того бы хотелось, в середке же было мерзко до ужаса — и клыки были мерзкие, и язык за ними еще мерзейший, вертляво-слюнявый, и всадил себе палец в морду Углан Шкафач, и ну ковыряться там, без спешки, однако с усердием. Оглядываюсь — близ меня контрабас и труба, и тоже рот разеваю, чтобы спросить, кто, мол, сие чудовище, откуда и почему, а также зачем, и вообще — с каким смыслом? Но тут припомнились увещания старца, в голове зазвучало: «Что бы ты ни увидел ужасного — ни слова, ни звука, ни гугу», а потому, одумавшись, дальше играю, а поджилки трясутся, слабеют коленки. Различаю ноты, тараща глаза, но неотчетливо как-то, словно мухи наделали, не понять, где квинта, где кварта, пятнышки, кляксы, все расплывается, как сто чертей, — верно, черти и принесли эти ноты, думаю, и тишина воцаряется тактов на восемь, а в ней ах до чего отвратительный звук: едкий, сгущенный, муторный, зубодерный и глоточный сип раздается. Углан зевнул, зубами щелкнул, потягивается, хребет щетинистый трет о задок музы, выглянул из своего угла, принюхался, пыхом пыхнул, а потом и жрыкнул, да, да, жрыкнулось ему, в сей храмовой тишине, филармонически сосредоточенной, ужасно гадостный Жрык, но никто не видит ничего и не слышит! Сидят как ни в чем не бывало! А пополудни празднественный концерт, и Государь Гармонарх восседает в ложе, окруженный вельможами звездоносными, и что-то в перстах оперстененных вертит, и сам себе в ухо изволит втыкать, напрягаю взор, а там золотая тарелка, Гармонарх шарики из ваты сворачивает, в маслах освященных смачивает и в уши сует! Совсем ничего не понимаю уже. А мы между тем в фортиссимо так пиловато пилим и так яровито наяриваем, что в окошке с решеткой блесну-

ла как бы слеза, а Гармонарх велит портьеру задернуть, ибо пора ему за дела державные браться. Что же дальше? Господа игрецы! — говорит капельмейстер пенсноватый и бледный, надобно нам посовещаться, покритиковаться взаимно, поскольку это не то, а то не этак, побойтесь бога — где вы, а где Гармония Сфер? вы же Гармонарха в ипохондрию приведете такой игрой! Совещание объявляю открытым! И в то время как я, не разобрав, что и как, все на шкаф зыркаю на всякий случай, они берут слово по очереди и встают, и начинаются длинные прения и дебаты, искрятся от жаркого пыла глаза, критикуется исполнение, смычки, инструменты, трубодеры не то и не так, пальцы неверно поставлены, выучки маловато, недостаточно репетиций, гимнастики не хватает, не усердствуем, коллеги, как надо бы, душу не вкладываем; каждый сам к себе крайне суров, а уж к прочим не дай боже, нитки сухой друг на друге не оставляют, — все, окромя тромбониста, треугольника и валторны, уж не ведаю отчего. И спорят над каждой нотой, как выжать из нее звучный сок; цель у них общая, я с восхищением слушаю, теорию всякий знает здесь досконально, словно по нотам идет совещание; я все слушаю и смотрю, но тень какая-то пала на нас, шкаф внезапно раскрылся, а там ОНО, черномшистое вшивое брюхо почесывает, палец запускает в пупок — не пупок, а Мальстрема воронка черная! И так вот, сопя, икая, почесываясь, сидит, колупает в носу — с аппетитом, расстановкой и сатисфакцией, озабоченно и сосредоточенно. И вдруг тишина наступает страшная, затем что встает коротышка, приставленный к колокольчикам, и заявляет по пункту повестки «разное»: Господин капельмейстер и вы, Коллеги! Инструменты НЕПРИГОДНЫ, следовательно, ничего получиться не может! Не спорю, с виду красивые, золоченые, однако беззвучные, для того что дефектные; гробы поваленные, да и только. Поэтому вотирую вотум, чтоб дали нам Настоящие, а эти в музей или куда-нибудь там в переплавку. И сел. — *Что-а-а? Что-а-а?! Что-а-а???!!!* — кричит наш добряк в пенсне, лучший на свете. — Инструменты ПЛОХИЕ?! Не годятся? Не нравятся?.. На Объективные Трудности сваливаешь немощь и недотепистость собственную? Ах ты, балбес-лоботряс, общего Дела предатель! Что за гнусное Диверсантство! Мерзавец такой-сякой, Подосланец-Поганец, и откуда ты такой взялся?! Откуда, как? Кто подсунул тебе Преступную Мысль? А может, у тебя заединщики есть? Кто еще мыслит так же? Тишина гробовая, а

тут подлетает ливрейный Лакей-лизоблюдок и записочку ему вручает, и читает он, отодвинув листочек от глаз (поскольку в пенсне своем дальнозорок, дабы всех нас держать на виду), и говорит: Значит, так. Объявляю Перерыв, ибо вот мне Повестка ко Двору, на Министерский Совет. Как только вернусь, устрою вам Подведенье Итогов! А́ покамест труби отбой! Сидим мы и ведем разговоры, мол, скажите на милость, Ваша Смазливость... дело, вишь, тонкое... я, мол, в сторонке... и тому подобные замечания всю ночь напролет. Поутру являются трубачи-фанфаристы и зачитывают Гармонарший Манифест и Указ об имеющем быть специальном Научном Симпозиуме, на коем подвергнутся Комплексному изучению все препонствия на пути к Гармонии Сфер (Га. Сф.). Тотчас нагрянула тьма меломанов, меловедов, мелодистов, звуколюбов и звучителей с высшей полифонической выучкой, сплошные проф. филар. конц., д-ра тих. муз., действительные академики звука и члены-корреспонденты, и все они шлют куда надо корреспонденцию с надлежащими записями. Сперва записали нашу игру на шестистах аппаратах, рассовав по инструментам микромикрофончики, а мне в барабан даже целый макрофон запихнули, опечатали ленты зеленым воском и красным сургучом, взяли пробы вибрирующего воздуха, осмотрели сквозь лупу нас и каждый угол, а после совещались семь дней и еще месяц. Точность анализов неописуемая! Еще не случалось мне видеть такое нагроможденье науки в одном месте! Все до деталей освещено и согласовано с надлежащих методологических позиций. Его Величество всемилостивейше взяло на себя Высочайшее Шефство над совещаниями, но лично в них не участвовало, а замещал его Вице-Министр Обоих Ушей. В последний же день осьмнадцать Деканных Ректоров хором зачитали Экспертолизу, составленную коллективно с полным исследовательским единомыслием: Комиссия, пишут, выявила отдельные Недостатки. Инструментарий не вполне Полноценен. Там-сям, того-сего недостает, а кой-где еще — еще кой-чего не хватает; там заковырки, сям растопырки. Тут, в виоле, струны отчасти гипсовые, а там, в контрабасе, полно отрубей. Не так, безусловно, должно было быть, но так оно вроде бы есть. Тут тромбон заткнут, затем что попали туда чьи-то штрипки из пятидесятипроцентного хлопка с добавкой нейлона, второго сорта, а может, иные какие штряпки, короче, рекомендуем прочистку тромбона, а равно почитаем необходимым иметь возле тромбониста

трубочистную щетку, дабы последний играл совершенно чисто. Клавимбалы же нашли мы в Целом Пустыми: в середке нет ничего, за вычетом Экс-Птичника для Гусей. Гусли: вместо гуслей обнаружены нами Гуси низкояйцеудойные, подвергнутые Пирометрическому, или Перомерному, анализу, поскольку Оперение затрудняет Гусям бряцание, в силу чего неспособны Гуси чистого звука иметь. Ergo, следует ЛИБО осуществить деперьезацию таковых, ЛИБО, учинив расход из королевской казны, гусельный инвентарь приобресть и гусляром оный укомплектовать, в рассуждении того, что нынешний гусляр по профессии индюкатор, или индюшник. Что же до Громкотихого Фортепьяно, то в нем две меры мышей хвостиками к молоточкам привязаны, в силу чего оно Очень Тихо Поет, особенно ежели взять в расчет, что кормовой фонд Мышеводом растратно истрачен. Ежели не воспоследует Гармонаршего Снисхождения, в кандалы его. Что же до Треугольника, то должно быть ему Металлическим, а не Бубличным, хотя бы и на дрожжах. Теперь Контра-Басы. Главный Контра-Бас кувыркается при Пассажах, имея заместо Шпоры Шипастой Колечко, и, отъезжая на нем, увлекает, силой инерции, Контра-Басиста, который при каждом Бассо Дольче Профондо вынужден лететь вверх тормашками. И предлагает Комиссия: либо веревкой его, либо вырубить ямку, либо ремешком, либо заклинить, либо, наконец, произвести раскольцовку (расколечивание). Смычкам не помешал бы волос, вместо которого Экспертивные Знатели констатировали лишь Атмо-Сферу, т.е. смесь азота, кислорода и двуокиси углерода, со следовыми количествами благородных газов, как-то: ксенона, аргона и криптона, а также капелькой водяного пара. А равно чуточку Жидкой Взвеси, которая есть не что иное, как Отходная Производная Обкашливания и Заплевывания Игрецами Мундштуковин трубодувно-тромбонских. Тем не менее волос Комиссия полагает более пригодным для играния, пежели воздух, в особенности же хорошо подходящим для Потирально-Трясушного ерзания по струнам. Таким вот манером тянется экспертиза на тысячу восемьсот страниц, и о барабане там тоже написано, а как же, не обошли вниманием мой барабан: доска размалеванная, колесом сучковатым подпертая; хоть и в золоте, да не барабан. И триста восемьдесят одно предложение разосланы в компетентные органы: в Министерство Труб, Тромбонов и заготовок Трень-Бреня, в Ведомство Сфер, Колоколен и Питейной Гармонополии,

Вице-Премьеру по вопросам Безнадежного Положения, а также в Верховную Трубодерную Палату. Сам Лорд-Хранитель Басового Ключа рекомендации печатью скрепил. Как повскакали тут с мест оркестранты да как раскричались, раздискутировались!

Верно! Святая Правда! Не барабан, а обруч старый, пень корявый, навозом набитый; смрадом шибало, а все по причине то ли неведения, то ли нарочитого укрывательства! Флейты, альты, кларнеты, гобои, трубы закупорило, дрянь и хлам, прочь, долой, хотим развернуть извлечение звуков, о дайте, дайте же нам получше что-нибудь, и мы обязуемся заиграть! Тут тряпицей заткнуто, вот, посмотрите, тут мундштук страдает непроходимостью, а тарелки из цементо-бетона, станиолью только обернутые, ну как этим будешь играть? Смотрю: я ли, они ли спятили, ведь с первого раза все было видно, и откуда горячность такая внезапная, ломаю голову и все не пойму, а в них пылает к музыке страсть и непритворная одержимость. И встает пианист, и, окинувши взором зал, говорит: Вот, пожалуйста, докладная записка, мною в прошлом году составленная, да недосуг было по почте послать; и читает: «Руководствуясь своим суверенным мнением, ради блага Га. Сф. решительно требую вместо Гипсо-Цемента внедрить Дерево, листовую Медь и Латунь, а также Струны звучно-кишечные! Вот что нам надобно, а от той дряни, что мы ныне имеем, не жди ничего, кроме чада!» Садится, чрезвычайно собою довольный, и во Круг, на коллег, торжествующе смотрит, а те шумят-гомонят: Точно! и я, и я, о, мы давно уж приметили, что опилки, и мыши, и цемент, и просто навоз, как и откуда во храме Муз, неизвестно, доложить собирались, усовершенствовать, да вот у меня болела нога, у меня были судороги, я охрип, я точь-в-точь то же самое написал, что пьянофортист, только листок задевался куда-то, а я еще рельефнее выразился, но из-за болезни ТЕТКИ... и все в таком роде, наперебой, однако же вижу, Углан сидит себе в открытом шкафу на корточках, икает и чешется, трет ножищу о ножищу когтистую, ну прямо натуральный Гориллий; тогда я тыкаю коллег в бока, и показываю, и подмигиваю, вон, туда, мол, туда посмотрите, но те, разошедшись, ни малейшего не обращают внимания, в лестной надежде на лучший звук и жребий. И впрямь появляются четверками музицейские, галунами обшитые, кушаками белыми подпоясанные, и новые, дивные несут инструменты, теперь-то уж мы заиграем! Радость неимовер-

ная! И новый пред нами предстает Капельмейстер, в очках роговых, ибо тот, пенсноватый, отправлен на Пенсию ради Выслуги Лет, и толкуют уже, что ему-де Перепонок Барабанных недоставало, так что ничего он не слышал. Отвинчивают прежнюю надпись и новую золотыми гвоздочками приколачивают: CAPPELMISTERIUM OPTISSIMUM*, и снова за дело! Сперва, однако, Роговик сообщает: Прогрессивных держусь я принципов. Объявляю Дискуссию. Пусть каждый поведает о сокровеннейших думах, о том, что звучит у него на душе. Пусть откроется! Можете говорить без опаски, Дражайшие, никто у вас волоса не тронет на голове, никто не обидит, не надорвет ни раковины ушной, ни связки, ибо я не таков! В чем торжественнейше клянусь, и на Га. Сф. присягаю, и сказанное скрепляю Дирижерской Печатью под Управлением Его Всемилостивейшего Збасительного Величества!!!

И ну все сызнова взахлеб изливаться! Льется патокой красноречие, риторики мед — смычковцы, валторна, скребачи, трубодеры, да так смело, аж дух спирает; сообщают, что кто кому с кем и как, что творилось при пенснеце-дирижере; ох и плохо же, слышу, о нем отзываются, никогда не пришло бы мне в голову, что они не любили его как родного, ведь сами же бесперечь перед ним в любви изъяснялись и чувства предлагали нежнейшие, — а те тугие конверты, не иначе как письма любовные, что совали в его перчатчатую ладонь? Сыновней нежностью дарили его и с носами расквашенными умилялись: он наш голубчик, наш батюшка, по заслугам колотит он нас, и на́ тебе, память его вовсю загрязняют, глух-де как пень, а Контра-Басисты — что-де ручищи у него параличом искорежены и одно лишь умел он: лупить по глазам, а глаз-де имел он дурной, монструозный, и взглядом дырки выжигал в барабане, что присутствующий здесь ударник милостиво подтвердить соизволит, — а я, в замешательстве страшном, под нос себе мямлю и бормочу, ведь зазорно так лгать, но вижу, что лгут они от чистого сердца, из чистого энтузиазма врут с три короба, и не могу надивиться, каким это образом непритворное благонравие, добрая воля и влечение к Лучшему могут марать себя такой обоврань ю, и лжепыханством, и выплевом слюнно-язычным? Ведь они уверяют, будто и порчу он наводил, и у мышей молоко из-за него пропадало, что был он косой, легавый, горбонос-недо-

---

* Лучший капельмейстер *(лат.)*.

мерок, да еще плоскостопый, а как, мол, с Плоскостопием шествовать к Га. Сф.?!

А Роговик записывает, подпевает, вторит, однако вскоре затем, по возобновлении репетиции, вижу, Что-то к нам шлепает не торопясь, мы в мелодию пробуем спрятаться, но нависла от Лапы тень, и вот уже того Коротышку при колокольчиках, что первый начал, Цап за штаны, а другой лапой Контра-Басиста, что столько на пенснеца наохальничал, Хап за полу, и обоих, ногами болтающих, уносит Оно и в шкафу затворяется, и слышу я сквозь наше Анданте Маэстозо: Хруп-Хруп, Ням-Ням! Только мы их обоих и видели.

Играем, но разлезается играние наше, затем что темень в глазах! Da capo al fine!* — кричит Роговик. Плохо, еще раз! Играем, вступает оркестр, по спине мурашки, полный звук и полный тон, но среди этих мурашек другие какие-то, немузыкальные, чувствую да вдобавок путаю ноты, а причиной тому глазотряс от беспрестанного зырканья в угол. Пошло форте, гремят медные, но словно бы пробирает их дрожь, а Гориллище шкаф отворяет, принюхивается, на пороге садится, зычно рыгает, знать, отрыгнулось ему Колокольником, о боже правый, о Гармония Сфер! А от рыгания — от чего же еще? — съехали в фальшь смычки, а пианист как забарабанит по клавишам, вкривь, вкось, в тряс, в дрожь! Морщится роговой Капельмейстер, словно лягушку проглотил, ох, плохо, такие инструменты, а запороты, скверно, мерзопакость, не музыка, и не совестно вам, лоботрясы, лодыри! еще раз! И раздает нам руководящие исходящие из-за пюпитра, и витамины, и смеси питательные, и приносят заграничный канифолий в бочонках, нарочно выписанный, не жалеет расходов Его Величество Гармонарх, но снова фальшь вкривь-вкось, и вот уже Непременную Ученую Комиссию учреждают. Заседает Комиссия, и что порешит, то мигом и исполняется. Входят четверками музицейские в позументах, становятся справа и слева от нас, и кто сфальшивит на фа-диез — премию прочь, а кто на бемоль — вычет из жалованья. И играем мы форте, но фальшь, и по шее трахают нас музицейские, ибо каждый снабжен метрономом и акустрофоном, и от всеобщего траха слабеет симфония, и слышно скорее трах-тампамтрах, чем тирлим-пампам; вижу, в

* С начала до конца! *(ит.)*

лютую я попал переделку из-за тяги к Гармонии Сфер — вся голова в шишках...

Мало музицейских! Подтягивают резервы, нотоведов-счетоводов несчетные полчища, ко всякому игрецу приставляют поверщика, чтоб за чистотою звука следил, сверяют они тональности, приход и расход и баланс мелодии, строчат, и от скрипа перьев музыки меньше, чем котенок наплакал. О, что-то не так! — говорит роговик-капельмейстер, — не так! И колокольчиков нет. Где Колокольник, куда подевался? Те, что подальше, в смех, а ближние на корточки и бормочут: а ведь нету, действительно нету, испарился он, что ли, а? Может, упорхнул на мелодии? Что скажет начальство? Скверно, понимаем, что скверно! Злобарь, густобрех, балабон, ящереныш, стреканул, ренегад, собака, стреньбрендил, и прочее.

И устраивает нам дирижер совещание с практическими занятиями. Нужно до самых корней дрожальной фальши добраться! И все вокруг признают: Что-то и вправду нам как будто препятствует. Что-то, мол, портит обедню. И что́ это, дескать, за фантазмы-миазмы мешают нам и с пути к Га. Сф. сбивают? Контра-Басист говорит: Быть может, воздушной вентиляции не хватает? Виолист на это: Полагаю, напротив, что слишком сильный сквозняк. Или, может, уж очень я виолу свою завиолил, оттого она и виляет? Моя вина! А другие бормочут: Возможно, как знать, проверим весь зал, все углы и все эркеры, может, мыши завелись, может, их-то и боится интуитивно подсознание наше? И начинаем искать сквозняки, вентилюфты, затыкаем всякую щель, и мышей тоже ищем, с лупами, на четвереньках, и наконец сыскали трех тараканов, одного паука, шесть блох да вшей пару дюжин; ободренные этой находкой, протокол составляем и давай искать дальше, теперь уже с фонариками электрическими, под эстрадой и во всех закутках, но замечаю, никто не придвигается к Шкафу ближе, как на шесть шагов, я тоже на корточках лазаю, углы обнюхиваю и словно бы ненароком направляю толкучку, себя вместе с прочими к Шкафу подпихиваю, а там словно бы электрошок, дальше ни на вершок, все единым трясом назад, как черт от ладана, приборматывая: Ага, стена. Известное дело, стена, самая что ни на есть стеночная, в такой, окромя кирпича да песка, штукатурки да извести, нечему быть! А когда я попробовал, приналегши, подтолкнуть их, кто-то, чую, меня отпихивает, а кто-то и в зад укусил. И вот уже откатились мы на более спокойное место. Да

еще при откате кто-то всадил мне в глаз палец. Стал я смекать, что они, превосходно все замечая, не замечают вообще ничего, видя все ясно, ничего не видят, и, весьма удивленный такими порядками, удалился на четвереньках.

Играем, а Гориллий хозяйничает. Раз того, раз этого Цап, ну, думаю, не много будет тут музыки, а скрибка рыдает «ах траляля», да и как не рыдать, коль в любую минуту тебя может зев поглотить зловонный? Мы пианюсенько-пианиссимо, и глаза уже застилает туман, а тут смрадный дых «пых-пых» за спиной, ноздри над нами сопят — что́ Оно, в музыку внюхивается, по варварской натуре своей и общей неудобопонятливости? или как? И что с того, что звучны инструменты, ежели Гориллище нас дегустирует да пробует на зубок? а Гармонарх является в ложу и говорит: Ну, хорошо. Мелодия, в целом, вполне мелодична, и довольно-таки гармонична гармония, но духа в ней еще не хватает. Без Веры Играют, наперебой, нет тут ни ладу ни складу, Не Убеждает ваша игра! И к тому же какая-то дрожь поросячья. Это что за озноб трясучий в музыке вашей засел, изнутри симфонию портит? А ну-ка, вытребовать мне Искусных, а прочих вон со двора, и вообще, живей у меня — гитарить, здрунить, скрибеть, мандолинить, тромбонить, но в такт и в тон, а не то Гармонарх осерчает! Набрался я тогда смелости и в перерыве между Анданте и Аллегро Виваче говорю Басисту, что рядом сидел, и крупный его инструмент обоих нас загораживал: Послушайте, Ваша Честь. А он мне: Что? Я: Зрите ли нечто в том углу, близ Гармонаршей Ложи? Он — ни звука. Я: Ужели Углана не примечаете? Не может такого быть! Видится мне Гориллище вылитое! Ведь это от него на нас смрадом разит! Вот и опять икает! А тот — ни звука, но вижу: словно бы расплывается фигура его перед моими глазами. Я говорю: Ведь вы, Ваша Честь, ни бельмом, ни двойной катарактой не покалечены, и имей вы даже застарелые мозолины на глазах, довольно было бы потянуть носом и собственному нюху довериться, чтоб зловонье почуять. Ведь над нами не купола тень, но Носа Гориллиева, а это не столб, но клык, и всех нас оно пожрет одного за другим! Тот — ни звука, только перед моими глазами весь расплывается, и вижу, что это Дрожь его одолела. Страшливость трясет его и колотит горячечно, однако он отвечает: По чести, вы играли изрядно, однако когда я дохожу до Трелимели-дири-будидам, вы должны не Дуда-дадапам, но Бум-думбадам! Однако, слыша эти его слова, одновременно слышу я и

другие: бога ради, молчите, сударь! И если одно говорит он устами, то другое словно бы низом, примерно от пояса, и вижу, что это он, значит, брюховещает! А теперь, молвит он вéрхом, хватит лясы точить, пора за работу...

Присматриваюсь получше и вижу, что всякий здесь так: кругом всеобщее брюховещание процветает, а я-то думал, что это урчанье-бурчанье со страху! Стал я все ниже и ниже вслушиваться, и на уровне живота слышимость много лучше. И говорят животы: Ох, долюшка-доля, была б наша воля! Эх, давно бы все по кустам разбежались от этой Гармонии! И шепчут животы: Онучи Збасителевы черти похитили, пусть себе портки обмочит, не сыграть нам, как он хочет. А также: Тише, тише, ваша честь, Кто-то Страшный ходит здесь, фигли-мигли-шмогли-швах, только хрупнешь на зубах. И судачат промеж собой животы: Что за чудная игра идет здесь на нервах наших! А один живот говорит, авось мы ему приедимся, или, может, со временем перейдет Оно на вегетарианство, мол, время смягчает нравы, но прочие животы тотчас же на него разбурчались. И одновременно восклицают верхами: Что ж, недурно, почти что дивно сегодня, только бы поскорее до Га. Сф., только бы поскорее... пусть смычковые от темпа не отстают! Или плохо нам тут, ламца-дрица?! И вижу еще, у всех какие-то занятия на стороне, один на гребенке премило дудит, другой на травяном стебельке комплименты насвистывает, тромбон собирает марки и слезы оными утирает, кто вышивает монограммы, кто языки изучает, как вдруг шлеп-шлеп, и идет Гориллище, страх смертный, но Оно только травку, гребенку, марки забрало и в шкафу Хруп и Ням-Ням. При оказии тромбон получил тычка, примочкой свинцовой и творогом глаз подбитый обкладывает, и вольно же было ему, говорят животы, об онучах этих мычать, лучше б за место свое покрепче держался, чем животом хорохориться! Тише, тише... И впрямь так тихо шепчут, что не знаю, чье это брюхо вещает, валторнист продает таблетки от нервов и головной боли, Басист ловит моль, что завелась в барабане, треугольник учит, как чесаться между лопаток и ниже, тогда-де мурашки не столь докучают, иные друг на друга доносят, мол, в нотах фа, а он фа-диез, капельмейстер требует чистоты лейтмотива, бемоль, дуралей, «бе-е-емоль», или партитуры не видишь? — подымается пыль, это смычковые перелягались из-за бутылки для играния частным образом, на стороне; мелодия замирает, как писк мышиный, а может, и вправду мыши, иначе

откуда здесь пикий диск, то бишь дикий писк? О да: фальшь сплошь, так и идет, от скуки до дрожи и от скулежного хныка до тряса, с утра инструменты драим тряпицами, канифоль в ход, замшей барабан до полного блеска, и вот прибегает лакейчик и Роговатому записку сует, а тот: Ага, говорит, вызван я на Министерский Совет в связи с Главнейшим Руководящим Мотивом, поскольку нечисто играете; репетиции откладываю до вечера! Фагот, который как раз ему конверт подавал — уж такой тут обычай, — как будто раздумал: прячет конверт в карман и спешит обратно. И новый пришел дирижер, востроглазый такой, без очков, и при нем дознались комиссии, что тромбон припрятывал звук подобротнее и не расходовал по надлежащей статье, за что и был переведен в Ложу и назначен Вице-Министром Считанья Ворон, у арфиста же выявили сухорукость, и оказалось к тому же, что нот он не знает, а потому перебросили его на фортепьяно, чтоб не слишком переживал. Снова явилось Гориллище на инспекцию, я смешался и как бабахну фортиссимо, не по барабану, а по мозоли мизиночной, о боже, боже, рябь в глазах, ноги врозь, пятки вкось, а все оттого, что слышу Шлеп-Шлеп, Хруп, Ням, зыркаю глазом — нет уже, нету флейтиста! И слопало Оно его посредине Гала-Концерта, пред Гармонаршим Величеством, в алмазном сиянии люстристом, и Августейший Збаситель не в пижаме, но в Горностае сидел, как же так, себе думаю, прямо на глазах Гармонарших смеет нас уплетать, ну, теперь-то уж быть не может, чтобы не заголосили они, чтобы хором не завопили, может, падут на колени, может, кинутся вроссыпь, может, всем скопом на Чудище, но чтобы совсем ничего — никогда не поверю. Но то-то и есть, что ничего! С этого все и пошло, потому что так приуныл я, что больше по коленкам и по мозолям своим лупил, нежели по барабану, и от такого битья начала во мне закипать великая злость, чувствую, еще одна капля, и не стерплю с таким капельмейстером, право слово, все одно пропадать, разрази меня ржа, мало того, что жизнь веду без надежды и милосердия, так еще и без музыки, ну какая же музыка с Гориллищем над душой. Струны бы перерезать этим смычковым, и динамиту в трубы, в валторны пороха и фитилей, да где там, пилим до самого вечера.

Но снова Придворный Концерт. Оркестр жарит и шпарит, а Гориллище, присевши на корточки, ищется у всех на глазах, в бездонной морде своей ковыряет пальчищами, и если сморк-

нется, так сморкота дождем на нас, и темень, как в майский ливень, а коли кашлянет, так словно гром громыхает, оркестр перекрывая в форте, а те всё играют. Скрипка стенает, изнемогает валторна, тромбоны дудли-дудли на бадудли, ан прямо передо мною лапища волосатая Цап, и нету Басиста, хоть и берегся он, и стерегся, так что же это за музыка, ежели все мы — Миска с Закусками? а Гармонарх в ложе сидит, веерами обмахиваемый, венками венчаемый, глубоко почитаемый, и говорит он сквозь зубы: Не та еще музыка, что должна быть. Нет еще Веры, Правды, Надежды, Любви, нет Гармоничной Темы Истории! Выше, смелее, вперед, почему Капель-Мейстер так мерзко размахивает, хотя Без Очков он и Востроглаз?! Быстрее! Лучше, резвее, ибо Гармонарх недоволен, маловеры проклятые! Как смеете вы сомневаться в Га. Сф.?! А? Или, может, поглубже копнем? Что? Пусть всякий смело, напрямик, без боязни и без Опаски откроется Нам, ибо Мы Всемилостивейшее Величество, Веры и Доверия Августейший Сосуд, пусть же встанет и сбрешет собака этакая, этакой сын, с какою он целью Совершенство подтачивает да подкапывает? Мы ему ничего на это, мы его уговорчиками-ликерчиками, мы ему добром растолкуем, где раки зимуют! Тишина как в могиле, замерли все, только Гориллище вдруг ХАБДЗИХ И ХАБАБДЗИХДЗИХДЗИХ!!! Зал задрожал, и стон испустили колонны мраморные, и эхо в моем барабане отозвалось, и даже упала щепотка извести на Высочайшую главу Гармонарха Збасителя, и пылью припорошило царственный лоб. Но король словно бы ничего не заметил. Не слышал, не шевельнулся даже. Игрецы вкоренились коленками в грудь при громовом громыханье этого Чиха, а король хоть бы что. И думаю я: О, страшная это, похоже, афера! Не может Сам Гармонарх Угланского не видеть Гориллища, однако ж не видит. Не мог он на собственном царственном лбу не почувствовать Извести Штукатурной, однако ничего ровным счетом не чувствует. Так что ж это значит? Кто хозяин, кто слуга? Неужто Гориллище — Клыкастый Капельмейстер Збасителя? и на закуску его оставляет, приберегает на сладкое? Или же оба тайным альянсом связаны против нас? Ничего не пойму, одно только знаю: дать бы Драпа, да поскорее, но как?

После второго отделения, в перерыве, выходит Гориллище из Шкафа и между нами прохаживается. Скука, что ли, его одолела? Открывают совещание, и пошли игрецы балаболить, тре-

буют слова, принципиальную наводят критику, а Гориллище у одного обнюхало уши, другому галстук поправило, у третьего слопало текст доклада и тотчас, сконфузившись, присело на корточки, а на ходу сплевывало в плевательницы серебряные и наплевало — может, и по ошибке — в тромбон. А балабольные златоусты по-прежнему мелют о́ Га. Сф., даже пот струится со лба, играть — увольте, играть не могут они, зато сколь чудно, с каким вдохновеньем и верой в Га. Сф. способны о совершенстве игры толковать! Когда же мне балабольство ихнее и хожденье, сопенье, почесыванье Гориллиево под последнее саданули ребро, случилась со мною одышка, и мрак в глазах, и попросил я слова: а Гармонаршье Величество из ложи приглядывалось ко мне, затем что курировало Совещанье и лично оное почтить Соизволило Высочайшим Присутствием. Встал я с такою сентенцией, что, ежели б описания музыки имели свойство звучать, непременно распростерлась бы в Гафнии воплощенная Сфер Гармония; и чую отчаянность в себе небывалую, и во всеобщем Silentium* говорю громко: А это что за чудище-ублюдище шастает и слоняется здесь на каблукастых ножищах, и шлендает, и топочет, и тошноту наводит одним только видом? А по какому такому праву сей Шкафный Углан беспрестанно в музыке нашей шарит и оную сквернит своею скверноти́ной, а также обжорством? А слыханное ли дело, музыкантов почтенных сырыми жрать, да так, что уши чешуйчатые трясутся, а кадык ходуном ходит? А где это видано, чтобы были Комиссии и полные доктора тих. муз., ученые экспертизы, и ревизоры, и контрревизоры, и микроскопов скопища, и никто ничего, ни гугу, всё на корточки да на корточки? А раз так — я, тут и теперь, заявляю: Veto**, Государь Гармонарх, и Veto, государи-собратья, и Veto еще раз, нету согласия моего на тебя, Гориллище Гнусное, и пока ты здесь, дерьмо у нас будет, а не Гармония Сфер!!!

Что тут было, милостивые государи! Одни силились влезть в инструменты свои и там укрыться, но вам понятно, я полагаю, что если это еще входило в расчет в случае контрабаса или пьянофорто, то о флейте нечего и говорить, а уж треугольщик, вконец ошалев, пролез в треугольник, и тот висел на нем, словно ошейник, позванивая от зубов его щелканья. Другие же за-

---

* Молчании *(лат.)*.

** Запрещаю *(лат.)*.

лезали под стулья или царапали пол, чтобы вырыть хоть ямку, но при дубовом паркете какая может быть ямка для страусиной политики! Медник-тарельник, зад заслонивши тарелками, бумкал в мой барабан головой, так его в середку тянуло, однако же импортная добротная перепонка выдержала. Капельмейстер, чтобы меня перекрыть, лупил во всю мочь по дирижерскому пульту, с поросячьим взвизгом «анданте анте ранте адаманте танте», ибо все уже у него смешалось, а Его Величество Гармонарх из Ложи своей, почитаемый великим почетом, зашептал что-то быстро лакеям и челяди, и давай они портьеру задергивать, дабы та парчою, дамаском, тисненьем гербовым отгородила от нас короля, а Гориллище сперва хоть бы что, трескает только да чавкает, жрыкая, — все ему арфистом отжрыкивалось, который был жирен и тучен весьма, — а потом, приподнявшись, как забасит, хрипло, мерзко и рыковато:

— Ка-блу-ка-стый? Это кто же? Мо-я-свет-лость?! Ах?! Мне ли тут по-о-хо-хо-хо (заплакал) зор учиняют? Меня ли тут в чем-то ду-у-ху-ху-ху (заплакал) рном обвиняют? И никто меня ни сло-о-хо-хо (заплакал) овом единым не защитит? Проклятье! Спасите меня, детинушку-сиротинушку, меня тут шельмуют, мне тут афронт, мне тут обида, мне тут поношение, худо мне тут, я к мамочке, к нянюшке хочу! О-хо-хо-хо! У-ху-ху-ху! (рыдал уже громовым водопадом) — ты мерзкий вшивец-паршивец! Би-ток не-куль-тур-ный! Ба-клуш-ник! О-хо-хо! Не любишь меня! А я-то думал, что все меня тут, все до единого любят.

Сначала я было речи лишился от удивления, но после собрался с духом и говорю: Сударь Гориллий! Поистине, трудно любить того, кто Угланом Шкафонским из укромного Шкафа то и дело жутко вылазит и рыскает, словно рысь меж овец, кости ломает, тромбонистов жрет, флейтистами закусывает, а потому невдомек мне, как это ты не видишь каннибально-музыкального своего лиходейства? А вы, — говорю, — господа грамотеи, фрачистые, табачистые, бородатистые, и ты, черно-смокинговый доктор тих. муз. с трубкой, — не научная ваша наука ученая! Метрономов тут понаставили, резонаторов, абракадабр и альфацентавр, муку рассыпали в воздухе, чтоб зависала, летая, и Стоячих Волн выявляла узлы! Экспертолизы строите, тон и такт метром меряете, а Гориллища не видите! А Его Величество Гармонарх пусть изволит занавесь свою отзанавесить и некоторым образом растолковать, на каком таком осно-

вании допускается здесь сыроядение на месте, а также на вынос в Шкаф?! Ибо вошел я в азарт и мне уже все едино. Ученые, вижу, достают тюбики с синдетиконом и пробуют Специальными Словами отделаться, как-то: Delirium Tramtadremens, или Бред Колотунский, Psychopathium Musicales cum Hypnagogica Confusione Debilitatissima*, но Гориллище как зарычит! Слезы горючие льет, и ручьями текут они по ступеням амфитеатра; а потом как махнет одним махом горилльским к Збасительской Ложе, как на шнурах повиснет да как вцепится в узорчатую парчу, — тут уж сам Гармонарх изрядную Конфузию выказал, в углу на корточках съежился и чрезвычайную ведет консультацию с Советом Министров, а Гориллище морду в Ложу сует и: спасите, В. Величество! — восклицает, — спасите меня, горемыку ославленного, а не то я пойду и уже не вернусь!

Вскочил Гармонарх при этих словах и криком вскричал: Только не это, ах, не это, Надёжа ты Наша, Опора, Дружок Любезный, Только не ЭТО! Сделай же сам, сам знаешь что, изволь понять, Милостивец, что Нам сказать такое в Мягкосердии Нашем, Многажды Царственном, не пристало, а тебе ничего не стоит. — А вот нет же! — Гориллище отвечает, носом жутким пошмыгивая, так что сопли текут по страховитым щекам, — вот нет же! То, что делал я, — делал на службе В. Величества, согласно персональному списку, Нарочным из Ложи доставленному через Окошечко Шкафное, выхватывал я строго по предписанию и согласованно потреблял, однако Весьма Неохотно, затем что я Игрунишками Брезгую и, жизнью клянусь, ни единого в рот бы не взял! Всех до последнего ел с отвращеньем, наперекор своему Естеству, себе вопреки, единственно ради Трона, Отечества и Высших каких-то Сфер, ибо я Углан неученый и не знаю, как их там звать, и желудка, здоровья, печени своей не щадил, хотя от провизии этой прогорклой желчь зашеклась, и расстройство случилось, и жжет беспрестанно изжога, однако же я беззаветно стоял на посту и поэтому требую, чтобы оный Облыжник со своею Гремучкой за шельмование Персоны моей, по природе добропочтенной, добродушной и преданной, немедля был В. Величеством собственноручно по заслугам наказан, а не то я пойду себе прочь, и увидите, В. Величество, что останется от Музыки Вашей!

---

* Музыкальная Психопатия с Наводящей Сон Путаницей Глупейшей *(лат.)*.

И ну Гармонарх умолять да упрашивать, гладя преподобными своими Руками Чудище по мохнатому лбу, а Углан Шкафарь, на портьере повиснув (которую оборвал он вместе с частью деревянной обшивки), — отказываться, да препираться, да пикироваться, усиленно акцентируя ранимую деликатность своей души, так что я от изумленья опешил. А Гармонарх шепчет: Знаешь что, Любезный Оплот Наш, Верно Нам Преданный? Мы пока временно Облыжника этого, вместе с поклепищами его, всемилостивейше помилуем, и Мы ему Crimen Laesae Gorillionis* на время простим, имея в виду, что он немедля и безусловно свои клеветушные враки обратно врыгнет, признает свое негодяйство и собравшимся разъяснит, что действовал в качестве Диверсионария, подстрекаемого иззарубежно, за сребреники Иудины, и заданье имел Мелодию Облянать, а Гармонию Сфер облевать и через то уничтожить! Говорит, а сам Шкафону вовсю подмигивает, и смекаю я с лету, что такое прощенство не более чем отсрочка казни, и восклицаю, барабаня в цезурах: Чудовище собою чудовищно! Чудовищности полно, как вошь меда, и смердит к тому же, как Сто Чертей! И даже если б никого не жрало, а только икало да в углу угольно угланилось, от одной лишь вони Игре Труба! Так говорю и ничего не врыгну, разрази меня Барабан!

Полный тупик.

Оркестр вылезает из контрабасов, тромбонов, фортепьян, из-под диванов, одни еще уши по инерции затыкают, другие уже подымают головы, а животы их, будучи посмелее, хотя и лежат плашмя, отзываются: Это факт, жрал, жрет и, кто знает, может, и дальше будет нас жрать! И в самом деле, такое пошло, что господь сохрани! А Гориллище, как сапог тупое, не поняло хитрости, укрытой в речи Збасителевой, и говорит: Ах, ох, мне тут обиды чинят, я тут полжизни убил на таком горболомстве и вот что получаю в награду, хватит с меня шельмования, иду себе прочь и дальше, куда глаза глядят!

Позеленел на это король. — Ради бога, — восклицает в крайнем отчаянии, — а что же будет с Га. Сф.?! Не забывай, Любезный, о Гармонии Сфер, ведь мы к ней всем миром, плечо к плечу, а Ты соль движения этого...

— Э, там, — отвечает Гориллище темное, — я свое сказал, а теперь пусть Ваше Величество грызется само с музыкантами!

---

* Нарушение закона об оскорблении Гориллия *(лат.)*.

И прямо к дверям выходным разворачивается. Гармонарх при этих словах сам мартышкой сползает в партер по портьере и вприпрыжку за ним, плачась в плащ и жилетку. — Единственный, милый мой, верный! — кричит. — Не покидай Нас! В распыл Колотушника пустим, только вернись и прости!

Гориллище туда, Гармонарх сюда, и пока они так меж колоннами кризис правительственный исполняют, пока Министерский Совет за ними гоняется, а под тяжестью Обер-Порученца для Интересных Положений оборвался шнур золотой с кистями и по голове его шмякнул, каковую гармономедикам пришлось немедля сшивать, словом, когда такой учинился гвалт, я вдоль стенки к алебардистам, а те, заглядевшись на притопы королевско-угланские, ничего не видят вокруг, я за ручку дверную, и в сени стремглав, и, мимо инструментов чудесных, к внешним отворенным воротам, а из оных выбежав, государи-братья, такую Тягу почуял, что без форсажа, больше скажу — вообще без ракеты взял и взлетел, только меня и видели, однако ж по курсу не смог удержаться, так меня колотило, и врезался в какое-то Облако, крайне холодное, и сделалось мне даже приятно, разгоряченному; потом зазнобило изрядно, но с разгону свернуть я уже не мог и вмерз в охвостье оной кометы, леденея и всякое теряя сознание. А что было дальше, до самого пробуждения, ей-ей, не ведаю!

Закончив, барабанщик прижал к груди милый ему барабан и как будто лишь для себя самого да еще для муз тихонько пробарабанил экзотический, унывный мотив. Слушатели зашевелились, и наконец Трурль сказал:

— Необычайная это была история, и я рад, что волею случая удалось мне такого артиста вызволить из ледовой тюрьмы! Я знал, о, я был уверен, что мы проведем время с немалой обоюдною пользой, поскольку каждый из нас, будучи родом из разных краев, может наставить и позабавить других по-иному — ведь наставленье с забавою нераздельны! Но теперь твой черед, почтенный Андроид, так что изволь рассказать нам, какими судьбами попал ты на скромную нашу планету...

Андроид не стал отказываться, а только заметил, что его история не может сравниться с историей барабанщика, ибо он не артист. Тут барабанщик, Трурль и машиненок принялись его уверять, что достоинство различных жребиев не поддается сравнению, так что гость, поупиравшись немного ради приличия, отхлебнул из бурдюка, откашлялся и начал рассказывать.

Рассказ Второго Размороженца

С радостью предстаем мы в собрании столь благородном, дабы поведать нашу историю, хотя она и является государственной тайной. Мы откроем ее, движимые благодарностью, которая выше соображений государственной пользы. Эта полная замерзшей цикуты чаша, которую добросердечный Трурль вылущил из нашей окостеневшей десницы, должна была лишить жизни не одно существо, но целые миллионы. Ибо мы не тот, за кого вы нас принимаете. Мы ни робот, ни хандроид, что легкомысленно прибег к яду, ни, наконец, простейший, именуемый чиавеком, хотя с виду и впрямь на него похожи. Но это лишь видимость. И мы говорим о себе во множественном числе не из-за претензий на Pluralis Majestatius*, но по грамматической исторической необходимости, которую вы уясните себе к концу нашей истории.

Началась она на блаженных побережьях планеты ЖИВЛЯ, прежней отчизны нашей, прозванной так по причине своей жи-

* Обращение во множественном числе к августейшим особам *(лат.)*.

воплодности. Там-то мы и возникли, способом, о котором не стоит особенно распространяться, ибо Природа употребляет его повсеместно, питая извечную склонность к автоплагиату. Из моря ил, из ила плесень — известная песня, из плесени рыбки, что повылезали на сушу, когда стало им тесно в воде; испробовав тьму всяких штучек, где-то по дороге они озверели, и возникшие таким способом ПЕРВОЗВЕРИ доковыляли до прямохождения, а затем, отравляя друг другу жизнь, — до разума, ибо разум заводится от забот, как чесотка от зуда. Иные из первозверей позалезали потом на деревья, когда же деревья высохли, пришлось им в немалом горе слезать обратно, и от этого горя они еще поумнели — увы, на вероломный манер.

Не стало древес и постной пищи, и вышли они на охоту; и как-то один из них, грызя окорок, заметил, что у него лишь голая кость, а у другого есть еще мясо, и заехал он тому костью по лбу, и мясо забрал. То был изобретатель дубинки.

Через неизвестное время после того появился Завет. О его происхождении живлянская мысль выдвинула восемьсот различных гипотез. Мы же считаем, что Завет появился, чтобы несносное житье сделать сносным. Скверно жилось нашим праотцам, и были они на это в обиде — но можно ли быть в обиде на Никого? а значит, в каком-то, чрезвычайно тонком смысле, Религию породила у нас грамматика, подкрепленная воображением. Если здесь нехорошо — хорошо где-то там, подальше. Если такого места найти нельзя — стало быть, оно там, куда не дойти ногами. Ergo, могила — это копилка. Положив в нее праведные кости, на том свете за воздержанность получишь с лихвой — в вечностной валюте с Господним обеспечением. Однако втихую праотцы наши нарушали этот Завет, полагая не вполне справедливым, что самое лучшее зарезервировано для покойников. Теологи опровергли эти сомнения тремястами способами, о коих мы умолчим, а то нам и тыщи ночей не хватило бы.

Предки наши облегчали свой тяжкий труд всяческими штуками и махинациями, от которых пошли махины, махавшие за них цепами, ну а где цепы, там и колеса, а где колеса, там и биты — я упрощаю, конечно, но иначе нельзя. Смягчая так мало-помалу свои невзгоды, они попутно узнали, что Живля шаровидна, что звезды суть узелки, на коих закреплен небосвод, что пульсар — икающая звезда, а живлян породил ил (это

удалось даже воспроизвести в особливых выводильнях через каких-нибудь тридцать тысяч лет от высечения огня).

Итак, телесный труд был отдан на откуп всяческим самодвигам, которые при случае годились и против соседей; однако еще оставалась тяжкая умственная работа, а потому измыслили мы мыслящие за нас механизмы, как-то: мыслемолки и мысльницы, перемалывающие мир в цифры, а потом отделяющие зерна от плевел. Сперва строили эти машины из бронзы, но за ними приходилось приглядывать, что также утомляет; поэтому вывели мы из обычных зверушек цифроядных мыслюшек, что жили-поживали себе у желоба, предаваясь запрограммированным компьютациям и медитациям. Так доработались мы до первой в нашей истории безработицы.

Освободившись от тяжких трудов, имея множество времени на размышления, приметили мы, что не все идет так, как должно бы: ведь отсутствие нужды — еще не блаженство; и принялись мы практиковать Завет наизнанку, вкушая каждый из помянутых в нем смертных грехов уже не с трепетом и не втайне, как встарь, но вызывающе, явно и с возрастающим аппетитом. Опыты показали, что большая часть оных не особенно привлекательна, так что на заре Новой эры мы всецело переключились на грех, обещавший больше всего, а именно, грех Облапизма, или Ложства, с такими его разрядами, как Чужеложство, Многоложство, Самоложство и прочие. Этот довольно-таки убогий репертуар мы обогатили рационализаторскими идеями; так появились облапоны, любвеобильные суперлюбы, половицы — пока наконец каждый живлянин не обзавелся в своем содомике полным комплектом блудных машин. Церкви, отнюдь не одобряя происходящего, закрывали на это глаза, ибо на крестовых походах давно был поставлен крест. По части прогресса лидировала первая держава Живли, Лизанция, которая крылатого хищника в своем гербе заменила, путем плебисцита, Порноптериксом, или Блудоптахой. Лизанцы, купаясь в благоденствии по уши, распускали все, что еще не было совершенно распущенным, а остальные живляне тянулись за ними по мере местных возможностей. Девизом Лизанции было: OMNE PERMITTENDUM*, ибо всехотящая вседозволенность лежала в основе ее политики. Только живлянский медиевежда, что перелопатил наши средневековые хроники, сумел

* Все дозволено *(лат.)*.

бы понять всю неистовость сокрушения прежних запретов: то был реактивный выброс в направлении, обратном стародавней аскезе и набожности. Однако же мало кто замечал, что живляне по-прежнему следуют букве Завета, хотя и навыворот.

Писатели прямо из кожи лезли, основывая грехопечатни, дабы наверстать многовековую отсталость, и печалились только о том, что никто уже не преследует их за смелость. Гимн молодежи, шествующей в первых рядах радикалов, звучал, сколько мне помнится, так:

Кирпично-медным
Сияя лбом,
Мы маму — в яму
И кол вобьем.
Потом на папу
Наложим лапу,
Сдадим на слом.
Сдохни, мать!
Папаша, сгинь!
Папе с мамою
Аминь!

Умственная жизнь процветала. Из забвения были извлечены труды некоего маркиза Де Зада; они стоят особого разговора, поскольку повлияли на дальнейший ход нашей истории. Двумя веками ранее палач изгнал Де Зада как мерзавтора-писсуариста; его писания предали огню — к счастью, предусмотрительный маркиз заранее заготовил копии. Этот мученик и предвестник Грядущего провозглашал Сладость Гадости и Святость Греха, и притом отнюдь не из эгоистических, но из принципиальных соображений. Грех, писал он, бывает приятен, но грешить надлежит потому, что это запрещено, а не потому, что приятно. Ежели есть Бог, следует поступать назло Ему, если же Его нет — назло себе: в обоих случаях мы выказываем всю полноту свободы. Поэтому в романе «Кошмарианна» он выхвалял копролатрию, то есть культ дерьма, освящаемого на золоте под звуки благодарственных песнопений, ведь если бы его не было, объяснял он, следовало бы его непременно выдумать! Несколько меньшей заслугой представлялось ему почитание прочих отбросов. В вопросах семьи он был человек принципов: семью надлежало извести под корень, а еще лучше — склонить ее к тому, чтобы она сама себя извела. Эта доктрина, извлеченная из глубины веков, была встречена с восхищением и почтени-

ем. Лишь простаки цеплялись к словам, утверждая, что Де Зад ПРЕДПОЧИТАЛ помянутую субстанцию родным и близким, но как быть, если кому-то милее все же семья?

Лицемерие этих критиков изобличили задисты, ученики и душеприказчики маркиза, опираясь на теорию доцента Врейда. Сей душевед доказал, что сознание есть зловонное скопление лжи на поверхности души — из страха перед тем, что в середке («Мыслю, следовательно, лгу»). Однако же Врейд рекомендовал лечение, вытеснение и окончательное прекращение, тогда как задисты призывали к демерзификации путем наслаждения до пресыщения, а потому учреждали выгребные салоны и тошнительные музеи, дабы там потрафлять себе и своим ближним; помня же о заветах Де Зада, особенно культивировали эту последнюю часть тела. Как говаривал видный активист движения, доцент Инцестин Шортик, кто задов не знает, тому и наука не впрок, а живлянин-де задним умом крепок. Поскольку тогда уже много шумели об охране среды, задисты загрязняли ее сколько было мочи. Кроме копрософии, волновала умы футуромантия. Пессимизм, столь модный в конце прошлого века, ныне высмеивался, ведь на одно рабочее место, теряемое вследствие роботизации, приходилось двадцать новых. Появились неизвестные прежде профессии, к примеру, оргианист, стомордолог (умел мордовать на сто ладов), триматург (драматизировал по заказу семейную жизнь, выстраивая супружеский треугольник), экстерьер и секстерьер (первый был просто экс-собакой, а второй занимался содо-мистикой, разновидностью авто-мистики, то есть составления священных обетов, исполняющихся автоматически). Даже физики, уступая моде, снабжали свои аппараты порноприставками.

За этой Реформацией в скором времени последовала Контрреформация, поборники которой обвиняли эпоху во всех грехах и совершали налеты на банки спермы и непристойной ферритовой памяти. Кроме этих взрывальцев, были еще анахореты — глашатаи Возврата в Пещеры, в частности, Вшавел и Ржавел, которые проповедовали грязнолюбие и скверноедение, коль скоро вокруг все такое стерильное и лакомое. Что же до прекрасного пола, то он взбунтовался тотально. В качестве идеалов женственности передовички движения предложили блудонну и свинкса, трактуя древние мифы на эмансипаторский лад. Все это вело к нарастанию хаоса, однако живляне в своем большинстве продолжали верить в науку, которая бес-

трепетно исследовала любое явление, — хотя бы оргианистику, которая стала формализованной дисциплиной благодаря введению единиц, именуемых оргами (а в случае некрофилии — моргами), и изучению тонких различий между бабистом, бабителем и бабашником, а также брехопроводом и грехопроводом; итак, наука все подвергала классификации и ничему не дивилась.

Впрочем, на ее счету было немало славных свершений. Именно в это столетие на выручку обычной инженерии пришла генженерия.

Начала она с создания диковинных гибридов (к примеру, дамы и самоката, в результате чего возник Дамокат), а затем принялась и за самих живлян. Дальше — больше, и вскоре разразилась Телесная Вольность: в генженерных бюро принимались заказы на тело любой формы и назначения. Поэтому некоторые историографы делят всеобщую историю Живли на эру идеальных войн, в которых бились за идеалы, и соматических войн, в которых сражались за единственно верный телесный стандарт. Впрочем, учение маркиза Де Зада плодоносило по-прежнему. Новейшая космогония утверждала, что другие космические цивилизации не обнаружены доселе единственно из-за гнета ханжеских представлений: считалось, будто такие цивилизации заняты выдаиванием солнц, расходуя звезды с бережливостью лавочника. Что за чушь! Первобытному человеку свойственно копаться не в звездах, но в кротовых норах — на большее он не способен. Чтобы транжирить богатство и мощь, надобно сперва иметь то и другое. Звезда — не заначка накопителя, солнце — не грош на черный день, астротехник — не скряга. Сколько бы ни потреблять солнц, всегда останется невостребованная безмерность, своей огромностью глумящаяся над любым счетоводством; следственно, бросить Космосу вызов может лишь абсолютное бескорыстие. Слепому хаосу звездных огней должно противопоставить сознательную волю к вселенскому пепелищу. Впрочем, мы уже вступили на этот путь — разве мы не сокрушаем атомы вдребезги? Ножки протягивают по одежке, а значит, астротехника высших цивилизаций должна быть оргией метких ударов, кладущих конец идиотскому вращению небесных тел, и притом ради чистого удовольствия, а не ради корысти. Небосводы полны галактик, пускаемых в распыл, что, кстати сказать, объясняет всеприсутствие космической пыли. Поэтому братский разум

узнается на астрономическом расстоянии по небывалой мощи пинков, наносимых зданию Вселенной, — именно так заявляет он о своем разумном присутствии в ней. Пока еще любая комета запросто смахнет нас хвостом с родимой Живли, любое мигание Солнца грозит нам гибелью, но со временем возрастает наша мощь, а не Космоса, и настанет блаженный день, когда мы сбросим оковы и покажем братьям по разуму, что не святые горшки обжигают, а то и где раки зимуют!

Итак, Космос не разбухает и не разваливается сам по себе, но разлетается у нас на глазах от взбучки, которую задают ему высшие астрократии.

Эти ученые споры потонули в канонаде очередной мировой войны, в которой телесные ретрограды сразились с альянсом соматической вольности. На счастье, обошлось без крупных потерь, поскольку порубанные вражьи тела воссоединялись прямо на поле брани в лазаретницах, или полевых воскрешальнях, а главнокомандующий здесь же, на месте, посвящал в рыцари самых лихих рубак; в народе их прозвали отрубными баронами. Лагерь старотелов потерпел поражение, что рикошетом ударило по живлянским церквям, взявшим сторону консерваторов. Локальные заварухи, такие как бюстобунт или позвоночно-хребетный мятеж, случались и позже, но все они были подавлены, и после установления суровой биттатуры наступил (ненадолго) мир.

Это следует пояснить. Уже на пороге телотворительной эры каждый живлянин вел двойную жизнь, одну обычную, другую — моделируемую цифровым методом в центре персонального счета (хотя многих коробил этот незримый надзор, прозванный цифрократией). Но иначе было уже нельзя: никто не мог удержать в голове экономическую и прочую жизненно необходимую цифирь, а если б и мог, все равно бы не захотел. Поэтому порядок сохранялся благодаря информанкам и моделякам, что наблюдали за всею Живлей через оптику спутников, которые в народе окрестили Верхоглядами.

В эту эпоху всевольностей лишь добродетель стыдилась показаться при свете дня. По понятным причинам проституция давно захирела, а ее заменители — девствухи и любодевы — не имели успеха: всякий знал, что истинная невинность не торчит на углу улицы, а если торчит, значит, тут что-то не то. В тайных клубах целомудры целибатничали с целомудрицами, сидя на хлебе и воде. Именно в этой среде информанки персон-моде-

лирования особенно рьяно проповедовали разврат. Впоследствии тут была усмотрена злонамеренная подготовка к битовороту. Однако о мыслемолках никто не заботился — те росли себе сами; когда же численность живлян перевалила за миллиард, обнаружилась нехватка места в цифровейниках, хотя каждый электрон тащил на себе целую охапку битов. Началась экспансия цифровой индустрии в глубь планеты; геологические слои один за другим преобразовывались в битические, и наконец раскаленное ядро Живли превратилось в Мудро, о чем, впрочем, мало кто знал, так как внимание граждан занимали новые виды спорта (в частности, случной и многоложный), новые музыкальные жанры (концерты для блудофона) и т.д.

Правда, случались недомогания моделирования, именовавшиеся цифрозом; в таком случае гражданин в мгновение ока лишался недвижимости, банковского счета и полностью обезличивался, но это, по общему мнению, было в порядке вещей.

Пораженный цифрозом (безличник) не имел ничего и не мог никого призвать в свидетели, ведь ни родителей, ни детей, ни супругов давным-давно и в помине не было, а лица, с которыми занимаешься блудыжничеством, впиянством и прочими формами увеселительного сквернавства, в свидетели не годились. Коль скоро каждый сквернился с каждым, никто, кроме компьютеров, не знал никого хорошенько, и персональная судьба, запечатленная в Мудре, висела на тоненькой ниточке ферритовой памяти, на глубине в тысячу миль под ногами у каждого живлянина. Порою из-за короткого замыкания судьбы двух лиц сливались в одну, или же расщеплялись данные одного индивида, — последствия были равно плачевны. Безличников преследовала навязчивая идея несуществования. Этот социальный недуг (нетчество) чаще всего проявлялся в виде синдрома Нетуса. Будучи всем сыт по горло, не зная, кто он, собственно, такой, говоря «нет» всему окружающему, безличник рыл где попало яму, чтобы исчезнуть в ней. Встречались любители интимных утех как раз с анонимными ямниками, которых выискивали особливые доезжачие со сворой экстерьеров, насобачившихся в отыскании нетческих ям. Отсюда видно, сколь усложнилась жизнь в ту эпоху.

Центры персон-моделирования работали в телотворительную эпоху с перегрузкой, ибо граждане двоились и троились на глазах, множа себе тела на любые оказии. Не было недостатка в миллионерах-коллекционерах; не желая ни с кем де-

литься радостями плоти, они размножались, разврата ради, почкованием. Персональное моделирование подобных субъектов, которые одной головой командовали целым полком тел, было нешуточной математической проблемой; в народе таких главарей прозвали телоначальниками. Они ли довели Мудро до коллапса, или, напротив, само оно довело народные массы до скоростной эротации — неизвестно и ныне. Так или иначе, Мудро объявило военное положение и провозгласило себя верховным правителем Живли под именем Мудриссимуса.

Отрезвленные столь внезапно и столь жестоко, живляне выказали прежнее мужество и сметливость в беде, ибо, как глубокомысленно рассуждали потом, беда породила их и лишь в ней они чувствовали себя как рыба в воде. Мировая война с раскинувшимся под Живлёй самозванцем ничуть не напоминала прежних войн. Обе стороны, имея возможность уничтожить друг друга за доли секунды, как раз поэтому ни разу не соприкоснулись физически, но сражались информационным оружием. Речь шла о том, кто кого заморочит лгашишем подтасованных битов, оглоушит брехном по черепу, кто ворвется, как в крепость, в чужие мысли и переставляет штабные молекулы неприятеля наоборот, чтобы его разбил информатический наврaлич. Стратегический перевес сразу же получило Мудро: будучи Главным Счетоводом планеты, оно подсовывало живлянам ложные сведения о дислокации войск, военных запасов, ракет, кораблей, таблеток от головной боли и даже переиначивало количество гвоздиков в подошвах сапог на складах обмундирования, дабы океанским избытком лжи пресечь всякую контратаку в зародыше; и единственной серьезной информацией, посланной на поверхность Живли, был адресованный фабричным и арсенальным компьютерам приказ немедленно стереть свою память — что и случилось. И, словно этого было еще недостаточно, в завершение штурма на глобальном фронте Мудро перевернуло вверх дном картотеки личного состава противника, от главнокомандующего до последнего киберобозника. Положение казалось безвыходным, и, хотя на передовую выкатывали последние не заклепанные еще вражьими враками лгаубицы, устремляя их жерла вниз, штабисты понимали, что это напрасно; и все же требовали открыть брехометный огонь, чтобы ложь брехней обложить: мол, если и гибнуть на поле врани, то хотя бы с необолганной честью. Главнокомандующий, однако, знал, что ни один его залп узурпато-

ра не потревожит, ведь тому было проще простого прибегнуть к полной блокаде, то есть отключить связь, не принимая к сведению вообще ничего! И в эту трагическую минуту он решился на самоубийственный фортель: велел бомбардировать Мудро содержимым всех штабных архивов и картотек, то есть чистейшей правдой; в первую голову в недра Живли обрушили груды военных тайн и планов, до того засекреченных, что один лишь намек на них означал государственную измену!

Мудро не устояло перед искушением и принялось жадно поглощать бесценные сведения, которые, казалось бы, свидетельствовали о самоубийственном помешательстве неприятеля. Меж тем к сверхсекретной информации примешивали все большие порции не столь существенных данных, но Мудро, из любопытства и по привычке, ни от чего не отказывалось, заглатывая все новые лавины битов. Когда истощились уже запасы тайных трактатов, шпионских донесений, мобилизационных и стратегических планов, открыли шлюзы битохранилищ, в которых покоились старинные мифы, саги, предания, прачиавеческие легенды и сказки, священные книги, апокрифы, энциклики и жития святых. Их экстрагировали из пергаментных фолиантов и закачивали под давлением в недра Живли, а цифрократ-самозванец по причине инерционности и самовлюбленности, тупого упорства и рутинерства поглощал все, жадный и ненасытный безмерно, хотя и давился уже избытком битов; и наконец они застряли у него электрической костью в горле: не содержание, но количество данных оказалось убийственным. Чистейшая правда, спрессованная в мощный информ-заряд, саданула Мудро под каждый его транзисторный бок, сожгла его пробки, затопила его казематы, полные еще не выстреленных вракет, и разорвала его изнутри, так что с многомильных битопроводов, искусной сетью заткавших планетный череп, потекла медь — и снова, как в прадавнюю эру, кружила Живля вокруг Солнца, заполненная огненным жидким металлом... Как в тишине началось, так в тишине и кончилось первое в истории информатическое сражение. И все вроде бы пошло по-старому, но еще четверть века приходилось распутывать, атом за атомом, хаос первой минуты схватки. Прежних высот живлянская цивилизация достигла лишь спустя сорок лет.

Эта война неизгладимо запечатлелась в духовной жизни. Среди гражданских и военных историков вспыхнули жаркие

споры. Одни полагали, что не количество одолело качество, но истина — ложь, ибо дезинформация спасовала перед добросовестной информацией.

Сходных воззрений держалась официальная церковная историография, которая спасение Живли объясняла вмешательством Провидения в облике Высшей Истины.

Школа рационалистов утверждала, что как раз наоборот: логическую натуру Мудра разорвало несчетное множество кричащих противоречий, которыми кишат богословские труды, — а именно ими начиняли последние боезаряды. Поэтому, хотя Живля и обязана своим спасеньем религии, но на иной манер, нежели того хотелось бы ее ревнителям.

Нашлись антропософы, заявлявшие, что ни то, ни другое, ни третье: мол, измена изменой аукнулась, сперва Мудро нас, а после мы его одурачили, в чем видим постоянство чиавеческой природы, ведь сражались мы, в сущности, с ее зеркальным, только увеличенным, отражением. Бунт Мудра есть повторение пещерной сцены, когда один прачиавек оглоушил другого обгрызенной костью. Споры эти пошли на пользу гуманитарным наукам, ибо в ряды дискутантов призвали резервистов-магистров, спешно производимых в полные доктора. Историческая победа стала благодарной темой и для изящных искусств. О ней было написано много правды и еще больше вымыслов, включая классическую легенду, что-де последней каплей, переполнившей чашу терпения самозванца, оказалась детская сказочка «Код Ученый», — но это слишком красиво, чтобы быть правдой; как кто-то заметил, Ученый Код изящно врет.

Демобилизованные вояки, возвращавшиеся в родные пенаты, не спешили доставать из домашних хранилищ запыленных кибергурий и купидам, брошенных в годину войны. Уж больно по-штатски выглядели учения с ними, а между тем боевой дух прямо-таки кипел, ведь, правду сказать, мало кто успел досыта навоеваться. Бизнесмены поняли вмиг, что прежние любисторы и любоны изжили себя. Настроение царило повсюду романтическое и патриотическое, невостребованное мужество следовало на что-то употребить; однако при всеобщей жажде ратного подвига было не с кем сражаться. Коль скоро врага уже нет, сказали себе акулы большого бизнеса, надобно его выдумать, тем более что технические средства имеются. Так появились врагобойни. В комплект врагобойни входила модель

омерзительного оккупанта, личностные характеристики которого въячивались в программу путем опускания в заднюю прорезь специального въявчика величиною с монету. Въявчиков предлагалось навалом — каждый с иным типом вражьего «Я», то коварно-жестоким, то агрессивно-нахрапистым, однако всегда низменным. Въячив личность врага по своему вкусу и раскусив его гнусные происки, клиент выступал на бой в защиту отчизны, которая, заметим, отнюдь не была абстракцией. Изготовители предусмотрели заранее, что если полем сражения будет жилище, то и отчизна, защищаемая собственной грудью, должна уместиться в нем, и в комплект входила ее аллегория — с развевающимися волосами, лавровым венком в руках, в одеянии, трепещущем, словно знамя (в цоколе имелось для этого поддувало). Обратив на клиента нежно-доверчивый взор, отчизна молила его о спасении, а после венчала победителя лаврами. Исход сражения гарантировался особыми рычажками на щите управления; впрочем, победу можно было одержать, не вставая с кровати, купив недорогой удлинитель к истязатору. Уничтожить врага можно было сразу или с оттяжкой, приберегая недобитыша на потом, — смотря по темпераменту и убеждениям. Сторонников суровости, строго дозированной по времени, не тревожили вопли истязуемого врага — на этот случай имелся превосходный глушитель.

Ретрограды, которых всегда предостаточно, тотчас подняли шум: пытаясь очернить программу боенизации, они утверждали, что врагобой — вовсе не тренажер патриотизма и не школа беззаветной любви к отчизне, как уверяет реклама, но цифровое палачество, достойное маркиза Де Зада, благословение которого, безусловно, почиет на изобретателях.

Врагобой, заявляли они, эксплуатирует самые низменные инстинкты, учит измываться над беззащитной жертвой, а сказочка о защите отчизны не более чем жалкий предлог. Почему, скажите на милость, отчизна — не степенная дама в годах, не матрона, не респектабельная и живая старушка, но монументальная девица? И почему ее пеплум снабжен замком-молнией? Врагозащитники вышли на улицы, демонстративно круша врагобойни и разбивая отчизны, чем, однако, навлекли на себя всеобщее негодование, умело подогреваемое врагобойной индустрией, которая обвинила их в публичном оскорблении патриотических чувств. Начались бесконечные судебные разби-

рательства, патриоты, распаленные только что одержанным домашним триумфом, со свежими лавровыми венками на головах бежали громить врагофилов, а тем временем ассортимент въявчиков пополнился совершенно новыми образцами. Теперь уже можно было, наряду с агрессорами, моделировать личности, во всех отношениях позитивные. Духотеки предлагали широкий выбор как вымышленных, так и реальных лиц, что, впрочем, повлекло за собой процессы о дистанционном нарушении личной неприкосновенности; дело в том, что многие заказывали себе знакомых, родственников и начальников, дабы дать волю чувствам, которые прежде подавлялись, порождая неврозы и прочие осложнения. После длительных прений лизанский Верховный Суд постановил: публичные действия в отношении моделируемого лица, которые, будь они совершены в отношении физического лица, предусмотрены в уголовном кодексе, могут служить основанием для вчинения дистанционно потерпевшим иска об оскорблении личности. Но те же действия, совершенные частным образом и без свидетелей, не составляют события преступления. Разумеется, противники духовок (именно так назывались отныне врагобойни) снова подняли крик, доказывая, что пользование духовками, будь то публичным или частным образом, абсолютно безнравственно, а все утверждения рекламных агентств (дескать, духовки восполняют дефицит дружелюбия, искреннего участия и нежности, ударяющий по широким массам, и с моделируемым лицом возможны лишь идеальные духовные отношения) — сплошная ложь. Будь это правдой, изготовители убрали бы истязаторные рычажки, тогда как на новой модели их больше, чем имелось на старой. Изготовители отвечали, что только выродок способен сделать что-либо дурное с родственной цифровой душой, обожаемым начальником или достойной супругой дружественного Лизанции монарха, но между нашими клиентами выродков, безусловно, нет. Впрочем, это личное дело покупателя, что ему делать с покупкой, — в полном согласии с конституцией и постановлением Верховного Суда.

Крики оппозиции не помогли — спрос на духовки был огромный. Правда, процессы об оскорблении личности продолжались, правоведы не покладали рук, неясно было, например, наказуемо ли публичное самохвальство деяниями, совершенными частным образом в отношении главы соседнего госу-

дарства или, скажем, умершей сестры соседа. Что это: crimen laesae majestatis* или некрофилия, а может, только пустая видимость — все равно что рассказывать сны, за которые никого не потянешь в суд? Эти споры оживили законотворчество и расширили границы гражданских свобод. Владелец духовки мог делать с въяченными духáми что угодно, лишь бы не нарушался покой соседей. Публично духобойничать запрещалось, однако же в частных клубах духоббисты оспаривали пальму первенства, приканчивая рекордное число самых что ни есть железных характеров в один вечер. Что любопытно, усилился спрос на ученых; правда, благотворных плодов общения со столь просвещенными духами как-то не замечалось; поговаривали, что чем больший дурень клиент, тем более охоч он до мудрецов — видать, не ради уроков и поучений, потому что не умнеет ничуть, хотя то и дело бежит в духотеку за новой пачкой въявчиков. Те, кому не хватало фантазии, в пособии по душеложству могли почерпнуть широкую гамму комбинаций. Появились также духовки с временнóй лупой, замедлявшей и укрупнявшей процесс истязаторства. Духозащитники в своих писаниях заявляли, что стоит только историческим обстоятельствам возвысить уровень общественной нравственности, как торгаши тут же стаскивают ее в канаву; именно это случилось после информатической войны, когда патриотический подъем был обращен в источник наживы. Эти нотации не нашли отзыва в обществе, впрочем, они приутихли, когда начала развиваться астронавтика. Дело в том, что на пути освоения космического пространства появилось препятствие, интересное уже тем, что его не предвидел ни один из футурогностиков и прогнозеров, которых в одной лишь Лизанции насчитывалось девяносто тысяч. Они разводили рацеи о безграничных перспективах покоренья планет, предсказывали темпы их колонизации, с невиданной точностью подсчитывали тоннаж ценных руд, минералов и прочих сокровищ, которые Живля будет привозить со всей Солнечной системы, и все это, несомненно, сбылось бы до мельчайших подробностей, если бы не одна мелочь. А именно: когда уже можно было покорять планеты и луны, благоустраивать девственные материки, разворачивая на них героическую и животворящую деятельность, короче, выказать первопроходческий дух в борениях с трудностями, — никто

* нарушение закона об оскорблении величества *(лат.)*.

почему-то не рвался в первопроходцы. Желающих не было! Поэтому власти порешили начать все сначала — дать как бы задний ход и после возвращения на исходные рубежи сыграть на другой струне. Коль скоро колонизация планет в качестве приключения века, высочайшего отличия и исторической миссии не вызывает энтузиазма, надо переименовать планеты в кутузки, а посылку героев — в ссылку преступников. Тем самым можно будет прикончить двух зайцев сразу: управиться со всякими крикунами, смутьянами, баламутами и заодно — с перенаселением, а то становилось уже тесновато.

Эта политика проводилась сто с лишним лет, после чего пришлось с огромным сожалением от нее отказаться. Хотя экспорт новейших технологий на штрафные планеты и был запрещен, ссыльнопоселенцы, среди которых преобладал народ даровитый и образованный, сами додумались до не положенных им технологий, создали свой ракетный флот, учредили трехпланетный союз и, обобществив ископаемые вместе с промышленностью, стали хозяйствовать по своему усмотрению. Вряд ли можно было в этих условиях продолжать политику ссылок, равнозначную отныне посылке подкреплений для космически разросшейся оппозиции. Живля перешла к полной изоляции от населенных планет; этим и кончилась программа покорения околоживного пространства.

Все проходит, так что со временем и духобойство приелось и вышло из обихода, вытесненное новыми веяниями, а давка все нарастала: количество живлян удваивалось уже каждые шесть лет. Правда, мастурбанисты по-прежнему возводили просторные самотни для миллиардеров с нарциссистскими вкусами, но позволить себе такое могли только крезы. Заурядному миллионеру приходилось довольствоваться членством в закрытом клубе, например роялистском, где практиковали роялизм как ирреализм, то есть без королевства, располагая лишь тренировочным скоросборным троном — трескотроном; для самых занятых, тех, кто хотел поцарствовать, не отрываясь от рабочего стола, имелся телетрон. Но уже не во всякую пору можно было выйти из дому, столь плотной массой текли по улицам толпы. Демографы принимали резолюцию за резолюцией, каждое государство призывало соседей одуматься, а те то же самое, только наоборот. «Убеждение, одно лишь убеждение! — заявляли правительства. — Для того и трудились наши предки

до кровавых мозолей, чтобы уже никто никогда никому не мог ничего запретить!»

Церковь поддерживала противников регулирования рождаемости: дескать, давка — трудность лишь временная, за гробом будет очень даже просторно. Между тем все больше наблюдалось странных явлений, прежде неведомых, например, жутеоров и фата-мордан; особенную же тревогу вызывали похищения. В средневековье разбойники похищали богачей ради выкупа; время от времени это случалось и позже, но всегда для предъявления каких-либо требований. Теперь же почти никто не требовал выкупа, а главное, похищенные исчезали бесследно. На смену простецкому похищению ракет и авиалайнеров пришли операции более сложные. Появились спецы, похищавшие похитителей вместе с похищенными, — так называемые похищаки; а тех, в свою очередь, запихивали в мешок похищенцы, которые свои операции планировали методом динамического программирования, чтобы снизить производственные издержки. А похитисты были теоретиками движения и прогнозировали постхитителей, которые должны были появиться к концу столетия и похищать в энной степени при помощи телекинеза, или духоловства. Что же касается самохищенцев, то они по крайней мере легко поддавались психиатрической классификации — как экстраполяция самоблудников. Врейдисты усматривали во всем этом новое воплощение задизма, но антиврейдисты лучше объяснили загадку: ни инстинкт смерти, ни агрессивность, ни деньги, ни подавленные детские комплексы тут ни при чем, речь шла просто об избавлении от ужасной давки, а так как в ней всегда виноваты другие, то этих других и брали за шкирку, чтобы запихнуть куда ни попадя. Специалисты по коллективным психозам назвали новое социальное заболевание похищенским запиханством.

В этом почти безвыходном положении (похищенческий позыв проявлялся в еле заметном перебирании ногами на месте, и ногами сучили уже самые высшие офицеры полиции) на помощь живлянам снова пришла наука, как всегда, безотказная. Началось повсеместное внедрение технетики, то есть синтетической этики, искусственно разводимой, штампуемой и монтируемой как проводным, так и беспроводным манером. Малышей спасали от давки в пустышечных резерватах, где места было навалом. Кроме того, уже в пеленки им вкладывали напоминайки, внедрявшие в умы уважение к ближним. Если бы и

нашелся кто-нибудь, кто захотел бы обидеть ближнего хотя бы по переписке, укорялка тут же принялась бы его отговаривать, а подушечка-думка — нашептывать сквозь сон, чтобы он это дело бросил. Если же он, допустим, упорно стоял на своем, затыкал себе уши, обычные дидакторы разбивал, а бронированные обкладывал войлоком и домашними туфлями, то защиту неприкосновенности брали на себя фильтры агрессивных намерений. Напишет он, например, анонимку, а чернила разольются, почтовый ящик порвет письмо, в крайнем же случае предохранитель последней линии добросердечия заботливо разобьет адресату очки. Упрямец взбеленится, попробует нанести телефонное оскорбление, а телефон все ругательства отфильтрует; и если даже в припадке бешенства он погонится за ближним с палкой, та, имея в структуре своей добротизатор, сломается еще до удара!

Похищения как рукой сняло, правда, не потому, что все как один смягчились душою, просто было не до того: каждый с утра до ночи ломал себе голову, как бы околпачить фильтрацию и сделать ближнему то, что ему немило, ради чистого удовольствия. Вырос спрос на динамит и кумулятивные бомбы, а производство воска и войлока подскочило на восемьсот процентов. Это привело к эскалации социотехнических методов: бомбы взрывались бомбоньерками и благовонными букетами, а толковники и укорилки гремели, как иерихонские трубы. Когда же самолеты начали выписывать в небесах назидательные сентенции, население бросилось раскупать картузы с длинным козырьком и темные очки. Безумное наступило время. Воскрешальни трудились без передышки, особенно в обеденную пору: дело в том, что если затевающий что-то недоброе садился за стол, а макароны в тарелке складывались в назидательную надпись, то нередко он вместо супа проглатывал ложку, чтобы покончить с собой, раз уж не может покончить с ближним.

В конце концов борьба технетики с населением стала азартной игрой, а тем самым частью массовой культуры — в виде тотализатора-моралиэатора (сокращенно — тотомор). Главный выигрыш доставался тому, кто первый оставит с носом новый добротизатор. Терроризм пошел на убыль, поскольку не все противодобротные средства допускались в игре, а за нарушение правил грозила дисквалификация. С помощью материальных стимулов удалось устранить в зародыше приватные атомные конфликты, ареной которых раньше других стала Лизан-

ция, держава, передовая во всех отношениях. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не тотомор; ведь достаточно было слуха, будто боевики-телобитники завалили штаб-квартиру аморализаторов письмами (которые, дескать, пропитаны солями урана и, слившись в критическую массу, поднимут на воздух полгорода), чтобы разразилась страшная паника. Мильоны беженцев забили дороги, а сверху на них обрушился град орнитоптеров, налетавших друг на друга в воздушных пробках. Радиус возникшей при этом гробосферы (или же давкострады) достигал двухсот миль. На счастье, подобные катастрофы более не повторялись. Упомянутое нами движение телобитников возникло в связи с упадком телотворения. Многотельству (которое осуждали за расточительство) положило конец обстоятельство совершенно банальное и, как обычно, непредвиденное — дефицит прядильно-ткацких бромидов; а без них нельзя синтезировать телеуправляемых вирусных хромопрядов. И вот, когда сырье для изготовления хромопрядов подорожало двухсоткратно, а пять крупнейших телотворительных консорциумов вылетели в трубу, лизанская молодежь создала субкультуру телобитников, требуя тел возможно более дешевых, экономичных, удобных и скромных. Что же касается аморализаторов, то они предложили в конгрессе закон о пожизненном заключении за повреждение добротизаторов деморалками (разновидность злобоголовок, самонаводящихся на все добродетельное). Но вам, надеюсь, понятно, что в такие детали нашей истории мы не можем вдаваться.

Борьба механизированной любви к ближнему с террористами и ревнителями личной свободы была, разумеется, лишь эпизодом на фоне по-настоящему серьезных событий. На планете шла куда более грандиозная, хотя и бескровная схватка — с демографическим потопом.

Надо отдать должное технике — она делала что могла, дабы облегчить все более тяжкую участь граждан. Так называемой циклической снедью, или же пищей многоразового пользования (она проходила через организм в неизменившемся состоянии), питались самые бедные. А чтобы напрасно не раздражать их, были устроены секретораны — конспиративные заведения, в которых клиенты со средствами могли объедаться как прежде. Чудеса кулинарного искусства кромсали здесь втемную, видя их лишь на экранах ноктовизоров, зато не соблазняя зевак. Урбанисты могли за каких-то три дня возвести миллион-

ный город из тесноскребов, и эти быстрограды заполняли остатки незастроенного пространства; в сущности, вся Лизанция была уже одной сплошною столицей. Одновременно развернулась лихорадочная миниатюризация всего, что только можно было уменьшить, от книг и газет до железных дорог. На смену метро пришло дециметро, а потом и сантиметро. Однако работу редукционной промышленности затрудняли неизменившиеся размеры самих живлян. Снова раздались голоса ярых антинаталистов, которые миниатюризацию объявили тупиковым путем и домогались регулирования рождаемости; но о таком грубейшем посягательстве на основные права живлян никто не желал и слышать. Лишь господствующим настроением умов можно объяснить легкость, с которой парламенты одобрили генженерный проект, известный под названием сокращенческого закона. Он предусматривал редукцию стандартного гражданина в масштабе 1:10. Разумеется, имелось в виду следующее поколение живлян. Чтобы сохранить свободу деторождения, постановлялось, что тот, и только тот, кто подвергнется генной перестройке, вправе произвести на свет любое количество потомков. Это было хитро задумано, поскольку устраняло принудительную микрогенизацию: тот, кто не шел на нее, умирал без потомства, так что следующее поколение состояло из одних лишь микромалюток; когда же их родители вымерли, планетную экономику спешно редуцировали в том же масштабе. Всеобщий комфорт не потерпел никакого ущерба, ведь все уменьшилось в равной пропорции. Церкви выбрали меньшее зло и дали согласие на этот маневр. Впервые с незапамятных времен все наслаждались блаженным простором, а вдобавок ощущали необычайную легкость — ведь самые упитанные толстяки весили двести граммов; но скептики и пессимисты пророчили, что от таких облегчений жди новых мучений.

И точно, катастрофическая давка возобновилась через каких-нибудь десять лет. Хотя главные генженеры-сократители понимали, что дальнейшая микроминиатюризация — лишь временный выход, ибо ей положит конец несжимаемая структура материи, они тем не менее были вынуждены решиться на шаг столь же радикальный, сколь и отчаянный, то есть на вторую редукцию в том же масштабе (1:10). Следующее поколение живлян без пожарных лестниц не могло уже взобраться на дедовскую пепельницу, выставленную в историческом музее. Теперь наконец можно было вздохнуть полной грудью. Каж-

дая грядка стала садом, клумба — девственной пущей. На микроживлян обрушились поочередно три мировые войны — с мухами, комарами и муравьями. Даже самые древние старики не могли припомнить таких поражений, тем более что во время массированных комариных налетов с тыла ударили тараканы, выбравшиеся из городских подземелий. Их черный панцирь поначалу не брали танковые орудия, что нетрудно понять, приняв во внимание, что средний танк весил тогда пять граммов. Кошмарные комары, размах крыльев которых превышал размах рук взрослого живлянина, пикировали на прохожих и высасывали из них кровь, оставляя на тротуарах скорченные трупы; мухи пожирали свои жертвы мерзкими клеистыми хоботками; и хотя с помощью кумулятивных снарядов и термитных гранат в конце концов удалось одолеть даже самый толстый хитиновый панцирь, хотя враг устилал своими трупами землю, хотя трофеи были огромны — из павших жуков делали ванны, а перепончатокрылые годились на планеры, — истребить неприятеля без остатка не удалось; поэтому были мобилизованы все техсредства, чтобы спешно накрыть города насекомостойкими куполами из стекловидной массы. Как пишут хронисты, тем самым на смену открытой миниатерре пришла замкнутая. Впрочем, тараканы по-прежнему устраивали партизанские набеги; но теперь армию заменила полиция, а главные оборонительные функции взяли на себя автоматические ловушки и роботы, вооруженные лазерным оружием. Лишь немногие поселения под открытым небом просуществовали до конца столетия, да и то благодаря противокомарной артиллерии и ракетам с самонаводящимися на звуки жужжания боеголовками. Попытки одомашнивания некоторых насекомых (ос, например, объезжали) не оправдали надежд; одни лишь сороконожки какое-то время использовались в качестве пони в детских садах. Не стоят упоминания такие побочные выгоды всеобщей минимализации, как охота на специально для этого разводимых гигантских мышей, весом чуть ли не в пятьдесят граммов; трудно также понять восторги приверженцев нового восхожденческого спорта — древизма. Вершины деревьев, росших за городскими куполами, привлекали немногих смельчаков, ведь смертельной опасностью грозила не только непостижимая громадность любой березы, но и любой майский дождик, который мог смыть восходителей каплями размером в человеческую голову. Впрочем, даже если бы удалось истребить всех насекомых

(что было мечтой генеральных штабов), это не изменило бы печального обстоятельства, на которое большинство закрывало глаза, — а именно, что живляне в своем нынешнем облике не способны жить на открытой поверхности; легчайший зефир валил их с ног, дождик затапливал, пташка могла заклевать на месте. А между тем появились грозные симптомы перенаселения, уже хорошо известные: повсюду опять была давка, и отчаянье охватило умы. Разумеется, о регулировании рождаемости не приходилось и заикаться; раз уж ради спасения основного права живлянина было принесено столько — и каких еще! — жертв, это означало бы позорную капитуляцию, и уже по соображениям престижа любой иной выход казался предпочтительнее. Такой выход предложила лизанская Академия Наук и Художеств — в виде федеративного проекта. Составленный Академией манифест распространили все агентства печати. Проект предусматривал такую переделку наследственности, чтобы все следующее поколение смогло соединиться в гигантское гармоничное целое, неотличимое от прачиавека — того великана, легендарные, чуть ли не двухсотсантиметровые размеры которого просто трудно вообразить. «Решившись на этот шаг, мы потеряем немного, — гласил манифест, — в сущности, ничего: разве мы не стали уже узниками собственных городов? Ведь мы не можем противостоять ни мухе, ни ветерку! Мы живем, безнадежно и навсегда отрезанные от природы, и вынуждены заменять ее пушинками и травкой искусственных садиков, испытывая ужас пополам с восхищением при виде любой кротовой норы; нам не дано охватить взглядом так называемые горы, о которых мы можем только читать в древних книгах, унаследованных от наших дедов-гигантов. Но именно такую монументальную фигуру и воскресит федеративный проект; а притом из слияния восьми миллиардов живлян возникнет не просто прачиавек, но невиданное прежде создание, двуногие соединенные штаты клеток, истинный градозавр, державоход, перед которым откроются все просторы планеты. В ее безмерности он не почувствует себя одиноким, ибо в дикую пущу вступит не одиночка, но многомиллиардное общество».

Мысль, брошенная лизанскими академиками, зажгла сердца и умы и была одобрена на всеживлянском плебисците. Однако всеобщая история — не идиллия; начались непредвиденные конфликты, а потом и последняя уже мировая война, кото-

рая вспыхнула из-за того, что каждая церковь претендовала на свою особую конгрегацию и свой голос в будущем державоходе, то есть на собственное ротовое отверстие, состоящее из верующих и клира; но это было никак невозможно: при стольких отверстиях получился бы дырчатый сырганизм. Услышав этот вердикт, непокорное духовенство развернуло подрывную работу. Появились пасквили, в которых будущий державоход именовался чудовищной ходячей тюрьмой, порабощагой, двуногой галерой, отданной на произвол мозговой элиты, которая совершенно буквально будет кормиться кровью миллионов сограждан. Распространялись клеветнические наветы, будто в центрах восприятия наслаждения все места уже втихую поделены между конструкторами и их начальством. Эти подстрекательские потуги, безусловно, встретили бы достойный отпор, тем более что ботаникам удалось вывести сорт цветов, пахучие субстанции коих обладали этифицирующими свойствами; будучи выброшен на рынок, благодетельный цветок успокаивал взволнованные умы, словно елей, льющийся на грозные волны; но тут, на беду, в печать просочились тайные документы проекта. То были протоколы совещаний, на которых компетентные эксперты признавали, что не все живляне в равной мере способны заполнить различные ячейки державохода. Некоторые провинции, особенно нижне-задние, намечалось заселить колонистами из недоразвитых обществ, а центральный нервный аппарат укомплектовать состоятельными лизанскими гражданами, поднаторевшими в спекулятивном мышлении.

Начертав на своих знаменах антидержавоходные лозунги и восклицая, что лучше погибнуть, нежели идти перетеляться в голень или же брюхо великораба и там надрываться впотьмах до истощения сил, — мятежники ринулись в бой. Голос партии «третьего пути» в надвигавшемся хаосе не был услышан. Я имею в виду возможников, или эвентуалистов. Они требовали превращения гениталиев в эвентуалии, в нормальных условиях бесплодные и обретающие способность к оплодотворению лишь в случае эвентуальной нужды, когда главный половой диспетчер вырубит импотенциометр на пульте планетной совокупильни. Потеря, впрочем, была невелика — их проект все равно не прошел бы.

Война, точнее, ряд локальных, но ожесточенных конфликтов, продолжалась недолго. Имея в виду всеобщее благо и ощущая ответственность за будущее Живли, державохожденцы

атаковали мятежников этифицирующими газами. Штаб-квартиру повстанцев заняли без пролития крови, засыпав ее с воздуха охапками этифицирующих роз и фиалок; по словам очевидцев, картина была потрясающая. Когда подготовка к слиянию уже началась, разгорелся новый конфликт, на этот раз среди самих генженеров, — по поводу плана коренной реорганизации проектных бюро. Предполагалось создать два самостоятельных комплекса: Автономную Державу Анонимных Мужей (сокращенно АДАМ) и Единоутробную Воспроизводственную Ассоциацию (сокращенно ЕВА). Что же касается сырья, то оба комплекса поделились бы населением Живли поровну. Любой другой выход, утверждалось в проекте, не убережет державоход от некой постыдной привычки, порочащей наши знамена. Если же АДАМ заключит с ЕВОЙ пакт о дружбе и ненападении, после чего обе стороны будут углублять сотрудничество на базе баланса сил и невмешательства в интимные дела друг друга, — со временем возможно установление прямых контактов, живительное влияние которых, крайне благоприятное для обеих высоких сторон, проникнет во все их закутки. Простой человек сможет участвовать в этих необычайно привлекательных сношениях в ходе своих повседневных торговых, полицейских и административных занятий благодаря тесному сотрудничеству компетентных державных органов. Этот план немедленно подвергся нападкам со стороны церквей, увидевших в нем угрозу, хотя и косвенную, целибату клира, не говоря уж о том, что не будет ни одного священнослужителя, который мог бы узаконить этот союз. «Любые международные пакты, а также соглашения на уровне министерств и прочих органов тут ни при чем, — гласило заявление совета церквей, — поскольку в свете канонического права ратификация межгосударственных соглашений не тождественна таинству брака, то есть речь идет о склонении государств к развратным действиям, против чего мы решительно протестуем». Но чашу весов перевесил не этот довод, а совсем другое соображение. Решившись повторить Сотворение, мы начали бы опять от Адама и Евы и самое большее через несколько тысяч лет снова пришли бы к кошмарной давке, вызванной перенаселением Живли — теперь уже множеством державоходов. Поэтому по завершении следующего исторического цикла нас ждет очередное слияние, что попахивает уже цивилизационным безумием, ведь державоход грядущей эпохи сам состоял бы из

клеточек-государств. Подобная перспектива заставила содрогнуться даже авторов проекта, и они сняли его с обсуждения.

В связи со спором о поле будущего государства некий мыслитель выдвинул оригинальную космогоническую гипотезу. Вызванное перенаселением производство державоходов из граждан, утверждал он, и притом как раз по двуполым проектам, несомненно, является космической постоянной. На это указывает само строение Вселенной, построенной из положительных и отрицательных частиц, из материи, которой соответствует антиматерия, и так далее. Таким образом, державы возникают как самцы и самки, размножаются, а их потомство учреждает государственные федерации следующего уровня. Этот процесс идет непрерывно, охватывая мало-помалу весь Универсум, так что на вопрос, из чего, собственно, состоит материя, следует ответить: из чистого субстрата государственности, полученного в результате многовекового сжатия государств, содержавшихся в государствах. И хотя, коллапсируя, они утрачивают прежние черты, все же их пол установить можно, как уже говорилось выше, а что до дальнейших подробностей, то ими должны заняться физики. Быть может, стоит добавить, что этот мыслитель был превосходным правоведом и юристом-цивилистом. Его концепция вовсе не столь несообразна, как кажется. Говоря, что атомы состоят из государств, а государства из атомов, он, должно быть, имел в виду, что материя, существуя как де-юре, так и де-факто, абсолютно легитимна, что она представляет собой как terminus a quo, так и ad quem*, то есть материя и право, в сущности, одно и то же, а потому вопрос, что было раньше, право или Вселенная, беспредметен постольку, поскольку вы понимаете, что мы имеем в виду. Впрочем, об этой гипотезе мы упомянули лишь мимоходом, ибо она оказалась последним плодом несконфедерированной живлянской мысли.

Итак, ограничились одним государственным организмом, и после законотворческой стадии наступила телотворительная. Прикомандирование в тот или иной орган определялось жеребьевкой, ведь каждый хотел пролезть в особо престижные органы, используя всевозможные связи и протекции. Время от времени случались скандалы по делам о коррупции. Раскрытие одной из крупнейших афер, поднёбной, повлекло за собой

* Здесь: начальный, конечный пункт *(лат.)*.

принудительную ссылку виновных в прихребетную зону, где ощущался недостаток в поселенцах-добровольцах и вакансий было не счесть. Державоустроительной работе препятствовали постоянные волнения: кого влекло ближе к духу, кого — ближе к брюху, и, если бы себялюбию дали поблажку, вместо жизнеспособного державохода получилась бы огромная голова на толстом животе, со ртом от уха до уха. Наконец наступил торжественный миг разрезания ленточки, опоясывающей нашу державу. Мы разрезали ее сами, поскольку кроме нас на Живле никого уже не было, и восстали из окружавших нас строительных лесов во всю свою высоту, в том облике, который вы сейчас видите. Не будучи в состоянии провести вас по всему государству в качестве своих дорогих гостей, мы сделаем это — вкратце — хотя бы в рассказе.

Вот в этом поворачивающемся здании, увенчанном романским куполом, размещается наш Парламент с двумя палатами, правой и левой, которые с исполнительными органами связаны довольно-таки нервной административной системой. В нижних туловищных провинциях расположены Министерство Внешнего Газообмена и Главное Управление Ирригации, объединенное, ради экономии полезной площади, с Управлением Любви к Ближнему. Посредине державы размещаются многочисленные Промсиндикаты — сахарный, продовольственный, химического синтеза и так далее. Шестьсот миллиардов полицейских патрулей, не зная ни сна ни отдыха, охраняют все рубежи и закоулки державохода. Неплохо звучит, не так ли? Не будем, однако, скрывать от вас, что не все прекрасно в живлянской державе. Главнейшая наша особенность, а вместе с тем и забота, заключается в том, что каждый наш гражданин обладает сознанием, и в этом мизинце разума больше, нежели во многих университетах. Увы, весь наш разум не может подать голос одновременно, поэтому лишь дипломатические вокальные группы, аккредитованные в ротовом отверстии, шлют вам, по поручению парламентской комиссии по делам речи, уверения в нашей сердечной дружбе и завершают отчет о нашей истории братским приветом от имени широких масс, что трудятся на органической ниве. Вы спросите, отчего же пал духом державоход, как могло случиться, что верховная власть поручила снабженческим органам доставить чашу с цикутой? Ответим искренне: по обстоятельствам как внешним, так и внутренним, ибо те и другие сделались невыносимы. Известно ли

вам, до чего мы дошли после пятнадцати тысяч лет славного цивилизационного строительства? Располагая вот этой единственной парой рук — пусть даже на службе в них состоят миллиарды граждан, — мы были вынуждены кочевать под открытым небом и питаться кореньями, допекаемые торжествующими комарами, пока наконец не перешли в позорное отступление, чтобы очутиться в склизкой пещере, возможно, той самой, которую целые эпохи назад покинул наш предок-троглодит. А все потому, что проектировщикам державоход представлялся такой монументальной громадой, просто безмерно могущественной, что они приготовили для него лишь горсточку орудий да рейтузы (впрочем, как показала примерка, чересчур узкие из-за ошибок планирования): они полагали, что такой поликан сам, с величайшей легкостью, устроится на планете. Впрочем, разве не унаследовали мы от них всю живлянскую экономику? Ну да, только какая нам польза от городов, на улицах которых мы не можем даже поставить пятку, или от роботов, которые меньше опилок? В конце концов мы, стиснув зубы, справились бы с внешними трудностями, когда бы не плачевное внутреннее состояние государства. Никто никогда не доволен у нас местом, на которое он поставлен! Хапать, прятаться, хныкать, требовать невозможного — вот их девиз! Как может парламент решать неотложные государственные дела, если колени требуют собственных глаз, нижние полушария угрожают блокировать транспортную систему, потому что им, видите ли, жестко и зябко; а известно ли вам, что такое государственный кишковорот? Впрочем, мы бы справились с безответственными требованиями и подавили неумеренные аппетиты, когда бы не подстрекатели, укрытые в палатах парламента, врейдисты, подрывающие державное наше сознание. Можете ли вы представить себе, чего домогается эта нелегальная оппозиция днем, а особенно ночью? Захвата соседней державы другого пола — вторжения в ее рубежи без какого-либо обмена нотами, насильственно! То обстоятельство, что никакой соседней державы нет и быть не может, ничуть не умеряет этих завзятых заговорщиков! Видя, что любые переговоры и разговоры с ними напрасны, что они коррумпируют наше правительство, подкупая его картинами оккупации, помрачающей чувства, и тщатся хотя бы воображаемым блудом наш державоход ублажить, если уж реальным нельзя, — узнали мы в этих призывах голос проклятого суверена блуда, маркиза похоти,

издревле подрывающего наши основы, а так как сей теломор, не уморившийся, несмотря на свои и наши старания, по-прежнему пытается завладеть нами, внедряясь уже в верховную власть, решили мы покончить с ним и с собою. И вот после внутренних долгих дебатов отправились мы в пустынное плоскогорье, наполнили соком буяники микроживлянскую цистерну, найденную под кустом, и приложили к губам, не слушая визга внутреннего сводника, что, дескать, от неутоленного вожделения наше державоубийство, а вовсе не ради державных принципов! Правда, цистерна с цикутой дрогнула в нашей руке, но, клянемся, мы б осушили ее до дна, когда бы не цепенящий вихрь, что обрушился вдруг с высоты, ударил, и наша держава погрузилась в ледовый сон, дабы лишь тут, в вашем братском кругу, отворить очи...

ВЕРНЫЙ РОБОТ

Телевизионная пьеса

Действующие лица

М-р Т. Клемпнер
Граумер, робот
Господин Гордон, издатель
Госпожа Гордон
Инспектор Доннел
Госпожа Доннел
Странный тип
Посыльные

I

Комната примерно 2000 года, но без поражающих воображение вещей. Это рабочий кабинет автора детективных романов. Здесь — мягкая «обтекаемой формы» мебель, лампы, пишущая машинка, магнитофон, радио, вместительный бар. Клемпнер сидит за машинкой и печатает с видимым интеллектуальным усилием. Звонит телефон. Он поднимает трубку.

Клемпнер. Клемпнер слушает. А, это вы! Да. Пожалуй, с неделю. Уверен в этом. Мне пишется все лучше. Целиком отдам вам в четверг. Без единой опечатки на машинке. Что? А, супруга вам говорила? Да, я хотел пригласить вас обоих с супругой в будущую пятницу. Придут еще Доннелы.

Его вы знаете, знакомились с ним у меня. Это тот инспектор... Ха, ха! Разумеется... Такие знакомства очень полезны; узнаешь о здешних происшествиях, а это способствует созданию местного колорита в произведениях. Хорошо. Значит, в будущую пятницу. До встречи...

Возвращается к машинке. Едва присаживается, как раздается звонок.

К л е м п н е р. Кого это черти принесли?..

Он выходит. Возвращается, и за ним следом — двое посыльных вносят большой ящик.

П о с ы л ь н ы й. Распишитесь, пожалуйста.

К л е м п н е р. Что это?

П о с ы л ь н ы й. Расписка в получении.

К л е м п н е р. Но что в этом ящике?

П о с ы л ь н ы й. Здесь написано: Робот.

К л е м п н е р. Какой робот? Я не заказывал никакого робота.

П о с ы л ь н ы й. Это не мое дело. Я из фирмы по перевозке грузов. Пожалуйста, распишитесь.

Клемпнер расписывается, посыльные уходят. Клемпнер осматривает ящик, глядит на пишущую машинку, подходит к ней, внезапно возвращается, разрезает шнуры, крышка ящика приоткрывается. Клемпнер пятится назад. В ящике сидит Робот. Он вылезает, раздвигает на себе бумажную упаковку, встает, слегка кланяется.

Р о б о т. Добрый вечер. Господин будет моим новым хозяином. Весьма рад. Я буду стараться угодить вам по мере возможностей, а их у меня немало. Я представляю собой новейшую модель «Ультра-Делюкс».

К л е м п н е р. Что все это значит? Я не заказывал никакого робота...

Р о б о т. Ах, это не имеет значения! Зачем вам себя этим обременять? А я для чего здесь? Отныне я буду все делать за вас. На меня можно полностью положиться. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Позвольте заметить, что столик у вас не на месте. Вы, когда пишете, сами себе свет заслоняете. Таким вот образом будет намного удобнее... *(Переставляет столик.)* Так вы сможете лучше сосредоточиться.

К л е м п н е р. Да не нуждаюсь я в тебе, черт побери!

Р о б о т. Поначалу всем так кажется. Вы сами убедитесь. Спите вы хорошо?

К л е м п н е р. Нет. Кто тебя сюда прислал?

Р о б о т. Вы страдаете бессонницей? Прекрасно.

К л е м п н е р. Как это — прекрасно?

Р о б о т. Потому что теперь все изменится. *(Выглядывает в окно.)* Ого, да здесь поблизости есть и другие виллы? И стало быть, по вечерам — собаки, которые лают на прохожих, в середине ночи — кошки, а по утрам — петухи. Очень хорошо. Против кошек и собак у меня имеется особое средство, а петухов вы отныне не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.

К л е м п н е р. Не беспокойся обо мне. Кто тебя прислал?

Р о б о т. Господин напрасно повышает голос. Достаточно было шепнуть. Я прекрасно слышу. Не знаю, кто меня прислал, но сейчас мы это установим. Отправитель должен значиться на упаковке. Ну конечно, «Давенпорт», посредническое бюро по найму домашних работников. *(Поднимает телефонную трубку, набирает номер.)* Алло! Бюро «Давенпорт»? Это говорит работник. Господин человек, с вами будет говорить мой хозяин. Пожалуйста... *(Подает трубку Клемпнеру.)*

К л е м п н е р. Алло! Вот только что мне доставили посылку — робота, которого я вообще не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка, что? Том Клемпнер, улица Роз, 46. Заберите его отсюда немедленно! Что? Что вы говорите? Не посылали? Вы абсолютно уверены? Но... *(Кладет трубку.)* Говорит, что никого они не посылали... И что же теперь будет?

Р о б о т. Все прекрасно будет. Вам, наверное, хочется побыть одному? Чтобы никто не мешал вам в творческой работе?

К л е м п н е р. Да, черт возьми! Да!

Р о б о т. Очень хорошо. Господин будет один. Вы уже один. В определенном смысле меня вообще нет. Кроме вас, здесь нет ни единой живой души — то есть никого нет. Нам остается лишь кое-что уточнить. У господина есть робот?

К л е м п н е р. Нет. И я ни в каком роботе не нуждаюсь.

Р о б о т. Вот и прекрасно. Должен вам признаться, что я тоже не выношу роботов. Я люблю только людей. Потому-то я так и радуюсь, что вы станете моим хозяином. Вам будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю проникаться к вам почтением и уважением. Вы питаетесь дома?

К л е м п н е р. Нет! И перестань говорить без умолку! Дай мне собраться с мыслями и сообразить, что с тобой делать.

Р о б о т. Для этого я здесь. Для всего, позвольте вам заметить. Отныне вы будете есть дома. Есть в ресторане вредно, это портит желудок. Я знаю самые разные кухни, особенно — китайскую. *(Он подходит к бару, оглядывает его содержимое.)* «Мартини», не правда ли? Великолепно. Но позволю себе заметить, что к нему пригодился бы джин. Смешать их половина на половину, со льдом и лимонной корочкой. Это проясняет разум. Сейчас я приготовлю.

К л е м п н е р. Да ты замолчишь или нет? У меня голова раскалывается!

Р о б о т. Поначалу так всегда бывает, к сожалению... Но это пройдет. Вы позволите? *(Достает из ящика, в котором прибыл, коробочку с красным крестом, наливает воды в стакан и протягивает его Клемпнеру вместе с вынутой из коробочки таблеткой.)*

К л е м п н е р. Что это?

Р о б о т. Средство от головной боли. Сейчас как рукой снимет. Только позвольте, пожалуйста... Не упирайтесь... Прошу вас... *(Сажает Клемпнера в кресло и подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги, подает таблетку и воду, а сам начинает быстро прибирать комнату. Выносит ящик, маленьким веником выметает опилки, возвращается.)* Ну, как самочувствие? Уже лучше? Голова уже у вас не раскалывается, правда? *(Достает из ящика масленку, моток веревок и отвертку.)* Это все мое имущество. Потому что в случае необходимости, чтобы вы знали, я сам себя ремонтирую. Может, показать вам, как я устроен внутри? Механизм чрезвычайно любопытный!

К л е м п н е р. Оставь меня в покое...

Р о б о т. В этом и состоит моя задача. Создавать вам покой. Именно так. Только перед этим нам следует уточнить матрицу связей. Это займет всего минутку.

К л е м п н е р. Какую матрицу?

Р о б о т. Ну, есть же у вас соседи, знакомые, родственники... Самые разные люди будут сюда приходить и будут стремиться увидеться с вами. А мы установим простой способ взаимопонимания. Если вы встретите гостя словами: «Как я рад тебя видеть!» — я через минуту войду в комнату и напомню вам о не терпящей отлагательства консультации с профессором Хэдвиком.

К л е м п н е р. А если гость как раз знает этого Хэдвика?

Р о б о т. Ну что вы, это невозможно. Хэдвик был моим первым хозяином. К сожалению, умер. И довольно давно. Уже и буквы на его надгробии начинают стираться. Каждую третью неделю я хожу к нему на кладбище. Надеюсь, что вы мне будете разрешать и это. Но перейдем к делу. Если вы поприветствуете гостя словами: «Хорошо, что зашел, я давно тебя жду», — я подам напитки самого низкого ка́чества. Если...

К л е м п н е р. Ну что ты мелешь?!

Р о б о т. Но, позвольте, господин! Мы оба прекрасно знаем, какова действительность. Только люди из ложной стыдливости предпочитают в этом не признаваться. В каждом доме имеются угощения для посетителей первого класса, соответственно — для второго, а бывают и те, которых вообще не угощают. Там, например *(показывает на бар)*, я заметил в укромном местечке бутылочку. Если не ошибаюсь, это коньяк семидесятилетней выдержки, вероятно, «Селиньяк», вы надежно его припрятали, да так, собственно, и должно быть. Однако я вижу, что вы немного устали. Я сейчас же приготовлю крепкий бульон и легкий, но питательный ужин. А пока отдыхайте, пожалуйста. Расслабьтесь... полная пассивность... разрядка. *(Он говорит это, отступая к дверям. Слышится частое позвякивание посуды и стекла.)*

К л е м п н е р. Вот так история!

Р о б о т *(возвращаясь)*. Сейчас все будет готово. Нам остался один вопрос, но самый важный — относительно женщин.

К л е м п н е р. Что?!

Р о б о т. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я располагаю тремя дополнительными устройствами, предназначенными специально для этой цели. Отныне женщины станут усладой вашей жизни, солнечным светом, а не кошмаром. Тех, кого господин не захочет видеть, я и на порог не пущу. Я смогу быть несокрушимым в отстаивании ваших интересов. А поскольку я умею на расстоянии регистрировать частоту дыхания и пульс, то смогу заблаговременно сообщать вам, на что рассчитывает женщина, которая к вам приходит...

К л е м п н е р. Это неслыханно! Как ты смеешь? Да не желаю я!

Р о б о т. Ох, желаете! Желаете, только сами этого еще не знаете. Я смотрю, вы принадлежите к тем несчастным людям, которые до сих пор не испытали на себе благодеяний верного и усердного робота. Но все переменится. Вы познаете вкус счастья... Кажется, бульон уже доварился. Извините...

К л е м п н е р. О Боже!

Р о б о т *(появляется в дверях столовой и распахивает их ненатуральным взмахом руки)*. Прошу вас! На стол подано...

К л е м п н е р *(вскакивает)*. Да не хочу я, чтобы мне здесь...

Р о б о т. Со всем почтением осмелюсь заметить, что после слов «На стол подано» никаких других слов произносить не следует, пока я не подам вам первый аперитив...

Клемпнер входит в столовую, садится. Робот подает ему бульон. Клемпнер начинает есть. Робот уходит в кабинет, быстро просматривает рукопись и возвращается. Наливает вино.

Р о б о т. У вас прекрасный стиль. Какая динамика, какой лаконизм. Я горжусь тем, что у меня такой хозяин. Осмелюсь только заметить, что этому убийце во второй главе не следовало бы пользоваться цианистым калием. Этот яд, пожалуй, выходит из моды. И слишком уж заигран.

К л е м п н е р. Ты так полагаешь? Ты и в этом разбираешься?

Р о б о т. Мой третий по счету хозяин был токсикологом. И не простым, а коллекционером. Он коллекционировал яды, как другие коллекционируют бабочек. Бедняга...

К л е м п н е р. А что с ним случилось?

Р о б о т. Ошибся. Обычно он клал три ложечки сахара в кофе. Ничего бы, конечно, не произошло, но дело случилось в то самое воскресенье, когда я хожу на кладбище. И если бы хоть что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее, ничего подобного! Он по ошибке насыпал в кофе вместо сахара крысиного яда. Обыкновенного крысиного яда! И это знаток! Представляю себе, каково ему пришлось — в последние минуты... Когда я вернулся, все было кончено. Я думал, у меня конденсатор лопнет. Теперь хожу к нему два раза в месяц. У него очень хорошая могилка, с видом на реку. Я сам выбрал это местечко. Но я не о том хотел говорить. Осмелюсь вам порекомендовать аконит. Весьма впечатляющий и сильный яд. Достаточно десяти капель...

К л е м п н е р. Аконит, говоришь?.. Может быть... Действительно! Я думал об этом. А вообще-то, как тебя зовут?

Р о б о т. Граумер, господин хозяин! Но если вам угодно, называйте меня совершенно иначе. Может, предпочитаете что-нибудь из цветочных названий? Например, Гиацинт... Как это вам понравится?

К л е м п н е р. Нет, зачем же?.. Пусть будет Граумер.

Р о б о т. Благодарю вас.

К л е м п н е р. Граумер!

Г р а у м е р. Слушаю вас...

К л е м п н е р. В будущую пятницу, ты понимаешь...

Г р а у м е р. Да, конечно!

К л е м п н е р. Я устраиваю маленький прием на четверых. Будут две супружеские пары... Не знаю только, что лучше подать — холодные закуски или ужин с горячим блюдом, а?

Г р а у м е р. Это, вероятно, гости первого класса?

К л е м п н е р. Да. Мой издатель и инспектор Доннел, оба с женами...

Г р а у м е р. Инспектор полиции?

К л е м п н е р. Да, а что?

Г р а у м е р. И он ваш приятель? О, это прекрасно! Что подать? Я думаю, одно горячее блюдо, а затем — своего рода ассорти из изысканных холодных закусок. Можете предоставить это мне. Я вас не подведу. Ужин вкусный был?

К л е м п н е р. Весьма...

Г р а у м е р. Я вижу, что вам бы хотелось сегодня написать еще пару страниц, но не советую. У вас темные круги вокруг глаз. Первый вечер всегда утомителен для нового хозяина. Для начинающего — особенно... Поэтому я позволил себе приготовить для вас постель. Разрешите, пожалуйста... *(Ведет Клемпнера в спальню; через открытую дверь доносится его голос.)* Так, зажжем ночничок... теперь другую штанину... А теперь робот расскажет вам на сон грядущий сказочку. Давным-давно, когда еще не было даже электричества, жил да был себе за горами один хороший, простой господин, и был у него паровой робот. По утрам робот отправлялся в лес за хворостом да за грибочками для завтрака...

К л е м п н е р *(усталым голосом)*. Оставь меня... в покое...

Г р а у м е р. Однажды в лесу, откуда ни возьмись, появился злой монтер с большущими-пребольшущими клещами. Спрятался он за деревом, а когда робот подошел к нему, он и говорит: «Сирота я, и нету у меня на свете ничего, кроме этих клещей...»

Свет в спальне гаснет. Граумер появляется в кабинете. Он тихо закрывает двери, поднимает с полу свою масленку, отвертку и, сматывая длинную веревку, произносит:

Прекрасно. Спит, как малое дитя... Даже веревка не понадобилась...

II

Клемпнер сидит в кресле, читая газету, и тянет руку к столику, на котором стоят бутылки с вином. Дотянуться до них не может, а вставать ему не хочется.

К л е м п н е р. Граумер!

Г р а у м е р *(входя)*. Слушаю вас.

К л е м п н е р. Налей!

Г р а у м е р. То, что обычно?

К л е м п н е р. Да.

Граумер наливает, подает.

К л е м п н е р. Можешь идти.

Граумер стоит.

К л е м п н е р. Ну, что еще?

Г р а у м е р. Вам звонил господин человек Хиггинс, сообщая, что будет выступать в клубе с докладом о литературоведении раннего викторианского периода. Я сказал, что вы весьма сожалеете, но как раз в это самое время у вас совещание с профессором Хэдвиком.

К л е м п н е р. Ладно. Кстати, ты случайно не знаешь, куда подевался резиновый коврик из ванной? Я не могу его найти.

Г р а у м е р. Простите, это я его взял.

К л е м п н е р. Взял коврик?! Граумер, ты становишься невыносим!

Г р а у м е р. Я его разрезал на куски и подклеил ими свои железные подошвы, чтобы неслышно ступать. Потому что вы жаловались на металлический звук моих шагов. Я постараюсь достать другой коврик.

К л е м п н е р. В другой раз ты должен прежде испросить моего позволения. Подай мне плащ. Я ухожу.

Г р а у м е р *(приносит шляпу и плащ, одевает Клемпнера)*. Надеюсь, сегодня вы вернетесь в лучшем виде, чем это было вчера.

К л е м п н е р. Ты что это себе позволяешь?

Г р а у м е р. Осмелюсь заметить, что пить все подряд, без разбору, вредно. Но дело не только в этом. Ни мой покойный господин Бурман, ни профессор Хэдвик никогда не пили ром после джина. Простите меня, но это дурной тон.

К л е м п н е р. Прекрати! Я ничего больше не хочу слышать о твоих покойных хозяевах. Они были, умерли, нет их, и точка. А теперь я твой хозяин, и ты обязан меня слушаться. А сам я обойдусь без твоих советов.

Г р а у м е р. Как вам будет угодно. Я только прошу вас осторожно вести машину, потому что сегодня довольно густой туман.

Клемпнер выходит. Робот с минуту стоит неподвижно, как бы прислушиваясь. Доносится шум отъезжающей машины писателя. Робот удобно усаживается за письменный стол, придвигает к себе телефон и набирает номер.

Алло! Это фармацевтическая фирма «Тромпкинс»? Говорит Клемпнер, с улицы Роз. Да, да, то, что я заказывал вчера, уже доставили. Теперь новый заказ. Мне нужно десять литров физиологического раствора и один килограмм фосфора. Но фосфор должен быть абсолютно чистым. Химически чистым. Что? Хорошо. Прошу вас прислать мне это завтра утром. Как можно раньше. Мой робот все примет. Что? Так же, как и предыдущие. Прошу записать это на мой счет.

Граумер, довольный, поднимается, входит в спальню, раскладывает столярный метр и, насвистывая, прикладывает его к кровати, будто снимает мерку с невидимого человека, лежащего на постели. Возвращается в кабинет и набирает по телефону номер.

Алло! Мастерская доктора Спайдера? Говорит Клемпнер. Господин доктор, тот скелет, что я у вас заказывал, должен быть один метр семьдесят пять сантиметров, а не семьдесят два. Что? Да. И чтобы он был в прекрасном состоянии! Нет, никаких пружин. Пружины мне не нужны. Я соберу его сам.

Кладет трубку, подходит к электрической розетке, оглядывается вокруг, втыкает два пальца в ее отверстия и заходится радостной дрожью. Крякает, как человек, выпивший водки. Потом еще раз потягивает электричество из розетки и, чуть покачиваясь, начинает напевать:

Был у бабы робот, робот, робот,
Она его в болото, бух в болото!

Он еще раз потягивает из розетки и, покачиваясь, направляется к дверям, напевая:

О, мой милый робот, робот,
Что ты делаешь в болоте, в болоте?..

С этой песенкой на устах он спускается в погреб. Оттуда доносится таинственное шипение, бульканье, бренчание.

III

Прием в доме Клемпнера. Писатель сидит за столом между госпожой Доннел и госпожой Гордон. Гордон и Доннел играют в карты за маленьким столиком, однако не слишком увлеченно. Трапеза окончена. Граумер подает кофе.

Госпожа Гордон. Как вы собираетесь провести отпуск в этом году?

Госпожа Доннел. Еще не знаем. Мы подумывали о Луне, но...

Госпожа Гордон. Ах, уж эта мне Луна! Все просто помешались на ней. Лично меня туда совершенно не тянет. Днем там такая жара...

Госпожа Доннел. Да. Особенно при нынешних ценах на воздух. Знаете, госпожа Гордон, сколько заплатил один мой знакомый за килограмм кислорода, и уже после окончания сезона? Пятьдесят долларов!

Граумер уходит.

Госпожа Гордон *(обращаясь к Клемпнеру)*. Я заметила, что у вас новый робот. Как он управляется?

Клемпнер. Да ничего, не жалуюсь. Терпимо. Вполне терпимо.

Госпожа Доннел. Он давно у вас?

Клемпнер. Нет... не очень давно...

Госпожа Гордон. Ну, тогда еще ничего не известно. Сначала они все стараются. Все начинается потом.

Клемпнер. Что начинается?

Госпожа Гордон. Что обычно бывает с прислугой. Они становятся нерадивы, вместо того чтобы стирать пыль, открывают окна настежь и устраивают дикие сквозняки.

Клемпнер. Сквозняки?

Господин Гордон. Ну-ну, автоматы имеют и свои достоинства...

Госпожа Гордон. Интересно знать — какие?..

Господин Гордон. Дорогая моя, живые домработники временами роются в вещах, напиваются, распускают сплетни...

Госпожа Гордон. Да? Можно подумать, что ты когда-нибудь видел живого работника. И разве живой работник воровал бы электричество, которое оплачивают хозяева? Или лазил бы в грозу по крышам?

К л е м п н е р. По крышам? В грозу? Я об этом не слышал. Но зачем?

Г о с п о ж а Г о р д о н. Вы не слышали? Правда? Это так называемые грозатики. Как лунатиков тянет к Луне, так этих притягивают грозы и молнии.

К л е м п н е р. И с этим ничего нельзя поделать? Во всяком случае, мой Граумер — не грозатик. Будь это иначе — я бы заметил. Но вообще-то, наверное, это не может повредить им?

Г о с п о ж а Д о н н е л. Как бы не так, господин Клемпнер! Такой как налакается этих самых молний, притянет столько их в себя, что все у него перегорает там в голове, то есть в их электрическом мозгу, — вот вам и готовый помешанный.

Г о с п о ж а Г о р д о н. У моей знакомой, жены режиссера Спинглера, именно такой и был.

Г о с п о д и н Г о р д о н. Дорогая моя, ты не можешь этого утверждать. Тот робот был просто старый и весь расстроенный. Они приобрели его после того, как он уже у четырех хозяев служил.

Г о с п о ж а Г о р д о н. Пусть так. Может, он и не был грозатиком, но в любом случае не ведал, что творил. Он несколько раз накормил кота золотыми рыбками. А суп засыпал шариками...

К л е м п н е р. Какими шариками?

Г о с п о ж а Г о р д о н. Стальными. От металлических кроватей. Все оттого, что он буквально разваливался на глазах. Сколько раз я говорила этой знакомой, чтобы она отдала его на капитальный ремонт, а она все — нет да нет! Ее муж был к нему так привязан... Супруги поехали отдыхать на море, а когда вернулись, собственной квартиры не узнали. Он натер мастикой все окна и стены, а грязное белье разварил, разложил по банкам и сказал, что это запасы на зиму! А счета за электричество! Она остолбенела, когда увидела эти суммы.

Г о с п о ж а Д о н н е л. Это еще ничего. Знаете, господа, что выделывал робот моей соседки? Он взял старый костюм ее мужа, понашивал на него заплаток и ходил побираться!

К л е м п н е р. А деньги ему зачем понадобились?

Г о с п о ж а Д о н н е л. Это неловко и произносить. В доме напротив, у доктора Смитсона, поселилась новая женщина-робот. Такая небольшая, голубая, оксидированная... Так соседский робот все свои сбережения на нее истратил. Они даже письма друг другу писали! Мне жена доктора показывала его

письма. Он называл ее «дорогая шпулечка», «проволочка моя возлюбленная» — и одному Богу известно, как еще!

Господин Гордон. Дорогие дамы, а что вы, собственно, видите в этом предосудительного? Такой робот, такой электрический мозг весьма чувствителен. Ему хочется тепла, ласки, но ничего подобного нет — с утра до ночи он только и слышит то «Подмети!», то «Вынеси!», то «Не впускай!», то «Выброси!».

Госпожа Доннел. Я вижу, что в вашем лице они обрели блестящего защитника...

Госпожа Гордон. Я должна вам сказать, госпожа Доннел, что мой муж — член местного отделения «Лиги Борьбы за Электрическое Равноправие»...

Госпожа Доннел. Ах, так...

Господин Гордон. Потому что это достойные, порядочные существа. Ну и в конце концов, мы сами вызвали их к жизни, то есть я хочу сказать, дали им возможность существовать. Если у них имеются какие-то недостатки, так это наша вина. Наших инженеров. Роботов следует лучше конструировать и совершенствовать. В общем, создавать, а не обвинять.

Госпожа Доннел. Простите, ведь никто не делает им ничего дурного. Но с тех пор, как у них появился собственный союз, робота, натворившего бед, нельзя даже в погребе запереть, потому что сразу поднимается крик, что, мол, это издевательство, жестокость. Джон, как называется этот их союз?

Господин Доннел. «Союз Бесчеловечного Обожания». Нет-нет, я, разумеется, шучу. Он называется просто «Союзом Домашних Электрических Работников».

Госпожа Доннел. Ну вот, пожалуйста. А вообще-то мой муж мог бы вам кое-что рассказать... И это совсем не безобидные выдумки! Знаете ли вы, господа, что бывают случаи, когда электрические мозги объединяются в банды, связанные с преступным миром?

Клемпнер. Да, но так когда-то давно бывало. Теперь, наверное, уже ничего подобного не случается. Это просто невозможно. Не так ли, инспектор?

Инспектор Доннел. Не знаю, имею ли я право рассказывать об этом, потому что следствие еще не закончено... Но мне известна одна история...

Клемпнер. Но, господин инспектор, вы имеете дело с людьми деликатными...

Господин Гордон. Что касается меня — я обязуюсь хранить молчание.

Инспектор Доннел. Что поделаешь? Рискну... Но не буду называть никаких имен. В общем, некоторое время тому назад мы вышли на след одного весьма опасного робота. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Вы, господин Гордон, говорили о совершенствовании. Так вот, инженеры фордовского завода, стремясь к идеалу, вознамерились создать совершенного робота. Такого, чтобы он был всесторонне развитым, умным, просто гениальным. И это им весьма удалось. Как только они его смонтировали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он совладал со всеми запорами, сбежал с завода и теперь разгуливает себе по стране!

Госпожа Гордон. Ой, вы меня просто в ужас повергли, господин инспектор! А что он, собственно, делает?

Клемпнер. Он что, ненормальный?

Инспектор Доннел. В известном смысле, да. Им овладела навязчивая идея: он хочет создать человека!

Госпожа Гордон. Что вы говорите?!

Клемпнер. Это интересно...

Инспектор Доннел. Он придумал целую теорию. Люди, мол, стремятся создать совершенного робота, а он, робот, создаст совершенного человека.

Госпожа Гордон. Подумать только!

Господин Гордон. И вы считаете его помешанным? Это вполне здравая мысль.

Инспектор Доннел. Вы так полагаете? Мы долго его выслеживали, потому что он очень искусно заметал за собой все следы. Но неожиданно нам позвонил его хозяин. Это весьма известный человек, у которого робот служил.

Граумер. Господин хозяин! Господин человек Хиггинс просит вас к телефону.

Клемпнер. Простите... *(Выходит.)*

Инспектор Доннел. Так вот, этот робот устроил в доме своего хозяина тайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его застигли врасплох. В интересах следствия я опускаю подробности. Но чтобы вы имели представление о сообразительности этого робота, я расскажу вам только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал там большой

ящик и распорядился направить его по адресу своего хозяина, и затем отбыл в неизвестном направлении!

Господин Гордон. Сам себя отправил? Зачем?

Инспектор Доннел. Об этом мы можем только догадываться. Я подозреваю, что ящик прибудет по адресу, который он сам себе предварительно наметил.

Госпожа Гордон. И этот адресат примет его?.. Как же так?

Инспектор Доннел. Да вот так. Отправитель фиктивный. В один прекрасный момент по некоему адресу приходит заказная посылка — робот. Получатель, который его не заказывал, звонит в бюро по найму и говорит, что не будет это оплачивать, а в бюро отвечают, что они знать ничего не знают. Тогда этот человек, видя, что робот ему достался даром, как презент, сидит себе да помалкивает. Ведь робот хороших денег стоит!

Господин Гордон. Почему бы об этом не сообщить в печати?

Инспектор Доннел. Потому что это ничего не даст. Робот хитер — он тут же придумает новый способ бегства. Мы предпочитаем действовать скрытно. Еще немного, и он окажется под замком.

Возвращается Клемпнер.

Инспектор Доннел. Можете быть уверены, господа, что мы его в конце концов поймаем. Как и того, другого, что отличился тяжкими преступлениями на юге страны. А ведь то был не обыкновенный робот, он представлял собой особый электронный мозг для прогнозирования погоды. Одним словом — метеорологический автомат. Он оказался поистине электрическим гением финансовых операций! Под вымышленным именем открыл счет в банке, просчитывал вероятность выигрышей на бегах, играл и, разумеется, выигрывал, а деньги помещал на банковский счет. Но это еще не все!

Господин Гордон. Что же он еще сделал?

Инспектор Доннел. За прежнее его нельзя было осудить. В конце концов, каждый может играть на бегах. Но он заделался таким сибаритом, что ему расхотелось предсказывать погоду. Для этого он нанимал людей, платил им, а сам целиком предался азартным играм.

Госпожа Гордон. Это действительно невероятно интересно, и мы бы слушали вас всю ночь. Но уже поздно... Ричард!..

Господин Гордон. Да, дорогая...

Клемпнер. О, не уходите, господа! Сейчас только двенадцать...

Госпожа Гордон. Нет-нет, мы не можем... Дети остались одни с роботом.

Госпожа Доннел. До свидания!.. Было очень мило...

Господин Гордон. Так, значит, вы мне приносите рукопись послезавтра?

Клемпнер. Как и обещал.

Господин Гордон. Думайте уже и о следующей книге, господин Клемпнер!

Клемпнер. Да я и вправду ни о чем другом не думаю! Доброй вам ночи!

IV

Раннее утро. Клемпнер спит. Граумер входит на цыпочках. Открывает шкаф, достает сорочку, нижнее белье, костюм и выходит. Спустя минуту возвращается, вытаскивает из шкафа обувь и с шумом роняет один ботинок.

Клемпнер. Что за грохот? Граумер, угомонись! У меня голова раскалывается. Принеси кофе!

Граумер. Я же вас вчера предупреждал...

Клемпнер *(садясь на постели)*. Хватит с меня этих проповедей! Сию минуту принеси мне кофе и минеральную воду! И оставь ты эти ботинки!

Граумер ставит ботинка у шкафа и выходит. Клемпнер, накинув халат, идет в ванную. Он возвращается с головой, обвязанной мокрым полотенцем, входит в кабинет. Граумер приносит кофе. Клемпнер пьет стоя, подходит к письменному столу и ворошит утреннюю почту.

Клемпнер. Что это?

Граумер. Утренняя почта, осмелюсь заметить.

Клемпнер. Хороша почта! Одни счета!.. Семь килограммов очищенного угля... фосфор... сера... Что все это значит? Граумер!

Граумер. Слушаю вас!

Клемпнер. И десять литров физиологического раствора... *(Берет другой счет.)* А это что еще?! Натуральный скелет, полированный, рост один метр семьдесят четыре сантиметра, восемьдесят шесть долларов... Скелет?! Граумер?!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?

Граумер. Да так, пустяки. Это мое маленькое хобби. В свободное время я занимаюсь экспериментированием. Невинная забава. Это у меня осталось с тех пор, когда мы с покойным профессором сделали открытие, за которое он получил Нобелевскую премию...

Клемпнер. Хобби? Экспериментирование? Без моего на то разрешения? Граумер, что ты, собственно, себе думаешь? И я еще должен оплачивать эту твою фанаберию?!

Граумер. У каждого ведь, господин хозяин, могут быть свои маленькие развлечения...

Клемпнер. Хватит! И чтобы это больше не повторялось!

Граумер. В этом вы можете быть уверены.

Клемпнер выходит. Из ванной доносится шум воды. Граумер быстро входит в спальню, выносит оттуда носки, ботинки и галстук. Едва он уходит, возвращается Клемпнер. Через минуту из открытых дверей спальни слышится его голос.

Клемпнер. Граумер! Граумер!

Граумер *(входя)*. Слушаю вас.

Клемпнер. Где моя сорочка в голубую полоску?

Граумер. В прачечной.

Клемпнер. В прачечной? Да ведь я ее вообще не носил, она еще вчера тут лежала! И коричневого галстука нет.

Граумер. Наденьте серый в зеленую крапинку.

Клемпнер. Перестань диктовать, что мне носить! Так что с этой сорочкой?

Граумер. На ней было пятнышко.

Клемпнер. Пятнышко? Интересно. Я не заметил никакого пятна. *(Идет в кабинет в брюках и рубахе, завязывая на ходу галстук.)* Который час? Уже одиннадцать! Хорошенькое дело, ведь в двенадцать я должен представить Гордону план нового романа! Граумер!

Граумер. Я слушаю!

К л е м п н е р. Мне надо быстренько набросать этот конспект. Мы начали вчера о нем говорить. Что там было?

Г р а у м е р. Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой он должен унаследовать...

К л е м п н е р. Правда! Вспомнил! Свидетелем убийства оказался робот. И убийца должен убрать этого робота, который для него опасен. А как лучше всего убить робота? Ты должен в этом разбираться.

Г р а у м е р. Это довольно трудно. Я советовал бы иначе построить сюжет. Один робот прислуживает недоброму человеку, старается изо всех сил, но все напрасно. Человек все время придирается к нему. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе, который подает хозяину на завтрак, яд — двадцать капель аконита. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить доброе дело, чтобы уравновесить недоброе...

К л е м п н е р. Можешь не стараться дальше. Это абсолютный бред. В каждом сюжете должна быть хотя бы видимость правдоподобия. Кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Аконит уже однажды у меня был, в последней книге. По твоему же совету.

Г р а у м е р. А чему это мешает? Аконит очень хороший яд, уверяю вас.

К л е м п н е р. Ну уж нет. Спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти.

Граумер уходит.

К л е м п н е р *(садится за машинку, говорит про себя и печатает)*. Богатую тетку... привязав за веревку... так... робот, видевший это... и три кровавых пятна...

За его спиной неслышно пробирается Граумер, вынося на этот раз из спальни одеколон, щетки, расческу и другие туалетные принадлежности. Клемпнер поднимается, вырывает лист из машинки и, скомкав, бросает его в корзину.

Идиотизм! Лучше вообще ничего не нести! Граумер!

Г р а у м е р *(входит)*. Я слушаю!

К л е м п н е р. Подай мне плащ! Я иду к Гордону. Вернусь к обеду около двух.

Г р а у м е р. Слушаю, господин хозяин...

Клемпнер уходит.

Граумер уходит, оставляя двери открытыми. Через минуту слышится его голос.

Так, так, пожалуйста... левую ножку... правую ножку... теперь опять левую... У вас очень хорошо получается, смею вас заверить... Пожалуйста, не бойтесь, я держу вас... По лестнице всегда трудно подниматься, особенно впервые... Раз... два... прекрасно! Пожалуйста!

Появляется Странный тип в одежде Клемпнера — в его сорочке, галстуке, костюме и ботинках. Деликатно поддерживая Типа, Граумер усаживает его в кресло Клемпнера, подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги. Тип выглядит слегка растрепанным и ошеломленным. Позволяет делать с собой все что угодно. Граумер причесывает его.

Если позволите, мне осталось кое-что еще подправить... Как вы себя чувствуете?

Т и п. Хорошо. Вполне... хорошо. Ты... кто такой?

Г р а у м е р. Я Граумер, ваш робот. А вот это и есть ваша квартира. Хорошая, правда?

Т и п. Хорошая...

Г р а у м е р. Я был уверен, что она вам понравится! Вы заметили, что можно пройти под лестницей, совсем при этом не наклоняясь?

Т и п. Заметил...

Г р а у м е р. Ну конечно! Будь вы повыше ростом, по рассеянности могли бы набить себе шишку. Поэтому вы именно такого роста. Осмелюсь заметить, что я все предусмотрел. Говорю это не для хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Там вот, за этой дверью, — ваша спальня и еще одна комната, ванная и погреб. Но погреб вы уже знаете...

Т и п. Это там, внизу... где разные инструменты и трубочки?

Г р а у м е р. Да-да, мой господин. Но вы старайтесь об этом не думать. Может быть, вы хотите что-нибудь съесть?

Т и п. Нет.

Г р а у м е р. Совсем натощак — это нехорошо. Я сейчас приготовлю легкий коктейль...

Наливает и подает Типу стаканчик. Тот не спеша отхлебывает.

Т и п. Грау-мер... Грау-мер...

Г р а у м е р. Да-да, это мое имя, я слушаю вас. Не хотите ли вы чего-нибудь поесть?

Т и п. Пожалуй, нет. Ничего не приходит мне... в голову. Грау-мер. Очень хорошо звучит. Граумер... Ты очень мил и мне нравишься.

Г р а у м е р. Я надеюсь, что нам с вами будет хорошо. Я приложу для этого много стараний.

Т и п. Знаешь что, Граумер? Я бы встал.

Граумер помогает ему встать, ведет в направлении столовой, открывает туда двери.

Г р а у м е р. Здесь — столо́вая. Там — спальня. Шкаф с одеждой... У вас будет масса костюмов...

Т и п. А что это?

Г р а у м е р. Пишущая машинка. Ох!

Слышится шум подъезжающей машины.

Ах ты, шуруп! Сказал ведь, что вернется только к обеду! Прошу вас, господин, сюда, скорее... Пожалуйста, сидите тут и не двигайтесь, пока я не позову! Скорее!

Вводит Типа в столовую, закрывает дверь и возвращается в кабинет, как раз когда входит Клемпнер в плаще и шляпе. Граумер раздевает его, усаживает в кресло, подкладывает ему под ноги подушку.

К л е м п н е р. Ну и денек! Голова у меня по-прежнему раскалывается, а Гордона не было. Должно быть, куда-нибудь неожиданно выехал... В висках ужасно ломит...

Граумер наливает в стакан виски, после чего из огромной бутылки с надписью «Аконит» капает, тихонько считая, двадцать капель.

К л е м п н е р. Что ты там делаешь?

Г р а у м е р. Готовлю вам освежающий напиток.

К л е м п н е р. Никто не звонил?

Г р а у м е р *(продолжая капать)*. Нет, не звонили.

К л е м п н е р. И никто не приходил?

Г р а у м е р. Никто не приходил, пожалуйста. *(Подает стакан.)*

К л е м п н е р. Мне пить не хочется. Я лучше поел бы чего-нибудь.

Г р а у м е р. Я вам советую сначала выпить.

К л е м п н е р. Ты так думаешь? Но у меня голова раскалывается...

Г р а у м е р. Я вас прошу выпить. И сразу пройдет, вот увидите.

К л е м п н е р. Ну, если ты так уверен...

Подносит стакан к губам. Звонит телефон. Клемпнер отставляет стакан и берет трубку.

Алло! Клемпнер.

Голос Инспектора в трубке. Это Доннел. Добрый день. Откровенно говоря, я не надеялся застать вас дома. Вы вроде собирались быть у Гордона.

Клемпнер. Я был у него, но не застал. А в чем дело?

Голос Инспектора. Ничего особенного. Служебные проблемы. Не могли бы вы мне сказать, какой номер у вашего робота?

Клемпнер. Номер? У моего робота? Что еще за номер?

Голос Инспектора. Серийный номер изделия. Он имеется у каждого робота, отштампован на затылке.

Клемпнер. Сейчас посмотрю. А зачем вам это?

Голос Инспектора. Сугубо доверительно, Клемпнер: мы проверяем номера всех роботов. Имеются данные, что ОН находится в городе.

Клемпнер. О ком вы говорите?

Голос Инспектора. О том роботе, о котором я тогда рассказывал у вас, не помните?

Клемпнер. Нет. Какой номер у того робота?

Голос Инспектора. Мы установили это только сегодня. 4711.

Клемпнер. Вы его разыскиваете? Он причинил какое-то зло?

Голос Инспектора. Еще нет. Но может это сделать.

Клемпнер. Подождите, пожалуйста, у телефона!.. Граумер, подойди сюда!

Граумер подходит, Клемпнер смотрит на его затылок и едва слышно произносит:

Это ты?..

Граумер. Я, господин хозяин.

Клемпнер *(колеблется; смотрит то на Граумера, то на лежащую телефонную трубку. Наконец он поднимает ее).* Алло! Инспектор, у моего робота номер 5740.

Голос Инспектора. Все в порядке. Простите за беспокойство. Я знал, что это невозможно, но вы же понимаете, как это бывает. Если мы что-то проверяем, то проверяем уже все как следует.

Клемпнер. Да о чем говорить. До свидания, инспектор.

Кладет трубку и берет стакан. Граумер берет стакан из рук Клемпнера и выплескивает содержимое за окно.

Что ты делаешь?!

Г р а у м е р. Прошу прощения, там был волосок.

Пауза.

Господин хозяин! Должен вам признаться, что я такого от вас не ожидал. Я не считал вас хорошим человеком.

К л е м п н е р. Не будем больше об этом. Я даже не хочу спрашивать, что ты там натворил. Но взамен помни: тебе следует меньше говорить и больше делать!

Г р а у м е р. Я буду очень стараться. Но я должен вам что-то объяснить...

К л е м п н е р. Ну, говори, только покороче!

Г р а у м е р. Я, господин, простой робот, не более того, но всегда стремился к совершенству. Мне показалось, простите, что вы не совершенный человек, и поэтому я создал себе другого хозяина. Такого, о котором мечтал. Идеального...

К л е м п н е р. Граумер, прекрати! Твои мечтания меня не интересуют. Это лишено смысла. У меня появился аппетит. Что у нас на обед?

Г р а у м е р. Но теперь, прошу прощения, это не только мечтания. Тот господин, тот совершенный, уже существует. Как раз когда вы ушли к Гордону, я заканчивал его, и теперь нет иного выхода: у меня будет два хозяина. Это необычная ситуация, но, в конце концов, дом достаточно большой, места в нем много, поэтому я думаю...

К л е м п н е р. А ты не думай. Я тебе советую перестать думать, а вместо этого подай мне обед. Ты, наверное, хорошо принял в себя через розетку. Напрасно думаешь, что я не знаю об этом. Вот у тебя и двоится в глазах.

Г р а у м е р. Но я заверяю вас...

К л е м п н е р. Хватит! И ни слова больше! Я хочу есть. Ты ведь только что обещал стараться...

Г р а у м е р. Да, вы правы, простите.

К л е м п н е р. Вот и накрывай на стол.

Г р а у м е р. Уже накрыто...

К л е м п н е р. Это другое дело.

Входит в столовую. За столом, на котором находится всего один прибор, сидит Тип.

А... простите! Я не знал, Граумер мне ничего не сказал. Граумер! Подай второй прибор!

Граумер приносит второй прибор. В это время Клемпнер подает руку Типу, который бормочет что-то, приподнимаясь с кресла.

К л е м п н е р. Как поживаете?

Т и п. Как поживаете?

Садятся. Граумер наливает им суп. Клемпнер и Тип начинают есть. Они поглядывают один на другого — оба с некоторым удивлением. Каждый из них принимает другого за гостя.

К л е м п н е р. Сегодня прекрасный день, не правда ли?

Т и п. День? Да, конечно.

Продолжают есть.

А вы любите машины? Я — так очень. Я когда иду мимо чего-нибудь железного, меня так и тянет это погладить. Такое вот у меня желание.

К л е м п н е р. Да?

Т и п. Да. Мне просто доставляет удовольствие мысль о том, что в мире существует столько разных машин: чулочные, трикотажные, вычислительные... В определенном смысле, роботы — тоже машины, но это совсем другое. Они — цвет машин, если можно так выразиться.

К л е м п н е р. Цвет машин? А вы знаете, мне это никогда не приходило в голову.

Т и п. А ведь это совсем просто, верно?

К л е м п н е р. Надеюсь, вам нравится суп?

Т и п. Суп неплохой, правда. Я думаю, что это сварил мой робот.

К л е м п н е р. Ваш робот?

Т и п. Тот, что нас обслуживает. Его зовут Граумер. Но ведь вы, кажется, уже перед этим обращались к нему по имени. Вы его знаете?

К л е м п н е р. Знаю. Потому что это мой робот...

Т и п. И ваш тоже?

Некоторое замешательство. Граумер входит, подает второе блюдо.

Г р а у м е р. Позвольте положить вам еще свеколки?

К л е м п н е р. Спасибо, нет.

Г р а у м е р. А вам? Позвольте, я еще добавлю...

Т и п. Не могу тебе в этом отказать, Граумер...

Г р а у м е р. Благодарю вас...

К л е м п н е р. Минуту назад вы сказали нечто такое, что меня поразило.

Т и п. Что именно?

К л е м п н е р. Что Граумер — ваш робот. Он что, когда-то работал у вас?

Т и п. Когда-то?.. По правде говоря, я не совсем понимаю, что значит «когда-то». Это — «тот» когда-то или «та» когда-то. Скорее, наверное, «та когдатица». Ага, вы говорили о Граумере... Мне он достался, как бы это сказать, с полным набором всевозможного инвентаря...

К л е м п н е р. Простите, с чем?

Т и п *(с ножом и вилкой в руках широким жестом как бы обводит все вокруг)*. Ну, со всем этим...

К л е м п н е р *(вглядывается в него, и глаза его вдруг расширяются)*. Господи! Да ведь на вас моя одежда! И сорочка моя, и галстук... *(Поднимает скатерть и заглядывает под стол.)* Мои ботинки!!!

Т и п. Я не понимаю.

К л е м п н е р. Но это же неслыханно! Это наглость!! Прошу вас немедленно это снять!!

Т и п. Что я должен снять?

К л е м п н е р. Все! Это все мое!

Т и п. Ваше требование, как бы это помягче выразиться, странно. Что ж, мне совсем раздеться? Я ведь не могу остаться голым.

К л е м п н е р. Да мне какое дело?! Извольте надеть то, в чем вы пришли!

Т и п. Именно в этой одежде я и пришел.

К л е м п н е р. Что вы мне голову морочите?! Вы — бесстыжий нахал, ясно вам? Которого я поймал с поличным!

Т и п. Пожалуйста, не кричите! Хоть вы и гость, но все имеет свои границы.

К л е м п н е р. Что?.. Это я — гость?.. И чей же, позвольте узнать?

Т и п. Мой.

К л е м п н е р *(подходя к Граумеру)*. Сейчас же говори, кто это такой? И откуда он здесь взялся?

Г р а у м е р. Но ведь я уже говорил вам.

К л е м п н е р. Что ты?.. Это невозможно!.. Так это ты его...

Г р а у м е р. Да, господин хозяин.

К л е м п н е р. Тот вот фосфор... та сера... уголь... это все для этого?

Г р а у м е р. Да, господин хозяин.

Т и п. О чем идет речь? Я надеюсь, что этот господин уже отказался от своих неразумных требований? Что касается меня, я готов забыть о них. Граумер, подай компот и десерт. А кофе пойдем пить в кабинет. Я припоминаю, что здесь есть кабинет. С пишущей машинкой.

К л е м п н е р. Совершенно верно. С той только разницей, что это моя машинка, мой кабинет и мой дом.

Т и п. Как это?

К л е м п н е р. Так это. Если не верите, спросите, пожалуйста, у Граумера. Это он все натворил.

Т и п. Что натворил?

К л е м п н е р. Вас!!

Т и п. Я не понимаю. Похоже, вы пытаетесь меня запугать. Откровенно говоря, вы ведете себя странно.

К л е м п н е р. Как я себя веду? Боже праведный!.. Что это у вас висит из рукава?

Т и п. Где? А, и в самом деле...

Из рукава рубашки он вытягивает полоску бумаги, прилепившуюся к запястью. Другие такие же бумажные полоски Граумер начинает вытягивать из-за воротничка рубахи. Бумага напоминает ту, которой обычно выкладывают формы для выпечки. И как та прилипает к тесту — эта прилипла к поверхности Типа.

Г р а у м е р *(отдирая бумажки)*. О, простите! Тысяча извинений... Это моя оплошность — надо было подложить под вас бумагу, чтобы вы не сплющились, а у меня ничего другого не было.

К л е м п н е р *(стоя)*. Теперь-то вы понимаете?

Т и п. Нет.

К л е м п н е р. Это он вас сотворил.

Т и п. Граумер? Меня?

Г р а у м е р. Да, именно так. Мне весьма досадно, что так все вышло.

Тип глядит то на Граумера, то на Клемпнера.

К л е м п н е р. Это действительно чрезвычайно неприятная история, но я ни в коей мере не собираюсь нести ответственность за сумасбродные выходки какого-то сумасшедшего робота. Прошу вас покинуть этот дом. Но прежде будьте любезны снять все мои вещи.

Т и п. Вы хотите выставить меня голым?

К л е м п н е р. Я сейчас поищу какие-нибудь старые брюки.

Т и п *(подходит к окну, выглядывает, поворачивается и спокойно произносит).* Нет!

К л е м п н е р. Как это — нет?! Что это значит — нет?! Да я оказываю вам любезность, выпроваживая подобным образом...

Т и п. Я никуда отсюда не пойду.

К л е м п н е р. Я вызову полицию!!

Т и п. Пожалуйста. Граумер — чей робот?

К л е м п н е р. Мой. Ну и что из этого?

Т и п. А то, что вы отвечаете за своего робота. Если он действительно меня сделал, вы должны меня содержать. В противном случае...

К л е м п н е р. Что-что?

Т и п. Я вызову полицию.

К л е м п н е р. Ах ты, мерзавец!

В глубине комнаты Граумер наливает им в стаканчики виски.

Т и п. Вашими оскорблениями вы ничего не добьетесь.

К л е м п н е р *(тяжело дыша).* Ну хорошо! Забирай своего железного болвана и проваливай отсюда! Чтобы мои глаза вас обоих больше не видели!

Т и п. Я должен забрать Граумера?

К л е м п н е р. Да. И немедленно! Потому что я могу и раздумать.

Т и п. И не подумаю. А Граумера можете оставить себе.

К л е м п н е р. Так ты же, мерзавец, говорил, что любишь роботов!

Граумер сразу же после слов Типа: «Граумера можете оставить себе» в оба стаканчика с виски начинает вливать яд из флакона с надписью «Аконит».

Т и п. Да, люблю, но не до такой же степени, чтобы делать кому-то подарки.

К л е м п н е р. Какие еще подарки, ты, шантажист, да ведь это все мое!

Т и п. Я не могу отказаться от дома.

К л е м п н е р. Бандит!

Т и п. Ну, скажем, от половины дома...

К л е м п н е р. Да я скорее сгною тебя в тюрьме!

Т и п. Или я тебя!

В разгар скандала Граумер подает им обоим по стаканчику виски с ядом. Они продолжают ссориться, держа эти стаканчики и не представляя себе, что у них в руках. Сам Граумер быстро молча уходит. В кабинете он снимает телефонную трубку.

Из столовой доносятся голоса: «Забирай свою железную уродину и проваливай!» — «Сам проваливай!» — «Хочешь получить по морде?» — «Смотри, как бы тебе самому не заехали!»

Граумер закрывает дверь, набирает номер.

Г р а у м е р. Алло! Фирма перевозок Хэмфри? Я хотел бы сделать срочный заказ. Очень срочный! Прошу вас немедленно прислать большой ящик на улицу Роз, дом сорок шесть...

СОДЕРЖАНИЕ

ФОРМУЛА ЛИМФАТЕРА 5

МАСКА 35

КИБЕРИАДА 83
СКАЗКИ РОБОТОВ
Три электрыцаря 85
Урановые уши 91
Как Эрг Самовозбудитель бледнотика одолел 96
Сокровища короля Бискаляра 108
Два чудовища 117
Белая смерть 124
Как Микромил и Гигациан разбеганию туманностей положили начало 129
Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась 134
Советники короля Гидропса 141
Друг Автоматея 153
Король Глобарес и мудрецы 170
Сказка о короле Мурдасе 180

ИЗ СОЧИНЕНИЯ ЦИФРОТИКОН, ИЛИ О ДЕВИАЦИЯХ, СУПЕРФИКСАЦИЯХ И АБЕРРАЦИЯХ СЕРДЕЧНЫХ
О королевиче Феррации и королевне Кристалле 189

КИБЕРИАДА
Как уцелела Вселенная 200
Машина Трурля 205
Крепкая взбучка 215

СЕМЬ ПУТЕШЕСТВИЙ ТРУРЛЯ И КЛАПАУЦИЯ
Путешествие первое,
или Ловушка Гарганциана ... 221
Путешествие первое А,
или Электрувер Трурля ... 231
Путешествие второе,
или Какую услугу оказали Трурль
и Клапауций царю Жестокусу ... 243
Путешествие третье,
или Вероятностные драконы ... 266
Путешествие четвертое,
или О том, как Трурль женотрон
применил, желая королевича
Пантарктика от томления любовного
избавить, и потом к Детомету
прибегнуть пришлось ... 281
Путешествие пятое,
или О шалостях короля Балериона ... 289
Путешествие пятое А,
или Консультация Трурля ... 304
Путешествие шестое,
или Как Трурль и Клапауций демона
второго рода создали, дабы
разбойника Мордона одолеть ... 311
Путешествие седьмое,
или Как Трурля собственное совершенство
к беде привело ... 327

СКАЗКА О ТРЕХ МАШИНАХ-РАССКАЗЧИЦАХ
КОРОЛЯ ГЕНИАЛОНА ... 336
АЛЬТРУИЗИН, ИЛИ ПРАВДИВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
О ТОМ, КАК ОТШЕЛЬНИК ДОБРИЦИЙ КОСМОС
ПОЖЕЛАЛ ОСЧАСТЛИВИТЬ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО ... 388
БЛАЖЕННЫЙ ... 411
ПОВТОРЕНИЕ ... 456
ВОСПИТАНИЕ ЦИФРУШИ ... 513
Рассказ Первого Размороженца ... 525
Рассказ Второго Размороженца ... 550

ВЕРНЫЙ РОБОТ (телевизионная пьеса) ... 577

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ
КАЖДАЯ **ПЯТАЯ** КНИГА РОССИИ

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ буква

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, 21, стр. 1, т. 232-19-05
- м. «Алексеевская», пр. Мира, 17б, стр. 2 (Му-Му), т. 687-45-86
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, 22, ТЦ «Александр Ленд», этаж 0.
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, 18а, т. 110-89-55
- м. «ВДНХ», проспект Мира, владение 117
- м. «Домодедовская», ТК «Твой Дом», 23-й км МКАД, т. 727-16-15
- м. «Крылатское», Осенний б-р, 18, корп. 1, т. 413-24-34, доб. 31
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., 132, т. 172-18-97
- м. «Медведково», XL ТЦ Мытищи, Мытищи, ул. Коммунистическая, 1
- м. «Новослободская», 26, т. 973-38-02
- м. «Новые Черемушки», ТК «Черемушки», ул. Профсоюзная, 56, 4-й этаж, пав. 4а-09, т. 739-63-52
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, 14, т. 959-20-95
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, 17, стр. 1, т. 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, 52/2, т. 306-18-91
- м. «Петровско-Разумовская», ТК «XL», Дмитровское ш., 89, т. 783-97-08
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр., 76, корп. 1, 3-й этаж, т. 781-40-76
- м. «Сокольники», ул. Стромынка, 14/1, т. 268-14-55
- м. «Сходненская», Химкинский б-р, 16/1, т. 497-32-49
- м. «Таганская», Б. Факельный пер., 3, стр. 2, т. 911-21-07
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15, корп. 1, т. 977-74-44
- м. «Царицыно», ул. Луганская, 7, корп. 1, т. 322-28-22
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, 10/12, стр. 1
- м. «Преображенская площадь», Большая Черкизовская, 2, корп. 1, т. 161-43-11

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
107140, Москва, а/я 140, тел. (495) 744-29-17

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Звонок для всех регионов бесплатный
тел. 8-800-200-30-20

Приобретайте в Интернете на сайте www.ozon.ru
Издательская группа АСТ
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Книги АСТ на территории Европейского союза у нашего представителя: «Express Kurier GmbH» Tel. 00499233-4000

Справки по телефону: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru http://www.ast.ru

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству АСТ.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Лем Станислав

Сказки роботов

Сборник

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерная верстка: В.Е. Кудымов
Технический редактор Н.К. Белова
Младший редактор Е.А. Лазарева

Подписано в печать 26.09.06.
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 38.
С.: Под Дозоры. Тираж 3500 экз. Заказ № 4724020.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.06 г.

ООО «Издательство АСТ»
170002, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, 27/32
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА»
129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1

ООО «ХРАНИТЕЛЬ»
129085, г. Москва, пр. Ольминского, д. 3а, стр. 3

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ (1921 – 2006).
Автор произведений-легенд, на которых выросли поколения поклонников научной фантастики, – «Соляриса», «Эдема», «Звездных дневников Ийона Тихого» – и множества других.
Лауреат множества национальных и иностранных литературных премий.
Писатель, которого критики называли «последним из философов-энциклопедистов».
Но прежде всего – классик не просто мировой фантастики, но – мировой литературы XX века.

В этом томе:

Формула Лимфатера
Маска
Сказки роботов
Кибериада

ISBN 5-17-040268-4
9 785170 402694